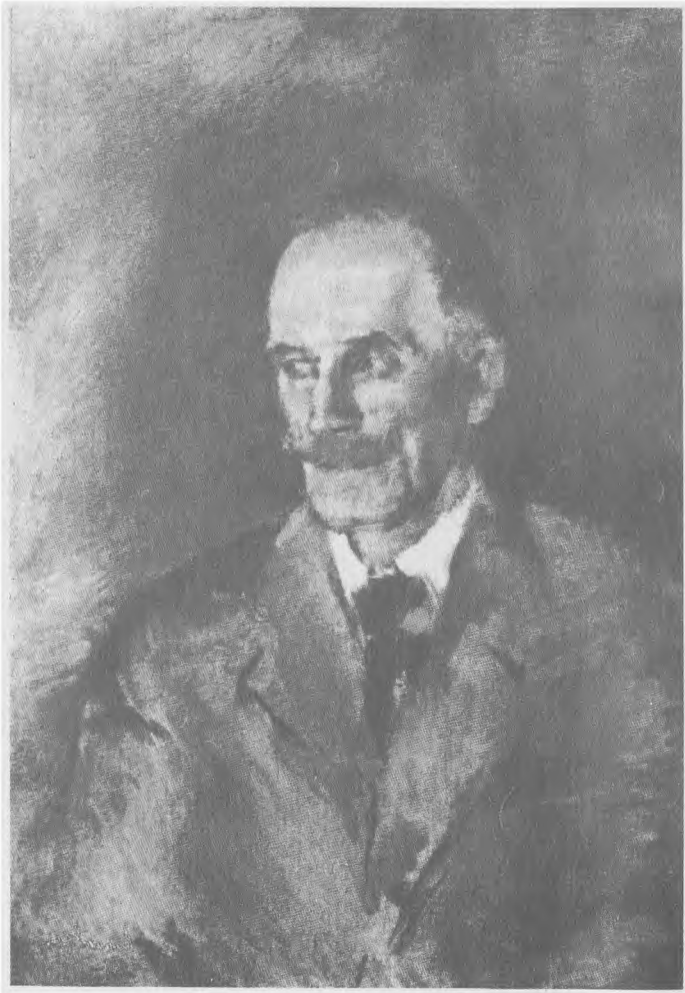


Kryn



Fancyt

Kryn Fancyt



Кунт
Тамсунт

Кнут Тамсун

СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ
В ШЕСТИ ТОМАХ

Редколлегия:

М. КЛИМОВА
А. СЕРГЕЕВ
Ю. ЯХНИНА



МОСКВА

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1991

Кнут Гамсун

СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ
ТОМ ПЕРВЫЙ

ГОЛОД

Роман

МИСТЕРИИ

Роман

ПАН

Роман

Перевод с норвежского



МОСКВА

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1991

ББК 84.4Нр
Г18

KNUT HAMSUN
1859—1952

Составление

Ю. Яхниной

Вступительная статья

Б. Сучкова

Комментарии

А. Сергеева

Оформление художника

А. Лепятского

Гамсун К.

Г18 **Собрание сочинений. В 6 т. Т. 1. Голод; Мистерии; Пан: Романы: Пер. с норв. / Редкол.: М. Климова и др.; Сост. Ю. Яхниной; Вступ. ст. Б. Сучкова; Коммент. А. Сергеева.— М.: Худож. лит., 1991.— 560 с.**

ISBN 5-280-01699-3 (Т. 1)

ISBN 5-280-01700-0

В 1-й том шеститомного Собрания сочинений Кнута Гамсуна (1859—1952) включены лучшие романы писателя, относящиеся к раннему периоду его творчества.

Г 4703010100-140 Подписное
028(01)-91

ББК 84.4Нр

© Состав. Яхнина Ю. Я. 1991 г.

© Комментарии. Сергеев А. В. 1991 г.

© Оформление. Лепятский А. В. 1991 г.



КНУТ ГАМСУН

I

Лучшие произведения Кнута Гамсуна давно уже стали неотъемлемой частью классики новейшей мировой литературы. Художественное значение его творческого наследия весьма велико. Сын небольшой страны, лежащей на северной окраине Европы, кровно связанный с родной землей, ее неброской природой, казалось бы полностью погруженный в медлительную жизнь маленьких норвежских городков и затерянных в шхерах рыбацких поселков с их степенным и рутинным бытом, он сумел затронуть в своих романах, пьесах и новеллах вопросы, имеющие общезначимый характер, и уловил многие новые конфликты и общественные настроения, привнесенные в мир веком двадцатым, противоречиями его цивилизации.

Стойкое и мощное чувство жизни присуще произведениям Гамсуна. С пронзительной зоркостью вглядывался он в лесную глушь, где вершатся таинства природы — смена времен года, прорастание, цветение и увядание трав, прилет и отлет птиц, где взору открывается вечный круговорот бытия, втягивающий в свой державный ритм и человека — этот одухотворенный атом мироздания. Его словесное искусство позволяло увидеть и ощутить естественную красоту мира — терпкий запах горных лугов, бездыханную тишину лунной ночи, немое блистание далеких молний.

Но еще более впечатляюще, чем жизнь природы, описывал он жизнь человеческих чувств, дисгармоничность внутреннего мира человека, властную поработощающую силу любовной страсти, ее странности и причуды, запутанную игру человеческих эмоций, конфликтность и антагонистичность отношений, скрытые за обыденностью и заурядностью повседневного людского существования.

Нервной, изысканной и подвижной прозе Гамсуна свойствен сгущенный лиризм. Однако не он является ее главенствующим

началом, ибо Гамсун — художник эпического склада, уверенно создававший сложные характеры своих героев, со знанием дела и высокой достоверностью живописавший картины нравов и перемены в норвежской деревне и провинции за многие десятилетия. Лиризм придает его рассказу своеобразную музыкальность: подобно своего рода аккомпанементу, сопровождает он основную тему повествования, выходящую за пределы изображения мира чувств отдельной личности и обращенную к миру объективному, поискам ответа на вопрос о сути и содержании общественного прогресса. С годами интерес Гамсуна к исследованию воздействия противоречий общественного развития на судьбы норвежской деревни и провинции, а также на судьбы человеческой личности возрастал. Он создавал циклы романов, в которых изображались перемены, внесенные запутанным историческим процессом нового, двадцатого века в жизнь, взгляды и самый образ мышления людей, захваченных неостановимым движением современной истории. Наблюдая повсеместную ломку старых привычек и бытового уклада сельской Норвегии, неуклонное продвижение в самые захолустные ее углы индустриального прогресса и сопутствующего ему обездушенного предпринимательства, относясь к буржуазному прогрессу весьма критически, Гамсун искал социальную и этическую опору в традициях и устоях норвежской деревни, в тех, как он считал, непреходящих ценностях, которые хранит родная почва.

Социальная проблематика, особенно осязаемая в его произведениях позднего периода творчества, входила в них не столь обнаженно, как в произведения реалистов девятнадцатого века. Гамсун — один из тех выдающихся писателей мировой литературы, кто подготовил изменения в характере художественного мышления новейшего времени и способствовал своим творчеством выработке новых свойств у реализма, отвечающих духовным потребностям и особенностям социальной жизни века двадцатого.

Он весьма зримо воспроизводил течение обычной жизни, подробности повседневного человеческого существования, каждодневные дела и занятия своих героев, их привычки, особенности их характеров. Он до тонкости знал их быт, предрассудки, устремления, круг их интересов. Крестьяне-хуторяне, рыбаки, лесорубы, торговцы, помещики, бродяги, матросы, шкиперы, провинциальные интеллигенты — врачи, адвокаты, учителя, — прислуга, мужчины и женщины, люди разных общественных положений и разных поколений являлись натурой для его художественной фантазии. Из его произведений возникает колоритная, сочная, полнокровная картина норвежской жизни

конца прошлого и первых десятилетий нового века. Однако она не сама по себе привлекает творческое воображение писателя. Его интересовало и увлекало изображение конфликтных психологических ситуаций, в которые жизнь ставила его героев, борющихся с обществом и собственными чувствами. Социальная проблематика присутствовала в его произведениях опосредствованно, и Гамсун по праву может быть назван представителем того типа психологического реализма, начало которому в мировой литературе положил Достоевский. Сам Гамсун всегда признавал значение и роль великого русского писателя для собственного художественного развития. «Достоевский — единственный художник, у которого я кое-чему научился, он — величайший среди русских гигантов»¹, — писал он своей жене Марии Андерсен. В изображении сложных внутренних драм личности, передаче зыбких, тонких, не поддающихся логическому анализу психических состояний героев, подчас труднообъяснимых перемен их настроений, Гамсун достигал высокого искусства, обнаруживая глубокую пронизательность и способность постигать самые сокровенные тайны человеческого сердца. Перелая в повествовании центр тяжести на психологический анализ, Гамсун тем не менее всегда подходил к человеку как социальному существу, чей внутренний мир в конечном итоге обуславливается положением человека в обществе. Как художник Гамсун развивался в русле реалистического искусства.

Однако он весьма отчетливо ощущал свое отличие от предшествующих ему норвежских реалистов. В пору формирования художественных взглядов и творческой манеры Гамсуна в норвежской литературе, как и во всех литературах мира, происходили существенные перемены: реалистический метод претерпевал серьезную эволюцию, связанную с выработкой новой образности, способной передать энергично возникавшие в жизни небывалые ранее явления. Эстетизм и декадентские художественные течения расширяли сферу своего влияния. В позднем творчестве Генрика Ибсена стали явственно проступать черты символизма — внутренне чуждого Гамсуну. Добротный, возводивший жизнеподобие в главенствующий эстетический принцип реализм Бьёрнстjerne Бьёрнсона, к личности которого Гамсун питал большое уважение, становился старомодным и, по мнению Гамсуна, не звучал в унисон со временем.

Вполне сознательно отталкивался он и от тех натуралистических и позитивистских тенденций, которые начали проступать

¹ Цит. по кн.: Hamsun Tore. Knut Hamsun mein Vater. Paul List Verlag. München, 1953, s. 293.

в реализме второй половины девятнадцатого века. Механические представления о взаимосвязях человека и общественной среды, чрезмерная детерминированность его поведения внешними, в том числе и биологическими, факторами были чужды Гамсуну. Он умел видеть объективную сложность частных и общественных человеческих отношений и изображал их, избегая натуралистической и позитивистской упрощенности мировосприятия. «Кто жил достаточно долго, чтобы помнить семидесятые годы, тот знает, какая перемена произошла с писателями начиная с этого времени,— с иронией писал он в книге путевых очерков «В сказочной стране», рассказывавшей о его путешествии по России и Кавказу.— До этого они были певцами, выразителями настроения, повествователями, а потом они увлеклись духом времени и стали работниками, воспитателями. Это английская философия с ее стремлением к практической пользе, к счастью, начала руководить людьми и преобразовывать литературу. И вот появилось творчество без особенной фантазии, в котором зато было много старания и много здравого смысла. Можно было писать обо всем, что только окружало обыкновенного человека, лишь бы оставаться «верным действительности», и это создало множество великих писателей во всех странах»¹. Сам Гамсун верность действительности понимал иначе, чем маленькие великие писатели, выкормленные позитивистской философией и эстетической теорией натурализма. Для него важно было уловить общий смысл, дух действительности, а не воссоздавать в мелких подробностях и частностях ее подобие в своих произведениях. Поэтому характеры его героев укрупнены, им придана масштабность, обобщенность, порой превращающая их в своего рода олицетворение общественных сил, что, однако, не разрушало их реалистичности.

Подобного рода обобщенность образов свойственна не только Гамсуну—это особенность реализма двадцатого века. Сходный принцип типизирования, открывавший простор для универсализации жизненного явления или характера героя, можно найти у Горького и Роллана, Томаса Манна, Фолкнера, позднего Хемингуэя и других выдающихся реалистов нашего века.

Столь же неодобрительно, как и к натуралистической описательности, относился Гамсун к склонности эпигонов реализма девятнадцатого века превращать свои произведения в своего

¹ Гамсун Кнут. Полн. собр. соч., т. 3. Изд-во т-ва Маркс, 1910, с. 565.

рода полухудожественные, полунаучные трактаты, иллюстрировавшие или излагавшие модные социологические концепции или биологические теории. Он предпочитал говорить и говорил языком образов. Открытая публицистичность редко проникала в его художественные произведения. Публицистика, прямое изложение политических взглядов и позиций составляют иной слой в наследии Гамсуна, не совпадавший с духовным строем его художественных произведений, где Гамсун, следуя объективной логике развития житейской или психологической ситуации, ставшей предметом его исследования и изображения, не подменял ее самодвижения удобной или выгодной для себя публицистической схемой.

Он являл собой нередко встречающийся в новейшее время, с его непримиримыми социальными и психологическими противоречиями, тип художника, чьи политические взгляды весьма непрямо соединяются с художественными особенностями и внутренним содержанием его произведений. Это не значило, что романам Гамсуна были чужды философичность и морализирование, а также тенденция к универсализации тех сторон общественного бытия, которые Гамсун считал наиболее важными. Свойственное ему чувство жизни постепенно превращалось в своеобразный витализм, который Гамсун с чрезмерной настойчивостью противопоставлял интеллекту и цивилизации.

Очень рано Гамсун повел спор с капиталистическим прогрессом, захватившим и его родную Норвегию, и спор этот он вел до конца своей долгой жизни. Антикапиталистические мотивы и неприятие буржуазного демократизма весьма явственно звучали в его творчестве. Но в своих произведениях Гамсун выступал как консервативный критик капитализма, исходивший из почвеннического умонастроения. Капиталистическому развитию Норвегии, да и не только Норвегии, ибо, оставаясь в национальных рамках, Гамсун искал ответа на вопрос о сути общественного прогресса как такового, он противопоставил ретроспективный идеал — патриархальный образ жизни свободного норвежского крестьянина.

Романом «Замкнутый круг», увидевшим свет в 1936 году, фактически завершилась творческая деятельность Гамсуна как художника, длившаяся свыше семидесяти лет. Однако последним его произведением стала книга, состоящая из полудневниковых записей, заметок и воспоминаний, озаглавленная «На заросших тропинках», опубликованная в 1949 году, когда Гамсуну шел девятый десяток. Между этими книгами пролегла самая печальная и тягостная полоса его жизни.

Разрастаясь, почвеннические иллюзии постепенно толкали Гамсуна в сторону прямой политической реакции. Сказывался

и возраст, препятствовавший Гамсуну внять требованиям прогрессивных общественных сил в родной стране и за ее пределами, а также понять характер происшедших в Германии событий, сущность и природу политической реакции, прикидывавшейся защитницей национальных устоев и прокладывавшей дорогу к тоталитарному режиму, прикрываясь демагогической критикой капиталистической плутократии, либерализма и буржуазного парламентаризма, достаточно ненавистных Гамсуну.

Давняя неприязнь к Англии и Америке, олицетворявших в его глазах негативные стороны капиталистического прогресса, и столь же давняя симпатия к Германии — их противнице во второй мировой войне, стране, представлявшей ему хранительницей порядка и дисциплины, противостоящих распаду, который вносит в жизнь буржуазная демократия, — сыграли свою отрицательную роль в эволюции его политических взглядов. В годы фашистской оккупации Норвегии престарелый писатель запятнал себя коллаборационизмом.

После освобождения Норвегии он был предан суду, пройдя длительное обследование в психиатрической клинике, которое отметило лишь незначительное возрастное ослабление его умственной деятельности, вызванное перенесенными инсультами. После суда, бывшего по преимуществу акцией морального характера, норвежские власти прекратили дальнейшее преследование Гамсуна, и он вернулся к прежним своим занятиям. «Мой отец оказался чужд ритму своего народа и поэтому попал под колеса»¹, — писал о нем его сын Туре.

Уклонение от истины истории, нежелание или неумение видеть в истории подлинно конструктивные силы неизбежно ведут художника к поражению. Это подтвердила и судьба Кнута Гамсуна — великого писателя и реакционного политика.

II

Кнут Педерсен родился в семье деревенского портного на крайнем севере Норвегии. Название расположенного около местечка Хамарей хутора Гамсунд, где жила его семья, он взял себе литературным именем и подписывал им свои ранние произведения. Случайно, при публикации одной из его газетных статей, из этого имени выпала последняя буква. Получившаяся фамилия Гамсун понравилась ему, и под ней Кнут Педерсен вошел в мировую литературу.

¹ Hamsun Tore. Knut Hamsun mein Vater, s. 419.

Детство Гамсуна было бедным и тяжелым. Семья не могла прокормить детей, и Кнута отдали на воспитание родному дяде, человеку, обладавшему жестоким, угрюмым характером. Для Кнута потянулись горькие дни. Лишь серьезная болезнь дядюшки освободила Кнута от жизни впроголодь, попреков и побоев, и подростком отправился он в мир искать кусок хлеба и счастье. Он перепробовал множество профессий — работал помощником приказчика в лавке, бродячим торговцем-коробейником, помощником ленсмана, учетчиком на строительстве дороги. Он был серьезным, одаренным юношей, внимательно всматривавшимся в жизнь и людей, в обилии встречавшихся ему во время блужданий по родной земле, страстно искавшим знаний. За спиной у него была всего-навсего скверная сельская школа, научившая его грамоте; все остальные знания Гамсун черпал из книг, читая все, что попадало под руку. По существу, он был и остался самоучкой. Этим, между прочим, объясняется и его постоянная неприязнь к разного рода философским теоретизированиям. Как многие самоучки, он лучшей школой считал самую жизнь.

Рано пробудились у Гамсуна творческие способности. Уже в 1877 году он опубликовал маленькую повесть «Загадочный человек. Нурланнская любовная история», написанную во вкусе лубочной литературы и народных книг того времени, а через год напечатал большую балладу «Свидание», где он, говоря словами Шекспира, «рвал страсти в клочья». Эти книги имели успех у народного читателя, и Гамсун решил полностью посвятить себя художественному творчеству. Получив приличную материальную поддержку от одного кушца, заинтересовавшегося одаренным юношей, Гамсун с любовной повестью из сельской жизни, озаглавленной «Фрида», в кармане и полный радужных надежд на будущее отправился в Копенгаген — тогдашний центр духовной жизни Скандинавии. Однако «Фриду» отклонили все издатели, кому он ее ни предлагал. Деньги таяли. С трудом перебрался Гамсун обратно в Норвегию и остановился в Христиании, нынешнем Осло. Там он решил обратиться к Бьёрнсону. Усталый и отоцавший, Гамсун, вдобавок неловко растянувшийся на скользкой улице перед окнами дома знаменитого писателя, в первый визит не был принят, так как его сочли за пьяницу. На другой день Бьёрнсон открыл «Фриду», с неудовольствием наткнулся на фразу: «Юноша плакал», снова перелистал повесть и, пробормотав: «Ах, юноша все еще плачет», — посоветовал трепещущему Гамсуну пойти в актеры. Гамсун понял, что с «Фридой» он потерпел неудачу, и после недолгих сомнений предал рукопись огню. Но воля его не была сломлена. Он попытался продержаться

на литературные заработки: иногда ему удавалось напечатать одну-другую статью или заметку в газетах Христиании. Для жизни этого было мало, и, постепенно спустив у старьевщика все, что у него было, Гамсун впал в полную и хроническую нищету. Единственным выходом для него стала, как и для множества его соотечественников,—эмиграция. В 1882 году он уехал в Америку, где вел полубродяжью жизнь, работая батраком на фермах, свиноводом, конторщиком, приказчиком в лавке. Эти трудные годы прошли для Гамсуна небесполезно. Ему удалось сблизиться с интеллигентными кругами норвежской эмиграции, заметно пополнить в общении с ними свое образование и повысить культуру. Однако тяготы борьбы за существование подорвали его силы, и у него началось горловое кровотечение. Но его могучий организм выдержал, хотя для поправки здоровья Гамсуну пришлось вернуться на родину.

Гамсун все время продолжал писать. Его мысль и чувство художественной формы, языка и стиля созревали. Он снова попробовал, вдохновленный успехом некоторых своих газетных статей и очерков, начать жизнь литератора в Христиании. В эти годы Гамсун много читал, следя за развитием европейской литературы. Он даже отваживался выступать с публичными лекциями о Флобере, Золя, Ибсене. Правда, больше, чем литературной эрудицией, он поражал свою аудиторию пылкостью и живописностью красноречия и отчаянным радикализмом литературных взглядов, выражавшимся в нападках на крупнейших норвежских классиков, в частности на Ибсена. В эти годы наибольшее воздействие оказало на него чтение книг Ницше.

Но с Гамсуном повторилась прежняя история: нужда цепко преследовала его в Христиании, и опять он был вынужден в 1886 году уехать в Америку, на сей раз в Чикаго, где недолгое время служил кондуктором омнибуса, затем работал на крупных фермах и сотрудничал в эмигрантских норвежских изданиях, выходивших в Америке. Духовное и творческое созревание его завершалось. Пережитое и увиденное им в Америке, в дни странствий по ней, нашло со временем выражение в его новеллах—таких, как «Закхей», «В дни скитаний», «Женская победа» и другие. Жестокие, сурово и резко написанные, пропитанные знойным ветром прерий, они рассказывали о тяжком труде и бесправии наемных сельскохозяйственных рабочих на фермах, затерявшихся в огромных пространствах черноземных равнин, о свирепых нравах, царивших в степных просторах, где нередко выстрел из револьвера заканчивал ссору или распрю, о волчьих законах бродяжьего

мира и безжалостности человеческих отношений в больших городах.

Итогом его наблюдений над заокеанской республикой стал памфлет «Духовная жизнь Америки». Гамсун без иллюзий всматривался в социальную и духовную жизнь страны, считавшейся оплотом и авангардом буржуазной демократии. Он анализировал журналистику, искусство, литературу, театр Америки и показывал черты буржуазной ограниченности, ханжества, политического и религиозного лицемерия, лакировки и безудержного самохвальства, ненависти ко всему иностранному, пронизывающей духовные институты Америки. С горьким сарказмом высмеивал он миф о «равенстве всех» в американском обществе. «У республики явилась аристократия, несравненно более могущественная, чем родовитая аристократия королевств и империй, это аристократия денежная. Или, точнее, аристократия состояния, накопленного капитала... Эта аристократия, культивируемая всем народом с чисто религиозным благоговением, обладает «истинным» могуществом средневековья... она груба и жестока соответственно стольким-то и стольким-то лошадиным силам экономической неколебимости. Европейец и понятия не имеет о том, насколько владеет эта аристократия в Америке, точно так же как он не представляет себе — как бы ни была ему знакома власть денег у себя дома, — до какого неслыханного могущества может дойти эта власть там»¹. Столь же последовательно разоблачал он легенду об Америке как «стране свободы», показав, как далеко отстоит от действительности тот ее идеализированный образ, который рисовала европейская, в том числе и норвежская, либеральная журналистика. Гамсун резко критически отнесся к американской литературе тех лет за ее провинциальную амбициозность, безвкусицу, несамостоятельность, уклонение от жизненной правды. Поэзия Уитмена вызвала у него скептическую иронию. Исключение он сделал лишь для Марка Твена. Правда, он не отрицал возможности развития американской литературы, но тогдашнее ее состояние Гамсун считал плачевным. В те годы Америка представлялась ему огромным миром шума, громадных машин, страной, собравшей людей со всех концов света, с мягкой, плодородной почвой, первобытными лугами и — черным небом.

Черное небо Америки помнилось Гамсуну всю жизнь, и основным мыслям об особенностях буржуазной демократии

¹ Гамсун Кнут. Полн. собр. соч., т. 4. Изд-во т-ва Маркс, 1910, с. 502.

и порожденной ею цивилизации, высказанным в книге, он оставался верен до конца своих дней.

Несколько поправив свое материальное положение, Гамсун вернулся из эмиграции на родину. Печатавшиеся в газетах его очерки из «Духовной жизни Америки» вызвали большой интерес, который стал возрастать по мере того, как в печати стали появляться фрагменты из его крупного художественного произведения, над которым Гамсун работал напряженно и упорно. Его заметили Брандес и Бьёрнсон, а когда в 1890 году его роман «Голод» был опубликован полностью, стало ясно, что в европейскую литературу вошло новое мощное и своеобразное дарование.

Художественные особенности «Голода», манера трактовки психологии героя обнаруживали, при всей творческой самостоятельности Гамсуна, типологическое сродство с поэтикой произведений Достоевского. Традиционная форма повествования от первого лица, не препятствовавшая реалистам прошлого передать и внутренние, душевные переживания героя, и объективное течение жизни, у Гамсуна существенно видоизменена. Личность рассказчика, передача его сложных психических состояний, настроений, переходов от отчаяния, гнева, тяжелой озлобленности к своеобразной эйфории — обманчивому подъему сил — становились главенствующим содержанием романа. Тончайшие самонаблюдения рассказчика над неадекватностью собственного поведения житейским нормам, вызванной тяжелым, затяжным голодом, пребыванием одинокого голодающего человека среди массы сытых людей, переходят за грань обыденного сознания и проникают в сублогические сферы мышления, казалось бы не поддающиеся контролю рассудка. Но рассказчик сам понимает, что странные мысли, слова, образы, фантастические картины, проносящиеся в его голове, как проносились они в голове Мечтателя из «Белых ночей» Достоевского, на самом деле есть выражение его собственных желаний, надежд, и порождены они его разладом с миром. Рассказчик в «Голоде» стоит как бы вне обычного человеческого существования и не может с ним слиться, обрести в нем свое место.

События, вошедшие в круг изображения в романе, важны для Гамсуна не сами по себе, а как своего рода катализаторы психологических состояний героя. Подобную роль событийный элемент выполнял и в повествовательном искусстве Достоевского. Голод обострил внутреннее зрение гамсуновского героя, и он примечает самые мелкие факты внешней жизни, невольно сдвигая и увеличивая их масштаб. Объясняется это состоянием длительного аффекта, в котором из-за голода находится герой романа. Достоевский также очень часто изображал своих героев

в состоянии аффекта, и не из склонности к исследованию патологических состояний души, а потому, что аффект, разрушив обыденное, тривиальное, привычное в отношениях людей и человеческого сознании, позволял проникнуть в подлинность жизни, к тому, что таится за ее наружной упорядоченностью. Мир, в котором борется с голодом герой романа Гамсуна, тоже обнажает свое подлинное существо. Хроническая голодовка и вызванное ею перевозбуждение позволили взглянуть герою романа на мир иными, чем раньше, глазами.

«Голод» — во многом автобиографичное произведение, немало приподнимающее завесу над теми страшными и горькими временами, которые пережил сам Гамсун в Христиании в годы своей голодной юности. Ощущение ледяного равнодушия, человеческого холода, черствости — с чем столкнулся Гамсун в те дни — полностью перешло в роман. Его герой, испытывавший физические мучения от голода, описанные с необычайной выразительностью, сталкивается с почти полным пренебрежением к собственной личности со стороны окружающих. Лишь где-то на дне жизни, в жалких, грязных «комнатах для приезжих», среди опустившихся, отупевших от нужды людей, изображенных в духе, близком к характеру описаний петербургских «углов» у Достоевского, герой находит нечто отдаленно напоминающее сострадание или, во всяком случае, понимание его положения. Общество, какое оно есть, не желает ничего знать о своих изгоях, о тех, кто оказался выброшенным на обочины жизни, ибо каждый человек в этом обществе занят собой, своими мыслями и делами. К этому сводится социальный критицизм романа.

Однако если реализм Достоевского выходил за пределы изображения внутренних конфликтов личности и через них стремился выразить дисгармонию мира, то реализм Гамсуна такого рода цели не преследовал. Герой его романа, даже в самые отчаянные минуты своей жизни, богохульствуя и содрогаясь от гнева, принимает мир как данность, рассматривая собственную судьбу как частный индивидуальный случай, не делая из ее превратностей никаких далеко идущих выводов. Он не посягает на сложившийся и существующий миропорядок. Более того, он сам всячески старается скрыть от окружающих свое бедственное положение. Он — замкнутая в себе монада, существующая среди множества таких же замкнутых в себе монад. Мотив одиночества человека среди себе подобных был привнесен в роман и мироощущением Гамсуна, и его опытом, наблюдениями над жизнью. Мотив этот, вводящий произведение Гамсуна в круг проблем, характерных для литературы двадцатого века, надолго сохранится в его творчестве.

Замкнутость человека в оболочке своей индивидуальности делает почти невозможным человеческое взаимопонимание. Эту важную для Гамсуна мысль, отражавшую новую, принесенную в жизнь общественным развитием черту в отношениях между людьми, почти неизвестную временам прежним, подтверждает в романе драматичный эпизод встречи рассказчика с незнакомой женщиной, названной им Илаяли — бессмысленным, музыкально звучащим именем, передающим, как он думал, ее обаяние и загадочность. Даже любовная страсть не смогла победить людской разобщенности и позволить двум людям постигнуть то сокровенное, что составляет сердцевину их существа. Этот мотив также станет одним из основных у Гамсуна, и его возникновение в романе показывало, что «Голод» был произведением, открывавшим и включавшим в себя настроения и проблематику, которые станут характерными для литературы двадцатого века. Некоторые художественные приемы — не только углубленный и утонченный психологизм, пристальное рассмотрение движений и колебаний человеческой психики как самостоятельного феномена, но и внутренние монологи героя, его возбужденные, импульсивные самопризнания — предваряли введение «потока сознания» в повествовательное искусство как способа более детализированной передачи душевных состояний человека.

«Голод» принес Гамсуну славу, и после появления романа он начал вести жизнь профессионального писателя. Талант его мужал, становился гибче. Появившиеся в 1892 году «Мистерии» обозначили новую фазу его развития.

Художественная архитектоника «Мистерий», самый принцип изображения жизненной ситуации, положенный в основу повествования, был отмечен новизной и оригинальностью. Вся поэтика романа, система отношений его героев зиждутся на недосказанности, недоговоренности. Если Бьёрнсон или Ибсен в своих реалистических произведениях стремились предельно ясно и исчерпывающе выявить суть человеческого характера и те отношения, в которые люди вступают, то Гамсун набрасывает на все происходящее покров тайны. Действие в его романе — драматичное, напряженное, строящееся на крайне острых психологических конфликтах и столкновениях — затянато пеленой загадочности, неразгаданности. Истинные первопричины поступков действующих лиц, и в особенности главного героя романа Юхана Нильсена Нагеля (он же Симонсен), скрыты под поверхностью событий. Гамсун строил свое повествование на подтексте — приеме, широко вошедшем в опыт литературы нашего века.

Однако подтекст выполняет у него иную функцию, нежели, скажем, в произведениях писателей «потерянного поколения» и особенно у Хемингуэя, у которых подтекст был выражением их стоического отношения к жизни, нежелания раскрывать свои чувства, дабы не показаться сентиментальными или чрезмерно откровенными, ибо мир, где действовали их герои, был жесток, холоден и равнодушен к человеческим чувствам. Подтекст у Гамсуна возникал из сознания таинственности самого феномена жизни, непостижимости той загадки мироздания, какой является человеческая личность. Гамсун ощущал перемены, происходившие в бытии, новые процессы, возникающие в нем, порубежность, переломность исторического времени, в которое он жил, брожение новых, неясных, неотчетливых, еще не выявивших себя сил в его недрах, и это ощущение выплеснулось в его романе, вовлекая в свой поток всех его героев — вольных или невольных участников драмы, разыгравшейся в небольшом приморском городке.

Хотя действие романа разворачивается в местах, казалось бы удаленных от тех центров цивилизации, где идет главная битва жизни, содержание его отличалось широтой. Гамсун, отводя упреки в том, что материал для своих художественных произведений он черпал из быта норвежской провинции, писал в романе «Женщины у колодца» (1920): «В больших городах существует мнение, будто у жителей городков почти не бывает крупных событий: это ложный и обидный взгляд, ведь там бывают банкротства, мошенничества, убийства и скандалы совершенно такие же, как в большом свете». Эта саркастическая реплика писателя подтверждала, что в своих произведениях он исследовал и изображал не локальные, а универсальные жизненные процессы. Относится это и к «Мистериям», особенно к их герою Нагелю, носителю духовных противоречий переходного к новой эпохе периода. Нагель преобразует монотонное течение жизни приморского городка своим неожиданным в нем появлением, странностью своих поступков, и многое, что молча пряталось в повседневности, вырывается наружу. Ферментом, разрушающим устойчивость обыденности, становится личность Нагеля — художника, бродяги, человека, стоящего вне обывательского уклада жизни — плоского и пошлого.

Жизнь людей в романе как бы двоятся, делясь на видимый слой, поверхностный и неистинный, и скрытый, таинственный, подлинный. В обычной повседневности все обитатели городка примелькались друг другу: привычными стали издевательства обывателей над городским юродивым Минуткой, казалось, способным вызывать только жалость; никого не интересует тихое, незаметное существование седовласой девушки Марты Гудэ;

происходят обычные события,—например, помолвка Дагни Хьеллан с морским офицером, обладающим приятной внешностью и заурядно правильным лицом; местные городские чиновники и интеллигенты—так называемое общество—стараются как могут разнообразить свою жизнь—на пикниках, вечерах, холостяцких пирушках, благотворительных базарах.

Но и в эту толщу обывательщины вторгается большая, подлинная жизнь—завязываются споры о социализме, искусстве, великих писателях, волновавших в те годы людские умы. У городских мыслителей социализм не пользовался успехом,—он представлялся им чисто теоретическим, лишенным практического смысла учением, выражением—и в этом они не ошибались—протеста низших слоев общества против власть имущих классов. В этих спорах обнаруживалась парадоксальность взглядов Нагеля, представляющих собой странную смесь индивидуализма с человеколюбием, анархистского критицизма по отношению к моральным максимам Толстого и Ибсена, с преклонением перед одухотворяющей силой искусства. С равной степенью неприязненности относится Нагель к буржуазному либерализму, буржуазному здравому смыслу, олицетворением которых он считает лорда Гладстона, и самодовольной ограниченности доморощенных норвежских политиканов, которым, как он полагает, не мешало бы освободиться от заскорузлости представлений и пошире взглянуть на мир. Сам он, его личность, импульсивность его поступков, игра его фантазии прямо противостоят застойности провинциального существования. Колебания и противоречия его взглядов отражали внутренние противоречия во взглядах самого писателя, хотя они и не тождественны.

Прозорливость художника позволяет Нагелю разглядеть за рутинностью обывательского быта тайные драмы, неустроенность человеческих отношений, потаенную жизнь чувств, стихийно прорывающуюся сквозь оболочку повседневности. Нагель смог проникнуть в сокровенную жизнь городка и его обитателей. Он разгадал тайну седовласой девушки Марты Гудэ и городского юродивого Минутки, разглядев за елейной смиренностью бывшего моряка фальшивость его натуры. Нагель догадывался, что Минутка некогда сломал судьбу Марты и причинил этому простодушному и чистому созданию непоправимое зло. Он разгадал тайны и других обывателей, быстро поняв, какую роль играет поверенный Рейнерт в семействе доктора и почему у того не ладятся отношения с женой.

Собственно, Нагелю точно ничего не известно о драматических отношениях этих людей—все, что он думает о них, соткано из предположений, недомолвок, психологических догадок,

и тем не менее все достоверно, все влечется в таинственную нить жизни. Само по себе бытие есть тайна, удивительная и непостижимая, но из всех его таинств, полагал Гамсун, самая великая — это мистерия любви, сокрушительной, властной, неостановимой силы, не знающей милосердия, требующей от любящего всего его существа и часто — жизни. Бедный семинарист Карлсен, безнадежно и безответно влюбившийся в Дагни Хьеллан, не нашел ничего другого, как перерезать себе жилы на руках, оставив записку с мелодраматичной цитатой из Виктора Гюго, над которой иронизировал Нагель. Но и с ним самим дело обстояло не лучше.

Пронесшийся, подобно метеору, над сонной тишью городка и исчезнувший навсегда из жизни, Нагель сам поражен любовью. В известной степени он — человек ниоткуда: о его прошлом и его занятиях можно лишь догадываться по намекам, рассыпанным по роману. Вместе с тем — он сын своего времени, вобравший в себя его брожение и неустойчивость и тем самым обретающий как персонаж достаточную ясность. Он уже нес в себе аффектированность, нервозность своего времени, и когда его поразила, подобно удару молнии, любовь к Дагни Хьеллан, состояние аффекта, перевозбуждения, внутренней тревоги становится для него постоянным, необоримым, гибельным. Видимо, в прошлом он принадлежал к художественной богеме и пережил крушение веры в те духовные ценности, которые общество считало устойчивыми. Скептицизм овладел его вибрирующей душой, и точкой опоры в бытии для него могла стать только любовь и сопутствующая ей человеческая близость. Гамсун сталкивает Нагеля с несколькими женщинами. Одна из них — женщина из его прошлого — Камма, натура хищная, с эгоистической логикой, характер, точно увиденный и уверенно вычерченный Гамсуном. Отношения Нагеля и Марты Гудэ во многом напоминают отношения Ставрогина и хромоножки из «Бесов» Достоевского, только без оттенка мрачного самоистязания, которым был помечен странный брак русского барича и нищей юродивой.

Кроткая и застенчивая Марта вызывает у Нагеля сострадание, и порой он сам почти верил в свое фантастическое намерение соединить с нею собственную судьбу. Правда, в этом намерении был вызов Дагни Хьеллан, желание пробудить в ней инстинкт соперничества с Мартой, поэтому отношения Нагеля и седовласой Марты были двойственны и не до конца искренни. От них веяло надрывом.

Вместе с любовью к Дагни в Нагеле вспыхивают угасшие было надежды на возможность усмирить хаос противоречий в своей душе, найти точку опоры в жизни и смысл собственного

существования. Любовь Нагеля как бы изымает Дагни из заурядности повседневности, придает ей значительность, укрупняет ее образ, сообщает ее личности загадочность и привлекательность. Ее характер не раскрывается в повествовании полностью, но в нем ощущается мощь и стихийность, способность на сильное душевное движение. Она почти поддалась напору порывов Нагеля, но ее остановило от последнего шага ощущение непрочности натуры человека, звавшего ее с собой. И она не ошиблась. Нагель отказался от борьбы с жизнью, а значит, и за жизнь.

Сцена, изображающая его последние часы, когда в его сознании бред мешался с явью, прошлое—с настоящим и все существо Нагеля было охвачено безнадежностью, схожа по своему колориту со сценой самоубийства Свидригайлова из «Преступления и наказания», прочитанного Гамсуном незадолго до работы над «Мистериями». Гибель Нагеля—человека, потерявшего почву под ногами,—была неизбежной.

«Мистерии» показали, что сам Гамсун, столкнувшись со сложнейшими конфликтами духовной жизни переходного времени, останавливался перед ними как перед величайшей загадкой. От многих ходовых ценностей буржуазного общества он отрекся, новые ему еще предстояло искать. Написанные вскоре два памфлетно-критических романа—«Редактор Люнге» (1892) и «Новые всходы» (1893),—имеющие ныне чисто историко-литературное значение, подтверждали, что Гамсун эти ценности начал для себя определять.

В «Редакторе Люнге» он сатирически и зло изобразил беспринципного газетного дельца, мнящего себя духовным вождем народа. В романе отчетливо обозначилось презрение Гамсуна к буржуазному либерализму и его мягкотелой продажности и столь же отчетливо проявились народнические и национальные чувства Гамсуна, безоговорочно выступившего за полную независимость Норвегии и ликвидацию навязанной ей силой оружия в 1814 году Швецией унии, расторгнутой лишь в 1905 году.

Примечательно, что среди руководителей радикальных движений Европы наряду с именем Гамбетты писатель назвал имя Александра Ульянова. Факт этот показывал, что Гамсун пристально следил за политической жизнью своего времени и, в пору господства и расцвета эстетизма в искусстве, не замыкался в башне из слоновой кости. В «Редакторе Люнге» Гамсун досказал историю Дагни Хьеллан, вышедшей замуж за морского офицера и ставшей светской дамой. Но память об исчезнувшем Нагеле продолжала тревожить ее душевный покой.

«Новые всходы» были безжалостной сатирой на художественную богему и — шире — на художественную интеллигенцию, ту среду, из которой вышел Нагель. Писатель иронизировал над большими и малыми божками этой среды, гениями на час, истекающими завистью друг к другу. Он высмеивал паразитизм богемы, господствующую в ней аморальность, дешевый радикализм суждений. Некоторые надежды он возлагал на купечество, видя в нем деятельное начало норвежской жизни, и ввел в роман довольно сусальные образы благородных негоциантов. Однако эти надежды имели для него преходящий характер. Глубинные симпатии Гамсуна вызывал хранитель и поборник почвеннических традиций, сельский учитель Кольдевин, испытывавший недоверие к городской цивилизации и на примере судьбы своей любимой ученицы, погубленной богемой, убедившийся в справедливости собственных опасений. В этом романе почвеннические настроения Гамсуна лишь обозначились, но впоследствии они стали играть весьма важную роль в его творчестве.

Тенденциозная публицистичность, далекий от открытой тенденциозности артистизм и сгущенный психологизм определяли главные черты его последующих произведений девяностых годов. Если борение человеческих чувств и страстей было объектом изображения и исследования в «Пане» (1894) и «Виктории» (1898), то социальная проблематика главенствовала в драматической трилогии «У врат царства» (1895), «Игра жизни» (1896) и «Вечерняя заря» (1898), где отчетливо дало о себе знать недоверие Гамсуна к буржуазному прогрессу.

В романе «Пан», проникнутом высокой поэзией, Гамсун подходил к человеку прежде всего как к неотделимой части природы. Герой романа лейтенант Глан, живущий в лесу со своим охотничьим псом Эзопом, которого он принесет в жертву любви к Эдварде, истинную свободу, полноту счастья ощущает лишь там — среди полного одиночества, наедине с негаснущим днем северного лета, вслушиваясь в неспешное дыхание природы, ткущей вечную нить бытия. В цивилизованном мире он чувствует себя неуютно и неловко. Его «звериный взгляд» слишком пронизателен, чтобы не рассмотреть суетности помыслов и поступков людей, живущих обыденной жизнью рядом с ним, в рыбацьем поселке. Ему скучно среди общества, собирающегося в доме местного богача — купца Мака, среди банальных разговоров о вещах, не представляющих для Глана никакой ценности. Его характер, его личность являются воплощением мужественности и рыцарственности, чуждых меркантильному духу, воцарившемуся в повседневной жизни.

Всем сердцем ощущает Глан свое побратимство с природой, чей язык ему внятен и близок. Во многом его образ предваряет образы хемингуэевских охотников и спортсменов, уходивших к природе от жестокости общества. Однако у Глана нет столь открытого разлада с цивилизацией, как у них. Он более инстинктивное существо и не обладает трагическим опытом героев писателей потерянного поколения, прошедших через мировую войну. Но и ему ведомо чувство неустойчивости бытия—странное для него и необъяснимое. Мысль о дисгармоничности мира является для романа основной и сообщает ему своеобразную меланхоличность, которую не может пребороть даже органическое жизнелюбие писателя.

Настойчиво и непрестанно звучит в романе жгучий напев цевницы Пана, сотканный из дневного зноя и мерцающего света звездных ночей. Он сопровождает тему любви—главную в романе, и любовь возникает в нем как непреодолимая сила, не поддающаяся контролю рассудка, не знающая препон и пренебрегающая моральными предостановлениями. Ее властная стихия вовлекает в свой поток Глана, но, как всякая стихия, она опасна и, подобно языческому божеству, требует себе жертв.

В мировой литературе Гамсун занимает одно из самых видных мест как поэт любви, художник, открывший и изобразивший новые оттенки любовного чувства. «Пан» по праву может быть назван мистерией любви, ибо она определяет отношения и поступки героев романа.

Любовь соединяет Еву, жену сельского кузнеца, и лейтенанта Глана. Любовь превращает Еву из покорного и безропотного существа, живущего изо дня в день, в личность, обретающую некоторую самостоятельность. Ее не страшат притеснения ревнующего господина Мака, нет у нее страха и перед мужем. Она ничего не требует от Глана, не знает, чем завершатся их отношения, и просто об этом не думает. Она полна нежности и доверия к своему возлюбленному, и Глан, бывая с ней, испытывая очарование ее человеческой доброты, сознавая цельность ее натуры, ощущает счастье, хотя Ева не заполняет ни его сердца, ни его души. Стихия любви влечет за собой Еву и делает ее первой своей жертвой. Ева гибнет под обломками взорванной скалы.

Все трагически сплетается, соединяется в тугой нити жизни: порох под скалу подложил Глан, хотевший устроить необычное зрелище в час отъезда Эдварды с ее женихом, в час, когда ему предстояло потерять женщину, которую он любил мучительно и сильно. Пороховую мину поджег господин Мак, снесаемый муками ревности и рассчитавший, что в минуту взрыва Ева

окажется внизу, у подножья скалы. В мирные владения бога Пана врываются людские страсти — жестокие и непримиримые.

Эдварда — совершенно иной тип женщины, нежели Ева. Она — сильная натура, не способная раствориться в любовном чувстве, как Ева. Для нее любовь — это борьба, и она хочет победы в этой борьбе, подчинения и даже порабощения любящего. Поэтому их отношения с Гланом приобретают характер любовного поединка, к которому примешиваются обоюдная гордость и самолюбие. Смешение разнородных эмоций, стоящих за их любовью, — а Эдварда тоже любит Глана, — объясняет странность и нелогичность их поступков, непостижимых для стороннего наблюдателя, но обладающих внутренним смыслом. Желанием Глана во что бы то ни стало обратить на себя внимание Эдварды объясняется то, что на морской прогулке он бросил ее туфлю в воду. Желание получить от нее равную долю участия, которое уделяет Эдварда местному доктору, страдающему хромотой, толкает Глана на дикий поступок, и он, чтобы тоже охрометь, простреливает себе ногу. Ревность и презрение к жениху Эдварды, финскому барону, доводит Глана до полной потери самообладания, и он плюет своему сопернику в ухо. Однако этот поступок, совершенный Гланом в состоянии аффекта, не более странен, чем поступок Ставрогина из «Бесов» Достоевского, взявшего в дворянском клубе господина Гаганова за нос и проведшего его таким образом по залу. Импульсивность поступков Глана и Эдварды объясняется импульсивностью, взрывчатостью их любви. Даже в те минуты, когда их души готовы открыться друг другу, что-то удерживает их. В отношениях Эдварды и Глана была некая тайна, почувствованная писателем, но до конца не разъясненная. Психологический рисунок борьбы двух сильных характеров сделан Гамсунем точно и объективно. Он показал, что за внутренними метаниями Эдварды стоит нечто большее, нежели каприз или юношеская незрелость. Эдварда ждет от любви чуда, необычайной полноты жизни. Ожидание чуда препятствовало ей верно оценить настоящее — то есть любовь Глана. Этот оттенок присутствует в чувстве Эдварды, однако и он не объясняет, почему не смогла возникнуть ее человеческая близость с Гланом.

Роман, начавшийся как идиллия, как гимн красоте мира, завершился драматическим, полным печали финалом и не разрешил конфликтов, увиденных писателем. Гамсун, однако, досказал судьбы его главных героев. Стихия любви, поразившей Глана, взяла и его жизнь. В новелле «Смерть Глана» — своеобразном эпилоге романа — Глан, отправившийся на охоту куда-то в Индию, получает призыв от Эдварды, вышедшей замуж за

барона, вернуться к ней, на родину. Но План отвергает самую мысль о возможности новой встречи с женщиной, которую он продолжает любить. Но и жить без нее он не может. И он расстается с жизнью. Он делает все, чтобы вызвать у своего спутника по охоте, ограниченного и самолюбивого человека, ревность и гнев, и тот в конце концов пускает в Плана пулю. Ситуация этой новеллы Гамсуна повторена Хемингуэем в новелле «Недолгое счастье Фрэнсиса Макомбера», тоже завершившейся смертью героя.

К истории Эдварды и ее отца Мака Гамсун вернулся в романах «Бенони» и «Роза», написанных спустя десяток лет, в 1908 году.

Смысл образа Плана, который предпочел жизнь на природе миру цивилизации, делает более ясным философия драматической трилогии Гамсуна — следующего за «Паном» крупного его произведения. Сюжет этой трилогии довольно разветвлен, и действие перегружено побочными мотивами. Вторая ее часть — «Игра жизни» — отдает мелодраматичностью, и в пьесу входит символика — тот художественный элемент, который Гамсун не принимал и критиковал у Ибсена. (Драматургическая рыхлость вообще свойственна пьесам Гамсуна: романтической драме «Мункен Вендт» (1902), сюжет которой относится к концу восемнадцатого века, не менее экзотичной по материалу и столь же романтической по интонации «Царице Тамаре» (1903), в которой отразились впечатления Гамсуна от путешествия по Кавказу, и последней его пьесе «У жизни в лапах» (1910), выдержанной в духе психологизма.)

Драматическую трилогию объединяет образ Ивара Карено, свободомыслящего философа, вступившего в открытую схватку с господствующим общественным мнением и устоявшимися взглядами. Образ этот, а также отношение Гамсуна к теоретизированиям его героя могут быть верно оценены лишь при подходе к трилогии как цельному произведению, ибо в первой ее части и в заключительной Ивар предстает в совершенно разных ипостасях. Трилогия Гамсуна внутренне полемична, — в ней продолжается старый его спор с творчеством Ибсена, и Карено может быть по праву назван анти-Брандом. Если Бранд и его возможный прообраз — датский философ и теолог Сёрен Киркегор, один из предтеч современного экзистенциализма, могут рассматриваться как образцы последовательной верности своим убеждениям, то Карено, представший в первой части трилогии решительным и непреклонным бойцом, остановившимся перед воротами царства, которое ему предлагали, ибо войти туда он мог, лишь изменив своим взглядам, в завершающей части трилогии, постаревший на двадцать лет, начина-

ет считать свои воззрения поры юношества заблуждением и охотно становится депутатом стортинга, принимая заодно богатство некогда оставившей его жены, пожелавшей вернуться в лоно законного супружества и получить наконец прочное общественное положение. История Карено — это история духовного предательства. Однако чему же изменяет Карено?

Гамсун очень ясно показал механизм подкупа и подчинения строптивного интеллектуала правящими классами. Ивару предлагают блестящую ученую карьеру, если он поступит так же, как его коллега Йервен, переделавший свою диссертацию в угоду господствующей точке зрения. Карено дорога его теория, поэтому он, теряя все — карьеру, имущество, жену, — указывает на дверь тем, кто хотел его подкупить. Но теория его малооригинальна. Карено — законченный нищанец, презирающий английский либерализм, Джона Стюарта Милля, позитивизм. Он ненавидит пролетариат, буржуазную мягкотелость болтающих о гуманизме университетских профессоров и жаждет прихода нового Цезаря, повелителя человеческих стад. Он поддерживает молодежь только потому, что они молоды, и объявляет войну старикам. Единственное, что оригинально во взглядах Карено как сына крестьянской страны, — это тезис о необходимости уничтожить пролетариат путем введения высокого налога на хлеб и всяческого поощрения крестьянства. Карено даже не приходит в голову мысль о том, что голодающие пролетарии могут подвергнуть и его теорию, и систему, которая могла бы принять эту теорию, самой верной и сильной критике — критике оружием, — настолько он далек в своих умствованиях от живой реальности.

По сути, Карено выступает против капиталистического пути развития и ратует за сохранение аграрного образа жизни, где нет места пролетариату как продукту ненавистного ему капитализма. Теория Карено представляет собой архиреакционную утопию. Взгляды его нельзя полностью отождествлять со взглядами самого Гамсуна, который уже в «Мистериях» преодолел влияние нищанства. Однако путаница в представлениях Карено об исторической роли и месте крестьянства и пролетариата отражала противоречия собственных воззрений Гамсуна, который до конца жизни так их и не преодолел.

Неприятие буржуазно-демократических форм общественного прогресса, энергично проникавшего в разнообразные области социальной жизни Норвегии, понуждало Гамсуна искать нравственные и духовные ценности вне сферы действия и влияния новых факторов развития, менявших облик его родины. Этим и обуславливалось возникновение в его творчестве образа лейтенанта Глана, человека, уединившегося от цивилизации

в мир природы, и то значение, какое приобретали в философии жизни Гамсуна эмоции, и прежде всего любовь как не только порабащающее, но и облагораживающее, возвышающее человека жизненное начало. Квинтэссенцией подобного рода отношения Гамсуна к любви явилась его лирическая повесть «Виктория» — одно из самых значительных произведений мировой литературы новейшего времени, посвященных любовной теме.

Прост, драматичен и емок сюжет повести, рассказывавшей о глубокой, долгой и несбывшейся любви двух людей, разделенных сословными преградами, имущественными интересами, ложной моралью. Сын деревенского мельника Юханнес Мёллер и Виктория, дочь владельца некогда богатого, а ныне приходящего в упадок поместья, образуют как бы два полюса вольтовой дуги, между которыми бьется и сверкает негаснущее пламя любви. Проходят годы, ветвистее и выше становятся деревья у мельничного пруда, ветшают залы поместья; сын деревенского мельника вырастает и становится знаменитым писателем, слава его доходит до родных мест, где хозяин хиреющего поместья собирается выгодно выдать замуж Викторину; сам Юханнес заключает помолвку с Камиллой, девушкой, которой он некогда спас жизнь; от случайного выстрела на охоте гибнет жених Викторини; распадается помолвка Юханнеса, ибо Камилла полюбила другого человека; сгорает подожженное отцом Викторини поместье, где гибнет и сам помещик, и Виктория остается одна; жизнь, обстоятельства, люди, гордость по-прежнему мешают Юханнесу и Викторини соединиться. Но пламя любви горит все с той же мощью, и свет его озаряет последние дни умирающей Викторини, и ее письмо к любимому — чистое, исполненное печали прощание с миром.

Как всегда, у Гамсуна образы героев, даже второстепенных: соседа Юханнеса, старого учителя-педанта, родителей Юханнеса и Викторини, — выписаны реалистически и сочно, психология их очерчена с присущей его искусству точностью. Перемены в чувстве Камиллы к ее жениху Юханнесу изображены без морализаторства, как естественное житейское явление, ибо любовь всегда права. Так считал не только сам писатель, но и его герой, простивший Камиллу и понимающий, что творится в ее юном сердце.

Смело ввел Гамсун в свою повесть обнаженные социальные мотивы, не опасаясь, что они прозвучат диссонансом в его прозаической поэме о любви. На деле они лишь углубляли драматизм происходящего. Конфликты, вспыхивавшие между Юханнесом и Отто — нареченным Викторини, на деньги которого рассчитывал ее отец, порождала не только ревность. За ними стояла извечная вражда крестьянина и дворянина, и симпатии

писателя были на стороне сына мельника, чья натура дышала силой и плебейской гордостью.

Любовь постоянно влекла Викторию и Юханнеса друг к другу, несмотря на все препоны, и Виктория, пренебрегая условностями, привитыми ей воспитанием и привычным образом жизни, сама решилась открыто говорить Юханнесу о своем к нему чувстве. И не в иррациональной фатальности любви лежали на сей раз истоки их драмы—они таились в объективных условиях жизни.

В «Виктории» событийная сторона повествования имеет подчиненный характер,—центр его тяжести лежит в изображении эмоций и психологии главных героев повести. Богатая оттенками картина душевной жизни Виктории, вынужденной подавлять свое огромное чувство к Юханнесу во имя интересов собственной семьи, благородство и женственность ее натуры, постоянная борьба с самой собой делают ее образ привлекательным и поэтичным.

Любовь наполняет смыслом и содержанием существование Юханнеса, дает ему силы выдерживать удары судьбы. Она питает его творчество и понуждает постоянно обогащать свой дух. Напряженность жизни сердца Юханнеса передают в повести его лирические внутренние монологи, дышащие страстью и волнением.

За обманчивой простотой поэтики повести стоит зрелое и утонченное искусство Гамсуна. «Виктория» как художественное целое обладает довольно сложной структурой. Объективное повествование перемежается в ней со вставными новеллами, в динамически развивающийся сюжет вкраплены лирические отступления, и одно из них—некогда знаменитая хвала любви—по сути является стихотворением в прозе. С точки зрения эстетических норм, выработанных современной зарубежной литературой, повесть Гамсуна может показаться несколько манерной и сентиментальной. Но в ней есть качества, ставшие редкими для современной литературы: в повести сильно и открыто звучит голос чувства, искренний и внятный, отлившийся в законченную художественную форму.

«Виктория» завершила круг произведений Гамсуна, в которых господствовал лирический элемент. В последующих его романах повествование становилось более эпичным и объективным. Новую фазу его художественного развития обозначил небольшой роман «Мечтатель» (1904)—своего рода картинка нравов и быта маленького рыбацкого поселка, написанная с мягким юмором. Она могла бы стать даже эмпиричной, если бы не образ главного героя, телеграфиста Роландсена, прослывшего за свои экстравагантности и беспорядочный образ жизни

сумасбродом и мечтателем. Наделив своего героя независимостью суждений об окружающих, Гамсун сохранил критический подход к той среде, которую изображал, и не растворился в ней, как это случалось с писателями-натуралистами. Но критицизм его был довольно умеренным: в конце концов Роландсен, изобретший способ изготовления клея из рыбьих костей, благополучно выбирается из житейских передряг. Счастливая развязка «Мечтателя» показывала, что Гамсун отходил от радикализма взглядов героев своих более ранних произведений — Нагеля и Карено, выражавших несогласие с существующим жизнеустройством, и начинал рассматривать жизнь как нечто такое, что нельзя изменить коренным образом. В ней могут происходить всевозможные события, разыгрываться драмы и трагедии, тенденции ее движения могут обладать разным характером — одни нести благо, другие — зло, но истинной ценностью, считал Гамсун, обладают лишь те, которые ближе к ее первоизданым истокам, к исконной мудрости матери-земли. Подобного рода умонастроение порождало у Гамсуна приверженность и симпатии к патриархальным формам жизненных отношений, что определило общую идейную атмосферу романов «Бенони» и «Роза».

Словно не в силах расстаться с впечатлениями молодости, Гамсун снова в этих сюжетно связанных друг с другом романах возвращался к персонажам своих ранних произведений, и в первую очередь к образу купца Мака. Он пришел в повествование из старых добрых времен, когда в поселках и городках Норвегии крупные торговцы, державшие в своих цепких пальцах всю округу, представляли собой власть не менее влиятельную, нежели власть государственная. Дом господина Мака был открыт для гостей, в его лавках продавались городские и заморские товары. Он скупал рыбу, давал деньги и продукты в кредит. Слово его было законом, а дом и лавка — центром жизни округа, где узнавали новости, цены на муку и рыбу, где суетились деревенские девушки, которым господин Мак вполне патриархально дарил свою благосклонность, что ни у кого не вызывало неудовольствия, а воспринималось как нормальное явление.

Гамсун с мягкой иронией, но и с уважением изображает этого умного, циничного и тертого дельца, но чувствует, что время Мака уже проходит. Пока рядом с ним возникает фигура Бенони Хартвигсена, удачливого и добродушного рыбака, которому посчастливилось загнать в свой невод огромный косяк сельди, с чего и началось его возвышение. Он пока не опасен для Мака, но без денег Бенони он уже не может вести дела, и они становятся компаньонами. Бенони также патриархален в своих

отношениях с людьми, ему приятно ощущать собственную значительность, оказывать покровительство и принимать знаки уважения от односельчан. У него хватает смекалки на то, чтобы Мак его не разорил, но он не настоящий делец. Он тянется к внешним признакам богатства — строит себе веранду с цветными стеклами, покупает ненужную ему мебель и в конце концов даже женится на Розе, пасторской дочке, что было уже немало. При Маке и Бенони людям можно было жить — такова одна из важных мыслей романа, — они были коренные обитатели этих мест и знали все про родной край и своих земляков. В этом была их сила. Кто же, как прежний муж Розы, сын местного пономаря Николай, покидал родной край, тот становился отрезанным ломтем, человеком без корней в жизни. И Николай кончил плохо, — он утопился, потому что нигде — ни на родине, ни на чужбине — не чувствовал себя на месте и никак не мог устроить своих дел. Беспочвенность Николая причинила много несчастий Розе — цельной натуре, воспитанной и мыслившей в границах патриархальных этических норм.

Есть в романах еще один персонаж, утративший жизненную точку опоры. Это Эдварда, ныне баронесса, и Гамсун относится к ней столь же неприязненно, как к сбившемуся с пути Николаю. Отвергнув то подлинное, естественное, исконное, чем была любовь Плана, баронесса не в состоянии заполнить пустоту своего существования. В погоне за призрачным чудом любви, упущенным ею в юности, она предается варварским радениям с бродягой-лопарем, в лесной глуши, перед безобразным языческим божком. Так нравственной деградацией завершается кривая жизни Эдварды, и никто в этом, кроме нее, не повинен.

Гамсун сознавал, что изображенный им в этих романах мирок и люди, его населяющие, принадлежат уже временам уходящим. То новое, что возникало в жизни, необходимо было увидеть и разгадать. Две небольшие повести — «Под осенней звездой» (1906) и «Странник, играющий под сурдинку» (1909) — были посвящены изображению конфликта, который при внешней его тривиальности показался Гамсуну важным.

В этих элегичных по тону повестях художник, которому уже перевалило за пятый десяток, снова, как в годы юности, отправляется бродяжить по родной земле и рассказывает неспешно, с чувством юмора о том, что ему попадается на дорогах сельской Норвегии. Зорко увиденные и метко схваченные разнообразные типы людей проходят перед ним. Он движется от имения к имению, перебиваясь случайной работой: то валит лес, то проводит водопровод в пасторский дом, встречает своих старых знакомцев по прежним странствиям. Жизнь разворачивала перед ним свой пестрый свиток, и он

внимательно всматривался в ее новые черты. Из потока событий, прошедших перед ним, он выделил одно: драму фру Фалькенберг, историю ее гибели. Со стороны могло показаться, что эта история—финал заурядной супружеской измены, эпизод из газетной криминальной хроники. Но Гамсун ощутил в отношениях капитана Фалькенберга и его жены нечто большее, некую тайну, нечто сходное с отношениями Глана и Эдварды. Тайна человеческой закрытости, неспособности людей, даже любящих друг друга, прорваться через эту закрытость, преодолеть силы взаимного отталкивания представлялась Гамсуну весьма важной и значительной, и он изобразил ее в романе «Дети века» (1913) и его продолжении— «Местечко Сегельфосс» (1915)—как наиболее характерную особенность человеческих отношений и роковую черту детей новой эпохи.

Сильнее, чем где бы то ни было раньше, сказалось в повестях Гамсуна чувство растворенности человека в потоке жизни. Для него человек не есть активное начало жизни, меняющее ее или преобразующее. Нет, он просто странник, проходящий по ее дорогам, и единственное, за что он должен благодарить бытие, это самый факт своего существования, ибо жизнь сама по себе есть милость и щедрая награда за все печали и невзгоды, которые встретит человек на своем пути. Позже, в романе «Последняя глава» (1923), он выразил свою точку зрения на место человека в мире еще резче: «Да, все мы бродяги на земле». Естественно, что подобного рода мировосприятие отдаляло Гамсуна от каких бы то ни было идей, связанных с социальным реформаторством. Свойственная ему философия жизни предопределила и поэтику его произведений.

Он строил свои романы как своего рода подобия жизненного потока, поэтому хроникальность была ведущим принципом их организации. Сюжет у него последовательно двигался во времени и представлял собой конгломерат многих эпизодов, подчас кажущихся не очень значительными и лишь в совокупности дающих обобщенную картину мира. Собственно, и для человека жизнь, которую он проживает, также представляется совокупностью важных и незначительных событий, и Гамсун очень искусно вызывал своими романами именно подобное ощущение от рассказанного. Вместе с тем он никогда не низводил свое повествование до натуралистического воспроизведения действительности, очень тщательно отбирая жизненный материал, фокусируя его, уплотняя в больших и малых эпизодах и достигая тем самым очень выразительного эстетического эффекта. В известной мере его романы предвосхищали поэтику романа-потока, распространившегося в годы между двумя ми-

ровыми войнами. Гамсун редко концентрировал в поздних своих романах повествование вокруг одного героя, ведя несколько параллельных, а порой и почти независимых друг от друга сюжетных линий. Но идейно-эстетический центр всегда присутствовал в его романах, обобщавших сущностные стороны жизни, чего нередко не доставало роману-потoku позднейших времен. К своим героям Гамсун относился без сентиментальности, не смягчая их слабостей и недостатков, но и не впадая при этом в натуралистическую фактографию.

Его романы о местечке Сегельфосс были построены по хроникальному принципу. Гамсун рассказал в них историю возвышения и заката двух богатых семейств, чьи судьбы олицетворяли различные типы отношения к общественному прогрессу. Одновременно он возвращался в них к издавна занимавшей его теме человеческой закрытости, которую он разрабатывал в ряде предыдущих романов и новелл. Но если ранее он рассматривал эту тему вне прямой связи с особенностями исторического времени, то в первом романе сегельфосского цикла он прямо связывает проблему разобщенности индивидуумов со спецификой нового этапа общественного развития, считая своих героев типичными детьми новой исторической эпохи. Отношения владельца поместья Сегельфосс лейтенанта Виллаца Хольмсена и его жены фру Адельхейды — это характерные для многих гамсуновских персонажей отношения любви и взаимного отталкивания, своего рода любви-вражды, которая коверкает их жизни, приводит к разрыву и, как это случилось с героями повести «Странник, играющий под сурдинку», — к трагической катастрофе. По сути, в этом конфликте, к которому Гамсун навязчиво возвращался, он уловил и запечатлел характерную особенность человеческих отношений в буржуазном обществе, которую современные социология и философия культуры определяют как некоммуникабельность. Этот довольно сложный фактор, действующий в современной социальной психологии, имеет своей первоосновой общественный атомизм, сосредоточенность индивида на собственном интересе, что порождается спецификой структуры собственнического общества. Фактор этот в опосредствованной форме преломляется в индивидуальной психологии и замыкает человека в границах собственного субъекта, препятствуя ему установить открытый душевный контакт с другим субъектом. Гамсун не до конца проник в социальную природу некоммуникабельности, хотя описал ее характерные проявления, и не полностью разгадал социальный механизм, порождающий этот фактор. Однако, будучи художником-реалистом, он не считал, что причины некоммуникабельности лежат в самой человеческой натуре, и искал объяснения поразившему его

воображение явлению в объективных условиях самой жизни. Правда, он делал это на свой лад.

Лейтенант Виллац Хольмсен, разоряющийся помещик, которого от окончательного краха спас лишь найденный клад, некогда зарытый его предком, органически сросся с Сегельфоссом, его землей и лесами, его обычаями и традициями, его почвой. Даже обедневший, гордо несущий свою нищету, оставленный женой, полузабытый родным сыном, покинувший свой помещичий дом, Виллац Хольмсен пользовался непререкаемым авторитетом и уважением у местных жителей, ибо он олицетворял собой патриархальный порядок и традицию, к которым люди привыкли. Его жена, высокомерная, эгоистичная фру Адельхейда, была для Сегельфосса человеком чужим, родом из Ганновера, и ее привычки, интересы, вкусы, наклонности — короче, все ее существо было внутренне чуждо и суровой сегельфосской земле, и ее владельцу.

То значение, которое Гамсун придавал органической связи человека с родной почвой, показывал другой важный образ романов сегельфосского цикла — образ торговца Тобиаса Хольменгро, прибывшего в Сегельфосс откуда-то из-за океана, как он говорил, из Мексики. Он привез с собой не только двух детей, рожденных от индианки, не только деньги, но и радужный ореол загадочности, сказку дальних стран, пьянящего ветра странствий, влекущего за серый горизонт родного моря, волнующего умы сегельфосских обывателей. Он олицетворял деятельный дух нового времени, его предприимчивость, широту его либерализма, веру в прогресс. Он вносит в Сегельфосс оживление, приметы современности. Но на деле Хольменгро — человек, давно утративший связь с родной землей, выдернувший из родимой почвы свои корни и не могущий прижиться на ней, несмотря на все старания. Перед обедневшим Хольмсеном народ ломал шапки и замолкал при первом его слове. Богатого Хольменгро мало кто уважает, с ним постоянно враждуют рабочие, местная либеральная газетка нападает на него как на эксплуататора и капиталиста. Радужный ореол, некогда окружавший его, тускнеет, и разорившийся негоциант скромно, без помпы покидает Сегельфосс с тем, чтобы больше в него не возвращаться.

Кто же устоял перед превратностями судьбы и времени в местечке Сегельфосс? Теодор из Буа, местный лавочник, пронырливый торговец, постепенно разбогатевший, — плоть от плоти сегельфосской земли. Гамсун изобразил и его, и его отца, паралитика Пера, безо всякой симпатии, даже иронично, но мысль о значении связи человека с родной почвой становилась для него основополагающей.

Незадолго до первой мировой войны Гамсун со всем семейством покидает город и перебирается на постоянное жительство в деревню, сначала к себе на родину — в Хамарей, а позже на юг, в Гримстад. Это его решение означало нечто большее, нежели простую перемену места жительства и увлечение крестьянским хозяйством. Норвегия была аграрной страной, никогда не знавшей крепостного права, и свободный крестьянин-хуторянин являлся ведущей силой ее социального развития до той поры, пока капиталистические отношения не стали охватывать все области общественной жизни страны. Для Гамсуна крестьянство с его патриархальными традициями, органической связью с землей, родной почвой было основным фактором социальной стабильности, гарантом национальной самобытности норвежской культуры, источником духовного здоровья народа. Ко всем событиям национальной и мировой истории современности он начал подходить с позиций консервативного крестьянства, делая его интересы единственным мерилom ценности материального и духовного прогресса. Как и патриархально-консервативное крестьянство, Гамсун с подозрением и недоброжелательством относился к городу, к городской цивилизации. Индивидуалистические настроения хуторского крестьянина питали индивидуалистические настроения самого Гамсуна. Они лежали в основе его неприятия коллективистского мировоззрения пролетариата и негативного отношения к социализму и организованной борьбе рабочего класса.

Ход исторических событий, казалось, подтверждал верность мировоззренческих принципов Гамсуна: разразившаяся мировая война была вызвана капитализмом, буржуазной демократией — всем тем, к чему Гамсун всегда относился с враждебностью. Война и порожденные ею бедствия в его глазах были следствием неправильности самого исторического процесса, аномалией, вызванной тем, что городская культура, машинная цивилизация, индустриальный прогресс искажают человеческую натуру, лишают человека естественных связей с землей и трудом на земле. Однобокость прогресса вызывает в людях дух брожения, недовольства, протеста и враждебности. Гамсун считал своим долгом дать позитивный ответ на вопрос о тех силах, которые могли бы придать историческому прогрессу правильное развитие. Таким ответом стал для него роман «Соки земли» (1917) — одно из самых монументальных эпических произведений мировой литературы двадцатого века.

Повествование в этом романе разворачивается столь же неторопливо и спокойно, как нетороплива жизнь его героев.

В пустошь, никем не обработанную лесистую местность с удобной землей, принадлежащую государству, приходит человек по имени Исаак и начинает на ней трудиться—валит лес, корчует пни, строит себе жилье и пашет отвоеванную у леса и валунов землю. И так как человек не может быть один, к нему по проложенной через болото тропинке приходит женщина—ладная, статная, по имени Ингер. Сначала она занимается к Исааку в работницы, но потом становится женой. Может быть, она не пришла бы к Исааку из долины, но у нее заячья губа, и это мешало ей выйти в родной деревне замуж. Исаака ее заячья губа не смущает, и они с Ингер начинают жить вместе, рожать детей, возделывать пашню, ходить за скотиной, которая постепенно у них заводится. Тяжело, словно мельничный жернов, движется Исаак, но земля от трудов его рук гущеет, богатство его накапливается, и он, выкупив у государства большую пустошь, становится ее хозяином.

Просты, но не примитивны мысли и чувства Исаака и Ингер, как проста их наполненная трудами и несознанным счастьем жизнь. Но вот Ингер задушила новорожденную девочку, уродившуюся с заячьей губой, и Исаак на семь лет остается один, так как Ингер отправляют в тюрьму. Это прискорбное событие, однако, не ломает их жизни: хутор, названный ими «Селланро», богател, сыновья вырастали, Исаак терпеливо ждал возвращения Ингер. Правда, после возвращения из тюрьмы, где ей было совсем неплохо и где ей даже зашили губу, Ингер, приобщившись к городским нравам, стала рассеянной, легкомысленной, не все ей было по душе в деревне. Но постепенно круговорот сельского обихода вновь вовлек ее в свою орбиту, и в ее смятенной душе все стало на место.

Соки земли, однако, питают лишь тех, кто хранит верность земле. Сиверт—старший сын Исаака—остался, как и его отец, крестьянином, и дни его текли спокойно. А вот его брата Елисея увлекла городская жизнь: он обучался в городе, привык к нему, вернувшись домой, завел торговлю и, если бы не отцовская помощь, давно бы прогорел. Все он делал не всерьез, поверхностно. Корни его были вырваны из родной почвы, и ему не осталось ничего другого, как отправиться в Америку на поиски счастья, где он и сгинул. Вот и Варвара, крестьянская девушка, тоже теряет себя: свет ночных городских улиц, блеск витрин, флирты с приказчиками из магазинов, нафабранными ловкими молодцами, сбили ее с толку, и она никак не может прибиться к дому.

Последовательно, не прибегая к открытой публицистике, оперируя чисто изобразительными средствами, Гамсун прово-

дит мысль о преимуществе крестьянского образа жизни над городским. Все его герои, хранящие верность земле, твердо переносят жизненные невзгоды и испытания. Те, кто отрывается от родной почвы, приобретают беспокойство, неустойчивость, становятся несчастными людьми.

Роман «Соки земли» был написан мощно, и в нем отчетливо проступила ставшая характерной для Гамсуна склонность к универсализации образов героев, сообщения им дополнительного значения, далеко выходящего за рамки конкретно-бытового жизнеподобия. Герои романа обладали монументальностью и эпическим полнокровием, даже второстепенные,— вроде живучей и пронырливой сельской сплетницы Олины. Под конец романа Исаак обретал величественность, наподобие библейских патриархов, и превращался в своего рода символ или олицетворение исконной силы и крепости крестьянства.

В годы величайших социальных потрясений, в дни послевоенной разрухи роман Гамсуна прозвучал как песнь мира, как послание к истстрадавшимся людям, призывавшее их вернуться к мирному труду от полей сражений, изъязвленных воронками от снарядов, взрытых бесконечными окопами. То, что «Соки земли» были по сути консервативной утопией, бравшей под сомнение целесообразность прогресса как такового, не сразу становилось ясным, как не сразу раскрывалась антицивилизаторская тенденция эпоса Гамсуна. Человечество не могло разрушить города, забросить технику и вернуться к сохе и серпу. Да и само крестьянство не стояло в стороне от движения культуры и цивилизации, меняясь вместе с изменениями общества. Для Гамсуна крестьянство представляло как социально единая сила, правда, он различал в нем богатых и бедных, вроде пустякового мужичишки Бреде Ольсена, легкомысленного и многодетного, но экономическое неравенство крестьян зависело только от их прилежания и трудолюбия. В утопическом романе, не лишенном идилизма, подобного рода оценка ситуации могла быть возможной, но для реалистической программы жизнеустройства, на что роман Гамсуна претендовал, она явно не годилась, обнажая кричащие слабости исторического мышления писателя. За «Соки земли» Гамсун получил Нобелевскую премию, и авторитет его как художника был чрезвычайно велик. Творческие способности его не слабели с годами, но в поздних его произведениях разрыв между силой изобразительности и узостью исторического мышления не уменьшался. Критически относясь к буржуазному обществу, он игнорировал множественность тенденций, существовавших внутри исторического процесса, в том числе и тех, которые были способны ликвидировать и устранить

недостатки общественного устройства, порождаемые капитализмом.

Новая, сложившаяся после мировой войны действительность вызывала у Гамсуна крайне скептическое к себе отношение. Его первый послевоенный роман «Женщины у колодца» (1920) был проникнут горечью и печалью. Это одна из самых сумрачных его книг. Материал романа — повседневная жизнь небольшого городка с ее мусором и дрызгами, мелкими происшествиями и событиями — как бы почерпнут писателем из разговоров местных женщин, судачащих о том о сем у городского колодца и перемывающих всем косточки. Но что-то их болтовня слишком смахивает на болтовню Парок, ткущих нити человеческих судеб, а мелочный быт городка поднимается до масштабов символа современной жизни. В ней «люди наталкиваются друг на друга, переступают друг через друга, одни падают наземь и служат другим мостом, иные гибнут — это те, которые трудней всего переносят толчки, наименее способны к сопротивлению, — и они гибнут. Без этого не обходится! Но другие цветут и преуспевают. В этом и заключается бессмертие жизни! И все это было известно тем, у колодца». Скептический стоицизм этого суждения, горькую иронию, в нем заложенную, раскрывает центральный персонаж романа — универсализированный, приобретший символическое значение образ Оливера Андерсена, жутковато-гротескной фигуры, собирающей вокруг себя события городской жизни и являющейся ее отражением. С ним, некогда бойким молодым матросом, во время одного из плаваний произошло несчастье: ему раздробило ногу и таз, и он вернулся домой калекой. Так он и проковылял по жизни и городским улицам на деревяшке — ни мужчина, ни женщина, нечто среднее, — расплывшееся, безобразное, слюнявое существо, хитрое, пустое, бесплодное, похожее на липкую медузу. Правда, он вступил в брак со своей прежней подружкой Петрой, у них даже появляются дети, и много детей, но не всех их отцов Оливер знает и терпит по необходимости легкомыслие своей жены, лишь изредка учиняя ей скандалы.

Тема некоммуникабельности людей, свойственная Гамсуну, приобрела в этом его романе вещественное выражение, впрочем, такое же, как и в написанном несколько лет спустя романе Хемингуэя «Фиеста».

Сделав кастрата Оливера своеобразной персонификацией современной ему жизни, Гамсун с недвусмысленной ясностью отрицал творческий или позитивный характер перемен, происходивших в ней под воздействием материального, индустриального прогресса. Еще более отчетливо его скептическое отношение к буржуазной цивилизации сказалось в романе «Последняя

глава», сходном и по материалу, и по некоторым ситуациям с «Волшебной горой» Томаса Манна. Действие в обоих этих романах протекало по преимуществу в санаториях, являвшихся уменьшенными, уплотненными подобиями общества.

Выросший рядом с хутором Даниеля из Утбю санаторий «Торахус» являлся не только форпостом современной цивилизации среди горных лугов и одиноких хуторов, где мужчины ухаживали за скотиной и возделывали землю, а женщины пряли шерсть. Он походил на своего рода ковчег, где собирались люди, ищущие спасения от потопа современной цивилизации, от ее невзгод и противоречий. Если на хуторе Даниеля все прочно, первозданно: и еда, и старая крепкая мебель, и здоровые чувства, и помыслы владельца хутора, то в санатории «Торахус» все зыбко, обманчиво, фальшиво. Не без основания деревенским жителям казалось, что там, в санатории, «...люди, разгуливающие по дворам и по дорожкам, были не настоящие люди».

Больных в санатории кормят консервами, его владельцы — энергичные, но довольно продувные дельцы — расхваливают и климат и источники «Торахуса», приписывая им лечебные свойства, хотя местность, где стоял санаторий, ничем не была примечательна. Местность как местность. Пациенты санатория, увы, тоже не то, за что они себя выдают: английская аристократка, миледи, оказывается бывшей танцовщицей, обладающей компрометирующими одного из ее возлюбленных письмами. Не сумев продать их никому на предмет шантажа, она съезжает из санатория, а потом обворовывает свою покровительницу, с которой сдружилась в «Торахусе». Некий финский граф, по фамилии Флеминг, на деле — выходец из скромной финской деревушки, «позаимствовавший» из кассы банка, где он служил, крупную сумму денег себе на лечение. В остальном он вполне достойный и даже мужественный человек.

Разговоры обитателей санатория, их быт, развлечения, флирты воспроизведены Гамсуном резко сатирически, и его сатира близка сатире «Волшебной горы». Особенно критично относился Гамсун к ректору Оливеру, пользовавшемуся славой крупного ученого и филолога, болтающего либеральный вздор о просвещении народа и набивающего мозги своих учеников мертвой книжностью. Ректор Оливер имеет известное типологическое сходство с господином Сеттембрини из романа Томаса Манна. Критично относится Гамсун и к другому пациенту санатория, господину Магнусу, прозванному «Самоубийцей», ибо он, испытав личную драму, начинает носиться с мыслью о том, чтобы покончить с собой. Его теоретизирования о метафизике смерти напоминают рассуждения, позже развитые экзистенциалистами, о том, что свой смысл существование обретает лишь в смерти. Но виталист Гамсун,

признававший жизнь единственной действительностью бытия, весьма ироничен по отношению к подобного рода философам. В финале романа он поэтому примиряет Самоубийцу с жизнью.

Идею несовместимости, конфликтности искусственного мира современной цивилизации с естественными, природными силами жизни Гамсун проводит в своем романе весьма последовательно. Эту конфликтность сначала раскрывает символический эпизод, изображавший, как служащие и пациенты санатория раздразили и привели в ярость быка, купленного у Даниеля для улучшения стола больных, которым прискучили их ежедневные консервы. Налитое силой, могучее животное вырывается из рук своих погонщиков и кидается на толпу праздных зрителей, приводя ее в ужас, и сбрасывает с кручи одну из пациенток санатория, несчастное, бессловесное создание. Оттого, что гибнет слабый и беспомощный человек, драматизм происшедшего лишь усугубляется.

Затем конфликтность между естественностью и, следовательно, как считает Гамсун, нормальностью деревенской жизни и неестественностью, ненормальностью современной цивилизации проступает в отношениях главных героев романа — хозяина хутора Даниеля и фрекен д'Эспар, одной из пациенток санатория. Фрекен — мятущееся существо, бьющееся в тенетах города, не находящее себе покоя и места в жизни. Писатель ставит ее в ситуацию, где ей надо выбирать образ жизни: или остаться с сомнительным графом Флемингом, или выходить замуж за Даниеля, который ее полюбил.

Жизнь с Флемингом сулила ей призрачное полуавантюрное существование среди обманчивых ценностей и приманок современной цивилизации. Брак с Даниелем означал обретение смысла бытия, ибо дело, которым был занят Даниель, — это освященный веками труд земледельца, обрабатывающего мать-землю. Колебания фрекен д'Эспар оборвал винтовочный выстрел Даниеля, сразивший наповал мнимого графа. Даниель попадает в тюрьму, а фрекен д'Эспар с сыном, которого признал Даниель, хотя это и не его ребенок, остается на хуторе ждать будущего своего мужа. Так ее существование обретает смысл и цель.

Роман «Последняя глава» писался Гамсуном в сложное историческое время, когда над миром пронесся ураган войны и революций. Здание старого мира дало трещину, и фундамент его был подорван. И хотя рост революционных настроений в Скандинавии и на родине Гамсуна не был столь интенсивен, как в остальной Европе, будущее капиталистического общества рисовалось писателю достаточно мрачным. Он завершил свой роман апокалиптической картиной пожара санатория «Тора-

хус», сопровождавшегося гибелью его обитателей. Вечной и неизменной была лишь жизнь, земные заботы и труды.

Время, однако, делало свое: история, общественные отношения, человеческая психология не стояли на месте — они менялись, и этих перемен не мог не замечать Гамсун. Менялась и норвежская деревня, и городки, лежавшие у шхер, — все становилось другим, чем во времена Мака, Хольменгро или в ту пору, когда женщины вели свои нескончаемые разговоры у колодца. Еще раз попытался Гамсун уловить облик того, что меняет историю и зовется прогрессом. Если раньше он представлял в обличье Оливера, стучащего деревяшкой по городским мостовым, то на сей раз он предстал в виде предприимчивого, энергичного, ловкого Августа — мастера на все руки, главного героя трилогии, состоящей из романов «Бродяги» (1927), «Август» (1930) и «А жизнь идет...» (1933).

Произведение это весьма своеобразно по своим жанровым особенностям: несмотря на подчеркнутую реалистичность повествования, сочность и художественную полноту изображения бытового фона, в том числе и мелких житейских подробностей, пластичность действующих лиц, в нем отчетливо проступает склонность Гамсуна к символической универсализации ситуаций и характеров. Объединение частей трилогии образом Августа — бродяги, исколесившего весь мир, личностью авантюристической складки — превращает все произведение в философско-плутовской роман, действие которого частично происходит в Полене, типичном приморском норвежском городке, и частично в Сегельфоссе, где уже живет третье поколение и центральной фигурой в городке стал сын Теодора из Буа, богатый, образованный, но довольно никчемный человек Гордон Тидеман, консул. Более полувека новейшей истории норвежской провинции охватывается трилогией, но Гамсуна интересуют не только перемены, которые внесло время в образ жизни его героев, но и та сила, которая толкала их на перемены и влекла за собой. Ее олицетворяет Август, несший в себе дух непоседливости, тянувшийся ко всему новому и новейшему, не вникая в то, что оно несет с собой — добро или зло. Он с полным безразличием относится к этим моральным категориям, да и прогресс, как полагает Гамсун, к ним нейтрален.

Для повидавшего свет Августа обыденное существование полenceв кажется невыносимым: в бедных деревнях люди жили как в дремоте, — все, что зарабатывали, проедали; дети учились только тому, что знали их родители, — и так проходили дни и вся жизнь. Это инертное существование Август расшатывает, увлекая людей своей безудержной фантазией, гомерическим враньем, посулами, иногда дельными советами,

но часто и совершенно непрактичными. По его инициативе разбогатевшие после удачного лова сельди поленцы организуют банк, перестраивают свой поселок в городок, занимая под новые постройки пахотную землю, сооружают фабрику рыбной муки, которая так и остается недостроенной, заводят почту и вносят немало полезных и бесполезных усовершенствований в свой застойный быт. Но рыбы нет, экономическое процветание кончается, и для поленцев наступают голодные времена. Поддаваясь тревожному и беспокойному духу времени, поленцы громят местную лавку и хозяйство Эзры — зажиточного крестьянина. Но их бунт — это бунт на коленях, и как только дела Полены поправляются, не остается и следа от их бунтарских настроений. В конечном итоге, беды навлек Август, его безудержное стремление идти в ногу с цивилизацией.

Вообще все, кого увлекают рассказы Августа, так или иначе за это платятся. Его друг Эдвард Андреассен, вовлеченный Августом в бродяжничество, нигде не может пустить корни. Проведя долгие годы в Америке, он, сильный человек, возвращается домой надломленным, потеряв энергию и интерес к жизни. Его жена Ловиса-Магрете, жизнерадостное создание, с успехом боровшееся за существование на собственном маленьком хуторе, после пребывания за океаном превращается в рассеянную, не находящую себе покоя и места женщину, стремящуюся обратно, к призрачной жизни больших городов.

Лишь те люди, кто не гнался за миражами, а прочно держался за родную почву, — крестьянин Эзра, не расстающийся со своим наделом, Паулина — владелица поленской лавки, честное, прямолинейное существо, ее брат, староста Иоаким, — выдерживают превратности времени и, не гонясь за многим, постепенно улучшают жизнь в Полене. Иной раз они выступают против Августа, иной раз в союзе с ним, ибо образ Августа многомерен. Раздумывая над его сутью, староста Иоаким изрекает несколько загадочно, что Август есть «...символ, что значит образ или пароль». И он поясняет свою мысль: «Он был выражением духа времени: давал одной рукой и отнимал другой. В чем же была выгода? Он вносил изменения, но в каждом отдельном случае то добро, которое он приносил, уравновешивалось последующим злом». Август — необычайно колоритная фигура, жизнь его наполнена всевозможными плутнями и проделками, порой весьма и весьма темными, враль, выдумщик, веривший в собственные фантазии, убежденный в том, что американизм, индустриальный прогресс, банки, торговля могут облагодетельствовать человечество. Мнение крестьянина Эзры, упрямо и тупо повторяющего, что человека кормят три вещи —

«хлеб в поле, рыба в море да звери в лесу», Август считает нелепым предрассудком и бестрепетно ведет поленцев по пути, которым идет остальной мир. Но есть силы, которые противостоят Августу более решительно, нежели недалекость или упрямство поленцев. Это прежде всего рабочие, с которыми сталкивается состарившийся Август, строя горную дорогу, на которой ему было суждено погибнуть. Рабочие — народ непокорный, непослушный, отстаивающий свои права, и управляться с ними Августу трудновато. Да и сам Гамсун относится к ним без симпатий, но вынужден признавать их как действенный, враждебный духу предпринимательства фактор истории, способный заявить о себе весьма решительно. Но свои надежды он возлагает на стихийные силы жизни, первозданные начала бытия, которые справятся, как полагал писатель, с прогрессом, вырвавшимся из-под контроля человека. Эти первозданные силы олицетворяет в романе «А жизнь идет...» лопарка Осе — странный образ, нечто среднее между деревенской знахаркой и колдуньей. Осе оказалась перед Августом в последние мгновения его жизни. К гибели Августа привела его собственная затея: на деньги, сохраненные Паулиной, он решил разводить в горах, где нет больших пастбищ, овец, наподобие того, как это делается в Бразилии или Австралии. И во время перегона в долину стадо, испуганное шумом автомобиля, понеслось прямо в пропасть, увлекая за собой и Августа — своего хозяина. Рядом с автомобилем возникла Осе, препятствуя овцам пробежать по оставшейся свободной части узкой горной дороги.

Финалом романа о прогрессе Гамсун не случайно сделал перетолкованную на современный лад притчу о Панурговом стаде, рассказанную в свое время Рабле. Как и в романе «Последняя глава», будущее капиталистического прогресса представлялось Гамсуну безрадостным, ибо прогресс в тех формах, в каких он развивался, искажал, извращал естественный ход вещей, сущность человека и поэтому нес в себе причины собственной гибели. Как далеко может заходить в существующих общественных условиях обезчеловечение человека, Гамсун показал образом Абеля, героя последнего своего художественного произведения — романа «Замкнутый круг». Полубродяга, человек с тяжелыми детством и юностью, поплававший по морям, он попадает на самое дно жизни, влача существование нищего белого в негритянской деревне штата Кентукки. Там он становится дважды убийцей и навсегда утрачивает какое-либо чувство ответственности перед требованиями морали, превращаясь по сути дела в животное. Таким же животным была и убитая им Анджела, его сожительница. Не знает никаких моральных уз и Ольга, на которой впоследствии женился Абель. Для него нет

надежды выбраться из состояния человеческой деградации, в котором он находится, да Абель и сам этого не хочет. Так замыкается круг его судьбы, круг бытия. Пессимистический финал романа показывал, как велики были сомнения Гамсуна в возможностях капиталистического прогресса. Иной альтернативы ему, кроме как в сохранении жизненных форм, опиравшихся на почвеннические традиции, Гамсун не видел. Политическая слепота и вовлекла его в годы глубокой старости в круг реакционных настроений, которым не отвечало объективное содержание его творчества. Оно представляет, несмотря на тягостные заблуждения писателя как человека, одну из тех духовно-эстетических ценностей, без которых художественный кругозор искусства нашего века был бы уже, а опыт — беднее. Время унесло все наносное и ложное в наследии Гамсуна, и в сознании нашем он предстает как художник, воспевавший красоту и силу любви, изобразивший с глубочайшей проницательностью сложность жизни человеческого сердца и те новые конфликты, которые внес в историю век двадцатый.

Б. Сучков

Толуг

A decorative horizontal line consisting of a series of small, stylized floral or star-like motifs, positioned below the title 'Толуг'.

РОМАН

Перевод

Ю. Балтрушайтиса

Под редакцией

В. Хинкиса

SULT
1890



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Это было в те дни, когда я бродил голодный по Христиании, этому удивительному городу, который навсегда накладывает на человека свою печать...

Я лежу без сна у себя на чердаке и слышу, как часы внизу бьют шесть; уже совсем рассвело, началась беготня вверх и вниз по лестнице. У двери стена моей комнаты оклеена старыми номерами «Утренней газеты», и я четко вижу объявление смотрителя маяка, а чуть левее — жирную, огромную рекламу булочника Фабиана Ольсена, расхваливающую свежеспеченный хлеб.

Едва открыв глаза, я по старой привычке начал подумывать, чему бы мне порадоваться сегодня. В последнее время жилось мне довольно трудно; мои пожитки помаленьку перекочевали к «Дядюшке Живодеру», я стал нервен и раздражителен, несколько дней мне пришлось даже пролежать в постели из-за головокружения. Временами, когда везло, мне удавалось получить пять крон за статейку в какой-нибудь газете.

Становилось все светлей, и я принялся читать объявления у двери; я даже мог разобрать тощие, похожие на оскаленные зубы буквы, которые возвещали, что «у йомфру Андерсен, в подворотне направо, можно приобрести самый лучший саван». Это объявление долго занимало меня, и когда я, встав, начал одеваться, часы внизу пробили восемь.

Я открыл окно и выглянул во двор. Мне видна была веревка для сушки белья и пустырь; в отдалении чернел скелет сгоревшей кузницы, где возились какие-то люди, разгребая угли. Я облокотился о подоконник и смотрел вдаль. Без сомнения, день будет ясный. Пришла осень, дивная, прохладная пора, все меняет цвет, увядает. На

улицах уже поднялся шум, он манит меня выйти из дому; пустая комната, где половицы стонали от каждого моего шага, походила на груклявый, отвратительный гроб; здесь не было ни порядочного замка на двери, ни печки; по ночам я обыкновенно клал носки под себя, чтобы они хоть немного высохли к утру. Единственным моим утешением была маленькая красная качалка, в которой я сидел вечерами, подремывал и думал о всякой всячине. Когда поднимался сильный ветер и входная дверь внизу бывала открыта, пол и стены пронзительно стонали на все лады, а в «Утренней газете» у двери появлялись щели длиною с мою руку.

Я отошел от окна и принялся искать в узелке, что лежал в углу, подле кровати, чем бы позавтракать, но ничего не нашел и снова вернулся к окну.

«Бог весть,— думал я,— удастся ли мне вообще приискать себе занятие!» Столько было отказов, полуобещаний, решительных «нет», взлелеянных и обманутых надежд, новых и новых попыток, которые всякий раз кончались ничем, что я совсем утратил решимость. Наконец я попытался поступить в кассиры, но опоздал; и кроме того, я не мог бы внести залога в пятьдесят крон. Вечно мне что-либо мешало. А еще я просился в пожарную команду. Нас там стояло с полсотни человек, и каждый выпячивал грудь, чтобы произвести впечатление силача и редкого смельчака. Меж нами расхаживал наниматель, осматривал претендентов, щупал мускулы, расспрашивал, а проходя мимо меня, только головой покачал да обронил, что люди в очках для этого дела не годятся. Я пришел снова уже без очков и стоял, насупившись, стараясь придать своему взгляду остроту ножа, но он снова прошел мимо меня и только улыбнулся, потому что узнал меня. В довершение всех зол мое платье износилось до такой степени, что я уже не казался работодателям приличным человеком.

Как медленно и неуклонно катился я под гору! Под конец у меня не осталось решительно ничего, даже грёбенки или хотя бы книжки, которой я утешился бы в грустную минуту. Летом я всякий день уходил куда-нибудь на кладбище или в парк, где стоит замо́к, сидел там и писал статьи для газет, столбец за столбцом, и чего только не было в этих статьях, сколько удивительных выдумок, причуд, капризов моей беспокойной фантазии! Отчаявшись, я брал самые отвлеченные темы, эти статьи я сочинял много мучительных часов, и никто не хотел их

печатать. Закончив одну, я тотчас принимался за другую и редко приходил в уныние от редакторского отказа. Я старался убедить себя, что когда-нибудь мне повезет. И действительно, по временам, когда счастье мне улыбалось и я сочинял что-нибудь путное, мне платили пять крон за работу, которая отнимала полдня.

Я снова оторвался от окна, подошел к умывальнику и смочил водой колени своих лоснившихся брюк, чтобы они казались черными и стали как будто новее. Сделав это, я, по обыкновению, сунул в карман бумагу и карандаш и вышел за дверь. По лестнице я спустился тихонько, чтобы не привлечь внимания хозяйки; срок уплаты за квартиру истек несколько дней назад, а платить мне было нечем.

Пробило девять часов. Грохот экипажей и людские голоса витали в воздухе — то был стоустый утренний хор, раздававшийся под стук шагов пешеходов и шелканье извозчичьих кнутов. Это шумное движение тотчас оживило меня, и я стал чувствовать себя уверенней. Менее всего я собирался просто вот так гулять с утра на свежем воздухе. На что был моим легким воздух? Я чувствовал себя неодолимым, как исполин, мог упереться плечом в повозку и остановить ее. Мной овладело удивительное, чудесное чувство, какое-то светлое удовлетворение. Я смотрел на встречных, читал вывески на домах, ловил на лету взгляды, брошенные на меня из пронесившихся мимо карет, замечал всякую мелочь, не упускал ни малейшей случайности, что попадалась мне на пути и сразу же исчезала.

Какой дивный денек, вот бы еще поесть хоть немного! Я проникся этим радостным утром, счастье переполняло меня, и я вдруг, ни с того ни с сего, принялся напевать. Возле мясной лавки стояла женщина с корзинкой и выбирала колбасу к обеду; когда я проходил мимо, она взглянула на меня. Из рта у нее торчал лишь один зуб. В последние дни я стал таким нервным и впечатлительным, что лицо этой женщины показалось мне отвратительным; длинный, желтый зуб походил на мизинец, торчащий из рта, а когда она подняла на меня глаза, взгляд ее еще был полон мыслей о колбасе. Мне сразу расхотелось есть, тошнота подкатила к горлу. Дойдя до рынка, я напился воды из-под крана; потом поднял голову и взглянул на колокольню храма Спасителя — часы показывали десять.

Я долго еще бродил по городу, ни о чем не думая, потом безо всякой надобности постоял на каком-то углу

и свернул на боковую улицу, хотя у меня не было там никакого дела. Я плыл по течению, купался в радостном утре, беззаботно расхаживал среди других веселых людей; воздух был чист и ясен, душу мою не омрачало ничто.

Минут десять впереди меня шел хромой старик. В одной руке он нес узел, и все тело его напрягалось от усилий ускорить шаг. Я слышал, как тяжело он дышал, и подумал, что мог бы понести его узел; однако я не попытался догнать его. Близ Гренсена я встретил Ханса Паули, он поклонился и быстро прошел мимо. Почему он так спешил? Ведь я и не думал выпрашивать у него крону, я даже хотел при первой возможности вернуть ему одеяло, которое взял у него несколько недель назад. Как только я мало-мальски выкарабкаюсь, никто не сможет сказать, что я не отдал одеяла; пожалуй, еще сегодня начну писать статью о роли преступлений в будущем, или о свободе воли, или вообще о чем-нибудь важном и получу за нее по меньшей мере десять крон... Я вдруг почувствовал потребность немедленно приняться за дело, потому что мысли переполняли меня; я решил отыскать подходящее местечко в парке и даже не помышлять об отдыхе, покуда статья не будет кончена.

Но старый калека все так же шел впереди меня, уродливо напрягаясь на ходу. В конце концов меня стало раздражать, что старик все время идет передо мною. Казалось, этому не будет конца; может быть, он шел как раз туда же, куда и я, а если так, он все время будет маячить у меня перед глазами. Я так разволновался, что мне казалось, будто на каждом перекрестке он замедляет шаг и как бы ждет, куда я поверну, а потом он вскидывал свой узел повыше и прибавлял шагу, чтобы опередить меня. Я иду, всматриваюсь в этого несчастного калеку и проникаюсь все большим и большим ожесточением против него; я чувствую, как он мало-помалу портит мое радостное настроение и вместе с тем как бы омрачает чистое, прекрасное утро своим уродством. Он был похож на огромное искалеченное насекомое, которое упорно и настойчиво стремится куда-то и занимает собою весь тротуар. Когда мы поднялись на холм, я не пожелал больше терпеть это и остановился у витрины, дожидаясь, покуда он уйдет. Когда через несколько минут я двинулся дальше, этот человек снова оказался впереди меня,— он тоже останавливался. Не долго думая, я в три-четыре больших шага настиг его и хлопнул по плечу.

Он остановился как вкопанный. Мы пристально посмотрели друг на друга.

— Подайте, сколько можете, на молоко! — сказал он наконец и склонил голову набок.

Ну вот, в хорошенькое я попал положение! Я пошарил в карманах и сказал:

— Ах, на молоко... Гм!.. Но ведь в наше время деньги на улице не валяются, а я не знаю, крайняя ли у вас нужда.

— Я не ел со вчерашнего дня, как ушел из Драммена, — сказал он. — У меня нет ни эре, и я еще не нашел работы.

— Вы ремесленник?

— Да, я скорняк.

— Как?

— Скорняк. Впрочем, умею еще шить сапоги.

— Это меняет дело, — сказал я. — Погодите-ка здесь минутку, а я сбегаю за деньгами и дам вам несколько эре.

Я что было духу побежал на Пилестредет, где в одном из домов, на втором этаже, жил ростовщик; впрочем, мне еще не приходилось у него бывать. Войдя в подворотню, я быстро снял жилет, свернул его и сунул под мышку; потом поднялся по лестнице и постучал в дверь. Войдя, я поклонился и бросил жилет на прилавок.

— Полторы кроны, — сказал ростовщик.

— Хорошо, благодарю вас, — отвечал я. — Не будь он для меня слишком узок, я, конечно, не расстался бы с ним.

Взяв деньги и квитанцию, я отправился назад. В сущности, это была великолепная мысль — заложить жилет; ведь у меня еще останутся деньги на плотный завтрак, а к вечеру будет готова моя статья о роли преступлений в будущем. Мне сразу стало казаться, что жизнь не так уж мрачна, и я поспешил к старику, чтобы избавиться от него.

— Пожалуйста! — сказал я ему. — Счастлив, что вы первым делом обратились ко мне.

Он взял деньги и начал меня разглядывать. Чего он на меня уставился? Мне показалось, что он особенно пристально глядит на мои колени, и его бесстыдство меня взбесило. Неужели этот бродяга думает, что, если я так одет, меня можно почитать за нищего? Ведь я уже почти начал писать статью за десять крон. И вообще будущее мне не страшно, на мою долю хватит. Что тут такого, если в этот ясный день я дал немного денег незнакомому

человеку? Его взгляд мне не нравился, и я решил, прежде чем уйти, сделать ему внушение. Я пожал плечами и сказал:

— Любезный, у вас отвратительная привычка таращить глаза на колени человека, который дал вам целую крону.

Он прислонился к стене, закинул голову и разинул рот. В мозгах этого нищего шевелилась какая-то мысль, он, конечно, подумал, что я хочу как-нибудь над ним посмеяться, и протянул мне деньги обратно.

Я стал топтать ногами и требовать, чтобы он оставил деньги у себя. Уж не думает ли он, что я хлопотал по-пустому? В конце концов я попросту должен ему эту крону, я вспомнил этот старый долг, а он имеет дело с порядочным человеком, честным до мозга костей. Словом, это его деньги... Ах, не стоит благодарности, я очень рад. До свидания!

И я ушел. Наконец-то этот назойливый калека отвязался от меня, теперь мне никто не помешает. Я снова пошел на Пилестредет и остановился у продуктового магазина. Витрина была завалена съестными припасами, и я решил войти и прихватить чего-нибудь с собой.

— Кусок сыру и французскую булку! — сказал я и бросил на прилавок полкроны.

— Сыру и хлеба на все деньги? — насмешливо спросила продавщица, не глядя на меня.

— Да, на все пятьдесят эре, — невозмутимо ответил я.

Я получил покупку, почтительно поклонился старой, толстой продавщице и быстро зашагал к холму, где был парк. Там я отыскал скамейку и с жадностью принялся за еду. Мне сразу полегчало; давно уже не было у меня столь обильной трапезы, и мало-помалу я успокоился, почувствовал облегчение, как бывает, когда выплачешь все слезы. Вскоре я совсем воспрял духом; теперь мне уже мало было написать статью на такую простую и нехитрую тему, как роль преступлений в будущем, к тому же это всякий мог сам предугадать, стоило просто-напросто заглянуть в историю; я же чувствовал себя способным на гораздо большее свершение, мне хотелось преодолевать необычайные трудности, и я решил написать сочинение в трех частях о философском познании. Разумеется, я не премину разнести в пух и прах некоторые из Кантовых софизмов... Я хотел вынуть письменные принадлежности и приступить к работе, но тут обнаружилось, что у меня нет карандаша, я забыл его в лавочке у ростовщика — ведь карандаш лежал в кармане жилета.

Господи, до чего же мне все-таки не везет! Я выругался несколько раз, встал со скамейки и принялся ходить взад-вперед по дорожкам. Вокруг было тихо; в отдалении, подле королевской беседки, какие-то няньки катали младенцев в колясках, а больше нигде не было ни души. Я был очень расстроен и как безумный бегал вокруг скамейки. Со всех сторон на меня обрушивались беды! Мне нельзя написать философское сочинение в трех частях лишь потому, что в кармане у меня нет грошового карандаша! А что, если вернуться на Пилестредет и взять карандаш? Тогда я все-таки успею порядочно написать, прежде чем гуляющие хлынут в парк. Ведь от этого сочинения о философском познании зависело так много — как знать, быть может, счастье всего человеческого рода. И я полагал, что оно окажется весьма полезным многим молодым людям. Если поразмыслить хорошенько, то мне вовсе незачем нападать на Канта: этого легко избежать, стоит только чуть-чуть уклониться в сторону, когда речь пойдет о времени и пространстве; зато уж Ренана, этого старого священника, я не пощажу... Но так или иначе, нужно было написать определенное количество столбцов; за квартиру я не заплатил, хозяйка пристально смотрела на меня по утрам, когда я встречал ее на лестнице, и это мучило меня весь день, всплывало даже в самые радостные мгновения, когда ни одна черная дума не омрачала мою душу. Надо было положить этому конец. Я быстрым шагом покинул парк и отправился к ростовщику за своим карандашом.

Спустившись с холма, я обогнал двух дам. По нечаянности я задел одну рукавом, взглянул на нее и увидел полное, слегка бледное лицо. Вдруг она вся вспыхнула, похорошела, не знаю отчего, быть может, от слова, которое сказал ей прохожий, а быть может, — лишь от тайной мысли. Или же оттого, что я коснулся ее руки? Ее высокая грудь бурно вздымается, и она крепко сжимает ручку зонтика. Что это с ней?

Я остановился и снова пропустил ее вперед, мне невозможно было идти дальше, все это показалось мне таким странным. Я был раздосадован, сердился на себя за историю с карандашом, и еда, проглоченная после долгой голодовки, меня разгорячила. Мысли мои приняли причудливый ход, я почувствовал, как мною овладевает странное желание напугать эту даму, погнаться за ней и причинить ей какую-нибудь неприятность. Я снова нагоняю ее и прохожу мимо, потом неожиданно

поворачиваю назад, чтобы рассмотреть ее, и оказываюсь с нею лицом к лицу. Я стою и смотрю ей в глаза, а сам тут же придумываю имя, хоть никогда его и не слышал,— имя, скользящее и волнующее: Илаяли. Она подошла ко мне совсем близко, я вскидываю голову и говорю веско:

— Вы потеряете книгу, фрекен.

Говоря это, я слышал стук своего сердца.

— Книгу?— спрашивает она свою спутницу. И идет дальше.

Но злобное упорство не покидало меня, и я пошел за нею. Конечно, в тот миг я вполне сознавал, что совершаю безумство, но был не в силах преодолеть его; волнение влекло меня вперед, заставляло делать нелепые движения, и я уже не владел собою. Сколько ни твердил я себе, что поступаю как идиот, ничто не помогало, и я корчил за спиной дамы преглупые рожи, а обогнав ее, громко кашлянул. Теперь я медленно шел впереди, держась в нескольких шагах от нее, чувствовал ее взгляд у себя на спине и невольно потупил голову от стыда, что так отвратительно веду себя с нею. Мало-помалу мною овладевает странное ощущение, что я где-то далеко отсюда, во мне рождается смутное чувство, что не я, а кто-то другой идет по этим каменным плитам, потупив голову.

Через несколько минут, когда дама подошла к книжному магазину Паши, я уже стоял у первой витрины, шагнул ей навстречу и повторил:

— Вы потеряете книгу, фрекен.

— Но какую книгу?— спрашивает она в испуге.— О какой он книге говорит?

И она останавливается. Я злорадствую, видя ее смущение, растерянность у нее в глазах восхищает меня. Ей не понять той отчаянности, которая движет мною; у нее нет решительно никакой книги, ни единого листка, но она все-таки ищет в карманах своего платья, смотрит себе на руки, вертит головой, оглядывается назад, напрягает свои нежные мозги, пытаюсь понять, о какой это книге я говорю. Она то краснеет, то бледнеет, на лице ее одно выражение сменяется другим, я слышу, как тяжело она дышит; и даже пуговицы с ее платья смотрят на меня, словно испуганные глаза.

— Не обращай на него внимания,— говорит ее спутница и тянет ее за руку.— Ведь он же пьян! Разве ты не видишь, что этот человек пьян!

Как ни был я в тот миг далек от самого себя, совершенно подчиненный странным и незримым силам, все же ничто вокруг не могло ускользнуть от моего внимания. Вот большой рыжий пес пересек улицу и побежал к бульвару, а оттуда дальше в сторону Тиволи; на нем узкий мельхиоровый ошейник. Чуть подальше, на этой же улице, открылось окно во втором этаже, оттуда высунулась служанка и, засучив рукава, принялась вытирать снаружи стекла. Ничто не ускользало от моего внимания, я был в ясном уме и твердой памяти, все впечатления пронизывали меня ясно и отчетливо, словно яркая вспышка света. У обеих дам, стоявших передо мною, были синие перья на шляпах и шотландские шелковые шарфы на шее. Мне показалось, что они — сестры.

Они отошли прочь, остановились подле музыкальной лавки Сислера и стали разговаривать. Я тоже остановился. Потом обе они повернули назад, пошли тою же дорогою обратно, мимо меня, свернули на Университетскую улицу и направились к площади Святого Улафа. Я все время старался следовать за ними по пятам. Один раз они обернулись, поглядели на меня испуганно и в то же время с любопытством, но они не хмурились, и на лицах их не было сердитого выражения. Они так терпеливо сносили мою назойливость, что я устыдился и опустил глаза. Мне не хотелось больше докучать им, и я с чувством благодарности смотрел им вслед, ожидая, что вот сейчас они войдут куда-нибудь и исчезнут из виду.

У большого четырехэтажного дома под номером два они обернулись еще раз, потом вошли. Я прислоняюсь к газовому фонарю у фонтана и прислушиваюсь к их шагам на лестнице. Шаги замирают во втором этаже. Я отхожу от фонаря, смотрю вверх, на окна. И тут совершается чудо: там, наверху, колышутся занавески, потом окно отворяется, оттуда выглядывает голова, и ее чудесные глаза останавливаются на мне. «Илаяли!» — шепчу я и чувствую, что краснею. Почему она никого не кликнула? Почему не сбросила мне на голову цветочный горшок или не послала прогнать меня? Мы не двигаемся и смотрим друг другу в глаза; это длится с минуту; от окна к тротуару несутся мысли, но мы не вымолвили ни слова. Она отворачивается, и это отзывается у меня в душе толчком, едва уловимой дрожью; я вижу ее плечо, потом спину, и она исчезает в комнате. Исчезает медленно, и движение ее плеча словно знак мне; всем своим

существом я ощутил этот чудесный привет; и меня захлестнула светлая радость. Постояв немного, я повернулся и пошел по улице.

Я не осмеливался оглянуться назад и не знал, подходила ли она еще раз к окну; раздумывая об этом, я все больше беспокоился и не находил себе места. Быть может, в этот самый миг она наблюдала за каждым моим движением, и мне было невыносимо знать, что за мной следят. Я держался как можно прямее и шел не останавливаясь; ноги подо мной дрожали, походка стала неверной, именно потому, что я хотел идти как можно красивее. Стараясь казаться спокойным и равнодушным, я нелепо размахивал руками, сплевывал и высоко задираю нос; но тщетно. Я все время чувствовал испытующий взгляд у себя за спиной, и по телу моему пробегал холодок. Наконец я скрылся в боковой улочке, откуда направился на Пилестредет, чтобы взять свой карандаш.

Мне не стоило ни малейшего труда получить его обратно. Ростовщик сам принес мне жилет и попросил меня тут же обшарить все карманы; я нашел еще несколько закладных квитанций, сунул их в карман и поблагодарил любезного хозяина за его предупредительность. Он нравился мне все больше и больше, и мне тут же захотелось произвести на него хорошее впечатление. Я сделал несколько шагов к выходу, но опять вернулся к прилавку, словно забыл что-то; мне казалось, что я обязан объяснить, сообщить ему подробности, и я стал тихонько напевать, чтобы привлечь его внимание. Потом я поднял карандаш, который держал в руке.

— Мне и в голову не пришло бы тащить в такую даль за этим несчастным карандашом,— сказал я,— но тут дело другое, совсем особое дело. Хоть у этого огрызка карандаша и жалкий вид, благодаря ему я стал тем, что я есть, нашел, так сказать, свое место в жизни...

Я умолк. Хозяин подошел к самому прилавку.

— Вот как?— сказал он и с любопытством посмотрел на меня.

— Этим карандашом,— продолжал я невозмутимо,— написано мое трехтомное сочинение о философском познании. Неужели вы не слышали об этом?

И хозяину показалось, что он слышал имя, заглавие.

— Да,— сказал я,— это мое сочинение! Поэтому не удивительно, что я захотел получить назад этот огрызок карандаша: он имеет для меня слишком большую цену, он мне все равно что маленький друг. Я весьма благо-

дарен вам за доброе отношение и не забуду этого; да, да, в самом деле, не забуду, честное слово, такой уж я человек, а вы этого вполне заслужили. До свиданья!

Я пошел к двери с таким видом, словно мог вершить людские судьбы. Ростовщик дважды вежливо поклонился мне вслед, а я еще раз обернулся и сказал: «До свиданья!»

На лестнице мне встретила женщина с чемоданом. В виду моей важности она робко посторонилась передо мной, я же невольно стал шарить в кармане, чтобы дать ей что-нибудь: ничего не найдя, я понурил голову и прошел мимо. Немного погодя я услышал, как она стучится к ростовщику; на дверях у него была стальная решетка, и я тотчас узнал дребезжащий звук, когда ее коснулась человеческая рука.

Солнце светило с юга, было около полудня. Народу на улицах становилось все больше, наступало время гулянья, и толпы людей, раскланиваясь, с улыбками на лицах, словно волны перекатывались по улице Карла-Юхана. Я весь съезжился, сжался в комок и проскользнул мимо кучки знакомых, которые стояли неподалеку от университета и глазели на толпу. Потом я побрел на холм, в дворцовый парк, где предался глубоким раздумьям.

Как весело и легко все эти встречные вертят головами, как ясны их мысли, как свободно скользят они по жизни, словно по паркету бальной залы! Ни у кого из них я не прочел в глазах печали, их плечи не отягощает никакое бремя, в безмятежных душах, кажется, нет ни мрачных забот, ни тени тайного страдания. А я бродил среди этих людей, молодой, едва начавший жить и забывший уже, что такое счастье! Эта мысль не покидала меня, и я чувствовал, что стал жертвой чудовищной несправедливости. Почему в последние месяцы мне живется так невыносимо тяжело? Мою неомраченную душу словно подменили, повсюду меня подстерегали горькие разочарования. Стоило мне присесть на скамейку или сделать хоть шаг, как на меня сразу обрушивались какие-то жалкие и ничтожные нелепости, они вторгались в мой внутренний мир, вынуждали понапрасну растрачивать силы. Собака, пробежавшая мимо, желтая роза в петлице у какого-нибудь господина могли пробудить во мне мысли и долгое время занимать меня. Что же со мной случилось? Неужто перст Божий коснулся меня? Но почему же меня? Почему не какого-нибудь другого человека, живущего хоть в Южной Америке, уж если на то пошло? Чем

больше я думал, тем непостижимее и непостижимее представлялось мне, что именно я избран своенравным промыслом Божиим для его упражнений! И как странно, что во всем мире он отыскивал именно меня; есть же книготорговец Паша и пароходный агент Хеннехен.

Я шел, размышляя об этом, и ничего не мог решить, я находил самые веские возражения против такого произвола со стороны Бога, заставляющего меня расплачиваться за грехи всех. Когда я отыскивал свободную скамейку и сел, этот вопрос все еще занимал меня и мешал мне думать о другом. С того майского дня, когда начались мои злоключения, я чувствовал, как мною постепенно овладевает слабость, я стал слишком вялым, утратил волю и целенаправленность, словно стая каких-то мелких хищников вселилась в мое тело и грызла его изнутри. А что, если Бог попросту решил меня погубить? Я встал и принялся расхаживать подле скамейки.

В этот миг все мое существо было исполнено нестерпимейшего страдания; даже руки мучительно ныли, и я не знал, куда мне их девать. К тому же я недавно так плотно поел, что мне было не по себе, я объелся и, не находя себе места, топтался возле скамейки; люди скользили мимо меня, появлялись и исчезали, как призраки. Наконец на мою скамейку сели двое мужчин, они закурили сигары и стали громко разговаривать; я рассердился и хотел сделать им замечание, но вместо того повернулся и пошел в другой конец парка, где отыскивал пустую скамейку. Там я сел.

Мысль о Боге снова начала меня одолевать. Я находил, что с его стороны в высшей степени непросительно вмешиваться всякий раз, как я пытался найти работу, и расстраивать все дело, хотя я просил лишь хлеба насущного. Я определенно заметил, что стоит мне поголодать несколько дней подряд, как мой мозг начинает словно бы вытекать и голова пустеет. Она становится легкой и бесплотной, я больше не чувствую ее у себя на плечах, и мне кажется, что, когда я на кого-нибудь гляжу, глаза мои раскрываются до невероятности широко.

Я сидел на скамейке и думал обо всем этом, все горше сетуя на Бога за эти беспрерывные мучения. Если он, испытывая меня и воздвигая на моем пути препятствие за препятствием, хочет приблизить меня к себе, очистить мою душу, то смею его заверить, что он ошибается. Я поднял глаза к небу, чуть не плача от негодования, и раз навсегда высказал ему все, чтобы облегчить душу.

Вспомнилось то, чему меня учили в детстве, в ушах зазвучал негромкий голос, читающий Библию, и я начал разговаривать сам с собою, насмешливо покачивая головой. Зачем заботился я о том, что мне есть и пить, во что одеть брэнную свою плоть? Разве Отец Небесный не питает меня, как питает птиц, и не оказал мне особой милости, избрав раба своего? Перст Божий коснулся нервов моих и потихоньку, едва заметно, тронул их нити. А потом Господь вынул перст свой, и вот на нем обрывки нитей и комочки моих нервов. И осталась зияющая дыра от перста его, перста Божия, и рана в моем мозгу. Но, коснувшись меня перстом десницы своей, Господь покинул меня и не трогал более, и не было мне никакого зла. Он отпустил меня с миром, отпустил с открытой раной. И не было мне никакого зла от Бога, ибо он — Господь наш во веки веков...

Ветер донес до меня музыку и пение студентов, — значит, был уже третий час. Я достал карандаш и бумагу, хотел написать что-нибудь, и вдруг из кармана у меня выпала книжечка с талонами на бритье. Я сосчитал талоны: их оставалось шесть.

— Слава богу! — невольно воскликнул я. — Еще неделю-другую я могу бриться у цирюльника и иметь приличный вид!

Это маленькое достояние тотчас заставило меня воспрянуть духом; я тщательно разгладил талоны и спрятал книжку в карман.

Но писать я не мог. Сочинил несколько строк, а больше ничего не приходило в голову; мысли мои были где-то далеко, и я не мог сосредоточиться. Все меня рассеивало и отвлекало, со всех сторон подступали новые впечатления. Комары и мошки садились на бумагу и мешали мне; я дул на них, чтобы прогнать, дул во всю мочь, но напрасно. Эта мелюзга переворачивалась, жалась к бумаге, упиралась так, что тонкие лапки гнулись. Просто невозможно от них избавиться. Они всегда найдут, за что зацепиться, отыскивают шероховатости и неровности на бумаге и сидят до тех пор, покуда им самим не вздумается улететь.

Некоторое время эти маленькие кровососы занимали меня, я закинул ногу на ногу и довольно долго наблюдал их. А потом до меня донеслись звуки кларнета, и от этого мысли мои приняли новое направление. Досадуя, что я не могу написать статью, я сунул бумагу в карман и откинулся на спинку скамейки. В такие мгновения моя

голова до того ясна, что меня посещают самые изощренные мысли, и при этом я нисколько не устаю. Я сижу, откинувшись назад, поглядываю на свою грудь, на ноги и вижу, как подрагивает моя нога от толчков крови. Я приподнимаю голову и все смотрю, и меня охватывает какое-то странное, небывалое ощущение; по нервам моим пробегает дивная волна, и словно трепетный свет вдруг вспыхивает во мне. Я гляжу на свои башмаки и как будто встречаюсь со старым другом, как будто какая-то частица моего существа вновь возвращается ко мне; чувство единения захлестывает мне душу, глаза наполняются слезами, и мои башмаки словно отдаются во мне тихим звоном. «Это слабость! — строго говорю я себе и, сжав кулаки, повторяю: — Слабость». И я принялся смеяться над этими нелепыми чувствами, я нарочно издевался над собой; я произносил твердые и здравые слова, крепко жмурился, чтобы прогнать слезы. И словно я никогда не видел своих башмаков, я начинаю присматриваться, как они выглядят, как меняются при всяком движении моей ноги и какая у них форма, как потерлась кожа, и обнаруживаю, что морщины и белесые швы придают им своеобразное выражение, что у них как бы есть лицо. Некая частица моего существа перешла в эти башмаки, от них на меня веяло чем-то близким, словно то было собственное мое дыхание...

Я долго предавался этим ощущениям, — наверно, не меньше часа. А потом на другой конец скамейки присел маленький старичок; садясь, он тяжело вздохнул и сказал:

— М-да-а-а, вот так-то!

Едва я услышал его голос, в голове у меня словно поднялся вихрь, я оставил башмаки в покое, и мне даже показалось, что смутное настроение, которое я только что пережил, было чем-то давним, с тех пор, пожалуй, прошел год или два, а теперь оно мало-помалу изглаживается из моей памяти. Я смотрел на старика.

Какое мне было дело до этого маленького человечка? Ровным счетом никакого! Меня занимало лишь то, что в руке он держал газету, старый номер со страницей объявлений, и в нее, по-видимому, было что-то завернуто. Мной овладело любопытство, и я не мог оторвать глаз от газеты; мне пришла безумная мысль, что это замечательная газета, единственная в своем роде; мое любопытство возростало, и я начал ерзать на скамейке. Там могли быть документы, опасные бумаги, выкраден-

ные из какого-нибудь архива. И я стал думать о тайном замысле, о заговоре.

Старичок сидел тихонько и о чем-то размышлял. Почему он не держит газету, как все, а вывернул ее? Что это за козни? Он, по-видимому, не хотел ни за что на свете выпустить этот сверток из рук. Он, пожалуй, не смел даже положить его себе в карман. Я готов был дать голову на отсечение, что это был не простой сверток.

Я смотрел вдаль. Уже одно то, что не было ни малейшей возможности проникнуть в эту тайну, разжигало во мне любопытство. Я шарил в карманах, хотел предложить что-нибудь этому человеку, вступить с ним в разговор, нащупал книжечку с талонами, вынул и тут же снова спрятал ее. Вдруг я осмелел, похлопал себя по пустому боковому карману и сказал:

— Не угодно ли сигарету?

Спасибо, он не курит,— пришлось бросить из-за болезни глаз, он почти ослеп. Впрочем, большое спасибо!

— А давно ли у вас больны глаза? Наверное, вам совсем нельзя читать? Даже газет?

— Да, к сожалению, даже газет!

Он повернулся ко мне. Глаза его закрывали бельма, отчего они казались остекленелыми; у него был белый взгляд, неприятный до отвращения.

— Вы не здешний?— спросил он.

— Да... Но неужели вы не можете прочесть даже название газеты, что у вас в руках?

— С трудом... А я сразу понял, что вы не здешний: догадался по выговору. Это так просто, ведь у меня очень тонкий слух. По ночам, когда все спят, я слышу дыхание в соседней комнате... Но я вот что хотел спросить: вы где живете?

Ложь тотчас же возникла у меня в голове. Я солгал невольно, сказал без умысла и задней мысли:

— На площади Святого Улафа, дом два.

— Правда? А ведь я знаю на площади Святого Улафа каждый камень. Там есть фонтан, несколько фонарей, деревья, я все помню... Какой, вы сказали, номер?

Я решил положить этому конец, измученный навязчивой мыслью о газете, и встал. Тайна непременно должна была объясниться.

— Раз вам нельзя читать газеты, зачем же...

— Вы, кажется, сказали, что живете во втором номере?— продолжал он, не замечая моего волнения.— В свое время я знал всех жильцов в этом доме. Как зовут вашего хозяина?

Чтобы покончить с ним, я сказал первую попавшуюся фамилию, выдумал ее тут же, на месте, чтобы отвязаться.

— Хапполати,— сказал я.

— Да, Хапполати.— Он без запинки повторил эту трудную фамилию и кивнул.

Я с изумлением смотрел на него; он сидел с очень серьезным видом, и лицо у него было задумчивое. Не успел я произнести глупую фамилию, которая взбрела мне на ум, как человек освоился с нею и сделал вид, что слышал ее раньше. Тем временем он положил свой сверток на скамейку, и я чувствовал, как волна любопытства захлестывает меня. Я заметил, что на газете были два жирных пятна.

— А ваш хозяин не моряк?— спросил старичок, и в голосе его не было и тени насмешки.— Мне помнится, он моряк!

— Моряк? Виноват, должно быть, вы знаете его брата, а этот — агент, Ю.-А. Хапполати.

Я думал этим его сразить; но он охотно верил всему.

— Я слышал, он дельный человек,— продолжал свои расспросы старик.

— Да, смысленный малый, отличный делец,— ответил я,— агент по продаже всякой всячины: брусника из Китая, перо и пух из России, кожа, древесина, чернила...

— Хе-хе, черт его побери! — с живостью прервал меня старик.

Это становилось забавным. Я увлекся и измышлял одну ложь за другой. Я снова сел, позабыл про газету, про таинственные бумаги, начал горячиться и перебивать собеседника. Доверчивость этого карлика пробудила во мне какую-то дурацкую наглость, хотелось немилосердно утопить его во лжи, сломить его сопротивление.

— А не приходилось ли вам слышать об электрическом молитвеннике, который изобрел Хапполати?

— Электри... как вы сказали?

— О молитвеннике с электрическими буквами, которые светятся в темноте! Это огромное дело с капиталом во много миллионов крон, работают словолитни и печатни, сотни механиков на большом жалованье,— семьсот человек, как я слышал.

— А я что говорил! — тихо сказал старик.

И умолк; он верил каждому моему слову не задумываясь. Это несколько разочаровало меня, я надеялся, что мои рассказы приведут его в бешенство.

Я сплел еще две отчаянные байки, вошел в азарт и шепнул, что Хапполати целых девять лет был министром в Персии.

— Вы, пожалуй, и представить себе не можете, что это значит — быть министром в Персии? — спросил я. — Там министр важнее, чем у нас король, это почти все равно что султан, если вы знаете, кто это такой. Но Хапполати был на высоте и ни разу не оплошал.

И я рассказал об Илаяли, его дочери, фее, принцессе, которая имела триста рабынь и почивала на ложе из желтых роз; она была прекраснейшее существо, какое я видел, — покарай меня бог, — равной ей я не встречал в жизни!

— Стало быть, она была так красива? — рассеянно спросил старик, потупив глаза.

— Красива? Да она прекрасна, соблазнительно нежна! Глаза как бархат, руки словно янтарь! Один взгляд ее искушал, как поцелуй, и когда она звала меня, ее голос, как струя вина, пьянил мою душу. Да и почему бы ей не быть столь прекрасной? Разве, по-вашему, она какая-нибудь конторщица или служащая из пожарного ведомства? Да она, скажу я вам, небесное существо, она подобна сказке.

— Да, конечно, — сказал он почти равнодушно.

Его спокойствие наскучило мне; я был опьянен собственным голосом и говорил совершенно серьезно. Я не думал больше о похищенных бумагах, о заговоре в пользу какого-нибудь иностранного государства; маленький, тощий сверток лежал между нами на скамейке, но у меня уже не было никакого желания заглянуть в него и узнать, что в нем содержится. Я был поглощен собственными рассказами, перед глазами у меня проносились изумительные образы, кровь бросилась мне в голову, и я вдохновенно лгал.

А старик как будто собрался уходить. Он привстал и, чтобы не сразу прервать разговор, спросил:

— Должно быть, у этого Хапполати огромное состояние?

Как мог этот слепой, отвратительный старик распоряжаться чужой фамилией, которую я выдумал, так, словно ее можно было прочесть на любой вывеске в городе?

Он ни разу не запнулся, не пропустил ни одного звука; фамилия запечатлелась в его памяти и прочно укоренилась там. Я досадовал и сердился на этого человека, которого ничто не могло смутить или обескуражить.

— Не знаю, — ответил я вдруг, — Положительно не знаю. Но да будет вам известно, что зовут его Юхан Арндт Хапполати, если судить по инициалам.

— Юхан Арндт Хапполати,—повторил старик, несколько озадаченный моей горячностью.

И умолк.

— Вы бы посмотрели на его жену,—продолжал я вне себя.—Это такая толстуха... Вы, может быть, не верите, что она толста?

Нет, этого он, конечно, не мог отрицать; у такого господина вполне могла быть толстая жена...

На каждую мою выходку старик отвечал кротко и тихо, взвешивал слова, точно боялся сказать лишнее и рассердить меня.

— Что за черт, вы, верно, думаете, что я морочу вам голову?—вскричал я вне себя.—Вы, верно, думаете, что господина по фамилии Хапполати и на свете нет? Первый раз в жизни вижу такого упрямого и противного старика! Какая муха вас укусила? Вы еще, чего доброго, приняли меня за нищего, который надел праздничное платье, а у самого даже сигаретки нет? Я не привык к такому обращению, смею вас заверить, и, ей же богу, ни от кого этого не стерплю, так и знайте!

Старик тем временем встал. Он стоял, разинув рот, и молча слушал мою тираду, потом схватил свой сверток со скамейки и пошел, почти побежал по дорожке мелким старческим шагом.

А я все сидел и смотрел, как он удаляется и спина его горбится все сильнее. Не знаю, откуда взялось это впечатление, но мне показалось, что я никогда еще не видел такой постыдной, такой ничтожной спины, и мне было ничуть не совестно, что я обругал его напоследок...

Уже вечерело, солнце садилось, тихонько шелестела листва деревьев, и няньки, сидевшие у загородки, за которой выступали канатоходцы, собирались везти своих младенцев домой. Я был спокоен и невозмутим. Мое недавнее волнение мало-помалу улеглось, я ослабел, почувствовал вялость, мне захотелось спать; и хотя в тот день я съел слишком много хлеба, последствия этого уже почти не чувствовались. В наилучшем расположении духа я откинулся на спинку скамьи и закрыл глаза; спать хотелось все сильнее, я клевал носом и совсем уж было уснул, но тут сторож положил мне руку на плечо и сказал:

— Здесь спать нельзя.

— Да, конечно,—сказал я и тотчас же поднялся.

И тут же положение мое вновь представилось мне совершенно безнадежным. Нужно было что-то сделать,

что-то придумать! Мне не удалось найти места; рекомендации, которые я представлял, были давнишние и под ними стояли подписи никому не известных людей, так что на них надеяться не приходилось; к тому же я столько раз за это лето получал отказы, что потерял всякую уверенность в себе. Но как бы то ни было, я не уплатил в срок за квартиру и эти деньги должен был где-то добыть. Остальное могло пока оставаться по-прежнему.

Машинально я снова взял в руки карандаш и бумагу, сел и написал в каждом углу листа: «1848». Если б хоть одна вдохновенная мысль овладела мною и подсказала мне слова! Ведь бывали же раньше, да, бывали такие минуты, когда я безо всякого труда мог сочинить длинную и блестящую статью.

Я сижу на скамейке и все вывожу на бумаге: «1848», я пишу это число вдоль и поперек, на тысячу разных ладов, и жду, не осенит ли меня спасительное вдохновение. Какие-то отрывочные мысли роятся в голове, гаснущий день навевает уныние и грусть. Осень уже пришла и начинала сковывать все сном, мухи и насекомые ощутили на себе ее дыхание, в листве деревьев и на земле слышен шорох — это не хочет покориться жизнь, она беспокойна, шумна, неугомонна, она не щадит сил в своей борьбе против умирания. Все ползучие твари снова высовывают желтые головы из мха, шевелят конечностями, ощупывают землю длинными усиками, а потом вдруг падают, опрокидываются кверху лапками. Всякая былинка принимает особенный, неповторимый оттенок под дыханием первых холодов; бледные стебельки тянутся к солнцу, опавшие листья шуршат на земле, словно шелковичные черви. Осенняя пора, карнавал тления; кроваво-красные лепестки роз обрели воспаленный, небывалый отлив.

Я сам чувствовал себя, словно червь, гибнущий среди этого готового погрузиться в спячку мира. Охваченный непостижимым страхом, я вскочил и большими шагами забегал по дорожке. «Нет! — крикнул я и стиснул кулаки. — Так продолжаться не может!» И снова сел, взялся за карандаш, решившись во что бы то ни стало написать статью. Я не имел права опускать руки — счет за квартиру маячил у меня перед глазами.

Медленно, очень медленно мысли мои приходили в порядок. Я сосредоточился и не спеша, взвешивая каждое слово, написал две вводные страницы; они могли стать введением к чему угодно — к путевым заметкам

или к политическому обзору, как мне заблагорассудится. Это было превосходное начало и к тому и к другому.

Потом я начал искать подходящее содержание — ко-го-нибудь или что-нибудь такое, о чем стоило бы написать, и ничего не мог найти. От этого бесполезного усилия мои мысли снова начали путаться, я почувствовал, как мозг отказывается работать, голова все пустеет, пустеет, и вот я снова совсем не чувствую ее на плечах. Эту зияющую пустоту в голове я ощущаю всем своим существом, мне кажется, что весь я пуст с головы до ног.

— Господи, Боже ты мой! — воскликнул я в отчаянье, а потом повторил этот возглас еще и еще, не в силах больше вымолвить ни слова.

Ветер шумел в листве, надвигалось ненастье. Я посидел еще немного, задумчиво глядя на бумагу, потом сложил ее и не спеша спрятал в карман. Стало холодно, а у меня теперь не было жилета; я застегнул куртку до самого верха и сунул руки в карманы. Потом встал и пошел.

Хоть бы в этот раз мне посчастливилось, в этот единственный раз! Хозяйка уже дважды смотрела на меня, безмолвно требуя денег, а я вынужден был, смущенно поклонившись, прошмыгнуть мимо. Больше я так не могу; когда она снова бросит на меня такой взгляд, я честно признаюсь во всем и откажусь от квартиры, ведь все равно дальше так нельзя.

Дойдя до выхода из парка, я снова увидел старичка, который убежал, испуганный моей яростью. Таинственный сверток был развернут и лежал подле него на скамейке, — там оказалась всякая снедь, и он закусывал. Я хотел подойти к нему и извиниться за свое поведение, но не мог — так отвратительно он ел; морщинистые старческие пальцы, словно десять отвратительных когтей, впивались в жирные бутерброды, я почувствовал, что меня тошнит, и молча прошел мимо. Он не узнал меня, его глаза скользнули по мне, и ни один мускул в лице не дрогнул.

Я пошел дальше.

По своему обыкновению, я останавливался перед каждой вывешенной газетой, читал объявления о найме на работу и, когда нашел одно подходящее место, очень обрадовался: торговец на Грэнланслерет ищет счетовода для двухчасовой вечерней работы; плата по соглашению. Я записал адрес и про себя возблагодарил Бога; я соглашусь на самую ничтожную плату, мне хватит и пятидесяти эре, хватит даже сорока; я пойду на какие угодно условия.

Когда я вернулся домой, на моем столе лежала записка от хозяйки, в которой она требовала либо уплатить за комнату вперед, либо освободить ее как можно скорее. Она просила не сердиться, — ей нельзя иначе. С совершенным почтением мадам Гуннерсен.

Я написал письмо торговцу Кристи, Грэнланслерет, 31, положил его в конверт и бросил в ящик на углу. Потом я снова поднялся к себе, сел в качалку и задумался, а сумерки меж тем все сгущались. Тяжелая усталость одолевала меня.

Наутро я проснулся рано. Когда я открыл глаза, было еще совсем темно, и лишь через некоторое время я услышал, как внизу пробило пять. Я хотел уснуть снова, но сон не приходил, я не мог даже задремать, тысячи мыслей лезли в голову.

Вдруг мне пришло на ум несколько хороших фраз, годных для очерка или фельетона, — прекрасная словесная находка, какой мне еще никогда не удавалось сделать. Я лежу, повторяю эти слова про себя и нахожу, что они превосходны. Вскоре за ними следуют другие, я вдруг совершенно просыпаюсь, встаю, хватаю бумагу и карандаш со стола, который стоит в ногах моей кровати. Во мне как будто родник забил, одно слово влечет за собой другое, они связно ложатся на бумагу, возникает сюжет; сменяются эпизоды, в голове у меня мелькают реплики и события, я чувствую себя совершенно счастливым. Как одержимый исписываю я страницу за страницей, не отрывая карандаша от бумаги. Мысли приходят так быстро, обрушиваются на меня с такой щедростью, что я упускаю множество подробностей, которые не успеваю записать, хотя стараюсь изо всех сил. Я полон всем этим, весь захвачен темой, и всякое слово, написанное мною, словно изливается само по себе.

Это изумительное состояние длится, длится бесконечно долго; и когда я наконец прерываюсь и откладываю карандаш, на моих коленях лежат пятнадцать, а то и все двадцать исписанных страниц. Если только эти листки действительно чего-нибудь стоят, я спасен! Я вскакиваю с постели и одеваюсь. Все больше и больше светает, уже почти можно прочесть объявление смотрителя маяка у двери, а подле окна уже так светло, что писать — одно удовольствие. И я тотчас принимаюсь переписывать бумагу набело.

Мои фантазии облечены удивительной, плотной дымкой, сотканной из света и красок; я едва успеваю удивляться своим удачам и говорю себе, что лучше этого еще ничего не читал. Счастье пьянит меня, радость пылает в моей душе, я торжествую победу; взвесив пачку листков на руке, я тут же оцениваю их в пять крон, по самому примерному подсчету. Ведь о пяти кронах никто не станет торговаться, напротив, можно смело сказать, что, учитывая содержание моей рукописи, даже десять крон — ничтожная цена. Я не собирался делать столь исключительную работу даром; сколько мне известно, такие романы не валяются на дороге. И я решил просить десять крон.

В комнате становилось все светлее, я взглянул в сторону двери и без особенного труда прочел тонкие, похожие на скелеты буквы, возвещающие, что «у йомфру Андерсен, в подворотне направо, можно приобрести самый лучший саван»; к тому же часы внизу уже довольно давно пробили семь.

Я отошел от окна и остановился посреди комнаты. Если все хорошенько взвесить, мадам Гуннерсен весьма кстати отказала мне. Эта комната вовсе не для меня; здесь такие простенькие зеленые занавески на окнах, а в стены вбито так мало гвоздей и некуда вешать одежду. Качалка в углу, по сути дела, лишь пародия, жалкое подобие качалки, смех, да и только. Кроме того, она слишком низка для взрослого и до такой степени узка, что из нее приходится самого себя вытаскивать, словно ногу из тесного сапога. Одним словом, эта комната не для умственной работы, и я не хотел здесь оставаться. Ни в коем случае не хотел! Слишком долго я молчал, терпел и томился в этой каморке.

Открытый надеждой и радостью, все еще полный мыслей о замечательном сочинении, которое я то и дело вытаскивал из кармана и перечитывал, я решил, не теряя времени, собирать вещи. Я достал узелок — пару чистых воротничков, завернутых в красный носовой платок, и скомканную газетную бумагу, в которой я приносил домой хлеб, скатал свое одеяло, прихватил весь свой запас писчей бумаги. Потом я предусмотрительно обшарил все углы, чтобы убедиться, не забыл ли я чего-нибудь, и, не найдя ничего, выглянул в окно. Утро выдалось пасмурное и сырое; у сгоревшей кузницы не было ни души, а отсыревшая веревка на дворе туго натянулась от стены к стене. Все это я видел и раньше, поэтому я ото-

шел от окна, взял одеяло под мышку, поклонился объявлению смотрителя маяка, а также савану йомфру Андерсен и отворил дверь.

Тут я вспомнил про хозяйку; ведь нужно было уведомить ее об отъезде, пусть знает, что имела дело с порядочным человеком. Кроме того, мне хотелось поблагодарить ее в записке за те несколько дней, что я пользовался комнатой сверх срока. Сознание, что теперь я на некоторое время обеспечен, было так сильно, что я даже пообещал хозяйке в ближайшие дни занести пять крон; мне хотелось подчеркнуть, какой благородный человек жил под ее кровом.

Записку я оставил на столе.

У двери я снова остановился и обернулся назад. Светлое чувство возвращения к жизни возродило меня, я был благодарен Богу и всему миру, я опустился на колени у кровати и громко возблагодарил творца за великую милость, которую он ниспослал мне в это утро. Я знал, да, знал, что этот порыв вдохновения, который я только что пережил и перенес на бумагу, был чудом, свершившимся в моей душе по воле неба, откликом на мой вчерашний крик о помощи. «Там Господь! Там Господь!» — восклицал я и плакал, радостно умиленный собственными словами; по временам мне приходилось умолкать и прислушиваться, не идет ли кто наверх. Наконец я встал, неслышно спустился с длинной лестницы и, никем не замеченный, добрался до парадной двери.

Мостовые блестели от дождя, выпавшего ранним утром, над городом нависло тяжелое и низкое небо, солнце не проглядывало сквозь тучи. Который был час? По своему обыкновению, я пошел к ратуше и увидел, что на часах половина девятого. Значит, мне предстояло бродить добрых два часа, ведь не имело смысла являться в редакцию до десяти или даже до одиннадцати, а покуда приходилось шататься по улицам и на досуге придумывать, как раздобыть чего-нибудь на завтрак. Впрочем, я не боялся в тот вечер остаться без ужина; те времена, слава богу, миновали! Это уже пережито, кончилось, как дурной сон; теперь мои дела пошли в гору!

Под мышкой у меня было зеленое одеяло, и от этого я чувствовал себя неловко: просто немислимо носить такой сверток на виду у всех. Что подумают люди? Я стал подыскивать местечко, где можно было бы оставить его на время. Вдруг мне пришло в голову, что я могу зайти к Сембу и попросить завернуть одеяло в бумагу;

мой сверток тотчас примет приличный вид, и мне нечего будет стыдиться. Я зашел в магазин и обратился со своей просьбой к одному из приказчиков.

Он взглянул сперва на одеяло, потом на меня; мне показалось, что он презрительно пожал плечами, принимая сверток. Это меня задело.

— Осторожней, черт побери!— воскликнул я.— Тут завернуты две драгоценные вазы. Эта посылка будет отправлена в Смирну.

Моя уловка удалась как нельзя лучше. Теперь у приказчика был виноватый вид, он словно молил простить его за то, что он не сразу сообразил, какой это ценный сверток. Когда он закончил свое дело, я поблагодарил его с таким видом, словно уже не раз отсылал в Смирну всякие драгоценности; приказчик даже проводил меня до порога и распахнул передо мной дверь.

Я отправился на рыночную площадь и стал бродить в толпе, стараясь держаться поближе к женщинам, которые продавали цветы в горшках. Тяжелые, красные розы, влажно алевшие в сыром утреннем воздухе, дразнили меня, вызвали искушение сорвать один цветок, и я спрашивал о цене, пользуясь предлогом подойти поближе. Будь у меня деньги, я купил бы розу не задумываясь; чтобы возместить такую трату, я мог бы в чем-нибудь урезать себя.

Десять часов, иду в редакцию. Человек с ножницами роется в куче старых газет, редактор еще не приходил. Он предлагает мне оставить мою пухлую рукопись, а я даю ему понять, что это не простая рукопись, и убедительно прошу передать ее в собственные руки редактора. Позднее я сам зайду за ответом.

— Ладно!— сказал Человек-Ножницы и снова принялся за свои газеты.

Мне показалось, что он отнесся к делу слишком спокойно, но я промолчал; с притворным равнодушием кивнул ему и ушел.

Теперь у меня было много свободного времени. Хоть бы небо прояснилось! Погода омерзительная— ни ветра, ни мороза; дамы предусмотрительно раскрыли зонтики, а шляпы на головах у мужчин имеют смешной и печальный вид. Я снова иду на рынок, рассматриваю зелень и розы. Вдруг кто-то кладет мне руку на плечо, и я оборачиваюсь— это «Красная девица» желает мне доброго утра.

— Доброе утро?— повторил я полувопросительно, желая поскорей от него отвязаться. Я недолго любил «Красную девицу».

Он с любопытством смотрит на большой, аккуратный сверток у меня под мышкой и спрашивает:

— Что это у вас?

— Я был у Семба и купил кое-что на платье,— безразличным тоном отвечаю я.— Мне надоело ходить в такой поношенной одежде. Нельзя же без конца пренебрегать своей внешностью.

Он смотрит на меня с изумлением.

— Ну а вообще как дела?— спрашивает он помолчав.

— Лучшего и желать нельзя!

— Нашли себе какое-нибудь занятие?

— Занятие?— повторяю я с нарочитым удивлением.— Да будет вам известно, что я служу бухгалтером в оптовой фирме Кристи.

— Вот как!— говорит он попятившись.— Ах ты господи, до чего же я рад за вас. Глядите же не раздавайте денег всяким попрошайкам. Всего доброго.

Отойдя немного, он снова возвращается, указывает палкой на мой сверток и говорит:

— Позвольте рекомендовать вам моего портного. Более элегантно портного, чем Исаксен, вам не сыскать. Скажите, что вы от меня.

И зачем ему понадобилось совать нос в мои дела? Что ему до того, к какому портному я пойду? Я рассердился; этот пустой расфранченный человек раздражал меня, и я довольно грубо напомнил ему о десяти кронах, которые он как-то у меня занял. Но не успел он ответить, как я раскаялся, что потребовал у него долг, смутился и опустил глаза; в это время мимо нас проходила дама, я отступил, чтобы пропустить ее, и воспользовался случаем уйти.

Куда мне деваться, где ждать? Идти в кофейню с пустым карманом я не мог, и к знакомым в это время дня нельзя было зайти. Я бесцельно побрел по городу, между рынком и Гренсенем, прочитал «Вечерние новости», только что вывешенные на доске, прошелся по улице Карла-Юхана, потом повернул и направился к храму Спасителя, где нашел спокойное местечко на кладбище, подле часовни.

Воздух здесь был влажный, я сидел в тишине, думал, задремывал и зяб. Время шло. Можно ли быть уверенным, что мой фельетон— это хоть и маленький, но вдохновенный шедевр? Бог знает, нет ли в нем ошибок! Если подумать хорошенько, его ведь могут вовсе не принять, просто-напросто не принять! Пожалуй,

он попросту посредственный, а то и безнадежно плохой, кто мне поручится, что его уже не швырнули в корзину для бумаги?.. Мое душевное спокойствие было нарушено, я вскочил и бросился прочь с кладбища.

На Акерсгатен я заглянул через витрину в лавку и увидел, что на часах только начало первого. Это меня вконец расстроило, ведь я был уверен, что уже далеко за полдень, а идти к редактору раньше четырех было бесполезно. Меня одолевали мрачные предчувствия относительно судьбы моего фельетона; чем больше я думал об этом, тем мне представлялось невероятнее, что я мог написать нечто сносное в таком порыве, почти во сне, когда мой мозг лихорадило и мысли блуждали. То был, конечно, просто самообман, и все утро я радовался зря! Еще бы!.. Я быстро шел по Уллевольсвейен, мимо холма Святого Генриха, миновал пустыри, зашагал по узким, странным улицам, прилегающим к лесопилке, мимостроек и огородов и очутился наконец на большой дороге, которой не видно было конца.

Здесь я остановился и решил повернуть назад. Ходьба согрела меня, и назад я шел медленно, повесив нос. Мне встретились два воза с сеном. Возчики лежали навзничь на сене и пели, оба босые, с круглыми, беспечными лицами. Идя им навстречу, я думал, что они заговорят со мной, отпустят какое-нибудь замечание или начнут смеяться, и, когда я подошел к ним довольно близко, один из них громко осведомился, что у меня под мышкой.

— Одеяло,— ответил я.

— Который час?— спросил он.

— Точно не знаю, наверно, около трех.

Тогда оба засмеялись и поехали дальше. Но вдруг меня ожгла боль от удара кнутом по уху и шляпа слетела с головы; эти парни не могли удержаться, чтобы не подшутить надо мною. Возмущенный, я схватился за ухо, подобрал шляпу на краю канавы и пошел прочь. У холма Святого Генриха я спросил у встречного, сколько времени, и он ответил, что уже пятый час.

Пятый час! Уже пятый час! Я прибавил шагу, почти бегом поспешил в редакцию. Редактор, пожалуй, давно там, а может быть, даже уже ушел! Я то брел медленно, то бежал, едва не попадая под колеса, обгонял прохожих, мчался взапуски с лошадьми, выбивался из сил как безумный, только бы успеть вовремя. Вбежав в здание, я несколькими прыжками одолел лестницу и постучал в дверь.

Ответа не было.

«Он ушел! Ушел!» — думаю я. Я дергаю дверь, она не заперта, стучу еще раз и вхожу.

Редактор сидит за столом, лицом к окну, в руке у него перо, он что-то пишет. Я здороваюсь, с трудом переведа дух, он оборачивается, глядит на меня и качает головой.

— У меня еще не было времени просмотреть ваш очерк.

Я рад, что он, по крайней мере, пока не отверг мою работу, и говорю:

— Ну, конечно, я же понимаю. Да это и не к спеху. Может быть, зайти дня через два или...

— Да, да, я погляжу. Впрочем, у меня ведь есть ваш адрес.

И тут я забыл сказать, что у меня больше нет никакого адреса.

Аудиенция кончилась, я с поклонами отступаю назад и ухожу. Душа моя снова полна надежды: еще ничего не потеряно, напротив, я еще могу многого добиться, если уж на то пошло. И в голове у меня рождаются всякие фантазии, мне мнится, что у престола Всевышнего решено вознаградить меня за мой фельетон десятью кронами...

Только бы мне найти какое-нибудь пристанище на ночь! Я раздумываю, где мне лучше всего заночевать; этот вопрос так занимает меня, что я останавливаюсь посреди улицы. Я забываю, где я, стою, как одинокий бакен в море, а вокруг плещут и бушуют волны. Газетчик протягивает мне «Викинга». Любопытно, очень любопытно! Я поднимаю голову и вздрагиваю — передо мной снова магазин Семба.

Я быстро поворачиваюсь, стараюсь скрыть сверток и, растерянный, спешу к церкви, боясь, как бы меня не увидели из окон. Я миную Ингебрет, прохожу мимо театра, у Логена сворачиваю и направляюсь в сторону набережной, к форту. Отыскав свободную скамейку, я снова погружаюсь в размышления.

Где мне найти пристанище на ночь? Нет ли какой-нибудь дыры, где я мог бы укрыться до утра? Гордость не позволяла мне вернуться назад, в прежнюю свою комнату; я и мысли не допускал о том, чтобы отказаться от своих слов, я с негодованием отмахнулся от этого и лишь смущенно улыбнулся, представив себе маленькую красную качалку. Волей воображения я вдруг очутился в большой, с двумя окнами, комнате на Хегдехауген, где

когда-то жил: на столе я увидел поднос со множеством бутербродов внушительного вида, а потом он превратился в бифштекс — соблазнительный бифштекс, рядом появилась белоснежная салфетка, груды хлеба, серебряная вилка. И отворилась дверь: вошла моя хозяйка, она предложила мне еще чашечку чаю...

Пустые видения и сны! Я стал внушать себе, что, если бы я теперь добыл еды, голова моя снова пришла бы в расстройство, мне пришлось бы бороться с той же самой лихорадкой в мыслях, с наплывом безумных фантазий. Таков уж я был, еда приносила мне вред; это была моя странность, мое особенное свойство.

Может статься, я еще найду себе пристанище попозже, перед вечером. Спешить некуда: на худой конец, отыщу местечко где-нибудь в лесу, все городские окрестности к моим услугам, и мороза нет.

А море замерло в тяжелой неподвижности, корабли и неуклюжие, тупоносые буксиры бороздили его свинцовую гладь, вспенивали воду с обоих бортов, плыли все вперед, дым, словно пух, летел из труб, стучали машины, сотрясая глухими ударами промозглый воздух. Небо застилали тучи, было безветренно, деревья у меня за спиной казались мокрыми, а скамейка подо мной была сырая и холодная. Время шло; я начал задремывать, появилась усталость, холодок пробежал по спине; вскоре я почувствовал, что глаза у меня совсем слипаются. И я смежил веки...

Когда я проснулся, было уже темно; одурелый спроне и озябший, я вскочил, схватил свой сверток и пошел прочь. Я шел все быстрее и быстрее, чтобы согреться, махал руками, потирал ноги, которые у меня словно отнялись, и очутился у пожарной каланчи. Было девять; я проспал несколько часов.

Куда же мне деваться? Нужно найти место для ночлега. Я стою, гляжу на пожарное депо и соображаю, не удастся ли проскользнуть в какую-нибудь дверь, выждав, когда охранник зазеваается. Я поднимаюсь по ступенькам и пробую завязать с ним разговор, он тотчас же берет свой топорик на караул и готов меня слушать. Этот поднятый топорик, обращенный ко мне холодным лезвием, словно рубит меня по нервам, я немею от страха перед вооруженным человеком и невольно отступаю. Я молчу, только отступаю все дальше и дальше; спасая достоинство, я провожу рукою по лбу, словно забыл что-то, и отхожу. Очутившись снова на тротуаре, я чув-

ствую облегчение, как будто в самом деле избежал серьезной опасности. И спешу прочь.

Холодный и голодный, все больше падая духом, ползая по улице Карла-Юхана; при этом я громко ругался, не беспокоясь, что кто-нибудь может это услышать. У здания стортинга, подле первого льва, опять-таки волею воображения, я вспоминаю знакомого художника, молодого человека, которого однажды спас в Тиволи от пощечины, а потом как-то заходил к нему. Весело щелкнув пальцами, я отправляюсь на Турденшёлгатен, отыскиваю дверь с табличкой «К. Захария Бартель» и стучусь.

Он сам открыл дверь; от него омерзительно пахло пивом и табаком.

— Добрый вечер! — сказал я.

— Добрый вечер! Это вы? Черт возьми, что это вам вздумалось пожаловать ко мне так поздно? Ведь при лампе на моей картине решительно ничего не видно. Со времени вашего прошлого посещения я пририсовал стог сена и кое-что переделал. Приходите днем, а сейчас смотреть нет никакого смысла.

— Все-таки позвольте взглянуть! — сказал я. Впрочем, я не помнил, о какой картине шла речь.

— Это невозможно! — отвечал он. — Все будет казаться желтым! И кроме того... — Понизив голос до шепота, он подошел ко мне вплотную. — Сегодня у меня девушка, так что я никак не могу.

— Ну, в таком случае и толковать не о чем.

Я попятился, пожелал ему доброй ночи и ушел.

Оставалось только одно — идти в лес. Ах, если б земля была не такой сырой! Я поглаживал свое одеяло и понемногу свикался с мыслью, что буду ночевать под открытым небом. Поиски ночлега в городе были столь долгими и мучительными, что я устал, мне все опротивело; так сладостно было почувствовать успокоение, смириться и плестись по улице без единой мысли в голове. Проходя мимо университета, я поднял голову, увидел, что уже одиннадцатый час, и направился к окраине. На Хегдехауген я остановился перед съестной лавкой, у витрины. Рядом с французской булкой спала кошка, тут же была жестянка со свиным салом и стеклянные банки с крупой. Я постоял немного, глядя на это изобилие, но так как денег у меня не было, отвернулся и продолжал путь. Я шел очень медленно, миновал заставу, побрел дальше, все дальше, час за часом, и наконец добрался до пригородного леса.

Здесь я свернул с дороги и присел отдохнуть. Потом стал искать какое-нибудь мало-мальски подходящее место, собрал вереску и можжевельника, устроил постель на маленьком пригорке, где было чуть посуше, развернул свой пакет и вынул одеяло. Я смертельно устал после долгого пути и тотчас же лег. Много раз я ворочался и ерзал, покуда не устроился наконец поудобнее; ухо у меня слегка побаливало, оно даже распухло от удара кнутом, и я мог лежать только на одном боку. Башмаки я снял и положил под голову, завернув в бумагу от Семба.

Все вокруг было погружено в темноту, стояла тишина, полнейшая тишина. Лишь в высоте звучала вечная песня воздушных стихий, далекий, монотонный гул, который никогда не смолкает. Я так долго прислушивался к этому бесконечному, тоскливому звучанию, что мне сделалось не по себе; ведь это была музыка блуждающих миров, мелодия звезд...

— Нет, это, наверно, дьявольское наваждение! — сказал я и, чтобы ободриться, громко засмеялся. — Это филины кричат в земле Ханаанской!

Я встал, лег и снова встал, надел башмаки, принялся бродить в темноте, потом опять лег и до самого рассвета боролся с ожесточением и страхом, лишь под утро сон наконец одолел меня.

Когда я открыл глаза, было уже совсем светло, и я почувствовал, что время близится к полудню. Я надел башмаки, снова завернул одеяло в бумагу и пошел обратно в город. Солнце, подобно вчерашнему, скрывали тучи, и я мерз как собака; ноги у меня окоченели, а глаза слезились, словно ослепленные дневным светом.

Оказалось, что уже три часа. Голод терзал меня все сильнее, я ослаб. Я шел, временами чувствуя тошноту. Потом свернул к общественной столовой, прочитал меню, вывешенное на доске, и выразительно пожал плечами, словно терпеть не мог говядину и свинину; отсюда я отправился на вокзальную площадь.

Голова моя сильно кружилась; я шел дальше и старался не обращать на это внимания, но она кружилась все сильнее, и наконец мне пришлось присесть на лестнице. Все внутри меня переменялось, словно бы сдвинулось с места, или какая-то завеса, какая-то ткань лопнула у меня в мозгу. Раза два я чуть не задохнулся и сидел

пораженный. Я не терял сознания, я определенно чувствовал, как у меня со вчерашнего дня побаливало ухо, и когда мимо прошел знакомый, я тотчас узнал его, встал и поклонился.

Что это за новое, мучительное ощущение добавилось теперь к остальным? Неужели дело в том, что я спал на сырой земле? Или же я чувствую себя так потому, что еще не завтракал? Вообще говоря, не имело смысла влачить столь жалкую жизнь; видит бог, я решительно не понимал, за что мне ниспослано это наказание! И я подумал, что очень даже просто могу стать прощельгой, могу снести в заклад одеяло. Я получу за него крону, и этого мне хватит трижды плотно пообедать, я продержусь сколько возможно, пока не подвернется что-нибудь другое; а Ханса Паули я как-нибудь обману. Я уже направился к процентщику, но остановился перед дверью, в раздумье покачал головой и повернул назад.

Чем дальше я уходил, тем радостнее становилось мне от мысли, что я преодолел это тяжкое искушение. Я думал о том, что остался честным человеком, что у меня твердая воля, что я, как яркий маяк, возвышаюсь над мутным людским морем, где плавают обломки кораблекрушений, и это исполняло меня гордости. Заложить чужую вещь, только чтобы пообедать, угрызаться совестью из-за каждого куска, ругать себя прощельгой, стыдиться перед самим собой — нет, никогда! Никогда! Такая мысль не могла прийти мне всерьез, ее, можно сказать, вовсе и не было; а за случайные, мимолетные мыслишки человека винить нельзя, в особенности когда нестерпимо болит голова и до смерти устаешь все время таскать с собой чужое одеяло.

Рано или поздно непременно найдется какой-нибудь выход! Вот, скажем, этот торговец на Грэнланслерет, я предложил ему свои услуги письмом, но разве я обивал его порог? Разве звонил по телефону с утра до ночи и получал отказы? Я просто-напросто не пришел к нему, потому и не знаю ответа. Быть может, из этого выйдет что-нибудь, быть может, на этот раз счастье мне улыбнется; пути счастья сплошь и рядом неисповедимы. И я отправился на Грэнланслерет.

Последняя встреча меня обессилила, я едва плелся и придумывал, что мне сказать этому торговцу. Наверное, у него добрая душа; если он будет в хорошем настроении, то охотно даст мне крону вперед за работу, даже просить не придется; у подобных людей часто бывают премилые чудачества.

Я проскользнул в ворота, смочил слюною свои брюки на коленях, чтобы придать им более приличный вид, сунул одеяло за ящик в темный угол, пересек наискось улицу и вошел в лавку.

Внутри какой-то человек клеил пакеты из старых газет.

— Мне хотелось бы видеть господина Кристи.

— Это я и есть,— отозвался он.

Вот как! А я такой-то, имел честь письмом предложить ему свои услуги и вот хочу узнать, можно ли мне на что-нибудь рассчитывать?

Он несколько раз повторил мое имя и рассмеялся.

— Не соблаговолите ли полюбоваться, как вы оперируете числами, сударь? Вы поместили ваше письмо тысяча восемьсот сорок восьмым годом.

И он захохотал во всю глотку.

— Да, это не очень хорошо,— смущенно сказал я.— Готов признать, я несколько рассеян, невнимателен.

— Мне, да будет вам известно, нужен человек, который никогда не делает ошибок в числах,— сказал он.— А право, жаль, у вас такой четкий почерк, и вообще ваше письмо мне понравилось, но...

Я подождал немного; мне трудно было поверить, что это его последнее слово.

Он снова занялся своими пакетами.

— Да, это досадно, очень досадно, но поверьте, такое никогда больше не повторится, ведь нельзя же из-за легкой описки считать меня совершенно непригодным к работе счетовода!

— Я этого и не считаю,— ответил он.— Но в ту минуту я придал этому такое значение, что тотчас взял другого.

— Стало быть, место занято?— спросил я.

— Да.

— Ах ты господи, значит, ничего не поделаешь!

— Ровным счетом. Мне очень жаль, но...

— Прощайте!— сказал я.

Звериная ярость овладела мной. Я схватил свое одеяло в подворотне, стиснул зубы, толкал мирных людей на улице и не извинялся. Когда какой-то господин остановился и сделал мне строгое замечание, я повернул к нему голову и выкрикнул ему прямо в ухо какую-то бессмыслицу, потряс кулаками перед самым его носом и пошел дальше, ослепленный бешенством, с которым не в силах был совладать. Он позвал полицейского, и в это мгнове-

ние мне больше всего захотелось затеять с полицейским драку, я умышленно замедлил шаг, чтобы меня могли нагнать; но его не было. Что толку, если все самые горячие, самые решительные попытки что-то предпринять оканчивались неудачей? Почему я написал 1848? На что сдался мне этот проклятый год? Теперь я был так голоден, что у меня сводило кишки, причем не приходилось и надеяться, что в этот день я раздобуду хоть немного еды. С течением времени все более сильное опустошение, душевное и телесное, завладевало мною, с каждым днем я все чаще поступался своей честностью. Я лгал без зазрения совести, не уплатил бедной женщине за квартиру, мне даже пришла в голову преподлая мысль украсть чужое одеяло — и никакого раскаяния, ни малейшего стыда. Я разлагался изнутри, во мне разрасталась какая-то черная плесень. А там, на небесах, восседал Бог и не спускал с меня глаз, следил, чтобы моя погибель наступила по всем правилам, медленно, постепенно и неотвратимо. Но в преисподней метались злобные черти и рвали на себе волосы, оттого что я так долго не совершал смертного греха, за который Господь по справедливости низверг бы меня в ад...

Я прибавил шагу, почти побежал, неожиданно свернул налево и в яростном негодовании очутился перед ярко освещенным, красивым подъездом; я не остановился, не опомнился ни на минуту; но удивительная пышность подъезда мгновенно запечатлелась в моей памяти, каждая мелочь, все украшения стояли перед моим внутренним взором, пока я бежал вверх по лестнице. Во втором этаже я резко позвонил. Почему я остановился именно во втором этаже? И почему схватился за самый дальний от лестницы звонок?

Молодая дама в сером платье с черной отделкой отворила дверь; некоторое время она изумленно смотрела на меня, потом покачала головой и сказала:

— Нет, сегодня у нас ничего нет.

И хотела закрыть дверь.

Почему именно ей суждено было оказаться на моем пути? Она приняла меня за нищего, а я вдруг стал хладнокровен и спокоен. Я снял шляпу, почтительно поклонился и, как будто не расслышав ее слов, сказал с крайней учтивостью:

— Прошу прощения, фрекен, что я так громко позвонил, я не привык к вашему звонку. Кажется, здесь живет больной, который ищет человека возить его в коляске?

Мгновение она постояла, как бы взвешивая мою нелепую выдумку и, видимо, не зная, что обо мне думать.

— Нет,— сказала она наконец.— Никакой больной здесь не живет.

— Разве? Такой пожилой господин, которого нужно возить по два часа в день, за сорок эре в час.

— Нет.

— Тогда еще раз прошу прощения,— сказал я.— Очевидно, это в первом этаже. Я только хотел рекомендовать ему одного человека, своего знакомого, чья судьба мне не безразлична. Меня зовут Ведель-Ярльсберг.

Я снова поклонился и сделал шаг назад; дама покраснела до корней волос, от смущения она не могла двинуться с места и стояла, глядя мне вслед, пока я спускался по лестнице.

Спокойствие снова вернулось ко мне, и голова моя была ясна. Слова дамы, что ей нечего подать сегодня, подействовали на меня, как холодный душ. Я уже дошел до того, что каждый мог, посмотрев на меня, мысленно сказать: «Вон идет нищий, он клянчит у людей себе на пропитание!»

На Мёллергатен я остановился у кухмистерской и стал нюхать аппетитный запах жареной говядины; я уже взялся за ручку двери и хотел войти, сам не зная для чего, но вовремя одумался и ушел. Выйдя на площадь, я стал искать места, где бы отдохнуть, но все скамейки были заняты, и я тщетно бродил вокруг церкви в поисках тихого местечка, куда мог бы присесть. «Ну конечно! — с мрачностью сказал я про себя.— Конечно! Конечно же!» И я пошел дальше. У фонтана в углу базара я остановился, выпил воды, снова пошел, волоча ноги, подолгу мешкал у каждой витрины, провожал глазами каждую проезжавшую карету. Голова у меня горела, в висках раздавался какой-то странный стук; выпитая вода не пошла впрок, и время от времени я с трудом удерживался от рвоты. Наконец я добрался до кладбища у храма Спасителя. Я сел, уперся локтями в колени и уронил голову на руки; когда я скорчился таким образом, мне стало лучше, и я уже не чувствовал покалывания в груди.

Какой-то каменщик ползал по гранитной плите неподалеку от меня и высекал надпись; он был в темных очках и вдруг напомнил мне одного моего знакомого, которого я почти забыл,— тот человек служил в банке, и я встретился с ним как-то в кофейне.

Если б только я мог преодолеть свой стыд и обратиться к нему! Сказать ему всю правду о том, как мне

теперь тяжко, как трудно добывать пропитание! Я мог бы отдать ему книжку с талонами на бритье... Ах, черт, я совсем позабыл про эту книжку! А там талонов почти на крону! Взволнованный, я начинаю искать свое сокровище. Не найдя сразу, я вскакиваю, шарю в холодном поту от страха и наконец нахожу ее на дне бокового кармана вместе с чистыми и исписанными листками, не имеющими никакой ценности. Я несколько раз пересчитываю эти шесть талонов от начала, потом от конца; мне они не очень нужны,— я больше не хочу бриться, такая уж у меня прихоть, фантазия. Я мог бы иметь вместо них полкроны, блестящую монету из конгсбергского серебра! Банк закрывается в шесть, я могу дождаться своего знакомого у кофейни, он придет часов в семь или в восемь.

Я долго радовался этой мысли. Время шло, в листве каштанов вокруг меня шумел ветер, день клонился к вечеру. Но разве не унижительно соваться с шестью талончиками к молодому человеку, служащему в банке? Как знать, может, у него целых две пухлых книжки в кармане, а талоны в них красивее и чище, чем мои. И я шарил по карманам в надежде найти еще что-нибудь подходящее и предложить ему в придачу, но ничего не нашел. А что, если предложить ему мой галстук? Я отлично могу обойтись и без него, стоит только плотно застегнуть куртку, а мне и без того приходится это делать, раз у меня нет жилета. Я снял галстук, завязанный большим бантом и закрывавший едва ли не половину моей груди, тщательно почистил его и вместе с книжкой завернул в кусок белой бумаги. Потом покинул кладбище и пошел в город.

Часы на ратуше показывали семь. Я держался поблизости от кофейни, прохаживался взад-вперед вдоль железной решетки и внимательно оглядывал всех, кто входил и выходил. Наконец около восьми я увидел молодого человека, чисто и элегантно одетого, который направлялся к дверям кофейни. Когда я увидел его, сердце у меня в груди затрепыхалось, как птичка, и я, не здороваясь, набросился на него.

— Дайте полкроны, старый друг! — нагло сказал я. — А вот это вам в залог. — И я сунул маленький сверток ему в руку.

— Не могу! — сказал он. — Видит бог, у меня ничего нет! — И он вывернул свой кошелек наизнанку перед самым моим носом. — Вчера вечером я развлекался и теперь сижу на мели. Поверьте, у меня ничего нет.

— Ну не беда, друг мой! — ответил я, поверив ему на слово.

Ведь он, конечно, не стал бы лгать из-за такого пустяка; мне даже показалось, что его серые глаза увлажнились, когда он рылся в карманах и ничего не находил. Я отошел.

— В таком случае извините! — сказал я. — Просто я попал в некоторое затруднение.

Я уже отошел довольно далеко, когда он окликнул меня и напомнил о свертке.

— Оставьте, оставьте его у себя! — откликнулся я. — Сделайте мне удовольствие! Там несколько безделок, мелочь — едва ли не все, что у меня есть на свете.

Я был растроган собственными словами, они прозвучали так безутешно в вечерних сумерках, и я заплакал...

Ветер свежел, тучи быстро неслись по небу, и с наступлением сумерек становилось все холоднее. Я шел по улице и плакал, все больше и больше жалея себя, то и дело у меня вырывались несколько слов, восклицание, от которого слезы, утихшие было, снова наворачивались на глаза:

— Боже, как мне тяжело! Боже, как тяжело!

Прошел час, он тянулся так медленно, что казался бесконечным. Я долго пробыл на Турвгатен, сидел на ступеньках у дверей, прятался в подворотнях, когда кто-нибудь проходил мимо, бессмысленно смотрел через освещенные витрины на сновавших в лавках покупателей и, наконец, нашел уютное местечко за штабелем досок, между церковью и базаром.

В лес я идти не мог даже под страхом смерти — в тот вечер у меня не было сил, а путь казался таким нескончаемо долгим. Я решил, что как-нибудь протяну ночь здесь, никуда не пойду; если меня одолеет холод, поброжу вокруг церкви, стесняться тут особенно нечего. Я прислонился к доскам и задремал.

Понемногу стало тише, лавки закрывались, шаги прохожих раздавались все реже, наконец в окнах погас свет...

Я открыл глаза и увидел перед собой какого-то человека; блестящие пуговицы бросились мне в глаза, и я понял, что это полицейский; лица видно не было.

— Добрый вечер! — сказал он.

— Добрый вечер! — испуганно ответил я. И встал, чувствуя неловкость.

Он постоял немного без движения.

— Где вы живете? — спросил он.

По старой привычке я, не задумываясь, назвал свой старый адрес, где жил недавно в каморке на чердаке.

Он еще немного постоял молча.

— Я сделал что-нибудь дурное? — со страхом спросил я.

— Что вы, вовсе нет! — отвечал он. — Но лучше бы вам пойти домой, здесь вы замерзнете.

— Да, это верно, сегодня свежо.

Я пожелал ему покойной ночи и непроизвольно направился к своему прежнему дому. Соблюдая осторожность, я мог пробраться наверх, никого не потревожив; на лестнице было всего восемь ступеней, и только две верхние грозили скрипнуть.

Я разулся на пороге и пошел. В доме было тихо; на втором этаже я услышал медленное тиканье часов и негромкий плач ребенка; больше я не слышал ни звука. Я отыскал свою дверь, приподнял ее на петлях, открыв, по обыкновению, без ключа, вошел в комнату и бесшумно затворил дверь за собой.

В каморке ничто не переменялось, занавески на окнах были отдернуты, кровать пуста. На столе я увидел бумагу, очевидно, это была моя записка; хозяйка даже не заглянула сюда после моего ухода. Я ощупываю рукой белый квадратик и с удивлением обнаруживаю, что это письмо. Но от кого? Я несу его к окну, разбираю в полутьме каракули и наконец нахожу свое имя. «Ага! — думаю я. — Верно, это от хозяйки, она запрещает мне входить в комнату, если я вздумаю вернуться!»

И медленно, очень медленно, я снова уйду, неся башмаки в одной руке, письмо в другой и одеяло под мышкой. Я иду на цыпочках, стискиваю зубы, когда ступаю на скрипящие ступени, благополучно преодолеваю лестницу и оказываюсь в подъезде.

Я снова надеваю башмаки, долго вожусь со шнурками, сижу несколько времени, бессмысленно глядя перед собой и держа письмо в руке.

Потом встаю и уйду.

На улице мерцает газовый фонарь, я иду поближе к свету, кладу сверток у столба и медленно, очень медленно вскрываю письмо.

Внутри у меня словно вспыхивает пламя, я слышу свой слабый крик, бессмысленный, радостный возглас. Письмо от редактора, мой фельетон принят и уже отправлен в типографию! «Несколько мелких поправок... две-три случайные описки... очень талантливо... будет напечатано завтра... десять крон».

Смеясь и плача, я пустился бежать по улице, потом остановился, упал на колени, молил всех святых неведомо о чем... А время шло.

Всю ночь до утра я бродил по улицам, обезумев от радости, и повторял:

— Талантливо, значит, маленький шедевр, гениальная вещь. И десять крон!

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Недели через две, как-то вечером, я ушел из дому.

Я снова сидел на кладбище и писал статью для одной из газет; я проработал до десяти, стало темнеть, скоро сторож должен был запереть ворота. Меня мучил голод, сильный голод. Тех десяти крон, к сожалению, хватило ненадолго; я уже не ел два, почти три дня и чувствовал слабость, мне было трудно даже водить карандашом по бумаге. В кармане у меня был сломанный перочинный ножик и связка ключей, но ни единой монетки.

Так как кладбищенские ворота запирались, мне, конечно, следовало пойти домой; но из бессознательного страха перед своим жилищем, где было темно и пусто, перед заброшенной мастерской жестянщика, где мне в конце концов позволили ютиться до поры до времени, я полпелся куда глаза глядят, мимо ратуши, к набережной, и дальше, к вокзалу, где наконец сел на скамейку.

Черных мыслей вмиг как не бывало, я забыл все свои невзгоды, успокоенный зрелищем морской глади, такой безмятежной и чудесной в вечерних сумерках. По привычке я хотел перечитать то, что недавно написал, моему больному воображению это представлялось лучшим из моих сочинений. Я достал рукопись из кармана, поднес ее к самым глазам, чтобы лучше видеть, и перечитывал страницу за страницей. Наконец я устал и снова сунул бумаги в карман. Все было тихо; море отливало перламутровой синевой, вокруг с места на место порхали птички. Несколько поодаль расхаживал полицейский, а больше не видно было ни души, и вся гавань безмолвствовала.

Я снова перебираю свои богатства: сломанный перочинный ножик, связка ключей, но ни единой монетки. Вдруг я хватаюсь за карман и снова достаю бумаги. Это было машинальное движение, бессознательный нервный порыв. Я отыскиваю чистый, неисписанный листок, и —

бог знает, отчего мне пришла эта мысль — сворачиваю кулек, аккуратно загибаю края, чтобы казалось, будто в нем что-то есть, и бросаю его далеко на мостовую; пролетев немного по ветру, кулек падает и лежит неподвижно.

Голод стал невыносимым. Я смотрел на белый кулек, раздутый, словно полный серебряных монет, и мне самому начинало казаться, что он совсем не пустой. Я радовался и пробовал отгадать, сколько там денег, — если верно отгадаю, они будут мои! Я представлял себе маленькие, чудесные монетки по десять эре на самом дне и солидные, чеканные кроны сверху — целый кулек, набитый деньгами! Я таращил на него глаза, и мне хотелось его стащить.

Вдруг слышится кашель полицейского, — и отчего это мне приходит в голову тоже кашлянуть? Я встаю со скамейки и кашляю, делаю это трижды, чтобы он услышал. Как ему не броситься к кульку, когда он подойдет! Я радовался этой шутке, потирал руки от восторга и самозабвенно ругался. Я тебя проведу за нос, собака! Угодишь в самую преисподнюю за эту воровскую проделку! От голода я словно охмелел и был как пьяный.

Через несколько минут подходит полицейский, озираясь по сторонам, железные подковки на его каблуках стучат по мостовой. Он не торопится, у него целая ночь впереди; он замечает кулек, только когда подходит совсем близко. Но вот он останавливается и смотрит на кулек. А кулек так соблазнительно белеет на мостовой, должно быть, там кругленькая сумма, а? Кругленькая сумма серебром? И он поднимает кулек. Гм! Там что-то легкое, очень легкое. Может быть, драгоценное перо для шляпы... Своими большими руками он осторожно открывает кулек и заглядывает внутрь. А я хохочу, хохочу как сумасшедший и хлопаю себя по колену. Но ни единого звука не вырывается у меня; мой смех безмолвен, он подобен затаенному рыданию...

Снова раздается стук каблуков по мостовой, и полицейский идет дальше по набережной. Я сижу со слезами на глазах и задыхаюсь от лихорадочной веселости. Потом я начинаю разговаривать вслух, рассказываю самому себе о кулке, передразниваю бедного полицейского, заглядываю себе в пустую горсть, снова и снова повторяю про себя: «Он кашлянул, когда бросил кулек! Кашлянул, когда бросил!» Немного погодя я добавляю к этой фразе еще несколько пикантных словечек, переделываю ее, и теперь она звучит гораздо остроумней: «Он кашлянул разок — кхе-хе!»

Эта игра словами меня утомила, был уже поздний вечер, и веселость моя исчезла. Мною овладел дремотный покой, приятная истома, и я этому не противился. Темнота сгустилась, подул легкий ветерок, и перламутровая гладь моря подернулась рябью; мачты кораблей четко рисовались на фоне неба, а сами черные их громады были похожи на молчаливых ошестинившихся чудищ, которые притаились и подстерегали меня. Скорбь моя прошла, ее заглушил голод; теперь я ощущал в себе приятную пустоту, ничто меня не тревожило, и я радовался своему одиночеству. Я забрался на скамейку с ногами и прилег — так удобнее всего было наслаждаться уединением. Ни единое облачко не омрачало мою душу, у меня не было тягостных чувств, и мне казалось, что сбылись все мои мечты и желания. Я лежал с открытыми глазами, словно отрешившись от самого себя, мысленно уносясь в блаженные дали.

По-прежнему ни один звук не нарушал моей безмятежности; мягкий сумрак скрывал от моих глаз весь мир, и я погрузился в глубины покоя — лишь беспокойный шорох тишины наполняет мои уши безмолвием. Когда настанет ночь, эти темные чудища поглотят меня и унесут далеко, за море, в чужие страны, где никто не живет. Они принесут меня к замку принцессы Илаяли, где мне уготовано такое великолепие, какого еще не видел свет. И сама она будет сидеть в сияющей зале, где все сделано из аметиста, на троне из золотистых роз, и протянет ко мне руку, когда я войду, и громко произнесет приветствие, когда я приближусь и преклоню колена: «Приветствую тебя, рыцарь, в моем замке и в моих владениях! Я ждала тебя двадцать лет, я звала тебя все эти светлые ночи, и когда ты страдал, я плакала, а когда ты спал, я навевала тебе прекрасные сны!..» И вот красавица берет меня за руку, указывает путь, ведет по длинным коридорам, где огромные толпы кричат «ура», через светлые сады, где играют и смеются триста юных дев, в другую залу, где все сделано из лучезарного изумруда. Здесь все залито солнцем, в галереях и портиках раздается сладостное пение, на меня веет благоуханными ароматами. Я держу ее руку в своей и чувствую, как мою кровь воспаляют безумные, колдовские чары; я обнимаю ее, и она шепчет: «Не здесь, пойдем дальше!» И мы входим в алую залу, где все сделано из рубина, — я погружаюсь в лучистое великолепие. И я чувствую, как ее рука обвивается вокруг меня, чувствую на своем лице ее дыхание, слышу шепот: «Приветствую тебя, мой возлюбленный! Целуй меня! Еще... еще...»

Со скамейки мне видны звезды, и моя мысль уносится вместе с вихрем света...

Я уснул, лежа на скамейке, и полицейский разбудил меня. Надо было дальше влачить нищенскую жизнь. Первым моим чувством было тупое изумление, что я очутился под открытым небом, но оно скоро сменилось горькой тоской; я готов был плакать от досады, что я все еще жив. Пока я спал, выпал дождь, платье мое промокло насквозь, и я чувствовал промозглый холод в членах. Темнота стала еще гуще, я с трудом мог разглядеть лицо полицейского.

— Та-а-ак! — сказал он. — А теперь вставайте.

Я тотчас встал; если б он велел мне снова лечь, я повиновался бы. Я был подавлен и совершенно обессилен, да к тому же голод сразу начал снова меня терзать.

— Эй вы, дурак, обождите! — окликнул меня полицейский. — Вы позабыли шляпу. Та-а-ак, теперь ступайте!

— Мне тоже показалось, что я... что я позабыл... — бессвязно лепетал я. — Спасибо. Доброй ночи.

И я поплелся дальше.

Ах, если б теперь кусочек хлеба! Чудесный кусочек черного хлеба, который можно грызть, бродя по улицам! И я думал, что бывает такой особенно вкусный черный хлеб, и хорошо бы его поесть. Голод мучил меня, мне хотелось умереть, и я плакал от избытка чувств. Горе мое было беспредельно. Вдруг я остановился посреди улицы, затопал ногами и стал изрыгать проклятия. Как он меня обозвал? Дураком? Я покажу этому полицейскому, как называть меня дураком! Тут я повернул и бросился назад. Я весь пылал гневом. На улице я споткнулся и упал, но не обратил на это внимания, вскочил и снова побежал. Добравшись до вокзальной площади, я так устал, что у меня уже не было сил бежать до пристани; кроме того, злоба моя поостыла. Наконец я остановился и перевел дух. Не все ли равно, что сказал какой-то полицейский! Да, но я не намерен все это терпеть! Ну конечно! — перебил я сам себя. — Но что с него спрашивать!.. И это извинение показалось мне достаточным; я повторял про себя, что с него нечего спрашивать. И снова повернул назад.

«Господи, вот наказание, — с горечью думал я. — И придет же в голову бегать высунув язык по мокрым улицам в такую темную ночь!» Голод нестерпимо мучил меня, не давал мне покоя. Я то и дело глотал слюну,

чтобы хоть немного его заглушить, и это как будто помогало. Вот уже много недель я недоедал, и теперь наступил ощутимый упадок сил. Когда мне так или иначе удавалось раздобыть пять крон, их хватало ненадолго, и поэтому я не успевал оправиться до новой голодовки. Хуже всего мне повиновались спина и плечи; боль в груди была не слишком сильна, и я мог унять ее, хорошенько прокашлявшись или подавшись всем телом вперед; а вот спина и плечи были для меня сущим наказанием. Отчего судьба так жестока? Разве я не имею такого же права жить, как антикварий Паша и пароходный агент Хеннехен? Разве у меня нет сильных плеч и пары крепких рабочих рук, разве я не готов удовольствоваться хотя бы местом дровосека на Мёллергатен, чтобы зарабатывать на хлеб насущный? Разве я лентяй? Разве я не искал работы, не слушал лекций, не писал статей, не читал, не трудился день и ночь как одержимый? Разве я не экономил, не питался хлебом и молоком, когда дела мои шли в гору, одним только хлебом — когда они шли хуже, и не голодал — когда оказывался совсем без средств? Разве я жил в гостинице или в большой квартире на первом этаже? Нет, я жил на чердаке, а потом — в мастерской жестянщика, которую в ту зиму совершенно забросили, потому что ее заносило снегом. И теперь я решительно ничего не мог понять.

Я шел и думал обо всем этом, и в душе моей не было ни тени озлобления, зависти или горечи.

Я остановился у лавки, где торговали красками, и стал разглядывать витрину; попытался прочитать затейливые надписи на закрытых коробках, но было слишком темно. Эта моя новая причуда вызвала во мне досаду, я почти сердился, что не могу узнать содержимого этих коробок, стукнул в витрину и пошел прочь. Дальше, на улице, я увидел полицейского, прибавил шагу, подошел к нему вплотную и сказал ни с того ни с сего:

— Сейчас десять часов.

— Нет, сейчас два, — с удивлением возразил он.

— Нет, десять, — настаивал я. — Сейчас десять часов. — Я застонал от злобы, сделал еще несколько шагов вперед, сжал кулак и сказал: — Послушайте, говорю вам, что сейчас — десять.

Несколько мгновений он пытался что-то сообразить, всматривался в меня долго и пристально. Потом сказал тихо:

— Во всяком случае, вам пора домой. Может быть, проводить вас?

— Нет, благодарю. Я несколько засиделся в кофейне. Премного благодарен.

Когда я отошел, он отдал мне честь. Его учтивость меня совершенно обезоружила, и я плакал от обиды, что у меня не нашлось для него пяти крон. Я остановился и долго провожал его глазами, я хлопал себя по лбу и заливался слезами, глядя ему вслед. Я проклинал себя и свою бедность, поносил себя последними словами, измышлял обидные клички, изощрялся в изыскивании самой отборной брани, осыпал ею себя. Так продолжалось почти до самого дома. Дойдя до ворот, я обнаружил, что потерял ключи.

«Ну ясно! — сказал я себе с горечью. — Как мне было не потерять ключей? Я живу на дворе, где есть конюшня, а наверху — мастерская жестянщика; ворота запираются на ночь, и никто, никто не может их открыть, — как же мне было не потерять ключей? Я промок как собака, проголодался, — самую малость проголодался, я чувствовал странную слабость в коленях — как же мне было не потерять ключей? Почему, в сущности, все жильцы не разъехались, когда мне нужно войти?..» И я смеялся, ожесточенный голодом и немощью.

Я слышал, как лошади на конюшне били копытами, и видел свое окошко наверху; но я не мог открыть ворота и войти. Усталый и раздосадованный, я решил вернуться на пристань и поискать свои ключи.

Снова пошел дождь, и я уже чувствовал, как вода стекает у меня между лопаток. У ратуши мне вдруг пришла прекрасная мысль: я решил обратиться к полиции с просьбой открыть мои ворота. Подойдя к полицейскому, я убедительно попросил его пойти со мной и, если возможно, отпереть замок.

Если б это было возможно, тогда конечно! Но это невозможно, у него нет отмычек. Отмычки только у агентов сыскного отделения.

— Как же мне быть?

— Что ж, придется вам переночевать в гостинице.

— Но я, право, не могу ночевать в гостинице: у меня нет денег. Понимаете, я вышел из дому только в кофейню...

Некоторое время мы постояли на ступенях у ратуши. Он соображал, раздумывал, поглядывал на меня. Дождь лил как из ведра.

— Вам придется пойти в дежурную часть и объявить, что у вас нет пристанища, — сказал он.

Объявить, что у меня нет пристанища? Об этом я не подумал. Ей-же-ей, прекрасная мысль! Я принялся благодарить полицейского за совет. Значит, я могу просто войти и сказать, что у меня нет пристанища?

— Да, можете!..

— ...Фамилия?— спросил дежурный.

— Танген... Андреас Танген.

Я сам не знал, зачем лгу. Мысли беспорядочно метались у меня в голове и помимо воли заставляли меня пускаться на всякие ухищрения; я мгновенно придумал эту чужую фамилию и выпалил ее сразу. Я лгал безо всякой надобности.

— Занятие?

Я очутился в безвыходном положении. Гм! Вначале я думал сказать себя жестянщиком, но не рискнул; ведь я назвал себя фамилией, мало подходившей для жестянщика, и, кроме того, у меня были очки на носу. Тогда я набрался нахальства, сделал шаг вперед и сказал торжественно, недрогнувшим голосом:

— Я журналист.

Дежурный вздрогнул, но записал мои слова, а я важно стоял перед ним, словно министр, оказавшийся без пристанища. То, что я помедлил с ответом, не вызвало у дежурного подозрений. Ведь это ни на что не похоже: журналист, стоящий у ратуши, без крова над головой!

— А в какой газете вы сотрудничаете, господин Танген?

— В «Утренней газете»,— ответил я.— К сожалению, я вышел сегодня вечером из дому...

— Да полноте!— перебил он и добавил с улыбкой:— Когда молодые люди отлучаются из дому... Это мы понимаем.— Он встал и почтительно поклонился мне, а потом сказал какому-то полицейскому:— Проводите господина в резервную камеру. Спокойной ночи.

От собственной дерзости по спине у меня пробежали мурашки, и, сжав кулаки, я старался ободриться.

— Газ горит только десять минут,— предупредил полицейский еще в дверях.

— А потом тушится?

— Да, потом тушится.

Я сел на кровать и слышал, как ключ повернулся в замке. В камере было светло, она казалась уютной; чувствуя кров над головой, я с удовольствием прислушивался к шуму дождя. Иметь бы всегда такую уютную комнатку— лучшего я и не желал! На душе у меня стало

гораздо спокойней. Сидя на кровати со шляпой в руке и глядя на газовый светильник у стены, я повторял про себя подробности этого первого своего столкновения с полицией. Да, я впервые столкнулся с ними, и до чего же ловко я их провел! Журналист Танген, не угодно ли? Из «Утренней газеты»! Я поразил этого господина в самое сердце «Утренней газетой»! «Да полноте!» Каково? Засиделся в гостях подле собора до двух ночи, забыл дома ключ и бумажник с несколькими тысячами крон! «Проводите господина в резервную камеру...»

Но вот газовый светильник гаснет, гаснет сразу, без предупреждения; я сижу в полной тьме, не видя даже своей руки, не видя белых стен камеры, ничего. Остается одно — лечь спать. И я раздеваюсь.

Но я не мог уснуть, сон не шел ко мне. Некоторое время я лежал, глядя в темноту, в густую, плотную, бездонную и непостижимую. Моя мысль не могла ее охватить. Мрак был слишком густым, он давил меня. Я зажмурился и стал напевать вполголоса, я ерзал на койке, чтобы развеять тягостные чувства; но все было тщетно. Мрак поглощал все мои мысли и ни на мгновение не отступал. А вдруг сам я весь растворился в этом мраке, слился с ним воедино? Я вскакиваю с койки и размахиваю руками.

Нервное возбуждение совершенно завладело мною, и, как ни старался я избавиться от него, ничто не помогало. И вот я сидел, обуреваемый престранными фантазиями, баюкал себя, напевал колыбельную песенку, силился себя успокоить, весь в поту от этих усилий. Я пристально вглядывался во мрак, такой глубокий, какого я в жизни не видел. У меня не было ни малейшего сомнения в том, что это совершенно особенная темнота, грозная стихия, с какой еще никто не сталкивался. Мне приходили в голову самые нелепые мысли, все вокруг пугало меня. Вот в стене над койкой небольшое отверстие, оно меня очень занимает. Это дырка от гвоздя, думаю я, это знак, оставленный на стене. Я ощупываю отверстие, дую в него. Стараюсь определить его глубину. Нет, это не простое отверстие, как бы не так; это очень хитрое и таинственное отверстие, его следует остерегаться. Поглощенный этой мыслью, охваченный жгучим любопытством и страхом, я наконец встал с койки, отыскал свой перочинный ножик и измерил глубину отверстия, дабы убедиться, что оно не выходит в соседнюю камеру.

Затем я опять прилег и попытался уснуть, но вместо этого снова начал бороться с мраком. Дождь на дворе

перестал, и не слышно было ни звука. Я долго прислушивался и не успокоился, пока не услышал шаги на улице — по всей видимости, это прошел полицейский. Потом я стал щелкать пальцами и смеяться. Ха-ха! Черт возьми! В голову мне пришло новое, небывалое слово. Я приподнимаюсь на койке и говорю: «Кубоа», — такого слова нет в языке, я сам его выдумал. Как и всякое слово, оно состоит из букв, видит бог. Да, брат, ты создал слово... «Кубоа»... оно имеет огромное значение для грамматики.

Это слово четко рисовалось передо мной во мраке.

Теперь я сижу на койке, широко раскрыв глаза, поражаюсь своей находке и смеюсь от радости. Я говорю шепотом: меня ведь могут подслушать, а я хочу сохранить свое изобретение в тайне. От голода мною овладело ликующее безумие: боль надо мной не властна, мысль не знает удержу. Она делает непостижимый скачок, пытаюсь уяснить смысл нового слова, придуманного мною. Нет, оно вовсе не значит «Бог» или «Тиволи», и с какой стати должно оно обозначать «зверинец»? Стиснув кулаки, я повторяю: «С какой стати должно оно обозначать зверинец?» Если вдуматься, оно не может значить «висячий замок» или «восход солнца». Но смысл его отыскать не так уж трудно. Я подожду, предоставлю дело времени. А покамест можно поспать.

Я лежу на койке и улыбаюсь молча, ничего не говорю ни «за», ни «против». Но через несколько минут я прихожу в волнение, новое слово не дает мне покоя, оно то и дело возвращается и, наконец, совершенно завладевает моими мыслями, отчего я становлюсь очень серьезен. Я уже твердо решил, чего оно не должно обозначать, но не определил, что же оно все-таки значит. «Это — несущественный вопрос!» — громко говорю я себе, беру сам себя за руку и повторяю, что это — несущественный вопрос. Слово, с божьей помощью, найдено, и это — главное. Но мысль о том, что оно может значить, не оставляет меня, мешает уснуть; перед столь редкостным словом я безоружен. Наконец я снова сажусь на койку, сжимаю обеими руками голову и говорю: «Нет, положительно невозможно, чтобы оно значило «эмиграция» или «табачная фабрика»! Если б оно могло значить что-нибудь в этом роде, я давно уже остановился бы на этом и сделал соответствующие выводы. Нет, это слово, собственно, рождено для обозначения чего-то *духовного*: чувства, душевного состояния — как же я до сих пор этого не понял?» Я роюсь в памяти, ищу какое-нибудь духовное понятие. И вдруг

мне чудится, будто я слышу чей-то голос, будто кто-то вмешивается в мои рассуждения, и я говорю сердито: «Это еще что такое? Вот идиот, каких свет не видел! Как может оно значить «пряжа»? Пошел ты к черту!» С какой стати мне соглашаться, что оно значит «пряжа», когда я с самого начала был против этого? Ведь слово придумал я и имею полное право придать ему смысл, какой пожелаю. А я, кажется, еще не высказал своего мнения...

Но мысли мои становились все иступленней. Наконец я соскочил с койки и стал искать водопроводный кран. Пить мне не хотелось, но голова была в жару, и меня тянуло к воде. Напившись, я снова лег и решил уснуть во что бы то ни стало. Закрыв глаза, я принудил себя успокоиться. После этого я пролежал несколько минут не шелохнувшись. Я был в испарине и чувствовал буйные толчки крови у себя в жилах. Нет, подумать только, как прекрасно это получилось, что он стал искать денег в бумажном кульке! Он кашлянул разок. Небось он до сих пор там бродит? Сидит на моей скамейке?.. Перламутровая синева... Корабли...

Я открыл глаза. Что было толку жмурить их, раз я не мог уснуть! Все тот же мрак окружал меня, все та же бездонная черная вечность, сквозь которую не могла пробиться моя мысль. С чем бы его сравнить? Я сделал отчаянное усилие, чтобы приискать самое черное слово для обозначения этого мрака, столь ужасающе черное слово, чтобы мой рот почернел, произнося его. Господи, как темно! И я снова начинаю думать о гавани, о кораблях, о черных чудищах, что подстерегают меня. Они хотели заманить меня, схватить и увлечь за моря и земли, за черные, никем не виданные страны. Мне кажется, будто я на корабле, я уплыл в море, воспарил к облакам и падаю, падаю... Я издаю отчаянный крик и стискиваю руками края койки; это был опасный полет, я со свистом летел вниз, как мешок с камнями. И когда руки мои ощутили твердые края койки, я не почувствовал себя спасенным. «Вот она, смерть,— сказал я себе.— Теперь ты умрешь!» Некоторое время я размышлял о своей неизбежной смерти. Потом приподнялся на койке и строго спросил: «А кто сказал, что ты должен умереть?» Раз я сам выдумал слово, то имею полное право решить, что оно должно значить... Я слышал свой голос, слышал собственные фантазии. Это было безумие, бред, порожденный слабостью и истощением, но я не лишился чувств. И вдруг

меня пронзила мысль, что я сошел с ума. Охваченный страхом, я соскочил с койки. Шатаясь, пошел к двери, попытался ее открыть, несколько раз ударился в нее всем телом, чтобы ее высадить, потом уперся лбом в стену, громко стонал, кусая себе пальцы, плакал, бормотал проклятия...

Все было тихо; только мой голос метался по камере, бессильный преодолеть каменные стены. Ноги больше не держат меня. И я падаю на пол. Высоко над собою я смутно различаю в стене серый квадрат, он приобретает беловатый оттенок, и меня осеняет предчувствие—это дневной свет. Ах, с каким облегчением я вздохнул! Я распростерся на полу и плакал, радуясь этому проблеску света, это были слезы благодарности, я посылая окну поцелуи и безумствовал. Но в это мгновение я сознавал, что делаю. Вся моя подавленность сразу прошла, отчаяние и боль исчезли, мне ничего больше не было нужно, я не мог придумать ни единого желания. Я сидел на полу, скрестив на груди руки, и терпеливо ждал наступления дня.

«Какая ужасная была ночь! Странно, что никто не слышал шума»,—с удивлением думал я. Но ведь я был в резервной камере, расположенной гораздо выше всех остальных. Министр, очутившийся без пристанища, если можно так выразиться. У меня было теперь прекрасное, ничем не омраченное настроение, я пристально смотрел на окно, за которым брезжил рассвет, и забавлялся, воображая, будто я важная особа, величал себя фон Тангеном и старался выражаться, как подобает сановнику. Фантазия моя по-прежнему работала, но я стал гораздо спокойней. Проклятая рассеянность, из-за нее я забыл дома бумажник. Не окажет ли мне господин министр великую честь, не позволит ли он предложить ему постель? С необычайной важностью, очень церемонно, я подошел к койке и лег.

Стало уже так светло, что я мог различать стены камеры, а немного погодя разглядел и тяжелую ручку двери. Это развлекло меня; однообразный мрак, столь раздражающе плотный, что я не видел самого себя, рассыпался; кровь в моих жилах текла спокойней, и вскоре я почувствовал, что у меня смыкаются глаза.

Меня разбудил стук в дверь. Я вскочил и поспешно оделся; мое платье еще не высохло со вчерашнего вечера.

— Пожалуйте вниз, к дежурному,—сказал полицейский.

«Значит, снова предстоят всякие формальности!» — со страхом подумал я.

Я спустился вниз, в большую комнату, где сидели тридцать или сорок бездомных людей. Их поочередно выкликали по списку и давали им талоны на обед. Дежурный то и дело спрашивал стоявшего рядом полицейского:

— Талон выдан? Не забывайте выдавать талоны. Ведь они, должно быть, голодны.

Я смотрел на все эти талоны и мечтал тоже заполучить один.

— Андреас Танген, журналист!

Я шагнул вперед и поклонился.

— Послушайте, вы-то каким образом сюда попали?

Я объяснил, как было дело, рассказал ту же историю, что и вчера, я лгал, не сморгнув глазом, лгал совершенно искренне: засиделся в кофейне, потерял ключ...

— Ах, так,— сказал он и улыбнулся.— Вот оно что! Хорошо ли вас тут устроили?

— Как министра,— ответил я.— Как министра!

— Очень рад! — сказал он, вставая.— До свидания!

Я ушел.

И мне бы, и мне бы талончик! Я не ел целых три дня! Хоть бы кусок хлеба! Но никто не предложил мне талон, а попросить я не решился. Это сразу вызвало бы подозрение. Стали бы копаться в моих личных делах и доискиваться, кто я такой в действительности; и арестовали бы меня за ложные показания. Высоко подняв голову и сунув руки в карманы, я вышел из ратуши гордо, словно миллионер.

Солнце уже пригревало, было десять часов, площадь заполнили экипажи и пешеходы. Куда пойти? Я хлопаю по карману, нащупываю свою рукопись,— в одиннадцать часов попытаюсь заглянуть к редактору. Стоя у балюстрады, я наблюдаю, как подо мной кипит жизнь: от моей одежды идет пар. Голод снова проснулся, болью сводит грудь, пробегает судорогой по телу, слабо, но ощутимо пронзает меня. Неужели мне не найти ни друга, ни знакомого — никого, к кому бы я мог обратиться? Я роюсь в памяти, стараюсь придумать, кто дал бы мне десять эре, но не нахожу такого человека. А день так чудесен! Вокруг столько тепла и света; небо растеклось над головой, как море, опрокинутое над горной грядой..

Незаметно для себя я пошел к дому.

Я был очень голоден и, подобрав с земли щепку, стал жевать ее. Это помогло. Как я не подумал об этом раньше!

Ворота были отперты, конюх, по обыкновению, пожелал мне доброго утра.

— Хорошая сегодня погодка! — сказал он.

— Да, — отвечал я.

И больше не нашелся что сказать. Не попросить ли у него пять крон? Он охотно даст, если только у него есть. К тому же я однажды написал по его просьбе письмо.

Он стоял, явно намереваясь что-то сказать.

— Хорошая погодка, да. Гм... А мне сегодня платить хозяйке, так не будете ли вы добры ссудить мне пять крон? Всего на несколько дней. Вы ведь однажды уже выручали меня.

— Право, никак не могу, Йенс Олай, — сказал я. — Сейчас у меня нет. Может быть, попозже, к вечеру...

И я потащился по лестнице к себе.

Я бросился на постель и стал смеяться. Какое счастье, что он меня опередил! Моя честь спасена. Пять крон — бог с тобою, любезный! С таким же успехом ты мог бы попросить у меня пять акций общественной столовой или загородную усадьбу.

При мысли об этих пяти кронах я смеялся все громче и громче. Ну не молодчина ли я? Пять крон! Нашел подходящего человека! Я не мог совладать со своей веселостью, она захватила меня всего. Тьфу, черт возьми, как пахнет съестным! Запах жаркого с самого обеда, тьфу! Я распахиваю окно, чтобы выветрился этот отвратительный запах. Человек, половину бифштекса! Обращаясь к столу, к своему сломанному столу, который приходится поддерживать коленями, когда пишешь, я говорю с низким поклоном:

— Я Танген, министр Танген. К сожалению, я немного засиделся... и забыл ключ от ворот...

И мысли мои, вырвавшись на волю, снова понеслись как безумные. Я сознавал, что говорю бессвязно, и внимательно прислушивался к своим словам. Я сказал себе: «Вот ты снова ведешь бессвязные речи!» И все же я ничего не мог с собой поделать. Я не спал и все же разговаривал, как во сне. Голова моя была легка, я не чувствовал ни боли, ни тяжести, и ни единое облачко не омрачало душу. Я плыл по воле стихий.

Входите! Да входите же! Как видите, здесь все сделано из рубина. Илаяли, Илаяли! Красивая, дивная шелковая тахта! Как бурно дышит ее грудь! Целуй меня, мой возлюбленный! Еще! Еще! Твои руки золотисты, как янтарь, твои уста пылают... Человек, я заказал бифштекс...

Солнце светило в окно, я слышал, как лошади внизу хрупали овсом. А я грыз свою щепку и радовался от души, как ребенок. То и дело я ощупывал свою рукопись; я ни разу не подумал о ней, но чутье подсказывало мне, что она здесь, моя кровь напоминала про нее.

Она промокла, я развернул ее и положил на солнце. Потом начал расхаживать взад-вперед по комнате. Какое вокруг меня удручающее зрелище! На полу мелкие растоптанные обрезки жести, и нет ни одного стула, ни одного гвоздя на голых стенах. Все отправлено в лавчонку к процентщику, все проедено. Несколько листков бумаги на столе, покрытые толстым слоем пыли, составляли все мое имущество; старое, зеленое одеяло на кровати мне одолжил Ханс Паули много недель тому назад. Ханс Паули! Я шелкаю пальцами. Ханс Паули Петтерсен поможет мне! И я стараюсь вспомнить его адрес. Как это я мог забыть Ханса Паули! Он, конечно, очень обидится, что я не сразу обратился к нему. Я быстро надеваю шляпу, собираю исписанные листки и сбегаю вниз по лестнице.

— Послушайте, Йенс Олай,—крикнул я в двери конюшни.—Я твердо уверен, что вечером смогу вам помочь!

Подойдя к ратуше, я вижу, что уже двенадцатый час, и решаю немедленно отправиться в редакцию. У редакционной двери я останавливаюсь, чтобы взглянуть, в порядке ли сложены страницы рукописи. Я тщательно разглаживаю ее, снова кладу в карман и стучу. Когда я вхожу, мне слышно, как бьется мое сердце.

Человек-Ножницы, по обыкновению, был занят своим делом. Я робко справился о редакторе. Он не ответил. Все сидел да отыскивал мелкие новости в иногородних газетах.

Я повторил свой вопрос, подойдя поближе.

— Редактор еще не приходил,—наконец-то отвечают Ножницы, даже не взглянув на меня.

— А когда он придет?

— Не берусь сказать, положительно не берусь.

— До какого времени открыта редакция?

Я не получил никакого ответа и вынужден был уйти. Человек-Ножницы во время нашего разговора ни разу не посмотрел мне в лицо; он узнал меня по голосу. «На каком же ты здесь дурном счету,—подумал я,—если тебе даже ответить не хотят. Неужели так распорядился редактор?» Правда, после своего знаменитого фельетона за

десять крон я засыпал его статьями, бегал к нему почти каждый день, приносил негодную стряпню, которую ему приходилось читать, а потом возвращать обратно. Пожалуй, он решил положить этому конец и принял свои меры... Я пошел к центру города.

Ханс Паули Петтерсен, студент из крестьян, жил на чердаке пятиэтажного дома,— стало быть, Ханс Паули Петтерсен был бедный человек. Но если у него найдется крона, он не пожалеет ее. Я могу считать, что она у меня в руке. Идя к нему, я не переставал радоваться этой кроне и был уверен, что получу ее. Дверь подъезда была заперта, пришлось позвонить.

— Я хотел бы видеть студента Петтерсена,— сказал я и попытался войти.— Я знаю, где он живет.

— Студента Петтерсена?— повторила горничная.— Того, что жил на чердаке? Да ведь он переехал.

Она не знала, куда именно; однако он просил пересылать письма к Хермансену на Тульбудгатен, номер такой-то.

Обнадеженный, я отправляюсь на Тульбудгатен за адресом Ханса Паули. Больше мне не на что было рассчитывать, приходилось цепляться за последнее. Я прошел мимо новостройки, где плотники строгают доски. Я выбрал из кучи две чистые стружки, сунул одну в рот, а другую спрятал в карман про запас и продолжал свой путь. Я стонал от голода. В витрине булочной я увидел хлеб необычайной величины, ценою в десять зре, самый большой хлеб, какой можно купить за эти деньги...

— Я хотел бы узнать адрес студента Петтерсена.

— Улица Бернта Анкера, дом десять, на чердаке... Вы идете туда? В таком случае не прихватите ли для него вот эти письма?

И я отправляюсь в город той же дорогой, какой пришел, снова прохожу мимо плотников, которые теперь сидят, поставив котелки на колени, и едят вкусный, горячий обед, мимо булочной, где в витрине все так же лежит хлеб, и когда я наконец добираюсь до улицы Бернта Анкера, то едва не падаю от истощения. Дверь не заперта, и я по длинной, крутой лестнице взбираюсь на чердак. Я вынимаю письма из кармана, чтобы, войдя, сразу обрадовать Ханса Паули. Он, конечно, не откажется протянуть мне руку помощи, когда я изложу ему все обстоятельства,— конечно, нет, у Ханса Паули отзывчивое сердце, я всегда так считал...

На двери была приколотая карточка: «Х.-П. Петтерсен, студ. богосл. уехал на родину».

Я сажусь, сажусь прямо на голый пол, не в силах шевельнуться от усталости, обессилив от истощения. Я машинально повторяю несколько раз: «Уехал на родину! Уехал на родину!» Потом умолкаю. Глаза мои сухи, никаких мыслей, никаких чувств нет во мне. Я с недоумением рассматриваю письма и сижу без движения. Проходит десять минут, а может быть, все двадцать или даже больше, но я все сижу на месте, даже не пошевелившись. Это тупое оцепенение подобно сну. Вдруг я слышу шаги на лестнице, встаю и говорю:

— Тут жил студент Петтерсен, я принес ему два письма.

— Он уехал,— отвечает женщина.— Но он вернется после каникул. А письма, если хотите, можете отдать мне.

— Спасибо, вы очень любезны,— сказал я.— Тогда он возьмет их у вас, как только вернется. Ведь письма, наверное, очень важные. До свиданья.

Выйдя из дома, я остановился посреди улицы и, сжав кулаки, произнес громко:

— Вот что я тебе скажу, милосердный Боже, теперь я знаю, каков ты есть!— И в бешенстве, стиснув зубы, я погрозил небу кулаком.— Черт меня побери, если я этого не знаю.

Пройдя еще несколько шагов, я снова останавливаюсь. Внезапно, переменяв тон, я смиренно складываю руки, склоняю голову и кротким, елейным голосом спрашиваю:

— А молил ли ты Его, сын мой?

Это прозвучало фальшиво.

— Его — с большой буквы,— продолжал я.— С буквы Е, огромной, как колокольня. Я спрашиваю снова:— Просил ли ты Его, сын мой?— И, понурив голову, я ответил печально:— Нет!

И это тоже прозвучало фальшиво.

Ты не умеешь лицемерить, глупец! Ты должен бы сказать: «Да, я зывал к Господу Богу моему!» И ты должен бы произнести эти слова жалостно, как можно жалостней. Ну-ка, еще разок! Вот теперь уже лучше. Но при этом надо вздыхать, вздыхать тяжело, как измученная лошадь. Вот так!

Я иду и поучаю себя, а когда это мне надоедает, сердито топаю ногами и обзываю себя дубиной, к удивлению прохожих, которые оборачиваются и глядят на меня.

Все это время я жевал стружку и не останавливаясь шел по улице. Я даже не заметил, как очутился на

вокзальной площади. Часы на храме Спасителя показывали половину второго. Я постоял немного в раздумье. На лбу у меня выступила испарина, пот заливал глаза.

— А не пойти ли на пристань?— сказал я себе.— Разумеется, если у тебя есть время.

Я поклонился самому себе и пошел на пристань.

Корабли стояли на рейде, море зыбилось, сверкая под солнцем. Здесь царило оживление, раздавались пароходные свистки, сновали грузчики с ящиками на спинах, с баржей доносились веселые песни. Неподалеку от меня какая-то женщина торговала пирожками, она клевала почернелым носом над своим товаром; столик перед нею завален лакомствами, и я презрительно отворачиваюсь. Она всю пристань завоняла; тьфу, проветрите набережную! Я обращаюсь к господину, сидящему рядом со мной, и убедительно доказываю ему, как неуместно торговать пирожками везде и всюду... Вы не согласны? Хорошо, однако не станете же вы спорить, что... Но господин почувствовал неладное, он не дал мне договорить до конца, встал и ушел. Я тоже встал и последовал за ним, твердо решив доказать ему, что он заблуждается.

— Это недопустимо также и в санитарном отношении,— сказал я, похлопав его по плечу.

— Извините, я приезжий и ничего не понимаю в санитарии,— сказал он, глядя на меня в ужасе.

— Ну если вы приезжий, тогда дело другое...— Не могу ли я быть вам полезен? Не показать ли вам город? Нет? Я с удовольствием сделал бы это безо всякого вознаграждения...

Но он явно хотел избавиться от меня и быстро перешел на другую сторону улицы.

Я вернулся к своей скамейке и снова сел. Я был очень огорчен, и шарманка, громко заигравшая поодаль, еще больше расстраивала меня. Отрывисто звякая, она наигрывала что-то из Вебера, и под этот аккомпанемент маленькая девочка пела печальную песенку... Надрывные пискливые звуки шарманки пронизывают меня, нервы мои дрожат, точно вторят этим звукам, и вот я уже тихонько напеваю что-то жалобное, откинувшись на спинку скамьи. Каких только ощущений не испытывает голодный человек! Я чувствую, как эти звуки завладевают мною, я растворяюсь в них, устремляюсь потоком, отчетливо сознаю, что я устремился потоком ввысь, воспарил высоко над горами, несясь в пляске над лучезарными далями...

— Подайте эре! — говорит девочка, которая пела под шарманку, и протягивает металлическую тарелочку. — Всего только эре!

— Сейчас, — отвечаю я безотчетно и, вскочив, шарю по карманам.

Но девочка думает, что я просто смеюсь над ней, и уходит, не сказав более ни слова. Это бессловесное смирение я не в силах вынести; если б она обругала меня, мне было бы гораздо легче; мне стало больно, и я окликнул ее:

— У меня нет ни единого эре, но я вспомню о тебе скоро, быть может, завтра же. Как тебя зовут? Какое красивое имя, я его не забуду. Итак, до завтра...

Но я прекрасно понимал, что она не поверила мне, хотя промолчала, и я плакал от отчаяния, что эта маленькая уличная девочка мне не верит. Я еще раз окликнул ее, быстро расстегнул куртку и хотел отдать ей свой жилет.

— погоди минутку, — сказал я. — Вот тебе в залог...

Но жилета на мне не было.

С чего это я подумал о жилете? Ведь вот уж которую неделю я хожу без него. Что со мной? Испуганная девочка поспешно попятилась от меня. Я не мог ее более удерживать. Вокруг собирался народ, все громко смеялись, полицейский, раздвигая толпу, шел узнать, что случилось.

— Ничего, — говорю я. — Решительно ничего не случилось! Я просто хотел отдать свой жилет вон той девочке... или, верней, ее отцу... Вы напрасно смеетесь. Дома у меня есть еще один.

— Нечего безобразничать на улице! — говорит полицейский. — Марш отсюда. — И он толкает меня. А потом кричит мне вдогонку: — Пойдите, это ваши бумаги?

— Да, черт возьми, это моя статья для газеты, очень важная рукопись! Как я мог допустить такую небрежность...

Я беру рукопись, проверяю, в порядке ли она, и, не задерживаясь ни на минуту, даже не оглядываясь, иду в редакцию. Часы на храме Спасителя показывают четыре.

Редакция заперта. Я спускаюсь по лестнице, дрожа, как вор, и в нерешимости останавливаюсь у подъезда. Что мне теперь делать? Я прислоняюсь к стене, смотрю себе под ноги, на камни, и думаю. У моих ног лежит блестящая булава, я нагибаюсь и поднимаю ее. Что, если срезать пуговицы с моей куртки, много ли мне дадут

за них? Но нет, это напрасный труд. Пуговицы остаются пуговицами; однако я внимательно осмотрел их и нашел, что они почти новые. Во всяком случае, это счастливая мысль, я срежу их перочинным ножом и отнесу в заклад. Надежда выручить денег за эти пять пуговиц тотчас оживила меня, и я сказал: «Ну вот, дело налаживается!» Радость охватила меня, я тотчас принялся срезать пуговицы одну за другой. При этом я говорил безмолвно:

«Да, я, видите ли, несколько обнищал, у меня временные затруднения... Вы говорите, они потеряны? Полноте. Уверяю вас, никто на свете так не бережет пуговицы, как я. Куртка у меня всегда расстегнута, доложу я вам; так уж у меня заведено, я привык... Ну, если вам не угодно, что ж... Но мне нужно выручить за них хотя бы десять эре... Нет, господа, кто говорит о вас? Отвяжитесь, сделайте милость, оставьте меня в покое... Что же, прекрасно, зовите полицию. Я подожду, пока вы сходите за полицейским. И ничего у вас не украду... Ну хорошо, до свидания, до свидания! Стало быть, моя фамилия Танген,— я несколько засиделся...»

На лестнице раздаются шаги. Я сразу возвращаюсь к действительности; это Человек-Ножницы, и, узнав его, я быстро прячу пуговицы в карман. Он хочет пройти мимо, он даже не отвечает на мой поклон и вдруг начинает усердно разглядывать свои ногти. Я останавливаю его и справляюсь про редактора.

— Он не приходил.

— Вы лжете! — говорю я. И с наглостью, поразившей меня самого, продолжаю: — Мне необходимо с ним переговорить. Неотложное дело. Важные сведения.

— А не можете ли вы сказать мне?

— Нет! — отрезал я и смерил его взглядом.

Это возымело действие. Он тотчас пригласил меня наверх и отпер дверь. Волнение душило меня. Чтобы собраться с духом, я крепко стиснул зубы, постучался и вошел в кабинет редактора.

— Здравствуйте! Это вы? — приветствовал он меня. — Садитесь, пожалуйста.

Если б он сразу указал мне на дверь, мне было бы гораздо легче; я почувствовал, что слезы навернулись мне на глаза, и сказал:

— Прошу извинения...

— Садитесь, — повторил он.

Я сел и объяснил, что написал новую статью, которую мне очень важно поместить в его газете. Я много работал над нею, она стоила мне больших усилий.

— Я ее прочту,— сказал он и взял статью.— Все, что вы пишете, стоит вам больших усилий, но вы слишком порывисты. Если б вы могли быть немного хладнокровнее! У вас слишком много пыла. Но все-таки прочту.

И он снова склонился над своим столом.

А я все сидел. Нельзя ли попросить у него крону? Объяснить, откуда этот мой всегдашний пыл? Он, конечно, поможет мне; ведь это не в первый раз.

Я встал. Гм! Однако когда я был у него в последний раз, он жаловался на денежные затруднения, даже послал куда-то кассира за мелочью для меня. Пожалуй, и теперь будет то же. Нет, это недопустимо. И разве я не видел, что он занят работой?

— Вам угодно еще что-нибудь?— спросил он.

— Нет!— сказал я, стараясь придать своему голосу твердость.— Когда прикажете зайти?

— Ну, как-нибудь при случае,— ответил он.— Скажем, дня через два.

Я не мог выговорить свою просьбу. Казалось, любезность этого человека безгранична, я не мог ее не оценить. Лучше уж умереть с голоду. И я ушел.

Я не пожалел, что ушел из редакции, так и не попросив крону, даже за дверь, когда голод вновь начал терзать меня. Я вынул из кармана вторую стружку и сунул ее в рот. Мне опять стало легче. Почему я не делал этого раньше?

— Стыд и срам!— громко сказал я.— Неужели тебе могло прийти в голову просить у этого человека крону и ставить его в неловкое положение?— И я стал строго выговаривать себе за свое бесстыдство.— Право, в жизни не слыхивал ничего гнуснее!— сказал я.— Набрасываться на человека, норовить чуть ли не выцарапать ему глаза только потому, что тебе, презренному псу, нужна корона! Убирайся отсюда. Живо! Живо, дурак! Вот я тебе покажу!

И чтобы наказать себя, я пустился бегом, пробежал улицу за улицей, гнал себя вперед, мысленно понукал, бешено покрикивал, когда бег замедлялся. Тем временем я очутился уже на Пилестредет. Когда я наконец остановился, готовый заплакать от ярости, что не могу больше бежать, все мое тело содрогалось, и я присел на какую-то ступеньку.

— Нет, погоди!— сказал я. И чтобы как следует наказать себя, снова встал и заставил себя стоять, и смеялся над собою, и радовался собственному бессилию. Наконец, через несколько минут, я кивнул и позволил себе

присесть; но при этом выбрал самое неудобное место на ступеньке.

Господи, как сладостен был отдых! Я вытер пот с лица и глубоко вдыхал свежий воздух. Как я бежал! Но жалости к себе я не чувствовал—так мне и надо. Зачем вздумал просить крону? Теперь вот получай! Потом я смягчился, заговорил с собой ласково, увещевал себя, как мать ребенка. Это меня растрогало, ведь я так устал, был обессилен, и я заплакал. Это был тихий, затаенный плач, внутреннее рыдание без слез...

Я просидел на одном месте с четверть часа или даже более. Люди проходили мимо, но никто не трогал меня. Вокруг играли дети, на дереве, по другую сторону улицы, пела какая-то пташка.

А потом ко мне подошел полицейский.

— Зачем вы здесь сидите?— спросил он.

— Зачем сижу?— повторил я.— Просто так, для собственного удовольствия.

— Я слежу за вами целых полчаса,— сказал он.— Ведь вы сидите здесь полчаса?..

— Да, около того,— ответил я.— Ну и что?

Я вскочил и пошел прочь.

Выйдя на площадь, я остановился и стал глядеть вдоль улицы. Для собственного удовольствия! Разве это ответ? Надо было сказать как можно жалостней: я сижу, потому что устал. Дурак ты дурак, никогда не научишься ты притворяться. Потому что я устал! И дышать надо было тяжело, как загнанная лошадь.

Подойдя к пожарному депо, я опять остановился, потому что в голову мне взбрела новая фантазия. Я щелкнул пальцами, громко захохотал, к удивлению прохожих, и сказал:

— Нет, тебе, право, нужно сходить к пастору Левисону. Непременно. Попытка не пытка. Терять-то нечего. Да и погода прекрасная.

Я зашел в книжный магазин Паши, справился в адресной книге, где живет пастор Левисон, и отправился к нему.

— Ну, теперь надо взять себя в руки,— сказал я.— Хватит шуток! Совесть, говоришь? Вздор, ты слишком беден, чтобы носиться со своей совестью. Ты голоден, ты идешь по важному делу: просить о самом необходимом. Ты должен склонить голову к плечу и говорить проникновенным голосом. Не хочешь? В таком случае я тебе больше не друг, так и знай. Вот что: ты истерзан трево-

гой, борешься по ночам с силами мрака и с огромными, безмолвными чудищами, погибаешь от голода, жаждешь вина и молока, но не имеешь ничего. Дела твои плохи. Вот ты стоишь, и ничегошеньки нет у тебя за душой. Но ты, слава богу, веруешь в милосердие, ты все-таки не утратил веры! И чтобы верить в милосердие, ты должен сложить руки и быть хитрее самого сатаны. А Мамону ты ненавидишь во всякой личине; другое дело — получить молитвенник и две кроны на память...— Я остановился у двери пастора и прочел: «Прием от 12 до 4».

— А теперь без глупостей! — сказал я. — Дело нешуточное! Итак, склони голову к плечу...

Я позвонил.

— Нельзя ли мне видеть пастора? — сказал я горничной; но не мог добавить: «во имя Господа».

— Он ушел, — ответила она.

Ушел! Ушел! Планы мои разом рухнули, все заготовленные слова оказались ни к чему. Что было пользы идти так далеко? Я не мог двинуться с места.

— У вас важное дело? — спросила горничная.

— О нет! — ответил я. — Совсем пустяковое! Просто сегодня такая прекрасная погода, поэтому я решил прогуляться и засвидетельствовать свое почтение пастору.

Я не двигался, она тоже. Я нарочно выпятил грудь, чтобы обратить ее внимание на булавку, которой была заколота моя куртка; я молил ее взглядом понять, зачем я пришел; но бедняжка ничего не поняла.

— Да, погода прекрасная. А фру тоже нет дома?

Фру дома, но у нее ревматизм, она лежит на диване и не может подняться... Не угодно ли мне оставить записку?

— Ах, нет! Просто я иногда выхожу прогуляться, подышать свежим воздухом. А сегодня такой чудесный день.

И я поплелся обратно. Что было толку болтать? К тому же у меня начала кружиться голова; это была не шутка, я мог упасть. Причем от 12 до 4; я опоздал на целый час, время милосердия истекло!

Дойдя до площади, я присел у церкви на скамейку. Боже, каким мрачным представлялось мне будущее! Я не плакал, у меня не было на это сил; измученный до предела, я сидел бесцельно и неподвижно, сидел, терзаемый голодом. Грудь моя в особенности пылала, внутри нестерпимо жгло. Я пробовал жевать стружку, но это больше не помогало мне; челюсти мои устали от

напрасной работы, и я уже не утруждал их. Я покорился. К тому же кусок почерневшей апельсинной корки, который я подобрал на улице и тотчас же принялся жевать, вызвал у меня тошноту. Я был болен; на руках у меня вздулись синие жилы.

Чего я, собственно, ждал? Целый день я пытался раздобыть крону, которая могла поддержать во мне жизнь на несколько лишних часов. В конце концов какая разница, свершится ли неизбежное днем раньше или днем позже? Порядочный человек на моем месте давным-давно пошел бы домой, лег и смирился. Мои мысли вдруг прояснились. Теперь я должен умереть. Стояла осень, мир был скован дремотой. Я испытал все средства, прибегнул ко всем источникам, какие знал. Я носился с этой мыслью и всякий раз, когда во мне еще брезжила надежда, с грустью шептал: «Глупец, ты уже умираешь!» Предстояло написать кое-какие письма, привести все в порядок, приготовиться. Нужно было хорошенько вымыться и убрать постель. Под голову я положу два листа белой писчей бумаги — это самое чистое, что у меня оставалось. А зеленым одеялом я мог бы...

Зеленое одеяло! Я вдруг встрепенулся, кровь бросилась мне в голову, и сердце мое сильно забилося. Я встал со скамейки и спешу вперед, жизнь снова пробудилась во мне, и я то и дело повторяю отрывисто: «Зеленое одеяло! Зеленое одеяло!» Я иду все быстрее, точно стараюсь кого-то догнать, и вскоре снова оказываюсь в своем жилище — мастерской жестянщика.

Не мешкая и не колеблясь в своем решении, я подхожу к кровати и скатываю одеяло Ханса Паули. Какая прекрасная мысль пришла мне в голову, теперь я спасен! Я преодолел свою постыдную нерешимость, я махнул на все рукой. Ведь я не святой, не какой-нибудь добродетельный идиот. Я в здравом уме...

Взяв одеяло под мышку, я отправляюсь на Стенерсгатен, в дом номер пять.

Я постучал и вошел в большую незнакомую комнату. Дверной колокольчик у меня над головой прозвенел громко и отчаянно. Из соседней комнаты вышел какой-то человек с набитым ртом и встал за прилавок.

— Дайте мне полкроны за эти очки! — сказал я. — Через несколько дней я их непременно выкуплю.

— Что? Ведь оправа просто стальная?

— Да.

— Нет, я не могу их взять.

— Разумеется. Ведь я, собственно, пошутил. Вот у меня тут одеяло, которое, в сущности, мне больше не нужно, и я хотел бы от него избавиться.

— К сожалению, у меня целый склад одеял,— ответил он, а когда я развернул одеяло, лишь мельком взглянул на него и воскликнул:— Прошу прощения, но это мне тоже без надобности.

— Я нарочно сразу показал вам изнанку,— с лицевой стороны оно гораздо лучше.

— Все равно я его не возьму, ведь никто не даст за него даже десяти эре.

— Понятное дело, оно ничего не стоит,— согласился я.— Но мне казалось, что вместе с другим старым одеялом его можно продать.

— Нет, нет, напрасный труд.

— Может быть, дадите хоть двадцать пять эре?— спросил я.

— Нет, право, я не могу его взять, милейший, оно мне совершенно ни к чему.

Я снова сунул одеяло под мышку и пошел домой.

Как ни в чем не бывало, я разостлал одеяло на кровати, тщательно расправил его, как будто и не носил никуда. Решившись на эту авантюру, я, кажется, был не в своем уме; и чем больше я думал об этом, тем нелепее представлялся мне мой поступок. Очевидно, это был приступ слабости, какое-то внутреннее оупение. Но я почувствовал, что это западня, понял, что теряю разум, и первым делом предложил процентщику очки. А теперь я был так рад, что не совершил преступления, которое отравило бы последние часы моей жизни.

Я снова пошел бродить по городу.

У храма Спасителя я опять сел на скамейку, свесил голову на грудь, истерзанный недавними волнениями, больной и изнуренный голодом. А время шло.

Я просидел час под открытым небом; здесь было светлее, чем дома; кроме того, мне казалось, что на свежем воздухе не так мучительно ныла грудь; я не спешил вернуться домой.

Я дремал, раздумывал, и мне было очень тяжело. Я подобрал камешек, обтер его, сунул в рот и стал сосать; при этом я почти не шевелился и даже не моргал. Мимо проходили люди, слышался грохот карет, стук подков, голоса.

Отчего бы не попытать все-таки счастья с пуговицами? Конечно, из этого ничего не выйдет, и, кроме того,

я положительно болен. Но если хорошенько все взвесить, то ведь все равно по дороге домой я пройду мимо лавки процентщика, того самого, к которому я так часто заглядывал.

Наконец я встал и медленно, бессильно поплелся по улицам. Лоб у меня горел, начиналась лихорадка, и я спешил как мог. Я снова прошел мимо булочной, где в витрине был выставлен хлеб.

— Ну вот, остановимся здесь,— сказал я с деланной решимостью.— А если войти и *попросить* кусок хлеба?— Эта мысль была мимолетна, она вспыхнула, как искорка; в действительности я этого не думал.— Тьфу!— прошептал я, покачал головой и пошел дальше, смеясь над самим собой. Я отлично знал, как бесполезно было заходить в лавку с этой просьбой.

В переулке влюбленные шептались у ворот; чуть подалее девица высунулась в окно. Я шел так медленно и осторожно, что могло показаться, будто я чего-то хочу,— и девица вышла на улицу.

— Как поживаем, старина? Что такое, ты болен? Господи, да на тебе лица нет!

И девица быстро ушла в дом.

Я тотчас же остановился. Что значит: лица нет? Неужели я умираю? Я коснулся рукою щек: да, конечно, я очень худ. Щеки ввалились, они были как два блюдца. Ах ты господи! И я поплелся дальше.

Потом я снова остановился. Должно быть, моя худоба чудовищна. И глаза совсем ввалились. Интересно, на кого я похож? Разнесчастная моя судьба, живой человек превратился от голода в этакую развалину! Меня снова охватило бешенство, это была словно последняя вспышка, судорога. Стало быть, лица нет? У меня хорошая голова, второй такой не сыскать во всей стране, и пара кулаков, которые — боже избави! — могли бы стереть человека в порошок, и я гибну от голода в самом центре Христиании! Разве это мыслимо? Я жил в свинарнике и надрывался с утра до ночи, как черный вол. От чтения у меня не стало глаз, мозг иссох от голода,— а что я получил взамен? Даже уличные девки ужасаются и кричат «Господи!» при виде меня. Но теперь этому придет конец,— понятно тебе? — придет конец, черт возьми!.. Я трясся от бешенства и скрежетал зубами, слабость захлестывала меня, в глазах стояли слезы, с губ слетали проклятия, и так я плелся вперед, не обращая внимания на прохожих. Я снова начал мучить себя, намеренно

стукался лбом о фонарные столбы, глубоко вонзал ногти в ладони, в безумии кусал себе язык, когда начинал говорить бессвязно, и хохотал всякий раз, когда мне было больно.

— Да, но что же мне делать?— говорю я наконец самому себе. И несколько раз топаю ногой, повторяя:— Что же делать?

Какой-то случайный прохожий говорит мне с улыбкой:

— Попросите, чтобы вас арестовали.

Я посмотрел ему вслед. Это был известный гинеколог по прозвищу «Герцог». Даже он не понял моего состояния, а ведь мы были знакомы и здоровались за руку. Я присмирел. Попросить, чтобы меня арестовали? Да, он прав, я сошел с ума. Я чувствовал безумие в своей крови, чувствовал его искры в мозгу. Так вот какой мне уготован конец! Да, да! И я поплелся дальше медленным, похоронным шагом. Значит, вот такая судьба меня ждет!

Вдруг я снова останавливаюсь.

— Только не арест!— говорю я.— Только не это.

Я потерял голос от страха. Я просил, я молил всех святых, чтобы они избавили меня от ареста. Ведь я опять попал бы в ратушу, меня заперли бы в темной камере, где нет и проблеска света. Только не арест! Были и другие возможности, которые я еще не испытывал. Но я их испытаю, я буду упорен, не пожалею времени, стану неутомимо ходить из дома в дом. Есть, например, музыкальный магазин Сислера, туда я и не заглядывал. Чем не выход из положения... Я бормотал на ходу, а потом снова тихонько заплакал от жалости к себе. Только бы меня не арестовали!

Сислер? Может быть, это наитие свыше? Его имя пришло мне в голову само собой, и жил он так далеко; но я наведуясь к нему, я пойду медленно и время от времени буду отдыхать. Я знаю этот магазин, часто бывал там в лучшие времена, покупал ноты. Что, если попросить у него полкроны? Но это может его смутить; спрошу сразу крону.

Я вошел в магазин и пожелал видеть хозяина; мне указали, куда пройти. В комнате сидел человек, одетый по последней моде, и просматривал бумаги.

Я пролепетал извинение и изложил свое дело. Бедственное положение вынудило меня обратиться к нему... Я очень скоро верну деньги... Как только получу гонорар за статью... Он окажет мне величайшее благодеяние...

Я еще не кончил говорить, как он уже снова склонился над столом и продолжал свое занятие. Когда я умолк, он покосился на меня, качнул своей красивой головой и сказал:

— Нет!

Просто «нет». Без всяких объяснений. Ни единого слова!

Колени у меня дрожали, и я прислонился к маленькому лакированному шкафчику. Я решил попробовать еще раз. Почему именно он пришел мне в голову, ведь я живу так далеко на Ватерланне? В левом боку покалывало, я покрылся испариной.

— Гм... Поверьте, я очень ослабел,— сказал я.— Тяжкая немощ. Но не позднее чем через два дня у меня будет возможность вернуть долг. Не окажет ли он мне любезность?

— Милейший, почему вы пришли именно ко мне?— сказал он.— Я вас никогда в глаза не видел, вы для меня человек с улицы. Обратитесь в газету, где вас знают.

— Но я прошу только на один вечер!— сказал я.— Редакция уже закрыта, а я очень голоден.

Он упорно качал головой, все качал головой, даже когда я взялся за дверь.

— Прощайте!— сказал я.

«Это не было наитие свыше,— подумал я и горько улыбнулся.— Уж если на то пошло, с такой высоты я и сам мог бы ниспослать наитие». Я прохожу один квартал за другим, по временам немного отдыхая на ступеньках. Только бы меня не арестовали! Ужас перед темной камерой преследовал меня, не давал мне ни минуты покоя; завидев полицейского, я всякий раз сворачивал в боковую улицу, чтобы избежать встречи с ним.

— Ну, теперь отсчитаем сто шагов,— сказал я,— и снова попытаем счастья! Когда-нибудь да получится...

Это была маленькая лавчонка, в которую я раньше никогда не заходил. За прилавком стоял простой на вид человек, за спиной у него была дверь с фарфоровой вывеской, товар на длинных полках и стеллажах. Я дождался, пока не ушла из лавки последняя покупательница — молодая дама с ямочками на щеках. Какой счастливый был у нее вид! Я не хотел обращать на себя ее внимание и отвернулся.

— Что вам угодно?— спросил приказчик.

— Могу ли я видеть хозяина?

— Нет, он уехал в горы, в Йотунхейм,— ответил он.— А у вас важное дело?

— Мне нужно несколько эре на хлеб,— сказал я с насильственной улыбкой.— Я голоден, и в карманах у меня пусто.

— В таком случае я не богаче вас,— сказал он и начал раскладывать мотки пряжи.

— Ах, не гоните меня в такую трудную минуту!— сказал я, похолодев.— Поверьте, я умираю с голоду,— вот уже несколько дней у меня крошки во рту не было.

Он молча, с самым серьезным видом, принялся выворачивать свои карманы.

Как, мне не угодно поверить ему на слово?

— Я прошу всего пять эре,— сказал я.— А через два дня вы получите десять.

— Любезный, вы хотите, чтобы я украл деньги из кассы?— сердито спросил он.

— Да,— сказал я.— Возьмите пять эре из кассы.

— Это не в моих правилах,— возразил он и добавил:— Кстати, мне пора закрывать лавку.

Я ушел, истерзанный голодом, сгорая со стыда. Нет, довольно! Это уж слишком. Столько лет я держался, в такие тяжкие часы сохранял достоинство, а теперь вдруг скатился до самого примитивного нищенства. За один день я своим бесстыдством лишил возвышенности все свои мысли, выпачкал душу. Не краснея, я плакался и кланялся деньгами у ничтожного лавочника. А к чему это привело? Разве не остался я все равно без куска хлеба? И теперь я стал отвратителен самому себе. Да, необходимо положить этому конец! Как раз сейчас запираются ворота моего дома, и мне нужно поторопиться, если я не хочу провести еще одну ночь в ратуше...

Это придало мне силы; ночевать в ратуше я не хотел. Скорчившись, держась за левый бок, чтобы хоть немного унять колику, я поплелся дальше, не сводя глаз с тротуара, чтобы знакомым, если они попадутся навстречу, не приходилось мне кланяться; я спешил к пожарному депо. Слава богу, часы на храме Спасителя показывали только семь, и у меня еще оставалось три часа, прежде чем запрут ворота. Напрасно я испугался!

Итак, все испытано, сделано все возможное. «Но какой несчастливый день, с утра до вечера мне ни разу не повезло»,— подумал я. Если бы рассказать это кому-нибудь, никто не поверит, а если бы описать, скажут, что все это я выдумал. Ни разу! Стало быть, ничего не напишешь; только ни за что не впадать больше в жалобный тон. Тьфу, это так противно, поверь,— ты внушаешь

мне отвращение! Раз нет надежды, значит, нет. Впрочем, нельзя ли украсть на конюшне горсть овса? Эта мысль промелькнула, как лучик, как полоска света, я знал, что конюшня заперта.

Меня это не опечалило, и я медленно поплелся к дому. На счастье, мне только теперь захотелось пить, впервые за целый день, и я искал, где бы напиться. От базара я был слишком далеко, а в частный дом мне заходить не хотелось; пожалуй, я мог бы потерпеть до возвращения домой; на это потребуется с четверть часа. Еще неизвестно, как подействует на меня глоток воды; мой желудок уже ничего не принимал, меня тошнило, даже от слюны, которую я глотал.

А пуговицы? Я еще не попытал счастья с пуговицами! Тут я улыбнулся. Может быть, все-таки найдется выход! Еще не все потеряно! Без сомнения, я получу за них десять эре, а завтра раздобуду где-нибудь еще десять, в четверг же мне заплатят за статью. Нужно только собраться с силами, и все наладится! Как я, в самом деле, мог забыть про пуговицы! Я вынул их из кармана и рассматривал на ходу; в глазах у меня мутилось от радости, я плохо видел улицу, по которой шел.

Как хорошо я знал большой подвал, где часто искал спасения в темные вечера, он был мне другом и в то же время высасывал из меня кровь! Все мое имущество постепенно перекочевало туда, все хозяйственные домашние мелочи, все книги до единой. В дни распродажи я ходил туда смотреть и радовался всякий раз, как мне казалось, что книги мои попадают в хорошие руки. Мои часы купил артист Магельсен, и я почти гордился этим; календарь с первым моим стихотворением приобрел один знакомый, а пальто досталось фотографу, который давал его теперь напрокат в своем ателье. Так что все устроилось прилично.

Я вошел, держа пуговицы в руке. Процентщик сидел за своей конторкой и писал.

— Я могу обождать, мне не к спеху, — сказал я, боясь помешать ему и рассердить его своим приходом. Мой голос звучал так глухо, я сам не узнавал его, а сердце стучало как молот.

Он подошел ко мне с обычной своей улыбкой, положил на стойку обе руки и посмотрел мне в лицо, не говоря ни слова.

— Я тут кое-что принес и хотел бы показать, может быть, они пригодятся... дома мне только мешают, просто спасения нет... вот эти пуговицы.

— Что же это у вас за пуговицы такие?— И он поглядел на мою ладонь.

— Нельзя ли мне получить за них несколько эре? Сколько вы сами найдете возможным... По вашему усмотрению...

— За пуговицы?— И он изумленно посмотрел на меня.— За *эти* пуговицы?

— На сигару или хоть сколько-нибудь. Я проходил мимо, вот и зашел...

Старый ростовщик засмеялся и, не говоря ни слова, вернулся к своей конторке. Я стоял на месте. Собственно, я не очень на него рассчитывал, но все же у меня была слабая надежда. И этот его хохот прозвучал как смертный приговор... А что, если я предложу ему в придачу очки?

— Я готов отдать также очки, это само собой разумеется,— сказал я и снял очки.— Мне всего-то и нужно десять эре или хотя бы пять.

— Вы сами знаете, что я не могу взять ваши очки,— сказал процентщик.— Я вам это уже говорил.

— Но мне нужна почтовая марка,— глухо сказал я.— Я не могу даже отослать письмо, а это необходимо. Дайте мне марку в десять или в пять эре.

— Ступайте отсюда с богом!— отозвался он и махнул на меня рукой.

«Ну, теперь будь что будет!»— сказал я себе. Я машинально надел очки, взял пуговицы и ушел, пожелав ему спокойной ночи и, как всегда, плотно прикрыв за собою дверь. Теперь уж ничего не поделаешь! На лестничной площадке я остановился и еще раз взглянул на пуговицы.

— Он решительно не хочет их взять!— сказал я.— Хотя пуговицы почти новые. Это для меня загадка.

Пока я стоял в раздумье, мимо меня прошел какой-то человек и стал спускаться вниз, в подвал. Впопыхах он слегка толкнул меня; мы оба извинились, я обернулся и смотрел ему вслед.

— Послушай, это ты?— сказал он вдруг снизу.

Потом он снова поднялся наверх, и я узнал его.

— Господи, какой у тебя вид!— сказал он.— Что ты здесь делаешь?

— Да так, было одно дельце. Но ты, я вижу, идешь туда же.

— Да. А ты что ему носил?

Колени у меня дрожали, я прислонился к стене и показал пуговицы, лежавшие у меня на ладони.

— Что за черт!—воскликнул он.—Нет, это уж слишком!

— До свидания!—сказал я и хотел уйти, так как в груди у меня закипали слезы.

— Нет, подожди!—сказал он.

Но чего мне ждать? Ведь он сам пришел к процентщику, быть может, принес свое обручальное кольцо, несколько дней голодал, задолжал хозяйке.

— Хорошо,—сказал я.—Если ты не долго...

— Ну конечно же,—сказал он, беря меня за руку.—Но, признаться, я не очень тебе верю, дурак ты этакий, так что пойдём-ка лучше вместе.

Я понял, о чем он, и ответил, чувствуя себя несколько оскорбленным:

— Не могу! Я обещал в половине восьмого быть на улице Бернта Анкера, и...

— В половине восьмого, так! Но сейчас-то уже восемь. Видишь, я держу часы в руке, и мне нужно только отнести их в подвал. Ступай за мной, голодный бродяга! Я раздобуду тебе не меньше пяти крон.

И он подтолкнул меня к двери.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Целая неделя прошла в изобилии и радости.

Я выкарабкался из беды, обедал каждый день, моя бодрость росла, и я придумывал одну затею за другой. Я работал сразу над тремя или четырьмя статьями, отдавая им всякую искру, всякую мысль, какая возникала в моей бедной голове, и мне казалось, что дело у меня идет лучше чем прежде. Последнюю статью, на которую я потратил столько сил и возлагал столько надежд, редактор уже вернул обратно, и я тотчас же уничтожил ее, взбешенный и оскорбленный, изорвал, не перечитав. Теперь постараюсь устроиться в другую газету, чтобы иметь возможность лавировать. В худшем случае, если и это не поможет, наймусь в матросы: у пристани стоит «Монах», готовый к отплытию, и я, пожалуй, смогу отправиться на нем в Архангельск или куда там он плывет. Так что надежд у меня было хоть отбавляй.

Последнее потрясение не прошло для меня бесследно: начали выпадать волосы, мучительно болела голова, шалили нервы. Днем я писал, обернув руки тряпками, про-

сто потому, что не терпел ощущения на них собственного своего дыхания. Когда Йенс Олай слишком сильно хлопал подо мною дверью конюшни или на заднем дворе начинала лаять собака, меня до мозга костей пронизывало холодом, и это ощущение отдавалось по всему телу. Мое здоровье заметно пошатнулось.

Изо дня в день я напряженно работал, с трудом находил время пообедать и снова принимался писать. Не только мой шаткий письменный столик, но и вся кровать были завалены заметками и исписанными листами, которые я исправлял, переделывал, тут же вставлял в новые статьи, задуманные в тот день, кое-что зачеркивал, неуклюжие места оживлял красочными словами, с большим трудом продвигаясь от фразы к фразе. Как-то вечером одна из статей была наконец готова, и я, счастливый и радостный, сунув ее в карман, отправился к «Командору». Давно пора было снова подумать о деньгах, потому что у меня почти ничего не оставалось.

«Командор» просил подождать всего минутку... Сам он продолжал писать.

Я осмотрел тесное помещение: бюсты, литографии, газетные вырезки, огромная корзина, которая, казалось, могла поглотить человека. Мне стало очень грустно при виде этого чудовищного зева, этой драконовой пасти, вечно раскрытой, вечно готовой глотать отвергнутые работы, разбивать людские надежды.

— Какое у нас сегодня число?— вдруг спрашивает «Командор», не поднимая головы от стола.

— Двадцать восьмое!— отвечаю я, обрадовавшись, что могу оказать ему услугу.

— Двадцать восьмое.— И он продолжает писать. Наконец он запечатывает несколько писем, отправляет в корзину какие-то бумаги и кладет перо. Потом поворачивается в кресле и смотрит на меня. Заметив, что я все еще стою у двери, он полусерьезно, полушутливо делает знак рукою и указывает на стул.

Я отворачиваюсь, чтобы он не видел, что на мне нет жилета, расстегиваю куртку и достаю рукопись из кармана.

— Это небольшой очерк о Корреджо,— говорю я.— Но, к сожалению, это написано не совсем обычным...

Он берет из моей руки листки и начинает просматривать их. Он поворачивается ко мне лицом. Имя этого человека я слышал уже в ранней молодости, и много лет его газета имела на меня огромное влияние, а сам он

вблизи оказался вот каким. У него вьющиеся волосы и несколько беспокойные карие глаза; он имеет привычку время от времени негромко сопеть. С виду он кроток, как пастор, этот человек с хлестким пером, которым он умеет бичевать до крови. Когда я смотрю на него, страх и удивление овладевают мною, чуть не плача, я невольно делаю шаг к нему, хочу выразить свою любовь за все, чему я у него научился, хочу попросить у него снисхождения — ведь я всего только жалкий бедняк, которому и без того трудно...

Он смотрит на меня и медленно, в задумчивости кладет рукопись. Чтобы ему легче было мне отказать, я сам протягиваю руку и говорю:

— Это, конечно, вам не подходит?

И улыбаюсь, делая вид, будто отношусь к этому совсем легко.

— Мы можем печатать лишь популярные статьи,— отвечает он.— Вы же знаете наших читателей. Нельзя ли сделать это попроще? Или взять другую тему, более понятную?

Его предупредительность изумляет меня. Я понимаю, что моя статья отвергнута, и все-таки я не мог бы получить более любезного отказа. Чтобы не задерживать его, я торопливо отвечаю:

— О да, конечно, можно.

Я направляюсь к двери. Кашлянув, прошу прощения за то, что обеспокоил его... Откланиваюсь и берусь за ручку двери.

— Если угодно,— говорит он,— я могу заплатить вам немного вперед. Вы потом отработаете.

Он сам видел, что я не гожусь в писатели, поэтому его предложение несколько унижительно для меня, и я отвечаю:

— Нет, благодарствуйте, в настоящее время я еще свожу концы с концами. Впрочем, я вам весьма признателен. Прощайте!

— Прощайте! — отвечает «Командор» и тотчас же отворачивается к своему письменному столу.

Во всяком случае, я не заслужил такого любезного обращения и был благодарен ему за это; мне следовало оценить его предупредительность. Я решил прийти к нему не раньше, чем напишу статью, которой сам буду вполне доволен; тогда это озадачит «Командора», и он, не колеблясь, предложит мне десять крон. Я пошел домой и снова взялся за перо.

В ближайшие дни, когда время подходит к восьми вечера и уже зажигают газовые фонари, со мною неизменно случается следующее.

Я выхожу из ворот, чтобы после дневных трудов и хлопот погулять по улицам, а у фонаря, подле самых ворот, стоит дама в черном, поворачивается ко мне лицом и провожает меня взглядом, когда я прохожу мимо. Я обращаю внимание, что на ней всегда одно и то же платье, одна и та же густая вуаль, закрывающая лицо и спадающая на грудь, а в руке маленький зонтик с кольцом из слоновой кости на рукоятке.

Уже третий вечер я вижу ее здесь, всегда на том же самом месте; как только я прохожу мимо, она медленно поворачивается и идет по улице в противоположную сторону.

Из моей головы, как из рога изобилия, сыплются фантазии, у меня возникает нелепая мысль, что она приходит ради меня. Я почти готов заговорить с нею, спросить ее, не ищет ли она кого-нибудь, не нужна ли ей моя помощь, нельзя ли мне проводить ее до дому, хотя я, к сожалению, так плохо одет,—вдруг ей понадобится защита на темной улице. Но я чувствую смутный страх, что это повлечет за собой расходы,—придется угостить ее вином, покатать в коляске, а у меня совсем не осталось денег; карманы мои пусты,—это угнетает, и я не осмеливаюсь хотя бы испытующе взглянуть на нее, когда прохожу мимо. Голод начал снова терзать меня, я не ел со вчерашнего дня; это, конечно, не так уж много, ведь мне не раз приходилось терпеть по нескольку дней кряду, но я стал подозрительно слабеть и уже не мог голодать, как раньше, один-единственный день без пищи изнурял меня, и стоило мне выпить воды, как появлялась неудержимая рвота. Кроме того, я очень мерз по ночам, ложился не раздеваясь и все равно мерз, леденел от озноба и страдал от холода во сне. Старое одеяло не могло спасти от сквозняков, и утром я просыпался, чувствуя, что нос мой превратился в сосульку от ледяного ветра, врывавшегося со двора.

Я иду по улице и думаю, как бы мне не свалиться еще до того, как я окончу свою следующую статью. Будь у меня свеча, я попытался бы работать ночью; на это ушло бы два часа, будь я действительно в рабочем состоянии; а завтра я снова мог бы пойти к «Командору».

Не долго думая, я вхожу в кофейню и жду своего знакомого из банка, чтобы взять взаймы десять эре на

свечку. Мне позволили обойти все комнаты, все столы, за которыми ели, пили и беседовали гости, я дошел до самого конца кофейни, до «красной комнаты», но так и не увидел своего знакомого. Подавленный и злой, я снова вышел на улицу и направился к дворцу.

Черт возьми, неужели моим невзгодам так и не будет конца! Я шагал широкими, яростными шагами, подняв воротник куртки и сжимая кулаки в карманах брюк, шел и проклинал свою несчастную звезду. Ни одной блаженной минуты за целых восемь месяцев, всякую неделю я голодаю, бедствую и теряю силы. И к тому же, при всей своей нищете, я честен, хе-хе, честен всегда и во всем! Боже правый, как я смешон! И я бормотал о том, как меня мучила совесть, потому что однажды я снес к ростовщику одеяло Ханса Паули. Я презрительно хохотал над своей больной совестью, брезгливо плевал на землю и не находил достаточно резких слов, издеваясь над своей глупостью. Ах, случись это теперь! Если б в этот миг я нашел на улице кошелек, потерянный школьницей, единственную монетку бедной вдовы, я поднял бы ее и сунул в карман, украл бы со спокойной совестью и сладко спал бы всю следующую ночь. Недаром я так долго страдал, мое терпение истощилось, и я был готов на все.

Я несколько раз обошел дворец, потом решил отправиться домой, замешкался еще немного в парке и наконец пошел по улице Карла-Юхана.

Было около одиннадцати часов. Вокруг царила полутьма, всюду бродили люди, то парами, то шумной толпой. Наступил великий миг, пришло время любви, когда души тайно сливаются и жизнь подобна счастливой сказке. Слышался шелест женских юбок, короткий, страстный смех, волнующий грудь, горячее, судорожное дыхание. Вдали, у Гранда, какой-то голос звал: «Эмма!» Вся улица была подобна болоту, над которым вздымались горячие пары.

Я невольно шарю в кармане, не найдется ли там двух крон. Страсть, которая трепещет в каждом людском движении, даже тусклый свет газовых фонарей, тихая, волнующая ночь — все это начинает оказывать на меня воздействие, а воздух вокруг полон шепота, объятий, трепетных признаний, недосказанных слов, отрывистых вскриков; несколько кошек с громким мяуканьем справляют свадьбу в подворотне Блумквиста. А у меня нет даже двух крон. Какое это горе, какое ужасное несчастье, что я так обнищал! Какое унижение, какой позор!

И я снова стал думать о последней монетке бедной вдовицы, которую мог бы украсть, о шапке или носовом платке школьника, о котомке нищего, которую без малейшего колебания отнес бы к тряпичнику, и прокутил бы вырученные деньги. Чтобы утешить и вознаградить себя, я стал выискивать всевозможные недостатки у этих счастливых людей, скользивших мимо меня; я сердито пожимал плечами и презрительно смотрел на них, когда они проходили, пара за парой. Эти самодовольные лакомки-студенты, которые думают, что ведут себя, как европейские повесы, когда им удастся коснуться груди какой-нибудь швейки! Эти молодые люди, банкиры, коммерсанты, бульварные волокиты, которые не брезгают даже матросскими женами, толстыми куколками со скотного рынка, отдающимися за кружку пива в первой же подворотне. Ну и сирены! Их постель еще не остыла после посещения пожарного или конюха... Трон всегда свободен, доступен всякому, милости просим, взойдите!.. Я плевал изо всех сил, не заботясь о том, что могу попасть в кого-нибудь, был озлоблен, полон презрения к этим людям, льнувшим друг к другу и сходявшимся на моих глазах. Я высоко держал голову и был счастлив, что соблюл себя в чистоте.

У стортинга я встретил девуцу, которая пристально посмотрела на меня, и пошел рядом с нею.

— Добрый вечер! — сказал я.

— Добрый вечер!

Она остановилась.

— Гм... Что это вы ходите так поздно? Разве молодой девуце не рискованно гулять в такое время по улице? Нет? Да, но разве с вами никогда не заговаривали, не оскорбляли вас, не зазывали домой?

Она изумленно смотрела на меня, стараясь прочесть на моем лице, что я хотел сказать. Потом вдруг взяла меня под руку и проговорила:

— Ну что ж, пойдемте!

Я пошел. Когда мы очутились в стороне от извозчиков, я остановился, высвободил свою руку и сказал:

— Послушайте, миленькая, у меня нет ни эре. Уж лучше я пойду своей дорогой.

Вначале она не хотела верить мне; но, ощупав мои карманы и ничего не найдя, она насупилась, вскинула голову и обозвала меня пентюхом.

— Спокойной ночи! — сказал я.

— Пойдите! — крикнула она. — А очки у вас в золотой оправе?

— Нет.

— Ну и черт с вами!

Я ушел.

Но она нагнала меня и снова окликнула:

— Ладно уж, все равно пойдете.

Это предложение жалкой уличной девки было для меня унижительно, и я отказался. Кроме того, была уже поздняя ночь, и я торопился в другое место; да и не таково ее положение, чтобы идти на подобные жертвы.

— Но я *хочу* пойти с вами.

— А я не могу согласиться на такие условия.

— Вы, конечно, идете к другой,— сказала она.

— Нет,— ответил я.

Ах, у меня не было никакой охоты к этому, девицы стали для меня почти все равно что мужчины, нужда иссушила меня. Но я чувствовал, как жалок я в глазах этой странной девицы, и решил соблюсти приличие.

— Как вас зовут?— спросил я.— Мария? Так вот! Послушайте, Мария!— И я начал объяснять свое поведение. Девица все больше и больше изумлялась. Неужели она подумала, что я один из тех, кто ходит вечерами по улицам и ловит девиц? Неужели она в самом деле так дурно обо мне думала? Разве я сказал ей что-нибудь неприличное? Разве тот, у кого дурное на уме, ведет себя так, как я? Одним словом, я разговаривал с ней и проводил ее немного, желая посмотреть, что она станет делать дальше. Впрочем, меня зовут так-то и так-то, я пастор. Спокойной ночи! Ступай и впредь не греш!

И я ушел.

Я потирал руки, восхищаясь своей великолепной выдумкой, и разговаривал сам с собой вслух. Как радостно бродить по городу и творить добрые дела! Быть может, я помог этому падшему созданию возродиться на всю жизнь! Опомнившись, она оценит мое благородство, с сердечной признательностью будет вспоминать меня даже в свой смертный час. Ах, все-таки стоило быть честным, честным и праведным!

Я был в прекрасном настроении, чувствовал себя сильным и смелым, был готов ко всему. Если б только достать свечку, я, пожалуй, окончил бы свою статью! Я шел, помахивая новым ключом от ворот, напевал, посвистывал и думал, как мне добыть свечу. Но придумал только одно — писать на улице, при свете газового фонаря. Я отпер ворота и отправился за своими бумагами.

Выйдя снова, я запер ворота снаружи и расположился у фонаря. Вокруг было тихо, я слышал только тяжелые, гулкие шаги полицейского в соседнем переулке, да издадека, от холма Святого Генриха, доносился собачий лай. Ничто не мешало мне, я поднял воротник куртки и принялся сосредоточенно думать. Я был бы бесконечно счастлив, если б мне удалось закончить эту маленькую статью. Я остановился на трудном месте, нужен был незаметный переход к чему-нибудь новому, потом мягкий, постепенный конец на длинной трепетной ноте, которая вдруг оборвется очень резкой фразой, волнующей, как выстрел или как грохот горной лавины. Точка.

Но слов не было. Я перечел всю статью сначала, громко произнося каждое слово, и никак не мог собраться с мыслями, чтобы придумать подходящую фразу. Пока я работал, подошел полицейский, остановился посреди улицы поодаль от меня и разрушил все мое рабочее настроение. Какое ему дело, что в этот миг я придумывал замечательную фразу к статье для «Командора»? Господи, как трудно мне было удержаться на поверхности, за что бы я ни ухватился! Я простоял под фонарем с час, полицейский ушел, холод стал слишком пронизывающим, и я не мог оставаться на месте. Унылый и подавленный новой неудачей, я снова открыл ворота и пошел к себе.

В моем жилище было холодно, и я с трудом различил свое окно в густой темноте. Я ощупью добрался до постели, снял башмаки и стал растирать ноги, чтобы их согреть. Потом я лег не раздеваясь, как делал уже давно.

На следующее утро, едва рассвело, я сел в кровати и снова принялся за статью. Я сидел так до полудня, и мне удалось сочинить десятка два строк. Но до конца я так и не дошел.

Я встал, обулся и, чтобы согреться, начал ходить взад-вперед по комнате. Окно заиндевело, я выглянул на улицу: шел снег, весь двор и колодезный сруб были завалены снегом.

Я метался по комнате, бессознательно шагал взад-вперед, царапал ногтями стены, осторожно прижимался лбом к двери, постукивал указательным пальцем по полу, напряженно прислушивался — все это я делал без малейшей надобности, но тихо и глубокомысленно, будто затеял нечто важное. И в то же время я громким голосом, чтобы слышать самому, твердил: «Боже правый, но ведь

это же безумие!» И продолжал делать то же самое. По прошествии долгого времени — это длилось, пожалуй, не меньше двух часов — я овладел собою, закусил губу и постарался обрести твердость. С этим необходимо покончить! Я отыскал стружку, пожевал ее и решительно взялся за карандаш.

С огромным трудом мне удалось написать две короткие фразы — с десятков жалких, вымученных слов, которые я выжал насильственно, лишь бы как-нибудь продвинуть дело. Но дальше я не мог работать, голова была пуста, силы оставили меня. Я не мог пошевелиться и широко раскрытыми глазами глядел на эти слова, на эту недописанную страницу, вперившись в странные, шаткие буквы, которые торчали на бумаге, словно ошестинившиеся зверьки, — глядел, ничего не в силах понять, ни о чем не думая.

Время шло. До меня уже доносился уличный шум, стук колес и конских подков, из конюшни слышался голос Йенса Олая, который разговаривал с лошадьми. Я совершенно ослабел и только причмокивал губами, не в силах пошевелиться. Жжение в груди усилилось.

В глазах у меня темнело, я изнемогал от усталости и снова лег. Чтобы согреть руки, я потирал волосы от лба к затылку и от виска к виску; при этом я вырывал пучки и клочья, роняя их на подушку. Это меня не беспокоило, я оставался равнодушным, ведь волос на моей голове было еще достаточно. Я попытался стряхнуть с себя эту странную дрему, расплзавшуюся по всему телу как туман; я приподнялся, похлопал ладонью по коленям, прокашлялся, преодолевая боль в груди, — и снова упал навзничь. Ничто не помогало; я беспомощно лежал с открытыми глазами, устремленными в потолок, и чувствовал, что умираю. Потом я сунул указательный палец в рот и стал его сосать. Что-то шевельнулось в моем мозгу, безумная, нелепая мысль искала выхода. А не укусить ли его? Не долго думая, я закрыл глаза и стиснул зубы.

Я вскочил. Наконец-то я очнулся. Из пальца сочилась кровь, и я стал ее слизывать. Мне не было больно, да и ранка была пустячная; но я сразу пришел в себя; я покачал головой, подошел к окну, отыскал тряпочку и перевязал рану. На глазах у меня тем временем выступили слезы, я тихо оплакивал самого себя. Этот худой, искусанный палец был таким жалким. Боже правый, до чего я дошел!

Темнота сгущалась. В конце концов вполне возможно, что к вечеру я закончу статью, если только у меня будет свеча. Голова моя снова прояснилась, мысли текли как всегда, и я не очень страдал; даже голод ощущался не так остро, как несколько часов назад, и я мог спокойно потерпеть до следующего утра. Вероятно, мне дадут свечу в долг, если я пойду в лавку и объясню свое положение. Меня там хорошо знают; в лучшие времена, до своего обнищания, я часто покупал хлеб в этой лавчонке. Без сомнения, мне дадут там свечу под честное слово. И впервые за долгое время я принялся ощупью, в темноте, чистить свое платье, смахнул с воротника куртки выпавшие волосы; потом побрел вниз по лестнице.

Выйдя за ворота, я подумал, что лучше, быть может, попросить хлеба. Я остановился в раздумье.

— Нет, ни в коем случае! — сказал я наконец сам себе.

Ведь в теперешнем состоянии мне никак нельзя есть; иначе опять возникнут видения, нелепые чувства, бред, я не смогу закончить статью, а мне необходимо пойти к «Командору», пока он не забыл меня. Ни в коем случае! Я решил просить свечу. И с этой мыслью вхожу в лавку.

Какая-то женщина у стойки делает покупки; я вижу множество мелких, разноцветных свертков. Приказчик, который знает меня и помнит, что я обычно у него покупаю, оставляет женщину, ни о чем не спрашивая, заворачивает в газету хлеб и кладет передо мною.

— Нет, мне, собственно, нужна свеча на сегодняшний вечер, — говорю я. И говорю это очень тихо, почтительно, иначе он может рассердиться и не даст мне свечу.

Мои слова кажутся ему неожиданными, впервые я спрашиваю у него не хлеб, а что-то другое.

— В таком случае вам придется немного обождать, — говорит он и снова возвращается к женщине.

Она берет свои покупки, протягивает ему пять крон, получает сдачу и уходит.

Мы с приказчиком остаемся одни.

Он говорит:

— Вам, значит, свечу.

Вскрыв пачку свечей, он вынимает одну. Он смотрит на меня, и я смотрю на него, не в силах высказать свою просьбу.

— Да, конечно, ведь вы уже заплатили, — вдруг говорит он.

Просто-напросто говорит, что я заплатил; я отчетливо слышу каждое его слово. И он начинает отсчитывать серебро из ящика, крону за кроной, тяжелые, блестящие монеты, он дает мне сдачи с пяти крон,— с пяти крон той женщины.

— Пожалуйста!— говорит он.

Мгновение я смотрю на деньги, понимаю, что он ошибся, но не раздумываю, совершенно не шевелю мозгами,— ослепленный этим богатством, я совсем как шальной. Машинально я беру деньги.

Я стою у прилавка в тупом удивлении, пораженный, уничтоженный; потом я делаю шаг к двери и снова останавливаюсь. Я пристально гляжу в стену; там на кожаном шнурке висит колокольчик, а под ним— связка веревок. И я стою и смотрю на все это.

Видя, как долго я мешкаю, приказчик думает, что я хочу вступить в разговор, и, перекладывая на прилавке стопки оберточной бумаги, замечает:

— Похоже, скоро зима.

— Гм. Да...— отвечаю я.— Похоже, что скоро зима. Похоже на то.— И немного спустя прибавляю:— Что ж, ведь пора. И похоже на то. Впрочем, давно уж пора.

Я прислушиваюсь к своей болтовне, словно не я, а кто-то другой говорит все это.

— Вы так полагаете?— говорит приказчик.

Сунув деньги в карман, я отворил дверь и ушел; я слышал, как я пожелал приказчику спокойной ночи и он мне ответил.

Не успел я сделать и двух шагов, как дверь распахнулась и приказчик окликнул меня. Я обернулся без удивления, без тени страха: я только собрал деньги в горсть и готов был отдать их.

— Вы забыли свечу,— говорит приказчик.

— Ах, благодарю вас!— спокойно отвечаю я.— Большое спасибо!

И я снова пошел по улице, держа свечу в руке.

Моя первая здравая мысль касалась денег. Я подошел к фонарю и снова пересчитал их, взвесил на ладони и улыбнулся. Ведь это целое богатство, его хватит надолго, очень надолго! Я снова сунул деньги в карман и пошел дальше.

У столовой на Стургатен я остановился, тщательно, хладнокровно взвешивая, можно ли мне сейчас немного поесть; изнутри слышался звон тарелок, стук ножей; искушение было слишком велико, и я вошел.

— Бифштекс! — потребовал я.

— Один бифштекс! — крикнула официантка в оконце.

Я сел за отдельный маленький столик у самых дверей и стал ждать. В этом углу царил полумрак, мне здесь было спокойно, и я предался размышлениям. Время от времени официантка с любопытством поглядывала на меня.

Итак, я совершил первый действительно бесчестный поступок, первую кражу, в сравнении с которой все мои прежние выходки были пустяком; первое маленькое и в то же время великое падение... Ну что ж! Теперь уже ничего не поделаешь. Впрочем, все зависит от меня, ведь я могу расплатиться с лавочником потом, при случае. И это вовсе не значит, что я должен и дальше идти по этому пути; к тому же я не обязан жить честнее всех, я не давал такой клятвы...

— Как вы думаете, бифштекс скоро будет готов?

— Да, сейчас.

Официантка открывает оконце и заглядывает в кухню.

Но если это дело выплывет наружу? Если у приказчика возникнет подозрение, если он начнет вспоминать историю с хлебом, с пятью кронами, со сдачей, которую получила та женщина? Ведь вполне вероятно, что он спохватится в первый же раз, как я снова зайду в лавку. Господи, ну и что с того?.. Я слегка пожимаю плечами.

— Пожалуйста! — любезно говорит официантка и ставит бифштекс на стол. — Но не лучше ли вам перейти в соседнее помещение? Здесь так темно.

— Нет, спасибо, позвольте мне остаться здесь, — отвечаю я.

Ее любезность растрогала меня, я тотчас плачу за бифштекс, даю ей наугад, сколько попало в кармане, и зажимаю ее руку. Она улыбается, а я, шутя, с увлажнившимися глазами, говорю:

— На чаевые купите себе усадьбу... Ах, не стоит благодарности!

Принявшись за бифштекс, я ем все жаднее, глотаю большие куски, не разжевывая. Я рву говядину зубами, как людоед.

Официантка снова подходит ко мне.

— Не хотите ли чего-нибудь выпить? — спрашивает она, слегка нагнувшись ко мне.

Я взглянул на нее: она говорила очень тихо, почти стыдливо; под моим взглядом она опустила глаза.

— Скажем, полбутылки пива или еще что-нибудь... от меня... и кроме того... если вам угодно...

— Нет, спасибо! — ответил я. — Как-нибудь в другой раз. Я еще зайду к вам.

Она отошла и села за стойкой; теперь я видел только ее голову. Какая она странная!

Кончив есть, я тотчас же пошел к двери. Я уже чувствовал тошноту. Официантка встала. Я боялся выйти на свет, боялся слишком близко подойти к этой молодой девушке, которая и не подозревала о моей нищете, а поэтому торопливо пожелал ей доброй ночи, поклонился и вышел.

Еда уже оказывала свое действие, меня сильно тошнило, к горлу подступала рвота. Во всяком темном углу я искал облегчения, старался преодолеть тошноту, от которой снова пустел мой желудок, сжимал кулаки, делал над собой усилие, топал ногами и в бешенстве глотал то, что готово было извергнуться изо рта, — но все напрасно! Наконец я вбежал в какую-то подворотню, скорчившись, ослепнув от слез, застилающих глаза, и меня вырвало.

Я был в отчаянье, шел по улице и плакал, проклиная те чудовищные силы, каковы бы они ни были, за то, что они так беспощадно преследуют меня, призывал на них проклятие ада и вечные муки за их жестокость. Да, эти силы не отличаются рыцарским благородством, право, не отличаются, уж это точно!.. Я подошел к какому-то человеку, который глазел на витрину, и попросил поскорей сказать, что, на его взгляд, нужно дать человеку, долгое время терпевшему голод.

— Это вопрос жизни и смерти, — сказал я. — А бифштекса он не может перенести.

— Я слышал, что очень полезно молоко, кипяченое молоко, — ответил он в крайнем изумлении. — А о ком речь?

— Спасибо! Спасибо! — сказал я. — Может, вы и правы, кипяченое молоко очень полезно.

И я уйду.

Зайдя в первую попавшуюся кофейню, я спрашиваю кипяченого молока. Мне дают горячее молоко, и я пью его, жадно глотаю каждую каплю, расплачиваюсь и уйду. Я направляюсь домой.

И тут происходит нечто поразительное. Я вижу, что у моих ворот, прислонившись к фонарному столбу, на самом освещенном месте, кто-то стоит, — это опять дама в черном. Та самая дама в черном, что уже приходила сюда. Ошибки быть не может, она пришла на то же место в четвертый раз. Она стоит совершенно неподвижно.

Мне это кажется столь странным, что я невольно замедляю шаг; мысли мои совершенно ясны, но я очень взволнован, нервы возбуждены едой. Я, как всегда, прохожу мимо нее, дохожу почти до ворот и готов уже войти. Но тут я останавливаюсь. Меня охватывает дерзкий порыв. Я безотчетно поворачиваюсь, направляюсь к даме, смотрю ей прямо в лицо и кланяюсь:

— Добрый вечер, фрекен!

— Добрый вечер! — отвечает она.

— Прошу прощения, но вы кого-нибудь ищете? Я вас уже давно заметил, не могу ли быть чем-нибудь полезен? В противном случае — виноват.

— Право, не знаю...

— В этом дворе никто не живет, кроме меня да трех-четырех лошадей, здесь только конюшня и мастерская жестянщика. Если вы кого-нибудь здесь ищете, это, наверное, ошибка.

Она отворачивается и говорит:

— Я никого не ищу, я стою здесь просто так.

Вот как, она просто стоит здесь, стоит уже не первый вечер только из прихоти. Это несколько странно; чем больше я думал об этом, тем сильнее недоумевал. Наконец я решил быть смелее. Я звякнул деньгами в кармане и, не долго думая, предложил ей пойти куда-нибудь выпить стакан вина... поскольку уже зима, наступили холода, хе-хе... и ведь это совсем недолго... разумеется, если она согласна.

Ах нет, спасибо, это невозможно. Нет, никак нельзя согласиться. Но если б я был так любезен и проводил ее немного, тогда... Уже темно, в столь позднее время нелегко идти одной по улице Карла-Юхана.

— С большим удовольствием.

И мы пошли; она шла по правую руку от меня. Мною овладело приятное, неповторимое ощущение — ощущение близости молодой женщины. Я не отрываясь смотрел на нее. Аромат духов, источаемый ее волосами, тепло, исходившее от ее тела, сладостный запах женщины, легкое дыхание, которое оведало меня всякий раз, как она поворачивалась ко мне лицом, — все это проникало, пронизывало меня до глубины души. Я лишь смутно различал под вуалью полное, чуть бледное лицо, а под накидкой — высокую грудь. Этот дивный соблазн, таившийся под покровами, смущал меня, и в то же время я чувствовал беспричинное счастье; не вытерпев, я коснулся ее рукою, дотронулся до ее плеча и глупо улыбнулся. Я слышал, как билось мое сердце.

— Какая вы странная! — сказал я.

— Да почему же?

— Во-первых, потому, что у вас есть привычка неподвижно стоять по вечерам у ворот конюшни без малейшей надобности, только потому, что это пришло вам в голову...

— Ну, на это могут быть свои причины. Кроме того, так приятно гулять до поздней ночи, это мне всегда очень нравилось. А разве вы ложитесь до двенадцати?

— Я? Больше всего на свете ненавижу ложиться раньше двенадцати. Ха-ха!

— Ха-ха, вот видите! А я предпринимала эту вечернюю прогулку, потому что мне все равно нечего делать. Я живу на площади Святого Улафа...

— Илаяли! — воскликнул я.

— Как вы сказали?

— Я просто сказал — Илаяли... Но продолжайте!

— Я живу на площади Святого Улафа вдвоем с матерью, но с ней нельзя говорить, потому что она глухая. Разве странно, что я люблю гулять?

— Нисколько! — ответил я.

— Хорошо, в чем же тогда дело?

По ее голосу я понял, что она улыбается.

— А разве у вас нет сестер?

— Да, есть сестра, старше меня, — но откуда вы это узнали? Она сейчас уехала в Гамбург.

— Недавно?

— Да, пять недель тому назад. А откуда вам известно, что у меня есть сестра?

— Мне это вовсе не известно, я просто так спросил.

Мы замолчали. Мимо прошел какой-то человек, неся под мышкой пару башмаков, дальше, насколько хватал глаз, улица была пуста. У Тиволи, вдали, светился длинный ряд разноцветных фонариков. Снег перестал, небо было ясное.

— Господи, а вам не холодно без пальто? — говорит вдруг дама и смотрит на меня.

Рассказать ей, почему у меня нет пальто? Сразу же открыть ей свое положение, пускай лучше пугается теперь, чем потом? Но мне было так сладостно идти рядом с нею и держать ее в неведении. Я солгал:

— Нет, нисколько не холодно. — И чтобы переменить разговор, спросил: — Вы видели зверинец в Тиволи?

— Нет, — ответила она. — А что, это очень интересно?

Вот если б она согласилась пойти туда! Там так светло илюдно! Но нет, ей пришлось бы стыдиться, пришлось

бы уйти оттуда, стесняясь моего потертого платья, моего изможденного лица, которое я уже два дня не умывал; к тому же она могла бы обнаружить, что на мне нет жилета. Поэтому я ответил:

— Ах нет, там решительно нечего смотреть.— К счастью, мне удастся призвать на помощь остатки своего красноречия.— Что смотреть в таком крошечном зверинце? И вообще я не люблю смотреть зверей в клетках. Эти звери знают, что человек на них смотрит, чувствуют на себе сотни любопытных глаз, и это действует на них. Нет, я предпочитаю зверей, которые и не подозревают, что на них смотрят, они таятся в своих норах, их зеленые глаза лениво светятся, они лижут лапы и думают. А как вы полагаете?

— Да, вы, конечно, правы.

— Только звери со всем своим диким своеобразием, злобные и свирепые, могут быть интересны. Когда они бесшумно крадутся в ночной тьме, через грозную чащу леса, и слышатся птичьи крики, и шумит ветер, и пахнет кровью, и рев, и грохот,— одним словом, когда зверей овеивает дух дикой природы...

Но я боялся ей наскучить, вновь почувствовал, что я— лишь жалкий нищий, и это чувство раздавило меня. Будь на мне приличное платье, я мог бы предложить ей приятную прогулку в Тиволи! Как странно, что эта женщина могла находить удовольствие в том, что ее по улице Карла-Юхана провожает оборванный бродяга. О чем она думает? И чего ради я иду подле нее с идиотской, бессмысленной улыбкой? Какой толк мне тащиться в такую даль за этой крошкой? Разве мне это не тяжело? Разве холод не пронизывает меня до костей при всяком порыве ветра, который дует нам в лицо? И разве безумие уже не пылает в моем мозгу оттого, что я столько месяцев подряд недоедал? Ведь из-за нее я не мог пойти домой и промочить горло глотком молока, которое, пожалуй, сумел бы удержать мой желудок. Почему она не повернулась ко мне спиной, почему не послала к черту?..

Я был в отчаянье; эта безнадежная тоска толкнула меня на крайность, и я сказал:

— В сущности, нам не следовало бы идти вместе, фрекен: уже одно мое платье позорит вас на виду у всех. Право, это так, я не шучу.

Она озадачена. Быстро взглянув на меня, она некоторое время молчит. Потом роняет:

— Ах, боже мой!

И больше ни слова.

— Как прикажете вас понимать?— спросил я.

— Ах нет, не говорите так... Теперь уж недалеко.

И она заторопилась.

Мы свернули на Университетскую улицу, и уже видны фонари на площади Святого Улафа. Теперь она снова замедлила шаг.

— Простите меня за нескромность, но, быть может, вы назовете свое имя, прежде чем мы расстанемся? И хотя бы на мгновение приподнимете вуаль, чтобы я мог взглянуть на вас? Я был бы вам бесконечно благодарен.

Пауза. Я ждал.

— Вы уже видели меня,— говорит она.

— Илаяли!— снова восклицаю я.

— Вы полдня преследовали меня, шли за мной до самого дома. Вы были пьяны?

По ее голосу я снова понял, что она улыбается.

— Да,— сказал я.— Да, к сожалению, я был пьян.

— Ах, как это гадко!

Раздавленный, я признал, что это действительно гадко.

Мы подошли к фонтану, мы остановились и смотрим на освещенные окна дома номер два.

— Дальше вам нельзя идти,— говорит она.— Спасибо, что проводили меня.

Я понурил голову, не смея вымолвить ни слова. Я снял шляпу и стоял с непокрытой головой. Подает ли она мне руку?

— А почему вы не просите, чтобы я прошла с вами еще немного?— шутит она, глядя на носки своих башмаков.

— Боже мой,— говорю я.— Если б вы согласились!

— Хорошо, но только совсем немного.

И мы повернули назад.

Я совсем растерялся, я не знал, идти ли мне или остановиться; из-за этой женщины все мои мысли спутались. Я был в восторге, в упоении, казалось, я готов умереть от счастья. Она сама захотела вернуться, это не я предложил, это было ее собственное желание. Я поглядываю на нее и становлюсь все смелее, она поощряет, манит меня к себе каждым словом. На мгновение я забываю о своей бедности, о своем ничтожестве, о всех своих жалких обстоятельствах, я чувствую, как кровь горячей волной разливается по телу, словно в прежние времена,

когда я был полон сил, и я пускаюсь на маленькую хитрость, чтобы выпросить у нее кое-что.

— Впрочем, я тогда преследовал не вас, а вашу сестру,— говорю я.

— Мою сестру?— переспрашивает она в изумлении.

Она останавливается, смотрит на меня, ждет ответа. Это был не пустой вопрос.

— Да,— отвечаю я.— Гм! Я хочу сказать, ту, что помоложе из двух дам, шедших впереди меня.

— Помоложе? Ого!— Она вдруг смеется громко, искренне, как ребенок.— Какой вы хитрец! Вы это сказали, чтобы заставить меня поднять вуаль. Разве нет? Да, я вас раскусила. Но вам этого не дожидаться. Вы должны быть наказаны.

Мы стали смеяться и шутить, все время болтали без умолку, и я сам не знал, что говорю,— так мне было радостно. Она рассказала, что как-то, очень давно, видела меня в театре. Я был с тремя приятелями и вел себя как безумный; очевидно, я и в тот раз был пьян.

— Почему вы это думаете?

— Вы так громко хохотали.

— Вот как! Да, я часто смеялся в то время.

— А теперь нет?

— И теперь тоже. Но тогда жизнь была так прекрасна!

Мы дошли до улицы Карла-Юхана. Она сказала:

— Ну, будет!

Мы повернули назад и снова пошли по Университетской улице. Когда мы опять приблизились к фонтану, я несколько замедлил шаг, зная, что мне нельзя будет провожать ее дальше.

— Теперь вам пора уходить,— сказала она и остановилась.

— Да, пора,— отозвался я.

Но, поразмыслив, она решила, что я могу проводить ее до подъезда.

— Господи, ведь в этом нет ничего дурного. Правда?

— Конечно, нет,— сказал я.

Но когда мы стояли у подъезда, я вновь остро почувствовал свою нищету. Как такому обездоленному человеку сохранить бодрость духа? Грязный, измученный, изуродованный голодом, весь в лохмотьях, стоял я перед этой молодой женщиной, готовый провалиться сквозь землю. Я съежился, невольно сгорбил спину и сказал:

— Увижусь ли я с вами еще?

У меня не было никакой надежды, что она позволит увидаться с нею снова; я даже почти желал решительного отказа, который заставил бы меня совладать с собой, снова стать безразличным.

— Да,— сказала она.

— Когда же?

— Не знаю.

Пауза.

— Вы не поднимете вуаль хотя бы на один-единственный миг?— попросил я.— Дайте мне увидеть ваше лицо. На один только миг! Увидеть ваше лицо.

Пауза.

— Мы можем встретиться здесь во вторник вечером,— говорит она.— Хотите?

— Да, милая, если только это возможно!

— В восемь часов.

— Хорошо.

Я провел рукой по ее накидке, смахнул снег, пользуясь предлогом коснуться ее; мне было радостно чувствовать ее близость.

— Значит, вы не станете думать обо мне слишком дурно?— сказала она. И снова улыбнулась.

— Нет...

Вдруг она решительным движением подняла вуаль; мгновение мы смотрели друг на друга.

— Илаяли!— сказал я.

Она привстала на цыпочки, обвила руками мою шею и поцеловала меня в губы. Один-единственный раз, быстро, головокружительно быстро, прямо в губы. Я чувствовал, как вздымается ее грудь от порывистого дыхания.

И тотчас же она вырвалась из моих рук, задыхающимся шепотом бросила мне: «Спокойной ночи!»— повернулась и побежала по лестнице, не сказав больше ни слова...

Входная дверь захлопнулась.

На другой день снег усилился, он падал сырыми, тяжелыми хлопьями, которые на земле превращались в грязь. Было мокро и холодно.

Я проснулся очень рано, и мысли у меня в голове были совершенно спутаны после вчерашних душевных волнений, а душа полна восторга от недавней встречи. Упоенный, я некоторое время лежал с открытыми глаза-

ми и воображал, будто Илаяли рядом со мной: я обнимал самого себя и целовал воздух. Наконец я встал, выпил чашку молока, а немного погодя съел бифштекс и больше не чувствовал голода, однако нервы мои снова были сильно возбуждены.

Я отправился к торговцу готовым платьем. Мне пришло в голову, что я, пожалуй, мог бы недорого купить поношенный жилет, лишь бы было что надеть под куртку. Я поднялся по лестнице к рынку, облюбовал себе жилет и стал его рассматривать. Пока я возился там, мимо прошел знакомый; он кивнул и окликнул меня, я повесил жилет и направился к нему. Он был техник и шел на работу.

— Пойдем выпьем пива,— предложил он.— Но только поскорее, мне некогда... А что это за дама, с которой вы гуляли вчера вечером?

— Разве вы не знаете,— сказал я, ревнуя уже только оттого, что он смеет думать о ней,— что это моя возлюбленная?

— Ух ты, дьявол!— сказал он.

— Да, это произошло вчера вечером.

Я сразил его на месте, он сразу поверил мне.

Я солгал ему, чтобы отвязаться; мы выпили пива и вышли на улицу.

— До свидания!.. Или нет, погодите,— сказал он вдруг.— Я вам ведь должен несколько крон, и мне стыдно, что я до сих пор не вернул их. Но вы получите долг в самом скором времени.

— Спасибо,— сказал я. Но у меня не было сомнений, что он никогда не вернет мне этих денег.

К сожалению, пиво сразу ударило мне в голову, горячей волной разлилось по телу. Я стал думать о минувшем вечере и пришел в смятение. А вдруг она не придет во вторник? Вдруг она одумалась, стала сомневаться! Но в чем ей сомневаться?.. Мысли мои теперь вертелись вокруг денег. Я испугался, мне стало очень страшно за себя. Я припомнил совершенное мной мошенничество во всех подробностях; увидел маленькую лавчонку, стойку, свою худую руку, хватающую деньги, представил себе, как полиция придет и схватит меня. Кандалы на руках и ногах. Нет, только на руках, быть может, лишь на одной руке; решетка, дежурный, составляющий протокол, скрип его пера, его взгляд, уничтожающий взгляд. Ну-с, господин Танген? А потом— одиночная камера, вечный мрак...

Гм! Я стиснул кулаки, постарался ободриться, ускори́л шаги и очутился на Стуртувет. Здесь я присел.

Нет, бросьте, я не ребенок, нечего меня морочить! Кто может это доказать? И кроме того, приказчик не посмеет поднять шум, даже если и вспомнит, как было дело: он слишком дорожит своим местом. Сделайте одолжение, не надо шума и бурных сцен!

Но эти деньги все же тяготили меня, не давали мне покоя. Я начал копать в себе и неоспоримо установил, что был счастливее прежде, в те дни, когда страдал, имея чистую совесть. А Илаяли! Разве я не увлек ее в грязь грешными своими руками! Господи боже мой! Илаяли!

Теперь я казался себе отвратительным чудовищем, я вдруг вскочил и пошел прямо к торговке пирожками, сидевшей подле аптеки. Еще не поздно было смыть позор, показать всему свету, на что я способен! На ходу я приготовил деньги, держал их все, до последней монетки, в руке, а потом я склонился над лотком, точно хотел что-то купить и, не долго думая, сунул деньги торговке в руку. При этом не сказал ни слова и тотчас же ушел.

Какая это дивная отрада — снова стать честным человеком! Пустые карманы давали мне ощущение легкости, как чудесно было снова стать чистым. Ведь если разобраться, эти деньги, в сущности, возбуждали во мне немало тайной горечи, при мысли о них я всякий раз вздрагивал; ведь у меня не закоснелая душа, моя честность была оскорблена этим низким поступком, да, да! Слава богу, я оправдался в собственных глазах.

— Берите с меня пример! — сказал я, окидывая взором кишашую людьми площадь. — Берите с меня пример! Я осчастливил старую, бедную торговку, вот это дело! Ведь она была в безвыходном положении. Сегодня вечером ее дети не лягут спать голодные...

Я утешал себя такими мыслями и находил, что мое поведение выше всяких похвал. Слава богу, я избавился от этих денег.

Взволнованный, опьяненный, я шел по улице, гордо поднимая голову. Я ликовал при мысли, что пойду к Илаяли чистым и честным, смогу глядеть ей прямо в глаза; ничто больше меня не мучило, мысли прояснились, исчезла тяжесть в голове, которая, казалось, была теперь отлита из прозрачного света. Мне хотелось шутить, выкидывать небывалые штуки, перевернуть вверх дном весь город, поднять страшный шум. Я шел через Гренсен как безумный; в ушах у меня слегка шумело, хмельная ра-

доть обурежала душу. В порыве безрассудной смелости я сообщил, сколько мне лет, рассыльному, который встретился мне по пути, но он не сказал ни слова, а я схватил его за руку, пристально посмотрел ему в лицо и пошел дальше, никак не объяснив свой поступок. Я прислушивался к голосам и смеху прохожих, поглядывал на птичек, прыгавших по тротуару, присматривался к булыжникам мостовой и находил в их расположении различные знаки и странные фигуры. Наконец я вышел на площадь, к стортингу.

Остановившись как вкопанный, я смотрю на извозчиков. Они расхаживают по площади и переговариваются, а лошади стоят понутив головы, удрученные скверной погодой. «Ну, вперед!» — сказал я себе и подтолкнул себя локтями. Я быстро подошел к первой коляске и сел.

— Уллевольсвейен, тридцать семь! — крикнул я.

И мы поехали.

По дороге извозчик начал оборачиваться назад, поглядывать на меня, сидевшего под просмоленным холстом. Неужели он что-то заподозрил? Не было ни малейшего сомнения, что мое поношенное платье обратило на себя его внимание.

— Мне нужно навестить одного господина! — крикнул я ему, чтобы предупредить его расспросы. И я убедительно объяснил ему, как мне необходимо навестить этого господина.

Мы останавливаемся у дома номер тридцать семь, я выскакиваю, бегом поднимаюсь по лестнице на третий этаж и дергаю звонок, который отчаянно дребезжит.

Горничная отворяет дверь; я обращаю внимание на то, что в ушах у нее золотые серьги, а на серой блузке черные пуговицы. Она испуганно смотрит на меня.

Я спрашиваю Хьерульфа, Иоахима Хьерульфа, ну, того, который торгует шерстью, одним словом, его ни с кем не спутаешь...

Горничная качает головой.

— Хьерульф здесь не живет, — говорит она.

Взглянув на меня, горничная хочет закрыть дверь. Она произнесла эту фамилию легко, без малейшей запинки, словно действительно знает человека, которого я ищу, только ей лень вспоминать. В ярости я повернулся к ней спиной и сбежал вниз по лестнице.

— Его нет здесь! — крикнул я извозчику.

— Нет здесь?

— Нет. Поезжайте на Томтегатен, номер одиннадцать.

Мое волнение отчасти передалось кучеру; он, видно, подумал, что надо спасти человеческую жизнь, и тотчас же рванул с места. Он громко понукал лошадей.

— А как фамилия этого господина?—спросил он, обернувшись на козлах.

— Хьерульф, тот, что торгует шерстью. Хьерульф.

Извозчику тоже показалось, что он знает этого человека. А не носит ли он светлого костюма?

— Как вы сказали?—воскликнул я.—Светлого костюма? Да вы в своем уме? Что я, по-вашему, шутки шутить буду?

Этот светлый костюм испортил мне всю музыку, ведь я представлял себе Хьерульфу совсем не таким.

— Как бишь его фамилия? Хьерульф?

— Ну да,—ответил я.—А что тут странного? В этой фамилии ничего плохого нет.

— А он не рыжий?

Вполне возможно, что он рыжий, и когда извозчик упомянул об этом, я вдруг твердо решил, что так оно и есть. Я был признателен извозчику и сказал, что он сразу сообразил, кого я ищу; ведь все обстоит именно так, как он говорил.

— Было бы весьма странно,—заметил я,—не окажись он рыжим.

— Стало быть, его-то я и возил раза два,—сказал кучер.—У него еще была в руке суковатая палка.

Тут уж этот человек встал предо мною как живой, и я сказал:

— Хе-хе, никто еще не видал этого господина без суковатой палки в руке. Уж на этот счет будьте спокойны, будьте совершенно спокойны.

Да, без сомнения, это был тот самый человек, которого он возил. Он узнал его...

Мы ехали так быстро, что из-под подков сыпались искры.

Хотя я был очень взволнован, я ни на миг не потерял присутствия духа. Мы проехали мимо постового, и я обратил внимание, что у него бляха с номером 69. Это число поражает меня до глубины души, вонзается мне в мозг, как заноза. 69, именно 69, уж я не забуду!

Я откинулся на спинку сиденья, весь во власти диких фантазий, съежился под просмоленным холстинным верхом, чтобы никому не было видно, как я шевелю губами, и начал самым нелепым образом разговаривать сам с собой. Безумие бушевало в моем мозгу, и я дал ему волю,

вполне сознавая, что стал жертвой порывов, противостоять которым не в силах. Я начал смеяться, безмолвно и неистово, без малейшего к тому повода, веселый и пьяный от двух кружек пива. Мало-помалу мое возбуждение проходит, я все более успокаиваюсь. Я чувствую, как ноет у меня палец, и сую его за ворот рубахи, чтобы немного согреть. Но вот мы на Томтегатен. Извозчик останавливается.

Я вылезаю из коляски медленно, ни о чем не думая, отяжелевший, с головой, словно налитой свинцом. Я прохожу через подъезд, оттуда — во двор, пересекаю его наискось, оказываюсь перед дверью, открываю ее и вижу перед собой как бы прихожую в два окна. Там, в углу, два сундука, один на другом, а у стены старая, некрашенная лежанка, покрытая ковром. Справа, в соседней комнате, слышится голос и детский крик, а надо мной, во втором этаже, удары молотка по железу. На все это я обращаю внимание сразу, как только вхожу.

Я преспокойно иду через всю квартиру к другой двери, не торопясь, не помышляя о бегстве, отворяю ее и выхожу на соседнюю улицу. Я смотрю на дом, через который только что прошел, и читаю вывеску «Пансионат для приезжих».

У меня нет намерения бежать, скрыться от извозчика, который меня ждет; я преспокойно иду по улице, без всякого страха, не чувствуя за собой ничего дурного. Хьерульф, торговец шерстью, так долго занимавший мои мысли, человек, в существование которого я верил и которого мне непременно нужно было найти, вдруг исчез, испарился вместе с другими безумными выдумками, которые появлялись, а потом исчезали; теперь он маячил передо мною лишь как смутный образ, как далекое воспоминание.

Чем дальше я шел, тем рассудительней становился, я чувствовал тяжесть и усталость, еле волочил ноги. А снег все падал большими мокрыми хлопьями. Наконец я вышел на Грёнланн, к самой церкви, и там присел на скамейку отдохнуть. Прохожие с удивлением смотрели на меня. Я погрузился в раздумье.

Великий Боже, как я обездолен! Вся моя жалкая жизнь так постыла мне, я так бесконечно устал, что больше не стоит труда бороться, не стоит поддерживать ее. Невзгоды доконали меня, они были слишком суровы; я совершенно разбит, стал собственной жалкой тенью. Плечи мои поникли, перекошились, я ходил скрючившись, чтобы хоть немного унять боль в груди. Два дня назад, у себя

дома, я осмотрел свое тело — и не мог удержать слез. Несколько недель я не менял рубашки, она вся задубела от пота и до крови натирала мне пупок; растертое место кровоточило, и хотя боли я не чувствовал, было так грустно носить на себе эту рану. Я не мог ее залечить, и сама по себе она не заживала; я промыл ее, осторожно вытер и снова надел ту же рубашку. Что ж было делать...

Я сижу на скамейке, думаю обо всем этом, и мне очень грустно. Я противен себе; даже руки мои кажутся мне омерзительными. Эти слабые, до непристойности немощные руки вызывают у меня досаду; я сержусь, глядя на свои тонкие пальцы, ненавижу свое хилое тело, содрогаюсь при мысли, что должен влачить, ощущать эту брэнную оболочку. Господи, хоть бы все это скорей кончилось! Как я хочу умереть!

Совершенно растоптанный, оскверненный и униженный в собственных глазах, я безотчетно встал и пошел домой. По дороге я увидел вывеску над воротами: «Йомфру Андерсен, лучшие саваны, в подворотне направо». «Какие воспоминания!» — сказал я, и мне вспомнился мой чердак на Хаммерсборг, маленькая качалка, газетные обои вокруг двери, объявление смотрителя маяка и свежий хлеб булочника Фабиана Ольсена. Ах, в то время мне жилось куда лучше, чем теперь; однажды ночью я написал фельетон, за который мне уплатили десять крон, теперь же я больше ничего не мог написать, совсем ничего, стоило мне приняться за дело — и все мысли исчезали у меня из головы. Да, пора кончать! Я шел не останавливаясь.

По мере того как я подходил к мелочной лавке, мной все неотвязнее овладевало смутное ощущение опасности; но я был тверд в решении добровольно сознаться в своем поступке. Вот я преспокойно поднимаюсь по ступенькам, в дверях сталкиваюсь с маленькой девочкой, которая несет чашку, пропускаю ее и закрываю за собой дверь. Приказчик и я снова оказываемся с глазу на глаз.

— Скверная погода, не правда ли? — говорит он.

К чему эти увертки? Почему он не схватил меня сразу? Охваченный яростью, я говорю:

— Я пришел вовсе не затем, чтобы болтать о погоде.

Моя горячность смущает его, этот ничтожный торгаш ничего не может взять в толк; ему и в голову не приходит, что я украл у него пять крон.

— Разве вы не знаете, что я обжулил вас? — с раздражением говорю я и весь дрожу, задыхаюсь, готовый заставить его действовать, если он станет еще мешкать.

Но он, бедняга, ни о чем не подозревает.

Ах ты господи, среди каких глупцов приходится жить! Я осыпаю его бранью, в подробности объясняю, как было дело, показываю ему, где я стоял и где стоял он, когда это произошло, где лежали деньги, как я их взял и зажал в кулаке,— и до него наконец доходит, но он все равно не предпринимает ничего. Он только вертит головой, прислушивается к шагам за стенкой, делает мне знаки, чтобы я говорил потише, и наконец изрекает:

— Да, вы поступили нехорошо!

— Нет, погодите!— кричу я, обуреваемый духом противоречия, стараясь вывести его из себя.— Вы жалкий торгаш, где вам понять, но я поступил не так уж подло! Не думайте, что я присвоил эти деньги, нет, я не собирался ими воспользоваться, ведь я честный человек и мне это противно...

— Что же вы с ними сделали?

— Да будет вам известно, что я отдал их бедной старухе, все, до последней монетки. Такой уж я человек, у меня сердце не каменное, я жалею бедняков...

Он задумался, у него нет уверенности в том, что я честный человек. Наконец он спрашивает:

— А отчего вы не вернули деньги?

— Да поймите же,— нагло отвечаю я.— Мне не хотелось причинять вам неприятности, я решил пощадить вас. И вот награда за благородство. Я пришел сюда и вот уже сколько времени объясняю вам, как было дело, а вы, совсем потеряв стыд, и не думаете сводить со мной счеты. Поэтому я умою руки. И вообще, ну вас к черту. Имею честь!

Я ушел, громко хлопнув дверью.

Но когда я вернулся в свое жилище, в эту сумрачную дыру, весь вымокший от сырого снега, моя воинственность вдруг исчезла, и я опять сник. Я пожалел, что так напал на бедного приказчика, я плакал, хватал себя за горло, дабы наказать себя за подлую выходку, и каялся. Он, конечно, насмерть перепугался за свое место и не посмел поднять шум из-за этих пяти недостающих крон. А я воспользовался его страхом, кричал на него, язвил его каждым словом. А сам хозяин, пожалуй, был за стенкой и каждую минуту мог выйти поглядеть, что случилось. Правда, мыслима ли худшая низость!

Эх, почему меня не задержали? Тогда все было бы кончено. Я сам дал бы надеть на себя кандалы. Не оказал бы ни малейшего сопротивления— напротив, помог бы

себя арестовать. Господи всемогущий, я жизнь готов отдать за единый миг счастья! Всю свою жизнь — за чечевичную похлебку! Хоть на этот раз внемли моим мольбам!..

Я лег спать в мокрой одежде; у меня была смутная мысль, что ночью я могу умереть, и, собрав последние силы, я привел в порядок свою постель, чтобы утром она выглядела прилично. Я улегся и скрестил руки на груди.

И вдруг мне вспомнилась Илаяли. Как мог я не вспоминать о ней целый вечер! В моей душе снова начинает брезжить свет, тоненький солнечный лучик, от которого мне так благостно тепло. Солнце светит все ярче — это кроткое, нежное, ласковое сияние, сладко опьяняющее меня. А потом солнце начинает жечь, опалает мои виски, пожирает свирепым пламенем мой измученный мозг. Теперь перед глазами у меня сверкает костер, небо и земля объаты пожаром, передо мною огненные люди и звери, огненные горы, огненные дьяволы, бездна, пустыня, весь мир пылает, дымный пламень Судного дня.

Больше я ничего не видел и не слышал...

На другой день я проснулся весь в поту; меня трепала жестокая лихорадка. Поначалу я плохо понимал, что со мной случилось, с удивлением озирался, чувствуя в себе какой-то перелом, совершенно не узнавая себя. Я ощупывал свои руки и ноги, изумлялся, что окно в этой стене, а не в противоположной; со двора слышались удары лошадиных копыт, а мне казалось, будто эти звуки доносятся откуда-то сверху. И к тому же меня тошнило...

Мокрые, холодные волосы упали мне на лоб; я приподнялся на локте и посмотрел на подушку: мокрые волосы лежали и здесь мелкими клочьями. Ноги, обутые в башмаки, распухли за ночь, я с трудом мог шевелить пальцами.

Время близилось к вечеру, уже начало смеркаться, поэтому я встал с постели и принялся бродить по комнате. Я семенял осторожными шажками, чтобы не потерять равновесия и уберечься от боли в ногах. Я не очень страдал, и мне не хотелось плакать, вообще я не был печален, наоборот, я был очень радостен и уже не желал иной судьбы.

Потом я вышел из дому.

Единственное, что меня все же мучило, несмотря на отвращение к пище, был голод. Я снова начал чувствовать низменный аппетит, сосущее ощущение в животе, которое становилось все сильнее. Боль немилосердно терзала мою грудь, там шла какая-то безмолвная, стран-

ная возня. Казалось, с десяток крошечных зверьков грызли ее то с одной, то с другой стороны, потом затихали и снова принимались за дело, бесшумно вгрызались в меня, выедали целые куски...

Я не заболел, но был истощен и обливался потом. Я надеялся отдохнуть на площади, но путь туда был долог и тяжел; и все же я добрался туда, остановился на углу улицы, вливавшей в площадь. Пот стекал мне в глаза, застилал стекла очков, слепил меня, и я остановился, чтобы вытереть лицо. Я не видел, где стоял, не думал об этом; вокруг раздавался оглушительный шум.

Вдруг слышится окрик, громкий, отрывистый: «Поберегись!» Я слышу этот окрик, я отлично слышу его и шарахаюсь в сторону, делаю быстрый шаг, насколько мне позволяют слабые ноги. Хлебный фургон, словно свирепое чудовище, пронесется мимо, колесом задевает полу моей куртки; будь я немного проворнее, все кончилось бы благополучно. Я, пожалуй, мог бы быть попроворнее, чуть-чуть попроворнее, сделай я еще небольшое усилие; но теперь было уже поздно, колесо проехало по мне и отдавило на ногу пальцы; я чувствовал, что два пальца как бы перекосились.

Кучер на всем ходу осадил лошадей; он оборачивается и испуганно спрашивает, что со мной. О, могло быть гораздо хуже... Не бог весть как страшно... не думаю, чтобы был перелом... Ах, сделайте милость...

Я как мог быстрее поплелся к скамейке; толпа, глазевшая на меня, была мне неприятна. Ведь меня же не задавило насмерть, и раз уж это было неизбежно, я отделался довольно легко. Хуже всего было то, что пострадал башмак, подошва почти совсем оторвалась, и носок походил на разинутую пасть. Я поднял ногу и увидел в этой пасти кровь. Что ж, никто из нас не виноват, кучер вовсе не хотел усугублять мое и без того скверное положение. Но я мог бы попросить его бросить мне небольшой хлебец, и он, пожалуй, не отказал бы в моей просьбе. Он охотно сделал бы мне такую услугу. Да пребудет же с ним милость Господня за это!

Голод нестерпимо мучил меня, и я не знал, как мне избавиться от своего постыдного аппетита. Я ерзал на скамейке, потом подобрал колени к груди. Когда стемнело, я поплелся к ратуше — бог знает как я добрался туда, — и сел у балюстрады. Я оторвал карман от своей куртки и принялся жевать его, впрочем, совершенно бессознательно, насупясь, устремив глаза в пустоту и ничего не видя. Я слышал крики детей, игравших подле меня,

и время от времени смутно угадывал прохожих; больше я не воспринимал ничего.

Потом мне вдруг пришло в голову пойти на рынок и раздобыть кусок сырого мяса. Я встал, прошел вдоль балюстрады к дальнему концу крытого рынка и стал спускаться по лестнице. Немного не доходя до мясных рядов, я обернулся назад и сердито прикрикнул на воображаемую собаку, словно приказывая ей оставаться на месте, а потом смело обратился к первому попавшемуся мяснику.

— Не откажите в любезности, дайте кость для моей собаки! — сказал я. — Только кость, без мяса: просто собаке нужно держать что-нибудь в зубах.

Мне дали кость, превосходную косточку, на которой еще оставалось немного мяса, и я спрятал ее под курткой. Я так горячо благодарил мясника, что он посмотрел на меня с изумлением.

— Не стоит благодарности, — сказал он.

— Ах, не говорите, — пробормотал я. — Вы так любезны.

И я стал подниматься по лестнице. Сердце мое кололось.

Я свернул в глухой переулок и остановился у каких-то развалившихся ворот. Здесь было совсем темно, и я, радуясь этой благодатной темноте, стал глодать кость.

Она была безвкусна; от нее исходил омерзительный запах спекшейся крови, и меня вскоре стошнило. Потом я снова попробовал приняться за кость; если б я мог удержать хоть кусочек, это, конечно, оказало бы свое действие, нужно было только удержать. Но меня снова стошнило. Я рассердился, решительно оторвал зубами кусочек мяса и насильно проглотил его. Но все было тщетно; как только кусочки мяса согревались в животе, они тотчас извергались оттуда. Я в неистовстве стискивал кулаки, плакал от бессилия и яростно грыз кость; я обливался слезами, кость стала грязной и мокрой от этих слез, меня рвало, я выкрикивал проклятия, снова грыз кость и плакал в отчаянье, и меня снова рвало. Я громко проклинал весь божий свет.

Тишина. Вокруг ни души, всюду темнота и безмолвие. Моя душа в страшном смятении, я тяжело и шумно дышу, обливаясь слезами, и со скрежетом зубным извергаю из себя один за другим кусочки мяса, которые могли бы хоть немного меня насытить. Я ничего не могу поделать, как ни стараюсь, и в бессильной ярости, в неистовой злобе швыряю кость в подворотню, дико кричу,

возношу хулы к небу, хриплым, надтреснутым голосом измываюсь над именем Божиим, воздеваю руки со скрюченными, как когти, пальцами... Эй ты, всевышний Ваал, тебя нет, но если б ты был, я проклял бы тебя так ужасно, что в небе твоим воспылал бы адский пламень. Эй ты, я готов был служить тебе, но ты отринул меня, и теперь я навеки от тебя отвернулся, потому что ты упустил свой час. Эй ты, я знаю, что скоро умру, и сейчас, у двери гроба, я все равно плюю на тебя, всевышний Апис. Ты хотел подчинить меня силой, не зная, что меня нельзя сломить. Неужели ты не знаешь этого? Или ты сотворил сердце мое во сне? Эй ты, всем своим существом, всеми фибрами души я презираю тебя, я торжествую и плюю на твою благодать. Отныне я отрекаюсь от твоего промысла и твоей сущности, я прокляну самую свою мысль, если она вновь обратится к тебе, и раздеру свои уста, если они вновь произнесут имя твое. Эй ты, если ты есть, вот тебе мое последнее слово,— ныне, и присно, и во веки веков я говорю тебе: прощай. Я умолкаю, и отворачиваюсь от тебя, и пойду дальше своей дорогой...

Тишина.

Я весь дрожу от волнения и страданий, я не двигаюсь с места и все шепчу проклятья и хулы, всхлипывая и горько рыдая, разбитый и обессиленный безумной вспышкой ярости. Ах, все это книжные разглагольствования, даже в своем ничтожестве я стараюсь выразаться красиво. Я стою у ворот с полчаса, и шепчу, и всхлипываю, схватившись за столб. Вдруг я слышу голоса, двое прохожих приближаются ко мне, о чем-то разговаривая. Отпрянув от ворот, я плетусь вдоль домов и снова выхожу на освещенные улицы. Когда я спускаюсь с Юнгсбаккена, в моем мозгу вдруг начинают твориться очень странные вещи. Мне кажется, будто жалкие лачужки на краю площади, сараи и ветхие склады подержанного платья все портят. Они портят площадь, уродуют весь город,— тьфу, долой эти развалины! Я стал подсчитывать в уме, много ли потребовалось бы затрат, чтобы перенести сюда Географический институт, красивое здание, которое всегда восхищало меня, когда я проходил мимо. Пожалуй, приняться за такое дело невозможно без капитала в семьдесят или даже в семьдесят две тысячи крон,— кругленькая сумма, шутка сказать, порядочный капиталец для начала, хе-хе. Голова у меня была словно бы пустая, когда я кивнул, подтверждая, что для начала это порядочный капиталец. Меня все так же била дрожь, и время от времени я всхлипывал.

У меня было такое чувство, что жизнь почти покинула меня и песенка моя спета. Но это было мне, в сущности, безразлично, это нисколько меня не беспокоило. Напротив, я шел через город, к порту, все более удаляясь от своего жилья. Я вполне мог бы лечь прямо на улице и умереть. От страданий я стал безучастным; искалеченные пальцы на ноге болели, мне казалось даже, что боль распространилась вверх до самого бедра, но и это не очень меня тревожило. Я пережил гораздо худшие страдания.

И вот я вышел к железнодорожному мосту. Здесь не было никакого движения, никакого шума, только изредка попадались люди — рыбак или матрос, который разгуливал, заложив руки в карманы. Я обратил внимание на хромого человека, который пристально взглянул на меня, когда мы с ним поравнялись. Я невольно остановил его, приподнял шляпу и спросил, не знает ли он, отплыл ли «Монах». При этом я не удержался, щелкнул пальцами перед самым его носом и сказал:

— Черт возьми, «Монах»! Ведь я совсем позабыл о нем!

Все-таки мысль об этом судне, помимо воли, сидела во мне.

— Да, как назло, «Монах» отплыл.

— А не можете ли сказать мне, куда?

Он задумался, приподняв хромую ногу и чуть покачивая ею.

— Нет,— говорит он.— Но знаете ли вы, чем он грузился?

— Нет,— отвечаю я.

Но меж тем я уже позабыл про «Монаха» и спрашиваю хромого о расстоянии до Хольмстранна, если считать по старинке, на географические мили.

— До Хольмстранна? Пожалуй...

— Или до Веблунгснеса?

— Так вот, стало быть: до Хольмстранна, пожалуй...

— Послушайте, чтобы не забыть,— снова перебиваю я его.— Будьте добры, дайте мне щепотку табаку, совсем маленькую щепотку!

Получив табак, я горячо поблагодарил его и ушел. Табаком я так и не воспользовался, я тотчас же сунул его в карман. Хромой смотрел мне вслед — быть может, я чем-то возбудил в нем подозрение; куда бы я ни шел, я чувствовал на себе его подозрительный взгляд, и мне не нравилось, что этот человек преследует меня. Я повернулся, снова подошел к нему, посмотрел на него и сказал:

— Скорняк.

Только одно это слово: скорняк. Не более того. Говоря это, я пристально вглядывался в него, я чувствовал, как ужасен мой взгляд; словно бы я смотрел на него с того света.

Произнеся это слово, я некоторое время стою на месте. Потом снова плетусь к вокзалу. Хромой не издал ни звука, он только провожает меня глазами.

Скорняк? Я вдруг остановился. Как же я сразу не понял? Ведь я уже встречал этого калеку. На Гренсене, в ясное утро; я тогда заложил жилет. Мне казалось, что с того дня прошла целая вечность.

Я стою и размышляю об этом,— стою, прислонившись к стене дома на углу площади и Портовой улицы — и вдруг вздрагиваю, пытаюсь скрыться. Но мне это не удастся, и тогда, забыв всякий стыд, я поднимаю голову, так как ничего другого мне не остается,— и оказываюсь лицом к лицу с «Командором».

Неведомо откуда берется у меня дерзость, я даже отхожу на шаг от стены, чтобы он мог получше меня разглядеть. И я делаю это не для того, чтобы пробудить в нем сострадание,— я хочу себя унижить, поставить себя к позорному столбу; я готов был упасть на землю и просить «Командора» растоптать меня, наступить мне на лицо. Я даже не пожелал ему доброго вечера.

«Командор», видно, догадался, что со мной неладно, он замедляет шаг, а я, чтобы остановить его, говорю:

— Я хотел принести вам кое-что, но все никак не закончу...

— Вот как?— с сомнением говорит он.— Стало быть, вы еще не закончили?

— Нет, никак не закончу.

Я чувствую участие «Командора», и глаза мои наполняются слезами, я отхаркиваюсь и надрывно кашляю, стараясь взять себя в руки. «Командор» сморкается; он пристально смотрит на меня.

— А есть у вас на что жить?— спрашивает он.

— Нет,— отвечаю я.— У меня ничего нет. Я совсем не ел сегодня, но...

— Господь с вами, дружище, можно ли допустить, чтобы вы умирали с голоду!— говорит он. И тотчас начинает шарить в кармане.

Но тут во мне просыпается стыд, я, шатаюсь, снова отхожу к стене и хватаюсь за нее, я смотрю, как «Командор» роется в бумажнике, и молчу. Он протягивает мне десять крон. Не раздумывая, он просто-напросто дает

мне десять крон. При этом он повторяет, что невозможно допустить, чтобы я умирал с голоду.

Я, запинаясь, пробую отказаться и не сразу беру бумажку.

— Мне, право, стыдно... и, кроме того, тут слишком много...

— Берите скорей! — говорит он и смотрит на часы. — Мне надо на поезд, и я слышу, что он уже подходит.

Я взял деньги, онемев от радости, и не сказал больше ни слова, даже не поблагодарил его.

— Не стесняйтесь, — говорит «Командор» на прощанье. — Ведь вы же отработаете.

И он ушел.

Глядя ему вслед, я вдруг вспомнил, что не успел поблагодарить его за помощь. Я хотел догнать его, но не мог двинуться с места, ноги отказывались мне служить, я стал бы падать на каждом шагу. А он уходил все дальше и дальше. Я не пошел за ним, хотел окликнуть его, но не сразу решился, и когда я наконец все-таки собрался с духом и окликнул его раз, потом другой, он отошел уже далеко, а голос мой был слишком слаб.

Я остался на улице, смотрел ему вслед и тихо-тихо плакал.

«Неслыханное дело! — сказал я про себя. — Он дал мне десять крон!»

Я встал на то место, где только что стоял он, и начал повторять все его движения. И я поднес бумажку к глазам, мокрым от слез, осмотрел ее с обеих сторон и поклялся — громко, во всеуслышание поклялся, что это правда и у меня в руке действительно десять крон.

Через некоторое время — быть может, прошло бесконечно много времени, потому что вокруг стало совсем тихо, — я неожиданно очутился на Томтегатен, у дома номер одиннадцать. Ведь здесь я обманул извозчика, который меня возил, здесь же, никем не замеченный, я пробрался через двор на другую улицу. Я постоял немного, опомнился и, удивляясь себе, снова вошел в ворота и направился прямо в «Пансионат для приезжих». Здесь я попросился на ночлег, и мне тотчас же предоставили постель.

Вторник.

Солнечный свет и тишина, день поразительно ясный. Снег растаял; всюду оживление, веселье, радостные лица,

улыбки и смех. Над фонтанами круто взмывают водяные струи, золотистые от солнца, голубоватые от небесной синевы...

Около полудня я вышел из дома на Томтегатен, где я теперь жил в довольстве благодаря десяти кронам «Командора», и отправился в город. Я был в прекрасном расположении духа и до вечера бродил по самым оживленным улицам, рассматривая пеструю толпу. Задолго до семи вечера я прошелся до площади Святого Улафа и украдкой взглянул на окна в доме номер два. Через час я увижу ее! У меня захватывало дух. Что будет? Что я ей скажу, когда она спустится по лестнице? Добрый вечер, фрекен? Или просто улыбнусь? Я решил ограничиться улыбкой. Разумеется, я почтительно ей поклонюсь.

Я ушел с площади, немного стыдясь, что явился так рано, стал бродить по улице Карла-Юхана, почти не спуская глаз с часов на университете. В восемь я снова свернул на Университетскую улицу. По дороге я сообразил, что опаздываю, и прибавил шагу. Сильно болела нога,— если б не это, я был бы совершенно счастлив.

У фонтана я остановился перевести дух; я долго стоял там и смотрел на окна дома номер два; но она не появлялась. Что ж, я могу подождать, спешить мне некуда; ведь ее могли задержать. И я ждал. Но не приснилось ли мне все это? Может быть, я просто вообразил прошлую встречу, ведь я всю ночь пролежал в бреду? В нерешительности я стал раздумывать об этом, и меня одолевали сомнения.

— Гм!

Кто-то кашлянул у меня за спиной.

Я слышу этот кашель, слышу и легкие шаги, но не оборачиваюсь, я пристально смотрю на большую лестницу.

— Добрый вечер!— слышу я немного погодя.

Я забываю улыбнуться и даже не сразу снимаю шляпу,— так я удивлен, что она пришла с той стороны.

— Вы долго ждали?— спрашивает она, часто дыша.

— Нет, помилуйте, я пришел совсем недавно,— ответил я.— Да, кроме того, велика ли беда, если мне и пришлось подождать? Впрочем, я думал, что вы придете с другой стороны.

— Я провожала маму, ее сегодня пригласили в гости.

— Вот как!— говорю я.

И мы идем. Полицейский, стоящий на углу, смотрит на нас.

— Но куда мы, собственно, пойдём?— спрашивает она и останавливается.

— Куда вам будет угодно.

— Ах, но ведь это так скучно — выбирать самой.

Пауза.

Потом я говорю, лишь бы сказать что-нибудь:

— Я вижу, у вас в окнах темно.

— Да, конечно!— оживленно отвечает она.— Горничная отпросилась и ушла. У нас никого нет.

Мы останавливаемся и смотрим на окна дома номер два, словно никогда их раньше не видели.

— В таком случае, не пойти ли к вам?— говорю я.— Если разрешите, я посижу у двери...

Я весь дрожал и очень пожалел, что позволил себе такую смелость. Что, если она обидится и уйдёт? Что, если я не увижу ее больше? Ах, мои жалкие отрешья! Я в отчаянье ждал ответа.

— Но вам, право, незачем сидеть у двери,— говорит она.

Мы стали подниматься по лестнице.

В прихожей было темно, она взяла меня за руку и повела за собой. Не нужно все время молчать, сказала она, можно разговаривать не стесняясь. Мы вошли. Зажигая свечу,— не лампу, а именно свечу,— зажигая эту свечу, она сказала с коротким смешком:

— Только вы не должны смотреть на меня. Ах, как мне стыдно. Но я никогда больше не сделаю этого.

— Чего вы больше не сделаете?

— Я никогда... нет, боже упаси... я никогда больше не стану вас целовать.

— Не станете?— сказал я, и мы оба засмеялись.

Я протянул к ней руки, а она уклонилась, выскользнула, перебежала по другую сторону стола. Некоторое время мы смотрели друг на друга, и свеча стояла между нами.

Потом она стала снимать вуаль и шляпку, а ее блестящие глаза были устремлены на меня, следили за каждым моим движением,— она боялась, как бы я не схватил ее в объятия. Я снова попытался ее настичь, споткнулся о ковер и упал; я больше не мог ступить на больную ногу. В смущении я встал.

— Боже, как вы покраснели!— сказала она.— Вам очень больно?

— Да, очень.

И мы снова стали бегать вокруг стола.

— Вы, кажется, хромаете?

— Да, я прихрамываю, но совсем немного.

— В прошлый раз у вас болел палец на руке, а теперь болит нога. Сколько же у вас всяких бед!

— Несколько дней назад меня чуть не задавил фургон.

— Чуть не задавил? Вы, верно, опять были пьяны? Господи, какую жизнь вы ведете, молодой человек! — Она погрозила мне пальцем и стала серьезна. — Давайте сядем! — сказала она. — Нет, только не у двери; вы слишком застенчивы, сядьте вон там. Вы там, а я здесь, вот так... Ах, как это скучно, когда человек застенчив! Все приходится говорить и делать самой, а от вас никакой помощи. Вот, к примеру, вы вполне могли бы положить руку на спинку моего стула, вполне могли бы сами догадаться это сделать. А если я вам это скажу, вы устанете на меня, как будто не верите своим ушам. Да, да, я уже не раз замечала, вот и теперь то же самое. Но не пытайтесь меня убедить, будто вы всегда так скромны, иногда вы много себе позволяете. Вы были весьма дерзки в тот день, когда, подвыпив, шли за мной до самого дома и преследовали меня своими шуточками: «Вы потеряете книгу, фрекен, вы непременно потеряете книгу, фрекен!» Ха-ха-ха! Фуй, вы были такой гадкий!

Я смущенно смотрел на нее. Сердце мое сильно стучало, кровь горячей волной разливалась по телу. Какое наслаждение снова сидеть в человеческом жилище, слушать тиканье часов и разговаривать с юной, веселой девушкой, а не бормотать что-то себе под нос.

— Почему вы молчите?

— Как вы очаровательны! — сказал я. — Вы меня покорили, совершенно покорили, я сражен на месте. Никуда не денешься. Вы — самая удивительная из всех... Порой ваши глаза так сияют, я никогда не видел столь чудесного сияния, они подобны цветам. А? Нет, я даже сравнил бы их не с цветами, но... Я страстно влюблен в вас и очень страдаю. Как вас зовут? Вы непременно должны мне сказать, как вас зовут...

— А вас как зовут? Боже, я опять чуть не забыла! Вчера я целый день думала, что нужно будет спросить вас. Нет, вовсе не *целый* день, я не думала о вас целый день.

— Знаете, как я прозвал вас? Я прозвал вас Илаяли. Как вам это покажется? Тут есть неуловимый звон...

— Илаяли?

— Да.

— Это на каком-нибудь иностранном языке?

— Гм!.. Нет, отнюдь нет.

— Да, это недурно.

После долгих разговоров мы назвали друг другу свои имена. Она села рядом со мной на диван, отодвинула стул ногой. И мы снова начали болтать.

— Вы даже побрились сегодня,— сказала она.— И вообще вы гораздо лучше выглядите, чем в прошлый раз, правда, вы несколько малы ростом, но не подумайте... Нет, в прошлый раз у вас был действительно невзрачный вид. К тому же палец вы перевязали какой-то отвратительной тряпкой. И в таком виде вы непременно хотели пойти куда-нибудь выпить со мной вина. Нет уж, спасибо.

— Стало быть, вы не хотели пойти со мной из-за моего жалкого вида?— спросил я.

— Нет,— сказала она и опустила глаза.— Нет, свидетель бог, не поэтому! Я об этом даже не думала.

— Послушайте,— сказал я.— Вы, конечно, полагаете, что я могу жить и святым духом, одеваться, как вам вздумается? Но я не могу, я очень, очень беден.

Она посмотрела на меня.

— Вы бедны?— переспросила она.

— Да, беден.

Пауза.

— Господи, но ведь я тоже бедна,— сказала она и гордо вскинула голову.

Каждое ее слово пьянило меня, проникало мне в душу, подобно капле вина, хотя это была самая обыкновенная девушка, говорившая на жаргоне, довольно развязная и болтливая. Она восхищала меня своей привычкой склонять голову набок и внимательно слушать, когда я говорил что-нибудь. При этом я чувствовал ее дыхание на своем лице.

— Вы знаете, дело в том... но только вы не сердитесь... Когда я лег вчера спать, я протянул к вам руку... вот так... как будто вы лежали рядом. И потом уснул.

— Вот как? Очень мило.— Пауза.— Но вы могли сделать это только на расстоянии,— ведь иначе...

— Вы думаете, иначе я не мог бы сделать этого?

— Думаю, что нет.

— Ну уж, от меня вы можете всего ожидать,— сказал я, лукаво взглянув на нее.

И обнял ее за талию.

— Всего?— переспросила она.

Она считала меня слишком уж порядочным человеком, это меня сердило и оскорбляло; я приосанился, набрался смелости и взял ее за руку. Но она преспокойно отняла руку и несколько отодвинулась от меня. Это

опять лишило меня смелости, я устыдился и стал смотреть в окно. Все равно я был жалок, мне не следовало так много мнить о себе. Другое дело, если б я встретил ее раньше, когда я еще был человеком, в лучшие дни, пока дела кое-как шли. Я пал духом.

— Вот видите! — сказала она. — Видите, как легко с вами справиться, достаточно лишь едва заметно нахмурить лоб, чуть-чуть от вас отодвинуться, и вы сразу конфузитесь.

Она игриво засмеялась и крепко зажмурила глаза, словно бы не могла выносить, что на нее смотрят...

— Боже праведный! — воскликнул я. — Вот сейчас я вам покажу!

И я крепко обнял ее за плечи. С ума она сошла, что ли? Принимает меня за неопытного юнца! Ха, мы еще посмотрим... Никто не скажет, что в таких делах я хуже других. Да я сам черт, а не человек! Уж если на то пошло...

Точно я и в самом деле на что-то годился!

Она сидела спокойно, не открывая глаз, и оба мы молчали. Я решительно привлек ее к себе, прижал ее к своей груди, а она не вымолвила ни слова. Я слышал биение наших сердец, громкое, как топот копыт.

Я поцеловал ее.

Больше я не помнил себя, я говорил какие-то глупости, над которыми она смеялась, шептал ей нежные слова, прижимаясь губами к ее губам, гладил ее по лицу и целовал, целовал. Я расстегнул пуговицу на ее блузке, потом другую, и обнажились груди — они выглядывали из-под сорочки, белые, округлые, чудо из чудес.

— Ах, позвольте взглянуть! — сказал я, стараясь расстегнуть другие пуговицы, еще больше обнажить ее тело; но я слишком распалился и не мог справиться с нижними пуговицами, а лиф был слишком тугой. — Я взгляну немножко... совсем немножко...

Тут она обвивает рукой мою шею, очень медленно и нежно; дыхание вырывается из розовых, трепещущих ноздрей, овекает мне лицо; другой рукой она начинает сама расстегивать пуговицы, еще и еще. Она смущенно, отрывисто смеется и поглядывает на меня, хочет понять, заметил ли я ее страх. Она развязывает ленты, расстегивает корсет, она проникнута нежностью и робка. И я своими грубыми руками тоже прикасаюсь к этим пуговицам и лентам...

Чтобы отвлечь внимание, она проводит левой рукой по моим плечам и говорит:

— Сколько тут выпавших волос!

— Да,— шепчу я, стремясь прикинуть губами к ее груди.

Она уже лежит рядом со мной, и платье ее расстегнуто. Но вдруг она, словно опомнившись, решает, что зашла слишком далеко. Она старается прикрыть свою наготу и приподнимается. Маскируя стыд, она снова заводит разговор о том, как много у меня на плечах выпавших волос.

— А почему волосы у вас так выпадают?

— Не знаю.

— Ну, конечно, вы слишком много пьете, наверно, дело тут... Фу, даже сказать совестно! Стыдитесь! Право, от вас я этого не ожидала. Вы так молоды и уже лысеете!.. А теперь соблаговолите рассказать о своей жизни. Я уверена, что она просто ужасна! Но только говорите правду, понимаете, все как есть! Впрочем, если вы что-нибудь скроете, я увижу это по вашему лицу. Ну, рассказывайте!

Ах, до чего я устал! С какой радостью я просто посидел бы спокойно, глядя на нее, вместо того чтобы притворяться и понапрасну тратить силы на эту игру. Я был ни на что не годен, стал тряпкой.

— Начинайте же! — потребовала она.

Я воспользовался случаем и рассказал ей все, рассказал сущую правду. Я не пытался представить дело в более мрачном свете, чем было в действительности, не стремился пробудить в ней сострадание; я не утаил от нее, что присвоил однажды пять крон.

Она слушала, приоткрыв рот, бледная, перепуганная, и в ее блестящих глазах было смущение. Я хотел исправить свою оплошность, рассеять дурное впечатление, которое произвел на нее, и взял себя в руки.

— Но это — дело прошлое, больше такое никогда не повторится; теперь я спасен...

Но она была в совершенной растерянности.

— Господи! — сказала она и умолкла. Потом повторила еще и еще раз: — Господи!

Я попытался шутить, пощекотал ее, привлек ее к себе. Она уже успела застегнуть блузку, и это меня рассердило. Зачем она застегнулась? Разве теперь в ее глазах я стоял ниже, чем было бы в том случае, если б я подтвердил, что волосы у меня выпадают от распутной жизни? Неужели я нравился бы ей больше, если б прикинулся греховодником?.. Довольно болтовни. Нужно действовать решительно. А там, где нужно действовать решительно, я не ударю лицом в грязь.

Настала пора возобновить натиск.

И я, без дальних слов, опрокинул ее на диван. Она сопротивлялась, впрочем, не слишком сильно, и была как будто удивлена.

— Что вы делаете?.. Не надо...— сказала она.

— Что я делаю?

— Нет... не надо...

— Да, да...

— *Не надо*, слышите!— воскликнула она. И чтобы уязвить меня, добавила:— А знаете, мне кажется, что вы сумасшедший.

Я невольно остановился и сказал:

— Неправда, вы не думаете этого!

— Но у вас такой странный вид! И в то утро, когда вы преследовали меня,— ведь вы тогда не были пьяны?

— Нет. Но я был сыт, я только что поел.

— Что ж, тем хуже.

— Вы предпочли бы, чтобы я был пьян?

— Да... Я вас боюсь! Ради бога, пустите меня!

Я задумался. Нет, я не мог это так оставить, слишком много я терял. Хватит валять дурака на диване, в поздний вечер! Эх, к каким только уловкам не прибегнешь в такое мгновение. Как будто я не знаю, что это — простая стыдливость! Не такой уж я младенец! Спокойно! И довольно пустой болтовни!

Она сопротивлялась весьма решительно, слишком решительно, чтобы это можно было объяснить простой стыдливостью. Я как бы нечаянно опрокинул свечу, стало темно, а она оказывала отчаянное сопротивление и даже издала слабый крик.

— Нет, не надо, не надо! Если хотите, поцелуйте лучше меня в грудь. Милый мой, хороший!

Я сразу остановился. Эти слова прозвучали так испуганно, так беспомощно, что я искренне недоумевал. Она думала вознаградить меня, позволив мне поцеловать ее в грудь! Как это мило — мило и наивно! Я готов был упасть перед ней на колени.

— Но, моя дорогая!— сказал я в замешательстве.— Я никак не пойму... право, никак не пойму, что это за игра...

Она встала и дрожащими руками зажгла свечу; я снова сел на диван и сидел неподвижно. Что же теперь будет? Я совсем расстроился.

Она взглянула на стенные часы и вздрогнула.

— Ах, скоро вернется горничная,— сказала она.

Это было первое, о чем она подумала.

Я понял ее намек и встал.

Она взяла накидку, как бы собираясь надеть ее, но раздумала, снова положила ее и отошла к камину. Она была бледна и все больше беспокоилась. Чтобы ей не пришлось указать мне на дверь, я спросил:

— Ваш отец был военный?

А сам тем временем встал, собираясь уйти.

— Да, он был военный. А откуда вы знаете?

— Я не знаю, мне просто пришло в голову спросить.

— Как странно!

— О да. Чутье очень мне помогает. Ха-ха, недаром же я сумасшедший...

Она быстро взглянула на меня, но промолчала. Я чувствовал, что мое присутствие для нее мучительно, и хотел поскорей положить этому конец. Я направился к двери. Неужели она больше не поцелует меня? И даже руки не подаст? Я остановился и ждал.

— Вы уже уходите?— сказала она, по-прежнему стоя у камина.

Я не отвечал. Униженный и растерянный, я смотрел на нее, не говоря ни слова. Ах, я все испортил! Казалось, ей не было никакого дела, что я собираюсь уходить, она словно была теперь навеки потеряна для меня, и я придумывал, что бы сказать ей на прощание, искал значительных, глубоких слов, которые поразили бы ее, подняли бы меня в ее глазах. И наперекор своему твердому решению, раздосадованный, взволнованный и обиженный, я, вместо того чтобы проститься с ней гордо и холодно, принялся болтать всякий вздор; нужные слова не приходили, я вел себя крайне легкомысленно. В голову снова лезли книжные красивости.

Почему бы ей не сказать мне прямо и открыто, чтобы я ушел?— спросил я. Да, почему? Нечего стесняться. Вместо напоминания, что скоро вернется горничная, она просто-напросто могла сказать так: «Теперь вы должны удалиться, потому что мне пора идти за матерью, и я не хочу, чтобы вы меня провожали». Ей это не пришло в голову? Ах, стало быть, именно это и пришло ей в голову? Так я и думал. Ведь мне так легко указать мое место; довольно было ей взять и снова положить накидку, как я сразу все понял. Ведь я же сказал, что у меня есть чутье. И для этого, в сущности, вовсе не надо быть сумасшедшим...

— Ради бога, простите, что я вас так назвала! Это слово сорвалось у меня с языка!— воскликнула она.

Но она все стояла поодаль и не подходила ко мне.

А я упрямо гнул свое. Я болтал, мучительно чувствуя, что надоел ей, что ни одно мое слово не достигает цели, и все же не мог остановиться. Я полагаю, можно иметь чувствительное сердце, даже не будучи сумасшедшим; есть натуры, которые отзываются на всякую мелочь, их можно убить одним резким словом. И я намекнул, что у меня именно такая натура. Дело в том, что нищета очень обострила во мне некоторые наклонности, и я весьма сожалею, право, весьма сожалею... Но в этом есть и некая хорошая сторона, это иной раз помогает мне. Интеллигентный бедняк гораздо наблюдательней интеллигентного богача. Бедняк всегда осмотрителен, следит за каждым своим шагом, подозрительно относится к каждому слову, которое слышит; всякий его шаг заставляет напрягаться, работать его мысли и чувства. Он пронизателен, чуток, он искушен опытом, его душа изранена...

Я довольно долго говорил о своей израненной душе. Но чем больше я говорил, тем беспокойнее становилась женщина, к которой я обращался; наконец, в отчаянье ломая руки, она несколько раз повторила:

— О Господи! Господи!

Я отлично понимал, что терзаю ее, и вовсе не хотел ее терзать, но все-таки терзал. Наконец я решил, что главное, в общем, сказано, и, тронутый ее полным отчаяньем взглядом, воскликнул:

— А теперь я уйду, уйду! Вы же видите, я уже взялся за ручку двери! Прощайте! Прощайте, слышите? Вы могли хотя бы ответить, раз я дважды простился с вами и твердо намерен уйти. Я даже не прошу позволения снова повидаться с вами, потому что это будет вам неприятно. Но скажите: зачем вы меня мучили? Что я вам сделал? Ведь я не стоял у вас на дороге, правда? Почему же вы вдруг отворачиваетесь от меня, как будто мы не знакомы? Ведь вы совсем опустошили меня, я теперь окончательно раздавлен. Но видит бог, я не сумасшедший. Если вы дадите себе труд подумать, то прекрасно поймете, что я совершенно здоров. Протяните же мне руку! Или позвольте подойти к вам! Можно? Я вам ничего не сделаю, я только на миг преклоню перед вами колени, встану на колени у ваших ног, всего на одно мгновенье, вы позволите? Ну хорошо, я не сделаю этого, я вижу, что вы боитесь, и не сделаю, слышите, *не сделаю* этого. Но скажите, бога ради, чего вы так боитесь? Ведь я же стою спокойно, даже не шелохнусь. Я просто преклонил бы колени на коврике, вон на том красном уоре

у самых ваших ног. Но вы испугались, я сразу увидел по вашим глазам, что вы испугались, и вот я не двинулся с места. Я не сделал ни шагу, когда просил у вас позволения, не так ли? Я стоял неподвижно, как вот сейчас, когда я показал вам место, где хотел опуститься на колени, вон там, на ковре, где красная роза. Я даже не показываю пальцем, право, даже не показываю, не делаю этого, чтобы не испугать вас, я только киваю и устремляю туда взгляд, вот так! И вы отлично понимаете, о какой я розе говорю, но не хотите позволить мне встать на колени, вы боитесь меня и не решаетесь подойти ко мне. Не понимаю, как у вас хватило жестокости назвать меня сумасшедшим. Не правда ли, вы этого вовсе не думаете? Лишь однажды летом, давным-давно, я был безумен, мне приходилось слишком тяжело работать, и я забывал вовремя пообедать, потому что мысли мои были поглощены делом. Это повторялось изо дня в день: мне следовало помнить о еде, но я вечно забывал. Видит бог, это правда! Не сойти мне с этого места, если я лгу. А вы обижаете меня, поймите. Не нужда заставляла меня так работать: я пользуюсь кредитом, большим кредитом у Ингебрета и Гравесена, у меня часто бывало довольно денег, и я все-таки не покупал еды, потому что забывал про нее. Слышите! Вы молчите, не отвечаете, вы не отходите от камина, а просто стоите и ждете, пока я уйду...

Она быстро подошла ко мне и протянула руку. Я с недоверием смотрел на нее. Сделала ли она это от души? Или же только для того, чтобы избавиться от меня? Она обвила руками мою шею, и на глазах у нее выступили слезы. А я стоял и смотрел на нее. Она подставила мне губы, но я не верил ей, это просто была жертва, лишь бы все поскорей кончилось.

Она что-то сказала, и мне послышалось: «А все-таки я люблю вас!» Она сказала это очень тихо и невнятно; может быть, я не расслышал, может быть, она произнесла что-нибудь совсем другое; но она с жаром бросилась мне на шею и даже привстала на цыпочки, чтобы дотянуться, и стояла так чуть ли не целую минуту.

Я боялся, что она просто принудила себя быть со мной ласковой, и сказал только:

— Как вы прекрасны!

Больше я ничего не сказал. Я попятился, наткнулся на дверь и задом вышел из комнаты. А она осталась.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Пришла зима, холодная, сырая и почти бесснежная, наступила вечная, туманная ночь, и почти целую неделю не ощущалось даже свежего дуновения ветерка. На улицах целыми днями горели газовые фонари, и все же люди натыкались друг на друга в тумане. Все звуки — звон церковных колоколов, звяканье бубенцов на извозчичьих лошадях, людские голоса — раздавались глухо и были словно похоронены в плотном воздухе. Прошла неделя, потом еще одна, а погода стояла все такая же.

Я по-прежнему не менял своего приюта.

Все больше и больше я привязывался к этому жилью, к этим меблированным комнатам для приезжих, где я мог уютиться, несмотря на свою нищету. Деньги у меня давным-давно вышли, но я все-таки продолжал приходить сюда, словно имел на это право, словно стал здесь своим. Хозяйка пока ничего мне не говорила; но меня все равно мучило, что я не могу расплатиться с нею. Так прошли три недели.

Уже несколько дней я снова писал, но то, что получалось, меня не удовлетворяло; я усердно работал, бился с утра до ночи, но без всякого успеха. За что бы я ни принимался, все оказывалось тщетным, — удачи не было.

Я пытался писать в комнате на втором этаже, это была самая лучшая из гостиных. С того первого вечера, когда у меня еще были деньги и я мог платить за все, никто меня там не беспокоил. Я все время надеялся, что мне удастся написать какую-нибудь статью, и тогда я смогу уплатить за комнату, а также рассчитаться с прочими долгами; вот почему я работал так усердно. Особенно занимала меня одна уже начатая вещь, от которой я многого ожидал, — иносказательное сочинение о пожаре в книжном магазине; тут была заложена глубокая мысль, которую я хотел обработать как можно тщательней и отдать написанное «Командору» в уплату долга. Пускай «Командор» убедится, что оказал помощь действительно талантливому человеку; у меня не было ни малейшего сомнения, что он убедится в этом. Нужно было только подождать, когда меня осенит вдохновение. А почему бы вдохновению не осенить меня? Почему бы не снизойти ко мне в самом скором времени? Ничто мне не мешало; каждый день хозяйка кормила меня, предлагала мне несколько бутербродов утром и вечером,

и я стал гораздо спокойнее. Я больше не обматывал руки тряпками, когда писал, и мог без головокружения смотреть на улицу из окон во втором этаже. Мне было теперь гораздо лучше во всех отношениях, и я начал удивляться, что все еще не кончил свое сочинение. Я не знал, чем это объяснить.

Но вот мне довелось почувствовать, как я слаб, как вяло и бесплодно работает мой мозг. В этот день хозяйка принесла мне какой-то счет и попросила просмотреть его; кажется, этот счет неверен, сказала она, он не сходится с книгами; но она не могла найти ошибку.

Я принялся подсчитывать; хозяйка сидела напротив и смотрела на меня. Я сложил все двадцать цифр, сначала сверху вниз, и нашел сумму верной, потом снизу вверх, и снова пришел к тому же выводу. Я смотрел на хозяйку, она сидела напротив меня и ждала, что я скажу; от меня не укрылось, что она беременна, это не ускользнуло от моего наблюдательного взгляда, хотя я вовсе не старался что-нибудь заметить.

— Все верно,— сказал я.

— Нет, проверьте каждую цифру в отдельности,— попросила она.— Я уверена, что итог слишком велик.

И я стал проверять каждую цифру: 2 хлеба по 25, ламповое стекло — 18, мыло — 20, масло — 32... Не требовалось никаких особых дарований, чтобы проверить эти столбцы чисел, этот счет из мелочной лавки, где не было никаких сложностей, и я добросовестно пытался отыскать ошибку, о которой говорила хозяйка, но не находил ее. Провозившись несколько минут, я, как на грех, почувствовал, что голова у меня пошла кругом; я уже не отличал приход от расхода, все перепуталось. Наконец я сосредоточился на строчке: $3\frac{5}{16}$ фунта сыру по 16. Мой мозг окончательно отказывался работать, я тупо смотрел на слово «сыр» и не мог сдвинуться с места.

— Черт возьми, как неразборчиво тут написано!— сказал я в отчаянии.— Господи, твоя воля, здесь сказано: пять шестнадцатых фунта сыра. Ха-ха, неслыханное дело! Взгляните сами!

— Да,— согласилась хозяйка.— Они имеют привычку так писать. Это зеленый сыр. Стало быть, все верно! Пять шестнадцатых — это пять долей...

Я снова попытался разобраться в этом счете, который несколько месяцев назад проверил бы в одну минуту; я обливался потом, изо всех сил старался постичь эти загадочные числа и глубокомысленно закрывал глаза,

точно вникая в написанное; но ничего не выходило. Проклятый сыр доконал меня; казалось, что-то треснуло в моем мозгу.

Однако я продолжал считать, чтобы произвести впечатление на хозяйку, шевелил губами и время от времени громко называл вслух какое-нибудь число, скользя глазами сверху вниз по счету, точно беспрерывно подвигался вперед и уже заканчивал проверку. Хозяйка сидела и ждала. Наконец я сказал:

— Я проверил все от начала до конца, и, насколько я могу судить, тут, право, нет никакой ошибки.

— Разве? — спросила она. — В самом деле?

Но я отлично видел, что она не верит мне. И вдруг мне показалось, что в ее голосе появился пренебрежительный оттенок, некое безразличие, какого раньше я у нее не замечал. Она сказала, что я, видно, не привык считать на шестнадцатые доли, и добавила, что ей придется попросить проверить счет кого-нибудь еще, кто лучше в этом смыслит. Она сказала все это не в обидной форме, без желания меня осрамить, но это прозвучало задумчиво и серьезно. Уже с порога она сказала, не взглянув на меня:

— Простите, что помешала вам!

И ушла.

Немного погодя дверь отворилась еще раз, и хозяйка вошла опять; должно быть, она недалеко успела отойти по коридору.

— Вот что! — сказала она. — Вы только не обижайтесь, но с вас кое-что причитается. Ведь вчера, кажется, исполнилось уже три недели, как вы у меня поселились? Да, именно три недели. Не так-то легко перебиться с большой семьей на руках, поэтому я не могу пускать жильцов в кредит...

Я прервал ее.

— Ведь я уже говорил вам, что работаю над статьей, — сказал я. — И как только она будет готова, вы сейчас же получите ваши деньги. Будьте совершенно спокойны.

— Ну, а вдруг вы ее никогда не кончите?

— Вы так полагаете? Вдохновение может осенить меня завтра или даже сегодня ночью. Вполне возможно, что оно осенит меня сегодня ночью, и тогда я закончу статью в какие-нибудь четверть часа. Я работаю не так, как все остальные люди; я не могу писать в день определенное количество страниц, я должен дожидаться своей минуты. И никто не ведает ни дня, ни часа, когда снизойдет вдохновение, это случается само по себе.

Хозяйка ушла. Но ее доверие ко мне, видно, было сильно поколеблено.

Оставшись один, я вскочил и начал рвать на себе волосы от отчаяния. Нет, действительно, спасения нет, спасения нет никакого! Мой мозг не служит мне больше! Разве не стал я совершенным идиотом, если уже не могу высчитать стоимость кусочка сыру? Но если я задаю себе такие вопросы, возможно ли, чтобы я лишился рассудка? Разве я, хоть и был поглощен подсчетами, не заметил с редкостной пронизательностью, что хозяйка была беременна? Ведь я понятия не имел об этом, никто мне ничего не сказал; это осенило меня помимо воли, я увидел это собственными глазами и тотчас все понял, да еще в то отчаянное мгновение, когда я вычислял шестнадцатые доли. Как же объяснить все это?

Я подошел к окну и поглядел на улицу; окно выходило на Вогнмансгатен. На тротуаре играли дети, дети бедняков на бедняцкой улице; они перебрасывались пустой бутылкой и громко визжали. Мимо медленно проехала повозка с домашним скарбом; видно, какая-то семья, выброшенная на улицу, перебиралась в такое неурочное время на другую квартиру. Я сразу об этом догадался. На повозке громоздились одеяла, подушки и мебель — источенные червями кровати и комоды, красные треногие стулья, рогожи, всякий железный хлам, жестяная посуда. Маленькая девочка, совсем еще крошка, уродливая, с отмороженным носом, сидела на повозке и крепко держалась посиневшими ручонками, чтобы не упасть. Под ней была куча ужасных, сырых матрасов, на которых дома спали дети, и она смотрела на ребятшек, перебрасывавшихся пустой бутылкой...

Я глядел на улицу и легко понимал все происходящее. Стоя у окна, я слышал, как хозяйская стряпуха напевала в кухне, по соседству с моей комнатой; я знал песенку, которую она пела, и прислушивался, не сфальшивит ли она. И я сказал себе, что слабоумный был бы не способен на все это; слава богу, я нормален, как всякий другой.

Вдруг я увидел, что два мальчугана на улице затеяли ссору; одного я знал, это был сын хозяйки. Я открыл окно и стал слушать, что они говорят друг другу, а под окном тотчас собралась толпа детей, они жадно смотрят вверх. Чего они ждут? Какой-нибудь подачки? Сухого цветка, кости, окурка сигары, чего-нибудь, что можно съесть или употребить для игр? Они долго смотрят на мое окно, и лица у них синие от холода... А те двое все ссорятся между собой. Из их детских ртов вылетают

бранные слова, непотребные прозвища, матросские ругательства, которым они, верно, выучились в порту. И оба так увлеклись, что совсем не замечают хозяйки, которая прибежала узнать, что случилось.

— Да-а! — жалуется ее сын. — Он меня схватил за горло, чуть не задушил совсем! — И, повернувшись к своему недругу, который злорадно посмеивается, он в ярости кричит: — Убирайся к черту, сучий сын! Всякая гнида станет хватать людей за глотку! Вот я тебе, распротак твою...

А его беременная мать, чей живот едва не перегораживает всю узкую улицу, хватает своего десятилетнего сына за руку и хочет увести его.

— Тс! Придержи язык! Не смей ругаться! Лаешься, как будто уже не один год якшаешься со шлюхами! Марш домой!

— Не пойду!

— Нет, пойдешь.

— Не пойду!

Я стою у окна и вижу, как мать приходит в бешенство; эта отвратительная сцена глубоко возмущает меня, я больше не в силах ее терпеть, я кричу мальчику вниз, чтобы он поднялся ко мне на минутку. Я дважды крикнул это, чтобы остановить их, прекратить эту сцену; во второй раз я кричу очень громко, хозяйка смущенно поднимает голову и смотрит на меня. Но она тотчас оправляется от смущения, нагло смотрит на меня, — смотрит с видом нескрываемого превосходства, а потом, сделав сыну замечание, уходит. Она говорит ему громко, чтобы я мог слышать:

— Фу, стыдись, показываешь всяким, какой ты гадкий мальчик!

Глядя на все это, я не упустил ничего, даже малейшей подробности. Моя наблюдательность была очень острой, я чутко воспринимал каждую мелочь и все поочередно обдумывал. Стало быть, рассудок мой не был поврежден. Да и как мог он повредиться?

— Послушай-ка, — сказал я вдруг себе. — Ты достаточно долго тревожился о своем рассудке, а теперь хватит! Разве это признак безумия, когда голова замечает и воспринимает все, до последней мелочи? Да ты просто смешон, смею тебя заверить, ведь это очень забавно. Словом, у всякого бывают заскоки, особенно в простых вещах. Это ничего не значит, это — простая случайность. Говорю тебе, ты смешон. А этот счет, эти несчастные пять шестнадцатых вонючего сыра, — ха-ха, сыр с гвоздикой и перцем! — что до этого смехотворного сыра, то от

него вполне можно отупеть, уж один запах этого сыра способен отправить человека на тот свет...— И я хохотал над всем зеленым сыром на свете.— Нет, ты дай мне что-нибудь съедобное!— сказал я.— Дай мне, ежели угодно, пять шестнадцатых свежего сливочного масла! Тогда другое дело!

Я лихорадочно смеялся собственным шуткам и находил их весьма забавными. У меня, право, не было никаких изъянов, я был совершенно здоров.

Я ходил по комнате, разговаривая сам с собою, и моя веселость все возрастала; я громко смеялся и словно опьянел от радости. В самом деле, казалось, я только и ждал этой короткой радостной минуты, этого мгновения, исполненного странного светлого восторга, чтобы работоспособность вернулась ко мне. Я сел за стол и занялся своим сочинением. Работа продвигалась успешно, гораздо успешнее, чем раньше. Она продвигалась не слишком быстро; но то немногое, что я сделал, казалось мне бесподобным. К тому же я работал целый час без усталости.

И вот я дошел до самого важного места в этом иносказательном сочинении о пожаре в книжном магазине; оно представляется мне столь важным, что все другое, написанное мной, ничто в сравнении с этим местом. Я хотел выразить поистине глубокую мысль, что горели не книги, а мозги, человеческие мозги, хотел устроить из этого настоящую Варфоломеевскую ночь. Как вдруг дверь распахнулась и ворвалась хозяйка. Она быстро вошла прямо в комнату, даже не задержавшись у двери.

Я коротко вскрикнул, точно мне нанесли удар.

— Как?— сказала она.— Мне показалось, будто вы что-то сказали? К нам приехал постоялец, и я намерена отдать ему эту комнату. А вы сегодня переночуете у нас, внизу, но для этого вам надо обзавестись собственной постелью.— И, не слушая меня, она без дальнейших разговоров принялась небрежно сгребать со стола мои бумаги.

Мое радостное настроение сразу исчезло, я вспылал, пришел в отчаяние и тотчас же встал. Я молча предоставил ей убирать бумаги со стола, я не вымолвил ни слова. Она сгребла листки и сунула их мне в руки.

Делать было нечего, пришлось освободить комнату. И драгоценное мгновение было утеряно безвозвратно! Нового постояльца я встретил на лестнице— это был молодой человек с большим синим якорем, вытатуированным на руке; за ним носильщик тащил на спине

сундук. Приезжий, очевидно, был моряк, стало быть, лишь случайный гость на одну ночь; он, конечно, не займет мою комнату на более продолжительное время. Может быть, завтра, когда он уедет, мне снова посчастливится, и вдохновение вернется, хотя бы на пять минут — этого хватит, чтобы закончить работу. А пока нужно покориться судьбе...

До тех пор я не бывал на хозяйской половине, где днем и ночью ютились муж, жена, отец жены и четверо детей. Стряпуха жила на кухне, там она и спала. Я с неохотой подошел к двери и постучал; никакого ответа, хотя внутри слышались голоса.

Когда я вошел, муж не сказал ни слова, даже не ответил на мое приветствие; он лишь безучастно взглянул на меня, точно ему не было до меня никакого дела. Впрочем, он играл в карты с человеком, которого я как-то видел на пристани, с грузчиком по прозвищу «Стекляшка». Грудной младенец что-то лепетал на кровати, а старик, отец хозяйки, сидел на скамеечке, скрючившись и подпирая руками голову, словно у него болела грудь или живот. Он был почти совсем седой и скорчился, словно змея, подстерегающая добычу.

— Не откажите приютить меня на ночь, — сказал я хозяйину.

— Это моя жена так распорядилась? — спросил он.

— Да. Мою комнату занял новый постоялец.

На это он ничего не сказал и снова занялся картами.

Изо дня в день он играл здесь в карты с гостями, играл не на деньги, а лишь бы скоротать время, лишь бы чем-нибудь занять руки. Больше он ничего не делал, движения его были ленивы и неохотны, а жена его тем временем сновала вверх и вниз по лестнице, хлопотала по дому и отыскивала постояльцев. У нее было соглашение с рабочими и носильщиками в порту, которые получали известную плату за каждого нового жильца и, кроме того, часто сами оставались здесь на ночлег. Стекляшка как раз и привел нового постояльца.

Вошли двое детей, две девочки с веснушчатыми, изможденными, как у потаскушек, лицами; на них были совсем рваные платья. Немного погодя вошла и сама хозяйка. Я спросил ее, где она намерена пристроить меня на ночь, и она ответила, что я могу лечь здесь, вместе со всеми, или же в прихожей, на скамье, как мне самому угодно. Говоря это, она ходила по комнате, приводила все в порядок и ни разу не взглянула на меня.

Выслушав ее ответ, я сник, примирился и скромно встал у двери, делая вид, будто мне даже приятно предоставить на одну ночь мою комнату другому; я старался придать своему лицу приятное выражение, чтобы не рассердить ее и не очутиться на улице. Я сказал:

— Ну да как-нибудь устроимся!

И замолчал.

Она продолжала ходить по комнате.

— Впрочем, я должна заметить, что мне никак нельзя сдавать комнаты и кормить людей в кредит,— сказала она.— Я это вам уже говорила.

— Да, уважаемая, но мне нужно всего два дня, чтобы окончить статью,— ответил я.— И тогда я с удовольствием уплачу вам лишних пять крон, с огромным удовольствием.

Но я видел, что она совсем в это не верит. А я не мог гордо оскорбиться и покинуть ее дом; я знал, что ждет меня, если я уйду отсюда.

Прошло два дня.

Я по-прежнему ютился вместе с хозяйской семьей, потому что в прихожей, где не было печки, стоял холод; спал я на полу. Приезжий моряк продолжал жить в моей комнате и, по-видимому, не собирался скоро уезжать. К обеду пришла хозяйка и сказала, что он заплатил ей вперед за целый месяц; впрочем, он должен до отъезда сдать экзамен на штурмана, поэтому и остановился здесь. Слушая это, я понял, что моя комната потеряна для меня навсегда.

Я вышел в прихожую и сел на скамью; если мне суждено вообще написать что-нибудь, то это возможно только здесь, в тишине. Мое иносказательное сочинение уже не занимало меня больше; в моей голове появилась новая идея, великолепный план: я решил сочинить одноактную пьесу «Знаменье креста», из средневековой жизни. Я уже придумал подходящую героиню — великолепный образ фанатичной блудницы, согрешившей в храме не из слабости или из страсти, а из ненависти к Богу, согрешившей у самого алтаря, сунув покров под голову, из дерзновенного презрения к Богу. Ха-ха!

Время шло, и этот образ все сильнее завладевал моим воображением. В конце концов она уже стояла перед моими глазами как живая и была как раз такова, как мне требовалось. Тело блудницы должно было иметь отталкивающие изъяны: высокая, очень худая и слегка смуг-

лая, а когда ходит, ее длинные ноги должны просвечивать сквозь юбку. Кроме того, у нее еще должны были быть большие, оттопыренные уши. Одним словом, с виду она невзрачна, отталкивающа. Меня в ней интересовало ее поразительное бесстыдство, отчаянная безоглядность предумышленного греха, который она совершила. Право, она очень занимала меня; мой мозг как бы вздулся от этого странного уродства. И я писал пьесу целых два часа подряд.

Исписав десять или, может быть, двенадцать страниц, часто с большим трудом, с долгими перерывами, перечеркивая и разрывая листы, я почувствовал усталость, я совсем околел от холода, встал и вышел на улицу. Кроме всего прочего, последние полчаса хозяйский ребенок плакал без умолку и мешал мне, так что больше я все равно ничего не мог бы написать. Поэтому я решил прогуляться подальше по дороге в сторону Драммена и не возвращаться домой до самого вечера, но, гуляя, я все время думал о своей драме. А во время прогулки со мной случилось вот что.

Я остановился у сапожной мастерской в дальнем конце улицы Карла-Юхана, почти у самой Вокзальной площади. Бог знает почему я остановился именно у этой сапожной мастерской! Я смотрел в окно, хотя вовсе не думал, что у меня нет сапог; мысли мои были далеко, на другом конце света. Позади меня проходили люди, о чем-то разговаривали, но я не слышал их слов. И вдруг чей-то голос громко произнес:

— Привет!

Это был мой знакомый по прозвищу «Красная девица».

— Привет,— отозвался я рассеянно.

Я не сразу узнал Девицу.

— Ну, как дела?— спросил он.

— Да ничего... все по-прежнему.

— Послушайте, скажите-ка, вы, стало быть, все еще у Кристи?

— У Кристи?

— Помнится, вы как-то говорили, что служите счетоводом у оптовика Кристи?

— Ах да! Но я уже ушел от него. У этого человека невозможно работать, и мы вскоре расстались.

— Но почему же?

— Однажды я сделал неправильную запись, и вот...

— Фальшивую?

Фальшивую! Девица откровенно спрашивал, не совершил ли я подлога. Он спросил это быстро и с явным

любопытством. Я смотрел на него, чувствуя себя глубоко оскорбленным, и не отвечал.

— Ах, господи, да ведь это со всяким может случиться! — сказал он, пытаюсь меня утешить.

Он все еще думал, что я совершил подлог.

— Что именно может со всяким случиться? — спросил я. — Вы хотите сказать, что всякий может сделать фальшивую запись? Послушайте, милейший, вы в самом деле думаете, что я способен на такую низость? Это я-то?

— Но, мой дорогой, мне кажется, вы сами ясно сказали...

Я вскинул голову, отвернулся от Девы и смотрел в сторону. Вдруг я увидел красное платье, женщина в красном платье шла рядом с каким-то мужчиной. Если б я не разговаривал с Девой, если б я не был уязвлен его низким подозрением, не вскинул голову, оскорбленный, не отвернулся от него, это красное платье, пожалуй, ускользнуло бы от моего внимания. Какое, в сущности, мне до него дело? Что мне в нем, будь это даже платье самой камер-фрейлины Нагель?

А Дева все говорил, стараясь исправить свою оплошность; я его совсем не слушал, я все время смотрел на красное платье, приближавшееся ко мне. И в груди у меня встрепенулось волнение, словно в нее вонзилась тонкая игла; я прошептал мысленно, не шевеля губами:

— Илаяли!

Теперь и Дева обернулся, увидел проходящих даму и господина, поклонился им и проводил их глазами. Я не поклонился или, может быть, поклонился, не заметив этого. Красное платье удалялось по улице Карла-Юхана и наконец исчезло.

— Кто это с ней? — спросил Дева.

— Герцог, разве вы не видели? Это у него прозвище такое — «Герцог». А ее вы знаете?

— Да, немного. А вы?

— Нет, — отвечал я.

— Мне показалось, что вы ей низко поклонились.

— Поклонился?

— Разве вы не поклонились? — сказал Дева. — Очень странно! Ведь она все время только на вас и смотрела.

— Откуда вы ее знаете? — спросил я.

Он, в сущности, ее не знал. Все случилось как-то осенним вечером. Было уже поздно, трое молодых людей только что вышли из «Гранда», они были навеселе, встретили эту женщину одну возле Каммермейера и заговари-

ли с ней. Вначале она не хотела разговаривать; но один из весельчаков, которому море было по колено, прямо попросил у нее позволения проводить ее до дому. Он не тронет на ней, как говорится, ни единого волоса, просто доведет ее до подъезда и тогда будет уверен, что она действительно вернулась домой, а иначе ему не будет покоя всю ночь. Они шли, и он говорил без умолку, сыпал всякими небылицами, назвался Вольдемаром Аттердагом, выдал себя за фотографа. В конце концов эти веселые выдумки ее рассмешили, а он нисколько не был смущен ее холодностью, и в конце концов она позволила ему себя проводить.

— Ну, а что же было дальше? — спросил я, и у меня перехватило дыхание.

— Дальше? Ах, не будем об этом! Все-таки она женщина.

На мгновение мы оба замолчали.

— Черт возьми, так это Герцог! Вот он, значит, каков! — добавил Девушка задумчиво. — Раз она пошла с этим господином, я не много за нее дам.

А я все молчал. Ну, разумеется, Герцог ее завлечет! Вот и прекрасно! Мне-то что за печаль? Я пожелал счастливого пути этой прелестнице, счастливого ей пути! И попытался утешить себя, думая о ней дурно, с наслаждением втоптал ее в грязь. Меня раздражало лишь, что я снял перед этой парочкой шляпу, если только это действительно правда. Зачем мне было снимать шляпу перед такими людьми? А о ней я больше не жалел, нисколько не жалел; она уже не была красавицей, подурнела, — черт возьми, до чего же она увяла! Вполне возможно, что она смотрела только на меня; тут нет ничего удивительного; быть может, в ней пробудилось раскаянье. Но только из-за этого я не упаду к ее ногам, не стану приветствовать ее как безумный, в особенности, раз она так подозрительно увяла за последнее время. Пускай Герцог берет ее себе, на здоровье! Может быть, настанет день, когда я гордо пройду мимо нее, даже не взглянув в ее сторону. Может случиться, я позволю себе сделать это даже в том случае, если она станет смотреть на меня в упор и будет в красном платье. Очень даже может случиться! Ха-ха, вот будет торжество! Насколько я себя знаю, я, пожалуй, могу закончить пьесу еще нынче ночью, и дней через восемь эта фрекен будет стоять предо мной на коленях. Со всеми своими прелестями, ха-ха, со всеми прелестями!..

— Прощайте! — сказал я отрывисто.

Но Девушка удержал меня. Он спросил:

— А чем же вы заняты теперь?

— Чем занят? Пишу, разумеется. Чем же мне еще заниматься? Ведь я только этим и живу. В настоящее время я работаю над большой драмой — «Знаменье креста», из средневековой жизни.

— Черт побери! — с искренним восхищением сказал Девица. — Да ведь если вы это напишете, тогда...

— Меня это не очень заботит! — ответил я. — Но дней через восемь, надеюсь, вы обо мне услышите.

И я ушел.

Вернувшись домой, я тотчас же обратился к хозяйке и попросил лампу. Мне была очень нужна лампа; я собирался не ложиться в ту ночь, пьеса бушевала у меня в голове, и я твердо рассчитывал написать к утру порядочную часть. Я изложил хозяйке свою просьбу очень смиренно, так как заметил у нее на лице недовольство тем, что я снова вернулся. Я почти кончил свою замечательную пьесу, сказал я, остается дописать всего лишь две сцены. И я намекнул, что пьесу может поставить какой-нибудь театр еще прежде, чем я сам об этом попрошу. И если она окажет мне такое одолжение, тогда я...

Но у хозяйки не было лампы. Она долго думала, но никак не могла вспомнить, чтобы у нее где-нибудь была лампа. Если я готов подождать до двенадцати, тогда, пожалуй, можно будет взять лампу из кухни. А почему я не куплю себе свечи?

Я умолк. У меня не было десяти эре на свечу, и она это отлично знала. Увы, мои планы опять расстроились! Стряпуха сидела с нами, она сидела в комнате, на кухне ее не было, стало быть, лампу даже не зажигали. Я подумал об этом, но не сказал больше ничего.

Вдруг стряпуха говорит:

— Я, кажись, недавно видала, как вы выходили из дворца? Вы, что же, были на обеде? — И она громко засмеялась над собственной шуткой.

Я сел, достал свои бумаги и хотел попытаться работать, сидя здесь. Я держал бумагу у себя на коленях и пристально смотрел в пол, чтобы не отвлекаться; но это не помогало, ничто не помогало мне, я не мог выжать из себя ни строчки. Вошли две хозяйские девочки и стали шумно играть с кошкой, а кошка эта была на удивление большая и почти без шерсти; когда девочки дули ей в глаза, в них появлялись слезы и стекали по носу. Хозяин и еще двое гостей играли за столом в карты. Только хозяйка, как всегда, занималась делом — она шила. Она

отлично видела, что я не могу писать в таком шуме, но совсем уже не считалась со мной; она даже улыбнулась, когда стряпуха спросила, не на обед ли меня пригласили во дворец. Все в доме относились ко мне враждебно; казалось, после того как я вынужден был с позором уступить свою комнату другому, это дало всем в доме право обращаться со мной как с посторонним. И даже стряпуха, эта маленькая, черноглазая дрянь, у которой был низкий лоб и совсем плоская грудь, насмехалась надо мной по вечерам, когда я брал бутерброды. Она часто спрашивала меня, где я обычно обедаю, что-то она никогда не видела, чтоб я ковырял в зубах, выходя из «Гранда». Было ясно, что она знает о моем бедственном положении, и ей доставляет удовольствие напоминать мне об этом.

Все эти мысли лезут мне в голову, и я не в силах придумать ни одной реплики для своей пьесы. Мои попытки тщетны; у меня начинает гудеть в голове, и я, наконец, вынужден бросить работу. Я кладу листки в карман и поднимаю глаза. Стряпуха сидит прямо передо мной, я смотрю на нее, смотрю на ее узкую спину и покатые плечи, которые еще даже не окрепли как следует. Зачем ей нападать на меня? Пусть бы я вышел даже из дворца, что из этого? Ей-то что за печаль? В последние дни она нагло насмехалась надо мной, когда я спотыкался на лестнице или, зацепившись за гвоздь, разрывал куртку. Не далее как вчера она подобрала мои черновики, которые я выбросил в прихожую, украла эти наброски к моей пьесе и потом читала их в комнате во всеуслышание, вышучивая меня и осыпая издевками. Я ни разу не обидел ее и, помнится, ни разу не просил ее оказать мне какую-нибудь услугу. Напротив, по вечерам я сам стелил себе постель на полу, не желая ее утруждать. Она смеялась надо мной еще и потому, что у меня выпадали волосы. По утрам в умывальнике плавали волосы, и это ее смешило. Башмаки у меня прохудились, в особенности тот, что попал под хлебный фургон, она и над этим насмехалась. «Вот так башмаки, прости господи! — говорила она. — Глядите, каждый что твоя собачья конура!» Да, мои башмаки и в самом деле были изношены; но я не мог покамест обзавестись другими.

Я вспоминаю все это и удивляюсь открытой враждебности со стороны стряпухи, а девочки начинают тем временем дразнить старика, лежащего на кровати. Они прыгали вокруг него и были целиком поглощены этим занятием. Потом они стали щекотать у него в ушах

соломинками. Поначалу я не вмешивался. Старик и пальцем не шевельнул, чтобы от них избавиться; он лишь смотрел на своих мучительниц яростным взглядом, когда они его щекотали, да мотал головой, чтобы освободиться от торчавших из ушей соломинок.

Это зрелище становилось для меня невыносимым, но я не мог отвести глаз. Отец иногда поднимал голову от карт, смеялся выходкам девочек и даже обращал на это внимание своих партнеров. Почему старик не пошевелится? Почему не отшвырнет девочек? Я сделал шаг к постели.

— Пусть их! Пусть! У него паралич! — крикнул хозяин.

И я, испугавшись его неудовольствия, боясь оказаться на ночь глядя за дверьми, молча вернулся на прежнее место и сидел смирнехонько. Зачем мне рисковать своим ночлегом и бутербродами, вмешиваясь в семейные дразги? Нечего стараться ради этого полумертвого старика. И я почувствовал, что стал тверд как камень.

Девчонки продолжали донимать старика. Их забавляло, что он не может шевельнуть головой, и они совали ему соломины в глаза, в ноздри. Он смотрел на них с ненавистью, но не способен был ни вымолвить слово, ни двинуть руками. Вдруг он приподнял все свое туловище и плюнул одной из девочек прямо в лицо; потом приподнялся еще и плюнул в другую, но не попал. Я видел, как хозяин бросил карты и подскочил к кровати. Он весь побагровел и крикнул:

— Как ты смеешь плевать людям в глаза, старый пес!

— Но ведь они же не давали ему покоя! — воскликнул я, потеряв терпение.

Но я все время боялся, как бы меня не выгнали, и крикнул не очень возмущенно; я только дрожал всем телом.

Хозяин обернулся ко мне.

— Хорош гусь! Чего вы суетесь не в свои дела, черт вас возьми? Заткните глотку, слышите? Так-то лучше будет.

Но тут подала голос хозяйка, и весь дом огласился бранью.

— Да вы все, никак, взбесились! — орала она. — Сидите оба смирно, а не то вышвырну вон, понятно? Ха, мало того, что я пригрела эту гадину и кормила ее, изволь еще терпеть ад в доме, черт ему рад! Я этого не потерплю, слышите? Цыц! Замолчите, дряни, да вытрите носы, не то я сама примусь за вас. Слыханное ли дело! Заявляются прямо с улицы, без единого эре, даже мазь от вшей купить не на что, да подымают шум среди ночи, вступа-

ют в перекоры. Я этого не допущу, и пускай чужие катятся вон. Чтобы в доме было тихо. Такова моя воля!

Я ничего не ответил, даже рта не раскрыл, только снова сел у двери и слушал крики. Кричали все, даже дети и стряпуха, которая непременно желала объяснить, с чего началась ссора. Если б я молчал, то все бы сразу и кончилось, мне бы только придержать язык, и не дошло бы до крайности. А разве я не придержал язык? Ведь зима была на дворе, и дело шло к ночи. Мог ли я стукнуть кулаком по столу и постоять за себя? Нет уж, без глупостей! Поэтому я сидел смирно и, хотя мне почти отказали от квартиры, не ушел от хозяев. Я не сводил глаз со стены, где висела олеография с изображением Спасителя, и упорно отмалчивался, невзирая на все выпады хозяйки.

— Если вам угодно избавиться от меня, мадам, то нет ничего проще, — сказал один из игроков.

Он встал. Второй игрок встал тоже.

— Да нет же, речь не о тебе. И не о тебе, — завершила их хозяйка. — Уж ежели на то пошло, я могу сказать, о ком разговор. Ежели на то пошло. Тогда станет ясно, кого это касается...

Она говорила отрывисто, наносила мне удары с короткими паузами и нарочито медлила, давая мне понять, что она разумела меня. «Спокойствие! — сказал я себе. — Только спокойствие!» Она не выгоняла меня, не говорила этого открыто, в ясных словах. Только бы мне не выказать высокомерия, надо поступиться гордостью, сейчас не время! Держи ухо востро!.. А у Христа на олеографии такие странные зеленые волосы... Они очень похожи на зеленую травку, или, выражаясь с изящной точностью, на густую траву поемных лугов. До чего же тонко я это подметил — именно на густую траву поемных лугов... И тотчас в голове у меня одна мысль тянет за собой другую: зеленая трава заставляет меня вспоминать те места в Писании, где говорится, что дни человека — как трава, и вся трава зеленая сгорела, потом я начинаю думать о Судном дне, когда все погибнет в пламени, у меня мелькает мысль о землетрясении в Лисабоне, и я вижу перед собой латунную испанскую плевательницу и письменный прибор черного дерева, какой был у Илаяли. Ах, все — тлен! Вся трава зеленая сгорела! Удел всего — гроб в четыре доски и саван от йомфру Андерсен, в подворотне направо...

Все это промелькнуло у меня в голове в то отчаянное мгновение, когда хозяйка собиралась выгнать меня за дверь.

— Он даже не слушает!— крикнула она.— Говорю вам, покиньте мой дом, понятно? Накажи меня бог, да этот малый сошел с ума! Убирайтесь на все четыре стороны, вот и весь сказ.

Я посмотрел на дверь, но не с тем, чтобы уйти, вовсе не с тем, чтобы уйти; в голову мне пришла предерзкая мысль; будь в дверях ключ, я повернул бы его, заперся бы здесь вместе со всеми, только бы остаться. Мысль, что сейчас я снова окажусь на улице, приводила меня в ужас. Но в дверях не было ключа, и я встал; надеяться было не на что.

И вдруг сквозь крик хозяйки слышится голос ее мужа. Я останавливаюсь в изумлении. Человек, только что грозивший мне, теперь неожиданно принимает мою сторону. Он говорит:

— Не знаешь разве, что нельзя выгонять людей из дому в ночную пору? Это карается законом.

Я не знал, карается ли это законом, едва ли так могло быть, хотя, конечно, все возможно, но хозяйка сразу опомнилась, утихла и оставила меня в покое. Она даже предложила мне на ужин два бутерброда, но я их не взял,— из благодарности к ее мужу я не взял их, объяснив, что уже поел в городе.

Когда я наконец пошел в прихожую и стал укладываться, хозяйка последовала за мной, остановилась на пороге и громко сказала, застив свет своим чудовищно распухшим животом:

— Но вы ночуете здесь в последний раз, так и знайте.

— Ну что ж!— ответил я.

Завтра мне, пожалуй, удастся найти ночлег, если хорошенько постараться. Где-нибудь да найдется убежище. А куда я радовался, что не остался без крова сегодня ночью.

Проснулся я в пять или в шесть часов утра. Еще не рассвело, но все равно я тотчас же встал; из-за холода я спал в одежде, и мне не нужно было одеваться. Выпив воды, я тихонько отворил дверь и вышел тихонько, чтобы избежать встречи с хозяйкой.

На улице не было никого, лишь иногда попадался полицейский, который дежурил всю ночь; вскоре появились два фонарщика и стали гасить газовые фонари. Я бродил без цели, вышел на Церковную улицу и побрел к крепости. Хотелось спать, я продрог, спина и ноги у меня ныли от долгой ходьбы, очень хотелось есть, и я, присев на скамейку, задремал. Три недели я питался

бутербродами, которые хозяйка давала мне утром и вечером; теперь вот уже сутки я ничего не ел, голод снова терзал меня, и нужно было поскорей искать какой-нибудь выход. С этой мыслью я опять задремал, сидя на скамейке...

Меня разбудили чьи-то голоса, я огляделся и увидел, что уже совсем светло и город проснулся. Я встал и пошел прочь. Над холмами всходило солнце, небо приобрело нежный светлый оттенок, погожее утро после стольких хмурых недель вселило в меня радость, я забыл все свои невзгоды, и теперь мне казалось, что много раз бывало гораздо хуже. Я хлопнул себя по груди и тихонько запел песенку. Мой голос звучал так печально, так слабо, что это растрогало меня до слез. Кроме того, чудесный день, светлое, сияющее небо действовали на меня слишком сильно, и я заплакал навзрыд.

— Что с вами? — спросил какой-то прохожий.

Я поспешил прочь, не отвечая и прикрыв лицо руками.

Я пришел на пристань. С большой барки под русским флагом выгружали уголь; я стал разбирать название: «Копегоро». Долгое время я развлекался тем, что наблюдал за этим иностранным судном. Очевидно, оно уже почти разгрузилось, и, несмотря на балласт, шкала на борту показывала уже девять футов над водой, и когда тяжелые сапоги грузчиков стучали по палубе, судно отзывалось протяжным гулом.

Солнце, свет, соленое дыхание моря — вся эта интересная и веселая жизнь возбуждала меня, и кровь бодрей струилась в моих жилах. Вдруг мне пришло в голову, что я, пожалуй, мог бы прямо здесь сочинить несколько сцен для своей пьесы. И я вынул бумажки из кармана.

Я стал придумывать слова, которые хотел вложить в уста монаха, — слова, пылающие яростной нетерпимостью; но мне это не удавалось. Тогда я оставил монаха и стал сочинять речь, с которой судья обращается к осквернительнице храма, написал полстраницы и бросил. Настоящего пафоса не получалось. Люди вокруг меня трудились, гремели лебедки, скрипели ворота, звякали цепи, и все это никак не отвечало мрачной, затхлой атмосфере средневековья, которой была проникнута моя пьеса. Собрав бумажки, я встал.

Но все же я сдвинулся с мертвой точки и был совершенно уверен, что, если ничего не случится, дело пойдет на лад. Только бы найти какое-нибудь пристанище! При этой мысли я остановился посреди улицы, но не мог

вспомнить ни одного спокойного местечка во всем городе, где мне можно было бы пристроиться на время. Не было другого выхода, кроме как вернуться в «Пансионат для приезжих». От одной этой мысли меня начало корчить, я твердил себе, что так не годится, но плелся все вперед, туда, куда путь мне был заказан. Конечно, это презренно, сознавался я себе, это унижительно; но ничто не действовало. Правда, я человек не гордый, я должен прямо сказать, что на свете нет существа смиренней меня. И я продолжал путь.

У двери я остановился и еще раз все взвесил. Будь что будет, надо рискнуть! Разве все это не презренная суета? Во-первых, мне нужен приют всего на несколько часов, а во-вторых, накажи меня бог, если я еще когда-нибудь переступлю порог этого дома. Я вошел во двор. Шагая по неровным булыжникам, я все еще колебался и чуть не повернул назад от самых дверей. Я стиснул зубы. Прочь, неуместная гордость! В худшем случае, я принесу извинения, скажу, что пришел проститься, как того требует вежливость, и условиться, когда я отдам должок за квартиру. Я открыл дверь прихожей.

Войдя, я застыл на месте. Прямо передо мной, в двух шагах, стоял сам хозяин, без шляпы и без куртки, и подглядывал в замочную скважину за тем, что происходило в комнате. Он сделал мне знак рукою, чтоб я стоял тихо, и снова стал подглядывать в замочную скважину. При этом он смеялся.

— Подите сюда! — сказал он шепотом.

Я подошел на цыпочках.

— Смотрите! — сказал он, дрожа от безмолвного смеха. — Загляните-ка туда! Хи-хи! Видите, лежат! Взгляните на старика! Вам видно старика?

В комнате, на кровати, прямо против меня, под олеографией, изображавшей Христа, я увидел двоих — хозяйку и приезжего штурмана; на темном одеяле белели ее ноги. А на кровати у другой стены сидел ее отец, разбитый параличом, и смотрел, опираясь на руки, скорчившись, как всегда, не в силах шевельнуться...

Я повернулся к хозяину. Он с трудом сдерживался, чтобы не расхохотаться. Двумя пальцами он зажимал себе нос.

— Видели старика? — шепнул он. — О господи, видели вы старика? Сидит и смотрит на них! — И он снова нагнулся к замочной скважине.

Я отошел к окну и сел. Это жестокое зрелище совершенно расстроило мои мысли, уничтожило мое вдохнове-

ние. Но какое мне дело до всего этого? Если сам муж мирится с этим и даже потешается, то у меня нет ни малейшего основания негодовать. Что же до старика, то о нем нечего беспокоиться. Он, верно, видел это уже не раз; быть может, он попросту спал сидя или даже уже умер, бог его знает. Я ничуть не удивился бы, если б узнал, что он мертв. И моя совесть успокоилась.

Я снова достал рукопись и попытался отогнать все постороннее. Фраза в речи судьи была оборвана на половине: «Так велят мне Бог и закон, так велит мне совет мудрых мужей, так велит мне моя совесть...» Я смотрел в окно, придумывая, что же велит ему совесть. Из комнаты донесся негромкий шум. Ну, это меня не касалось, нисколько не касалось; а старик, быть может, умер, он умер сегодня в четыре утра; стало быть, мне совершенно безразлично, что там за шум. Но зачем же я, черт возьми, думаю об этом? Спокойствие!

«Так велит мне моя совесть...»

Но все словно были в заговоре против меня. Хозяин, подглядывая в замочную скважину, не мог удержаться, время от времени я слышал его подавленный смех и видел, как он весь трясется; и еще меня отвлекало то, что происходило на улице. По другую ее сторону играет на солнце маленький мальчик; спокойно и беспечно он связывает полоски бумаги. И вдруг он вскакивает с сердитым криком: пятясь, он выходит на середину улицы и глядит на рыжебородого человека, который высунулся из окна во втором этаже и плюнул ему на голову. Малыш плачет от злобы и беспомощно ругается, а рыжебородый хохочет в окне: так проходит минут пять. Я отворачиваюсь, чтобы не видеть слез мальчика.

«Так велит мне моя совесть...»

Я никак не мог сдвинуться с места. Наконец все начало путаться. Мне казалось, что даже написанное прежде никуда не годится, что весь мой замысел — сплошной вздор. Нельзя говорить о совести в средние века, совесть впервые изобрел учитель танцев Шекспир, следовательно, вся речь судьи неправильна. Стало быть, мои бумажки можно выбросить? Я снова пробежал их, и мои сомнения тотчас же разрешились; я нашел великолепные места, порядочные куски, обладающие исключительными достоинствами. И в моей груди снова всколыхнулось пьянящее желание взяться за дело и кончить пьесу.

Я встал и пошел к двери, не обращая внимания на хозяина, который махал руками, показывая, чтобы я не

шумел. Исполненный непоколебимой решимости, я вышел из прихожей, поднялся по лестнице на второй этаж и вошел в свою прежнюю комнату. Ведь штурмана там не было, кто же мог мне помешать побыть здесь немного? Я не трону его вещей, не воспользуюсь даже столом, а просто посижу на стуле у двери, с меня и этого довольно. Я быстро раскладываю бумаги у себя на коленях.

Несколько минут все идет как по маслу. В моей голове одна за другой возникают отделанные в совершенстве фразы, и я пишу не отрываясь. Я заполняю одну страницу за другой, стремительно продвигаюсь вперед, иногда тихонько вскрикиваю, восхищаясь своим порывом, и почти совершенно забываюсь. Я слышу в эти мгновения лишь собственные радостные возгласы. И вот мне приходит в голову счастливая мысль о церковном колоколе, его звон должен прозвучать в одном месте моей пьесы. Все идет великолепно.

Вдруг я слышу шаги на лестнице. Я дрожу и едва сдерживаюсь, я насторожен, робок, готов ко всему, меня все пугает; мои нервы взвинчены от голода; я взволнованно прислушиваюсь, зажав в руке карандаш, и не могу больше написать ни слова. Дверь отворяется; входят двое, которых я недавно видел внизу, в замочную скважину.

Не успеваю я извиниться за свое вторжение, как хозяйка кричит, удивленная, словно с луны свалилась:

— Господи боже ты мой, да он опять здесь!

— Простите!— говорю я и хочу кое-что добавить к этому, но мне не дают продолжать.

— Убирайтесь вон, не то, видит бог, я позову полицию!

Я встал.

— Но ведь я хотел только проститься с вами,— бормочу я.— И мне пришлось подождать. Я ничего не тронул, я просто посидел здесь на стуле...

— Это не беда,— говорит штурман.— Какого дьявола? Оставьте его!

Когда я спустился с лестницы, мною вдруг овладела бешеная ненависть к толстой, отяжелевшей женщине, которая шла за мной по пятам, торопясь меня выпроводить; я застыл на миг в неподвижности, и на языке у меня вертелись самые ужасные ругательства, которые я готов был швырнуть ей в лицо. Но я вовремя опомнился и смолчал, смолчал из простой благодарности к незнакомому человеку, который шел за ней и мог услышать это. Хозяйка наседала на меня сзади и беспрерывно ругалась, отчего ярость моя росла с каждым шагом.

Мы вышли на двор, я шел медленно, все еще колеблясь, стоит ли связываться с хозяйкой. Бешенство душило меня, самые кровожадные мысли лезли в голову, я готов был убить ее на месте, ударить ногой в живот. В воротах я сталкиваюсь с рассыльным, он кланяется мне, но я не отвечаю; он обращается к хозяйке, и я слышу, что он справляется обо мне; но я не оборачиваюсь.

Едва я выхожу за ворота, как рассыльный нагоняет меня, снова кланяется и просит обождать. Он передает мне письмо. Я машинально вскрываю конверт, и оттуда выпадает бумажка в десять крон, но письма никакого нет.

Я смотрю на рассыльного и спрашиваю:

— Что это за шутки? От кого письмо?

— Право, не знаю,— отвечает он.— Какая-то дама велела снести это вам.

Я остолбенел. Рассыльный уходит своей дорогой. Тогда я кладу бумажку обратно, комкаю конверт, поворачиваю назад, подхожу к хозяйке, которая все еще глядит на меня из дверей, и швыряю ей конверт в лицо. Я ничего не говорю, не произношу ни звука, только, обернувшись через плечо, я вижу, как она разворачивает скомканную бумажку...

Вот это — достойное поведение! Никаких разговоров, ни слова этой дряни, преспокойно скомкать крупную ассигнацию и швырнуть в лицо своим врагам. Вот это называется вести себя с достоинством! Поделом им, скотам!..

Когда я вышел на угол Вокзальной площади и Томтегатен, улица вдруг закружилась перед моими глазами, в голове у меня раздался гул, и я, едва не упав, прислонился к стене. Я никак не мог двинуться дальше, не мог даже выпрямиться и оставался скорченный; как я привалился к стене, так и остался, чувствуя, что начинаю терять сознание. Это изнеможение лишь усиливало мою безумную ярость, и я топал ногами. Чего я только не делал, чтобы прийти в себя,—стискивал зубы, морщил лоб, ворочал глазами, и это как будто помогло. Мои мысли прояснились, я понял, что близок к гибели. Я оттолкнулся руками от стены; улица по-прежнему плясала вокруг меня. Я стал всхлипывать от бешенства, изо всех сил боролся с этой напастью, отважно удерживаясь на ногах: я не хотел падать, я хотел умереть стоя. Мимо проезжает повозка. Я вижу, что в повозке картофель, но в бешенстве, из упрямства, я вбиваю себе в голову, что это не картофель, а кочаны капусты, и я с ожесточением клянусь, что это — капуста.

Я отлично слышал собственный голос и сознательно продолжал божиться, уверяя, что эта нелепость — истинная правда, ради нелепого удовлетворения от ложной клятвы. Опьяненный этой чудовищной ложью, я поднял три пальца и дрожащими губами клялся во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, что там была капуста.

Время шло. Я плюхнулся на ближайшую приступку, утер пот со лба и шеи, глубоко вздохнул, чтобы успокоиться. Солнце зашло, день клонился к вечеру. Я снова начал размышлять о своем положении; голод немилосердно мучил меня, а через несколько часов снова настанет ночь; необходимо придумать что-нибудь, пока еще есть время. Мысль моя снова устремилась к меблированным комнатам, откуда меня выгнали; я вовсе не хотел возвращаться туда, но все-таки не мог отогнать эту мысль. В сущности, хозяйка была совершенно права, когда вышвырнула меня. Как могу я ожидать, что мне дадут приют, раз я не платил денег? А ведь меня к тому же еще кормили; даже вчера вечером, когда хозяйка на меня рассердилась, она предложила мне два бутерброда, — предложила по своей доброте, зная, как я в них нуждаюсь. Значит, мне грех жаловаться, и, сидя на приступке, я начал смиренно умолять ее простить мое поведение. В особенности горько я раскаивался в том, что оказался неблагодарным и швырнул деньги ей в лицо...

Десять крон! Я вдруг даже присвистнул. От кого было письмо, которое принес рассыльный? Только в этот миг я сознательно задумался об этом и сразу догадался, в чем дело. Я скорчился от скорби и стыда, хрипло прошептал несколько раз: «Илаяли» — и покачал головой. Не сам ли я, не далее как вчера вечером, решил гордо пройти мимо, если встречу ее, и выказать к ней глубочайшее равнодушие? А вместо этого я лишь возбудил в ней жалость и выманил у нее лепту. Нет, нет, нет, мое унижение беспредельно! Даже в ее глазах я не сумел остаться порядочным человеком; я погрузился по колена, по пояс, погряз в позоре и больше уже не в силах был выбраться, нет, никогда! Это предел! Принять десять крон, словно милостыню, и не иметь возможности швырнуть их обратно таинственному благодетелю, вцепиться в деньги обеими руками и не вернуть, уплатить ими за квартиру, невзирая на глубочайшее отвращение!..

Нельзя ли как-нибудь получить эти десять крон обратно? Идти к хозяйке и требовать возвращения денег было бесполезно; надо найти другой выход, стоит только поду-

мать, стоит только сделать над собой усилие. Видит бог, тут мало было просто думать о том, как добыть эти десять крон, тут нужно было думать всем существом. И я принялся за дело всерьез.

Вероятно, было уже около четырех часов, часа через два я мог бы, пожалуй, пойти к директору театра, будь моя пьеса готова. Я вынимаю рукопись и решаюсь во что бы то ни стало написать несколько последних сцен; я думаю, потею, перечитываю все сначала, но не подвигаюсь ни на волос. «Довольно глупить,— говорю я себе.— Перестань упрямитесь!» И я принимаюсь сочинять как попало, записываю все, что приходит в голову, лишь бы поскорей кончить и отделаться. Я пытаюсь внушить себе, что меня вновь осенило вдохновение, я лгу, грубо обманываю себя и пишу дальше, точно мне не нужно подыскивать слов. «Прекрасно! Великолепная находка!— то и дело шепчу я.— Только записывай!»

В конце концов последние фразы начали казаться мне подозрительными; они так резко отличались от первых сцен; кроме того, слова монаха и не пахли средневековым. Я перегрызаю карандаш, вскакиваю, разрываю рукопись, рву в клочки каждый листок, бросаю шляпу на землю и топчу ее. «Я погиб!— шепчу я про себя.— Милостивые государыни и милостивые государи, я погиб!» Кроме этих слов, я ничего не могу вымолвить и лишь продолжаю топтать свою шляпу.

В нескольких шагах от меня стоит полицейский и следит за мной; он стоит посреди улицы и не спускает с меня глаз. Когда я поднимаю голову, наши глаза встречаются; быть может, он уже давно так стоит и не спускает с меня глаз. Я подбираю свою шляпу, надеваю ее и подхожу к полицейскому.

— Вы не знаете, сколько времени?— спрашиваю я.

Выждав немного, он достает часы и при этом все смотрит на меня.

— Четыре часа,— отвечает он.

— Верно!— говорю я.— Именно четыре, совершенно справедливо. Я вижу, вы свое дело знаете, и буду иметь вас в виду.

И я отошел. Он остолбенел от удивления и, разинув рот, смотрел мне вслед, все еще держа часы в руке. Подходя к «Ройялю», я обернулся и посмотрел назад: он все еще стоял на месте и провожал меня глазами.

Хе-хе, вот так-то надо обращаться со скотами! Без всякой совести! Это внушает скотам уважение, заставляет

их трепетать... Я был очень доволен собой и снова принялся напевать. В сильном волнении, совершенно забыв о боли, не испытывая даже никаких неприятных ощущений, исполненный удивительной легкости, я прошел через всю площадь, свернул у рынка к храму Спасителя и сел на скамейку.

В конце концов не все ли равно, верну я эти десять крон или нет! Раз их прислали мне, стало быть, они мои, и совершенно безразлично, от кого эти деньги. Было велено передать их именно мне, и поэтому пришлось взять; не имело смысла оставлять их рассыльному. И глупо было бы теперь вернуть другие десять крон, совсем не те, что я получил. А если так, тут уж ничего не поделаешь.

Я постарался сосредоточить все свое внимание на людной, оживленной площади и думать о безразличных вещах; но это мне плохо удавалось, десять крон не шли у меня из головы. В конце концов я пришел в ярость и крепко сжал кулаки. «Если бы я отослал деньги назад, это оскорбило бы ее,—сказал я себе.—Так в чем же дело?» Я всегда был крайне надменным, отказывался от подачек, лишь высокомерно качал головой и говорил: «Нет уж, благодарю покорно». И вот к чему это привело: я снова очутился на улице. Я не остался в своем теплом, уютном жилище, хотя имел к этому полнейшую возможность; меня обуяла гордыня, при первом же слове, которое мне не понравилось, я взвился, никому не дал спуска, я расшвыривал бумажки по десять крон направо и налево, а потом ушел куда глаза глядят... Я сам себя наказал, покинул свое жилище и вот снова попал в тяжкое положение.

Впрочем, к чертям собачьим! Я не просил этих десяти крон, и они недолго были у меня в руках, я тотчас же их отдал, уплатил их совершенно чужим людям, которых никогда больше не увижу. Такой уж я человек, когда надо, отдам все до последнего! И если я не ошибаюсь в Илаяли, она тоже не раскаивается, что послала мне деньги, к чему же тогда весь этот шум? Самое меньшее, что она могла сделать, это время от времени посылать мне десять крон. Ведь бедная девушка влюблена в меня, быть может, даже безнадежно влюблена... Я долго тешился этой мыслью. Не могло быть ни малейшего сомнения, что она влюблена в меня, бедняжка!..

Пять часов. Нервный подъем кончился, голова моя снова как бы опустела, наполнилась гулом. Я смотрел в пространство остановившимся взглядом и видел перед

собою аптеку. Голод мучительно терзал меня, и я жестоко страдал. Так я сидел, уставившись в пространство, и мало-помалу перед моим неподвижным взором обозначилась человеческая фигура, наконец она стала совсем четкой, и я узнал, кто это: женщина, которая торговала пирожками у аптеки.

Вздروгнув, я выпрямляюсь на скамейке и начинаю припоминать. Да, конечно, это та самая женщина, с тем же лотком, она сидит на том же самом месте! Я присвистнул несколько раз, щелкнул пальцами, встал со скамейки и направился к аптеке. Довольно глупостей! Черт возьми, не все ли равно, дал ли я ей деньги, приобретенные несправедливо, или же честные норвежские денежки из конгсбергского серебра! Я не желаю быть посмешищем, а от неумеренной гордости недолго и ноги протянуть...

Я выхожу на угол, всматриваюсь в женщину, останавливаюсь подле нее. Я улыбаюсь, киваю ей, как знакомой, и заговариваю непринужденно, словно мое возвращение — это нечто само собой разумеющееся.

— Здравствуйте! — говорю я. — Вы, наверно, меня не узнаете?

— Нет, — медленно отвечает она и смотрит на меня.

Я улыбаюсь еще старательней, как будто она бог весть как остроумно шутит, притворяясь, что не узнает меня, и говорю:

— Неужели вы не помните, как я недавно дал вам несколько крон? Сколько помнится, я не сказал при этом ни слова, да, ни слова, у меня нет такой привычки. Когда имеешь дело с честными людьми, нет надобности ставить условия и, так сказать, заключать договор из-за всякой мелочи. Хе-хе! Но это я дал вам деньги.

— Да, конечно, это вы! Теперь я вас узнала...

Прежде чем она начала меня благодарить, я уже выбрал глазами лакомый кусок и поспешно говорю:

— А теперь я пришел за пирожками.

Она недоумевает.

— За пирожками, — повторяю я. — Теперь я пришел за пирожками. Я хочу получить хоть часть для начала. Все мне сегодня не требуется.

— Вы пришли за пирожками? — переспрашивает она.

— Ну конечно, за пирожками! — отвечаю я с громким смехом, словно ей сразу должно быть ясно, что я пришел за ними.

Я беру с лотка пирожок или, вернее, булочку и начинаю есть.

При виде этого торговка выскакивает из своего закутка, невольным движением пытается защитить товар, давая мне понять, что она вовсе не ждала моего возвращения, да еще с целью отобрать у нее пирожки.

— Вы против?— говорю я.— Вы в самом деле против? Право, это смешно! Разве бывало когда-нибудь, чтобы человек дал вам кучу денег и не потребовал их обратно? Нет, вот видите! А вы еще, чего доброго, подумали, что это были краденые деньги, раз я просто сунул их вам? Нет, не подумали? Тем лучше, это просто прекрасно! Вы очень великодушны, если считаете меня за порядочного человека! Ха-ха! Да, вы в самом деле великодушны!

— Но зачем же вы дали мне эти деньги?— с возмущением крикнула она.

Я объяснил, зачем я дал ей деньги, объяснил спокойно и убедительно: у меня есть такая привычка, потому что я доверяю всем людям. Когда кто-нибудь предлагает мне вексель или расписку, я всегда качаю головой и говорю: «Нет, благодарствуйте». Видит бог, я так всегда делаю.

Но торговка никак не понимала меня.

Тогда я попробовал растолковать ей это по-другому, заговорил строго, не шутя. Разве ей никогда не платили вперед, подобно мне?— спросил я. Я разумел, конечно, людей со средствами, например, какого-нибудь консула. Никогда? Ну что ж, раз она не привыкла к такому обхождению, с нее нельзя строго спрашивать. Но так принято за границей. Она, верно, никогда не ездила в чужие страны? Нет? Ну, то-то же! Тогда ей нельзя и судить... И я взял с лотка несколько пирожков.

Она сердито ворчала, упорно не хотела отдать хотя бы малую толику своего товара, даже вырвала у меня пирожок и положила его на место. Я вскипел, ударил кулаком по лотку и пригрозил позвать полицию. Это еще снисходительность с моей стороны, сказал я, ведь если бы мне вздумалось забрать все, что мне причитается, она была бы разорена, потому что недавно я дал ей огромную сумму денег. Но я не намерен брать так много, я хочу взять лишь половину своего состояния. К тому же она больше меня не увидит. Бог свидетель, не увидит никогда, раз она такая...

Наконец она выбрала несколько пирожков по самой бессовестной цене, четыре или пять штук, за которые она запросила неслыханно много, велела мне взять их и идти своей дорогой. Но я продолжал препираться с ней, доказывал, что она меня обманула по меньшей мере на

целую крону и, кроме того, ободрала заживо, назначив такие несуразные цены.

— А знаете ли вы, что подобные штуки караются по закону?— сказал я.— Господи боже, да вы можете угодить на бессрочную каторгу, старая дура!

Она швырнула мне еще один пирожок и со скрежетом зубным потребовала, чтоб я оставил ее в покое.

И я ушел.

Ну и ну, свет еще не видывал такой двуличной торговки! Я шел через площадь, ел пирожки и громко рассуждал об этой женщине и ее бесстыдстве, повторял весь наш разговор и думал, что я гораздо лучше ее. Я ел пирожки на виду у всех и громко разговаривал.

Пирожки исчезали один за другим; сколько я ни ел, мне все казалось мало, голод был неутолим. Господи, почему мне все мало! В своей жадности я чуть не съел последний пирожок, который с самого начала решил приберечь для мальчика с Вогнмансгатен, для того малыша, которому рыжебородый плюнул на голову. Я то и дело вспоминал о нем, не мог забыть, какое у него было лицо, когда он вскочил, и заплакал, и стал ругаться. Когда на него плюнули, он повернулся к моему окну поглядеть, не смеюсь ли я над ним. Бог весть, удастся ли мне его теперь найти! Я спешил добраться до Вогнмансгатен, миновал место, где изорвал свою пьесу и где еще валялись клочки бумаги, обошел стороной полицейского, которого удивил своим поведением, и наконец очутился у той двери, где утром сидел мальчик.

Его не было. Улица почти опустела. Уже смеркалось, и мальчика найти не удалось; наверное, он ушел домой. Я бережно положил пирожок на землю, у самого порога, громко постучал и тотчас же пустился бежать. «Он, конечно, найдет пирожок!— сказал я самому себе.— Как только выйдет из дому, так сразу и найдет!» И от радости, что малыш найдет пирожок, слезы выступили у меня на глазах.

Я снова вышел к пристани.

Теперь я уже не был голоден, но от сладких пирожков меня начало тошнить. В голове снова металась самая нелепая мысль: а что, если я незаметно перережу канаты, которыми пришвартованы все эти корабли? Что, если я вдруг крикну: «Пожар»? Я пошел дальше по пристани, отыскал ящик, сел, скрестил руки на груди и почувствовал, что путаница в моей голове усиливается. Я сижу неподвижно, боюсь пошевелиться, чтобы не пойти ко дну.

Я смотрю на «Копегоро», барку под русским флагом. Я вижу у поручней какого-то человека; красные фонари с левого борта освещают его лицо, я встаю и заговариваю с ним. Собственно, я не собирался затевать с ним разговор и не ждал никакого ответа. Я сказал:

— Вы отплываете нынче вечером, капитан?

— Да, в самое ближайшее время,— ответил он.

Он говорил по-шведски.

«Стало быть, это финн»,— думаю я.

— Гм! А не нужен ли вам матрос?

В этот миг мне было безразлично, ответит ли он отказом или согласием, его ответ не имел никакого значения для меня. Я смотрел на него и ждал.

— Нет уж,— ответил он.— Вот юнгу я взял бы, пожалуй.

Юнгу! Я вздрогнул, незаметно снял очки, спрятал их в карман и поднялся по трапу на палубу.

— Мне не приходилось плавать, но я могу делать все, что велите,— сказал я.— Куда вы плывете?

— Сперва в Лидс, там возьмем уголь и пойдем в Кадикс.

— Ладно,— сказал я и стал уговаривать его взять меня.— Мне все равно, куда плыть. Я буду хорошо работать.

Некоторое время он рассматривал меня, что-то соображая.

— Так ты еще не бывал в плавании?— спросил он.

— Нет. Но, говорю вам, дайте мне работу, и я все сделаю. Я человек привычный.

Он снова задумался. А я уже свыкся с мыслью о плавании и боялся, что меня прогонят.

— Так как же, капитан?— спросил я наконец.— Поверьте, я готов делать любую работу. Да что говорить! Я буду последним негодяем, если не вылезу из кожи, чтобы вам угодить. Я готов, если надо, стоять по две вахты подряд. Мне это только на пользу, я такие вещи люблю.

— Ну что ж, попробуем,— сказал он, слегка улыбнувшись при моих последних словах.— А в случае чего, в Англии можно будет и расстаться.

— Разумеется!— отвечал я с восторгом. И повторил вслед за ним, что, в случае чего, в Англии мы можем расстаться.

И он дал мне работу...

Когда мы вышли во фьорд, я разогнул спину, весь взмокший от слабости и волнений, взгляделся в берег и простился наконец с городом Христианией, где в окнах повсюду уже зажглись яркие огни.

Мистерии

РОМАН

Перевод
Л. Лунгиной

MYSTERIER

1892



I

Весьма загадочные события произошли прошлым летом в маленьком норвежском городке на побережье. Неожиданно для всех там появился какой-то странный тип, некто Нагель, натворил невесть что и исчез так же внезапно, как и прибыл. Однажды к нему даже приехала таинственная молодая дама, одному богу известно зачем, и уехала спустя несколько часов, не решаясь, видимо, дольше задерживаться. Впрочем, все началось не с этого...

Все началось с того, что часов в шесть вечера к пристани причалил пароход, и на палубу вышли несколько пассажиров, среди них — господин в желтом костюме и белой бархатной кепке. Это было несомненно 12 июня, потому что на многих домах в тот день развевались флаги по случаю помолвки фрекен Хьеллан, а об этой помолвке объявили именно 12 июня. Посыльный гостиницы «Централь» быстро поднялся на борт, и пассажир в желтом костюме указал ему на свой багаж; потом он предъявил билет боцману, стоявшему у трапа, но, вместо того чтобы сойти на берег, принялся рассказывать взад-вперед по палубе. Видно было, что он сильно взволнован. И только когда пароход прогудел третий раз, господин в желтом костюме спохватился, что еще не заплатил по счету в ресторане.

Он побежал было расплачиваться и вдруг заметил, что пароход уже отвалил от причала. На мгновение он застыл в растерянности, но тут же помахал посыльному и крикнул, подойдя к перилам палубы:

— Ладно, доставьте мои вещи в гостиницу и приготовьте мне номер!..

А пароход тем временем шел в глубь фьорда.

Человека в желтом костюме звали Юхан Нильсен Нагель.

Посыльный погрузил на тележку его багаж, состоявший всего-навсего из двух небольших чемоданов и шубы — да, шубы, хотя лето было в разгаре, — а кроме того, саквояжа и скрипки. Ни на одной из вещей не было монограммы владельца.

На другой день около полудня Юхан Нагель подкатил к гостинице в карете, запряженной парой лошадей. С тем же успехом он мог бы вернуться пароходом, это было бы даже куда удобнее, но он почему-то предпочел карету. При нем оказался еще кое-какой багаж: на переднем сиденье стоял чемодан, а рядом лежали дорожная сумка, пальто и портплед, набитый какими-то вещами. На ремнях, стягивающих портплед, были вытиснены инициалы Ю. Н. Н.

Еще не успев выйти из кареты, он спросил хозяина гостиницы, приготовлен ли для него номер, а когда его отвели на второй этаж, он тут же принялся осматривать стены комнаты, выясняя, достаточно ли они толсты и не будет ли до него доноситься шум от соседей. Потом он вдруг спросил служанку:

— Как вас зовут?

— Сара.

— Сара. — И тут же: — Я могу здесь перекусить? Так вас, значит, зовут Сара. Послушайте, — продолжал он, — не была ли в этом доме прежде аптека?

— Была, но много лет тому назад.

— Так, так... Много лет тому назад, говорите. Да, здесь была аптека, я понял это, как только вошел в коридор. Не то чтобы я уловил какой-то запах, но все же как-то сразу почувствовал... Да, да.

Во время еды он не проронил ни единого слова. Те два господина, которые накануне вечером вместе с ним прибыли сюда на пароходе, а теперь сидели за дальним концом стола, перемигнулись и даже позволили себе пошутить над его вчерашней незадачей, но он сделал вид, что ничего не слышит. Он быстро поел, отрицательно покачал головой, когда ему подали десерт, и вдруг, повернувшись винтом, стремительно вскочил. Затем он порывисто закурил сигару, выбежал на улицу и исчез.

Отсутствовал он очень долго и вернулся в гостиницу поздно ночью, за несколько минут до того, как часы

пробили три. Где он был? Позже выяснилось, что он ходил в соседний городок и проделал пешком, причем туда и обратно, весь тот долгий путь, который в то же утро проехал в карете. Вероятно, у него там было неотложное дело. Когда Сара отворила ему дверь, она увидела, что он весь взмок от пота. Все же он улыбнулся девушке и явно был в превосходном настроении.

— Бог мой, какой у вас роскошный затылок, детка! — воскликнул он. — Не приносили ли мне, пока я отсутствовал, почту? Нагелю, Юхану Нагелю? Ух ты! Сразу три телеграммы! Послушайте, сделайте мне личное одолжение: уберите, пожалуйста, вон ту картину, чтобы она не мозолила мне глаза. Такая тоска лежать в постели и все время на нее глядеть. Ведь у Наполеона III вовсе не было зеленой бороды. Премного благодарен!

Когда Сара вышла, Нагель остановился посреди комнаты. Он стоял не двигаясь. Отсутствующим взглядом уперся он в одну точку на стене. Он словно застыл, и только голова его все больше и больше склонялась набок. Так простоял он очень долго.

Роста Нагель был ниже среднего, лицом смугл, а его странный тяжелый взгляд не вязался с тонко очерченным женственным ртом. Был он широкоплеч, на вид лет двадцати восьми — тридцати. Во всяком случае, никак не старше тридцати, хотя виски его уже были чуть тронуты сединой.

И вдруг, разом, Нагель очнулся от своей задумчивости; движение, которое он при этом сделал, было таким неестественно резким, что выглядело нарочитым; можно было подумать, будто он так долго пребывал в оцепенении только для того, чтобы как можно более эффектно из него выйти, хотя и был один в комнате. Затем он вынул из кармана брюк ключи, мелочь и какую-то медаль на жалкой ленточке, вроде тех, что дают за спасенье на водах, все эти предметы он разложил на тумбочке возле кровати, а бумажник сунул под подушку, потом извлек из кармана жилета часы и пузырек с наклейкой «Яд». Прежде чем положить часы на тумбочку, он с минуту держал их на ладони, но пузырек поспешно снова сунул в карман. Потом снял с пальца кольцо и умылся; волосы он небрежно откинул назад рукой, причем в зеркало даже и не взглянул.

Нагель уже лежал в постели, когда вдруг спохватился, что оставил кольцо на умывальнике; он тут же вскочил, словно не мог обойтись без этого грошового железного

колечка, и надел его на палец. Наконец он распечатал все три телеграммы, но не успел дочитать до конца и первой, как у него вырвался короткий глухой смешок. Так он лежал один в комнате и смеялся. Зубы у него были на редкость красивые. Потом его лицо стало снова серьезным, и он отшвырнул все три телеграммы с полнейшим равнодушием. В них говорилось, однако, о весьма важном деле, речь шла ни много ни мало о шестидесяти двух тысячах крон за имение, более того, предлагалось выплатить всю эту сумму незамедлительно и наличными в случае, если сделка состоится безотлагательно. В этих сухих кратких деловых телеграммах решительно не было ничего смешного; ни под одной из них не стояло подписи. Спустя несколько минут Нагель уже спал. Две свечи, которые он забыл погасить, освещали его грудь и гладко выбритое лицо, неяркий свет падал и на распечатанные телеграммы, валявшиеся на столе...

На другое утро Юхан Нагель отправил посыльного на почту, и тот принес ему пачку газет, в том числе и иностранных. Но писем не было. Футляр со скрипкой Нагель положил на стул посреди комнаты, словно специально для того, чтобы все обращали на него внимание, но футляр он так и не раскрыл и к инструменту не притронулся.

Все утро он ничем не занимался, не считая того, что писал письма да читал какую-то книгу, расхаживая взад-вперед по комнате. Потом он вышел на улицу и купил в соседней лавчонке пару перчаток, а когда случайно забрел на рынок, отдал десять крон за рыжего щенка, которого тут же преподнес хозяину гостиницы. Щенка он, всем на потеху, назвал Якобсоном, несмотря на то, что щенок этот оказался к тому же сучкой.

Таким образом, весь день он, собственно говоря, ничем не был занят. Дел в городе у него никаких не было, визитов он никому не наносил, ничьих контор не посещал и, видно, не знал здесь ни души. В гостинице были несколько удивлены его явным равнодушием ко всему, даже к своим личным делам. Все три телеграммы по-прежнему валялись распечатанными на столе в его номере — он не прикоснулся к ним с того вечера, как их получил. Умел он также не отвечать на прямой вопрос. Хозяин дважды пытался выяснить у него, кто он такой и для чего пожаловал к ним в город, но оба раза Нагель уклонился от ответа. В этот день разнесся слух еще и о другой его странной выходке. Хотя он в городе ни с кем не был знаком, он позволил себе остановиться

у кладбищенских ворот перед одной из здешних молодых барышень и очень низко ей поклонился, чем заставил ее густо покраснеть. После этого дерзкий незнакомец, ни словом не объяснив своего странного поведения, свернул на проезжий тракт, миновал пасторскую усадьбу и углубился в лес. Впрочем, этот путь он проделывал и все последующие дни. И с этих прогулок он так поздно возвращался в гостиницу, что всякий раз для него приходилось отпирать уже запертые на засов двери.

На третий день утром, как раз когда Нагель выходил из своего номера, его остановил хозяин гостиницы, учтиво поклонился ему и сказал несколько любезных слов. Они вместе проследовали на веранду, сели друг против друга, и хозяин завел разговор о том, что намерен поехать в другой город ящик свежей рыбы.

— Не посоветуете ли вы мне, как лучше всего отправить этот ящик?

Нагель взглянул на ящик, улыбнулся и покачал головой.

— Увы, я не разбираюсь в таких делах,— ответил он.

— Жаль. А я думал, что вы много путешествуете и знаете, как это обычно делается.

— О нет, что вы, я совсем мало путешествую.

Пауза.

— Видимо, вы занимаетесь... э... другими вещами. Вы коммерсант?

— Нет, я не коммерсант.

— Выходит, не дела привели вас в наш город?

Ответа не последовало. Нагель закурил сигару; он не спеша выпускал дым и глядел на небо. Хозяин наблюдал за ним.

— Не поиграете ли вы нам как-нибудь? Я видел у вас скрипку,— сказал хозяин, пытаясь снова завязать разговор.

— Нет, я давно не играю,— равнодушно ответил Нагель.

Вслед за этим он, не произнеся больше ни слова, встал и ушел. Но минуту спустя он вернулся и сказал:

— Послушайте, я вот о чем подумал: вы можете дать мне счет, когда пожелаете. Мне решительно все равно, когда платить.

— Благодарю вас, но это не к спеху,— ответил хозяин.— Если вы к нам надолго приехали, мы сделаем скидку. Я ведь не знаю, намерены ли вы здесь задержаться или нет.

Нагель вдруг оживился и поспешно ответил, причем лицо его безо всякой видимой причины вдруг слегка покраснело.

— Да, не исключено, что я проживу здесь некоторое время,— сказал он.— Все зависит от обстоятельств. А rporos, я, возможно, вам еще этого не говорил: я агроном, сельский житель, сейчас возвращаюсь из путешествия, и вполне вероятно, что задержусь здесь у вас. Возможно также, я забыл вам представиться... Зовут меня Нагель, Юхан Нильсен Нагель.

При этом он подошел к хозяину, сердечно пожал ему руку и попросил извинить за то, что еще до сих пор не представился. На лице его не было и тени иронии.

— Мы могли бы вам предложить лучшую, более тихую комнату. Ведь ваш номер — у самой лестницы, это не всегда приятно.

— Нет, премного благодарен, в этом нет нужды. Комната у меня прекрасная, я вполне ею доволен. К тому же окно выходит на рынок, а это весьма забавное зрелище.

Хозяин помолчал немного и сказал:

— Значит, вы располагаете временем. Как я понял, вы намерены прожить здесь уж, во всяком случае, все лето?

— Два-три месяца наверняка, а быть может, дольше. Точно я сам еще не знаю. Все зависит от обстоятельств. Поживем — увидим.

Тут мимо них прошел какой-то человек и поклонился хозяину гостиницы. Вид у этого человека был жалкий; он был очень мал ростом и крайне бедно одет. Казалось, он хромал на обе ноги, и каждый шаг давался ему с величайшим трудом, но все же передвигался он довольно быстро. Хотя он и поклонился очень низко, хозяин в ответ даже не поднял руки, чтобы коснуться своей шляпы. Нагель, напротив, тут же снял свою бархатную кепку.

Хозяин взглянул на Нагеля и объяснил:

— Этого человека у нас прозвали «Минутка». Он малость тронутый, но его очень жалко, в сущности, это добрейшая душа.

Вот и все, что было сказано тогда о Минутке.

— Я прочел,— начал вдруг Нагель,— несколько дней назад я прочел в газете, что где-то здесь в лесу нашли мертвеца. Кто был этот несчастный? Его фамилия Карлсен, если я не ошибаюсь? Он что, местный?

— Да,— ответил хозяин,— он сын одной здешней женщины, которая ставит больным пивки, вон их красная крыша, там, внизу. Он приехал домой на каникулы

и вдруг, ни с того ни с сего, наложил на себя руки. Это весьма прискорбно — юноша подавал большие надежды и вот-вот должен был стать пастором. Не знаешь, что и подумать, как-то не все тут до конца ясно. У него перерезаны вены на обеих руках, поэтому в несчастный случай поверить трудно. Теперь нашли и нож, маленький перочинный ножик с белой ручкой. Полиция отыскала его только вчера поздно вечером. Скорей всего какая-то любовная история.

— Вот как? Да неужели еще кто-нибудь сомневается в том, что это самоубийство?

— Всегда надеешься на лучшее. Я хочу сказать, что есть люди, которые придумали такое объяснение: дескать, шел он, держа в руках раскрытый ножичек, споткнулся и упал, да так неудачно, что вспорол себе вены на обеих руках. Ха, ха, ха! Я полагаю, что в это трудно поверить, весьма трудно поверить. Но его, конечно, похоронят на кладбище. Нет, мало вероятно, что он просто споткнулся.

— Вы сказали, что нож нашли только вчера вечером. Разве он не лежал рядом с покойником?

— Нет, он валялся в нескольких шагах. Бедняга, должно быть, отшвырнул его прочь, распоров себе вены. Этот ножик нашли совершенно случайно.

— Вот как! Но какой ему был резон швырять нож, если он лежал со вскрытыми венами, ведь и так каждому понятно, что это невозможно сделать без ножа.

— Да, одному только богу известно, что у него было тогда на уме. Но как я вам уже говорил, это скорей всего какая-то любовная история. Сущее безумие! Чем больше я об этом думаю, тем ужаснее мне все это представляется!

— А почему вы считаете, что это любовная история?

— По многим причинам. Впрочем, утверждать здесь что-либо определенное трудно.

— А разве нельзя допустить, что он упал, ненароком споткнувшись? Ведь он лежал в такой дикой позе — ничком, лицом в луже, если я не ошибаюсь.

— Да, и он был весь в грязи. Но это еще ни о чем не говорит. Быть может, он хотел таким образом скрыть следы предсмертных мук на своем лице? Как знать...

— А он не оставил какой-нибудь записки?

— Он как будто на ходу писал что-то; moreover, он частенько делал какие-то заметки, прогуливаясь по этой дороге. Вот люди и думают, что он раскрыл перочинный

ножичек, чтобы очинить карандаш, или что-нибудь в этом духе, но споткнулся и упал, полоснув себя при этом ножиком сперва по одной руке, а потом и по другой, причем оба раза аккуратно у пульса, и все это в один и тот же миг! Ха-ха-ха! Но что-то вроде записки он все-таки оставил—в сжатом кулаке у него оказался клочок бумаги, на котором было написано: «Пусть будет сталь твоя такою же разящей, как «нет» последнее твое».

— Что за чушь! А ножик был тупой?

— Да, тупой.

— Почему же он заранее его не наточил?

— Потому что это был не его нож.

— А чей же?

Хозяин медлит, но потом все же отвечает:

— Это был нож фрекен Хьеллан.

— Фрекен Хьеллан?— переспрашивает Нагель и, помолчав, снова задает вопрос:— Ну, а кто такая фрекен Хьеллан?

— Дагни Хьеллан, дочь нашего пастора.

— Вот как! Любопытно. Кто б мог подумать! Что, этот юноша был так сильно в нее влюблен?

— Да что и говорить! Впрочем, в нее все влюблены, не он один.

Нагель погружается в свои мысли и больше ничего не спрашивает. Тогда хозяин прерывает молчание:

— То, что я вам сейчас рассказал, тайна, и я прошу вас...

— Да, да, конечно,— перебивает его Нагель.— Вы можете быть совершенно спокойны.

Когда Нагель вскоре после этого разговора пошел завтракать, хозяин уже стоял посреди кухни и хвастался, что ему удалось наконец-то толком поговорить с желтым господином из седьмого номера. Он агроном, сообщил хозяин, и только что вернулся из заграничного путешествия, говорит, что собирается прожить здесь несколько месяцев, в общем, бог его знает что это за человек.

II

Вечером того же самого дня случилось так, что Нагель познакомился с Минуткой. Между ними произошел нудный нескончаемый разговор, длился он битых три часа, не меньше. Вот как все это было, от начала и до конца.

Юхан Нагель сидел в кафе гостиницы и просматривал газету, когда в зал вошел Минутка. Другие столики тоже были заняты. За одним сидела грузная крестьянка с красно-черной вязаной шалью на плечах. По всей видимости, Минутку здесь хорошо знали, и хотя он вежливо поклонился во все стороны, присутствующие встретили его громкими возгласами и смехом. Даже крестьянка поднялась со своего места и сделала вид, будто хочет пуститься с ним в пляс.

— В другой раз, в другой раз,— бормочет он, уклоняясь от приглашения, и, направившись прямо к хозяину, обращается к нему, теребя в руках шапку: — Я перетаскал уголь наверх, на кухню. Верно, сегодня уже нет больше работы?

— Конечно, нет, какая еще может быть работа сегодня?

— Конечно, нет,— повторяет Минутка и боязливо пятится.

Он был на редкость уродлив. Правда, у него были кроткие голубые глаза, но отвратительные передние зубы устрашающе торчали из-под губы. Особо отталкивающее впечатление производила его дергающаяся походка — результат давнего увечья. Волосы у него были с сильной проседью, а борода еще темная, но такая редкая, что сквозь нее просвечивала кожа. В прошлом этот человек был моряком, а теперь жил у родственника, который держал небольшую торговлю углем у пристани. Минутка почти никогда, а может быть, и вообще никогда не поднимал глаз на того, с кем говорил.

Его окликает какой-то господин в сером летнем костюме, сидящий за одним из столиков, энергичными жестами подзывает к себе и показывает на бутылку с пивом.

— Подойдите-ка сюда и выпейте стаканчик этого молочка для младенцев! Да еще мне хотелось бы посмотреть, как вы будете выглядеть без бороды,— говорит он.

Почтительно склонив голову, все еще теребя шапку в руках, Минутка направляется к столику, с которого его окликнули. Проходя мимо Нагеля, он кланяется ему и беззвучно шевелит губами. Он останавливается перед господином в сером и шепчет:

— Не так громко, господин поверенный, прошу вас. Вы же видите, здесь присутствуют посторонние.

— Бог ты мой, я хочу лишь угостить вас стаканом пива, а вы ругаете меня за то, что я слишком громко говорю.

— Вы меня не так поняли. Прошу извинения, но в присутствии чужих мне бы не хотелось, чтобы начинались старые шутки. Да и пить пиво я не могу, сейчас не могу.

— Что за новости! Вы не можете выпить пива? Не можете?!

— Нет, благодарю вас, не сейчас.

— Вы не сейчас меня благодарите? Позвольте, а когда же вы меня благодарите? Ха-ха-ха! Ведь вы сын пастора. Следите за своей речью.

— Вы меня не так поняли, но что поделаешь...

— Бросьте, не валяйте дурака. Что это с вами случилось?

Поверенный силком сажает Минутку на стул, тот покорно сидит несколько мгновений, но потом вскакивает.

— Нет, отпустите меня,— просит он,— я не в состоянии пить. Я теперь переношу питье еще хуже, чем прежде, бог его знает почему. Я и опомниться не успеваю, как уже пьян, пьян в стельку.

Поверенный встает, пристально глядит на Минутку, сует ему в руку стакан и приказывает:

— Пейте!

Пауза. Минутка поднимает глаза, откидывает со лба волосы и долго молчит.

— Хорошо, чтобы вам угодить. Но только несколько глотков,— добавляет он.— Я лишь пригублю, чтобы иметь честь с вами чокнуться.

— Пейте до дна!— кричит поверенный и отворачивается, чтобы не расхохотаться.

— Нет, до дна я не смогу. Никак не смогу. Почему я должен пить пиво, если моя утроба его не принимает? Не сердитесь на меня, не хмурьте из-за этого брови. Ну хорошо, я готов выпить все до дна, если уж вы так настаиваете. Надеюсь, пиво не ударит мне в голову. Смешно, конечно, но я совсем не переношу спиртного. Ваше здоровье!

— Пейте до дна, до дна!— снова орет поверенный.— Все, до капли! Вот так, это я понимаю. Ну-с, а теперь присядьте и начните корчить рожи. Для начала поскрипите немного зубами, а потом я отрежу вам бородку, и вы сразу помолодеете на десять лет. Но для начала— поскрежьте зубами!

— Нет, не буду я этого делать, не могу в присутствии чужих людей. Вы не должны этого требовать. Я в самом деле не буду,— говорит Минутка и поднимается, чтобы уйти.— Да и времени у меня нет,— добавляет он.

— Нет времени? Вот беда! Ха-ха-ха! Да, беда, ничего не скажешь. Времени нет, говорите?

— Да, сейчас нет.

— Послушайте, а что, если я вам скажу, что давно уже намерен купить вам новый сюртук взамен вот этого старья... Дайте-ка пощупать, да он ни к черту не годен. Глядите сами! Пальцем дотронешься, и ему конец.— Поверенный ткнул пальцем в маленькую дырочку в сюртуке.— Вот видите, материя так и ползет, совсем истлела. Нет, вы только поглядите, поглядите сами!

— Оставьте меня, Христом богом молю! Что я вам сделал? И не рвите мой сюртук.

— Да говорят же вам, что я завтра подарю вам новый. Я обещаю вам это в присутствии — дайте-ка посчитать — раз, два, три, четыре... семь — в присутствии семи человек! Да что это с вами сегодня? Надулся, сердится! Готов нас всех растоптать. Да, да, готов! И все из-за того, что я, видите ли, посмел дотронуться до его сюртука.

— Извините меня. Я вовсе не сержусь. Вы же знаете, я стараюсь угодить вам во всем, но...

— Ну так угодите мне и сядьте вот сюда.

Минутка откидывает со лба прядь седых волос и садится.

— Вот и хорошо. А теперь угодите мне еще раз и поскрежьте немного зубами.

— Нет, этого я делать не буду.

— Значит, не будете? Да или нет?

— Боже милостивый, что же я вам такого сделал? Оставьте меня, пожалуйста, в покое. Почему я должен быть для всех шутком гороховым? Вот тот незнакомый господин глядит в нашу сторону, я это заметил, он не сводит с нас глаз и, должно быть, тоже потешается. Как только вы сюда приехали, чтобы занять место поверенного, в первый же вечер доктор Стенерсен научил вас издеваться надо мной. А теперь вы даете такой же урок вон тому господину. Один учит этому другого.

— Так как же, да или нет?

— Нет! Слышите вы, нет! — кричит Минутка и вскакивает со стула. Но, словно испугавшись своего отчаянного поступка, он тут же вновь плюхается на стул и бормочет: — Да я уже и не могу скрежетать зубами, поверьте мне.

— Не можете? Ха-ха-ха! Еще как можете! Вы отлично скрежете зубами!

— Богом клянусь — не могу.

— Ха-ха-ха! Вы же в тот раз скрежетали.

— Да, но тогда я был пьян, я ничего не помню, у меня все плыло перед глазами. А после я два дня болел.

— Что правда, то правда,— говорит поверенный,— вы тогда были пьяны, с этим я не спорю. Но к чему, позвольте вас спросить, вы болтаете об этом при посторонних? Этого я от вас не требовал.

Тут хозяин выходит из кафе. Минутка молчит. Поверенный глядит на него и спрашивает:

— Ну, так как же? Долго прикажете ждать? Вспомните о новом сюртуке.

— Я о нем помню,— отвечает Минутка,— но я не хочу и не могу больше пить. Так и знайте!

— Можете и хотите! Слышите, что я говорю? Можете и хотите — говорю я. А если нет, я сам волю вам пиво в глотку...

С этими словами поверенный вскакивает с места, держа стакан Минутки в руках.

— Открывайте пасть! Живо!

— Видит бог, я не хочу больше пива! — кричит Минутка, бледный от волнения. — И никакая сила на свете не заставит меня больше пить. Вы должны извинить меня, но мне делается дурно от пива. Вы даже представления не имеете, как мне потом бывает худо. Сжальтесь надо мной, умоляю вас. Уж лучше... лучше я поскрежещу зубами без пива.

— Что ж, это другое дело. Это, черт возьми, совсем другое дело, если вы готовы скрежетать всухую.

— Да, уж лучше я поскрежещу просто так, без пива...

И Минутка под пьяный хохот присутствующих принимается наконец скрипеть своими ужасными зубами. Нагель, по-видимому, все еще читает газету. Он сидит совершенно неподвижно на своем месте у окна.

— Громче, громче! — орет поверенный. — Скрежешите громче, а то мы вас не слышим.

Минутка сидит на стуле прямо, вцепившись руками в сиденье, словно боится упасть, и скрипит зубами столь усердно, что голова у него трясется от напряжения. Присутствующие хохочут, крестьянка заливается так, что слезы текут у нее из глаз, она просто заходится от смеха и даже два раза харкает на пол, просто так, от восторга.

— Боже праведный, вот умора... Умрешь от смеха! — стонет она. — Ну и шутник этот поверенный...

— Все! Громче не могу,—говорит Минутка,—в самом деле не могу, бог мне свидетель! Поверьте, у меня больше нет сил.

— Нет уж, нет... Отдохните немножко и валяйте снова. Поскрежетать зубами вам еще придется. А потом мы вас побреем. Выпейте-ка пиво. Пейте, пейте, вот ваш стакан.

Минутка качает головой и молчит. Тогда поверенный вынимает кошелек и, положив на стол монету в двадцать пять эре, говорит:

— Прежде вы это делали за десять эре, но мне не жаль заплатить четвертак. Видите, я повышаю ваш гононар. Вот!

— Отступитесь от меня. Я больше не могу.

— Не можете? Вы отказываетесь?

— Боже мой, боже мой, да перестаньте же наконец издеваться надо мной! Даже ради нового сюртука я не буду больше вас потешать. Я ведь тоже человек. Что вы от меня хотите!

— Ну-с, вот что я вам скажу: видите, я стряхиваю пепел с моей сигары в ваш стакан, затем беру эту обгорелую спичку и одну новую спичку, и все это тоже бросаю туда... А теперь я ручаюсь, что вы все же выпьете этот стакан до дна. Выпьете все, до последней капли, ясно?

Минутка вскакивает, он весь дрожит, седая прядь снова падает ему на лицо. Не мигая, глядит он в глаза поверенному. Проходит несколько секунд.

— Ну, будет, будет!—воскликает крестьянка.—Хватит с него! Ха-ха-ха! Помилуй бог!

— Итак, вы не хотите? Вы отказываетесь?—спрашивает поверенный.

Минутка делает над собой невероятное усилие, чтобы что-то сказать, но не может. Все глядят на него.

И тогда вдруг встает Нагель, не спеша кладет на стол газету и медленно идет от своего столика у окна через зал. Он не произносит ни слова, но все же привлекает к себе всеобщее внимание. Он останавливается возле Минутки, кладет ему руку на плечо и говорит громко и звучно:

— Если вы возьмете свой стакан и выплеснете его в лицо этому щенку, я дам вам десять крон и всю ответственность за этот поступок возьму на себя.

Нагель указывает на поверенного, чуть не ткнув пальцем ему в лицо, и повторяет:

— Я говорю про этого вот щенка...

В кафе становится совсем тихо. Минутка испуганно смотрит то на одного, то на другого и бормочет:

— Но... нет... но?..

Больше он ничего не в силах произнести, но эти слова он повторяет все снова и снова дрожащим голосом, так, словно задает вопрос. Все молчат. Поверенный, опешив, отступает на шаг, хватается за спинку стула; бледный как полотно, он тоже не произносит ни звука, хоть рот у него открыт.

— Повторяю,— раздельно и громко продолжает Нагель,— я дам вам десять крон, если вы выплеснете свой стакан в физиономию этому щенку. Вот эти деньги, они у меня в руке. Последствий этого поступка вам тоже опасаться нечего.

И Нагель действительно протягивает Минутке десяти-кроновую бумажку.

Но Минутка ведет себя в высшей степени странно. Ни слова не говоря, он устремляется в дальний угол кафе, ковыляет через весь зал и садится там на пол. Он сидит скрючившись, притиснув к себе колени, опустив голову, и боязливо озирается по сторонам.

Тут дверь кафе отворится и в зал входит хозяин. Он возится за стойкой, не обращая никакого внимания на посетителей. И только когда поверенный вдруг выпускает истошный, почти безумный вопль и, подняв обе руки, бросается на Нагеля, хозяин поднимает голову и спрашивает:

— Что здесь в конце концов происходит?

Но никто ничего не отвечает. Поверенный дважды в бешенстве кидается на Нагеля, но оба раза наталкивается на его сжатые кулаки. Ударить Нагеля ему так и не удастся. От сознания своего бессилия он окончательно теряет голову и принимается нелепо размахивать руками, словно желая всех и вся уничтожить; в конце концов он бочком пятится к столику, спотыкается о табурет и падает на колени; он задыхается, бессильная ярость делает его неузнаваемым; кроме того, он ссадил себе в кровь руки об эти железные кулаки, которые повсюду встречали его бестолковые удары. В кафе поднимается суматоха, крестьянка и ее спутники кидаются к дверям, а остальные кричат, перебивая друг друга, и пытаются помешать драке. Наконец поверенному удается снова подняться на ноги. Он подходит к Нагелю, останавливается перед ним и, вытянув вперед руки, начинает в комическом исступлении вопить, не находя слов, чтобы выразить свое отчаяние:

— Распроклятый!.. Черт бы тебя подрал!.. Мерзавец!..

Нагель глядит на него, улыбается, подходит к его столику, берет лежащую на нем шляпу и с поклоном протягивает ее поверенному. Тот порывисто хватается шляпу с явным намерением швырнуть ее в лицо обидчику, но почему-то одумывается и с маху нахлобучивает ее себе на голову. Потом он резко поворачивается и выходит из кафе. Шляпа сильно измята, и вообще вид у поверенного весьма потешный.

Тут хозяин подлетает к Нагелю и требует у него объяснений. Он хватается Нагеля за рукав и спрашивает:

— Что здесь происходит? Что все это значит?

— Потрудитесь отпустить мой рукав,— говорит в ответ Нагель.— Я вовсе не собираюсь убежать. К тому же здесь ровным счетом ничего не произошло. Просто я оскорбил человека, который сейчас выбежал отсюда, а он пытался защищаться. И это вполне естественно. Так что все в порядке.

Но хозяин продолжает сердиться и даже топает ногой.

— Я не потерплю, чтобы здесь устраивали спектакли. Я не допущу этого! Если вы намерены скандалить, то ступайте на улицу. И чтоб ничего подобного больше не было. Ясно вам!.. Просто с ума все походили!..

— Да ничего особенного не случилось! — вмешиваются несколько посетителей.— Мы свидетели!

И поскольку добропорядочные люди всегда на стороне сильного, они безоговорочно берут сторону Нагеля и наперебой объясняют хозяину, что к чему, а Нагель пожимает плечами и подходит к Минутке. Без всяких обиняков спрашивает он маленького седого шута:

— Кем вам приходится, собственно говоря, поверенный, что он позволяет себе так издеваться над вами?

— Да что вы! — отвечает Минутка.— Никем он мне не приходится. Он мне никто. Правда, однажды я плясал для него на рынке за десять эре. Просто он всегда преследует меня своими шутками.

— Так вы, значит, пляшете за деньги, на потеху зрителям?

— Да, иногда, но не часто. Только если мне позарез нужны десять эре и я не могу их достать другим путем.

— А на что вам деньги?

— Как на что? На многое. Во-первых, я ведь дурачок, я ни на что не гожусь, и мне частенько приходится туго. Когда я служил матросом и мог сам себя прокормить, мне жилось куда как хорошо. А потом я упал с мачты,

расшибся, сломал хребет и с тех пор перебиваюсь кое-как. Меня кормит мой дядя, и вообще я сижу у него на шее, но я ни на что не жалуюсь, у меня есть все что надо, даже с лишком, потому что дядя понемногу торгует углем. Да я и сам вношу кое-что в дом, особенно теперь, летом, когда угля почти не берут. Уверяю вас, это так же верно, как то, что я сейчас говорю с вами. Вот в такие дни эти десятиэровые монетки мне очень кстати, я чего-нибудь покупаю на них и приношу домой. Что же до поверенного, то его веселят мои пляски именно потому, что из-за своего увечья я не могу плясать как люди.

— Значит, ваш дядя не против того, чтобы вы плясали за деньги на рынке?

— Нет, нет, что вы, вы не должны так думать! Он частенько говорит: «Мне не нужны эти шутовские гроши». Да, когда я приношу ему десять эре, он всегда называет их шутовскими и ругает меня за то, что я пошмишище для людей...

— Ну хорошо, это во-первых. А что же во-вторых?

— Простите, что?..

— Ну а что же во-вторых?

— Я вас не понимаю.

— Вы сказали, что, во-первых, вы дурачок, ну а во-вторых?

— Если я так сказал, прошу простить меня.

— Таким образом, выходит, что вы только дурачок, и все.

— Я искренне прошу простить меня.

— Ваш отец был пастором?

— Да, пастором.

Пауза.

— Послушайте,— говорит Нагель,— если вы никуда не спешите, давайте поднимемся ко мне в номер. Вы не против? Вы курите? Отлично. Пойдемте, прошу вас, я живу здесь наверху. Я буду очень рад, если вы заглянете ко мне.

К немалому удивлению всех присутствующих, Нагель и Минутка поднялись на второй этаж и провели вместе весь вечер.

III

Минутка сел на стул, взял сигару и закурил.

— Может, вы что-нибудь выпьете?— спросил Нагель.

— Нет, я не пью. От спиртного у меня голова идет кругом и все начинает двоиться в глазах,— ответил гость.

— Вы когда-нибудь пили шампанское? Ну конечно же, пили.

— Да, много-много лет тому назад, на серебряной свадьбе моих родителей.

— Вам понравилось?

— Да, припоминаю, это было очень вкусно.

Нагель позвонил и велел подать шампанского.

Они потягивают шампанское и курят. Вдруг Нагель, пристально взглянув на Минутку, говорит:

— Скажите... Я хочу задать вам один вопрос, который может показаться смешным. Согласились бы вы, конечно, за известную сумму, чтобы вас записали как отца в метрику ребенка, отцом которого вы не являетесь? Мне это пришло в голову просто так, я не имею в виду ничего определенного.

Минутка глядел на него широко раскрытыми глазами и молчал.

— За небольшое вознаграждение, крон в пятьдесят или, скажем, даже, в две сотни, сумма здесь не имеет значения,— сказал Нагель.

Минутка покачал головой и долго молчал.

— Нет,— проговорил он наконец.

— В самом деле не хотите? Деньги я выплатил бы наличными.

— Все равно! Нет, этого я сделать не могу. Этой услуги я оказать вам не в силах.

— А собственно говоря, почему?

— Не просите больше, оставьте меня. Я ведь тоже человек.

— Да, быть может, это действительно уж слишком, с какой стати вы обязаны оказывать кому-то такую услугу? Но мне хочется задать вам еще один вопрос: согласились бы вы... Ну, могли бы вы, за пять крон, конечно, пройти по городу с газетой или бумажным кулем на спине?.. Вы выйдете отсюда, из гостиницы, потом направитесь на рыночную площадь и на пристань... Согласны вы это сделать? За пять крон?

Минутка смущенно склонил голову и механически повторил: «Пять крон», но ничего не ответил.

— Ну да, за пять или за десять крон. За десять крон вы бы это сделали?

Минутка откинул со лба волосы.

— Я не понимаю, откуда вы, приезжие, наперед знаете, что я для всех шут?— сказал он.

— Как видите, я могу тотчас вручить вам эти деньги,— продолжал Нагель,— все зависит только от вас.

Минутка впивается взглядом в ассигнации. Растерянно глядит на них, облизывает пересохшие губы и не выдерживает.

— Да я...

— Простите,—поспешно останавливает его Нагель.—Простите, что я прерываю вас,—повторяет он, чтобы не дать гостю говорить.—Как ваша фамилия? Я, право, не помню, но, кажется, вы не сказали мне, как вас зовут.

— Меня зовут Грегорд.

— Вот как, Грегорд? Скажите, а тот Грегорд, делегат Эйдсвольского съезда, не доводится вам родственником?

— Да, с ним я в родстве.

— Так о чем же мы говорили? Ах да, значит, ваша фамилия Грегорд? И вы, конечно, не согласитесь заработать эти десять крон таким манером?

— Нет,—неуверенно пробормотал Минутка.

— А теперь послушайте,—сказал Нагель, очень медленно выговаривая каждое слово.—Я с радостью дам вам эти десять крон за то, что вы не согласились на мое предложение. И, кроме этих десяти крон, я дам вам еще десять крон, если вы доставите мне удовольствие и примете эти деньги. Не вскакивайте, пожалуйста, это пустячное одолжение меня ничуть не обременит. У меня сейчас много денег, вполне достаточно, чтобы не испытывать затруднений из-за такой малости.—Вынув деньги из кошелька, он добавил:—Возьмите, пожалуйста, вы доставите мне удовольствие.

Но Минутка сидит молча, от радости у него словно язык отнялся, он с трудом сдерживает слезы. Он часто моргает глазами и всхлипывает.

— Вам, наверно, лет сорок или около того?—спрашивает Нагель.

— Мне сорок три. Пошел сорок четвертый.

— Спрячьте теперь эти деньги в карман. Ну, в час добрый... Кстати, как фамилия поверенного, с которым мы разговаривали внизу, в кафе?

— Не знаю. Все зовут его просто поверенный. Он поверенный в канцелярии окружного судьи.

— Да это, впрочем, и не имеет значения. Скажите-ка лучше...

— Простите!—Минутка больше не может сдерживаться, он так преисполнен благодарности, что непременно хочет высказаться, лепечет что-то бессвязно, как ребе-

нок.— Извините и простите меня,— говорит он. И долгое время он уже не в силах вымолвить ни слова.

— Что вы хотите сказать?

— Спасибо... Спасибо от всего... Сердечное...

Пауза.

— Ну, хватит об этом.

— Нет, не хватит!— восклицает Минутка.— Я прошу меня простить, но никак не хватит. Вы подумали, что я не хочу сделать то, о чем вы меня просили, лишь из упрямства, что мне доставляет радость стоять на задних лапках, как собачонка, но богом вам клянусь... Как вы можете сказать «хватит», когда у вас, наверно, сложилось впечатление, что я просто набиваю цену, что пять крон показались мне недостаточной платой?.. Вот это я и хотел сказать.

— Ну ладно, ладно... Человек, носящий ваше имя и получивший ваше воспитание, не должен вести себя как шут. Знаете, о чем я подумал... Вы ведь в курсе всего, что происходит в городе, правда? Дело в том, что я намерен пожить здесь некоторое время, провести здесь лето. Что вы на это скажете? Вы родом отсюда?

— Да, я здесь родился, мой отец был здесь пастором, и с тех пор, как я получил увечье— вот уже тринадцать лет,— я снова живу здесь.

— Вы, кажется, разносите уголь?

— Да, я разношу уголь по домам, и вы ошибаетесь, если думаете, что мне это трудно. Я уже давно приносивился к этой работе, и мне она совсем не во вред, надо только осторожно подниматься по лестнице. Правда, прошлой зимой я все-таки упал и так расшибся, что долго ходил с палкой.

— Что вы говорите? Как же это случилось?

— Я нес уголь в банк, а ступеньки там немного обледенели. Я подымался с довольно тяжелым мешком. Когда я дошел до середины, я увидел наверху консула Андерсена, который как раз спускался вниз. Я было хотел повернуть назад, чтобы пропустить консула. Нет, он не сказал мне, чтобы я его пропустил, это ведь само собой разумеется. Я и собирался было это сделать, но повернулся так несчастливо, что поскользнулся, упал на правое плечо и покатился с лестницы. «Что с вами?— крикнул мне консул.— Вы не стонете, значит, вы не расшиблись?»— «Нет,— ответил я,— кажется, мне повезло». Но не прошло и пяти минут, как я два раза подряд терял сознание; кроме того, мое старое увечье дало себя знать,

и у меня тут же отек живот. К слову сказать, консул щедро одарил меня, хотя его вины не было никакой.

— Больше вы ничего себе не повредили? Головой вы не ударились?

— Да, голову я себе немного ушиб. Некоторое время я еще и харкал кровью.

— И что, консул вам помогал в течение всей вашей болезни?

— Еще как! Он посылал мне все необходимое. Он и дня не забывал обо мне. Но самое удивительное было вот что: в то утро, когда я наконец смог встать и отправиться к нему, чтобы поблагодарить, он велел поднять флаг на своем доме. Представьте себе, он приказал поднять флаг исключительно в мою честь, хотя это и был день рождения фрекен Фредерики.

— А кто такая фрекен Фредерика?

— Его дочь.

— Вот как! Это весьма трогательно с его стороны. Да, кстати, скажите, вы не знаете, почему здесь в городе несколько дней назад повсюду были вывешены флаги?

— Несколько дней назад? Дайте припомнить... Наверно, это было с неделю назад? Да? Флаги висели в честь помолвки фрекен Хьеллан, Дагни Хьеллан. Вот так одна барышня за другой празднуют помолвку, потом выходят замуж и уезжают. У меня сейчас есть подруги и знакомые, можно сказать, во всех уголках страны, и среди них, поверьте, нет ни одной, с которой мне не хотелось бы встретиться вновь. Все они росли на моих глазах, играли, ходили в школу, принимали первое причастие, становились взрослыми... Дагни двадцать три года, и она любимица всего города. Ах, как она хороша! Она помолвлена с лейтенантом Хансеном, который давным-давно подарил мне вот эту фуражку, что я ношу. Он тоже родом отсюда.

— У фрекен Хьеллан светлые волосы?

— Да, светлые, она такая красивая, что все в нее влюблены.

— Должно быть, я ее повстречал возле усадьбы пастора. Она ходит с красным зонтиком?

— Да. Ни у кого, кроме нее, здесь нет красного зонтика. Если у той барышни, что вы встретили, была толстая светлая коса, то это точно она. Ее у нас ни с кем не спутаешь. Но вам, видно, не довелось еще с ней поговорить?

— Нет, представьте, довелось.— И Нагель задумчиво сказал как бы про себя:— Так это, значит, и была фрекен Хьеллан!..

— Но, наверно, вы обмолвились с ней лишь несколькими словами. Настоящего разговора у вас еще не было, правда? Вам это еще предстоит. Она от души хохочет, когда ей что-нибудь кажется смешным. А часто она смеется безо всякой причины, просто потому, что ей весело. Если вам придется с ней поговорить, то непременно обратите внимание на то, с каким вниманием она слушает, что бы вы ни говорили, никогда не перебьет вас и ответит только после того, как вы замолчите... Она говорит, и краска смущения заливает ей лицо. Я это часто замечал, когда она при мне с кем-нибудь беседовала. Боже, какой она становится красивой в эти минуты! Но я тут, конечно, в счет не иду, со мной она болтает запросто, безо всякого стеснения. Я могу смело подойти к ней на улице, и она всегда остановится и протянет мне руку, даже если спешит. Может, вы мне не верите, но когда-нибудь вы воочию в этом убедитесь.

— Отчего же, охотно вам верю. Значит, фрекен Хьеллан ваша близкая знакомая?

— Просто она ко мне всегда очень добра, не более того. Вот и все. Иногда меня приглашают в дом пастора. Думаю, что не буду нежеланным гостем, даже если зайду и без приглашения. Фрекен Дагни давала мне книги, когда я болел, да, она мне их не присылала, а приносила сама.

— А что это были за книги?

— Вас интересует, какие книги мне под силу читать и понимать?

— Нет, на этот раз вы неверно истолковали мои слова. Вы проникательны, но, повторяю, вы ошиблись. Однако вы занятый человек. Я хотел лишь узнать, какие книги собраны у фрекен Хьеллан, что она читает? Мне это любопытно.

— Помню, как-то раз она принесла мне «Крестьянестуденты» Гарборга и еще две другие книги, одна из них была как будто «Рудин» Тургенева, а в другой раз она читала мне вслух «Непримиримых» Гарборга.

— Это ее личные книги?

— Нет, ее отца. На них стояло его имя.

— Кстати, когда вы отправились к консулу Андерсену, чтобы поблагодарить его, как вы рассказывали...

— Я хотел поблагодарить его за помощь, которую он мне оказал.

— Вот именно. А флаги были вывешены до того, как вы пришли?

— Да, он велел вывесить их в мою честь, консул сам мне это сказал.

— Ясно. А может быть, их все-таки вывесили по случаю дня рождения фрекен Фредерики?

— Что ж, возможно. Вполне возможно, что и так. Это тоже хорошо. Было бы просто позором не вывесить флагов в честь дня рождения дочери.

— Вы, несомненно, правы... Поговорим лучше о другом. Сколько лет вашему дяде?

— Около семидесяти, наверно. Нет, пожалуй, я хватил лишку, но что ему за шестьдесят, это точно. Конечно, он уже старый, но еще вполне бодрый для своих лет. В случае чего он может читать и без очков.

— Как его зовут?

— Тоже Грегорд. Мы оба — Грегорды.

— У вашего дяди дом собственный или он его снимает?

— Комнату, в которой мы живем, он снимает, а угольный склад принадлежит ему. Но не думайте, что нам трудно платить, если вы это имеете в виду. Мы расплачиваемся углем, а иногда мне удается отработать в счет платы.

— Но ведь ваш дядя, наверно, не разносит уголь?

— Нет, это моя обязанность. Он развешивает его и ведет все торговые дела, а я разношу. Да мне это и сподручней, ведь я сильнее.

— Понятно. А стряпать вы, вероятно, нанимаете женщину?

Пауза.

— Извините меня,— сказал наконец Минутка,— и, пожалуйста, не сердитесь, но если вы разрешите, я лучше уйду. Наверно, вы задерживаете меня, только чтобы доставить мне удовольствие, я не могу допустить, чтобы вам было интересно разговаривать со мной о моих делах. А может быть, вы позвали меня к себе по причине, которую я не понимаю? Что ж, тогда куда ни шло. Но если я сейчас уйду, не думайте, что меня кто-нибудь обидит. Я не встречу на улице злых людей, поверенный не караулит меня за дверью, чтобы отомстить, может, вы этого опасаетесь? А даже если бы он и подждал меня, он не сделал бы мне ничего дурного, наверняка не сделал бы, я в этом уверен.

— Вы доставите мне удовольствие, если посидите еще немного. Но вы не должны думать, что обязаны рассказывать мне о себе только потому, что я дал вам

несколько крон на табак. Поступайте как вам заблагорассудится.

— Я останусь, останусь! — воскликнул Минутка. — И да благословит вас Бог! Я счастлив, что вы находите хоть какую-то приятность в моем обществе, — ведь я стыжусь и себя самого, и своего вида. Я мог бы и приодеться немного, если бы знал, что мне предстоит такая встреча. На мне ведь старый скюртук моего дяди, он уже совсем ветхий, это правда, до него и пальцем нельзя дотронуться. А тут еще поверенный разодрал его... Надеюсь, вы меня извините... А что до женщины, которая бы нам стряпала, то у нас такой нет. Мы сами и еду себе готовим, и стираем, но это нам совсем не трудно, к тому же мы упростили все до предела. Если мы, например, утром варим кофе, то вечером выпиваем остатки, даже не разогревая. Обед мы готовим сразу на несколько дней, из чего придется. Да разве мы можем в нашем положении желать лучшего! Кроме того, стирка — тоже мое дело. Для меня это даже развлечение, когда нет другой работы.

Тут снизу до них донесся звон колокольчика, а потом послышались шаги по лестнице — это постояльцы спустились ужинать.

— Звонят к ужину, — сказал Минутка.

— Да, — подтвердил Нагель, но с места не встал и ничем не проявил своего нетерпения. Напротив, он поглубже уселся в кресло и спросил:

— Быть может, вы знали и Карлсена, которого недавно нашли мертвым в лесу? Печальная история, не правда ли?

— Да, очень печальная. Я с ним был хорошо знаком. Прекрасный, благородный человек. Вот что он мне однажды сказал. Меня позвали к нему как-то в воскресенье утром. С тех пор уже, пожалуй, год прошел. Ну да, это было прошлым маем. Он попросил меня отнести письмо. «Хорошо, — говорю, — я отнесу, но на мне такие опорки, что в них стыдно показаться на люди. Если вы разрешите, я сперва сбегаю домой и попрошу дать мне на этот случай башмаки поприличней». — «Нет, в этом нет нужды, — ответил он, — это не имеет никакого значения, если только вы не промочите ноги». Представляете, он беспокоился о том, чтобы я не промочил ноги! Он сунул мне в руку крону и дал письмо. Когда я уже вышел от него, он вдруг распахнул дверь и побежал за мной, лицо его было таким радостным, что я остановился и поглядел на него; глаза его были полны слез. Он крепко обнял

меня, прижал к своей груди, он по-настоящему обнял меня, даю вам слово, и сказал: «Ну, ступайте, старина, несите это письмо. Я не забуду вас. Когда я стану пастором и получу приход, я возьму вас к себе, и вы будете жить у меня. Ну, в добрый час, и да поможет вам Бог!» К сожалению, он так и не получил прихода. Но, останься он жив, он бы сдержал свое слово.

— Вы отнесли это письмо?

— Да.

— А фрекен Хьеллан обрадовалась, когда его получила?

— Откуда вы знаете, что письмо было к фрекен Хьеллан?

— Как откуда? Вы же сами это только что сказали.

— Я? Сказал? Неправда!

— То есть как неправда? Вы хотите сказать, что я лгу?

— Нет, извините меня, возможно, вы и правы, но я не должен был этого говорить. Я выболтал это по рассеянности. Нет, неужто я в самом деле это сказал?

— А что такое? Разве он запретил вам об этом говорить?

— Нет, он не запрещал.

— Значит, она?

— Да.

— Хорошо, можете на меня положиться, я никому об этом не скажу. Но вы понимаете, почему он решил умереть?

— Нет. Надо же было случиться такому несчастью.

— Вы не знаете, когда состоится похороны?

— Завтра в полдень.

Больше об этой истории они не говорили. Некоторое время они сидели молча. Сара просунула голову в дверь и напомнила, что ужин подан. Наконец Нагель прервал молчание:

— Так, значит, фрекен Хьеллан помолвлена? А что из себя представляет ее жених?

— Ее жених — лейтенант Хансен. Бравый офицер и действительно превосходный человек. За ним она будет как за каменной стеной.

— Он богат?

— Отец его очень богат.

— Коммерсант?

— Нет, судовладелец. Их дом неподалеку отсюда, впрочем, дом у них невелик, но большой им и не нужен, ведь когда сын женится, старики останутся одни. У них, правда, есть еще дочь, но она замужем и живет в Англии.

— Как вы думаете, у старика Хансена много денег?

— Думаю, не меньше миллиона. Но никто этого толком не знает.

Пауза.

— Да,— сказал вдруг Нагель.— Несправедливо устроен этот мир. Вот вам бы хоть немного из этих денег, Грегг!

— Избави бог, на что они мне нужны! Надо довольствоваться тем, что имеешь.

— Это только так говорят... А теперь мне хочется вас еще вот о чем спросить. У вас, должно быть, не остается времени для другой работы, раз вы разносите уголь? Это ведь ясно. Но я слышал, как вы спросили хозяина, нет ли у него для вас еще какого-нибудь дела, верно?

— Нет,— ответил Минутка и покачал головой.

— Как же нет? Это было внизу, в кафе. Вы сказали, что принесли уголь на кухню, и спросили у хозяина, не надо ли еще чего-нибудь сделать.

— А, верно, но на то у меня была особая причина. А вы обратили на это внимание?.. Просто я рассчитывал тут же получить деньги за уголь, но не решился попросить об этом хозяина. Вот поэтому я и спросил его, нет ли еще какой-нибудь работенки. У нас сейчас как раз туго с деньгами, и мы надеялись получить за уголь.

— А сколько вам нужно, чтобы выйти из затруднения?—спросил Нагель.

— Бог с вами, что вы, что вы!— воскликнул Минутка.— Не говорите даже об этом, вы и так помогли нам сверх всякой меры. Речь шла всего о шести кронах. А теперь я сижу с вашими двадцатью кронами в кармане, да воздаст вам за это Господь... Дело в том, что мы задолжали лавочнику за картошку и еще кое за что. Он прислал нам счет, и мы с дядей ломали себе голову, как нам раздобыть эти деньги. Но теперь все в порядке, мы можем спокойно лечь спать, а завтра утром проснуться и ни о чем не беспокоиться.

Пауза.

— Ну, а теперь, пожалуй, лучше всего нам будет допить шампанское и на сегодня расстаться,— сказал Нагель и встал.— Ваше здоровье! Надеюсь, мы еще увидимся. В самом деле, вы должны обещать, что непременно навестите меня, я живу, как видите, здесь, в седьмом номере. Благодарю вас за сегодняшний вечер!

Нагель сказал это искренним тоном и пожал Минутке руку. Затем он проводил своего гостя до самых дверей

гостиницы и снова, сняв свою бархатную кепку, низко ему поклонился.

Пятясь, Минутка переступил порог и, не переставая кланяться, заковылял вверх по улице. Он был не в состоянии выдать из себя ни слова, хотя все время силился что-то сказать.

Нагель вошел в столовую и учтиво извинился перед Сарой за опоздание к ужину.

IV

Юхан Нагель проснулся утром от стука в дверь — Сара принесла газеты. Он наскоро пробежал их и швырнул на пол. Сообщение о том, что Гладстон на двое суток был прикован к постели вследствие простуды, но теперь поправился, он перечел дважды и расхохотался. Он лежал, закинув руки за голову, и думал. Время от времени он даже громко разговаривал сам с собой.

Да, опасно гулять по лесу с раскрытым перочинным ножиком в руке. Как легко, оказывается, можно споткнуться и так неуклюже упасть. Вот ведь случилось это с Карлсеном... Впрочем, расхаживать со склянкой яда в кармане тоже опасно, чего доброго, поскользнешься и грохнешься наземь, склянка — вдребезги, поранишься осколком, и яд попадет в кровь. Нет пути, на котором нас не подстерегала бы опасность. Неужто это так? Впрочем, есть один вполне безопасный путь — тот, по которому идет Гладстон. Так и вижу его лицо хитроватого хозяйчика, когда он идет этим путем: как он осмотрителен, как боится оступиться, как он помогает судьбе оградить себя от всех превратностей. Вот и простуда его прошла. Да, этот уж доживет до глубокой старости и до своего смертного часа будет в полном здравии.

Пастор Карлсен, почему ты уткнулся лицом в лужу? Неужели так никто и не узнает, сделал ли ты это сам, чтобы скрыть гримасу страха перед смертью, или тебя так скрючила предсмертная судорога? Ты сам выбрал час своего конца, как ребенок, который боится темноты: среди бела дня, сразу после обеда ты упал на землю, зажав в руке прощальную записку. Бедный, бедный Карлсен!

А собственно, почему ты выбрал для осуществления своей блестящей затеи именно лес? Ты что, так любил лес? Больше, чем поля, дороги или море? «Мальчонка по лесу бродил целый день, по темному лесу бродил, тра-

ла-ла...» Вот, например, Вардальские леса по дороге в Гъевик. Лежать там, и дремать, и забыть обо всем, глядеть вверх, смотреть в небо, ха-ха-ха, да так пристально, что едва ли не слышать, как там шепчутся и обсуждают нас, земных грешников, тут внизу. «Если и этот сюда придет,—шипит покойная мама,—я отсюда уберусь». И делает из этого вопрос государственной важности. Ха-ха-ха, смеюсь я в ответ и говорю: т-ссс, не мешай мне, только не мешай! Я кричу это так громко, что привлекаю к себе внимание двух ангелочков женского пола — Саввы Бьёрнсон и дочери многоуважаемой Яиры. Ха-ха-ха!

Какого черта, собственно говоря, я лежу здесь и смеюсь? Неужто во мне говорит чувство превосходства? Только дети должны иметь право смеяться да совсем молоденькие девушки, и больше никто. Смех — это атавистический признак, доставшийся нам от обезьян, гнусные, бесстыдные звуки, вырывающиеся из горла. Смех исторгается из меня, когда меня щекочут под мышками. Что это мне сказал мясник Хауге, который сам оглушительно хохотал и, к слову сказать, гордился этим? Он сказал, что нет человека, обладающего пятью органами чувств, который бы...

А до чего прелестна была его дочурка! В тот день, когда я повстречал ее на улице, хлестал дождь. В руках у нее были судки, она шла и плакала, потому что потеряла деньги, на которые должна была купить в ресторации готовый обед. О усопшая мама, видела ли ты оттуда, с неба, что у меня не было ни единого шиллинга, чтобы утешить малютку, что я буквально рвал на себе волосы, но у меня не было ни гроша. Тут вдруг по улице продефилировал оркестр, а красивая монахиня обернулась и ослепила меня сверкающим взглядом, потом она смиренно пошла своей дорогой, опустив очи долу, должно быть казня себя за этот сверкнувший взгляд. Но в это мгновение какой-то господин с длинной бородой, в мягкой фетровой шляпе схватил меня за руку, иначе я попал бы под экипаж. Да, видит бог, я чуть не погиб...

Слышишь!.. Один... два... три, как медленно они бьют... четыре... пять... шесть... семь... восемь... неужели восемь? Девять... десять... Уже десять часов! Надо вставать! Интересно, где это бьют часы? Не может быть, чтобы внизу, в кафе. Но ведь это не имеет значения, не имеет значения. А какой нелепый скандал я учинил вчера в кафе! Минутка весь дрожал, я вступился как раз вовремя. Наверняка кончилось бы тем, что он выпил бы

пиво с окурками и спичками. Ну и что с того? Могу ли я спросить тебя, олух ты любопытный: ну и что с того? Какого дьявола я всегда сую свой нос в чужие дела? Да и вообще, на кой черт я сюда приехал? Уж не причина ли этому какой-нибудь мировой катаклизм, вроде простуды Гладстона? Ха-ха-ха! Бог вознаградит тебя, дитя мое, если ты во всем чистосердечно признаешься и скажешь все как есть: ты уже возвращался домой, но вдруг почему-то тебя так взволновал этот заштатный городок, хотя он такой маленький и невзрачный, что ты готов был заплакать от охватившей тебя непонятной щемящей радости при виде всех этих вывешенных флагов. А ргорос, это было двенадцатого июня, и флаги вывесили в честь помолвки фрекен Хьеллан. Два дня спустя я встретил ее саму.

И надо же было мне встретиться с ней как раз в тот вечер, когда я находился в таком смятении и плохо понимал, что делаю. Стоит мне все это вспомнить, и я готов сквозь землю провалиться от стыда.

— Добрый вечер, фрекен, извините, я приезжий, вышел прогуляться и не знаю, куда забрел.

Минутка прав — она тут же краснеет, а когда отвечает, краснеет еще больше.

— А куда вам надо? — спрашивает она и поднимает на меня глаза.

Я снимаю кепку и стою с непокрытой головой. Пока я так стою с кепкой в руках, я придумываю, что ответить:

— Будьте добры сказать мне, как далеко отсюда до города. Только точное расстояние, прошу вас.

— Я не знаю, — говорит она. — Отсюда — не могу сказать, но от дома пастора ровно четверть мили. Это первый дом, который вы увидите на дороге.

И она поворачивается, чтобы идти дальше.

— Благодарю вас, — говорю я, — но если к дому пастора надо идти через лес, а вы направляетесь туда или дальше, то разрешите мне проводить вас. Солнце уже зашло, позвольте мне нести ваш зонтик. Я не буду вас ничем обременять, даже говорить с вами не буду, если вам это неприятно. Разрешите мне только идти рядом с вами и слушать птичий пересвист. Нет, не уходите, не уходите так сразу! Почему вы убегаете?

Но так как она продолжала бежать и не желала меня слушать, я бросился ей вдогонку, чтобы извиниться перед ней.

— Черт меня подери, если ваше ясное лицо не произвело на меня сильнеешего впечатления!

Но тут она припустилась во весь дух, и очень скоро я потерял ее из виду. Она бежала, держа в руке свою тяжелую светлую косу. Никогда я не видал ничего подобного.

Вот как это было. Я не хотел ее обидеть, ничего дурного у меня не было на уме. Готов биться об заклад, что она по уши влюблена в своего лейтенанта. Мне и в голову не приходило навязывать ей себя. Ну что ж, хорошо, все хорошо; ее лейтенант, быть может, решит вызвать меня на дуэль. Ха-ха-ха! Он сговорится с поверенным из канцелярии окружного судьи, и они вместе вызовут меня.

Интересно, подарит ли поверенный Минутке новый сюртук? Мы можем обождать денек-другой, но если он и через два дня не выполнит своего обещания, то придется ему напомнить. Точка. Нагель.

Я видел здесь одну бедную женщину. Когда я проходил мимо, она так робко на меня посмотрела, словно хотела попросить о чем-то, но не могла решиться. Я не в силах забыть ее глаз, хотя она и совсем седая. Я уже четыре раза нарочно шел кружным путем, только чтобы не встретиться с ней. Она не старая, нет, не от возраста побелела ее голова. Ее брови еще очень черные, пугающе черные, ужасающе черные, а глаза из-под них так и мерцают. Почти всегда у нее под фартуком спрятана корзина,— этого она, видимо, и стыдится. Когда она шла мимо меня, я обернулся, поглядел ей вслед и увидел, что направляется она на рынок, вынимает там из корзины два-три яйца и тут же продает их не торгуясь, затем снова прячет корзину под фартук и спешит домой. Живет она в крохотной хибарке, внизу, у пристани. Домишко этот одноэтажный и некрашенный. Однажды я увидел ее через окно; у нее на окне нет занавесок, только подоконник уставлен горшками с белыми цветами. Она стояла в глубине комнаты и, пока я шел мимо, провожала меня взглядом. Бог ее знает, что это за женщина. Но руки у нее совсем маленькие. Я мог бы подать тебе милостыню, седая девушка, но мне хотелось бы помочь тебе иначе.

Впрочем, я знаю, почему твои глаза так потрясли меня, я знал это с первой минуты, как увидел тебя. Странно, что юношеская любовь так долго преследует человека и все вновь и вновь напоминает о себе. Но ведь у тебя не ее благословенное лицо, да ты и гораздо старше ее. А потом, она вышла замуж за телеграфиста и переехала в Кабельвог. Вот так, сколько голов, столько умов.

Я не мог дождаться ее любви, да я бы никогда и не дождался ее. Тут уж ничего не поделаешь. ...Часы пробили половину одиннадцатого... Нет, тут уж ничего не поделаешь. Но если бы ты только знала, как напряженно я думал о тебе все эти двенадцать лет, я никогда не забывал тебя... Ха-ха! Но это уже моя беда, а она здесь ни при чем. Другие помнят только год, и конец, а я мучаюсь десять лет кряду.

Я помогу этой седой девушке, продающей яйца. Я дам ей денег и помогу еще как-нибудь — ради ее глаз помогу... Денег у меня будет хоть отбавляй, стоит мне только дать согласие, и шестьдесят две тысячи крон за именование у меня в кармане. Ха-ха-ха! В подтверждение мне надо лишь взглянуть на стол, там валяются три важнейшие телеграммы... Все это курам на смех! Когда ты агроном и капиталист, то не соглашаешься сгоряча на первое же предложение. Тут, как говорится, нужно семь раз отмерить, обмозговать все как следует. Так ты и поступаешь — обдумываешь сделку не спеша, и ни у кого ни тени сомнения, хотя это — розыгрыш, и притом грубый. О человек, имя твое — осел! Покажи тебе морковку, и ты пойдешь куда угодно. Из кармана моего жилета, который висит вон там, торчит горлышко аптечного пузырька. Это — яд, синильная кислота. Я таскаю его в кармане просто так, забавы ради, и у меня не хватает мужества использовать его по назначению. Почему же я храню эту склянку и зачем я раздобыл ее? Это тоже обман, модное декадентское шутовство, самореклама и снобизм... Фу!.. Как нежна и тонка эта милая рука!..

Или взять хотя бы такую, казалось, невинную вещь, как моя медаль за спасение утопающего. Я ее честно заработал — так, кажется, принято говорить. Чем только не случается заниматься, даже спасением утопающих. Но, видит бог, моей заслуги в этом не было. Судите сами, многоуважаемые дамы и господа: молодой человек стоит у перил палубы, он плачет, его плечи вздрагивают. Когда я с ним заговариваю, он в смятении глядит на меня и бросается вниз, в салон. Я следую за ним, но он уже заперся в своей каюте. Я беру список пассажиров, нахожу его фамилию и узнаю, что у него билет до Гамбурга. Так проходит первый вечер. С тех пор я уже не спускаю с него глаз, настигаю его в самых неожиданных местах и заглядываю ему в лицо. Зачем? Многоуважаемые дамы и господа, судите сами! Я вижу, что он не в силах сдержать слез, он мучительно страдает и подолгу глядит за борт

остановившимися безумными глазами. Мое ли это дело? Конечно, нет, и поэтому судите сами, не стесняйтесь! Проходит несколько дней, поднимается ветер, море бушует. Ночью, часа в два, мой подопечный выходит на кормовую палубу, я, конечно, уже там, лежу, притаившись, и веду наблюдение. В лунном свете лицо его кажется мертвенно-бледным. И что же дальше? Он озирается по сторонам, простирает руки и прыгает через борт ногами вперед. Все же он не в силах сдержать вопля. Сожалеет ли он о своем решении, или его в последний миг охватывает страх? Если это не так, то чего же он вопит? Многоуважаемые дамы и господа, что бы вы сделали на моем месте? Я предоставляю вам право решить это самим. Быть может, вы отнеслись бы с уважением к благородному мужеству этого несчастного, хотя он и дрогнул в последний момент, и остались бы в своем укрытии. Я же, напротив, крикнув что-то капитану на мостике, тоже прыгаю за борт, да так поспешно, что лечу головой вниз. Я барахтаюсь как сумасшедший, мечусь в разные стороны и слышу, что на пароходе громогласно объявляют тревогу. И вдруг я нащупываю его руку, вытянутую, негнущуюся, словно зачоченевшую, с растопыренными пальцами. Он еще слабо бултыхает ногами. Я хватаю его за шиворот, он становится все тяжелей и тяжелей, весь как-то обмякает, совсем перестает двигаться, но в конце концов все же делает рывок, чтобы от меня оторваться. Нас швыряет вверх и вниз, потом на нас обрушивается большая волна и сталкивает нас лбами, да так, что у меня темнеет в глазах. Что прикажете делать? Я скрежещу зубами, ругаюсь на чем свет стоит, но держу голубчика мертвой хваткой до тех пор, пока не подходит шлюпка. Я спас его, спас грубо и бесцеремонно, но не оказал ли ему медвежьей услуги? Ну и что с того? Судите сами, многоуважаемые дамы и господа, я предоставил вам это право. И нечего со мной миндальничать. Мне на это наплевать. Но предположите на миг, что этому молодому человеку было очень важно не приплыть в город Гамбург. Вот ведь какая штука. Быть может, там ему предстояла встреча с человеком, с которым ему до смерти не хотелось встречаться. Но медаль эта — медаль за самоотверженный поступок, и я ношу ее в своем кармане, а не кидаю к свиньям собачьим. И это вам следует учесть в своем приговоре. Судите, как вам заблагорассудится, мне-то, черт побери, какое до всего этого дело? Поверьте, мне все это так безразлично, что я даже забыл имя этого

самоубийцы, хотя он наверняка жив и по сей день. А почему он это сделал? Быть может, от безнадежной любви, быть может, действительно тут была замешана женщина, кто знает? Но ведь мне все это в самом деле безразлично. Точка!..

О, женщины, женщины! Взять, к примеру, Камму, милую датчанку Камму. Да хранит тебя Господь! Нежна, как голубка, просто исходит нежностью, и к тому же полна преданности. Но при всем при том вытягивает из человека последний шиллинг, чуть ли не доводит его до суммы. Склонит этак свою лукавую головку и шепчет: ну, Симонсен, ну, прошу тебя, милый! Господь с тобой, Камма! Ты была сама преданность! И убирайся ко всем чертям, мы квиты...

Ну ладно, пора вставать.

Нет, от таких надо бежать! «Мой сын, опасна женская любовь!..» — как сказал великий поэт, или что он там еще сказал в этом роде?

Карлсен был безвольным человеком, идеалистом, он погиб из-за своих сильных чувств, иначе говоря, из-за своих слабых нервов, что, в свою очередь, означает плохое питание и недостаток физической работы на свежем воздухе... Ха-ха-ха! Работы на свежем воздухе!.. «Пусть будет сталь твоя такую же разящей, как «нет» последнее твое!» Он все-таки испортил свою репутацию цитатой из великого поэта. Предположим, я встретил бы Карлсена еще вовремя, пусть даже в последний день, пусть даже за полчаса до конца, и он рассказал бы мне, что намерен процитировать кого-то в своей предсмертной записке, тогда я ответил бы ему примерно следующее: «Посмотрите-ка на меня, я пока еще владею всеми своими пятью чувствами, и как частица человечества я заинтересован в том, чтобы вы не осквернили свой смертный час строчками из того или другого великого поэта. Знаете ли вы, кто такой великий поэт? Да, великий поэт — это человек, который потерял стыд, который просто не знает стыда. У всех других глупцов бывают в жизни моменты, когда они все же краснеют, оставшись наедине с собой, но с великими поэтами такого не случается никогда. Посмотрите-ка на меня, если уж вам так необходимо кого-нибудь процитировать, то цитируйте географа и не позорьте себя. Виктор Гюго!.. Скажите, у вас еще сохранилось чувство юмора? Однажды барон Леден разговаривал с Виктором Гюго. «Кто, по вашему мнению, первый поэт Франции?» — спросил ехидный барон. Виктор Гюго

криво усмехнулся, покусал губу и в конце концов ответил: «Второй — Альфред де Мюссе». Ха-ха-ха! Но, может, вы утратили чувство юмора? А знаете ли вы, что сделал Виктор Гюго в 1870 году? Он написал обращение ко всем людям на земле, в котором он строго-настрого запрещал немецким войскам осаждать и обстреливать Париж. «У меня там племянники и масса других родственников, я не желаю, чтобы их ранило осколком гранаты!..»

Да, а где же мои башмаки? Куда провалилась Сара с моими башмаками? Уже скоро одиннадцать, а она их еще не принесла.

Итак, будем цитировать географа...

А кстати, до чего же роскошная фигура у этой Сары. И бедрами она раскачивает при ходьбе, словно сытая кобыла. Загляденье, да и только! Интересно, была ли она замужем? Во всяком случае, она вряд ли станет громко визжать, если ее схватишь за ляжку, ее, наверное, недолго придется уламывать... Как-то мне довелось быть свидетелем одной свадьбы и даже, так сказать, присутствовать на ней. М-да. Многоуважаемые дамы и господа, произошло это воскресным вечером на одной железнодорожной станции в Швеции, точнее, на станции Кунгсбака. Убедительно прошу вас запомнить, что это произошло именно в воскресенье вечером. Меня поразили ее большие белые руки; что до него, то это был безусый юнец в новеньком, с иголочки, кадетском мундире. Она тоже была очень юна, оба, можно сказать, совсем дети. Ехали они из Гетеборга. Я наблюдал за ними из-за газеты. Мое присутствие их явно стесняло, и они все время растерянно глядели друг на друга. У девочки возбужденно блестели глаза, и она никак не могла усидеть на месте. Паровоз загудел, поезд подходил к Кунгсбака. Он схватил ее за руку, она его мгновенно поняла, и, как только вагон остановился, они поспешно спрыгнули на перрон. Она со всех ног кинулась к двери с надписью: «Для женщин», он бежал за ней, не отставая ни на шаг. Боже мой, он ошибся, он тоже влетел в дверь «Для женщин» и тотчас притворил ее за собой. В это мгновение грянули церковные колокола, — ведь это был воскресный вечер, — и под колокольный благовест они сидели там, запершись. Прошло три минуты, потом четыре, потом пять... Что с ними? Они там, а колокольный звон плывет над городом, и одному богу известно, не опоздают ли они на поезд! Наконец он приоткрыл дверь и выглянул. Он был с непокрытой головой, а она стояла за его спиной и надевала

ему на голову фуражку. Он обернулся к ней и улыбнулся. Он сбежал со ступенек, она за ним, на ходу оправляя платье. Они вскочили в вагон и снова заняли свои места, и никто не обратил на них внимания, никто, кроме меня. Глаза у девочки были золотые, когда она взглянула на меня и улыбнулась, а ее маленькая грудь вздымалась от прерывистого дыхания. Через несколько минут они уже спали,— заснули, словно провалились, так они счастливо устали.

Ну-с, что вы на это скажете? Многоуважаемые дамы и господа, мой рассказ окончен. Но я обращаюсь не к той очаровательной даме с лорнетом и мужским крахмальным воротничком, я хочу сказать, не к тому вон синему чулку, а лишь к тем двум или трем из вас, кто не живет, подавляя в себе все человеческое, и не занимается общественно-полезной деятельностью. Простите великодушно, если я кого-нибудь обидел, особо прошу прощения у уважаемого синего чулка с лорнеткой. Поглядите-ка, теперь она встает. Так и есть — встает! Готов побожиться, что она либо хочет уйти, хлопнув дверью, либо привести какую-нибудь цитату. А если она намерена цитировать, то лишь затем, чтобы разнести меня в пух и прах. А если она намерена меня разнести, то скажет примерно следующее. «Гм,— скажет она,— никогда не встречала более скотского представления о жизни, чем у этого господина. И это он называет жизнью? Мне остается только предположить, что данный господин никогда не слышал, как замечательно высказывался на эту тему один из величайших мыслителей современности. Жизнь,— сказал он,— это нескончаемая война с демонами в своем сердце и своем мозгу...»

Жизнь, значит, это нескончаемая война с демонами. Да! В своем сердце и своем мозгу. Верно! Многоуважаемые дамы и господа! Однажды норвежец по имени Пер, кучер почтовой кареты, вез некоего великого поэта. Едут они, едут, и вдруг простодушный возница возьми да и спроси: «Прошу прощения, господин хороший, а что это означает: сочинять?» Великий поэт закусывает губу, выпячивает елико возможно свою куриную грудку и изрекает: «Сочинять, мой друг, это беспрестанно вершить суд над самим собой». Этим ответом почтовый кучер Пер был потрясен до глубины души...

Одиннадцать часов. Башмаки... Где мои башмаки?.. Но восставать из-за этого против вся и всех...

Высокая бледная дама, вся в черном, с сладчайшей улыбкой, она желает мне только добра, берет меня за

рукав, чтобы остановить, и говорит: «Если бы вы оказались в силах вызвать такое же общественное движение, как этот великий поэт, вы имели бы право рассуждать о нем».

— Куда мне! — смеюсь я в ответ. — Я не знаком ни с одним поэтом и никогда ни с одним из них и слова не сказал! Я агроном, сударыня, и всю жизнь вожусь с зерном и с дерьмом. Да я, сударыня, не в силах сложить стишок даже про зонтик, не то что про жизнь и смерть и про вечный мир.

— Что ж, можно взять и любого другого великого человека. Вы воображаете невесть что о себе и поносите на чем свет стоит всех великих людей. Но великие люди остаются великими и будут незыблемо стоять на своих пьедесталах на протяжении всей вашей жизни. Вы в этом сами убедитесь.

— Сударыня, — отвечаю я, учтиво склонив голову, — сударыня, боже, до чего все это невежественные суждения, какое интеллектуальное убожество сквозит в ваших словах. Впрочем, извините, что я говорю вам все это прямо в глаза. Но будь вы мужчиной, я готов был бы биться об заклад, что вы принадлежите к левым. Да разве я ниспровергаю всех великих людей? Но я не сужу о величии человека по тому общественному резонансу, который получает его деятельность. Я сужу о нем сам, своим ничтожным умишком и нравственным чувством. Я оцениваю его, так сказать, по тому привкусу, который его деятельность оставляет у меня во рту. Я вовсе не строю из себя невесть что, просто это проявление субъективной логики, которая у меня в крови. Разве так важно вызвать общественное движение лишь для того, чтобы в округе Хейвог псалмам Кинго предпочли псалмы Ланнстада. Дело ведь вовсе не в том, чтобы произвести сенсацию в кружке адвокатов, журналистов или там галлилейских рыбаков, не в том, чтобы издать научный трактат о Наполеоне *petit*. Суть в том, чтобы оказывать влияние на власть, воспитывать ее, воздействовать на избранных, на тех, кто стоит у кормила, на великих мира сего, на Кайаф, Понтиев Пилатов и кесарей. Что толку иметь влияние на толпу, если ты все равно будешь распят? Толпа, правда, может стать такой многочисленной, что она вырвет себе когтями крупицу власти, ей можно дать в руки нож и велеть резать и колоть, ее можно гнать перед собой, словно стадо ослов, чтобы получить большинство при

голосовании, но одержать подлинную победу, завоевать духовные ценности, продвинуть человечество хоть на одну пядь вперед — нет, это толпе не под силу. Великие люди — отличная тема для досужих разговоров, но правители, все, кто поднят над толпой, все, кто сегодня на коне, должны напрячь свою память, прежде чем сообразить, кто он, тот, кого мы величаем великим человеком. Вот и выходит, что великие люди — утеха для толпы, их славословят только адвокаты, учителя, журналисты да еще, быть может, бразильский король.

— Ну... — иронически говорит моя собеседница. Председатель стучит по столу, пытается водворить тишину, но дама не унимается и продолжает: — Ну, раз вы не щадите никого из великих, назовите тех или хотя бы того единственного, который все же чего-то стоит в ваших глазах. Все же забавно узнать...

— Я это охотно бы сделал, — отвечаю я, — но дело в том, что вы поймали бы меня на слове. Стоит мне назвать одно, или два, или даже десять имен, и вы станете утверждать, что никого, кроме названных, я просто не знаю. Да и вообще, зачем мне это делать? Если бы я назвал вам на выбор, например, Льва Толстого, Иисуса Христа и Эммануила Канта, то и вы призадумались бы, прежде чем выбрать самого великого; скорее всего вы сказали бы, что все трое велики каждый на свой лад, и тут вся либеральная, передовая печать с вами бы согласилась.

— А по-вашему мнению, кто из них самый великий? — перебивает она.

— По моему мнению, сударыня, самый великий не тот, кто вызывает наибольшее общественное брожение, хотя теперь, как и в прежние времена, такой человек голосит громче всех. Но внутреннее чувство подсказывает мне: самый великий тот, кто придает нашему существованию наибольший смысл, кто оставляет наиболее ощутимый след. Все дело в масштабах. Если хотите, великий террорист — величайший из людей, так сказать, рычаг, могущий перевернуть миры...

— Но из этих трех имен ведь все же — Христос?

— Несомненно, несомненно, Христос, — торопливо поддакиваю я, — вы совершенно правы, сударыня. И я рад, что хоть в этом пункте мы достигли полного единодушия... Но вообще-то я ни в грош не ставлю ни способность вызывать общественное брожение, ни страсть проповедовать. Все это дар суесловия, чисто

механическое умение тасовать затертые слова, как колоду карт. Кто он, такой проповедник, профессиональный проповедник? Человек, который играет столь же отрицательную роль в обществе, как, скажем, перекупщик. Он — своего рода коммивояжер, и чем больше товара ему удастся сбыть с рук, тем больше его мировая слава. Ха-ха!.. Вот ведь как обстоят дела! Чем базарнее у него ухватки, тем шире его торговля. Какой смысл в том, чтобы проповедовать фаустовские взгляды моему доброму соседу Уле Нурдистуэну! Неужто это изменит образ мыслей грядущих поколений?

— Но как же жить самому Уле Нурдистуэну, если ему никто...

— Да пусть Уле Нурдистуэн провалится в тартарары!..— кричу я.— Уле Нурдистуэну нечего делать в этом мире, его удел бессмысленно слоняться до тех пор, пока его не хватит кондрашка. А значит, чем скорее он даст дуба, тем лучше. Уле Нурдистуэн существует только для того, чтобы удобрять собой землю, это тот солдат, по которому проскакал на своем коне Наполеон. Вот кто такой Уле Нурдистуэн, да будет вам известно! Уле Нурдистуэн, черт меня подери, даже не начало, а уж тем более не итог чего бы то ни было, он даже не запятая в книге жизни, а мушиное пятно на бумаге!.. Вот что такое Уле Нурдистуэн!..

— Замолчите, бога ради, замолчите,— испуганно взмолилась дама в черном и взглянула на председателя, мол, не намерен ли он выгнать меня вон.

— Хорошо,— отвечаю я.— Ха-ха-ха! Хорошо, я буду молчать.— Но тут взгляд мой падает на ее ослепительный рот, и я говорю: — Прошу прощения, сударыня, что я так долго докучал вам всякими глупостями и болтал без умолку. Могу ли я как-нибудь отблагодарить вас за ваши добрые намерения? У вас, сударыня, необыкновенно привлекательный рот, когда вы улыбаетесь. Прощайте.

Она краснеет до корней волос и приглашает меня к себе домой. Да, просто-напросто к себе домой. Туда, где она живет Ха-ха-ха! А живет она на такой-то улице, дом номер такой-то. Ей хотелось бы поглубже обсудить со мной эти вопросы. Она со мной не согласна и имеет ряд возражений. Если бы я пришел завтра вечером, то застал бы ее одну. Ну так как, приду ли я завтра вечером? Благодарю. Итак, до скорой встречи.

Короче говоря, выяснилось, что ей нужно было показать мне новое пушистое одеяло с народным орнаментом, вытканное в Халлиндале.

«Что-то стало жарко. Ах, солнце светит ярко...»

Нагель вскочил с кровати, раздернул занавески и выглянул в окно. Рыночная площадь была залита солнцем, погода стояла прекрасная. Он позвонил. Он решил воспользоваться нерадивостью Сары, чтобы подкатиться к ней. Посмотрим, на что способны здешние девчонки с такими сладострастными глазами. Скорее всего, его ждет разочарование.

Ни слова не говоря, он обнял ее за талию.

— Отстаньте! — буркнула она сердито и оттолкнула его. Тогда он спросил ледяным тоном:

— Почему мне до сих пор не принесли башмаков?

— Ой, простите меня за башмаки, — ответила Сара, — у нас сегодня стирка и пропасть всякой работы.

Он просидел дома до полудня, а потом пошел на кладбище, чтобы присутствовать на похоронах Карлсена. Как всегда, он был в своем желтом костюме.

V

На кладбище еще никого не было. Нагель подошел к вырытой могиле и заглянул в нее. На дне ямы лежали два белых цветка. «Кто бросил их туда и зачем? Я уже где-то видел эти белые цветы», — подумал он и вдруг спохватился, что не брит. Он взглянул на часы, прикинул время и быстрым шагом вернулся в город. На Рыночной площади он увидел поверенного, который шел ему навстречу. Нагель, глядя в упор, двинулся прямо на него. Никто из них ничего не сказал, они не поклонились друг другу. Нагель вошел в парикмахерскую, когда раздался похоронный звон.

Нагель не торопился, ни с кем не заговорил, буквально не проронил ни слова, а молча принялся разглядывать картины, развешанные по стенам. Он переходил от стены к стене и подолгу разглядывал каждую картину. Наконец пришла его очередь, и он уселся в кресло, откинувшись на спинку.

Когда он, свежевыбритый, вышел на улицу, он снова повстречал поверенного, который, видимо, вернулся на площадь и теперь явно кого-то поджидал. В левой руке у него была трость, но как только он увидел Нагеля, он перекинул ее в правую руку и принялся ею размахивать. Они медленно шли навстречу друг другу. «Когда я повстречал его в первый раз, у него не было палки, — подумал Нагель, — а палка эта не новая, значит, он не купил ее, а у кого-то взял. Это испанский тростник».

Когда они поравнялись, поверенный остановился. Нагель тоже остановился; они оба остановились почти одновременно. Нагель слегка сдвинул на лоб свою бархатную кепку, словно намереваясь почесать затылок, а потом снова надел ее как надо. Поверенный же, напротив, громко стукнул тростью о булыжник и грузно оперся на нее. Он простоял так несколько секунд, по-прежнему не говоря ни слова. Вдруг он выпрямился, резко повернулся к Нагелю спиной и пошел своей дорогой. Нагель следил за ним, пока он не исчез за углом парикмахерской.

Эта немая сцена разыгралась на глазах нескольких зрителей. Среди них был, например, продавец лотерейных билетов, а неподалеку сидел торговец гипсовыми фигурками, и он тоже наблюдал эту удивительную встречу. Нагель узнал в нем одного из посетителей кафе, которые оказались свидетелями вчерашнего столкновения с поверенным, а потом приняли его, Нагеля, сторону во время объяснения с хозяином.

Когда Нагель вторично появился на кладбище, пастор уже произносил надгробное слово. Народу собралось невесть сколько. Нагель не подошел к могиле, а присел в сторонке на большую новую мраморную плиту с надписью: «Вильгельмина Меек. Родилась 20 мая 1873 г., скончалась 16 февраля 1891». Вот и все, что там значилось. Плита была только-только из мастерской, а холмик, на котором она покоилась, свежеутрамбован.

Нагель жестом поманил к себе какого-то мальчишку.

— Видишь вон того человека, ну того, в коричневом сюртуке?

— Тот, в фуражке? Это Минутка.

— Сбегай, позови его сюда.

Мальчишка побежал.

Когда Минутка подошел, Нагель поспешно встал, протянул ему руку и сказал:

— Добрый день, мой друг. Рад вас снова увидеть. Вы получили обещанный сюртук?

— Сюртук? Нет, еще нет. Но я его, наверно, скоро получу, — ответил Минутка. — Да, я ведь не поблагодарил вас как следует за вчерашнее — спасибо вам за все... Вот так, сегодня мы хороним Карлсена. Приходится с этим примириться, все мы под Богом ходим.

Они оба сидели на новой надгробной плите и тихо разговаривали. Нагель вынул из кармана карандаш и стал что-то писать на полированном мраморе.

— Кто здесь похоронен? — спросил он.

— Вильгельмина Меек. А мы для краткости звали ее просто Мина Меек. Она ведь и была почти ребенком. Думаю, ей не исполнилось и двадцати.

— Да, судя по надписи, ей не было восемнадцати. Она, что, тоже была прекраснейшим человеком?

— Вы говорите это таким странным тоном, но...

— Я просто подметил вашу удивительную способность хорошо отзываться обо всех людях, какими бы они ни были.

— Если бы вам довелось знать Мину Меек, вы бы со мной согласились, я в этом уверен. Редчайшая душа. Если Господь кого-нибудь берет себе в ангелы, то она наверняка ангел.

— Она была с кем-нибудь помолвлена?

— Помолвлена? Нет, что вы. Во всяком случае, насколько я знаю. Да нет, она не была помолвлена. Она постоянно читала Святое писание и громко разговаривала с Богом, иногда даже на улице, так что прохожие слышали. И тогда люди останавливались и благоговейно молчали. Все здесь любили Мину Меек.

Нагель сунул карандаш в карман. На плите был написан какой-то стишок, карандашные строчки неприятно выделялись на белом мраморе.

— Вы возбудили всеобщий интерес,— сказал Минутка.— Я стоял там и слушал пастора, но заметил, что больше половины присутствующих заняты вами.

— Мной?

— Да. Многие перешептывались и спрашивали друг друга, кто вы такой. А теперь все они смотрят на нас.

— Скажите, кто эта дама с большим черным пером на шляпе?

— Вон та, у которой в руке зонтик с белой ручкой? Это Фредерика Андерсен, фрекен Фредерика, я вам вчера говорил о ней. А рядом с ней, ну, та, которая вот сейчас сюда смотрит,— дочь полицмейстера, фрекен Ульсен, Гудрун Ульсен. Да, я их всех знаю. Дагни Хьеллан тоже здесь. Она сегодня в черном платье, и, пожалуй, оно ей больше к лицу, чем все другие. Вы ее видели? Впрочем, сегодня все в черном, как и положено, а я сижу здесь и болтаю без толку. Видите вон того господина, в легком синем пальто и в очках? Это доктор Стенерсен, он не уездный врач, а занимается только частной практикой; в прошлом году он женился, его жена стоит вон там, в сторонке. Не знаю, видна ли вам маленькая смуглая дама в пальто, отделанном шелковым кантом. Да, это

его супруга. Она часто хворает и поэтому всегда тепло одевается. А вот и поверенный...

— Не укажете ли вы мне жениха фрекен Хьеллан? — спросил Нагель.

— Нет, лейтенанта Хансена тут нет, он в плавании уже несколько дней. Он ушел в море сразу же после помолвки.

Они немного помолчали, потом Нагель сказал:

— На дне могилы лежали два цветка, два белых цветка. Вы не знаете, кто их туда положил?

— Нет... — ответил Минутка. — Впрочем, раз вы спрашиваете... вы сами задали мне этот вопрос... Об этом как-то неловко рассказывать. Может быть, если бы я попросил, эти цветы положили бы на гроб и мне не пришлось бы их вот так подбрасывать. Но ведь это всего два цветка, и куда их ни положи, они так и останутся двумя жалкими цветками. Поэтому я поднялся сегодня около трех утра, вернее сказать, ночи, и пошел на кладбище. Я спрыгнул в могилу и своими руками положил эти цветы на дно, и там, в могиле, я дважды громко попрощался с покойным. Это так потрясло меня, что я убежал в лес и долго стоял, уткнувшись от горя лицом в ладони. Странное чувство испытываешь, когда прощаешься с кем-нибудь навсегда. А ведь Йенса Карлсена, хоть он был по всем статьям куда выше меня, я считал все же своим добрым другом...

— Выходит, цветы эти от вас?

— Да, от меня. Но, видит бог, я сделал это вовсе не для того, чтобы потом хвастаться. О такой малости и говорить-то не стоит. Я купил их вчера вечером, когда шел от вас. Я принес дяде ваши деньги, и он на радостях дал мне полкроны. Он чуть было не сшиб меня с ног, так он расчувствовался. Он хочет сам вас поблагодарить. Да, да, он непременно придет к вам, я в этом уверен. Так вот, получив полкроны, я вспомнил, что не припас цветов для похорон, и тогда я отправился к пристани...

— К пристани?

— Да, к одной женщине, которая там живет.

— В одноэтажном домишке?

— Да.

— У нее седые волосы?

— Да, совсем седые; вы ее видели? Она дочь капитана, но очень нуждается. Сперва она ни за что не хотела брать мои полкроны, но я все же положил монету на стул, хотя она протестовала и все твердила: «Не надо». Она так робка и столько натерпелась из-за своей робости.

— Как ее зовут?

— Марта Гудэ.

— Марта Гудэ.

Нагель вынул свою записную книжку, записал ее имя и спросил:

— Она была замужем? Она вдова?

— Нет. Много лет, пока ее отец водил корабли, она плавала вместе с ним, а когда он умер, поселилась здесь.

— Неужели у нее нет родных?

— Право, не знаю, должно быть, нету.

— На что же она живет?

— Бог ее знает. Это никому не известно. Наверное, получает иногда небольшое пособие от благотворительного общества.

— Послушайте, вы ведь были у нее, у этой Марты Гудэ. Как выглядит ее комната?

— Ну, как может выглядеть комната в такой халупе? Кровать, стол и два стула. Впрочем, нет, припоминаю, что стульев вроде три, потому что в углу, у кровати, также стоит стул, вернее, кресло, обтянутое красным плюшем; оно настолько ветхое, что придвинуто к стене. Больше в комнате ничего нет.

— В самом деле? Так-таки ничего? Неужели на стене нет часов, или старой картины, или еще чего-нибудь в этом роде?

— Нет, а почему вы спрашиваете?

— Ну, а это кресло, обтянутое красным плюшем, кресло, которое уже не может само стоять и придвинуто к стене, как оно выглядит? Оно очень старое? Совсем рухлядь? На нем нельзя сидеть? Но тогда почему оно у кровати?.. Скажите, какая у него спинка? Высокая?

— Да, как будто высокая, точно не помню.

У могилы хором затянули псалом. Погребенье закончилось. Когда допели последний стих, наступила полная тишина. Потом люди стали расходиться. Большая часть толпы направилась к главным воротам кладбища, но многие еще стояли группками и тихо разговаривали. Целая компания молодых людей пошла по дорожке мимо Минутки и Нагеля; дамы с нескрываемым удивлением разглядывали обоих, и глаза их блестели от любопытства. Дагни Хьеллан залилась краской, она глядела прямо перед собой, не смея отвести взгляда ни вправо, ни влево; поверенный тоже не глядел по сторонам и чрезмерно оживленно беседовал со своей спутницей. Когда компания поравнялась с сидящими на мраморной плите

мужчинами, доктор Стенерсен остановился и поманил Минутку. Минутка тут же вскочил и подбежал к доктору, а Нагель остался один.

— Попросите, пожалуйста, этого господина,— донеслось до Нагеля, больше он ничего не расслышал, но вслед за тем доктор довольно громко произнес его имя, и тогда он тоже встал, снял свою бархатную кепку и поклонился.

Доктор извинился; он взялся выполнить малоприятное поручение одной из дам, с которыми сейчас шел, фрекен Меек. Она просит бережнее обращаться с этим мраморным надгробием: ведь плита совсем новая, ее только-только положили. Цемент еще не застыл, а земля рыхлая, и памятник может неравномерно осесть и покоситься. Это просьба сестры покойной.

Нагель рассыпался в извинениях. Это было с его стороны проявлением досадной рассеянности, непростительной небрежности, он прекрасно понимает беспокойство фрекен Меек. И он поблагодарил доктора.

Продолжая разговор, они пошли вместе по дорожке вслед за компанией. У ворот кладбища Минутка откланялся и ушел. Доктор и Нагель остались вдвоем. Только тут они представились друг другу.

— Так вы намерены пожить здесь некоторое время?— спросил доктор.

— Да,— ответил Нагель.— Надо следовать обычаю жить летом на свежем воздухе, отдыхать, набираться сил на зиму, чтобы снова приняться за работу. Это прелестный городок.

— Откуда вы? Я все вслушиваюсь в ваше произношение и никак не могу определить, из какой вы местности.

— Родом я, собственно говоря, из Финмаркена. Я квен. Но жил повсюду, то тут, то там.

— А сейчас из-за границы?

— Всего лишь из Гельсингфорса.

Сперва они говорили о несущественных вещах, но вскоре разговор коснулся серьезных вопросов — выборов, неурожая в России, литературы и смерти Карлсена.

— Как по-вашему, вы хоронили сегодня самоубийцу?— спросил Нагель.

Доктор не может, да и не желает отвечать на этот вопрос. Его это не касается, и у него нет никакой охоты впутываться в эту историю. Говорят самое разное, впрочем, почему бы и не самоубийство? Всем теологам следовало бы наложить на себя руки.

— А почему, собственно?

— Почему? Да потому, что их роль уже сыграна, потому что наш век в них не нуждается. Люди начали думать сами, и религиозное чувство все больше и больше исчезает.

«Левый»,— думает Нагель. Он не может понять, что выиграет человечество, если уничтожить все символы, всю поэзию. Кроме того, еще вопрос, в самом ли деле все теологи окажутся в наше время лишними, тем более что религиозное чувство отнюдь не ослабевает...

— Само собой разумеется, я имею в виду не низшие слои общества, хотя и там все больше и больше... Что до образованных людей, то у них оно безусловно исчезает. Впрочем, не стоит больше об этом говорить. Наши точки зрения столь решительно расходятся,— резко оборвал доктор.

Он человек свободомыслящий и такого рода возражения слышал так часто, что и счет им потерял. Но разве это поколебало его убеждения? Вот уже двадцать лет он ни на йоту не изменяет самому себе. Как врач, он постепенно вытравлял из сознания своих пациентов представление о душе... Нет, нет, он уже перерос все эти предрасудки... Что вы думаете о выборах?

— О выборах?— Нагель рассмеялся.— Надеюсь, что все будет в порядке.

— Конечно, я тоже!— подхватил доктор.— Если правительство не получит большинства при такой действительно демократической программе, это будет просто позор.

Доктор принадлежал к «левым» и был радикалом с тех самых пор, как стал немного разбираться что к чему. Его тревожит положение в округе Бускеруд, да и, пожалуй, на округ Смоленен надежды тоже плохи. Вся беда в том, что у «левых» слишком мало средств. Люди с деньгами, такие, как вы, должны бы нас поддержать. Ведь сейчас, в самом деле, поставлено на карту будущее страны.

— Я? С деньгами?— переспросил Нагель.— Увы, на этот счет мне похвастаться нечем.

— Ну, понятно, вы не миллионер, но кто-то говорил мне, что вы богач, что вы, например, владеете поместьем, оцененным в шестьдесят две тысячи крон.

— Ха-ха-ха! Потеха, да и только! В действительности же я на днях получил небольшое наследство от матери — несколько тысяч крон. Вот и все. Никакого поместья и в помине нет. Это мистификация.

Тем временем они дошли до дома доктора — двухэтажного особняка с верандой, крашенного охрой. Краска кое-где облупилась, водосливы проржавели, в одном из окон второго этажа было выбито стекло, а занавески отнюдь не отличались свежестью. Запущенность дома неприятно поразила Нагеля, и ему тут же захотелось уйти, но доктор сказал:

— Не зайдете ли к нам? Нет? Но я надеюсь тогда увидеть вас у себя в другой раз. Моя жена и я будем вам очень рады. А то, может быть, зайдете, познакомитесь с женой?

— Но ведь ваша жена была на похоронах, едва ли она вернулась.

— Пожалуй, вы правы. Она ушла с кладбища с друзьями. Тогда милости прошу в другой раз, когда будете проходить мимо.

Нагель направился к себе в гостиницу. Как раз в тот момент, когда он собирался войти в дверь, он что-то вспомнил. Он прищелкнул пальцами, коротко, но громко рассмеялся и произнес почему-то вслух: «Любопытно, там ли еще стишок?» После этого он повернул назад, дошел до кладбища и разыскал могилу Мины Меек. Вокруг не было ни души, но стишок оказался стертым. Кто это сделал? От написанных карандашом слов не осталось и следа.

VI

На следующее утро Нагель был веселым и просветленным. Это настроение пришло к нему, когда он еще лежал в постели. Ему вдруг почудилось, что потолок его комнаты поднимается все выше и выше, уходит в бесконечность и превращается в далекий и ясный небосвод. И он явственно ощутил, что его обвевает мягкий, ласковый ветер, словно он лежит на лужайке в зеленой траве. В комнате жужжали мухи; было теплое летнее утро.

Он мигом оделся, вышел из гостиницы не позавтракав и отправился бродить по городу. Пробило одиннадцать часов.

Чуть ли не из каждого дома доносились звуки рояля, из открытых окон, от квартала к кварталу, неслись разные мелодии, и какой-то чувствительный пес отвечал им протяжным воем. Светлая, безотчетная радость овладела Нагелем, исподволь он начал напевать что-то про себя,

а когда прошел мимо старика, который поклонился ему, он воспользовался этим, чтобы сунуть старику шиллинг.

Поравнявшись с большим белым домом, он замечает, что на втором этаже распахивается окно и тонкая белая рука опускает крючок в петлю. Занавеска продолжает колыхаться, рука задерживается на крючке, и Нагель соображает, что кто-то из-за занавески наблюдает за ним. Он останавливается и глядит наверх, он долго стоит выжидая, но никто не показывается в окне. Тогда он смотрит на табличку у двери: «Ф.-М. Андерсен, датское консульство».

Нагель пошел было дальше, но еще раз обернулся и увидел в окне продолговатое аристократическое лицо фрекен Фредерики, которая устремила на него удивленный взгляд. Он снова остановился, глаза их встретились, и ее щеки постепенно стали пунцовыми, но, словно бросая вызов, фрекен Фредерика слегка подтянула рукава и облокотилась на подоконник. Она долго стояла так, не меняя позы, и Нагель решил положить этому конец и двинулся дальше, а на ум ему пришла странная мысль: уж не стояла ли молодая дама на коленях перед окном. «Если это так,— рассуждал он про себя,— то в доме консула очень низкие потолки, потому что окно находится на высоте не более шести футов, а от верха рамы до крыши нет и фута». Он тут же рассмеялся над своими дурацкими расчетами — на кой ляд ему сдался дом консула Андерсена!

Внизу, на пристани, работа кипела вовсю. Грузчики, таможенные чины, рыбаки сновали у причалов и сустились, каждый был занят своим делом, гремела цепью лебедка, два парохода почти одновременно загудели, готовясь к отплытию. Море сверкало как зеркало, отражая ослепительный солнечный свет, и казалось, что это не море, а гигантский диск из чистого золота, в который впаяны пароходы и лодки. С огромного трехмачтового судна, стоящего на рейде, доносились трели шарманки, и когда на мгновение смолкали гудки пароходов и грохот лебедки, тоскливая мелодия робко, словно прерывистый замирающий девичий голос, заполняла тишину. На борту трехмачтовика команда веселилась, и матросы, дурачась, лихо отплясывали польку под дрожащие звуки унылой песенки.

Вдруг Нагель заметил девочку, совсем крохотку, которая стояла, прижав к груди кошку; задние лапы свисали, почти касаясь земли, но кошка терпеливо все сносила

и не делала никаких попыток вырваться. Нагель погладил девочку по щеке.

— Это твоя кошка? — спросил он.

— Да. Два, четыре, шесть, семь.

— Вот как, ты и считать умеешь!

— Да. Семь, восемь, одиннадцать, два, четыре, шесть, семь.

Он пошел дальше. В той стороне, где находилась усадьба пастора, взмыл в небо белый голубь, словно ошалевший от солнца, и тут же исчез за верхушками деревьев. Он был подобен серебряной стреле, сверкнувшей вдали. Раздался негромкий сухой выстрел, и вслед за ним над лесом, по ту сторону залива, поднялось облачко голубоватого дыма.

Дойдя до последнего причала, Нагель несколько раз прошелся взад-вперед по пустынной набережной, а потом почему-то взобрался на холм и скрылся в лесу... Он шагал уже добрых полчаса, все больше и больше углубляясь в чашу, и остановился наконец на узенькой тропинке. Его поразила тишина вокруг, ни звука, ни даже птичьего щебета, а на небе ни облачка. Он отошел на несколько шагов в сторону, выбрал место посуше и лег на спину, вытянувшись во весь рост. Справа находилась усадьба пастора, слева — город, а над ним безбрежным океаном раскинулось голубое небо.

Вот бы очутиться там, в вышине, побродить между светилами и почувствовать, как кометы своими хвостами овеивают твой лоб! Как мала земля и как жалок человек! Чего стоит вся Норвегия с двумя миллионами крестьян и земельным банком для получения ссуд? Быть человеком ради такой малости? В поте лица, локтями проталкиваться вперед сколько-то там лет, полных забот, чтобы затем все-таки, все-таки исчезнуть! Нагель стиснул руками голову. Это кончится тем, что он сам уйдет из жизни, сам поставит точку. Хватит ли у него духу? Решится ли он? Да. Бог свидетель, он не пойдет на попятный в последний момент. И вдруг он почувствовал себя невыразимо счастливым от мысли, что у него в запасе есть этот простой выход. Он так разволновался, что на глазах его выступили слезы и у него перехватило дыханье. И снова он как бы плыл по небесному океану, закидывал серебряную удочку и напевал. И лодка его из благоуханного дерева, и весла сияют, как белые крылья, и парус — полумесяц голубого шелка...

Он дрожал от радостного возбуждения, забыл обо всем на свете и отдался жгучим солнечным лучам. Он

словно опьянел от тишины, ничто не разрушало колдовства этих минут, только откуда-то сверху доносился мелодичный мягкий звук, похожий на шум ветра,— это гудела машина вселенной, это Бог крутил свое колесо. А лес застыл,—ничто не шелохнется, ни лист, ни даже иголка на сосне. Нагель сжался в комочек, подтянул к подбородку колени, его бил озноб — так остро он ощущал переполнившую его радость. Кто-то вдруг позвал его, и он ответил «да»; он приподнялся, опираясь на локоть, и огляделся — никого не было видно. Он еще раз крикнул «да!» и прислушался, но никто не отозвался. Это было странно, он так отчетливо слышал, что кто-то назвал его по имени; но он тут же перестал об этом думать, ведь ему могло и померещиться, во всяком случае, он не допустит, чтобы ему мешали. Он был в каком-то странном состоянии, каждая клеточка его тела налилась физическим ощущением блаженства, каждый нерв ликовал, и кровь пела в жилах, он чувствовал свое нерасторжимое сродство с природой — с солнцем, с горами, со всем, что его окружало, каждое дерево, каждая кочка, каждая травинка казались ему его вторым «я».

Так пролежал он довольно долго, наслаждаясь одиночеством. Вдруг он услышал чьи-то шаги, на этот раз действительно услышал, тут уж он не мог ошибиться. Он приподнял голову и увидел человека, который шел по тропинке из города. Человек этот нес под мышкой ковригу хлеба и вел за собой на веревке корову. Он то и дело вытирал пот с лица, куртку он перекинул через руку — очень уж было жарко, но шея у него все же была дважды обмотана толстым красным шарфом. Нагель лежал тихо и наблюдал за крестьянином. Вот он перед нами, полюбуйтесь! Вот он, истинный норвежец, потомственный хуторянин. Ха-ха! Уроженец здешних мест, соль земли, с ковригой под мышкой и коровой, плетущейся следом. Ну и зрелище! Ха-ха-ха-ха-ха! Размотал бы ты, с Божьей помощью, о норвежский викинг, свой красный шарф да вытряхнул бы из него вшей! Но тогда ты погиб бы, ты глотнул бы свежего воздуха и тут же помер. И газеты оплакивали бы твою безвременную кончину и посвятили бы тебе все свои страницы. И чтобы не допустить в дальнейшем повторения этой печальной истории, либеральный депутат Ветле Ветлесен внес бы в стортинг законопроект о строжайшей охране национальных паразитов.

В голове Нагеля роились саркастические образы. Он вскочил и отправился в обратный путь, взвинченный

и в дурном настроении. Нет, все-таки он всегда оказывается прав, куда ни глянь — нигде ничего не увидишь, кроме вшей, лежалого сыра и катехизиса Лютера. А горожане, эти обыватели средней руки, замурованные в своих убогих домишках, недоедают, изо дня в день торгуют зеленым мылом, медными гребешками и рыбой и тешат себя лишь водкой да выборами. По ночам же, когда грохочет гром и сверкают молнии, они трясутся в своих постелях и в страхе бормочут молитвы из сборника Юхана Арендта. Покажите мне хоть одно исключение, скажите, возможно ли оно? Подарите нам, например, хоть одно выдающееся преступление, махровый грех. Я не говорю о мелких, мещанских грешках, нет, я имею в виду такое бесстыдное распутство, от которого бы волосы стали дыбом, кровавое злодеяние, королевский грех, исполненный чудовищной красоты ада! Ах, до чего все ничтожно! Что вы думаете о выборах, сударь? Меня тревожит положение в округе Бускеруд...

Но когда Нагель снова оказался на пристани, в самой гуще деловой суতোлки, его настроение стало мало-помалу исправляться, он повеселел, даже начал опять напевать себе что-то под нос. Да разве устоишь против такой погоды! День выдался на редкость хороший, просто отличный, сияющий июньский день. Весь городок утопал в солнце и сверкал, словно волшебный.

Пока Нагель дошел до гостиницы, дурное настроение отлетело от него, горечь исчезла, в сердце не было злости, и снова возник образ лодки из благоуханного дерева с парусом из голубого шелка в виде полумесяца.

Это приподнятое состояние не покидало Нагеля весь день. Под вечер он снова вышел пройтись, снова направился к морю, и снова множество мелочей приводило его в восторг. Солнце садилось, резкий, слепящий дневной свет был уже приглушен и мягко разливался по морской глади; ничто не нарушало тишины, кроме звуков, доносящихся с кораблей, но и они стихали. Нагель заметил, что на пристани то там, то здесь стали вывешивать флаги, да и на многих домах города тоже, и вслед за тем вся работа в порту прекратилась.

Он не обратил на это никакого внимания и снова пошел в лес, долго бродил, очутился в конце концов у пасторской усадьбы и даже заглянул во двор, потом снова вернулся в лес, продрался в чашу, где было уже

совсем темно, и присел на валун. Одной рукой он подпер голову, пальцами другой барабанил по колену. Так сидел он долго-долго, быть может, целый час, а когда наконец поднялся, солнце уже зашло, синяя дымка сумерек окутала город.

Выйдя из леса, он остановился, пораженный. На холмах, куда ни глянь, всюду горели костры — их было, наверно, не меньше двадцати, они пылали как маленькие солнца. Залив кишмя кишел лодками, и на них то и дело рассыпались красные и зеленые искры — это жгли бенгальские огни. С одной из лодок, с той, в которой пели четверо гребцов, пустили даже несколько ракет. На набережную высыпало множество людей, они прогуливались или стояли группами, а пристань была просто черной от народа.

Нагель не смог сдержать возгласа изумления, он обратился к первому встречному и спросил, что означают эти костры и флаги. Тот взглянул на Нагеля, сплюнул, еще раз взглянул и ответил, что сегодня двадцать третье июня — канун Иванова дня. Вот оно что, канун Иванова дня! Ну конечно, так оно и есть, ошибки тут быть не может, ведь нынче и в самом деле двадцать третье июня. Подумать только, ко всему сегодня еще и ночь на Ивана Купалу! Одна радость догоняет другую, канун Иванова дня, вот ведь какая штука! Весело потирая руки, Нагель тоже поспешил на пристань и все повторял про себя, что сегодня у него удивительно счастливый день.

Еще издали Нагель увидел кроваво-красный зонтик Дагни Хьеллан, а когда, подойдя поближе, заметил, что в группе молодых людей, с которыми стояла фрекен Хьеллан, был и доктор Стенерсен, он, не долго думая, направился прямо к нему. Нагель приподнял кепку, пожал ему руку и почему-то еще долго стоял с непокрытой головой. Доктор представил его обществу; фру Стенерсен тоже протянула ему руку, и он сел рядом с ней. Она поражала бледностью, землисто-серый цвет кожи придавал ей болезненный вид, но она была очень молода, едва ли старше двадцати лет. Она куталась в не по сезону теплую накидку.

Нагель надел кепку и сказал, обращаясь ко всем:

— Прошу извинить, что я ворвался в ваше общество таким незванным...

— Да что вы, вы этим доставили нам только удовольствие, — любезно прервала его фру Стенерсен. — Быть может, вы нам что-нибудь споете?

— Увы, я не в силах этого сделать. Я начисто лишен каких-либо музыкальных талантов.

— Напротив, очень удачно, что вы пришли,— сказал доктор Стенерсен,— мы как раз о вас говорили. Вы ведь играете на скрипке?

— Нет,— ответил Нагель, покачал головой и улыбнулся.— Нет, я не играю...

И вдруг, безо всякого повода, он вскакивает с места и говорит с сияющими глазами:

— Я так счастлив сегодня. Весь день, с самого утра, с той самой минуты, как проснулся, у меня радостно на душе. Вот уже десять часов, как я словно зачарованный. Представьте себе, меня буквально преследует видение: будто я плыву в лодке из благоуханного дерева с голубым шелковым парусом в виде полумесяца. Разве это не чудесно? Запах дерева я описать не могу при всем желании, даже если бы умел находить точные слова... Нет, вообразите только, я сижу в этой лодке и закидываю удочку, серебряную удочку... Простите, но разве вы, милые дамы, не находите, что это... Не знаю, право, как это выразить.

Дамы молчали, переглядывались в смущении, словно спрашивая друг у друга, как следует себя вести. В конце концов кто-то из них засмеялся, и тогда, не зная жалости, все они громко расхохотались.

Нагель обвел их взглядом, глаза его горели, он явно еще думал о лодке с голубым парусом, но руки его слегка задрожали, хотя лицо сохраняло спокойствие. Доктор, чтобы его выручить, сказал:

— Понятно, это своего рода галлюцинации, которые...

— Нет, прошу прощения,— перебил его Нагель.— А впрочем, пусть так, почему бы и нет? Дело ведь не в том, как вы это назовете. Я весь день грезил наяву, а была ли это галлюцинация или еще там что-нибудь,— право, не знаю. Началось это с самого утра; когда я еще лежал в постели, я услышал, как жужжит муха, это было мое первое осознанное восприятие после того, как я проснулся; потом я увидел, как солнечный луч вонзается в комнату сквозь дырочку в шторе. И тут же меня охватило светлое, радостное чувство. В душе моей возникло ощущение лета. Представьте себе еле уловимый шелест растущей травы, и звук этот пронизывает ваше сердце... Вы говорите— галлюцинации,— да, вероятно, я этого не знаю; но прошу обратить внимание на мою особую

восприимчивость в это утро, на то, что я услышал жужжание мухи как раз в нужный момент и что именно в этот момент достаточно было ровно столько солнечного света и такой яркости, как тот луч, который проник ко мне сквозь дырочку в шторе, ну и так далее... А когда я потом встал и вышел на улицу, я первым делом увидел престеленную даму в окне особняка,— тут он поглядел на фрекен Андерсен, которая опустила глаза,— потом я увидел корабли, потом маленькую девочку с кошкой на руках и так далее, и так далее— то есть множество разных вещей, произведших на меня определенное впечатление. Вскоре после этого я попал в лес, и там, когда я лежал на спине и глядел в небо, мне представилась лодка и полумесяц паруса.

Дамы опять засмеялись; доктор, казалось, тоже заразился их весельем и спросил уже с улыбкой:

— Так вы, значит, удили серебряной удочкой?

— Да, серебряной.

— Ха-ха-ха!

И вдруг Дагни Хьеллан, густо покраснев, сказала:

— А я прекрасно понимаю, как такое может пригреться. Я вот отчетливо вижу и эту лодку, и голубой парус, подобный полумесяцу... и сверкающую серебряную удочку над водой. По-моему, это красиво...

Больше она ничего не могла сказать, она запнулась и умолкла, потупив глаза.

Нагель тут же пришел ей на помощь.

— Ведь верно? И я сказал самому себе: это вещее видение. Да, это предзнаменование, и пусть оно поможет тебе понять, что нельзя удить в мутной воде, только в чистой, только в чистой!.. Вот вы, доктор, спросили, играю ли я на скрипке, нет, я не играю, я не умею играть. Я вожу с собой футляр от скрипки, но в нем нет инструмента,— увы, один футляр, он набит грязным бельем. Мне казалось, что если в твоём багаже не только чемоданы, но и скрипка,— это производит хорошее впечатление. Вот я и завел себе такой футляр. Быть может, у вас составится теперь очень дурное мнение обо мне, но тут уж ничего не попишешь, хотя, поверьте, я искренне сожалею... А впрочем, во всем виновата серебряная удочка.

Изумленные дамы не смеялись больше. Доктор, поверенный Рейнерт из окружного суда и адъютант — все трое застыли, разинув, как говорится, рты от удивления. Взгляды всех были прикованы к Нагелю, доктор был явно растерян. Что это нашло на этого странного, не-

весть откуда появившегося господина? А сам Нагель преспокойно сидел на своем месте и, видно, ничего больше говорить не собирался. Тягостному молчанию, казалось, не будет конца. Но тут положение спасла фру Стенерсен. Она была сама любезность, окружала всех прямо-таки материнской заботой и бдительно следила, чтобы никто не чувствовал себя обиженным. Она даже нарочно морщила лоб и сдвигала брови и вообще старалась казаться старше своих лет только для того, чтобы придать своим словам больший вес.

— Вы приехали из-за границы, господин Нагель?

— Да, сударыня.

— Из Гельсингфорса, так, кажется, говорил мне муж?

— Да, из Гельсингфорса. То есть сейчас я непосредственно из Гельсингфорса. Я агроном и прослушал там небольшой курс лекций.

Пауза.

— А как вам понравился город?— снова спросила фру Стенерсен.

— Гельсингфорс?

— Нет, наш город.

— О, это чудный город, прелестное местечко. Просто не хочется отсюда уезжать, решительно не хочется. Ха-ха! Пожалуйста, не пугайтесь, быть может, я все же в конце концов уеду, смотря по тому, как сложатся обстоятельства... А ргорос,— добавил он и снова вскочил с места.— Если я помешал вам, то прошу извинить меня. Дело в том, что мне очень приятно посидеть вот так с вами. У меня, собственно говоря, почти никого нет, проводить время мне, можно сказать, не с кем. Я всем чужой, поэтому я приучил себя сам с собой разговаривать. Вы доставите мне большое удовольствие, если просто забудете о моем присутствии и продолжите вашу беседу, словно меня здесь нет.

— Однако вы уже успели внести некоторое разнообразие в нашу жизнь,— злобно заметил поверенный Рейнерт.

На это Нагель ответил:

— Да, господин поверенный, вам я должен принести еще особые извинения, я готов дать вам любое удовлетворение, которое вы пожелаете, но не сейчас. Хорошо? Только не сейчас.

— Да, конечно, сейчас не время и не место,— согласился Рейнерт.

— А кроме того, у меня сегодня так радостно на душе,— сказал Нагель и как-то особенно тепло

улыбнулся. От этой улыбки лицо его просветлело, и он вдруг стал похож на ребенка.— Какой удивительный сегодня выдался вечер, а скоро загорятся и звезды. Вокруг на холмах полыхают костры, а с моря доносится пенье. Прислушайтесь! По-моему, поют неплохо. В пенье, правда, я мало что смыслю, но разве это не прекрасно? Мне вспоминается одна ночь на Средиземном море, у берегов Туниса. На борту нашего парохода было человек сто пассажиров,— все артисты хора,плыли они из Сардинии. Я, естественно, держался в стороне, да и петь я не умею, я просто сидел на палубе и слушал, как хор поет в салоне, они пели всю ночь напролет. Никогда не забуду, как звучали песни той душной, южной ночью. Я тихо притворил все двери салона, я, так сказать, запер их пеньем, и тогда стало казаться, будто звуки эти поднимаются откуда-то из морской глубины, да, будто наш пароход уносится под эти звуки в вечность. Представьте себе поющее море, Нептунов хор.

Фрекен Андерсен, сидевшая рядом с Нагелем, не смогла удержаться, чтобы не воскликнуть:

— Боже! Как это, должно быть, замечательно!

— Я однажды слышал еще более прекрасное пенье, но это было во сне. Да и сон этот приснился мне давным-давно, когда я был еще маленьким. Взрослым не снятся такие чудные сны.

— Разве не снятся? — переспросила фрекен Андерсен.

— Нет. Возможно, это некоторое преувеличение, но... Мой последний сон я до сих пор помню очень ясно: передо мной раскинулось бескрайнее болото... Впрочем, извините меня, я болтаю без умолку и мучаю вас, заставляя все это выслушивать. Так недолго и наскучить. Поверьте, я не всегда так много говорю.

Но тут Дагни Хьеллан снова вступила в разговор.

— Я уверена, что любой из присутствующих предпочитает слушать вас, нежели говорить сам.— И, наклонившись к фру Стенерсен, она прошептала: — Уговорите его, пожалуйста, продолжать, дорогая, прошу вас, сделайте это. Какой у него голос, послушайте только!

— Я охотно буду продолжать,— сказал Нагель с улыбкой.— Сегодня я что-то особенно расположен говорить. Одному богу известно, что это на меня нашло... Впрочем, в том сне ничего особенного и не было. Передо мной, значит, раскинулось огромное болото. Деревья на нем не росли, но оно было покрыто какими-то корнями, походившими на извивающихся змей. И среди этих

странных корней бродил сумасшедший. Он и сейчас еще стоит у меня перед глазами — бледное лицо с темной бородой, но такой короткой и редкой, что сквозь нее просвечивает кожа. Он озирается по сторонам, и его широко открытые глаза полны страдания. Я лежал, притаившись, за камнем и окликнул его. Он тут же поглядел на этот камень, несколько не удивившись, что его окликают, словно он прекрасно знал, что я лежу именно там, хотя из-за камня меня не было видно. Безотрывно смотрел он на камень, а я думал: «Все же ему меня не найти, ну, а в крайнем случае, если он ко мне приблизится, я всегда успею отскочить». И хотя мне было не по себе от его пристального взгляда, я снова окликнул его, чтобы подразнить. Он сделал несколько шагов по направлению ко мне и оскалился, норовя вцепиться в меня зубами, но он не мог больше сделать ни шагу — нагромождения корней преграждали ему путь, пригибали его к земле. Он оказался словно прикованным к месту. Я снова крикнул ему, я кричал много раз подряд, и он в ярости попытался продраться сквозь корни, хоть как-то раздвинуть их и проложить себе путь; он хватал корни охапками, расшвыривал их по сторонам, выбивался из сил, стремясь настигнуть меня, но тщетно. Тогда он застонал от бессилья, я явственно слышал его стоны. В глазах его застыла невыносимая боль. Когда я убедился, что нахожусь в полной безопасности, я поднялся, встал перед ним во весь рост и принялся махать кепкой и дразнить его пуще прежнего. Я все кричал и кричал: «Эй ты!» — топал ногами и снова кричал. Потом я подобрался еще ближе к нему, и, чтобы довести несчастного до иступления и окончательно лишить его рассудка, тыкал в него пальцем, и снова и снова оскорбительно орал ему в самое ухо: «Эй ты, эй ты!» Потом я отбежал немного назад, — пусть, мол, поймет, как близко я стоял от него. Но он все еще не сдавался, он продолжал воевать с корнями; остервенев от боли, он все еще пытался расшвырять их по сторонам, он весь изодрался, разбил в кровь лицо и, поднявшись на цыпочки, глядел на меня в упор и вопил! Пот градом катился с его лица, искаженного нечеловеческой мукой оттого, что он не мог меня настигнуть. А я, я весь сгорал от желания разъярить его еще больше. Я снова подскочил к нему, защелкал у него под самым носом пальцами и с гнусной ухмылкой произнес: «Хи-хи-хи». Потом я швырнул в него корнем и угодил ему в губы, чуть не сбил его с ног, но он только сплюнул кровь, отер губы

ладонью и тут же вновь принялся расшвыривать корни. Тогда я, совсем осмелев, протянул руку, чтобы стукнуть его по лбу, я хотел тут же отскочить, но он успел вцепиться мне в руку. О Господи, как это было страшно! Он в ярости рванулся ко мне и, как клешней, стиснул мне руку. Я закричал и отпрянул от него, и он, не выпуская моей руки, послушно поплелся за мной. Мы выбрались из болота. Теперь, когда он держал меня за руку, корни перестали быть ему помехой. Мы подошли к тому камню, за которым я сперва притаился. Тут он вдруг упал на колени и стал целовать землю, по которой я ступал; окровавленный, истерзанный, он валялся предо мной в грязи и благодарил меня за то, что я был так добр к нему. Он благословлял меня и просил Господа Бога благословить меня за мою доброту. Его широко раскрытые глаза светились преданной мольбой, он молился за меня и целовал не мои руки, даже не башмаки, но землю, только землю, по которой я ступал. Я спросил: «Почему ты целуешь землю?» — «Потому что рот мой кровоточит и я не хочу запачкать твои башмаки», — ответил он. Подумать только, он не хотел запачкать мои башмаки! Тогда я снова спросил: «За что же ты благодаришь меня, ведь я причинил тебе только зло и страданье?» — «Я благодарю тебя за то, — ответил он, — что ты не причинил мне еще больших страданий, за то, что ты был добр ко мне и не истязал меня еще больше». — «Хорошо, — сказал я, — но почему же ты тогда кричал мне что-то и даже щерил зубы, чтобы вцепиться в меня?» — «Я вовсе не хотел в тебя вцепиться, я открыл рот, чтобы просить тебя о помощи, но я не смог выговорить ни слова, и ты не понял меня. А кричал я от невыносимого страдания». — «Ты кричал от страдания?» — переспросил я. «Да...» Я поглядел на сумасшедшего, он все еще отплевывался кровью, но продолжал молиться за меня. И тут я понял, что уже видел его прежде, что я его знаю, и был он вовсе не таким уж старым — седые волосы, жалкая реденькая борода... Это был Минутка.

Нагель умолк. Все были потрясены. Поверенный Рейнерт опустил глаза и долго не отрывал взгляда от земли.

— Минутка? Это был Минутка? — переспросила фру Стенерсен.

— Да, он, — ответил Нагель.

— Уф! Мне даже стало как-то не по себе.

— А я это знала! — вырвалось вдруг у Дагни Хьеллан. — Я поняла это, когда вы сказали, что он бросился

на колени и стал целовать землю. Поверьте, я тотчас догадалась. Вы хорошо с ним знакомы?

— Нет. Я виделся с ним раза два, не больше... Но послушайте, боюсь, я вам всем вконец испортил настроение. Сударыня, вы так побледнели. Помилуй бог, ведь все это мне приснилось!

— Да, это уже никуда не годится,— подхватил доктор.— Черт с ним, с этим Минуткой, пусть себе целует на здоровье хоть все корни в Норвегии, нам-то что... Ну вот и фрекен Андерсен расплакалась. Ха-ха-ха!

— Я и не думаю плакать,— сказала фрекен Андерсен.— С чего это вы взяли? Но, по правде сказать, сон произвел на меня впечатление. Впрочем, я думаю, что и на вас тоже.

— На меня?— воскликнул доктор.— Разумеется, нет! Ни малейшего! Ха-ха-ха! Да вы все просто с ума посходили. Давайте-ка лучше пройдемся. А ну, поднимайтесь, поднимайтесь. Становится прохладно. Ты не озябла, Йетта?

— Нет, ничуть. Посидим еще немного,— ответила ему жена.

Но доктор во что бы то ни стало хотел гулять. Он снова сказал, что становится прохладно и что если общество не желает, то он пойдет один, потому что не в состоянии больше сидеть без движения. Нагель встал и пошел вместе с ним.

Они прошли несколько раз взад-вперед по набережной, с трудом пробираясь сквозь толпу, болтали о том о сем и раскланивались со знакомыми. Так гуляли они около получаса, пока фру Стенерсен не крикнула им:

— Идите скорей сюда! Знаете, что мы решили? Собраться завтра вечером у нас. Пригласим побольше народу. И вы, господин Нагель, тоже непременно должны прийти. Но предупреждаю, у нас так заведено: чем больше общество, тем меньше угощения...

— Но зато тем больше шума,— весело перебил ее доктор,— это известно. А знаешь, тебе сейчас пришла недурная идея, Йетта. Ты не всегда бываешь так находчива.— У доктора тут же исправилось настроение, лицо его расплылось в улыбке в предвкушении завтрашнего веселья.— Только не приходите поздно, и будем надеяться, что меня не вызовут к больному.

— Но я ведь не могу прийти в этом костюме,— сказал Нагель.— А другого у меня нет.

Все засмеялись, а фру Стенерсен воскликнула:

— Приходите безо всяких церемоний. Это будет очень мило.

На обратном пути Нагель оказался рядом с Дагни Хьеллан. Он не приложил для этого никаких особых стараний, все вышло как-то само собой. Но и Дагни не сделала ничего, чтобы этого избежать. Она сказала, что уже заранее радуется завтрашнему вечеру, потому что у доктора всегда бывает уютно и просто, Стенерсены — превосходные люди, и у них очень весело, но тут вдруг Нагель перебил ее и спросил, понизив голос:

— Смею ли я надеяться, фрекен, что вы простили мне ту нелепую выходку в лесу?

Он произнес это горячим шепотом, так взволнованно, что она была вынуждена ответить:

— Да, теперь мне понятнее ваше поведение в тот вечер. Вы, видно, не совсем такой, как все.

— Благодарю вас,— прошептал он,— Да, да, я благодарю вас так, как никогда не благодарил никого в жизни. Но почему вы думаете, что я не такой, как все? Знайте, фрекен, что весь вечер я старался сгладить то дурное впечатление, которое, наверное, сложилось у вас обо мне поначалу. Каждое мое слово было предназначено только для вас. Ну, что вы на это скажете? Только прошу вас помнить, что я очень виноват перед вами и должен был что-то предпринять. Правда, весь нынешний день я и в самом деле находился в каком-то совсем особом настроении; но все же я намеренно изобразил себя хуже, чем я есть на самом деле, играл роль — и все это лишь затем, чтобы заставить вас поверить, что я действительно не вполне вменяем, что я вообще способен на странные выходки; я надеялся, что так скорее заслужу ваше прощение. Поэтому я ни к селу ни к городу вылез со своими снами и даже выставил себя на смех, рассказав о футляре для скрипки, добровольно признался в чудачестве, хотя никто меня к этому не вынуждал...

— Простите,— поспешно прервала она его.— Зачем вы мне это рассказываете и снова портите все дело?

— Нет, я ничего не порчу. Если я вам признаюсь, что в тот вечер в лесу я действительно на мгновение поддался дурному чувству и бросился за вами, вы меня поймете. Мне вдруг нестерпимо захотелось напугать вас за то, что вы побежали от меня. Ведь я вас тогда еще не знал. Но если я сейчас говорю вам, что я такой же, как и все, вы меня тоже поймете. Я ломал комедию и своим нелепым поведением поверг в изумление целое общество с единст-

венной целью смягчить вас настолько, чтобы вы согласились хотя бы выслушать меня. И этого я добился. Вы меня выслушали — и все поняли.

— Нет, я должна откровенно признаться, что не совсем понимаю вас. Ну, пусть так. Я не стану ломать себе голову...

— И не нужно, с какой стати! Но признайтесь, завтрашний прием устраивают потому, что, по общему мнению, я — странный тип, этакий чудак, от которого можно ожидать разных нелепых выходов. Боюсь, я вас разочарую, не исключено, что я за весь вечер и рта не раскрою, а может, и вообще не приду. Одному богу известно, что будет завтра.

— Нет, вы непременно должны прийти.

— Должен? — переспросил он и посмотрел на нее.

Больше она ничего не сказала. Они молча шли рядом.

Так они дошли до дороги, ведущей к усадьбе пастора. Фрекен Хьеллан остановилась, рассмеялась вдруг и сказала:

— Нет, в жизни еще такого не слыхала!.. — И покачала головой.

Они стояли, дожидаясь остальных, которые немного отстали; он хотел спросить, можно ли ему проводить ее до дому, и уже было на это решился, но в тот миг она обернулась и крикнула адьюнкту:

— Идите же, идите скорей! — и оживленно замахала рукой, чтобы его поторопить.

VII

На следующий день, ровно в шесть, Нагель появился у доктора. Он думал, что пришел слишком рано, но все общество, с которым он познакомился накануне, было уже в сборе. Среди гостей двое были ему незнакомы — адвокат и какой-то белобрысый студент. За двумя столами пили коньяк с сельтерской, а за третьим сидели дамы, поверенный Рейнерт и этот самый студент и оживленно болтали. Адьюнкт, человек молчаливый, от которого обычно и слова не услышишь, уже успел набраться как следует. Красный как рак, он был в приподнятом настроении и громко рассуждал о чем попало... Взять хотя бы Сербию, где восемьдесят процентов населения совершенно неграмотны, разве там дело обстоит лучше? Ну-ка, пусть ему ответят на этот вопрос! И адьюнкт окинул

гневным взглядом присутствующих, хотя решительно никто ему не возражал.

Хозяйка дома подозвала Нагеля и усадила его за свой стол. Что он будет пить?

«А мы как раз говорили о Христиании»,— сказала она. Какая странная идея пришла ему в голову— поселиться в их маленьком городке, когда у него был выбор и он мог бы жить в самой Христиании!

Нагель возразил, что вовсе не находит эту идею странной, просто ему захотелось пожить немного в сельской местности, устроить себе что-то вроде каникул. А в Христиании, к слову сказать, он сейчас не согласился бы оказаться ни за какие коврижки. Христиания— это последнее место, которое он бы выбрал.

— Да помилуйте, неужели? Ведь Христиания— столица! Туда стекаются все знаменитые, все выдающиеся люди страны, не говоря уже о выставках, концертах, театрах и тому подобном.

— Да и сколько там иностранцев!— вставила фрекен Андерсен.— Гастролеры из разных стран: актеры, певцы, музыканты, художники.

Дагни Хьеллан сидела молча, она только слушала.

Возможно, все это и так, согласился Нагель. Но когда при нем упоминают Христианию,— он уже, право, не знает почему, но всякий раз он видит перед собой часть района Грэндсен и чувствует затхлый запах вывешенной для просушки одежды. Правда, правда, он не выдумывает. И у него возникает образ чванливого провинциального городка с двумя церквями, двумя газетами, гостиницей и колонкой, куда все ходят за водой, но при этом почему-то населенного самыми великими людьми на свете. Нигде он не встречал более кичливых людей, чем там, и сколько раз, бог ты мой, когда он там жил, он мечтал оттуда уехать!

У поверенного не укладывалось в голове, что можно испытывать такую глубокую антипатию не к отдельной личности, но к городу в целом, к столице государства. Христиания теперь уже не похожа на какой-нибудь там заштатный городишко, она по праву занимает далеко не последнее место среди столиц мира. Да и про кафе «Гранд» не скажешь, что это захудалое кафе.

Сперва Нагель ничего не возразил на замечание относительно кафе «Гранд», но затем наморщил лоб и сказал так громко, что все услышали:

— «Гранд»— это в своем роде уникальное заведение.

— Вы, кажется, говорите это с иронией?

— Отнюдь нет. «Гранд» — это знаменитое место, где собираются исключительно великие люди: если художники, то лучшие в мире, если студенты, то подающие самые большие надежды, редактора — самые блестящие, женщины — самые роскошные, поэты — самые-рассамые. Ха-ха! Сидят там день-деньской и пыжаты друг перед другом, величают друг друга гениями и счастливы от этого безмерно. Я сам видел, как там ликует всякий, кому удается привлечь к себе внимание других.

Слова Нагеля вызвали у всех раздражение. Поверенный наклонился к фрекен Хьеллан и сказал ей довольно громко:

— В жизни своей не встречал такого надменного господина!

Она вскинула голову и метнула быстрый взгляд на Нагеля; он несомненно слышал замечание поверенного, но, видимо, пропустил его мимо ушей, более того, он чокнулся со студентом и с полным равнодушием заговорил о другом. Ей тоже претило его высокомерие. Бог его знает, что он о них всех думает, если считает себя вправе угощать их такой наглой болтовней. Что за самомнение, что за мания величия! И когда поверенный спросил ее, каково ее мнение, она ответила намеренно громко:

— Мое мнение? Извольте: для меня Христиания достаточно хороша!

Но и после ее слов, как бы обращенных к нему, Нагель продолжал оставаться невозмутимо спокойным. Он лишь внимательно посмотрел на нее, словно силясь понять, чем он мог ее рассердить. Он не сводил с нее глаз, наверно, больше минуты, шурился, явно о чем-то напряженно думал, и лицо его при этом было печально.

Но тут и адьюнкт включился в разговор и горячо запротестовал против утверждения, будто Христиания меньше, скажем, Белграда. Да и вообще Христиания, спору нет, ничуть не меньше любой столицы средней величины.

Все расхохотались. Адьюнкт с пылающими щеками и непоколебимыми убеждениями и в самом деле выглядел комично. Адвокат Хансен, небольшого роста толстяк со сверкающей лысиной, смеялся громче всех, его очки в золотой оправе тряслись, он бил себя по коленкам и хохотал до упаду.

— Средней величины! Средней величины! — хрипло выкрикивал он. — Христиания ничуть не меньше других

столиц той же величины. Той же величины!.. Ничуть не меньше! Ах, бог ты мой!.. Ваше здоровье!

Нагель снова вступил в разговор со студентом Эйеном. Да, в юности он, Нагель, тоже очень увлекался музыкой, особенно Вагнером, но с годами это прошло. Впрочем, дальше умения читать ноты и извлекать кое-какие звуки из инструмента у него дело не двинулось.

— Вы играли на рояле?— спросил студент.

Рояль был и его инструментом.

— Нет, упаси бог! На скрипке. Но, как я уже сказал, похвастаться мне было нечем, и я вскоре это забросил.

Взгляд его случайно упал на фрекен Андерсен, которая, устроившись подле кафельной печки в углу, вот уже не менее четверти часа болтала с поверенным, их глаза встретились неожиданно, мимолетно, но она умолкла на полуслове и беспокойно заерзала на стуле.

Дагни сидела в сторонке и хлопывала по ладони сложенной газетой. На ее длинных белых пальцах не было колец. Нагель украдкой разглядывал ее. Боже, до чего же она в этот вечер была хороша! Освещенные лампой, ее густые светлые волосы на фоне темной стены казались еще светлей. Правда, когда она вот так сидела, можно было заметить, что у нее есть некоторая склонность к полноте; но стоило ей встать, как это впечатление пропадало. У нее была легкая плавная походка, словно она не шла, а скользила на коньках.

Нагель поднялся и подошел к ней.

На какой-то миг она вскинула на него свои темно-синие глаза, и тогда у него вырвалось помимо воли:

— Господи, до чего же вы хороши!

Эта откровенность вконец смутила ее, она хотела что-то сказать, но не смогла. В конце концов она прошептала:

— Будьте же хоть немного благоразумны!

Затем она подошла к роялю и принялась перелистывать ноты; щеки ее горели.

Доктор, томившийся от желания поговорить о политике, вдруг спросил:

— Вы читали сегодняшние газеты? «Моргенблад», черт меня побери, позволяет себе последнее время невесть что! Площадная брань, а не язык цивилизованных людей.

Никто доктору не возразил, и он замолк. Адвокат Хансен знал, что нужно хозяину дома для вдохновенья, и поэтому подчеркнуто спокойно заметил:

— Справедливость требует признать, что виноваты обе стороны.

— Ну, дожили!..—воскликнул доктор и вскочил.— Уж не хочешь ли ты сказать, что...

Но тут пригласили к столу. Общество двинулось в столовую, но доктор не умолк, и спор продолжался за ужином. Нагель, который сидел между хозяйкой дома и юной фрекен Ульсен, дочерью полицмейстера, не принимал в нем участия. Когда встали из-за стола, разговор о европейской политике еще не иссяк. Уже были высказаны мнения о царе, о Констане, о Парнелле, а когда углубились, наконец, в обсуждение балканского вопроса, адъютанту снова представился случай наброситься на Сербию. Он как раз только что читал в «Statistische Monatschrift», что положение там ужасное, школы в полном запустении...

— Но одно обстоятельство вселяет в меня глубокую радость,—сказал доктор, и глаза его увлажнились.— А именно то, что Гладстон еще жив. Нальем же бокалы, господа, и выпьем за здоровье великого Гладстона — истинного демократа, нашего современника и человека будущего.

— Подождите, пожалуйста, мы тоже хотим присоединиться к вам! — воскликнула фру Стенерсен. Она наполнила бокалы, проливая от чрезмерного усердия вино, и, держа поднос в дрожащих руках, обнесла дам.

Все выпили.

— Ну, разве он не молодец! — продолжал доктор, прищелкнув языком.— Правда, последнее время он немного приболел, простудился, бедняга, но будем надеяться, он вскоре поправится. Никого из нынешних политиков мне не было бы так жалко потерять, как Гладстона. Господи, когда я думаю о нем, он видится мне таким гигантским маяком, указывающим путь всему миру... У вас такой отсутствующий взгляд, господин Нагель, вы что, не разделяете моего мнения?

— Простите, о чем вы? Само собой разумеется, я с вами совершенно согласен.

— Конечно, Бисмарк мне тоже импонирует, но Гладстон!..

Доктору по-прежнему никто не возражал, все знали, что иначе унять его будет невозможно. В конце концов разговор совсем затух, и доктору пришлось предложить обществу сыграть в карты, чтобы хоть как-то убить время. Кто будет играть? Но тут фру Стенерсен крикнула на всю комнату:

— Нет, это я должна всем рассказать! Знаете, что мне сейчас сказал Эйен? Оказывается, господин Нагель не всегда так высоко ценил Гладстона, как сегодня. Эйен слышал однажды выступление господина Нагеля,— кажется, это было в рабочем союзе, да? Так вот, там он просто разделал Гладстона под орех. Хороши же вы, господин Нагель, ничего не скажешь! Неужели это правда? Нет уж, не отмалчивайтесь, не отмалчивайтесь!..

Фру Стенерсен проговорила все это вполне добродушно, с улыбкой, даже шутливо погрозила пальцем и еще раз потребовала, чтобы он признался, правда ли это.

Нагель смутился и ответил:

— Это, должно быть, какое-то недоразумение.

— Не стану утверждать, что вы вконец развенчали Гладстона,— сказал студент Эйен,— но вы на него резко нападали. Помню даже, что вы назвали Гладстона ханжой.

— Ханжой? Гладстона — ханжой! — вскричал доктор.— Вы что, были пьяны, старина?

Нагель рассмеялся.

— Нет, я не был пьян. А может быть, и был, уж, право, не помню. Похоже, что был.

— Клянусь, не иначе! — с торжеством произнес доктор.

Нагелью не хотелось пускаться в объяснения, он не поддержал разговора, и тогда Дагни Хьеллан шепнула фру Стенерсен:

— Заставь его высказаться. Слушать его так забавно.

— А что вы, собственно говоря, тогда имели в виду? — спросила фру Стенерсен.— Раз вы так резко критиковали Гладстона, значит, у вас было свое особое мнение. Пожалуйста, изложите его нам. Вы доставили бы нам большое удовольствие, а то все сядут за карты, и воцарится такая скука...

— Что ж, если я могу вас развлечь, тогда, конечно, другое дело, извольте.

Хотел ли он этими словами подчеркнуть роль, которую играл в обществе, но так или иначе губы его искривились в усмешке.

Нагель начал с того, что не помнит случая, о котором говорит господин Эйен... Видел ли кто-нибудь из присутствующих Гладстона и слышал ли, как тот выступает? Когда видишь его на трибуне, он производит сильное впечатление: это само благородство, сама справедливость. Кажется, уж в чем, в чем, а в его чистой совести и усомниться невозможно. Разве способен такой человек

совершить что-либо дурное, согрешить перед Господом Богом! Он так глубоко проникнут сознанием своих добродетелей, что предполагает их и у всех своих слушателей, наперед исполнен уверенности, что и каждый из них — воплощенная добродетель...

— Но разве это не превосходная черта? Она лишь свидетельствует о его справедливости и гуманном образе мыслей,— прервал Нагеля доктор.— Никогда еще не слышал таких странных рассуждений.

— Абсолютно с вами согласен. Я сказал это, только чтобы характеризовать, чтобы выделить эту превосходную черту его личности. Ха-ха-ха! А теперь я расскажу вам случай, который мне сейчас припомнился, впрочем, мне, пожалуй, незачем его рассказывать, достаточно лишь назвать имя Кери. Не знаю, помнят ли здесь все, как Гладстон, будучи министром, не гнушался пользоваться доносами предателя Кери? К слову сказать, именно Гладстон и помог ему потом удрать в Африку, чтобы спасти его от мести фениев. Но сейчас речь не о том, это уж другая история. По правде говоря, я и сам не придаю особого значения таким мелочам — к каким только хитростям иной раз не приходится прибегать министрам! Но чтобы вернуться к тому, с чего мы начали, надо признать, что у Гладстона, когда он произносит речи, совесть безусловно чиста. Вот если бы вам довелось увидеть Гладстона на трибуне, я обратил бы ваше внимание на выражение его лица, когда он говорит. Он так преисполнен сознанием своей кристальной чистоты, что оно светится в его взгляде, звучит в переливах его голоса и прорывается в его жестах. О, как бесконечно долго льется его речь! Источник его красноречия не иссякает никогда. Вы бы только поглядели, как он находит свой ключик к каждому сидящему в зале: несколько слов торговцу скобяными товарами, несколько слов скорняку. И каждое его слово звучит так веско, словно он ценит их по кроне за штуку. Да, это и вправду забавное зрелище! Гладстон — рыцарь неотъемлемых прав, он сражается лишь за то, что уже завоевано. Ему никогда и в голову не придет снисходительно отнестись к чьему-либо заблуждению. Иначе говоря: когда он знает, что право на его стороне, он становится беспощадным, всячески подчеркивает силу своей позиции, буквально тычет ею в глаза слушателям и ничем не побрезгует, дабы пристыдить своих противников. Его мораль — самая здоровая и самая непреходящая. Еще бы — он выступает

во имя христианства, гуманизма и цивилизации! Если бы кто-нибудь предложил ему столько-то там тысяч фунтов стерлингов, чтобы спасти от эшафота невинно осужденную женщину, он тотчас бы спас ее, с негодованием отверг бы деньги и никогда не поставил бы себе в заслугу этот поступок, ни за что не поставил бы, он просто не желает ставить себе такое в заслугу. Вот какой это человек! Неутомимый борец, он стремится творить только добро на нашей грешной земле, он ежедневно готов сражаться за справедливость, правду и Бога. И какие только бои он не выигрывал! Дважды два — четыре, правда победила, да прославится имя Господне!.. Впрочем, Гладстон способен и на более смелое утверждение, чем дважды два — четыре; я сам слышал, как однажды, во время прений по бюджету, он доказывал, что если семнадцать умножить на двадцать три, получится триста девяносто один, и он одержал в тот раз блестящую, воистину грандиозную победу, он снова оказался прав, и эта правда лучилась в его глазах, звенела в его голосе и придавала монументальность его фигуре. Тут я привстал со своего места, чтобы получше разглядеть этого человека. Я понимал, что истина на его стороне, но все же привстал. И вот стою я и размышляю о полученном им числе триста девяносто один, мне очевидно, что результат правильный, но все же почему-то я говорю себе: «Нет, погоди, семнадцать на двадцать три будет триста девяносто семь.» Я, конечно, прекрасно знаю, что на самом деле это будет девяносто один, но все-таки, наперекор всем, упираюсь: девяносто семь, только чтобы не оказаться одного мнения с этим человеком, этим профессиональным защитником права. Какой-то голос вопиет во мне: «Восстань, восстань против этой плоской правоты!» И я восстаю, движимый жгучей внутренней потребностью, и утверждаю: «девяносто семь!» Настаиваю на этом, чтобы сохранить свое представление о праве, не дать этому человеку, так неколебимо стоящему на страже прав, опозлить его, превратить в банальность, принизить...

— Черт меня подери, сроду я не слыхивал большей галиматши! — воскликнул доктор. — Вы возмущены тем, что Гладстон всегда оказывается прав?

Нагель улыбнулся — трудно сказать, была ли эта улыбка естественной или нарочитой, — и продолжал:

— Отнюдь нет. Меня это не возмущает и не деморализует. Конечно, я не могу рассчитывать на то, что меня здесь поймут, ну да все равно... Так вот, Гладстон — это

своего рода бродячий глашатай права и правды, и голова его начинена избитыми истинами. Дважды два — четыре, — вот для него величайшая в мире мудрость. А можем ли мы отрицать, что дважды два — четыре? Конечно, нет. И говорю я это лишь затем, чтобы доказать, что Гладстон действительно всегда прав. Но все дело в том, насколько мы еще в состоянии воспринимать истину вообще, не утратили ли мы постепенно эту способность оттого, что нас потчуют такими истинами, которые не могут нас поразить. Вот ведь какая штука... Но Гладстон всегда так абсолютно прав, и совесть его так безупречна, что ему и в голову не придет добровольно перестать благодетельствовать человечество. Он вечно в пути, он вездесущ. Он всем уши прожужжал своими мудрыми сентенциями, мечась между Бирмингемом и Глазго, он даже примирил политические взгляды пробочного фабриканта и преуспевающего адвоката, он самоотверженно отстаивает свои убеждения и истязает свои старые, верные легкие, чтобы ни одно из его столь дорогих слов не осталось неуслышанным. А по окончании спектакля, после того как публика выразила свой восторг, а Гладстон раскланялся, он отправляется домой, ложится в постель, складывает руки, читает молитву и безмятежно засыпает, не испытывая в душе ни малейшего сомнения, не чувствуя стыда за то, что напичкал Бирмингем и Глазго, — а чем, собственно говоря, он их напичкал? Он знает лишь одно: он исполнил свой долг перед человечеством и самим собой, — и засыпает сном праведника. Он не возьмет греха на душу и не скажет себе: «Сегодня ты не так уж хорошо справился со своим делом, ты осточертел тем двум ткачам, что сидели в первом ряду, и один из них даже зевнул». Нет, он не скажет себе этого, ибо не убежден, что это правда, а врать не желает, потому что врать — великий грех, а Гладстон не хочет грешить. Нет, он скажет себе вот что: «Мне показалось, что один человек зевнул, странно, но мне так показалось, впрочем, я, наверное, ошибся, трудно допустить, чтобы кто-нибудь зевал». Ха-ха-ха!.. Не помню, то ли я говорил в Христиании или что другое, да это и не важно. Во всяком случае, я не буду скрывать, что Гладстон никогда не был для меня высшим духовным авторитетом.

— Бедный, бедный Гладстон! — воскликнул поверенный Рейнерт.

На это Нагель ничего не ответил.

— Нет, в Христиании вы говорили не это, — сказал Эйен. — Вы обрушились на Гладстона за его отношение

к ирландцам и к Парнеллу и заметили, между прочим, что отнюдь не считаете его великим умом. Отлично помню, что вы сказали именно это. И еще—что он обладает большой силой, может быть, и полезной, но в высшей степени ordinарной...

— Да, помню, помню. И меня за это лишили слова. Ха-ха-ха! Хорошо, я и под этим готов подписаться. Отчего же? Хуже-то не будет. Но моллю о снисхождении!

Тогда доктор Стенерсен спросил:

— Скажите-ка мне: вы правый?

Нагель взглянул на него с удивлением, потом расхохотался и ответил:

— А как вы думаете?

Но тут раздался звонок в дверь приемной доктора. Фру Стенерсен вскочила с дивана: ну, конечно, так и есть, теперь доктору, к сожалению, придется уйти. Но пусть гости и не думают расходиться, ни в коем случае, раньше полуночи она никого не отпустит, фрекен Андерсен должна сейчас же сесть на свое место, Анна сварит кофе,— ведь еще только десять часов.

— Господин поверенный, вы ничего не пьете!

Нет, напротив, он не отстает от других.

— Условились: никто не уходит, вы все останетесь со мной. Дагни, отчего ты такая молчаливая?

Нет, она вовсе не более молчалива, чем всегда.

Доктор вернулся из своего кабинета в гостиную. Он вынужден извиниться, но, увы, ему придется уехать: серьезный случай, кровотечение. Впрочем, это неподалеку, часа через два-три он вернется и надеется еще застать все общество. До свиданья! До свиданья, Йетта.

И доктор поспешно вышел. Минуту спустя все увидели в окно, как доктор в сопровождении какого-то мужчины чуть ли не бегом,— так он спешил,— направился к пристани.

— А теперь давайте что-нибудь придумаем... Если бы вы только знали, до чего мне бывает тоскливо иной раз оставаться одной, когда муж уезжает. Особенно зимой. Я почему-то всегда тревожусь: а вдруг он не вернется.

— У вас, я вижу, нет детей?— спросил Нагель.

— Да, детей у нас нет... Теперь я уже начинаю привыкать к этим нескончаемым ночам, но сперва это было просто ужасно. Признаюсь вам, порой меня охватывал такой страх... я боюсь темноты, да еще беспокойство за мужа. Что делать, я боюсь темноты... Такой страх, бывало, одолевал меня, что я удирала отсюда и ложилась

в комнате горничной... А теперь, Дагни, твоя очередь рассказать нам о чем-нибудь. Ты что задумалась? Скучашь по своему жениху?

Дагни покраснела от смущения, засмеялась и ответила:

— Конечно, я думаю о нем, это ведь естественно. Но лучше спроси, о чем думает поверенный Рейнерт, за весь вечер он не произнес ни слова.

Поверенный запротестовал: напротив, он очень мило беседовал с фрекен Ульсен и с фрекен Андерсен, а кроме того, с большим вниманием и интересом слушал, как излагают свои политические взгляды другие гости, одним словом...

— Жених фрекен Хьеллан снова в плавании,— объяснила Нагелю фру Стенерсен.— Он морской офицер, и сейчас его корабль идет в Мальту, если не ошибаюсь? В Мальту?

— Да,— подтвердила Дагни.

— Морские офицеры быстро обручаются. Приезжают домой, к родителям в отпуск, на три недели и вот, в один прекрасный вечер... Да уж эти мне господа лейтенанты...

— Что и говорить, отважный народ! — подхватил Нагель.— Загорелые красавцы с открытыми лицами и веселым нравом. Да и форма у них просто чудо, а как они ее носят!.. Я всегда восхищаюсь морскими офицерами.

Тут фрекен Хьеллан обернулась к студенту Эйену и сказала с улыбкой:

— Это господин Нагель говорит здесь. А что он говорил по этому поводу в Христиании?

Все расхохотались. Адвокат Хансен, уже изрядно выпивший, закричал:

— Да, да, что он говорил об этом в Христиании? Именно в Христиании! Что же там сказал господин Нагель? Ха-ха-ха! Бог ты мой! За ваше здоровье!

Нагель чокнулся с ним и выпил. Нет, в самом деле, он всегда восхищался морскими офицерами. Более того, будь он девицей, он обвенчался бы только с морским офицером или остался бы вековухой.

Все снова расхохотались. Адвокат в восторге чокнулся со всеми бокалами, стоящими на столе, и выпил один. Но Дагни сказала:

— Но ведь говорят, что все лейтенанты туповаты. Выходит, вы так не думаете?

Что за вздор! Впрочем, будь он девицей, он все равно предпочел бы красивого мужа умному. Безусловно! Особенно, если бы он был молодой девушкой. Кому нужна

голова без тела? Правда, на это можно возразить: кому нужно тело без головы? Но тут, черт подери, все же есть разница! Родители Шекспира не умели даже читать. Да и сам Шекспир не больно-то был силен по этой части, что, между прочим, не помешало ему стать исторической личностью. Но как бы там ни было, молодой девушке скорее наскучит ученый урод, нежели красивый дурак. Нет, будь он девушкой и имей он выбор, он безусловно предпочел бы красавца, а взгляды мужа на норвежскую политику, философию Ницше и святую троицу интересовали бы его как прошлогодний снег.

— Посмотрите, вот этот лейтенант — жених фрекен Хьеллан,— сказала фру Стенерсен, протягивая Нагелю альбом.

Дагни вскочила.

— Нет, не надо! — вырвалось у нее, но она тут же овладела собой и села.— Это дурной снимок,— сказала она, помолчав.— В жизни он куда лучше.

Нагель увидел на фотографии красивого молодого человека с подстриженной бородкой. Хотя он и сидел в непринужденной позе у стола, сразу бросалась в глаза его отличная выправка; руку он держал на эфесе сабли; его слегка поредевшие волосы были разделены на прямой пробор, и походил он скорее на англичанина.

— Да, правда,— подтвердила фру Стенерсен,— он в действительности гораздо красивее. До замужества я и сама была в него немножко влюблена. Но взгляните-ка на молодого человека рядом с ним. Это молодой теолог, он недавно погиб. Его фамилия Карлсен. С тех пор прошло всего несколько дней. Такая печальная история. Что вы? Да, да, это его мы хоронили позавчера.

С фотографии на Нагеля смотрел болезненного вида юноша с ввалившимися щеками, с такими тонкими, плотно сжатыми губами, что казалось, они начерчены на его лице. Глаза были большие, темные, а лоб необычно высокий и чистый. Но грудь у юноши была впалая, а плечи узкие, словно у женщины.

Это был Карлсен. Вот, значит, как он выглядел. Нагель подумал, что к этому лицу удивительно подходит теология и тонкие иссиня-бледные руки, и хотел было сказать, что на лице юноши лежит печать обреченности, но заметил, как поверенный Рейнерт, передвинув свой стул ближе к Дагни, вступил с ней в оживленный разговор. Нагель промолчал, чтобы не мешать им, и принялся перелистывать альбом.

— Поскольку вы обвинили меня в том, что я за весь вечер не проронил ни слова,— сказал поверенный,— то разрешите мне рассказать вам один случай, происшедший во время последнего визита императора, это подлинная история, она мне сейчас как раз припомнилась...

Дагни прервала его и тихо спросила:

— Что это вы вытворяли в течение всего вечера вон там, в углу? Вы мне лучше на это ответьте. Упрекая вас в том, что вы молчите, я хотела лишь остановить вас. Вы, конечно, сидели и злились, я все видела. Нехорошо всех передразнивать и насмехаться над всеми. Он, правда, позер, возится все время со своим железным кольцом на мизинце, то поднимет руку и любуется им, то его полирует. Впрочем, может быть, он делает это совершенно машинально, задумавшись. Во всяком случае, он не так смешон, как вы его изображали. Правда, он держится настолько высокомерно, что поделом ему! Но ты, Гудрун, слишком уж откровенно хохотала. Боюсь, он заметил, что ты над ним потешаешься.

Гудрун подошла к Дагни, стала оправдываться и уверять, что во всем виноват поверенный,— он так комично передразнивал Нагеля, что удержаться от смеха было невозможно. А тон, которым он произнес: «Величье Гладстона мне — *мне* — никогда не импонировало...»

— Т-сс. Потихе, Гудрун. Он услышал, да-да, услышал, он даже обернулся. Но скажи, заметила ли ты... Когда его перебили, он ни капельки не злился, он глядел на нас скорей печально. Знаешь, меня даже начинает мучить совесть, что мы сидим здесь и сплетничаем на его счет. Ну ладно, расскажите-ка лучше про визит императора.

И поверенный принялся рассказывать. Так как в этой истории не было ничего секретного — вполне невинное происшествие с женщиной и букетом цветов,— он говорил все громче и громче и в конце концов завладел вниманием всего общества. Говорил он весьма обстоятельно, не упуская ни малейшей подробности, и рассказ его длился бесконечно. Когда же он наконец кончил, фрекен Андерсен спросила:

— Господин Нагель, помните, вчера вечером вы нам рассказывали о поющем корабле?..

Нагель поспешно захлопнул альбом и растерянно огляделся по сторонам. Играл ли он комедию или в самом деле чего-то испугался? Он тихо ответил, что, возможно, и был неточен в каких-то деталях, но случай этот

не выдумал, а действительно пережил на Средиземном море...

— Помилуй бог, господин Нагель, я в этом не сомневаюсь,— прервала она его с улыбкой.— Но помните ли вы, что вы мне сказали в ответ на мое восхищение? Вы сказали, что только однажды слышали нечто более прекрасное, и было это во сне.

— Да, помню.— И Нагель кивнул головой.

— Не расскажете ли вы нам и этот сон? Будьте добры. Вы так удивительно рассказываете. Мы все вас просим. Пожалуйста.

Но Нагель отказался. Он просит извинить его, но сон этот рассказать невозможно, в нем нет ни начала, ни конца, так, мелькнувший во сне мимолетный образ. Нет, нет, словами этого не передать. Ведь всем знакомы эти едва уловимые ощущения, которые пронзают нас насквозь и тут же исчезают. Насколько этот сон был нелеп, можно судить хотя бы по тому, что все происходило там в белом лесу, среди деревьев из чистого серебра...

— Из серебра? Лес из серебра?.. Ну, дальше, дальше!

— Нет.— Нагель покачал головой.

Он с радостью готов сделать все для фрекен Андерсен, пусть она испытает его, но этот сон он рассказать не в состоянии, она должна ему поверить.

— Ну что ж, тогда расскажите что-нибудь другое. Мы все вас просим.

Нет, у него не получится, сегодня не получится. Пусть его простят.

Они обменялись еще несколькими незначительными фразами, какими-то глупыми вопросами и ответами. Полная чепуха. И вдруг Дагни спросила:

— Вы сказали, что могли бы сделать все для фрекен Андерсен. Ну что, например?

Все засмеялись, и Дагни тоже. Немного помолчав, Нагель ответил:

— Для вас я мог бы сделать что-нибудь очень плохое.

— Очень плохое? Что же именно? Убить кого-нибудь, например?

— Хотя бы. Я мог бы убить эскимоса и из его кожи сделать для вас бювар.

— Какой ужас! Ну а что бы вы могли сделать для фрекен Андерсен? Что-нибудь невероятно прекрасное?

— Да, возможно, я точно не знаю. А ргорос, насчет эскимоса — это я где-то прочел. А то вы еще, того гляди, решите, что это моя выдумка.

Пауза.

— До чего же вы милые люди,— сказал Нагель.— Вы стараетесь, чтобы я оказался в центре внимания, охотно слушаете мою болтовню, и все это только потому, что я приезжий.

Адвокат украдкой взглянул на часы.

— Имейте в виду,— заявила фру Стенерсен,— никто отсюда не уйдет, пока не вернется мой муж. Это строго запрещено. Можете делать все что угодно, но только не уходите.

Принесли кофе, и общество заметно оживилось. Толстый адвокат, который все это время о чем-то спорил со студентом, вдруг вскочил с непостижимой легкостью, прямо взлетел, словно перышко, и захлопал в ладоши. А студент, разминая пальцы, подошел к роялю и взял несколько аккордов.

— Ах да! — воскликнула хозяйка.— Как это мы забыли, что вы играете. Теперь вам придется потрудиться. Вот и отлично!

Да он и не отказывается, только, к сожалению, его репертуар невелик, но если общество не возражает против Шопена или, может быть, вальса Ланнера, то пожалуйста...

Нагель горячо аплодировал пианисту.

— Когда слушаешь музыку такого рода,— сказал он, наклонившись к Дагни,— то хочется устроиться где-нибудь подальше от инструмента, уйти, например, в соседнюю комнату и тихонько сидеть там рядом с тем, кого любишь, рука в руке. Верно? Не знаю почему, но мне всегда рисовалась такая сцена.

Дагни пристально взглянула на Нагеля. Он что, это всерьез говорит? Но она не увидела на его лице иронического выражения и поэтому подхватила в том же банальном тоне:

— Но при этом должен быть притушен свет, да? И кресла мягкие и низкие. И чтобы на улице было темно и шел дождь.

Дагни была в этот вечер удивительно хороша. Ее темно-синие глаза на ясном лице не могли не волновать. Она много смеялась, смеялась охотно над любым пустяком, хотя зубы ее и не ослепляли белизной. Губы у нее были по-детски пухлые и такие яркие, что сразу привлекали внимание. Но самым удивительным в ней было, пожалуй, то, что всякий раз, когда она начинала говорить, легкий румянец на миг заливал ее щеки.

— Ну, как вам это нравится?— воскликнула вдруг жена доктора.— Ведь адьюнкт-то все-таки сбежал. Впрочем, я не удивлена, на этого человека никогда нельзя положиться, он всегда верен себе. Но я надеюсь, что хоть вы, господин поверенный, пожелаете мне спокойной ночи, прежде чем уйти.

Адьюнкт, тихонько прокравшись на кухню, удрал, как обычно, через черный ход, он дурно чувствовал себя после выпивки, был бледен и хотел спать. Назад он так и не вернулся. Услышав, что адьюнкт ушел, Нагель весь преобразился. У него мелькнула мысль, что теперь он, пожалуй, отважится предложить Дагни проводить ее вместо адьюнкта. И он тут же попросил ее об этом, а глазами, позой, смиренно склоненной головой умолял не отказать ему.

— Я буду себя очень, очень хорошо вести,— прибавил он под конец.

Дагни засмеялась и ответила:

— Что ж, прекрасно, благодарю вас, раз вы мне это обещаете, я согласна.

Теперь ему оставалось только дожидаться прихода доктора, чтобы можно было уйти. В предвкушении этой прогулки по лесу он оживился еще больше, поддерживая уже любой разговор; он сумел даже всех рассмешить и вообще стал невероятно любезен. Он был так воодушевлен, так преисполнен счастья, что тут же пообещал фру Стенерсен заняться ее садом — ведь он все же в некотором роде специалист — и даже исследовать почву в той нижней его части, где почему-то чахнут кусты красной смородины. Да, да, он-то уж точно одолеет эту тлю, пожирающую листья, хотя бы с помощью заклинаний и заговоров.

Он что, и колдовать умеет?

Он занимается на досуге всякой всячиной,— и этим тоже немножко. Вот он носит, например, кольцо, невзрачное, железное кольцо, но зато оно обладает магической силой. А по его виду разве это скажешь?

Но случись ему потерять это кольцо в десять вечера, он должен во что бы то ни стало его вновь найти до полуночи, не то произойдет ужасное несчастье. Кольцо это он получил от одного старика грека, купца из Пиреи. Он, в свою очередь, тоже оказал этому человеку услугу, а кроме того, дал ему за кольцо тюк табаку.

Он в самом деле верит в магическую силу кольца?

Немного верит. В самом деле. Оно его раз вылечило, да, был такой случай.

Со стороны моря до них донесся лай. Фру Стенерсен взглянула на часы, да, это, должно быть, возвращается доктор, она узнает лай их собаки. Как удачно, ведь еще только двенадцать! Она позвонила и велела подать еще кофе.

— Вот как? У вас, значит, не простое кольцо, господин Нагель? И вы твердо верите в его магическую силу?—спросила она.

Да, более или менее твердо. Дело в том, что у него есть веские основания особенно в этом не сомневаться. В конце концов не все ли равно, во что верить, лишь бы самому внутренне быть убежденным, что это так, а не иначе. Кольцо это вылечило его от нервозности, сделало его крепким и сильным.

Фру Стенерсен сперва рассмеялась, а потом стала ему горячо возражать. Нет, она просто не выносит, когда мелют такой вздор,— извините, но она не может назвать это иначе, чем вздор,— и она убеждена, что господин Нагель и сам не верит в то, что говорит. Если приходится слышать такое от образованных людей, то что же нам ждать от простого народа? Так можно невесть до чего дойти! Докторам ничего не оставалось бы, как убираться восвояси.

Нагель защищался. В конце концов и то и другое может помочь в равной степени. Ведь все упирается в волю больного, в его веру в лечение, в его настроение. Но докторам вовсе незачем убираться, у них есть свои приверженцы, свои, так сказать, верующие— к ним обращаются люди образованные, образованные люди лечатся лекарствами, а суеверный простой народ борется с болезнями железными кольцами, жжеными человеческими костями и могильной землей. Разве мало примеров того, как больные вылечиваются, выпив чистой воды, вылечиваются оттого, что им внушили, будто это целебнейшее средство. А данные, которыми мы располагаем хотя бы относительно морфинистов? Когда человек становится свидетелем такого рода удивительных явлений, то, если он не доктринер, он начинает верить в чертовщину и ставит под сомнение авторитет медицинской науки. Но из его слов у них не должно сложиться впечатления, будто он считает себя компетентным судить об этих вещах, он ведь не специалист и ничего не смыслит в медицине. А главное, он сейчас меньше всего хочет портить настроение другим. Пусть фру Стенерсен простит его и все остальные тоже.

Он ежеминутно смотрел на часы и уже застегивал свой сюртук.

Посреди этого разговора в гостиную вошел доктор. Он был раздражен и дурно настроен, поздоровался с деланным оживлением и поблагодарил своих гостей за то, что они еще не ушли. Ну, а адъюнкт не в счет, и бог с ним. А все остальное общество в сборе! Да, нелегко жить на этом свете, из-за всего приходится сражаться...

И он принялся, по своему обыкновению, рассказывать о визите к больному. Его кислый вид объясняется тем, что он вконец разочаровался в своих пациентах; такого даже он не ожидал,—они вели себя, как идиоты, как ослы. Его бы воля, он бы их всех засадил в тюрьму. Ну и попал же он в семейку! Представьте себе, жена больна, отец жены болен, и сын тоже болен. В доме вонища, не продохнешь! И при этом все остальные здоровы, у всех румяные щеки, малыши так и пышут здоровьем. Просто непонятно, непостижимо! Нет, он этого решительно не в силах постичь! Лежит старик, отец хозяйки, с такой вот огромной открытой раной. Когда с ним это случилось, они послали за бабкой-ворожихой, и она действительно остановила кровь, совершенно верно; но, спрашивается, как? Это возмутительно, преступно! Нельзя передать словами, какое зловонье распространялось от раны, от этого можно было сдохнуть. А главное, того и гляди—гангрена! Одному богу известно, что было бы со стариком, если бы он не пришел сегодня вечером! Надо принять куда более строгие законы против знахарства, это действительно необходимо, и прибрать весь этот народ к рукам... Ну хорошо, так или иначе, а кровь остановили. Но тут явился сын, уже взрослый парень, этакий долговязый детина с экземой на лице. Я ему еще раньше дал две мази и ясно объяснил: «Сперва намажь струпья желтой мазью и через час сотри, через час, понял? Потом намажь их белой, цинковой, и не стирай до утра». Кажется, ясно. Что же он делает? Конечно, он все перепутал, белую кладет на час, а желтую, которая чертовски жжет и щиплет, на весь день и всю ночь. И терпит эти муки целых две недели! Но самое удивительное вот что: представьте себе, парень вылечился, вылечился, несмотря на свою непроходимую глупость! Да, экземы как не бывало! Бык какой-то, вол, который выздоравливает, лечи его, не лечи! Сегодня я осмотрел этого болвана и не обнаружил и следа экземы ни на его щеках, ни вообще на его физиономии. Как говорится, дуракам счастье. Ведь так

можно изуродовать себя, а с него как с гуся вода... Ну, а еще там больна мать этого оболтуса, хозяйка дома: истощение, полный упадок сил, головокружение, нервозность, шум в ушах, отсутствие аппетита. «Ванны,— говорю я,— ванны и обливания. Не жалейте воды, черт подери! А еще заколите теленка, поешьте хоть немного мяса, распахните окна, пустите в дом свежий воздух, сами побольше выходите, а эту вот книгу проповедей Юхана Арендта бросьте, бросьте ее в печку». Ну и так далее. «Но главное — ванны и обливания, и снова ванны, без этого мои лекарства не помогут». Теленок оказался им не по карману — тут ничего не скажешь, возможно, что это и так. А ванну она решилась принять, выкупалась, смыла с себя немного грязи, но при этом так замерзла, что ее начало знобить, она буквально стучала зубами от чистоты и, конечно, после этого отказалась от водных процедур! Она, видите ли, теперь уже не выносит чистоты! Что же дальше? Она где-то достает цепочку, какую-то особую цепочку от ломоты с магнитным крестом или как там еще эта штуковина называется, и нацепляет ее на себя. Я прошу показать мне эту вещь: цинковая пластинка, какой-то лоскуток, два крючка побольше, два поменьше, вот и все. «Какого черта,— спрашиваю я,— носите вы эту дрянь на себе?» Оказывается, ей от этого уже полегчало, да, в самом деле, полегчало, голова уже болит куда меньше, и все тело как-то согрелось. Ну, что вы на это скажете? Я мог бы с тем же успехом плюнуть на какую-нибудь щепочку и дать ей ее, уверяю вас, она помогла бы ей точно так же. Но попробуй ей это сказать! «Сейчас же выбросьте эту гадость,— говорю я ей,— а не то я отказываюсь вас лечить, просто не подойду к вам больше». Как вы думаете, что она делает? Она крепко зажимает в руке пластинку — выходит, я могу выметаться. Ха, ха, ха, мне ничего не остается, как выметаться! Бог ты мой, вот до чего докатилась! Нет, не надо быть врачом, надо быть знахарем.

Доктор никак не может успокоиться, но все же садится пить кофе. Жена его переглядывается с Нагелем и говорит смеясь:

— Вот господин Нагель поступил бы точь-в-точь как эта женщина. Мы говорили об этом перед твоим приходом. Господин Нагель не верит в твою науку.

— Вот как, не верит, значит? — иронически переспрашивает доктор. — Что ж, господин Нагель волен думать, как ему хочется.

Разгневанный, оскорбленный, полный обиды на этих ужасных пациентов, которые не выполняют его предписаний, доктор молча пил кофе. Его раздражало еще и то, что все сидели вокруг и смотрели на него. «Займитесь чем-нибудь, расшевелитесь хоть немножко»,— сказал он. Но кофе взбодрил его, он поболтал с Дагни, посмеялся над лодочником, которого прислали за ним, чтобы везти к больному; но потом снова заговорил о тех неприятностях, на которые он, как врач, постоянно нарывается, и снова стал горячиться. У него просто из головы не идет этот нелепый случай с мазями; вокруг дремучая дикость, суеверие, тупость — все одно к одному. Не люди, а ослы. И вообще, такая темнота в народе, такое невежество!

— Да, но парень-то этот все же выздоровел?

За эти слова доктор готов был буквально растерзать Дагни. Он в гневе выпрямился. Да, парень выздоровел, верно. Ну и что? От этого не стали менее вопиющими тупость и темнота в народе. Он выздоровел, этот парень правда выздоровел; а что, если бы он сжег себе физиономию? Какой смысл защищать этого осла?

Оскорбительный случай с этим деревенщиной, который делал все наперекор предписаниям и все-таки выздоровел, бесил доктора больше всего остального, и глаза его, обычно такие кроткие, свирепо поблескивали за стеклами очков.

Ни за что ни про что он оказался в дураках, его променяли на цинковую пластинку, и он был не в силах этого забыть, пока не выпил после кофе еще стакан крепкого тодди. Тогда он вдруг сказал:

— Да, Йетта, я хочу тебе сказать, что я дал лодочнику, который за мной приехал, пять крон. Ха-ха-ха, ну и тип, в жизни эдакого не видел, на нем такая рванина, что задница видна, но сила богатырская, и какая беспечность! Сущий дьявол! Всю дорогу он распевал. Он уверен, что если заберется на вершину Этьефельда, то сможет своей удочкой достать до неба. «Только надо встать на цыпочки»,— сказал я. Да, вот это ему самому в голову не пришло; он, видите ли, к словам моим отнесся совершенно серьезно и стал клясться и божиться, что, как никто, умеет стоять на цыпочках. Ха-ха-ха! Слыхали вы что-нибудь подобное! До чего смешной парень!

Наконец фрекен Андерсен встала, чтобы идти домой, и тогда поднялись и все остальные. Прощаясь с хозяйками, Нагель так горячо, так искренне благодарил их, что совершенно обезоружил доктора, который был с ним

несколько сух последние четверть часа. «Поскорее приходите к нам снова! Погодите, у вас, кажется, нет больше сигар. Возьмите, пожалуйста, закурите на дорогу!» И доктор заставил Нагеля вернуться в дом за сигарой.

Тем временем Дагни, уже одетая, стояла на крыльце и ждала его.

VIII

Белые ночи...

Была чуждая ночь.

У тех немногих прохожих, которые еще встречались на улицах, лица светились радостью; на кладбище задержался какой-то человек; он шел по дорожке, толкая перед собой тачку, и что-то тихо напевал. Только это пение и нарушало тишину, кроме него не было слышно ни звука. С того холма, на котором стоял дом доктора, городок казался диковинным гигантским насекомым, сказочной тварью, распластавшейся на брюхе и протянувшей свои лапки, рожки и щупальца во все стороны; лишь время от времени тварь эта шевелила тем или другим суставом или втягивала вдруг коготь — вот как сейчас там, внизу, на море, где маленький паровой катер беззвучно скользил по воде, оставляя светлую борозду на темной глади залива.

Дым от сигары, которую курил Нагель, подымался ввысь голубым облачком. Он глубоко вдохнул воздух, наслаждаясь запахом леса и травы, и его охватило всепоглощающее чувство умиротворенности, какая-то особая, тихая радость пронзила его так сильно, что слезы выступили у него на глазах, и он с трудом перевел дух. Он шел рядом с Дагни; она не сказала еще ни слова. Когда они проходили мимо кладбища, он нарушил молчание, с похвалой отозвавшись о докторе, но она на это ничего не ответила. А теперь тишина и красота ночи так страстно его захватили, так глубоко потрясли все его существо, что дыхание у него стало прерывистым, а глаза увлажнились. Как хороши эти белые ночи!

— Нет, поглядите только на эти холмы, как четко они вырисовываются! — сказал он громко. — Мне что-то сейчас очень радостно, фрекен! Прошу вас, будьте ко мне снисходительны, если можете, потому что я способен

натворить этой ночью всяких глупостей. Посмотрите на эти сосны, на эти камни, на эти кочки и на эти кусты можжевельника — они сейчас так освещены, что похожи на сидящих людей. А ночь такая свежая и ясная! Она не гнетет странным предчувствием, не пробуждает в нас необъяснимого страха, верно? Нет, вы не должны на меня сердиться, не должны! У меня на душе словно ангелы поют. Я вас пугаю?

Она остановилась, потому он и спросил, не пугает ли он ее. Она с улыбкой поглядела на небо своими синими глазами, потом снова стала серьезной и сказала:

— Я думала о том, что вы за человек.

Она сказала это, все еще стоя на месте и глядя на небо. Всю дорогу она говорила дрожащим ясным голосом, словно боялась чего-то и одновременно этому радовалась.

Тут начался у них разговор, который длился все время, пока они шли через лес, хотя шли они очень медленно, разговор сбивчивый, подвластный их переменчивому настроению и тому волнению, которое охватило их обоих.

— Вы думали обо мне? Правда? Но я о вас думал куда, куда больше. Я знал о вас прежде, чем приехал сюда, я услышал ваше имя еще на пароходе, совершенно случайно, при мне шел какой-то разговор, а мы прибыли сюда двенадцатого июня. Двенадцатого июня...

— Да что вы, как раз двенадцатого июня?..

— Да, и весь город был увешан флагами; меня просто так очаровал этот маленький городок, что я решил здесь сойти на берег. И я тут же снова о вас услышал.

Она улыбнулась и спросила:

— Ну конечно, это Минутка вам про меня говорил?

— Нет, я слышал, что все вас любят, все, все, и все вами восхищаются...

И Нагель вдруг вспомнил про семинариста Карлсена, который из-за нее даже покончил с собой.

— Скажите,— начала она,— вы в самом деле думаете то, что сказали про морских офицеров?

— Ну да. А почему вы спрашиваете?

— Что ж, тогда у нас с вами мнения совпадают.

— А отчего бы мне так не думать? Я ими восхищаюсь и всегда восхищался, меня привлекает их свободная жизнь, их форма, их постоянная бодрость и отвага; большинство из них и в самом деле исключительно приятные люди.

— Но давайте поговорим теперь о вас. Что произошло между вами и поверенным Рейнертом?

— Ничего. Вы говорите, между мной и поверенным Рейнертом?

— Вчера вы извинялись перед ним за что-то, а сегодня за весь вечер не сказали ему почти ни слова. Вы что, имеете обыкновение сперва оскорблять людей, а потом просить у них прощения?

Он засмеялся и стал сосредоточенно глядеть на дорогу.

— Честно говоря,— сказал он,— я был неправ, оскорбляя поверенного. Но я уверен, что все уладится, если мне удастся с ним объяснить. Я немного вспыльчив и бываю резок, недоразумение получилось у нас из-за того, что он нечаянно толкнул меня, когда входил в дверь. Как видите, сущий пустяк, простое невнимание с его стороны; а я тут же налетел на него как дурак и обругал его последними словами, угрожающе размахивал пивной кружкой перед его носом и кончил тем, что смял его шляпу. Тогда он ушел—как благовоспитанный человек, он не мог поступить иначе. Но потом я раскаялся в своей горячности и решил как-нибудь загладить свою вину. По правде говоря, меня тоже можно извинить, я был в тот день очень расстроен, у меня были неприятности. Но ведь этого никто не знал, о таких вещах не рассказывают, и я предпочел взять всю вину на себя.

Он говорил не задумываясь, с полной искренностью, словно желая быть как можно более беспристрастным. Выражение его лица тоже никак не могло вызвать недоверия. Но Дагни вдруг снова остановилась, изумленно посмотрела ему прямо в глаза и проговорила:

— Нет, помируйте... Все ведь было вовсе не так! Я слышала совсем другое.

— Минутка врет!— закричал Нагель, густо краснея.

— Минутка? Я слышала это вовсе не от Минутки. Зачем вы клеветеете на себя? Я слышала эту историю от старика, который торгует на рынке гипсовыми статуэтками. Он был свидетелем всего от начала до конца.

Пауза.

— Зачем вы всегда клеветеете на себя? Просто не понимаю,— продолжала она, не сводя с него глаз.— Я услышала сегодня эту историю и очень обрадовалась, то есть я считаю, вы поступили так удивительно хорошо, ну просто удивительно. И вам это до того идет! Если бы я не

узнала всего этого сегодня утром, то, наверное,— уж признаюсь вам откровенно,— не решилась бы сейчас идти с вами.

Пауза.

Потом он спросил:

— И теперь вы мною восхищаетесь из-за этого?

— Право, не знаю,— ответила она.

— Ну да, да, теперь вы мною восхищаетесь... Послушайте,— продолжал он.— Все это одна комедия. Вы правдивое существо, мне противно вас обманывать, я расскажу вам все начистоту.

И он объяснил ей, ни капельки не смущаясь и не отводя глаз, каков был его расчет:

— Когда я рассказываю о своем столкновении с поверенным на свой лад, несколько искажая факты и даже клевета немного на себя, то в сущности — в сущности! — делаю это ради собственной выгоды. Просто я пытаюсь извлечь из этой истории как можно больше пользы для себя. Как видите, я с вами совершенно откровенен. Я не сомневался, что кто-нибудь уж непременно расскажет вам, как все было на самом деле, а так как до этого я уже успел выставить себя в весьма неприглядном свете, то от неожиданности немало выиграю в ваших глазах — несравненно больше, чем если бы вы изначально узнали правду. Я начинаю казаться каким-то значительным, беспримерно великодушным, не правда ли? Но впечатление это я произвел на вас благодаря такому грубому, такому низкому обману, что вы будете глубоко возмущены, когда это обнаружите. Вот я и счел за лучшее вам во всем чистосердечно признаться, потому что вы заслужили честного отношения. Но достигну этим только того, что оттолкну вас, оттолкну, как говорится, на тысячу верст. К сожалению.

Она пристально посмотрела на него, надеясь понять, что это за человек и что означают его слова; видно было, что она напряженно думает, пытается составить себе какое-то мнение. Чему верить? Чего он добивался своей откровенностью? Вдруг она снова остановилась, всплеснула руками и звонко засмеялась.

— Нет, такого дерзкого человека, как вы, я еще не встречала. Подумать только, ходить вот так и с серьезным видом рассказывать о себе бог весть что лишь затем, чтобы полностью себя развенчать! Но этим путем вы ровно ничего не достигнете! В жизни не слышала такого бреда! Разве вы могли быть уверены в том, что я рано

или поздно узнаю, как все произошло на самом деле? Ну что вы на это скажете? Нет, лучше молчите, ничего не говорите, а то снова что-нибудь солжете. Ой, как нехорошо с вашей стороны, ха-ха-ха... Но послушайте: если вы наперед рассчитали, что все пойдет так-то и так-то, и вам действительно удалось все сделать так, как было задумано, то есть вы достигли того, чего желали, то зачем же вы все теперь снова разрушаете, признаваясь в вашем — как вы это называете — обмане? Вчера вечером вы тоже сделали нечто подобное. Я вас не понимаю. Если вы все так хорошо рассчитываете, то почему же вы не замечаете, что сами себя разоблачаете.

Но он не сдавался, он подумал мгновенье, а потом ответил:

— Вы ошибаетесь, я этого не упускаю. Вы сейчас сами в этом убедитесь. Когда я себя оговариваю — вот как сейчас, иду с вами и раскрываю все свои карты, — то я, собственно говоря, ничем не рискую, во всяком случае, очень немногим. Во-первых, тот, кому я признаюсь в своих намерениях, может мне и не поверить. Вот вы, например, мне сейчас не верите. А к чему это приводит? Это приводит к двойному выигрышу, да, да, я выигрываю просто колоссально, моя репутация растет, как лавина, я возвышаюсь над всеми, словно недосягаемая вершина. Ну, а во-вторых, даже если бы вы мне поверили, я все равно вышел бы с выгодой из этой ситуации. Вы качаете головой? Напрасно. Уверяю вас, я уже не раз прибегал к такой уловке, и всякий раз выгадывал. Ведь даже если вы поверили бы в правдивость моего признания, вы во всяком случае были бы поражены моей искренностью. Вы бы сказали себе: правда, он обманул меня, но потом сам в этом признался, причем без всякой необходимости; его дерзость необъяснима, он решительно ничего не боится, своим чистосердечным рассказом он меня совсем сбил с толку. Короче говоря, я привлекаю к себе ваше внимание, возбуждаю ваше любопытство, вы начинаете ко мне приглядываться, вы недоумеваете. Да ведь вы сами минуту назад сказали: нет, я вас не понимаю. А сказали вы это потому, что пытались во мне разобраться, а одно это мне уже лестно, да, одно это прямо льет бальзам на мое самолюбие. Так что верите ли вы мне или нет, я в обоих случаях, как видите, выгадываю.

Пауза.

— И вы хотите меня убедить, — сказала она, — что все эти хитроумные выкладки вы заранее обдумали?

Предвидели все случайности, приняли все необходимые меры? Ха-ха-ха! Теперь, что бы вы ни сказали, вы меня больше не удивите, нет, теперь я жду от вас всего. Ну, хватит об этом! Меня не удивила бы и бóльшая ложь, да, вы за словом в карман не полезете!

Но он упорствовал, уверяя ее, что после ее слов его самомнение возрастет до невероятных размеров, вознесет его на недосыгаемые высоты. И он не может не выразить ей своей признательности, хе-хе-хе, он достиг того, чего хотел. Но, право же, она чересчур любезна, чересчур великодушна...

— Ну ладно, ладно,— прервала она его.— Не будем об этом.

Но теперь уже он остановился посреди дороги.

— Но я повторяю, что лгал вам,— сказал он и поглядел на нее в упор.

Мгновенье они смотрели друг на друга, ее сердце учащенно забилось, и она даже слегка побледнела. Почему он так добивался, чтобы она о нем дурно думала? Он так легко, так охотно уступал во всем другом, но тут он уперся, и ни с места. Навязчивая идея, какое-то безумие!

— Не знаю, почему вы выворачиваете передо мной свою душу наизнанку!— воскликнула она с досадой.— Вы ведь обещали хорошо себя вести.

Ожесточение ее было неподдельным. Ее выводила из себя его настойчивость, такая упорная, такая непоколебимая, что она терялась. Он явно старался сбить ее с толку, и это ее оскорбляло. В раздражении она стала бить себя зонтиком по руке.

Он выглядел очень несчастным и тут же начал беспомощно оправдываться, говорить какие-то нелепые слова. В конце концов она снова рассмеялась и дала ему понять, что не принимает его всерьез. Он просто невозможен, видно, таким всегда был, таким и будет. Ну конечно, ему все это кажется смешным. Но ни слова больше обо всем этом, ни слова...

Пауза.

— Помните,— сказал он,— здесь я вас в первый раз встретил. Никогда не забуду, как удивительно вы были похожи на фею, когда убегали от меня. Да, вы казались мне феей, видением... Но теперь я хочу рассказать вам одну историю, которая со мной случилась, вернее, просто небольшое приключение, и рассказать его можно очень быстро. Как-то раз я сидел в своей комнате, это было в маленьком городке, не в Норвегии, впрочем, совершен-

но не важно, где это было,— так вот, короче говоря, мягким осенним вечером я сидел в своей комнате; это было восемь лет назад, в тысяча восемьсот восемьдесят третьем году. Я сидел спиной к двери и читал книгу.

— В комнате горела лампа?

— Да, а на дворе было совсем темно. Я сидел и читал. Вдруг слышу, что кто-то идет, я явственно слышал шаги на лестнице, потом стук в мою дверь. Войдите! Никто не входит. Я открываю дверь — никого нет. За дверью никого не было! Я звоню, приходит служанка. Кто-нибудь подымался по лестнице? Нет, никто не поднимался. Хорошо, спокойной ночи! Служанка уходит.

Я снова берусь за книгу. И тут я чувствую какой-то легкий ветерок, какое-то дуновение, словно меня коснулось человеческое дыхание, и слышу шепот: «Иди!» Я оборачиваюсь — никого нет. Я продолжаю читать, злюсь и говорю: «Черт». И вдруг я замечаю, что рядом стоит бледный человек небольшого роста, с рыжей бородой и жесткими, торчащими ежиком волосами; он стоит слева от меня и подмигивает мне, и в ответ я тоже почему-то ему подмигиваю; мы никогда прежде друг друга не видели, но мы перемигиваемся. Я захопываю книгу, а человечек тем временем идет к двери и исчезает. Я слежу за ним глазами и вижу, как он вдруг исчезает. Я вскакиваю и тоже подхожу к двери, и тут я снова слышу шепот: «Иди!» Что ж, я надеваю сюртук, сую ноги в башмаки и выхожу на улицу. «Хорошо бы закурить», — думаю я, возвращаюсь домой, беру сигару и закуриваю. Потом я запикиваю несколько сигар в карман — одному богу известно, зачем я все это делаю, но все же я это делаю — и снова выхожу на улицу.

Темно было — хоть глаз выколи, и я ничего не видел, но все же ощущал присутствие того человечка, знал, что он идет рядом со мной. Я размахивал руками, чтобы коснуться его, то и дело останавливался и даже решал дальше не идти, если он мне не объяснит, в чем дело, но обнаружить его мне так и не удавалось. Я попытался также, несмотря на темноту, подмигнуть ему, я вертел головой в разные стороны, но и это ни к чему не привело. «...Что ж, ладно,— сказал я вслух,— но знай, я иду вовсе не ради тебя, а просто так, мне захотелось пройтись; имей в виду, что я отправился на прогулку, и только». Я нарочно говорил громко, чтобы он мог услышать. Я шел так несколько часов кряду, вышел из города

и оказался в лесу — по лицу меня хлестали мокрые ветки. «Хорошо,— сказал я наконец и вынул часы как бы для того, чтобы посмотреть, который час,— а теперь пойду-ка я домой!» Но я вовсе не пошел домой, я был почему-то не в силах повернуть назад, что-то неудержимо гнало меня дальше. «Впрочем, погода такая изумительная,— сказал я тогда,— почему бы мне не гулять всю ночь напролет, и следующую тоже, ведь времени у меня хоть отбавляй!» Я закурил еще сигару, а маленький человечек не отставал от меня, он был все время где-то рядом, я чувствовал на себе его дыхание. Я шел не останавливаясь, то и дело меняя направление, но при этом ни разу не повернул назад, в город. Ноги у меня ныли, брюки были мокрые до колен, а лицо горело, потому что мокрые ветки все хлестали и хлестали меня по щекам. «Может показаться странным,— сказал я,— что я гуляю здесь в такой поздний час; но я с самого детства пристрастился бродить по ночам в дремучих лесах, это вошло у меня в привычку». И шел дальше, стиснув зубы. Из города до меня донесся бой башенных часов. Пробило полночь: раз, два, три, четыре — и так до двенадцати, я считал удары. Эти знакомые звуки меня очень ободрили, хотя я и был раздосадован, что мы все еще находились совсем близко от города, несмотря на то что бродили уже так долго. Вот пробили, значит, башенные часы полночь, и как только заглох последний удар, маленький человечек снова оказался передо мной,— стоит себе, глядит на меня и посмеивается. В жизни своей не забуду этого, я видел его так отчетливо — у него не было двух передних зубов, а руки он держал за спиной...

— Но как вы смогли его увидеть в темноте?

— Он сам светился. Он светился каким-то странным светом, который, казалось, находится где-то за ним, струится у него из-за спины и делает его чуть ли не прозрачным, даже одежду его я смог разглядеть, словно днем, штаны его были сильно истрепаны и чересчур коротки. Все это я заметил в одно мгновение. Вид его меня так поразил, что я невольно зажмурил глаза и отступил на шаг. Когда же я их снова открыл, человечка уже не было...

— Ах!..

— Подождите, это еще не все! Я, оказывается, дошел до какой-то башни, она преграждала мне путь, я просто уперся в нее и видел ее все отчетливее — черная, восьмиугольная башня, точь-в-точь как «Башня ветров» в Афи-

нах, если вы видели ее на картинках. Я никогда прежде не слышал, что в этом лесу есть какая-то башня, но оказалось, что есть: я стоял прямо перед ней. И снова услышал: «Иди!» Я вошел, дверь за мной не захлопнулась, и это меня несколько успокоило.

Там внутри, под сводами, я опять увидел моего спутника: у стены напротив горела лампа, и я смог его хорошенько рассмотреть, он двинулся ко мне из глубины помещения, словно был там все время, и стал передо мной, тихо посмеиваясь и не сводя с меня взгляда. Я посмотрел ему в глаза, и мне показалось, что я увидел там все те ужасы, которые эти глаза видели в жизни. Он снова подмигнул мне, но я не ответил ему тем же, а когда он попытался подойти ко мне еще ближе, попятился назад. Вдруг я услышал за спиной чьи-то легкие шаги, я повернул голову и увидел девушку.

Я смотрю на нее и испытываю от этого радость: у нее рыжие волосы и черные глаза; она плохо одета и ходит босиком по каменному полу; ее обнаженные руки поражают меня белизной.

На мгновение она застывает, как бы оглядывая нас обоих, потом низко склоняет передо мной голову и подходит к маленькому человечку. Не говоря ни слова, она расстегивает его плащ и шарит под ним, словно ища чего-то, а затем вытаскивает засунутый под подкладку горящий фонарик, маленький, но очень яркий, и вешает его себе на палец. Он дает так много света, что совершенно забывает лампу у стены. Пока она его обыскивает, маленький человечек стоит все так же тихо и продолжает улыбаться. «Спокойной ночи»,— говорит девушка, указывая ему на дверь, и мой спутник, это страшное, странное существо, похожее скорее на животное, чем на человека, уходит. Я остаюсь один со своей новой знакомой.

Она подошла ко мне, снова низко склонилась передо мной и спросила, не улыбаясь и не повышая голоса:

— Откуда ты?

— Из города, красавица,— ответил я,— я пришел прямо из города.

— Незнакомец, прости моего отца,— сказала она вдруг,— не обижай нас. Он болен, он не в своем уме, ты ведь видел его глаза.

— Да, я видел его глаза,— ответил я,— и чувствовал, что они имеют власть надо мной: я последовал за ним.

— Где ты его встретил?— спросила она.

— У себя дома,— ответил я.— Я сидел и читал, когда он вошел ко мне.

Она только покачала головой и опустила глаза.

— Но это не должно тебя огорчать, прекрасное дитя,— продолжал я.— Я с удовольствием совершил эту прогулку, ничего важного я не пропустил и рад, что встретил тебя. Погляди, я весел и всем доволен, улыбнись же и ты.

Но она не улыбнулась, она сказала:

— Сними башмаки. Ты не можешь уйти отсюда ночью, я высушу твою одежду.

Я поглядел на себя,— я и в самом деле промок до нитки, а башмаки мои пропитались водой, как губка. Я сделал, как она велела, снял ботинки и дал их ей. Но как только я разулся, она задула огонь и сказала:

— Пошли!

— погоди,— сказал я и остановил ее.— Если я не буду здесь спать, то почему ты велела мне снять башмаки?

— Этого ты не должен знать,— ответила она.

И она мне так ничего и не объяснила. Она повела меня в темную комнату, там я уловил какие-то странные звуки, словно нас кто-то обнюхивал, и тут же нежная рука зажала мне рот, а девушка сказала громким голосом:

— Это я, отец. Чужой ушел, ушел.

Но я снова услышал сопение — сумасшедший урод продолжал нас обнюхивать.

Она держала меня за руку, пока мы поднимались по лестнице, но никто из нас не вымолвил ни слова. Мы вошли в какое-то новое помещение, где было совсем темно,— ничто там не нарушало этого всепоглощающего ночного мрака: ни случайно пробившийся луч света, ни мерцающий вдали огонек.

— Тихе,— шепнула она,— вот моя кровать.

Я нашел ее ощупью.

Я снял с себя все и протянул ей.

— Спокойной ночи! — сказала она.

Я стал ее удерживать, просил побыть со мной:

— погоди, не уходи. Теперь я знаю, почему ты мне велела снять башмаки еще там, внизу; я буду сидеть тихо-тихо, твой отец не слышал, что я прошел сюда; останься!

Но она не осталась.

— Спокойной ночи! — сказала она снова и ушла...

Пауза. Дагни была пунцово-красной, она прерывисто дышала, ноздри ее вздрагивали.

— Она ушла? — поспешно переспросила она.

Снова пауза.

— И вот тут эта ночь превращается в волшебную сказку, все, что я помню, я вижу как бы в розовом свете. Представьте себе эту удивительную ночь... Я был один, плотный мрак окутывал меня, как тяжелый черный бархат. Я очень устал, колени у меня дрожали, к тому же я был раздосадован и совершенно сбит с толку. Этот чертов сумасшедший несколько часов кряду водил меня вокруг одного и того же места, да еще по такой росе! Он гнал меня, словно скотину какую-то, понукая лишь взглядом и шепотом: «Иди! Иди!» В следующий раз я отниму у него его фонарь и этим фонарем разобью ему рожу! Я злился все больше, в конце концов в бешенстве закурил сигару и лег в постель. Я лежал и глядел на вспыхивающий во тьме кончик моей сигары; вскоре я услышал, как хлопнула входная дверь, потом все смолкло.

Прошло минут десять. Прошу вас, обратите внимание: я тихо лежу в постели, но сна ни в одном глазу, я лежу и курю сигару. И вдруг все помещение наполняется гулом, словно в потолке сразу открыли десятки каких-то клапанов. Я приподымаюсь на локте, забываю о сигаре, и она гаснет, я вглядываюсь в темноту, но ничего не могу обнаружить. Тогда я снова ложусь и прислушиваюсь, и мне чудится, будто я слышу отдаленную музыку, удивительный тысячеголосый хор, звуки доносятся откуда-то из-за стен, а может, сверху, из поднебесья, тихое пение тысячеголосого хора, оно не смолкает, а, напротив, все приближается и приближается и в конце концов словно ливень обрушивается на крышу башни и на меня. Я снова приподнимаюсь на локте. И я переживаю нечто такое, что еще и теперь, при одном воспоминании об этой ночи, меня потрясает и переполняет каким-то сверхъестественным счастьем. На меня как бы низвергается вдруг целый сонм крошечных сияющих существ, все они ослепительно белые, это ангелочки, мириады крошечных ангелов, они летят откуда-то сверху, струятся световым каскадом. Они заполняют все пространство под сводами башни, их, наверно, не меньше миллиона, они плавно кружат между полом и потолком, и поют и поют, — они совершенно нагие и белые-белые. Сердце мое замирает, вокруг меня витают ангелы, я слышу их пение, они касаются моих век, садятся мне на волосы, и от их дыхания все помещение постепенно наполняется удивительным ароматом.

Я полулежу, опершись на локоть, и протягиваю к ним руку, и тогда несколько ангелочков садятся мне на руку— вот так, у меня на ладони, они похожи на звездочки— мерцающее созвездие из семи звезд. Я наклоняюсь и заглядываю им в глаза, и я вижу, что они слепые. Тогда я отпускаю этих семь слепых ангелов, ловлю семь других, но и те оказываются слепыми. Все они были слепые— в башне кружились мириады слепых ангелочков и пели!

Я лежал не шелохнувшись, у меня перехватило дыхание, когда я это увидел, их незрячие глаза пронзили мою душу печалью.

Прошла минута. Я лежу и слушаю, и вдруг раздается где-то вдаль тяжелый резкий удар, я слышу его с какой-то жесткой отчетливостью, звук еще долго гудит в воздухе— это снова пробили городские часы: час ночи!

Разом смолкло ангельское пение. Я видел, как ангелочки сбились в стаю и воспарили, устремились под потолок, заливая своды потоком света, они теснились, чтобы скорее вырваться наружу, и улетали друг за другом, все время глядя на меня. Вот остался только один, он тоже обернулся и еще раз посмотрел на меня своими незрячими глазами, прежде чем исчезнуть.

Последнее, что я запомнил,— это ангел, который обернулся и посмотрел на меня, хотя он и был слепой. Потом все снова погрузилось в темноту. Я откинулся на подушку и заснул...

Когда я проснулся, было уже совсем светло. Я по-прежнему был один в этой комнате со сводами. Моя одежда лежала передо мной прямо на полу. Я пощупал ее, она была еще сыровата, но я все-таки оделся. Вдруг дверь приотворилась, и вновь появляется девушка, которую я видел накануне.

Она подходит ко мне совсем близко, и тогда я спрашиваю ее:

— Откуда ты пришла? Где была ты ночью, красавица?

— Там, наверху,— отвечает она и указывает на крышу башни.

— Разве ты не спала?

— Нет, не спала. Я всю ночь не спала.

— А не слышала ли ты ночью музыки?— спрашиваю я.— Я слышал райскую музыку.

— Это я играла и пела,— отвечает она.

— Ты? Скажи, дитя мое, это правда?

— Да, я.

Она протянула мне руку и сказала:

— А теперь идем, я выведу тебя на дорогу.

Мы вышли из башни и пошли, рука об руку, в лес. Солнце освещало ее золотистые волосы; у нее были удивительные черные глаза. Я обнял ее и два раза поцеловал в лоб, а потом упал перед ней на колени. Дрожащими руками развязала она на себе черную ленту и обмотала ее вокруг моего запястья; она плакала и, судя по ее виду, была очень взволнована.

— Почему ты плачешь?— спросил я ее.— Оставь меня, если я чем-то тебя обидел.

Но она не ответила, а только спросила:

— Ты видишь город?

— Нет,— сказал я,— не вижу. А ты?

— Встань, пойдем дальше,— сказала она. И повела меня дальше. Я снова остановился, прижал ее к своей груди и сказал:

— Я так люблю тебя! Ты переполнила меня таким счастьем!

Она вся задрожала у меня в руках, но все же сказала:

— Мне надо вернуться. Теперь ты, наверно, уже видишь город?

— Конечно,— ответил я.— Ты же его видишь?

— Нет,— ответила она.

— Почему?— спросил я.

Она отошла немного, взглянула на меня своими огромными глазами и низко склонилась передо мной, как бы прощаясь. Сделав еще несколько шагов, она снова обернулась и опять поглядела на меня.

И только тогда я увидел, что она тоже слепая...

Прошло двенадцать часов, но я не могу рассказать, как я их провел. Тут у меня какой-то провал в памяти. Куда затерялись эти часы, не знаю. Помню, как я ударяю себя по лбу и говорю: «Прошло двенадцать часов, они спрятались где-нибудь здесь, в башне. Они просто притаились, я должен их найти». Но найти их мне так и не удалось.

Снова вечер, темный, мягкий осенний вечер. Я сижу у себя в комнате с книгой в руке. Я оглядываю свои ноги — башмаки мои еще сыроваты. Я смотрю на свою руку и вижу, что на запястье повязана черная лента. Все соответствует действительности.

Я звоню, чтобы позвать служанку, и, когда она приходит, спрашиваю ее, нет ли здесь где-нибудь поблизости в лесу башни, черной, восьмиугольной башни. Служанка кивает головой и говорит:

— Да, здесь в лесу стоит башня.

— И там живут люди?

— Там живет странный человек, он больной, сумасшедший, у нас его зовут «Человек с фонарем». У него есть дочь. Она тоже живет вместе с ним в башне. А кроме них там никого нет.

— Ну хорошо, спокойной ночи.

И я ложусь спать.

На следующий день рано утром я отправляюсь в лес. Я шагаю по той же тропинке, вижу те же деревья. Я нахожу башню. Я подбегаю к дверям, и вдруг сердце мое останавливается: на земле лежит слепая девушка — она изуродована, она разбилась, она мертва. Она лежит с открытым ртом, и солнце озаряет ее рыжие волосы. Наверху, на крыше, еще трепещет клочок ее платья, зацепившийся за острый угол кровли; по дорожке, усыпанной щебнем, ходит взад-вперед маленький человек, ее отец, и неотрывно глядит на бездыханное тело. Грудь его судорожно вздымается, и он воет в голос; он только и в силах что ходить вокруг трупа, не сводя с него глаз, и громко выть. Когда же он вдруг посмотрел на меня, я содрогнулся от этого взгляда и, охваченный ужасом, со всех ног бросился назад, в город. Больше я его никогда не видел.

Вот такая со мной случилась история.

Они долго молчали. Дагни шла, не отрывая глаз от тропинки, шла очень медленно. Наконец она сказала:

— Бог ты мой, что за странная история!

Снова наступило молчание, и Нагель несколько раз пытался прервать его, говорил о том, какая удивительная тишина в лесу, какой покой!

— Вы чувствуете, как здесь, именно здесь, воздух насыщен ароматами? Давайте посидим здесь немного, ну, пожалуйста.

Дагни, по-прежнему тихая и задумчивая, села, не произнеся ни слова, он сел против нее.

Он считал себя обязанным ее снова развеселить. Это ведь, собственно говоря, вовсе не такая уж печальная история, скорее наоборот, забавная. И вообще чушь! Нет, вот в Индии — другое дело, в Индии случаются такие приключения, что, когда о них услышишь, дыхание перехватывает и кровь стынет в жилах от ужаса. Вообще индусские сказки бывают двух родов: одни погружают нас в мир неземной красоты, но вполне земных желаний — там речь идет об алмазных пещерах, о принцах, скрывающихся в горах, о неотразимых заморских краса-

вицах, о духах земли и воздуха, о жемчужных дворцах, о крылатых конях и лесах из чистого серебра и золота. Другие сказки отдают предпочтение мистике, они касаются вещей, нас потрясающих, необычных и необъяснимых; вообще никто не может сравниться с восточными народами в искусстве придумывать невообразимые коллизии и наводить ужас на слушателей порождением своей разгоряченной фантазии. Ведь вся их жизнь с первого дня протекает в сказочном мире, и рассказывать о нем властелине, живущем в облаках, и о его великой силе, которую он расходует, дробя челюстями звезды, им так же просто, как о замке феи в недоступных горах. Но все это объясняется только тем, что люди эти живут под другим солнцем и едят фрукты, а не ростбифы.

— Но разве у нас самих нет прекрасных сказок? — спросила Дагни.

— Есть замечательные, но только они в другом роде. Мы не знаем солнца, которое ослепляет и палит без всякой меры. Наши сказки о Хульдре, о разной там лесной нечисти стелются, так сказать, по земле, а то и уходят под землю, они рождены убогой фантазией, выношены темными зимними ночами в бревенчатых домишках под копоть лампы. Читала ли она когда-нибудь сказки «Тысячи и одной ночи»? Вот сказки из Гудбранской долины с их печальной крестьянской поэзией и кургузой фантазией — это другое дело, это — наши сказки, они воплощают наш дух. Они спокойны и остроумны, слушая их, мы не содрогаемся от ужаса, а смеемся. И герой в наших сказках не прекрасный принц, а хитрый пономарь. Она не согласна? Ну да, нурланские сказки, но разве они не такие же? Что мы смогли извлечь, например, из мистической и дикой красоты моря? Взять хотя бы лодку викингов. Ведь у восточных народов она превратилась бы в сказочный корабль, в корабль духов. Видела ли она когда-нибудь такую лодку? По ее форме можно сразу определить ее пол, она похожа на огромную самку с раздутым чревом, набитым детенышами, и плоской кормой, потому что иногда она садится на задние лапы. А нос ее высоко задран, словно гигантский рог, готовый сразиться со всеми четырьмя ветрами... Нет, мы живем слишком далеко на севере. Но это, конечно, только некомпетентное мнение агронома о географическом факте.

Видно, ей надоела его болтовня, в ее синих глазах промелькнуло что-то похожее на насмешку, и она спросила:

— Который час?

— Который час?— переспросил он рассеянно.— Наверно, около часу. Еще не поздно, да и вообще— какая разница.

Пауза.

— Вам нравится Толстой?— спросила она.

— Мне нравится не Толстой,— быстро ответил он, бросаясь на новую тему,— а «Анна Каренина» и «Война и мир», и...

Но она перебила его с улыбкой:

— А что вы думаете по поводу вечного мира?

Этот вопрос попал в цель. Он изменился в лице и растерялся.

— Что вы хотите сказать? Понятно, я надоел вам до смерти.

— Уверяю вас, мне это просто вдруг пришло в голову,— сказала она и покраснела.— Вы не должны на это обижаться. Дело вот в чем: мы собираемся устроить благотворительный базар для сбора средств в фонд государственной обороны. Только поэтому я вам и задала такой вопрос.

Пауза. Вдруг он поднимает голову и смотрит на нее сияющими глазами.

— Я сегодня так счастлив... я хочу вам это сказать... быть может, поэтому я и болтаю слишком много. Я радуюсь всему, радуюсь, что я гуляю здесь с вами; и эта ночь меня радует, мне кажется, она самая прекрасная из всех, которые мне вообще довелось пережить. Я сам не понимаю, что со мной. Будто я— частица этого леса или этой земли, ветка сосны или камень, да, пусть даже камень, но камень, пропитанный этими тонкими ароматами и исполненный того покоя, который нас окружает. Поглядите вон туда,— уже светает; вы видите эту серебряную полосу?

Они оба глядели на светлую полосу, появившуюся на горизонте.

— Мне сегодня тоже очень хорошо,— сказала она.

И она сказала это не в ответ на вопрос, а сама по себе, по собственной воле, совсем непосредственно, словно говорить об этом было ей радостно. Нагель пытливо заглянул ей в лицо, и на глазах у него снова выступили слезы. Нервно, порывисто, сбивчиво начал он говорить об Ивановой ночи, о ветре, который раскачивает верхушки деревьев и гудит, раскачивает и гудит, о том, что занимающийся вон там день переродил его, вселил в него

совсем новые силы. Грундвиг поет: «Рассвет окрасил небо, и ночь уж миновала». Если он утомил ее своей болтовней, то он мог бы показать ей небольшой фокус с веткой и соломинкой, и она увидела бы, что соломинка крепче ветки. Он готов сделать для нее все что угодно.

— Поглядите только... разрешите мне указать вам на одну мелочь, которая, однако, произвела на меня впечатление... поглядите на тот одинокий куст можжевельника. Ведь он буквально склоняется перед нами, и я вижу, он исполнен добра. А паук, глядите, тклет свою паутину, от сосны к сосне; паутинка — изделие редчайшей китайской работы, солнце, сотканное из мельчайших капелек воды. Вам не холодно? Я уверен, что сейчас вокруг нас танцуют теплые, смеющиеся эльфы, но если вам холодно, я разведу костер... Скажите, мне вдруг это пришло в голову, не здесь ли поблизости нашли Карлсена?

Была ли это месть за то, что она тогда над ним посмеялась? От него ведь всего можно ожидать.

Она вспыхнула и резко ответила:

— Оставьте его, прошу вас. Разве так можно!

— Простите! — поспешно сказал он. — Говорят, он был в вас влюблен, и мне это так понятно...

— Влюблен в меня? А не говорят ли также, что он из-за меня покончил с собой, моим перочинным ножиком? Ну, нам пора идти.

Она встала. Говорила она с легкой грустью, без смущения и без притворства. Он был крайне поражен. Она, значит, понимала, что довела до самоубийства одного из своих поклонников, но относилась к этому удивительно просто, не смеялась над этим, но и не пыталась обернуть это в свою пользу, — она говорила об этом как о печальном происшествии, и только. Ее длинная светлая коса приминала ворот платья, а щеки слегка порозовели от ночной прохлады. Она шла, чуть заметно покачивая бедрами.

Лес кончился, перед ними раскинулась открытая поляна, где-то лаяла собака, и Нагель сказал:

— Вот уже и пасторская усадьба. Как уютно выглядят эти большие белые строения, и сад, и собачья конура, и флагшток, особенно когда вокруг густой лес. Вам не кажется, фрекен, что вы будете тосковать по дому, когда уедете отсюда, я хочу сказать, когда выйдете замуж? Впрочем, все зависит от того, где вы будете жить.

— Я еще не задумывалась над этим, — ответила она. И добавила: — Кто знает, что нас ждет впереди!

— Вас ждет счастье.

Пауза. Она шла и, видно, думала о его словах.

— Послушайте,— сказала она вдруг,— вы не должны удивляться, что я гуляю так поздно ночью. У нас здесь это принято. Мы ведь все крестьяне, так сказать, дети природы. Мы с адьюнктом часто бродили по лесу до самого утра и болтали.

— С адьюнктом? С ним, мне кажется, не очень-то поговоришь.

— Да, конечно, больше говорю я, вернее, я задаю ему разные вопросы, а он отвечает... Что вы будете сейчас делать, когда придете домой?

— Сейчас?— переспросил Нагель.— Когда я приду, я тут же лягу и засну— и буду спать до полудня, спать как убитый, спать без просыпу! И мне ничего не будет сниться. А вы что будете делать?

— Разве вы ни о чем не думаете? Вам не случается, прежде чем заснуть, долго думать о самых разных вещах? Вы правда сразу засыпаете?

— Мгновенно, будто проваливаюсь. А вы нет?

— Послушайте, вот уже и первая птичка запела. Нет, сейчас, должно быть, куда позже, чем вы говорите. Дайте-ка я посмотрю на ваши часы. Бог ты мой, уже четвертый час, скоро четыре! Почему же вы недавно сказали, что только час?

— Простите меня!

Она посмотрела на него, нисколько не сердясь, и сказала:

— Вам незачем было меня обманывать, я все равно гуляла бы с вами, я говорю это совершенно честно. Надеюсь, вы не поймете меня неверно. Просто здесь у меня мало развлечений, поэтому я обеими руками хватаюсь за все, что мне попадется. Так я привыкла жить с тех пор, как мы сюда переехали, и я не думаю, что кто-нибудь меня за это осудит. Впрочем, может, я и ошибаюсь, да мне это все равно. Папа, во всяком случае, не возражает, а для меня важно только его мнение. Давайте пройдемся еще немного.

Они миновали пасторский дом и снова вошли в лес по другую сторону усадьбы. Птицы уже пели вовсю, а светлая полоса на востоке становилась все шире и шире. Разговор как-то сник, он вертелся вокруг пустяков.

Они повернули назад и подошли к воротам усадьбы.

— Иду, иду!— крикнула она собаке, рвавшейся на цепи.— Спасибо, что вы меня проводили, господин На-

гель, это был прекрасный вечер. И теперь мне есть о чем рассказать моему жениху, когда я буду ему писать. Я скажу, что вы такой человек, который ни с кем ни в чем не согласен. Вот он удивится! Так и вижу, как он размышляет над этим письмом, не в силах представить себе такого характера. Нет, ему этого не понять, он ведь удивительно добрый. Боже, какой он добрый! Он никогда не противоречит. Жаль, что вам не доведется с ним познакомиться, пока вы будете здесь. Спокойной ночи.

И Нагель ответил:

— Спокойной ночи, спокойной ночи.— И неотрывно глядел ей вслед, пока она не скрылась в доме.

Нагель снял кепку и нес ее в руках все время, пока шел через лес, всецело погруженный в свои мысли; много раз он останавливался, отрывал глаза от дороги и застывал на мгновение, глядя прямо перед собой, а потом медленно шел дальше. Что за голос у нее, что за голос! Просто невообразимо: голос, который звучит как пение.

IX

На другой день, около полудня.

Нагель только что встал и вышел не позавтракав. Он направился в нижнюю часть города и забрел уже довольно далеко, его влекло сюда оживление и сутолока у пристани, да и погода стояла ослепительная. Вдруг он обратился к первому встречному и спросил, где находится канцелярия окружного суда. Узнав, как туда пройти, Нагель тотчас же повернул в указанном направлении.

Он постучал в дверь канцелярии и вошел в комнату, где сидели два каких-то господина и что-то писали; миновав их, он обратился к поверенному Рейнерту и попросил его уделить ему несколько минут на разговор с глазу на глаз — много времени он у него не отнимет. Поверенный нехотя встал и повел его в соседнюю комнату.

Тогда Нагель сказал:

— Простите, пожалуйста, что я еще раз возвращаюсь к этому делу — я имею в виду историю с Минуткой, как вы понимаете. Я приношу вам свои глубокие извинения.

— После того как вы публично извинились передо мной тогда, в канун Иванова дня, я считаю этот инцидент исчерпанным.

— Что ж, прекрасно,— сказал Нагель.— Но беда в том, что меня не устраивает создавшееся положение,

господин поверенный. Я не о себе говорю — у меня лично к вам нет решительно никаких претензий,— я о Минутке. Вы, надеюсь, согласитесь с тем, что Минутка тоже вправе получить удовлетворение, и получить он его должен от вас, именно от вас.

— Вы что, хотите сказать, что мне следует извиниться перед этим слабоумным за те невинные шутки, которые я себе позволил, так, что ли? Не лучше ли вам заняться своими собственными делами и не...

— Да, да, да, да, это старая песня! Но давайте вернемся к сути вопроса. Вы разорвали Минутке сюртук и обещали ему взамен другой, вы это помните?

— Я вам вот что скажу: вы находитесь не у себя дома, а в суде и позволяете себе болтать бог весть что о частном деле, которое к тому же вас совершенно не касается. Здесь я хозяин. Вам незачем проходить через канцелярию, отсюда тоже есть выход на улицу.

И поверенный отпер какую-то маленькую дверь.

— Благодарю. Но шутки в сторону, вы должны не откладывая послать Минутке обещанный вами сюртук. Он в нем нуждается, вы это знаете, и он поверил вашему слову.

Поверенный широко распахнул перед Нагелем отпертую дверь и сказал:

— Прошу вас!

— Минутка считал вас порядочным человеком,— не унимался Нагель,— и вам не следовало бы его обманывать.

В ответ поверенный открыл дверь, ведущую в канцелярию, и позвал тех двух чиновников, которые там сидели. Тогда Нагель приподнял кепку и поспешно вышел. Он не произнес больше ни слова.

Как нелепо все получилось! Зря он предпринял эту попытку, лучше было бы не объясняться. Нагель отправился домой, позавтракал, почитал газеты и поиграл со щенком Якобсеном.

После обеда Нагель увидел из окна своей комнаты Минутку, подымавшегося от пристани по крутой каменной дороге с мешком угля на спине. Он шел скрючившись и не мог даже смотреть себе под ноги,— тяжесть совсем прижала его к земле. Ноги так плохо слушались его, такая странная была у него походка, что его брюки с внутренней стороны совсем обтрепались. Нагель вышел ему навстречу и столкнулся с ним у почты, где Минутка скинул мешок, чтобы перевести дух.

Они приветствовали друг друга одинаково низкими поклонами. Когда Минутка выпрямился, его левое плечо опустилось. Нагель вдруг вцепился в это плечо и без всяких предисловий, не снимая руки, спросил в сильном возбуждении:

— Вы проболтались насчет денег, которые я вам дал? Хоть кому-нибудь говорили?

Минутка прошептал в растерянности:

— Да нет, никому, ни одной живой душе.

— Я хочу вас предупредить,— продолжал Нагель, бледный от волнения,— что если вы хоть словом обмолвитесь о тех нескольких шиллингах, которые я вам дал, то я вас убью... да, просто убью— Бог свидетель! Вы меня поняли? И чтобы ваш дядя тоже держал язык за зубами!

Минутка стоял с открытым ртом, он остолбенел и только немного спустя снова бессвязно забормотал: он никому не скажет ни слова, он это обещает, никому...

А Нагель поспешно добавил, как бы в оправдание своей вспышки:

— Ну и городишко! Медвежий угол, дыра какая-то, настоящее осиное гнездо! Все на меня глазают, куда бы я ни пошел, за мной следят, просто шагу ступить нельзя! Но я не желаю, чтобы за мной всюду шпионили! К черту всех этих людей! Теперь я вас предупредил. Еще я вам вот что скажу: я думаю, и на это у меня есть свои основания, что, например, эта фрекен Хьеллан из пасторской усадьбы уж очень хитра, она в два счета обведет вас вокруг пальца и вы, сами того не замечая, все ей выболтаете. Но я не потерплю этого любопытства, решительно не потерплю. Кстати, вчера я провел с ней вечер. Она большая кокетка. Впрочем, не об этом сейчас речь. Я только хочу еще раз попросить вас не болтать о той пустячной помощи, которую я вам оказываю. Очень хорошо, что я вас сейчас встретил,— продолжал Нагель.— Я хотел поговорить с вами еще и о другом: третьего дня на кладбище мы сидели с вами, если помните, на одной могильной плите.

— Да.

— Я написал на этой плите стишок, признаюсь, скверный, непристойный стишок; впрочем, не в этом суть; итак, я написал этот стишок, и когда мы ушли оттуда, я его не стер, а несколько минут спустя, когда я снова туда вернулся, его уже не было, его кто-то стер,— это ваша работа?

Минутка опустил глаза и ответил:

— Да.

Пауза. Запинаясь от волнения, вконец смущенный тем, что его уличили в столь дерзком поступке, Минутка попытался объяснить, почему он решился действовать на свой страх и риск:

— Я так хотел предотвратить... Вы не знали Мину Меек, в этом все дело, а то вы никогда бы себе этого не позволили, не написали бы таких стихов. И я тут же сказал себе: он не виноват, он в городе чужой, а я — здешний и легко могу это исправить; разве я не должен был так поступить? Я стер стихи. Никто их не прочел.

— Откуда вы знаете, что никто не успел их прочесть?

— Ни одна душа, это точно. Проводив вас и доктора Стенерсена до ворот кладбища, я тут же вернулся назад и стер их. Я отсутствовал так мало времени...

Нагель взглянул на него, взял его руку и молча пожал. Они смотрели друг на друга, и губы Нагеля чуть заметно дрожали.

— Прощайте,— сказал он...— Да, кстати, вы получили сюртук?

— Гм... Все же я уверен, что получу его, когда он мне будет нужен. Через три недели...

Тут мимо них проходит седая женщина, та, что торгует яйцами, Марта Гудэ; корзинка у нее, как всегда, спрятана под фартуком, а черные глаза потуплены. Минутка поклонился ей, Нагель тоже, но она едва ответила на поклон и торопливо прошла дальше; она поспешила на рынок, тут же продала два-три яйца, и с несколькими шиллингами в руке так же торопливо направилась домой. На ней было зеленое платье, и Нагель все время не терял ее из виду.

— Так, значит,— сказал он,— сюртук вам понадобится лишь через три недели. А что, собственно, будет через три недели?

— Благотворительный базар, большой вечер, разве вы не слышали? И я должен там участвовать в живых картинах, фрекен Дагни меня пригласила.

— Вот как,— задумчиво произнес Нагель.— Что ж, вы получите сюртук в ближайшие дни, я уверен, и даже новый, а не ношенный. Как было обещано. Поверенный мне это сам сегодня сказал. Он, в сущности, совсем неплохой человек... Но только запомните: вы не должны благодарить его за это ни при каких обстоятельствах! И вот еще: никогда не упоминайте в его присутствии об

этом сюртуке, ему не нужна ваша благодарность, поняли?.. Он сказал, что ему это было бы крайне неприятно. Да вы и сами, наверное, понимаете, что напоминать ему о том случае с вашей стороны просто бестактно — ведь он был тогда пьян и ушел из гостиницы в помятой шляпе.

— Да.

— Дяде вашему вы тоже не говорите, откуда у вас этот сюртук. Ни одна душа не должна об этом знать, этого настоятельно требует поверенный. Вы ведь сами понимаете: ему не хочется, чтобы в городе стало известно, что ему ничего не стоит оскорбить первого встречного, а потом подарить сюртук в искупление своей вины.

— Да, это я понимаю.

— Послушайте, мне это только сейчас пришло в голову: почему вы не развозите уголь на тачке?

— На тачке мне никак нельзя. Из-за увечья. Перетащить тяжелые мешки — это я могу, если только их не взваливать на спину рывком, но стоит мне взяться за тачку и толкнуть ее вперед, как я от напряжения настолько обессилеваю, что тут же падаю, разбиваю себе лицо, и у меня начинаются страшнейшие боли. А вот с мешком я справляюсь без особого труда.

— Что ж, это хорошо. Загляните ко мне как-нибудь. Не забудьте, комната номер семь. Приходите не стесняясь.

Говоря это, Нагель сунул Минутке в руку ассигнацию и торопливо двинулся вниз по улице в сторону набережной. Все это время он не терял из виду зеленое платье и шел теперь за ним следом.

Когда он дошел до домика Марты Гудэ, он остановился и огляделся по сторонам. Никто за ним не следил. Он постучал в дверь, но ответа не получил. Он уже дважды приходил сюда и стучал в эту дверь, и тогда тоже никто не отзывался; но на этот раз он своими глазами видел, как она вернулась домой с рынка, и он не хотел уходить, не побывав у нее. Полный решимости, отворил он дверь и вошел в дом.

Она стояла посреди комнаты и смотрела на него. Она так растерялась, что на ней лица не было, и от полной беспомощности даже вытянула вперед руки.

— Простите меня за назойливость, фрекен, прошу вас, — сказал Нагель и поклонился с удивительной почтительностью. — Я был бы вам крайне благодарен, если бы вы мне разрешили поговорить с вами. Не беспокойтесь,

я не задержу вас надолго,— дело, которое привело меня к вам, можно решить за несколько минут. Я уже не раз пытался повидать вас, но, увы, безуспешно, и только сегодня мне наконец посчастливилось застать вас дома. Моя фамилия Нагель, я приезжий и живу здесь в гостинице «Централь».

Она по-прежнему была не в состоянии произнести ни слова, но придвинула ему стул, а сама отошла к кухонной двери. В страшном смущении глядела она на него, все время нервно теребя свой фартук.

Комната оказалась точь-в-точь такой, как представлял себе Нагель: стол, два стула и кровать— вот и вся ее обстановка. На подоконнике стояло несколько горшков с белыми цветами, но занавесок на окне не было, а пол отнюдь не поражал чистотой. Нагель увидел и ветхое кресло с высокой спинкой в углу возле кровати. У этого кресла сохранились всего две ножки, оно было прислонено к стене и имело весьма жалкий вид. Сиденье у этой старой рухляди было обтянуто красным плюшем.

— Если бы я только мог вас успокоить, фрекен,— снова начал Нагель.— Я не на всех нагоняю такой страх, когда наношу визит, ха-ха-ха; я уже побывал здесь, в городе, и у других людей, не думайте, что я так бесцеремонно ворвался только к вам. Я хожу из дома в дом, пытаюсь попасть ко всем, да вы, наверно, уже об этом прослышали? Нет? Но дело обстоит именно так. Меня к этому вынуждает моя профессия, я ведь коллекционер, собираю антикварные предметы— покупаю старинные вещи и плачу за них столько, сколько они в действительности стоят. Только, пожалуйста, не пугайтесь, фрекен, я ничего не унесу у вас тайком, я не краду, ха-ха-ха, у меня вообще нет этой дурной привычки. На этот счет вы можете не волноваться. Если мне не удастся купить ту или иную вещь, договорившись по совести с владельцем, я отступаю.

— Но у меня нет никаких старых вещей,— вымолвила она наконец; она явно была в полном отчаянии.

— Так всегда говорят,— ответил он.— Я, конечно, понимаю, что есть вещи, которые любишь и с которыми трудно расстаться, вещи, к которым привык за жизнь, которые перешли по наследству от родителей, а то и от прадедов. Но, с другой стороны, эти старые вещи стоят и стоят и ни на что уже толком не годны; так зачем же им только зря занимать место в доме, быть мертвым капиталом? А ведь эти бесполезные фамильные реликвии

часто могут принести весьма крупную сумму. Какой же смысл держаться за них, пока они окончательно не развалятся и не придется отправить их на чердак? Почему бы не продать их, пока не поздно? Некоторые сердятся, когда я являюсь,— они, мол, не держат дома старья,— что ж, прекрасно, каждый сам себе хозяин, я раскланиваюсь и ухожу. Тут уж ничего не поделаешь. Другие же, напротив, смущаются, им стыдно показывать такие бросовые вещи, как, скажем, сковородку с прогоревшим дном. Ведь они в этих делах ничего не смыслят. Так ведут себя, в первую очередь, люди простодушные, которые и понятия не имеют, как широко распространилась в наше время мания коллекционирования. Я не случайно говорю «мания», я ведь вполне сознаю, что моя страсть собирать коллекции—это настоящая мания, я люблю называть вещи своими именами. Впрочем, все это никого не касается, это мое личное дело. А сказать я хотел вот что: смешно и глупо стесняться показывать антикварные вещи. А как выглядят кольца и оружие, которые раскапывают в курганах? Но разве они из-за своего вида теряют цену? Ведь верно, фрекен? Вы бы только посмотрели на мою коллекцию коровьих колокольчиков! У меня есть, например, колокольчик—из простого железа, заметьте,—которому поклонялось, как божеству, одно индейское племя. Вы только представьте себе, этот колокольчик провисел невесть сколько лет на шесте в вигваме, ему поклонялись и приносили жертвы. Да, подумать только! Однако я что-то уклонился от цели своего визита. Но стоит мне заговорить о моих колокольчиках, и я не могу остановиться.

— У меня, право же, нет ничего старинного,— снова повторила Марта.

— Не позволите ли вы мне,— сказал Нагель медленно, с видом знатока,— не позволите ли вы мне взглянуть вон на то кресло? Это только просьба. Само собой разумеется, я не двинусь с места без вашего разрешения. Кстати, я обратил внимание на это кресло, как только вошел.

Марта, окончательно растерявшись, сказала:

— Это вот... пожалуйста... но у него сломаны ножки...

— Ножки сломаны, верно! Ну и что? Разве это имеет значение? Тем лучше, тем лучше! Могу ли я узнать, откуда оно у вас?

Нагель уже схватился за кресло и не выпускал его из рук, он вертел его и внимательно разглядывал со всех

сторон. Позолоты на нем не было, а спинку украшало только нечто вроде короны, вырезанной из красного дерева. Задняя сторона спинки была к тому же вся исцарапана ножом. На деревянной раме сиденья тоже было множество зарубок — следы того, что на ней резали табак.

— Оно к нам попало откуда-то из-за границы, но, право, не знаю откуда. Мой дед когда-то привез несколько таких кресел, но теперь осталось только вот это. Мой дед был моряком.

— Вот как! А ваш отец тоже был моряком?

— Да.

— А не плавали ли вы вместе с ним? Простите, что я вас расспрашиваю.

— Да, много лет я плавала вместе с ним.

— В самом деле? Как это, должно быть, было интересно! Вы повидали много разных стран, избороздили, как говорится, моря и океаны! Подумать только! А потом вы снова здесь поселились? Да, на родину всегда тянет — как ни хорошо в гостях, а дома лучше... А прогос, вы не знаете случаем, где ваш дед купил эти кресла? Должен вам сказать, что мне очень важно знать хоть немножко историю тех вещей, которые я собираю, так сказать, их биографию.

— Нет, я не знаю, где он его купил, это было так давно. Может быть, в Голландии? Нет, право же, не знаю.

Он заметил, к своему удивлению, что она оживает все больше и больше. Она уже вышла на середину комнаты и стояла почти рядом с ним, пока он колдовал над креслом и, казалось, не мог на него наглядеться. Он говорил не умолкая, так и сыпал всевозможными замечаниями относительно отделки и пришел просто в восторг, когда обнаружил на задней стороне спинки небольшую вделанную в дерево пластинку, в которую, в свою очередь, была вделана еще одна пластинка — совсем простая работа, безвкусная, да и выполнена с детской неумелостью. Кресло было очень ветхое, и он обращался с ним крайне осторожно.

— Да,— сказала она в конце концов,— если вы действительно... я хочу сказать: если вам это доставит хоть какое-то удовольствие, то возьмите себе это кресло, я охотно вам его отдам. Я сама отнесу его в гостиницу, если вам угодно. Мне оно не нужно.

И она вдруг рассмеялась над той горячностью, с которой он добивался этого трухлявого кресла.

— Ведь у него только одна ножка цела,— добавила она.

Он взглянул на нее. Волосы у нее были седые, но улыбка оказалась молодой и заразительной, и зубы прекрасные. Когда она смеялась, глаза ее сверкали влажным блеском. Что за черные глаза у этой старой девы! Но лицо Нагеля оставалось невозмутимым.

— Я рад,— сказал он сухо,— что вы решились уступить мне это кресло. Теперь давайте поговорим о цене. Нет, простите, но уж наберитесь терпения и разрешите мне сперва назвать вам цену, я всегда сам ее назначаю. Я оцениваю вещь, предлагаю за нее такую-то сумму, и все! Вы могли бы заломить невесть сколько, постараться выжать из меня побольше, почему бы и нет? На это вы можете, конечно, возразить, что вас трудно заподозрить в жадности. Хорошо, с этим я готов согласиться, но ведь мне приходится иметь дело со всякими людьми, поэтому мне важно всегда самому назначать цену, я-то знаю, что сколько стоит. Для меня это вопрос принципа. Если дать вам волю, то что может вам помешать запросить за кресло, например, триста крон? Вам это тем легче сделать, что речь идет, как вы знаете, действительно об очень дорогом и редком предмете. Но это баснословная цена, такое кресло мне не по карману; я заявляю вам это прямо, чтобы у вас на этот счет не было никаких заблуждений. Я вовсе не намерен разориться, я же не сумасшедший, чтобы отвалить вам за это кресло триста крон. Короче говоря, я дам вам за него две сотни,— и ни шиллинга больше. Я всегда готов дать за вещь ее настоящую цену, но не больше.

Она не сказала ни слова, она только смотрела на него, и глаза у нее расширились от удивления. В конце концов она решила, что он шутит, и снова засмеялась, но негромко и растерянно.

А Нагель тем временем преспокойно вынул из кармана две красные ассигнации и несколько раз помахал ими. При этом он не спускал глаз с кресла.

— Не отрицаю,— сказал он,— что какой-нибудь другой коллекционер дал бы вам, возможно, и больше, я хочу быть честным и поэтому не скрою, что еще немного вы, скорее всего, могли бы выжать. Но я уже сказал вам свою цену — двести крон, для ровного счета, ни шиллинга сверх этого, повторяю, я вам заплатить не смогу. Поступайте как знаете, дело ваше, но прежде обдумайте все как следует. Ведь двести крон тоже на улице не валяются.

— Нет,— ответила она, и смущенная улыбка осветила ее лицо,— оставьте эти деньги при себе.

— Оставить при себе! Что это значит? Могу ли я узнать, чем вас мои деньги не устраивают? Уж не думаете ли вы, что я их сам печатаю? Или подозреваете меня в том, что я их украл, ха-ха-ха, так, что ли?

Она перестала смеяться. Похоже было, что он говорит всерьез, и она попыталась все это обдумать. Что надобно от нее этому сумасшедшему, чего он добивается? Судя по его глазам, он на все способен. Одному богу известно, нет ли у него какого-то тайного умысла, не ставит ли он ей ловушки. Почему он явился именно к ней со своими деньгами? Наконец она как будто приняла какое-то решение и сказала:

— Если вы уж так настаиваете, то дайте мне за кресло крону или две, я буду вам премного благодарна. Но больше я не возьму.

На его лице отразилось крайнее изумление, он сделал шаг в ее сторону и поглядел на нее, а потом разразился смехом:

— Но... обдумали ли вы... За всю мою долгую жизнь коллекционера со мной впервые такое случается! Впрочем, я, конечно, понимаю, это шутка...

— Нет, не шутка. Сроду не слыхала ничего подобного! Я не хочу брать с вас больше, чем сказала, я вообще ничего не хочу брать. Возьмите кресло даром, если вам угодно.

Нагель безудержно хохотал.

— Повторяю, я понимаю шутки и ценю их, а ваша приводит меня просто в восторг, да, в восторг, черт меня подери, над хорошей шуткой я готов хохотать до упаду. Но, по-моему, нам пора уже до чего-то договориться, не правда ли? Как по-вашему, не покончить ли нам с этим делом прежде, чем у вас снова испортится настроение? А то, чего доброго, вы поставите кресло обратно в угол и потребуете за него пять сотен.

— Возьмите это кресло... Я... Что у вас на уме?

Они не сводили друг с друга глаз.

— Вы ошибаетесь, если думаете, что мною движет не желание приобрести это кресло за сходную цену, а что-то другое,— сказал он.

— Бог ты мой, так берите же его, берите!

— Я вам безмерно признателен за вашу полную готовность пойти мне навстречу. Но мы, коллекционеры, еще не потеряли окончательно чувства чести, хотя его и не

всегда хватает, и вот это-то чувство чести и удерживает меня, восстает, так сказать, во мне и не позволяет купить за бесценок дорогую вещь. Моя коллекция потеряла бы в моих глазах — в глазах ее собственника — всякую ценность, если бы в нее затесался предмет, приобретенный таким нечестным путем, и вся она потеряла бы для меня свою подлинность. Ха-ха-ха, это же просто смешно, все у нас получается как-то наыворот, выходит, я вынужден отстаивать ваши интересы, вместо того чтобы защищать свои собственные? Но что поделаешь, ведь вы меня сами к этому принуждаете.

Но она не сдавалась, нет, ему ничего не удалось добиться. Она твердо стояла на своем: пусть он берет кресло за крону или две, не больше, либо пусть вообще его не трогает. Так как победить ее упрямство оказалось невозможным, он сказал в конце концов, чтобы хоть как-то выйти из положения:

— Хорошо, на сегодня хватит, отложим это до другого раза. Но обещайте мне, что вы не продадите кресло никому другому, не предупредив меня об этом, договорились? Я не упусти его, даже если оно окажется несколько дороже. Во всяком случае, я готов заплатить столько же, сколько любой другой, а ведь все же я пришел первым.

Когда Нагель снова очутился на улице, он пошел быстрым шагом — так он был возбужден. До чего же упряма эта девушка, и как она бедна и недоверчива! «Видел ли ты ее кровать?» — спросил он самого себя. Там нет даже охапки соломы, не говоря уже о простыне, там постелены только две нижние юбки, которые она, наверно, носит днем, когда холодно. И в то же время она так боится впутаться в какую-нибудь темную историю, что отказывается от выгоднейшего предложения! Но ему-то что за дело до всего этого, черт подери? Да, собственно говоря, ему и нет до этого никакого дела. Но что за существо! Истый дьявол, ведь верно? Если он подошлет к ней кого-нибудь, чтобы взвинтить цену на кресло, то это ей, верно, тоже покажется подозрительным. Просто дура какая-то! Настоящая дура! И надо же было ему туда соваться, чтобы получить такой афронт!

Он был так раздосадован, что сам не заметил, как очутился возле гостиницы. Он остановился в недоумении, потом резко повернул и пошел назад, вниз по улице, к портняжной мастерской И. Хансена; туда он и зашел, отозвал мастера в сторону и, только когда они оказались с глазу на глаз, заказал такой-то и такой-то сюртук

и попросил портного держать заказ от всех в тайне. Как только сюртук будет готов, пусть его незамедлительно отошлют Минутке, то есть Грегорду, ну, этому кособокому разносчику угля, который...

— Как, это сюртук для Минутки?

— Ну и что? Очень уж вы любопытны! Хочется все выведать, да?

— Да нет, просто дело в мерке.

Вот как! Что ж, хорошо, знайте, сюртук этот заказан для Минутки. Собственно говоря, Минутка может и сам зайти, чтобы вы сняли с него мерку, почему бы и нет? Но ни слова, ни намек — договорились? А когда сюртук будет готов? Через два дня? Прекрасно.

Нагель тут же заплатил деньги, попрощался и вышел. Он потирал руки от удовольствия, досада его улетучилась, он шел и пел. Да, да, несмотря ни на что — несмотря ни на что! Только подождите! Придя в гостиницу, он тут же опрометью взбежал по лестнице, влетел к себе в комнату и позвонил; руки его дрожали от нетерпения, и не успела открыться дверь, как он крикнул:

— Телеграфные бланки, Сара!

Футляр для скрипки был открыт, и Сара, войдя, увидела, к своему великому изумлению, что в этом футляре, с которым она всегда обращалась так осторожно, лежало грязное белье да какие-то бумаги и письменные принадлежности, а вовсе не скрипка. Она стояла как вкопанная посреди комнаты и глядела на футляр.

— Телеграфные бланки,— повторил Нагель, еще больше повышая голос,— я, кажется, просил телеграфные бланки.

Когда ему принесли наконец эти бланки, он написал на одном из них своему знакомому в Христиании, что просит его анонимно послать двести крон Марте Гудэ, проживающей здесь, в этом городке. Двести крон, без всякого объяснения. Соблюдать в тайне. Юхан Нагель.

Нет, так не выйдет! Когда он все это обдумал как следует, то понял, что его план никуда не годится. Не лучше ли подробнее объяснить что к чему и приложить к письму деньги, чтобы быть уверенным, что его поручение тут же выполнят? Он разорвал телеграмму на мелкие клочки, а потом тут же сжег их и второпях написал письмо. Да, так лучше, даже самое короткое письмецо убедительней телеграммы, так, пожалуй, сойдет. Ну, он ей покажет, она еще увидит...

Но когда он вложил деньги в конверт и запечатал его, он снова задумался. У нее опять может возникнуть подозрение, рассуждал он. Двести крон — это круглая сумма, да к тому же как раз та самая, которой он только что размахивал перед ее носом. Нет, это тоже не годится! И он вынул из кармана десятикрановую бумажку, распечатал конверт и вложил ее, изменив общую сумму на десять крон. Потом он снова запечатал письмо и отправил его.

Час спустя мысли его все еще вертелись вокруг этой выдумки, и он был от нее в восторге. Это чудесное письмо свалится на нее прямо с неба, из заоблачных высот, брошенное чьей-то таинственной рукой. Интересно, что она скажет, когда получит деньги? Но когда он еще раз задал себе этот вопрос и попытался себе представить, как она вообще ко всему отнесется, он снова пал духом: план показался ему чересчур дерзким, одним словом, глупый, никуда не годный план. Она, ясное дело, не скажет ничего разумного, а поведет себя как последняя дура. Когда она получит письмо, она ровным счетом ничего не поймет и обратится к кому-нибудь, чтобы ей помогли разобраться. На почте она положит его на видном месте для всеобщего обозрения, тут же сунет назад деньги почтовому чиновнику, будет от них отказываться и ломаться: «Нет, нет, оставьте эти деньги у себя!» А этот чиновник вдруг ткнет себя пальцем в нос и возвестит: «Подождите-ка, стойте, я, кажется, нашел!» И он пороеется в своих книгах и обнаружит, что несколько дней назад отсюда была послана точно такая же сумма, чтобы не сказать, те же самые ассигнации — двести десять крон, — по такому-то и такому-то адресу в Христианию. Отправителем окажется некий Юхан Нагель, приезжий, временно проживающий в гостинице «Централь»... Да, у почтовых чинуш такие длинные носы, что они все разношают.

Нагель снова позвонил и велел посыльному немедленно вернуть письмо.

Весь день он находился в таком нервном напряжении, что в конце концов ему все надоело. В сущности, черт с ней, со всей этой историей! Какое ему дело до того, что Господь Бог устраивает железнодорожную катастрофу с человеческими жертвами где-то в глубинном районе Америки? Да ровным счетом никакого! И в той же мере ему нет дела до живущей здесь благодетельной девицы Марты Гудэ.

Два дня он не выходил из гостиницы.

В субботу вечером к Нагелю в комнату вошел Минутка. Он весь сиял от счастья — на нем был новый сюртук.

— Я встретил поверенного, — сказал он, — он и виду не подал и даже спросил меня, откуда у меня этот сюртук. Вот как хитро он меня испытывал.

— И что же вы ему ответили?

— Я рассмеялся и ответил, что этого не скажу, никому не скажу, пусть уж он меня простит, и откланялся. Я сумел ему ответить... Знаете, уж лет тридцать у меня не было нового сюртука; я подсчитал... Да, я еще не поблагодарил вас за те деньги, которые вы мне дали в последний раз. Это слишком много для такого калеки, как я, — куда мне их девать? У меня просто голова идет кругом от всех ваших благодеяний; будто во мне все шарниры разболтались, и все внутри ходуном ходит, ха-ха-ха! Но Господь Бог меня не оставит, я ведь как дитя. Нет, я твердо знал, что в конце концов обязательно получу этот сюртук, разве я вам не говорил? Обещанного, говорят, три года ждут, и я никогда еще не ждал понапрасну. Лейтенант Хансен посулил мне как-то две шерстяные фуфайки, которые ему больше не нужны. С тех пор уже два года прошло, но все равно я их получу, я в этом так уверен, что можно считать, они уже на мне. Так всегда бывает, рано или поздно люди вспоминают свои обещания и дают мне все, в чем я нуждаюсь. Вам не кажется, что теперь, когда я так хорошо одет, я стал другим человеком?

— Вы давно не приходили ко мне.

— Я объясню: я ждал нового сюртука, я твердо решил не приходить к вам больше в старом. Видите ли, у меня есть свои причуды, мне неприятно появляться в обществе в рваном сюртуке, бог его знает почему, но я теряю к себе всякое уважение, это оскорбляет мое чувство собственного достоинства. Уж вы меня простите, что я говорю вам о своем чувстве собственного достоинства, словно это что-то существенное, с чем необходимо считаться. Вовсе нет, уверяю вас, да и куда мне! И все же время от времени оно у меня вдруг появляется.

— Не выпьете ли вина? Нет. Тогда, может, выкурите хоть сигару?

Нагель позвонил и велел принести вина и сигар. Он сразу же стал пить, и пил много, но Минутка только курил, глядел на потолок и говорил, говорил. Казалось, он никогда не умолкнет.

— Послушайте,—сказал вдруг Нагель,—может, у вас плохо обстоит дело с рубашками? Простите, что я об этом спрашиваю.

— Я вовсе не поэтому упомянул о двух фуфайках, провалиться мне на этом месте,—поспешно сказал Минутка.

— Конечно, конечно! Чего вы так горячитесь? Если вы не возражаете, то разрешите мне посмотреть, что у вас под сюртуком.

— Охотно вам покажу, да, да, пожалуйста, смотрите! Вот сзади, сами видите, рубашка выглядит прекрасно, да и спереди не хуже...

— Нет, погодите, по-моему, спереди она много хуже.

— А мне лучше и не надо!—воскликнул Минутка.— Нет, мне не нужна новая рубашка, правда не нужна. Больше того, я скажу вам, что даже такая рубашка, как эта, и то слишком хороша для меня. Знаете, кто мне ее дал? Доктор Стенерсен, да, сам доктор Стенерсен. И я думаю, тайком от своей жены, хотя она—сама доброта. Я получил эту рубашку к Рождеству.

— К Рождеству?

— Вы считаете, что это очень давно? Но ведь такую рубашку я не рву, как идиот, я стараюсь не донашивать ее до дыр, на ночь я ее снимаю и сплю голый, чтобы не трепать ее понапрасну. Так она прослужит намного дольше, и я могу свободно появляться в обществе, не стыдясь, что у меня нет приличной рубашки. А теперь еще эти живые картины, в которых я должен участвовать, поэтому как нельзя более кстати, что у меня есть рубашка, в которой я смело могу показаться на людях. Фрекен Дагни по-прежнему настаивает на том, чтобы я тоже выступал. Я повстречал ее вчера у церкви. Она говорила о вас...

— Тогда я подарю вам брюки... Ради удовольствия увидеть ваше публичное выступление стоит раскошелиться. Раз поверенный преподнес вам сюртук, я куплю вам брюки и не буду внакладе. Но только все с тем же условием—никому ни слова об этом.

— Конечно, конечно!

— Позвольте, я налью вам рюмочку. Нет, нет, я не настаиваю, как вам угодно. А вот мне сегодня хочется выпить, я что-то нервничаю, и мне грустно. Вы мне разрешите задать вам нескромный вопрос? Известно ли вам, что у вас есть прозвище? Вас за глаза все зовут Минуткой,—вы это знаете?

— Да, конечно, знаю. Сперва мне это было очень тяжело и я просил Бога помочь мне; как-то раз я даже целое воскресенье пробродил в лесу, и трижды падал на колени, там, где было посуше,—тогда стояла ранняя весна, и снег только-только стаял,—и молился. Но это было уже давным-давно, с тех пор прошло много лет, и никто теперь не зовет меня иначе, чем Минутка, и меня это уже не трогает. А почему вас интересует, знаю ли я это? Разве я в силах тут что-либо изменить?

— А вы знаете, почему вы получили это дурацкое прозвище?

— Да, и это я знаю. Собственно говоря, это было уже очень давно, еще до того, как я стал калекой, но я все это прекрасно помню. Дело было вечером, вернее, ночью, на холостой пирушке. Быть может, вы обратили внимание на дом, выкрашенный охрой, у самой таможни, справа, если идти вниз, к пристани? В то время этот дом был белым и жил там фогт. Звали его Серенсен, был он холостяком и любил повеселиться. Как-то весенним вечером возвращался я домой с набережной, где я гулял и разглядывал суда; поравнявшись с домом фогта, я услышал, что там гости—до меня донесся шум голосов и смех, а когда я прошел мимо окон, меня увидели и стали мне стучать в стекло. Я вошел в дом и застал там доктора Кольбу, капитана Вильяма Пранте, таможенного чиновника Фолькедаля и еще несколько человек,—теперь никого из них уже здесь нет: кто умер, а кто уехал,—гостей было человек семь или восемь, все пьяные в стельку. Они переломали все стулья просто так, забавы ради, потешая фогта, перебили все рюмки, так что пить пришлось прямо из горлышка. Вскоре я тоже напился как свинья, и тогда началось настоящее светопреставление. Гости разделись и стали прыгать по комнатам в чем мать родила, хотя шторы на окнах не были спущены, а когда я отказался последовать их примеру, они схватили меня и принялись насильно раздевать. Я отбивался как мог и всячески пытался вырваться; я был в безвыходном положении, я просил у них прощения, пожимал им руки и снова просил прощения!..

— Почему вы просили прощения?

— Я думал, что, может, сказал что-нибудь лишнее, обидел их и они потому так на меня накинулись. Я хватал их за руки и умолял простить меня, надеясь, что они сжалятся. Но все было тщетно, в конце концов они раздели меня догола. К тому же доктор обнаружил у ме-

ня в кармане письмо и стал его всем читать вслух. Но тут я немного протрезвел—ведь письмо это было от моей матери, которая написала мне, когда я отправился в плавание. Короче говоря, я обозвал доктора винной бочкой, потому что все знали, что он много пьет. «Вы винная бочка!»—крикнул я ему. Он рассвирепел и кинулся было на меня, но остальные его удержали. «Давайте лучше накачаем его как следует!»—предложил фогт, словно я и так уже не был смертельно пьян. И они стали лить мне в глотку все остатки из разных бутылок. Потом двое из этих господ—теперь уже не помню, кто именно,—внесли в комнату лохань воды: они поставили ее прямо на пол и предложили меня крестить. Все были в восторге от этой забавы и подняли невообразимый крик. Потом им пришлось в голову запакастить эту воду; чего только они не делали—и плевали, и лили водку, а потом побежали в спальню, принесли оттуда горшок и выплеснули его содержимое в лохань, а потом еще насыпали туда два совка золы из печки, чтобы и на вид вода была бы как можно более отвратительной. И вот все было готово для моих крестин. «Почему вы не хотите крестить кого-нибудь другого?»—взмолился я и упал перед фогтом на колени. «Мы все уже крещеные,—ответил он,—нас крестили точно так же». И я ему поверил, потому что в городе говорили, что всех; с кем он водит компанию, он крестит таким образом. «Подойди сюда для свершения обряда»,—приказал мне фогт. Но я не пошел по доброй воле, я не двинулся с места, а, наоборот, вцепился в дверную ручку. «Ну-ка, пошевеливайся, живо! Сейчас же иди сюда, сию минутку!» Так он и сказал—не «сию минуту», а «сию минутку», потому что был родом из Гудбрансдале, а там все так говорят. Но я по-прежнему не двинулся с места. Тогда капитан Пранте завопил: «Минутка, Минутка, вот оно, нужное слово! Мы наречем его «Минуткой», так точно, мы его сейчас окрестим и дадим имя «Минутка». И все нашли, что имя это мне пристало, потому что росточком я не вышел. И двое гостей схватили меня и поволокли к фогту, а так как по сравнению с ним я был фитюлькой, он сгреб меня в охапку и окунул в лохань. Он пригнул меня головой в осевшую там жижу и осколки битых рюмок, а затем вытащил и прочитал надо мной нечто вроде молитвы. Потом мною занялись крестные отцы—обряд сводился к тому, что каждый по очереди подкидывал меня высоко

в воздух, а когда им это надоело, они разделились на две партии и перебрасывали меня из рук в руки, как мяч,—надо, мол, меня подсушить; они играли так, пока им и это не надоело, а когда фогт крикнул: «Стоп», они отпустили меня и стали все по очереди пожимать мне руку и величать Минуткой. Но все же меня еще раз искупали в лохани, меня кинул туда со всего маху доктор Кольбю, я больно ударился, и что-то у меня в боку хрустнуло,—это он в отместку, потому что я называл его винной бочкой... С той ночи это прозвище ко мне и прилипло. На следующий день весь город уже знал, что я побывал у фогта и что меня крестили.

— Вы говорите, вы ударились боком? А голову вы себе не повредили, саму голову?

Пауза.

— Вы меня уже второй раз спрашиваете, не повредил ли я себе голову, и это, видимо, неспроста. Но я тогда не ударялся головой, и у меня не было сотрясения мозга, если вы этого опасаетесь. Я так сильно ударился о лохань, что сломал себе ребро. Но оно уже давным-давно срослось, доктор Кольбю лечил меня бесплатно, и этот перелом не подорвал моего здоровья.

Пока Минутка рассказывал, Нагель все время пил, потом он позвонил и заказал еще вина, а когда его принесли, снова стал пить. Вдруг он сказал:

— Как вы думаете,—мне почему-то сейчас пришло в голову спросить вас об этом,—как вы думаете, я хорошо разбираюсь в людях? Не смотрите на меня такими глазами, я спрашиваю просто так, по-товарищески. Вам не кажется, что я вижу насквозь человека, с которым говорю?

Минутка смотрел на него в полной растерянности, он не знал, что сказать. Тогда Нагель снова заговорил:

— Впрочем, извините меня; уже в тот раз, когда я имел удовольствие видеть вас у себя, я привел вас в замешательство в высшей степени глупыми вопросами. Вы, верно, помните, что я предлагал вам немалую сумму за то, чтобы вы признали себя отцом чужого ребенка, ха-ха-ха. Но я сделал вам тогда это странное предложение только потому, что не знал вас; а теперь я снова смущаю вас своими вопросами, хотя уже хорошо вас знаю и высоко ценю. Видите ли, сегодня я веду себя так потому, что я нервничаю, да к тому же я совсем пьян. Вот вам и все объяснение. Вы, конечно, давно заметили, что я напился. Еще бы не заметить! Чего же вы притворя-

етесь?.. Позвольте, что это я хотел сказать? Ах да, меня и в самом деле очень интересует, в какой мере я, по-вашему, могу проникнуть в человеческую душу. Ха-ха, я хочу сказать, что я, например, очень тонко различаю интонации своего собеседника, у меня на этот счет на редкость чуткое ухо. Когда я с кем-нибудь разговариваю, мне вовсе не надо глядеть на этого человека, чтобы разобраться в том, что он говорит, я тут же слышу, если он хочет навязать мне свое мнение или если он говорит фальшиво. Голос — опасный аппарат. Только поймите меня правильно, я имею в виду не звучание голоса в физическом смысле, дело не в том, что он может быть высоким или низким, звонким или глухим, я говорю не о тембре, нет, меня занимает тайна, которая за ним скрыта, мир, который его порождает. Впрочем, черт с ним, с этим внутренним скрытым миром! В конце концов за всем всегда стоит какой-нибудь скрытый мир. Плевать я хотел на все это!

Нагель снова выпил.

— Вы совсем притихли. Я расхвастался, — вижу, мол, всех насквозь, и вы теперь боитесь пальцем пошевелить, но выбросьте, прошу вас, весь этот вздор из головы. Ха-ха-ха, что ж, недурно, ей-богу, недурно! Да, что я хотел сказать? Забыл! Ну ладно, тогда я скажу что-нибудь другое, что-нибудь, что мне совершенно безразлично, я буду говорить до тех пор, пока не вспомню то, что забыл. Боже, что за чушь я порю! Как вы относитесь к фрекен Хьеллан? Мне хотелось бы узнать ваше мнение о ней. А мое мнение вот какое: фрекен Хьеллан такая невероятная кокетка, что была бы счастлива, если бы и другие, и, между прочим, я в том числе — чем больше людей, тем лучше, — наложили бы на себя руки из-за нее. Вот вам мое мнение. Она очаровательна, да что говорить, просто очаровательна, и, наверно, испытываешь сладостную боль, когда она топчет тебя ногами, одним словом, не поручусь, что не настанет день, когда я попрошу ее оказать мне эту небольшую услугу. Впрочем, пока еще этого опасаться не приходится, спешить мне некуда, время терпит... Бог ты мой, как я, должно быть, напугал вас сегодня своей болтовней! Я не обидел вас, я имею в виду вас лично?

— Если бы вы только знали, как хорошо фрекен Хьеллан о вас отзывалась! Я встретил ее вчера, она долго со мной разговаривала...

— Скажите мне — простите, что я снова не даю вам говорить, — может, вы тоже обладаете способностью

хоть в какой-то мере слышать в голосе фрекен Хьеллан что-то помимо самого звука? Однако теперь вы наверняка уже заметили, что я несую невесть что, ведь верно? Вот видите! Но я был бы рад, если бы вы тоже хоть немного разбирались в людях, тогда я поздравил бы вас и сказал бы: нас двое, мы оба на недостижимой высоте, потому что видим все насквозь, так давайте же объединимся, заключим союз и никогда не будем обращать наши знания друг против друга — друг против друга, понимаете, — иначе говоря, вот я, например, никогда не буду пользоваться своими знаниями против вас, даже если я и вижу вас насквозь. Ну вот, вы снова забеспокоились, и снова у вас перепуганный вид! Моя хвастливая болтовня не должна вас смущать, я ведь пьян... Но сейчас я вдруг случайно вспомнил, что я хотел сказать тогда, когда заговорил о фрекен Хьеллан, до которой мне решительно нет никакого дела. Да и чего это мне вздумалось излагать вам свое мнение о ней, когда вы меня даже об этом не спрашивали! Я вам вконец испортил настроение; вы помните, как вы радовались, когда час назад переступили порог этой комнаты? Все это получилось из-за вина — хлебнул лишнего и несую всякий вздор... Пойдите, пойдите, как бы мне снова не забыть, что я хотел сказать: когда вы рассказывали про холостую пирушку у фогта, ну, помните, про то, как вас крестили, мне пришла, как это ни странно, в голову мысль тоже устроить у себя такую пирушку, устроить ее, чего бы мне это ни стоило, и пригласить несколько гостей; и можете быть уверены, что никто не заставит меня отказаться от этой затеи, пирушка состоится обязательно, и вы тоже должны прийти, я твердо на вас рассчитываю. И можете быть спокойны, крестить вас больше не будут, я позабочусь о том, чтобы с вами обращались с величайшей предупредительностью и уважением, и вообще стульев и столов мы ломать тоже не будем, но мне очень бы хотелось собрать у себя вечером нескольких друзей, и чем скорее, тем лучше, ну, допустим, к концу этой недели. Что вы на это скажете?

Нагель снова выпил, выпил два полных стакана подряд. Минутка ничего не отвечал. Его первая детская радость уже прошла, это было ясно, и болтовню Нагеля он явно слушал только из вежливости. Выпить что-либо он наотрез отказывался.

— Вы стали вдруг так удивительно молчаливы, — сказал Нагель, — это просто смешно, но сейчас у вас такой

вид, будто вы чем-то задеты, словом каким-нибудь или намеком? Да, как ни странно, вы именно чем-то задеты! Я заметил, что вы как будто только что вздрогнули? Нет? Ну, тогда я ошибся. Вы когда-нибудь пытались представить себе, что должен испытывать фальшивомонетчик, когда в один прекрасный день сыщик кладет ему руку на плечо и, ни слова не говоря, глядит в глаза? Но что мне с вами делать? Вы становитесь все печальней и печальней и все больше замыкаетесь. У меня сегодня совсем сдали нервы, и я вас вконец замучил, знаю, но я должен говорить, на меня это всегда находит, когда я пьян. И вам нельзя уйти, не то мне придется еще битый час проболтать с Сарой, здешней горничной, а это неприлично, не говоря уже о том, что и просто скучно. Не разрешите ли вы мне рассказать одну маленькую историю? Мой рассказ лишен какого-либо значения, но, может, он вас немного позабавит и вместе с тем покажет вам, как хорошо я разбираюсь в людях. Ха-ха-ха, вы сейчас убедитесь, что если кто-нибудь решительно ничего не смыслит в людях, так это я,— быть может, это открытие вас немного взбодрит. Короче говоря, как-то раз я приехал в Лондон — это было, наверно, года три назад, не больше,— и познакомился там с очаровательной девушкой, дочерью человека, с которым у меня были кое-какие дела. Мы приглянулись друг другу, три недели подряд мы виделись ежедневно и стали добрыми друзьями. Как-то раз после обеда она решила показать мне Лондон, и мы долго бродили по городу, посетили несколько музеев и картинных галерей, осмотрели ряд памятников и обошли парки; наконец настал вечер, а мы все еще не возвращались домой. Тем временем природа брала свое, у меня возникли естественные потребности, и я оказался в ужасном положении, в котором, впрочем, нельзя было не оказаться во время прогулки, затянувшейся на полдня. Что мне было делать? Незаметно отойти я не мог, попросить на это разрешение не хотел. Короче говоря, в какой-то момент я перестал сдерживаться, я проделал все прямо на ходу и оказался, естественно, в совершенно мокрых штанах. Но скажите, черт возьми, что мне было делать? К счастью, на мне было пальто чуть ли не до пят, и поэтому я надеялся, что мне удастся скрыть свой позор. И надо же было случиться, чтобы мы вышли на ярко освещенную улицу, где к тому же находилась кондитерская, и тут, о ужас, моя дама останавливается и предлагает зайти перекусить. Ее желание было

вполне понятным, ведь мы проходили целых полдня, проголодались и устали, но мне, конечно, пришлось отказать. Она посмотрела на меня с укором, явно считая, что это нехорошо с моей стороны, и попросила объяснить, почему я отказываюсь идти. «Хорошо,— сказал я,— вы хотите знать причину? Пожалуйста, вот она: у меня нет при себе денег, ни единого пенни, просто ни единого!» Причина уважительная, на это ничего не скажешь, а у нее тоже денег не нашлось, ну, как назло, тоже ни пенни! Мы стоим, смотрим друг на друга и смеемся над нашим безвыходным положением. Но она все же находит выход, она подымает глаза на дом напротив и говорит: «Подождите меня здесь минуту, у меня в этом доме на втором этаже живет подруга, она одолжит мне деньги!» На этом моя дама убегает. Она отсутствует довольно долго, и все это время я отчаянно терзаюсь. Господи, как мне выйти из положения, если она вернется с деньгами? Я не мог переступить порога кондитерской, где было так светло и полным-полно народу, меня бы просто тут же вышвырнули вон, а это мне никак не улыбалось. Я решил, стиснув зубы, набраться мужества и попросить ее сделать мне личное одолжение и пойти в кондитерскую одной, а мне разрешить подождать ее на улице. Прошло еще несколько минут, и наконец она появилась. Вид у нее был радостный, даже больше — просто счастливый, она сказала, что не застала подругу дома, но что это не имеет никакого значения, что, собственно, она прекрасно может подождать еще немного, ведь не позже чем через четверть часа она вернется домой и поужинает. И она извинилась, что заставила меня ждать. Но я радовался еще больше ее, хотя был весь мокрый и прогулка превратилась для меня в мучение. А теперь будет самое интересное,— может, вы уже догадались в чем дело? Да, конечно, догадались, я уверен, но все же я хочу вам рассказать все до конца: только в этом году я понял, насколько я был тогда глуп. Я заново продумал всю эту историю, нашел глубокий смысл в каждой подробности и постепенно сообразил, что моя дама вовсе не подымалась по лестнице, она и не думала подыматься на какой-то там второй этаж, теперь мне ясно, что, очутившись в парадном, она приоткрыла дверь черного хода и выскользнула во двор, а потом, и это мне ясно, вернулась со двора тем же путем, через ту же дверь, тихо и незаметно. Что же это доказывает? Собственно говоря, ничего, но согласитесь, это все-таки странно, что

она не поднялась на второй этаж, а, наоборот, вышла во двор, не правда ли? Ха-ха-ха, вы, конечно, прекрасно понимаете, в чем здесь дело, я это вижу по вас, а мне это пришло в голову только теперь, в тысяча восемьсот девяносто первом году, то есть спустя три года! Вы все же меня не заподозрите, надеюсь, в том, что я подстроил это нарочно, что я сознательно затянул нашу прогулку, чтобы поставить мою спутницу в такое ужасное положение, что в музее я никак не мог вдоволь насмотреться на какую-нибудь окаменелость или чучело гиены, и при этом преднамеренно ни на шаг не отходил от девушки и не спускал с нее глаз, чтобы она не могла незаметно уединиться? Само собой разумеется, вы не заподозрите меня в этом? Впрочем, кто-то может оказаться настолько коварным, вполне допускаю, что согласился бы сам страдать и даже ходить в мокрых брюках ради редкого удовольствия поставить молодую прелестную девушку в такое же мучительное положение. Но я разобрался во всем этом, как я уже говорил, только в этом году, только через три года после того, как это произошло. Ха-ха-ха, что вы на это скажете?

Пауза. Нагель выпил и снова заговорил...

— Вы можете спросить, какое отношение имеет эта история к вам, ко мне и к холостой пирушке? Конечно, дорогой друг, ровным счетом никакого... Но мне все же пришло в голову рассказать вам эту историю в доказательство моего идиотизма в понимании человеческой души. Ах, человеческая душа! Что вы о ней скажете, если узнаете, например, что как-то утром несколько дней тому назад я ловлю себя,— да, себя, Юхана Нильсена Нагеля,— на том, что хожу взад и вперед перед домом консула Андерсена, вон там, на холме, и прикидываю в уме, какой высоты у него могут быть потолки в гостиной! Ну, каково? Вот что это такое, человеческая душа, если мне будет позволено так выразиться. Ни один пустяк не ускользает от нее, все имеет для нее свое значение... Какое на вас произведет, например, впечатление, если вы, возвращаясь ночью домой из гостей или с прогулки, идете своей обычной дорогой и вдруг видите на углу человека, который стоит и смотрит на вас, да, он даже поворачивает голову, чтобы посмотреть вам вслед, он смотрит на вас в упор и молчит. А теперь представьте себе еще, что он одет во все черное, и поэтому вы видите только его лицо и глаза. Тогда что? Ах, чего только не творится в человеческой душе! Как-то

вечером вы попадаете в общество, там собралось, допустим, двенадцать человек, а тринадцатый — это может быть телеграфистка, какой-нибудь жалкий ассессор, кторщик или там капитан, короче говоря, самая обычная, совершенно незначительная личность, — так вот, этот тринадцатый сидит себе в уголке, не принимает участия в разговоре и вообще никак не привлекает к себе внимания, но все же этот человек имеет большое значение, и не только сам по себе, но и как фактор, влияющий на собравшееся общество. Все в нем — и его одежда, и его молчание, и его глупые невыразительные глаза, вяло скользящие по остальным гостям, вся его ничтожная личность — самым прямым образом воздействует на присутствующих. Он молчит, и это отрицательно сказывается на всех, вносит ноту уныния, мешает другим гостям быть оживленней и говорить громче, чем они говорят. Разве я не прав? Этот тринадцатый может таким путем стать в тот вечер самым значительным человеком. Как я уже вам говорил, я в людях не разбираюсь, но мне все же часто занятно наблюдать, какое невероятное значение имеют мелочи. Я был раз свидетелем, как какой-то бедный инженер, который за весь вечер и рта не раскрыл... Но это совсем другая история, и она не имеет никакого отношения к первой, не считая того, что они обе вспомнились мне вместе и оставили след в моей памяти. Но возвращаюсь к тому, с чего начал: кто знает, не наложило ли ваше молчание нынче вечером своего особого отпечатка на то, что я говорю, — конечно, помимо того, что я пьян как сапожник, не подстрекало ли меня выражение вашего лица, та смесь страха и невинности, которую я видел в ваших глазах, — не подстрекало ли это меня идти все дальше и дальше? Да оно и вполне понятно! Вы слушаете, что я говорю, — я, совершенно пьяный человек, — и что-то в моей болтовне задевает вас — я нарочно возвращаюсь к уже употребленному слову «задевает» — и тогда меня так и тянет продолжать и кинуть вам в лицо еще два десятка слов. Я привожу это только как пример того, какое значение имеют мелочи. Не пренебрегайте мелочами, дорогой друг! Помните, бога ради, как невероятно важны мелочи... Войдите!

Это была Сара; она постучала, чтобы сказать, что ужин подан. Минутка тут же вскопчил. Нагель был уже так сильно пьян, что не заметить этого было невозможно, язык у него заплетался, он сам себе противоречил на

каждом слове и нес все бóльшую и бóльшую чушь. Напряженный взгляд его глаз и пульсирующие на висках жилы свидетельствовали о том, что он не в силах совладать с тем множеством мыслей, которые ворочаются у него в голове.

— Да,— сказал он,— меня нисколько не удивляет, что вы готовы воспользоваться первым удобным случаем, чтобы уйти поскорее после всей той болтовни, которую вам пришлось сегодня выслушать. А мне очень хотелось бы узнать ваше мнение о многих вещах — вы ведь даже не ответили на мой вопрос о фрекен Хьеллан, не сказали, что вы думаете о ней в глубине души. Для меня она редчайшее, недостижимое существо, исполненное прелести и чистоты, представьте себе белый, белый, глубокий, пушистый снег,— она вот такая же чистая, как этот снег, да, такой она представляется мне, когда я думаю о ней. Если у вас создалось другое впечатление из того, что я прежде говорил, то вы ошиблись... Разрешите мне выпить этот последний стакан, пока вы не ушли, будьте здоровы!.. Мне сейчас пришла в голову одна мысль. Если у вас хватит терпения уделить мне еще две-три минуты, то я был бы вам крайне обязан. Дело вот в чем,— но подойдите-ка поближе, стены здесь тонкие,— да, так дело, значит, вот в чем: я безнадежно влюблен в фрекен Хьеллан. Ну, вот я это и выговорил! Несколько сухих жалких слов, но Бог свидетель, как безумно я ее люблю, как из-за нее страдаю. Впрочем, это особый разговор, я люблю, я страдаю, все это верно, но к делу не относится. Так вот! Но надеюсь, вы не воспользуетесь моей откровенностью мне во вред, но отнесетесь к ней с тем уважением, которого она заслуживает, и сохраните в тайне то, что узнали; вы мне это обещаете? Благодарю вас, дорогой друг! Но как я могу быть в нее влюблен, спросите вы, когда совсем недавно я называл ее ужасной кокеткой? Прежде всего, можно сколько угодно быть влюбленным в кокетку,— кокетство не препятствие для чувства. Впрочем, нет нужды на этом останавливаться, потому что суть заключается совсем в ином. Так что же вы утверждали, разбираетесь вы в людях или нет? Если разбираетесь, то вы поймете, что я сейчас скажу: я вовсе не думаю, не могу думать, что фрекен Хьеллан в самом деле кокетка. Я говорю это просто так, не всерьез. Напротив, она исключительно естественно себя ведет — чего стоит, например, ее смех, она смеется так непринужденно и охотно, несмотря на то что зубы ее не отличаются

белизной. И тем не менее я способен, нисколько не смущаясь, повсюду говорить, что фрекен Хьеллан — кокетка. И делаю я это вовсе не для того, чтобы ей повредить или отомстить, а только чтобы поддержать себя, из самолюбия, потому что она для меня недосыгаема, потому что она смеется над всеми моими усилиями ей понравиться, потому что она помолвлена, уже связана словом с другим, а для меня потеряна, потеряна навсегда. Вот, полюбуйтесь, это, с вашего разрешения, совсем новая трудноуловимая сторона человеческой души. Я способен подойти к фрекен Хьеллан на улице и в присутствии других людей сказать ей с вполне серьезным видом — только для того, чтобы унижить ее, доставить ей неприятность, — так вот, я мог бы поглядеть на нее и сказать: «О, добрый день, фрекен Хьеллан! Поздравляю вас, на вас чистая рубашка!» Слыхали ли вы что-либо подобное? Просто бред какой-то! Но я вполне мог бы это сказать. Что бы я потом стал делать — вопрос другой: побежал бы я домой, чтобы рыдать, уткнувшись лицом в носовой платок, или выпил бы несколько капель из пузырька, который всегда ношу вот здесь, в кармане жилета, — об этом говорить не будем. С тем же успехом мог бы я войти в церковь в воскресенье утром, когда ее отец, пастор Хьеллан, проповедует там слово Божье, спокойно обратиться к первым рядам, остановиться перед фрекен Хьеллан и сказать ей громко: «Вы разрешите мне вас ущипнуть?» Ну, каково? И сказал бы я это, не имея решительно ничего в виду, просто, чтобы заставить ее покраснеть, но все же я сказал бы ей: «Разрешите вас ущипнуть», а потом бросился бы перед ней на колени и молил бы ее осчастливить меня, плюнув мне в лицо... Ну вот, опять вы перепугались; да я и сам готов согласиться, что веду недостойные речи, тем более что говорю о дочери пастора с сыном пастора. Простите меня, мой друг, все это не по злобе, вовсе не по злобе, а оттого, что я в дымину пьян... Послушайте: я знал одного молодого человека, который стащил как-то газовый фонарь, продал его старьевщику, а деньги прокутил. Ей-богу, это чистейшая правда; я был с ним хорошо знаком, это родственник покойного пастора Нэрема. Но какое это имеет отношение к фрекен Хьеллан? Да, вы совершенно правы! Вы молчите, но я прекрасно вижу, что этот вопрос вертится у вас на языке, вам хочется его задать, и это совершенно справедливо. Что до фрекен Хьеллан, то она для меня безнадежно потеряна, и жалеть

ее из-за этого нечего, жалости заслуживаю я. Вы вот стоите сейчас предо мной совершенно трезвый, вы видите людей насквозь и поэтому поймете меня, если в один прекрасный день я просто-напросто пущу по городу слух, что фрекен Хьеллан сидела у меня на коленях, что три ночи подряд она приходила ко мне на свидание в условленное место в лесу, а потом принимала от меня подарки. Не правда ли, вы меня поймете? Ведь вы чертовски хорошо разбираетесь в людях, друг мой, да, да, прекрасно разбираетесь, пожалуйста, не отпирайтесь... Случалось ли вам когда-нибудь идти по улице, настолько погрузившись в свои мысли, мысли вполне невинные, впрочем, что вы не замечаете обращенных на вас взглядов, а между тем все прохожие пялят на вас глаза, оглядывая с головы до ног. Трудно попасть в более неприятное положение. Вы начинаете оправлять и отряхивать на себе костюм, украдкой, словно вор, глядите вниз, в порядке ли ваши брюки, вы настолько полны всяких ужасных опасений, что, не выдержав, снимаете шляпу — не торчит ли на ней этикетка с ценой, хотя шляпа на вас старая. Но все ваши старания ни к чему не приводят, вы не находите в своем туалете никакой погрешности, и вы вынуждены примириться с тем, что каждый портняжка или там лейтенант разглядывает вас, сколько его душе угодно... Но, дорогой друг, коли это такая мука, то что бы вы сказали, если бы вас вызвали на допрос?.. Вы снова вздрогнули? Нет, я ошибся? Подумать только, а я как будто явственно видел, что вы слегка вздрогнули... Да, так вас, значит, вызывают на дознание, вы стоите перед хитрым, как черт, следователем, вас публично подвергают перекрестному допросу, чуть ли не двенадцать раз окольными путями все возвращаются к одному и тому же — что за изысканное наслаждение сидеть при этом в качестве стороннего наблюдателя, сидеть и слушать!.. Вы со мной согласны, не правда ли?.. Попробуем-ка потрясти как следует эту бутылку, — может, выжмем из нее еще несколько капель.

Нагель вылил себе остатки вина, выпил залпом и продолжал:

— Кстати, я должен извиниться перед вами за то, что все время перехожу с одного предмета на другой. Мои мысли так скачут отчасти потому, что я мертвецки пьян, но не только поэтому, — это вообще мой недостаток. Все дело в том, что я простой агроном, ученик навозной академии, мыслитель, который не научился мыслить.

Ладно, давайте не будем углубляться в столь специальную тему, вам это неинтересно, а мне просто противно. Знаете, когда я сижу здесь один и думаю о всякой всячине и проверяю себя, дело часто доходит до того, что я вслух называю себя Рошфором, да, тыкаю себя в грудь и называю Рошфором. Что вы скажете, если узнаете, что однажды я заказал себе печать с изображением ежа?.. Тут я не могу не вспомнить одного человека, которого я знал в свое время как вполне толкового и всеми уважаемого студента филологического факультета одного из немецких университетов. И представьте себе, он плохо кончил: за два года он спился и стал писать романы. Если он с кем-нибудь знакомился и его спрашивали, кто он такой, то он неизменно отвечал, что он — факт. «Я факт», — говорил он и высокомерно поджимал губы. Впрочем, вас это не может интересовать... Вы вот говорили об одном человеке, о мыслителе, который не научился думать. Или, может, это я сам говорил? Извините, я ведь просто мертвецки пьян, но это не важно, не обращайтесь внимания. Прежде всего мне хотелось бы, чтобы вы разрешили объяснить вам насчет мыслителя, который не умеет думать. Насколько я вас понял, вы не одобряете этого человека. Да, да, у меня четко сложилось это впечатление, вы говорили о нем в таком насмешливом тоне, но этот человек все же достоин того, чтобы его оценивали по совокупности всех обстоятельств. Прежде всего он большой дурак. Да, да, не стану отрицать, что он был дураком, носил всегда длинный красный галстук и все улыбался от глупости. Да, он был настолько глуп, что сидел, уткнувшись в книги, вернее, так его всегда заставляли, когда к нему приходили, хотя он и не думал читать. Он ходил без носков, в ботинках на босу ногу, чтобы иметь возможность купить розу в петлицу. Вот он был какой. Однако все бледнеет перед тем, что он хранил у себя несколько фотографий скромных и милых дочек ремесленников, но он написал на этих фотографиях всем известные, громкие имена для того, чтобы люди подумали, что у него такие знатные знакомые. На одной из карточек он четко вывел крупными буквами: «Фрекен Станг», чтобы все решили, что эта девица в родстве с министром, хотя она была всего-навсего какой-нибудь там Ли или Хауч. Ха-ха-ха, как вам нравится такое бахвальство? Этот дурак воображал, что все интересуются его персоной, сплетничают о нем. «Обо мне ходит столько сплетен», — говорил он. Ха-ха-ха, вы в самом деле верите, что

людям охота была о нем сплетничать? В один прекрасный день он зашел в ювелирную лавку, куря одновременно две сигары! Одну он держал в руке, другая была во рту, и от обеих шел дым. Вполне возможно, что он и не заметил, что закурил одновременно две сигары, и, как мыслитель, не научившийся мыслить, он и не...

— Мне пора,— тихо сказал наконец Минутка.

Нагель тут же вскочил.

— Вы уходите?— спросил он.— Вы действительно собираетесь меня покинуть? Да, эта история, наверно, и в самом деле слишком длинная, особенно если судить об этом человеке по совокупности его поступков. Что ж, давайте отложим это до другого раза. Так, значит, вы непременно хотите теперь уйти? Послушайте: я вам бесконечно благодарен за сегодняшний вечер. Слышите? Ну и напился же я! Интересно, на что я сейчас похож? Возьмите свой мизинец, суньте его под лупу и поглядите! Что? О, у вас все на лице написано, я вас прекрасно понимаю, вы дьявольски умны, господин Грегорд, и для меня просто праздник глядеть вам в глаза— уж больно они у вас невинные. Закурите-ка еще сигару перед уходом. Когда вы снова меня навестите? Да, я чуть было не позабыл, черт возьми, вы ведь должны прийти на мою холостую пирушку, слышите! Не бойтесь, волос не упадет с вашей головы... Нет, я хочу вам объяснить: у меня будет голько несколько человек, соберемся, чтобы уютно провести вечер вместе, выкурить сигару, выпить стакан вина, поболтать и девять раз прокричать девятикратное «ура» в честь отечества,— надо же доставить удовольствие доктору Стенерсену, не правда ли? Вот так оно и будет. А брюки, о которых мы говорили, вы получите, черт меня побери! Но, конечно, с обычным условием. Благодарю вас за терпение, которое вы проявили нынче ко мне. Позвольте мне пожать вашу руку. Да закурите же сигару, старина!.. Послушайте, еще одно только слово: нет ли у вас ко мне какой-нибудь просьбы? Если есть, то пожалуйста. Ну, как угодно. Спокойной ночи, спокойной ночи.

XI

Наступило 29 июля. Это был понедельник.

В этот день произошло несколько удивительных событий: прежде всего, в городе появилась незнакомка, дама под вуалью, она направилась прямо в гостиницу, провела там два часа и снова исчезла...

С раннего утра, как только Юхан Нагель проснулся, он начал весело напевать и насвистывать. Одеваясь, он продолжал насвистывать веселые мелодии, словно что-то его несказанно радовало. Накануне — это было на следующий день после той пьянки, которую он устроил в субботу вечером, когда у него был в гостях Минутка, — Нагель был тихий и молчаливый, он проходил весь день взад-вперед по комнате и без конца пил воду. Но когда он вышел из гостиницы в понедельник утром, он все еще что-то мурлыкал себе под нос, и видно было, что он прекрасно настроен; от этого радостного переполнения он заговорил с какой-то женщиной, стоящей у лестницы, и дал ей несколько шиллингов.

— Вы не скажете, где бы я мог здесь достать напрокат скрипку? — спросил он. — Вы не знаете кого-нибудь в городе, кто играл бы на скрипке?

— Нет, не знаю, — ответила она, растерянно взглянув на него.

И хотя она не знала, он все же дал ей на радостях несколько шиллингов и торопливо пошел дальше: он издали увидел красный зонтик Дагни Хьеллан — девушка как раз выходила из какой-то лавки — и поспешил вслед за ней. Дагни была одна. Нагель низко поклонился и поздоровался. Она, как обычно, тут же покраснела до корней волос и, чтобы скрыть смущение, заслонила лицо зонтиком.

Сперва они заговорили о той ночной прогулке по лесу. Дагни все же была тогда несколько неосмотрительна, так долго гуляя, потому что она немного простыла, хотя и было совсем тепло, да и сейчас она еще не совсем здорова. Она рассказала все это простодушно и доверчиво, словно говорила со старым добрым другом.

— Но вы не должны сожалеть о той прогулке. Обещайте мне, — сказал Нагель, не вдаваясь в объяснения.

— Да нет, нимало, — ответила она с удивлением. — С чего вы взяли, что я сожалею об этом! Напротив, это была прекрасная ночь, хоть видит бог, как я боялась этого вашего человека с фонарем. Он мне даже снился. Страшный сон!

Они поговорили немного о человеке с фонарем. Нагель был разговорчив и, между прочим, признался в том, что и сам иногда подвержен приступам необоснованного страха. Частенько бывает, что он не может подняться по лестнице, не оглядываясь назад на каждом шагу, потому что ему чудится, что кто-то крадется за ним по пятам.

Что же это такое? Скажите. Что это такое? Какая-то мистика, нечто необъяснимое, во что наша жалкая «всеведущая» наука бессильна проникнуть, потому что она слишком элементарна и груба. Толчок таинственных сил, воздействие непознаваемых жизненных импульсов?

— Знаете, у меня сейчас возникло неодолимое желание свернуть с этой улицы, потому что эти вот дома, эта груда камней, вон там слева, и эти три грушевых дерева в саду окружного судьи производят на меня отталкивающее впечатление, действуют как-то угнетающе. Когда я брожу один, я всегда избегаю этой улицы, обхожу ее стороной, даже если ради этого нужно сделать крюк. Что же это такое?

Дагни рассмеялась.

— Не знаю. Но доктор Стенерсен назвал бы это повышенной нервозностью и суеверием.

— Совершенно верно. Именно так бы он это и назвал. Но, боже, что это за высокомерная глупость! Представьте себе, вы приезжаете как-то вечером в какой-нибудь чужой город, допустим, в этот, почему бы и нет? На следующий день совершаете первую прогулку по городу, чтобы оглядеться. И вот во время этой прогулки у вас возникает безотчетная, но острая неприязнь к некоторым улицам и домам, в то время как другие вызывают у вас чувство благорасположения и даже радости. Что это, повышенная нервозность? Но допустим, что нервы у вас как канаты и что вы и понятия не имеете о том, что такое невращения. Далее. Вы шагаете по улице, встречаете сотни людей и совершенно равнодушно идете дальше, и вдруг как раз в тот момент, когда вы спускаетесь на набережную и проходите мимо одноэтажной развалюшки без занавесок на окне, уставленном горшками с белыми цветами, вам навстречу попадается человек, который почему-то привлекает к себе ваше внимание. Вы глядите на него, а он глядит на вас. В нем нет ничего примечательного, кроме разве того, что он бедно одет и ходит слегка ссутулившись. И хотя вы впервые в жизни видите его, вам в голову приходит вдруг странная мысль, что его, должно быть, зовут Юханнес. Именно Юханнес, и никак иначе. Почему же вы решили, что его имя Юханнес? Этого вы себе объяснить не можете, но это вам ясно по его глазам, по движениям рук, по звуку его шагов, дело тут вовсе не в том, что когда-нибудь прежде вы встречали похожего на него человека, которого звали Юханнес. Нет, дело здесь совсем в другом, тем более что

вы никогда не встречали никого, кто хоть немного напоминал бы вам этого человека. И вот вы стоите в недоумении и не можете отдать себе отчет в том странном мистическом чувстве, которое вас охватило.

— Вы встретили такого человека в нашем городе?

— Нет, нет,— ответил он поспешно,— я назвал этот город, рассказал об одноэтажном домишке и об этом человеке только так, для примера. Но все же это странно, не правда ли? Случаются и другие странные вещи. Представьте себе, вы приезжаете в чужой город и входите в чужой дом, в котором вы раньше никогда не бывали, скажем в гостиницу. И вдруг вам становится совершенно очевидно, что прежде, быть может много лет назад, в этом доме была аптека. Почему вы это решили? Ничто, казалось бы, об этом не свидетельствует, никто вам на это не намекал, лекарствами там не пахнет, нет, решительно не пахнет, на стенах нет никаких следов от полок, на полу нигде не протоптана дорожка к прилавку. И все же у вас нет ни тени сомнения в том, что когда-то в этом доме была аптека. И представьте себе, вы не ошиблись, на вас вдруг снизошло какое-то таинственное знание, сродни откровению, и благодаря ему вы постигли то, что скрыто от других. Но, может, с вами такого никогда не случилось?

— Прежде я как-то не задумывалась о таких вещах. Но сейчас, когда вы об этом говорите, мне кажется, что и со мной бывало нечто подобное. Во всяком случае, меня часто охватывает безотчетный страх, особенно в темноте. Но это, может, и не то.

— Бог его знает, то ли это самое или нет. Чего только не случается на нашей грешной земле, столько странного, удивительного и прекрасного! Но порой нас томит совершенно необъяснимое предчувствие, нас терзает безотчетный страх, мы содрогаемся от ужаса. Представьте себе, что на дворе темная ночь и вы слышите, как кто-то тихо крадется вдоль стены вашего дома. Вы не спите, а сидите за столом, курите трубку, все ваши чувства обострены. В голове вашей бурлят всевозможные планы, вы их обдумываете во всех подробностях — только этим заняты ваши мысли. И вдруг вы совершенно отчетливо слышите, что кто-то крадется по тротуару вдоль стены вашего дома, а может, и вовсе не по тротуару, а в самой комнате, вон там, у печки, и вы даже видите чью-то тень в том углу. Тогда вы снимаете абажур с настольной лампы, чтобы было больше света, и идете к печке. Вы останав-

ливаетесь перед тенью и видите незнакомого человека среднего роста с шерстяным, в черно-белую полоску шарфом на шее и синими, совершенно синими губами. Он похож на трефового валета, как его изображают на норвежских игральных картах. Теперь предположим, что любопытство берет в вас верх над страхом, вы подходите вплотную к непрошеному гостю, надеясь, что он исчезнет от вашего взгляда, но он и не думает сдвинуться с места, хотя вы стоите уже так близко, что замечаете, как он моргает, и тогда вы понимаете, что он такой же живой человек, как и вы. Вы решаете не терять спокойствия, не нарушать уютной атмосферы дома и спрашиваете его вполне добродушно, хотя никогда прежде его не видели: «Скажите, вас, случаем, зовут не Хоман, Бернт Хоман?» А так как он не отвечает, вы решаете звать его Хоманом и снова обращаетесь к нему: «А почему бы вам, черт возьми, не быть Бернтом Хоманом?» Вы глядите на него и хихикаете, но он по-прежнему стоит не шелохнувшись, и вы не знаете, что вам дальше делать. Вы почему-то отступаете на шаг, целитесь в него мундштуком трубки и произносите «бах», но он даже не ухмыляется. Тогда вы начинаете злиться и даете незнакомцу тумака, и хотя он стоит здесь, рядом с вами, у него такой вид, будто этот удар не имеет к нему никакого отношения; он не падает, он стоит, упрямо засунув руки в карманы, выпрямив плечи, в такой позе, словно хочет сказать: «Ну, а что дальше?» Ваш удар его явно не задел. «Что дальше?» — вопите вы в бешенстве и с размаху бьете его под ложечку. Тогда происходит следующее: от этого удара пришелец начинает дематериализовываться, вы видите собственными глазами, как контуры его фигуры становятся менее и менее четкими, как он постепенно растворяется в воздухе, и, наконец, виден лишь один живот, который потом тоже исчезает. Но все время, пока ваш ночной гость стоял у стены, он держал руки в карманах и пялил на вас глаза с вызывающим видом, словно хотел сказать: «Ну, а что дальше?..»

Дагни снова рассмеялась.

— Какие невероятные истории случаются с вами. А потом? Чем все это кончилось?

— Когда вы снова садитесь за стол и возвращаетесь к своим мыслям, вы замечаете, что в кровь разбили руку об стену... Собственно, я хочу сказать вот что: на другой день вы рассказываете об этом происшествии своим знакомым, и они начинают вас уверять, что все это вам

приснилось. Ха-ха-ха! Вам твердят, что вы спали, хотя сам Господь Бог и все его ангелы свидетели того, что вы и глаз не сомкнули в ту ночь. Только примитивная школьная премудрость может назвать это сном—ведь вы стояли у печки в здравом уме и твердой памяти, курили трубку и пытались вступить в разговор с таинственным посетителем. Тогда приводят врача, превосходного специалиста, типичного представителя этой чванливой науки. «Нервы,—говорит он, высокомерно поджав губы,—только нервы». Боже, что за карикатура на человека! Ну ладно. Значит, нервы. В представлении врачей это нечто такое, что можно измерить, взвесить и положить на ладонь: полюбуйте, вот они, эти шалящие нервы! И врач на ходу прописывает вам железо и хину и считает, что теперь все в порядке. Вот как это бывает. Но подумайте сами, что за идиотизм, что за темное невежество лезть со своими измерениями и хиной в сферу, где бессильны разобратся самые тонкие и могучие умы.

— У вас сейчас оторвется пуговица,—сказала Дагни.

— Оторвется пуговица?

Она с улыбкой указала на пуговицу сюртука, которая болталась на одной нитке.

— Оторвите, пожалуйста, а то вы ее потеряете.

Нагель послушно вынул из кармана ножичек и перерезал нитку. Когда он его вытаскивал, у него из кармана выпали несколько медных монет и медаль на замызганной ленточке. Он поспешно нагнулся и поднял с земли все, что уронил. Дагни с интересом следила за ним.

— Это что, медаль?—спросила она.—Но как вы с ней обращаетесь, в каком виде ленточка! За что вы ее получили?

— Это медаль за спасенье на водах. Но, пожалуйста, не думайте, что я чем-нибудь ее заслужил,—так, сплошное надувательство.

Она взглянула на него. Лицо его было спокойно, глаза глядели открыто, правдиво, словно он и не думал лгать. Медаль все еще была у него в руке.

— Ну вот вы опять начинаете,—сказала она.—Если вы не заслужили этой медали, то зачем же вы ее храните и носите при себе?

— Я ее купил!—воскликнул Нагель и расхохотался.—Она—моя собственность, она принадлежит мне, как перочинный ножик или эта вот пуговица. Зачем же мне ее выбрасывать?

— Но как вам вздумалось купить себе медаль?

— Конечно, это обман. Не спорю. Но чего только не приходится иногда делать! Как-то я целый день носил ее на груди, красовался и даже с удовольствием выпил, когда провозглашали тост в мою честь, ха-ха-ха! В конце концов один обман стоит другого.

— А имя здесь стерто,— сказала Дагни.

Нагель изменился в лице и протянул руку, чтобы взять медаль.

— Стерто имя? Не может быть! Дайте я посмотрю. Ах, вот, наверно, в чем дело: я таскаю ее в кармане вместе с мелочью — она и поцарапалась.

Дагни с сомнением посмотрела на него. Тогда он вдруг весело щелкнул пальцами и воскликнул:

— Боже, до чего же я беспамятный! Вы совершенно правы — имя стерто, как я мог это забыть! Ха-ха-ха, совершенно верно, я сам соскоблил имя. Ведь на медали значилось не мое имя, а того, кто был ею награжден. Как только я купил ее, я первым делом уничтожил имя владельца. Покорнейше прошу, простите, что я сразу не сказал вам об этом. Я вовсе не собирался вас обманывать. Просто я думал совсем о другом: я хотел понять, почему вам действовала на нервы моя болтающаяся на нитке пуговица. Допустим, она бы оторвалась, ну и что с того? Не есть ли это иллюстрация к нашему разговору о нервах и науке?

Пауза.

— Вы говорите со мной всегда с какой-то нарочитой откровенностью,— сказала она, не отвечая на его вопрос.— Но я не понимаю, какую цель вы преследуете. Ваши взгляды так необычны; вы только что убеждали меня в том, что все на свете сплошной обман и нет ни благородства, ни чистоты, ни величия. Это действительно ваше искреннее убеждение? Неужели нет никакой разницы между тем, чтобы купить медаль за сколько-то там крон или получить ее в награду за тот или иной поступок?

Нагель молчал. Тогда Дагни снова заговорила медленно и серьезно:

— Я не понимаю вас. Иногда, слушая ваши рассуждения, я спрашиваю себя: в полном ли он рассудке? Простите, что я вам это говорю! Раз от разу вы вселяете в меня все большее беспокойство, даже волнение. Вы спутали все мои представления. О чем бы ни шла речь, вы все переворачиваете с ног на голову. Зачем? Я никогда еще не встречала человека, который бы до такой степени

противоречил всем моим понятиям. Скажите мне, насколько вы сами искренне верите в то, что говорите? Что вы думаете в глубине своего сердца?

Она говорила так серьезно и с такой теплотой, что он обомлел.

— Если бы я верил в Бога,— ответил он,— в Бога, который был бы для меня велик и свят, я поклялся бы его именем, что я на самом деле думаю все то, что я вам говорил, абсолютно все. И даже тогда, когда я сбиваю вас с толку, я глубоко убежден, что поступаю во благо. В прошлый раз вы мне сказали, что я— воплощенное противоречие всему, что думают другие. Да, это правда, я согласен, что я— воплощенное противоречие, хотя сам не понимаю, почему это так. Для меня загадка, почему другие не думают так же, как и я, настолько ясны и очевидны для меня все эти вопросы и так отчетливо видна мне их взаимосвязь. Вот что я думаю в глубине своего сердца, фрекен. Если бы я мог сделать так, чтобы вы верили мне сейчас и всегда!

— Сейчас и всегда? Нет, этого я не могу обещать.

— А мне это так бесконечно важно,— сказал он.

Они шли уже по лесу, так близко друг от друга, что то и дело касались друг друга локтями. Кругом стояла такая тишина, что можно было говорить чуть ли не шепотом. То тут, то там раздавался птичий щебет.

Вдруг Нагель остановился, и тогда Дагни тоже невольно остановилась.

— Как я скучал по вас эти дни. Нет, нет, только не пугайтесь, в этом нет ничего дурного, я знаю, что надеяться мне не на что, и, поверьте, я не строю себе никаких иллюзий, решительно никаких. Быть может, вы меня и вообще не понимаете, я не с того начал, я просто проболтался, сказал то, чего не хотел говорить...

Он замолк, и тогда Дагни сказала:

— Какой вы странный сегодня!

И хотела было пойти дальше.

Но он ее снова остановил:

— Милая фрекен, подождите. Будьте сегодня ко мне хоть немного снисходительны. Мне страшно говорить, я боюсь, вы прервете меня и скажете: уходите! А между тем я думал об этом долгие часы, когда лежал без сна.

Она все с большим удивлением глядела на него, а потом спросила:

— Что все это значит?

— Что это значит? Вы разрешаете мне сказать вам? Это значит... Это значит, что я люблю вас, фрекен Хьеллан. И собственно говоря, я не понимаю, почему вы так поражены; я живой человек из плоти и крови, я встретил вас — и потерял голову! Чему же здесь удивляться? Только вот, может быть, я не должен был признаваться вам в этом?

— Да, не должны были.

— Но как совладать с собой? Я даже оговорил вас из любви к вам, я назвал вас кокеткой, я пытался развенчать вас в собственных глазах, только чтобы утешить себя и окончательно не пасть духом, потому что я знаю, что вы для меня недосыгаемы. Сегодня я вижу вас в пятый раз, но до сих пор ничем не выдал своих чувств, хотя мог бы сказать вам все это и в нашу первую встречу. А сегодня к тому же еще день моего рожденья, мне исполнилось двадцать девять лет, и с самого утра у меня было так весело на душе, что я все время что-то напевал. Я думал — быть может, это смешно, что поддаешься таким глупостям, — но все же я думал: если ты встретишь ее сегодня и во всем признаешься, то это будет неплохо, потому что нынче день твоего рождения. Ты скажешь ей, что нынче — твой праздник, и тогда, быть может, она скорее простит тебя — ради такого дня. Вы улыбаетесь? Конечно, это смешно, я знаю. Но теперь уже поздно идти на попятный. Я, как и все, приношу вам свою дань.

— Как грустно, что все это случилось именно сегодня. В этом году у вас оказался несчастливый день рождения. Больше мне вам нечего сказать.

— Конечно, нет... Господи, что за власть у вас! Я понимаю, что ради вас можно решиться на что угодно. Даже сейчас, когда вы произносили ваш приговор, который не принес мне радости, ваш голос звучал как музыка. Какое странное чувство, словно во мне что-то расцвело. Просто удивительно! Знаете, по ночам я бродил вокруг вашего дома в надежде увидеть хоть вашу тень в окне; здесь, в лесу, я на коленях молил за вас Бога, это я-то, я, хотя я толком и в Бога-то не верю. Видите ту осину? Я остановил вас именно здесь потому, что под этой осиной я не одну ночь простоял на коленях в полном отчаянии, опустошенный и раздавленный оттого, что не мог заставить себя не думать о вас. Здесь я каждый вечер желал вам доброй ночи, я стоял на коленях и молил ветер и звезды передать вам мой привет. Вы не могли не почувствовать этого во сне...

— Зачем вы мне все это говорите? Разве вы не знаете, что я...

— Да, да,— прервал он ее в крайнем волнении,— я знаю, что вы хотите сказать: что вы уже давно дали слово другому и что я веду себя бесчестно, преследуя вас теперь, когда уже все решено. Неужели вы думаете, что я не понимаю этого? Так почему же я все это вам сказал? Извольте: я хотел поразить вас, произвести на вас впечатление, заставить вас еще раз все передумать. Видит бог, я говорю чистую правду, сейчас я не мог бы лгать. Я знаю, что вы помолвлены, что у вас есть жених, которого вы любите, и что мне рассчитывать не на что. Все это так, и тем не менее я хочу попытаться повлиять на вас, я не могу отказаться от надежды. Вы только вникните в смысл этих слов: «Потерять всякую надежду»,— тогда, быть может, вы меня лучше поймете. Я вам сейчас сказал, что я ни на что не рассчитываю, но, конечно, это ложь. Да и сказал я это, только чтобы вас успокоить и выиграть время, словом, чтобы не отпугнуть вас сразу. Милая, милая моя, я несу невесть что, да? Я вовсе не хочу сказать, что вы когда-либо давали мне повод хоть на что-то рассчитывать, и я вовсе не так самонадеян, чтобы вообразить, что могу вытеснить кого-либо из вашего сердца. Клянусь, это мне ни разу не приходило в голову. Но в часы безнадежного отчаяния я говорил себе: да, она помолвлена и скоро уедет. В добрый путь! Но ведь пока она еще не абсолютно потеряна для меня— она еще здесь, она не вышла замуж, она не умерла... Кто знает! Если я решусь на все, то, быть может, еще не поздно! Вы были моей неотвязной мыслью, я узнавал вас во всем, что меня окружало, и всех голубых эльфов я называл Дагни. За эти недели, что я здесь, не было ни одного дня, чтобы я непрестанно не думал о вас. Когда бы я ни вышел из гостиницы— стоило мне только отворить дверь и спуститься по лестнице, как надежда пронзала мое сердце: быть может, я сейчас увижу ее,— и я всюду искал встречи с вами. Я перестал что-либо понимать, и управлять собой я не в силах. Поверьте, если я сейчас и открылся вам, то решился на это не без борьбы. Не очень-то весело сознавать, что твои усилия совершенно тщетны, и все же не суметь отказаться от этих усилий, вот и борешься из последних сил, зная, что обречен. Нет выхода. Чего только не передумаешь за ночь, когда тебе не спится! Сидишь у окна, в руках у тебя книга, но тебе не читается: стиснув зубы, заставляешь

себя пробежать глазами три строчки, но дальше дело не идет, и ты в конце концов захлопываешь книгу и опускаешь голову на руки. Сердце бьется как бешеное, беззвучно шепчешь тайные, нежные слова, все твердишь одно имя и в мыслях целуешь его. Часы бьют два, четыре, шесть; и тогда решаешь положить этому конец, отважиться, как только представится случай, на отчаянный шаг и во всем признаться... Если бы я еще смел попросить вас о чем-либо, то я попросил бы вас промолчать. Я люблю вас... А вы промолчите, промолчите! Подарите мне три минуты.

Она слушала, совершенно ошеломленная, и ни слова не сказала в ответ. Они все еще не двинулись с места.

— Нет, вы, наверно, все же сошли с ума! — произнесла она наконец и покачала головой. Она стояла печальная, бледная, а когда снова заговорила, в синих ее глазах появился холодный отблеск льда:

— Вы знаете, что я уже помолвлена, вы это помните, даже говорите об том, и все же...

— Конечно, знаю! Разве я могу забыть его лицо, его мундир! Он хорош собой, и я не нахожу в нем никаких недостатков, но все же я хотел бы, чтобы он умер или исчез. Я сотни раз твердил себе: «Тебе здесь ждать нечего», — да что толку? Поэтому я стараюсь забыть, что это невозможно, и я подбадриваю себя: «Может, еще не все потеряно, чего только не случается, есть еще надежда...» Ведь верно, есть еще надежда?

— Нет, нет! — закричала она. — Не доводите меня до отчаяния! Чего вам от меня надо? Что у вас на уме? Уж не считаете ли вы, что я должна... Господи, давайте не будем больше об этом говорить, прошу вас. И уходите! Теперь вы все испортили — испортили несколькими глупыми словами, теперь настал конец нашим разговорам, и встречаться нам больше нельзя. Зачем вы это сделали? Если бы я только могла это предвидеть! Да, да, теперь ни слова больше об этом, прошу вас, ради нас обоих — и ради вас, и ради меня. Вы сами прекрасно понимаете, что я никем не могу быть для вас; как только вы могли себе вообразить такое! Так продолжаться не может. Идите домой и постарайтесь с этим примириться. Господи, я искренне огорчена и за вас, но иначе поступить не могу.

— Так что же, мы должны сейчас навсегда проститься? Неужели я вижу вас сегодня в последний раз? Нет, слышите, нет! Я обещаю вести себя хорошо, говорить о чем угодно, но только не об этом, никогда больше

этого не касаться, и тогда вы разрешите мне видеть вас, да? Если я буду совсем спокойным? Ведь вполне может случиться, что все другие люди вам наскучат; только не говорите, что я вижу вас сегодня в последний, в самый последний раз. Вы опять качаете головой, ах, какая у вас прелестная головка... Значит, ничего, ничего нельзя... Даже если вы не разрешите мне видеть вас, солгите сейчас и скажите «да». Не то мне будет сегодня так грустно, так невыносимо грустно. А ведь еще утром я пел от радости... Хоть еще раз вас увидеть!

— Нет, вы не должны меня об этом просить. Я не могу вам ничего обещать. Да и к чему бы это привело? А теперь уходите, прошу вас, уходите! Быть может, мы еще и встретимся, кто знает, это вполне может случиться. А теперь уходите, слышите, уходите! — нетерпеливо воскликнула она. — Вы окажете мне этим истинное благодеяние.

Пауза. Он стоял и не сводил с нее глаз, он тяжело дышал. Наконец он овладел собой и поклонился. И вдруг он бросил кепку наземь, схватил ее руку, которую она ему не протягивала, и крепко сжал обеими руками. Дагни вскрикнула, он тут же выпустил ее руку в ужасе, что причинил ей боль. Он стоял и смотрел, как она уходит. Еще несколько шагов, и она скроется за поворотом тропинки. Лицо его стало пунцово-красным, он до крови прикусил себе губу, и ему захотелось уйти прочь, вернуться к ней спиной, его душил гнев. В конце концов он же все-таки мужчина. Хорошо, все хорошо, прощай!..

Вдруг она обернулась и издали сказала ему:

— И пожалуйста, не ходите по ночам вокруг нашего дома. Дорогой, умоляю вас, не надо! Так это, значит, на вас собака лаяла столько ночей подряд. Однажды папа даже хотел выйти посмотреть, кто там. Вы больше не должны приходить, слышите. Я надеюсь, что вы не захотите сделать нас обоих несчастными.

Вот и все, что она сказала, но при звуке ее голоса его гнев как рукой сняло, и он покачал головой.

— А ведь сегодня день моего рождения, — сказал он и побрел от нее, закрыв лицо руками.

Она смотрела ему вслед, потом, вдруг решившись, побежала к нему. Она схватила его за руку:

— Простите меня, но тут ничего не поделаешь. Я никем не могу быть для вас. Но кто знает, возможно, мы еще и встретимся. Вы не думаете? А теперь мне надо идти.

Дагни повернулась и быстро пошла прочь.

Дама под вуалью поднималась от пристани в город. Она сошла с только что прибывшего парохода и направлялась теперь прямо к гостинице «Централь».

Как раз в это время Нагель случайно стоял у окна и глядел на улицу. С той самой минуты, как он вернулся в гостиницу, а было это около полудня, он стал метаться взад-вперед по комнате, от стены к стене, лишь изредка останавливаясь, чтобы выпить стакан воды. Его щеки пылали нездоровым румянцем, а глаза лихорадочно блестели. Так прошагал он несколько часов кряду, думая все об одном и том же — о своей встрече с Дагни Хьеллан.

Был момент, когда он попытался убедить себя, что может уехать и все забыть. Он раскрыл чемодан и вывалил из него какие-то бумаги, несколько медных измерительных инструментов, флейту, нотные листы, одежду, среди которой был новый желтый костюм, точь-в-точь такой же, как тот, что на нем, и разные другие вещи, которые он раскидал по полу. Да, он уедет. В этом городе невозможно дольше оставаться, флагов больше не вывешивают, улицы словно вымерли; что его здесь держит? И вообще какого черта он забрался в этот заштатный городок, в это осиное гнездо, в эту дыру, населенную жалкими людишками, во все сующими свой нос?..

Но он прекрасно знал, что никуда не уедет, что он просто подбадривает и обманывает самого себя. С мрачным видом побросал он как попало все вещи снова в чемодан и поставил его на прежнее место. И тогда он стал как потерянный лихорадочно шагать взад-вперед по комнате, от двери к окну, от окна снова к двери, туда — обратно, туда — обратно, а часы внизу отбивали час за часом. Вот они пробили шесть...

Он задержался на мгновение у окна, взгляд его случайно упал на даму под вуалью, которая как раз в эту минуту подымалась по ступенькам к дверям гостиницы, он изменился в лице и в ужасе схватился за голову. А впрочем, удивляться тут нечему. Приехать сюда она имеет такое же право, как и он. Но его это не касается, у него мысли заняты другим, да и вообще все счеты между ним и ею покончены, они квиты.

Он заставил себя успокоиться, сел на стул, поднял с пола газету и уткнулся в нее, делая вид, что читает. Не прошло и двух минут, как Сара приоткрыла дверь его

комнаты и подала ему карточку, на которой карандашом было написано: «Камма». Только одно слово: «Камма». Он встал и спустился вниз.

Дама стояла в коридоре; вуаль ее была по-прежнему спущена. Нагель молча склонился перед ней.

— Здравствуй, Симонсен!— сказала она громко, с волнением в голосе.

«Симонсен»,— сказала она. Нагель был потрясен, но тут же взял себя в руки и крикнул Саре:

— Куда бы нам пройти на несколько минут, чтобы поговорить?

Сара указала им комнату рядом со столовой, и, как только они притворили за собой дверь, дама бросилась в кресло; она была в сильном волнении.

Между ними завязался разговор, сбивчивый, темный, полный намеков, понятных только им, и каких-то оборванных фраз, относящихся к прошлому. Они уже явно раньше встречались и хорошо знали друг друга. Свидание не длилось и часу. Дама говорила скорее по-датски, чем по-норвежски.

— Прости, что я назвала тебя Симонсеном,— сказала она.— Старое, смешное, милое имя! Сколько всего таится за ним, и до чего же оно смешное! Всякий раз, когда я произношу его про себя, ты встаешь предо мной как живой.

— Когда вы приехали?— спросил Нагель.

— Только что, буквально несколько минут назад, на пароходе... И я сейчас же уеду...

— Сейчас же?

— Признайтесь,— сказала она,— вы ведь рады, что я собираюсь немедленно уехать. Неужели вы думаете, что я этого не вижу?.. Я задыхаюсь, мне теснит грудь. Дайте вашу руку, потрогайте вот здесь, нет, повыше! Ну, скажите хоть что-нибудь! Мне стало хуже, за последнее время наступило явное ухудшение, это заметно? Ну, да все равно! Я плохо выгляжу? Говорите, не стесняйтесь. Я, наверно, растрепана? Может быть, вам кажется, что я грязная, просто-напросто грязная, ведь я уже сутки в пути... А вы не изменились нисколечко, вы все такой же холодный, как были, такой же холодный... У вас нет гребешка?

— Нет... Что, собственно говоря, привело вас сюда? Что вас...

— Тот же вопрос, буквально тот же вопрос я хотела задать и вам: что привело вас сюда, в это богом забытое место, чего вы здесь торчите? Вы думали, я вас не най-

ду?.. Ты что, выдаешь себя здесь за агронома, да? Ха-ха-ха, я встретила одного человека на пристани, который сказал мне, что ты агроном и даже возился с какими-то растениями в саду некой фру Стенерсен. Ах да, если не ошибаюсь, с красной смородиной, ходил по саду без сюртука и два дня кряду окапывал кусты. Что за выдумка!.. У меня руки просто ледяные, это у меня всегда бывает, когда я волнуюсь, а сейчас я так волнуюсь... У тебя нет ко мне ни капли жалости, хотя я и назвала тебя Симонсеном, как в былые дни, и рада, и счастлива... Сегодня с самого утра, когда я еще лежала на койке в своей каюте, я все думала: как-то он встретит меня; будет ли хотя бы говорить мне «ты» и возьмет ли за подбородок? И я почти не сомневалась, что так оно и будет, но, выходит, ошиблась. Обратите внимание, что я вовсе не прошу вас сейчас это сделать. Я хочу, чтобы вы только обратили на это внимание. Теперь мне это уже все равно не доставит радости... Скажите, почему вы все время моргаете? Не потому ли, что, слушая меня, думаете совсем о другом?

— Мне действительно сегодня как-то не по себе, мне нездоровится, Камма. Не могли бы вы мне сказать прямо, без обиняков, зачем вы разыскали меня? Это было бы великодушно с вашей стороны.— Вот и все, что Нагель сказал в ответ.

— Вы спрашиваете, зачем я разыскала вас?— воскликнула она.— Господи, как больно вы умеете ранить! Быть может, вы испугались, что я приехала просить у вас денег, что у меня одна только цель — обобрать вас? Если у вас в душе в самом деле возникли такие гадкие подозрения, то уж лучше признайтесь в этом чистосердечно. Зачем я вас разыскала? Отгадайте-ка! Неужели вы не знаете, какое сегодня число, что это за день? Уж не забыли ли вы, что нынче день вашего рождения?

Вся в слезах, бросилась она перед ним на колени, уткнулась лицом в его руки, а потом прижала их к своей груди.

Он был необычайно тронут этим страстным выражением нежности, которой уже не ожидал, он привлек ее к себе и посадил на колени.

— Я не забыла дня твоего рождения,— сказала она,— я всегда буду его помнить. Ты не знаешь, как часто я плачу по ночам, когда мысли о тебе на дают мне уснуть... Дорогой мой мальчик, у тебя все такие же красные губы! Чего я только не передумала по дороге

сюда! Все такие ли у него еще красные губы?.. Как тревожно бегают твои глаза! Но ведь это не значит, что я злоупотребляю твоим терпением, не правда ли? Вообще-то ты мало изменился, но глаза бегают так, будто ты думаешь только о том, как бы от меня поскорее избавиться. Давай-ка я лучше сяду на стул рядом с тобой, так тебе, наверно, будет приятнее, верно? Мне о многом, об очень многом надо поговорить с тобой, и времени терять нельзя, потому что пароход скоро отходит, но ты сидишь с таким равнодушным видом, что я просто теряюсь. Что я должна сказать, чтобы заставить тебя слушать меня внимательно? В сущности, ты нисколько не благодарен мне за то, что я вспомнила этот день и приехала сюда... Ты получил много цветов? Впрочем, не сомневаюсь. Фру Стенерсен небось тоже про тебя вспомнила, да? Скажи мне, как она выглядит, эта фру Стенерсен, для которой ты разыгрываешь агронома? Ха-ха-ха, ты просто бесподобен!.. Я тоже привезла бы тебе цветы, если бы у меня были деньги; но как раз сейчас у меня нет ни гроша. Господи, да послушай ты меня хоть эти несколько жалких минут, могу я тебя об этом просить? Как все изменилось! Помнишь ли ты, как однажды... да нет, ты этого, конечно, не помнишь, да и что толку напоминать тебе об этом!.. Но вот однажды ты узнал меня издалека по перу на моей шляпе и со всех ног бросился мне навстречу, как только увидел это перо. Да ты сам отлично знаешь, что это правда, ведь верно? Произошло это на городском валу. Но я уже забыла, почему я вспомнила этот случай с пером. Бог ты мой, не могу сообразить, как я хотела обернуть эту историю против тебя, хотя мне это показалось очень убедительно. Что случилось? Почему ты вскочил с места?

Он и в самом деле очень резко поднялся, пересек на цыпочках комнату и рывком распахнул дверь.

— Вам все звонят и звонят из столовой, Сара,— сказал он.

Когда он вернулся и сел на свое прежнее место, он кивнул Камме и прошептал:

— Я чувствовал, что она стоит за дверью и подглядывает в замочную скважину.

Камма вышла из себя.

— Ну и пусть себе подглядывает!— воскликнула она.— Скажите на милость, почему вас занимает сейчас все что угодно, кроме меня? Я сижу здесь уже четверть часа, если не больше, а вы даже не попросили меня

поднять вуаль. Не вздумайте только теперь просить меня об этом! Вам и невдомек, что ужасно сидеть в такую жару под густой вуалью. Впрочем, так мне и надо: зачем я сюда притащилась? Я прекрасно слышала, как вы спросили у горничной, куда можно пройти на несколько минут, чтобы поговорить. Только на несколько минут, так вы и сказали. Это значит, что вы надеялись отделаться от меня через несколько минут. Да, да, я вас не упрекаю, но вы не представляете себе, насколько я огорчена. Господи, помоги мне!.. Почему это я никак не могу забыть тебя? Я знаю, что ты безумен, у тебя совсем сумасшедшие глаза... Да, так говорят, я это слышала, и мне легко этому поверить. И все же я не могу забыть тебя. Доктор Ниссен считает, что ты сумасшедший, и так оно, наверное, и есть, если ты мог поселиться в таком городишке, как этот, и выдавать себя за агронома. Подумать только! И ты по-прежнему носишь на пальце это железное кольцо и ходишь только в этом кричащем желтом костюме, который ни один человек на свете, кроме тебя, не решился бы на себя напялить...

— Доктор Ниссен в самом деле сказал, что я сумасшедший? — спросил он.

— Да, доктор Ниссен так прямо и сказал! Может, хочешь узнать, кому он это говорил?

Пауза. Он на мгновенье задумался, но тут же очнулся и спросил:

— Скажите мне откровенно, не мог бы я помочь вам деньгами, Камма? Вы же знаете, что я сейчас имею эту возможность.

— Никогда! — закричала она. — Никогда, слышите! Господи, кто дал вам право бросать мне в лицо одно оскорбление за другим?

Пауза.

— Я не знаю, — сказал он, — зачем мы здесь сидим и мучаем друг друга.

Но она его прервала и, разрыдавшись, стала говорить, уже не взвешивая своих слов:

— Кто кого мучает? Уж не я ли вас? Господи, как неузнаваемо ты переменялся за эти несколько месяцев! Я приехала сюда, только чтобы... Я уже не жду, что ты ответишь на мои чувства, ты же знаешь, я не из тех, кто будет унижаться, молить, но все же я надеялась, что ты будешь ко мне хоть снисходителен... Боже милостивый, до чего же печальна моя жизнь! Я должна вырвать тебя из своего сердца, но я не в состоянии это сделать, меня

влечет к тебе, и я бросаюсь к твоим ногам. Помнишь ли ты, как мы гуляли с тобой на Драмменсвейен и ты ударил собаку за то, что она кинулась ко мне? А ведь я сама была виновата, я вскрикнула, потому что подумала, что собака хочет меня укусить, но оказалось, что она вовсе не хочет кусаться, а хочет только поиграть, и когда ты ее ударил, она на брюхе приползла к нам и легла перед нами, вместо того чтобы бежать. Ты тогда расплакался, ты гладил собаку и украдкой вытирал слезы, да, да, я это заметила. Зато теперь ты не плачешь, хотя... Но я вспомнила это не для сравнения, надеюсь, ты все-таки не считаешь, что я сравниваю себя с собакой? Одному богу известно, что взбредет тебе в голову, ты ведь воображаешь невесть что! О, я знаю у тебя это выражение! Да ты и улыбаешься, да, да, я отлично видела, улыбаешься! Ты смеешься мне прямо в глаза! Ах, так, изволь, я выскажу тебе все... Нет, нет, прости меня. Я в таком отчаянии! Ты видишь перед собой разбитую женщину, я совершенно разбита, протяни мне руку! Почему ты никак не можешь мне простить единственного моего проступка! Ведь если ты как следует подумаешь, то согласишься, что вина моя, собственно, не так уж велика. Конечно, нехорошо, что я не пришла к тебе в тот вечер, ты много раз подавал мне условный знак, звал меня, а я не спускалась; но видит бог, как глубоко я об этом сожалею! Но он вовсе не сидел тогда у меня, как ты думаешь, он был у меня в тот день, это правда, но когда ты звал, его уже не было, он ушел. Я ведь во всем тебе призналась и прошу сжалиться надо мной, простить меня. Но я должна была, конечно, тут же прогнать его, я согласна, я со всем согласна, мне не следовало... Нет, я не понимаю... я ничего больше не понимаю...

Пауза. В возникшей тишине слышны были только всхлипывания Каммы и стук ножей и вилок, доносившийся из столовой. Она никак не могла успокоиться и платком вытирала слезы под вуалью.

— Подумай только, он так ужасно беспомощен,— продолжала она.— И совершенно не умеет добиться своего. Он то и дело стучит кулаком по столу и гонит меня ко всем чертям, да, он ругает меня почему зря, орет, что я его разоряю, обращается со мной более чем грубо, но после таких сцен становится совсем несчастным и все же не может решиться меня отпустить. Что мне делать, раз я вижу, насколько он слаб? Я откладываю свой отъезд со дня на день, хотя живется мне совсем не сладко... Но

только, пожалуйста, не жалея меня, как вы смеее выражать мне свое сострадание, неужели вы настолько потеряли всякий стыд! Он все же лучше многих и доставил мне больше радости, чем другие, чем вы, уж во всяком случае. И я искренне люблю его, так и знайте. Я приехала сюда не для того, чтобы на него наговаривать. Когда я вернусь домой и увижу его, я брошусь перед ним на колени и буду просить у него прощения за то, что я здесь о нем сказала. Да, я буду просить у него прощения!

— Дорогая Камма,— сказал Нагель,— будьте хоть немного благоразумной! Разрешите мне вам помочь, прошу вас! Мне кажется, вы в этом нуждаетесь. Неужели вы не согласитесь? Нехорошо с вашей стороны отказаться от моей помощи, когда я так легко и так охотно могу это сделать.

И с этими словами он вынул бумажник.

— Нет, я же сказала, нет!— крикнула она вне себя.— Вы что, не слышите? Что вы за человек!

— Так чего же вы хотите?— спросил он в полном недоумении.

Она села на стул и перестала плакать. Казалось, она уже сожалела о том, что так погорячилась.

— Послушайте, Симонсен... разрешите мне еще раз назвать вас Симонсеном, и если вы не будете сердиться, я хотела бы вам еще кое-что сказать. Что за дикая идея поселиться в такой дыре? И чего только вам это взбрело в голову? Разве можно после этого удивляться, что люди считают вас сумасшедшим? Я даже забыла название этого жалкого городишки и вспомню только, если напрягу память, а вы разгуливаете здесь с невозмутимым видом, ломаете комедию и приводите в изумление местных жителей своими нелепыми выходками! Неужели вы не найдете себе лучшего занятия?.. Впрочем, это, конечно, не моя забота, и я говорю это только по старой... Нет, вы хоть посоветуйте, что мне делать с моим кашлем? Я чувствую, там сейчас все разорвется! Не думаете ли вы, что мне снова необходимо обратиться к доктору? Но, бог ты мой, о каком докторе может идти речь, когда у меня в кармане нет ни единого эре?

— Но ведь я уже говорил, что всей душой готов вам помочь, дать вам нужную сумму. Пусть это будет взаимно, и когда-нибудь вы сможете мне их отдать.

— Ну, собственно говоря, совершенно не важно, обращаюсь ли я к доктору или нет,— продолжала она свое, как упрямый ребенок,— кто будет меня оплакивать, если

я умру?..— Но вдруг она оборвала на полуслове, сделала вид, что опомнилась, овладела собой и сказала уже совсем другим тоном: — Впрочем, если все хорошенько обдумать, то, собственно говоря, не вижу, почему бы мне не взять у вас денег? В самом деле, раз я брала прежде, то почему бы не взять сейчас? Я ведь не так богата, чтобы только из-за... Да, но вы предлагали мне их всё в такие минуты, когда я была сильно взволнована, и вы наперед знали, что я непременно откажусь. Да, именно так оно и было! Вы это точно рассчитали, чтобы сберечь свои деньги, хотя их у вас сейчас так много; вы думаете, я не заметила? И даже если вы мне их сейчас снова предложите, то сделаете это исключительно из желания меня унижить и будете потом злорадствовать, что мне в конце концов все же пришлось их принять. Но вам это не поможет, я приму их и буду тебе искренне благодарна. Дай бог, чтобы мне никогда больше не надо было обращаться к тебе! Но знайте, приехала я сюда сегодня не ради того, одним словом, не ради денег, хотите верьте, хотите нет. Все же я не думаю, что вы так низки, чтобы заподозрить меня в этом... А сколько ты мог бы мне дать, Симонсен? Господи, да не принимай все так близко к сердцу и верь, каждое мое слово искренне...

— Сколько вам надо?

— Сколько мне надо!.. Господи, не уйдет ли пароход без меня?.. Мне надо, быть может, и много, но... быть может, несколько сот крон, но...

— Послушайте, вам вовсе не надо чувствовать себя униженной тем, что вы принимаете эти деньги; вы сможете их заработать, если захотите. Вы могли бы оказать мне неоценимую услугу, если бы только я смел попросить вас...

— Если бы ты только смел попросить меня!— воскликнула она, вне себя от радости, что нашелся такой выход.— Господи, о чем ты говоришь? Какую услугу? Какую услугу, Симонсен? Я на все готова! Дорогой мой!

— Пароход отходит через три четверти часа, значит, вы располагаете этим временем...

— Да. И что же я должна сделать?

— Вы должны посетить одну даму и выполнить одно поручение.

— Посетить даму?

— Она живет у пристани в маленьком одноэтажном домике. На окнах там нет занавесок, но на подоконниках — горшки с белыми цветами. Даму эту зовут Марта Гудэ, фрекен Гудэ.

— Так это, значит, она... а разве не фру Стенерсен?

— Послушайте, вы на ложном пути, фрекен Гудэ, наверно, под сорок. Но у нее есть кресло, старое кресло с высокой спинкой, которое я непременно хочу купить, и вы можете мне в этом помочь... Вот возьмите и спрячьте ваши деньги, а я тем временем вам все объясню.

На дворе уже смеркалось; постояльцы шумно выходили из столовой, а Нагель еще сидел в соседней комнате и подробно объяснял все про старое кресло. Действовать надо очень осторожно, эффектными жестами здесь ничего не достигнешь. Камма все больше и больше воодушевлялась, она сгорала от желания поскорее выполнить это поручение, его таинственность приводила ее просто в восторг, она громко смеялась и несколько раз спрашивала, не следует ли ей переодеться или хотя бы нацепить на нос очки. Ведь у него, кажется, была когда-то красная шляпа? Вот она могла бы ее надеть...

— Нет, нет, не надо никаких ухищрений. Вы должны просто попросить, чтобы вам продали кресло, ваше дело — взвинтить цену, вы можете дойти до двухсот крон, даже до двухсот двадцати. И будьте совершенно спокойны, кресло вам все равно не достанется, на этот счет вам волноваться нечего.

— Бог ты мой, такая куча денег! Почему я не смогу его купить за двести двадцать крон?

— Потому что я уже просил во всех случаях оставить его за мной.

— А что, если она поймает меня на слове?

— Этого не будет. Ну, а теперь идите!

В последнюю минуту она снова попросила у него гребешок и с беспокойством спросила, не измято ли ее платье.

— Я не желаю, чтобы ты проводил так много времени у этой фру Стенерсен,— сказала она, кокетничая.— Я этого не перенесу, я буду безутешна.— И она еще раз проверила, хорошо ли упрятала деньги.— Как мило с твоей стороны, что ты дал мне столько денег!— воскликнула она, порывисто откинула вуаль и поцеловала его в губы, прямо в губы. Но при этом она была полностью поглощена тем странным поручением, которое дал ей Нагель.

— Как мне тебя уведомить, что все сошло хорошо? Могу я попросить капитана дать не три гудка, а четыре или пять, как ты считаешь? Видишь, не такая уж я дура. Нет, на меня полагайся смело. Неужели я не сделаю для

тебя такой малости, когда ты... Послушай, и все же я приехала сюда не ради денег, поверь мне! Ну, а теперь разреши мне еще раз поблагодарить тебя! До свиданья, до свиданья!

И она снова проверила, надежно ли спрятаны деньги.

Спустя полчаса Нагель и в самом деле услышал подряд пять коротких пароходных гудков.

ХШ

Прошло два дня.

Нагель почти не выходил из номера, сидел мрачнее тучи, выглядел измученным и больным. Он ни с кем не разговаривал и даже к гостиничной прислуге ни с чем не обращался. Одна рука у него была перевязана; как-то ночью, пробродив, по своему обыкновению, где-то почти до самого утра, он вернулся в гостиницу с рукой, обмотанной носовым платком. Он сказал, что поранил руку, споткнувшись о борону, лежавшую на пристани.

В четверг с утра моросил дождик, и от дурной погоды Нагель помрачнел еще больше. Но после того как он прочел, еще лежа в постели, газету и посмеялся над бурной сценой, разыгравшейся во французском парламенте, он вдруг щелкнул пальцами и вскочил на ноги. К черту все! Мир широк, богат и весел, мир прекрасен, и нечего унывать!

Он позвонил, не успев даже закончить свой туалет, и сообщил Саре, что намерен вечером пригласить к себе гостей, человек шесть-семь, таких веселых компанейских людей, как доктор Стенерсен, адвокат Хансен, адъютант, и хоть немного рассеяться, а то уж больно уныло жить на нашей грешной земле.

Нагель тут же разослал приглашения. Минутка ответил, что будет; поверенный Рейнерт был также приглашен, но не пришел. К пяти часам все гости собрались в номере Нагеля. Дождь как зарядил с утра, так и не прекращался, было очень пасмурно, поэтому сразу зажгли камин и спустили шторы.

И вот начался роскошный кутеж с адским шумом и криком, началась такая вакханалия, что весь маленький городок несколько дней только об этом и говорил...

Как только Минутка появился в дверях, Нагель кинулся к нему и стал извиняться за то, что наболтал лишнее во время их последней встречи. Он с чувством пожал Минутке руку, а затем представил его студенту

Эйену, единственному из собравшихся, который еще не знал его. Минутка шепотом поблагодарил Нагеля за новые брюки; теперь он с головы до ног одет во все новое.

— У вас еще нет жилета.

— Нет, но мне он и не нужен. Я ведь не граф, уверяю вас, мне в самом деле совсем не нужен жилет.

Доктор Стенерсен сломал свои очки и был поэтому в пенсне без шнурка, которое ежеминутно падало у него с носа.

— Нет, что бы там ни говорили,— сказал он,— но наше время несет с собой освобождение. Да посмотрите только на результаты выборов и сравните их с прошлыми.

Все много пили, адъютант уже начал говорить односложные слова, а это был верный признак того, что он хватил лишнего. Адвокат Хансен, который наверняка успел выпить несколько стаканов еще до того, как пришел, стал, как всегда, возражать доктору и вообще болтать чепуху.

Он, Хансен, социалист, он, со своей стороны, за движение вперед, если можно так выразиться. Но он недоволен выборами: какое освобождение они, собственно говоря, принесли? Может ему кто-нибудь ответить? К черту выборы! Хороша эпоха освобождения, ничего не скажешь! Да разве такой человек, как Гладстон, не боролся с Парнеллом, боролся самым постыдным образом по смехотворно ничтожному поводу, по так называемым моральным соображениям, которые не стоят выеденного яйца? К черту все это!

— Какого дьявола вы несете такую несусветную чушь?— тут же вскипел доктор.— Вы что, вообще отрицаете мораль? Если отнять у людей мораль, то что их будет двигать вперед? Приходится хитрить, всеми средствами завлекать людей на путь развития, и поэтому необходимо всегда чтить мораль.— Лично доктор высоко ценит Парнелла; но если Гладстон находит, что Парнелл не годится, то приходится все же с этим считаться— уж кто-кто, а такой человек, как Гладстон, кое-что в этом смыслит. Впрочем, господин Нагель, наш почтенный хозяин, придерживается здесь другого мнения и ставит Гладстону в вину даже то обстоятельство, что у Гладстона всегда чистая совесть. Ха-ха-ха, смех, да и только, прости меня, господи!.. А rgoros, господин Нагель, вы, кажется, и Толстого тоже не очень-то жалуете? Я слышал от фрекен Хьеллан, что вы и его не очень-то признаете.

Нагель тем временем разговаривал со студентом Эйеном; услышав последние слова доктора, он резко обернулся и ответил:

— Что-то не припомню, чтобы я когда-либо разговаривал с фрекен Хьеллан о Толстом. Я считаю его великим художником, но дураком в философии...— Помолчав, он добавил:— Уж позволим себе нынче вечером вставить крепкое словцо, если надо. Надеюсь, вы не возражаете, ведь дам здесь нет, мы в мужской компании. Договорились? А я сейчас в таком настроении, что готов рычать, как дикий зверь.

— Прошу вас, чего уж там церемониться,— обиженно подхватил доктор,— давайте так и скажем: Толстой— дурак.

— Да, да, пусть каждый говорит, что думает,— вдруг закричал и адъютант, который дошел как раз до того состояния, когда ему море по колено.— Никаких ограничений, доктор, не то мы тебя просто выставим вон, так и знай. У каждого свое мнение. Вот Стеккер, к примеру, отъявленный негодяй. И я это докажу... да, докажу!

Тут все рассмеялись, и прошло несколько минут, прежде чем снова смогли заговорить о Толстом. Спору нет, Толстой великий писатель, великий ум!

Нагель вдруг стал красный как рак.

— Нет, он не великий ум! Его интеллект, напротив, удивительно ординарен, а учение ни на йоту не глубже аллилуйных проповедей Армии спасения. Разве любой другой русский, не имея он дворянского титула, старинного знатного имени и миллионного состояния в блестящих рублях, стал бы таким знаменитым оттого, что научил нескольких крестьян чинить сапоги?.. Впрочем, давайте лучше веселиться. Ваше здоровье, господин Грегорд!

Нагель пользовался каждой короткой паузой в разговоре, чтобы лишний раз чокнуться с Минуткой, и вообще в течение всего вечера оказывал ему всяческие знаки внимания. Он еще раз извинился за свою глупую болтовню во время их последней встречи и попросил Минутку забыть все это.

— Что до меня, то я не испугаюсь, что бы вы ни говорили,— заявил доктор и приосанился.

— Иногда меня так и подмывает всем противоречить,— продолжал Нагель,— а нынче вечером в меня просто какой-то бес вселился. Наверно, оттого, что позавчера у меня было одно огорчение, которое не так-то легко пережить, а может, из-за этой отвратительной по-

годы, которая на меня ужасно действует. Вы, господин доктор, поймете меня лучше, чем кто-либо, и, надеюсь, извините... Но, возвращаясь к Толстому, я должен признаться, что не считаю его более глубоким умом, чем, например, генерала Бутса. Оба они проповедники, а не мыслители, только проповедники. Они пускают в оборот уже готовую продукцию, популяризуют не свои собственные мысли, а чужие, заимствованные, уже существующие, перепродают их народу по дешевке и тем самым держат в своих руках мир. Но уж раз ты занялся перепродажей, то делай это хотя бы с выгодой для себя. А вот Толстой перепродает с огромными убытками. Два друга заключили как-то пари: один с расстояния двадцати шагов выбьет выстрелом у другого орех из руки, да, он готов биться об заклад на двенадцать шиллингов, что сделает это, не причинив другу вреда. Ну, хорошо, он выстрелил, выстрелил плохо, разможил другу руку и, надо сказать, блестяще с этим справился. Раненый застонал, но, собрав последние силы, все же крикнул: «Ты проиграл пари, гони двенадцать шиллингов!» И он получил причитающиеся ему двенадцать шиллингов! Ха-ха-ха... «Гони двенадцать шиллингов!» Так он и сказал... Господи, до чего же Толстой из кожи вон лезет, чтобы убить всякую человеческую радость на земле и заполнить мир одной лишь любовью к всевышнему и к своему ближнему. Я просто сгораю от стыда... Быть может, это и покажется нахальным с моей стороны — какой-то там жалкий агрономишка сгорает от стыда за графа, но, поверьте, дело обстоит именно так... Я бы не говорил ничего похожего, если бы Толстой был юношей, которому стоило бы труда не поддаваться искушениям, который вел бы постоянную борьбу с собой, чтобы проповедовать добродетель и вести добродетельную жизнь. Но ведь он — глубокий старик, все жизненные импульсы его давно заглохли, в его душе не осталось и следа человеческих страстей и желаний. Но — могут мне возразить — все это ведь не имеет никакого отношения к его учению. Нет, имеет, притом прямое! Прожив свою жизнь, уже одряхлев, пресытившись наслаждениями и очерствев от их избытка, ты идешь к юноше и говоришь ему: отрешись от соблазнов мира сего! И юноша задумывается над его призывом и не может не согласиться с тем, что он соответствует Святому писанию. Но юноша все же не отрешается от радостей, а грешит, грешит вовсю в течение сорока лет. Таков закон природы. Но

когда пролетают сорок лет и юноша превращается в старика, он, в свою очередь, седлает своего бледного, бледного коня — и скачет по свету, сжимая в иссохшей костлявой руке крестное знамя, и трубит всем в назидание, требуя от юношей отрешения от всех радостей бытия, полного отрешения! Ха-ха-ха, воистину бессмертная комедия, она повторяется снова и снова! Толстой меня забавляет, я просто в восторге от того, что этот старик еще способен делать столько добра; в конце концов он безусловно вкусит райское блаженство! Но ведь суть в том, что он поступает так, как до него поступали многие и многие старики, и после него старики будут поступать точно так же. Повторяю, только в этом вся суть вопроса.

— Разрешите мне лишь напомнить вам, чтобы не прибегать к другим доводам, — так вот, разрешите напомнить вам, что Толстой проявил себя истинным другом всех обездоленных и угнетенных; неужели это, по-вашему, не имеет никакого значения? Укажите мне хоть на одного барина у нас, который бы, как он, полностью посвятил себя малым сим, тем, кто находится на самой низшей ступеньке общества? Только из высокомерной узости взглядов — я, во всяком случае, так считаю — можно назвать учение Толстого глупым на том лишь основании, что люди не живут согласно этому учению.

— Bravo, доктор! — снова взревел адъюнкт; его возбужденное лицо было пунцово-красным. — Bravo! Но выражайтесь резче, говорите грубо! Каждый имеет право отстаивать свое мнение! Высокомерная узость взглядов, что правда, то правда, у вас высокомерная узость взглядов! И я вам это докажу...

— Ваше здоровье! — сказал Нагель. — Не надо забывать, чего ради мы здесь собрались. Так вы, доктор, в самом деле хотите сказать, что стоит восхищаться человеком, который, обладая миллионным состоянием, отдает на благотворительные цели десятирублевую бумажку? Я просто не понимаю вашего хода мысли, да и у всех других тоже; должно быть, я как-то иначе устроен. Хоть убейте меня, но я никогда не соглашусь, что кто-либо — а уж меньше всего миллионер — достоин восхищения за то, что он подает милостыню.

— Отлично сказано! — воскликнул адвокат не без подначки. — Я — социалист, это моя точка зрения.

Но эти слова окончательно вывели доктора из себя, и он закричал, обращаясь к Нагелю:

— Позвольте спросить! Вы что, действительно так хорошо осведомлены, какие именно суммы жертвует Толстой ежегодно или ежедневно на бедных? Нет, это уж слишком! Даже в мужском обществе не все дозволено.

— Вот и Толстой считает,— ответил Нагель,— что всему должны быть свои границы, и благотворительности — тоже! Поэтому он и возложил на свою жену обязанность строго следить за тем, чтобы он не жертвовал больше, чем положено! Ха-ха-ха, но об этом давайте не будем говорить... Послушайте, по каким побуждениям мы отдаем крону? По доброте душевной или из желания сделать хороший, нравственный поступок? На мой взгляд, такое представление просто наивно! Есть люди, которые не могут не отдавать. Почему? Да потому, что, отдавая, они испытывают истинное наслаждение, чисто психическое, конечно. Ими руководит отнюдь не логическое рассуждение, они отдают тайно, им претит делать это открыто, публичность только уменьшила бы их удовольствие. Они отдают украдкой, торопливо, дрожащими руками, но при этом они испытывают удивительное блаженство, понять которое они сами не могут. Эти люди вдруг, ни с того ни с сего чувствуют острую потребность что-то отдать, это находит на них в форме какого-то странного, теснящего грудь ощущения — внезапное, необоримое желание, которое вспыхивает с такой силой, что на глазах выступают слезы. Они отдают не из доброты, а по внутренней к этому склонности, ради того наслаждения, которое они при этом получают; и таких людей немало! О людях щедрых говорят с восхищением — повторяю, я, видно, иначе устроен,— но у меня щедрые люди не вызывают восхищения. Решительно не вызывают. Кто, черт возьми, не хотел бы лучше отдавать, чем брать? Позвольте вас спросить, найдется ли на земле хоть один человек, который предпочел бы сам испытать нужду, чем помочь нуждающимся? Да взять, к примеру, хоть бы вас, господин доктор: вы ведь на днях дали лодочнику, который вез вас, пять крон. Я случайно это услышал. Ну, а почему вы отдали эти пять крон? Конечно, не для того, чтобы сделать хороший, богоугодный поступок, эта мысль вам тогда, наверно, и в голову не приходила; да лодочник скорее всего особенно и не нуждался, но вы все же дали ему эти пять крон. И дали вы их, повинувшись только безотчетному импульсу выпустить что-то из своих рук и порадовать другого... Мне кажется, что восторгаться людской благотворительностью вообще пошло и нич-

тожно. Вы идете как-то днем по улице, и все — погода, люди, которых вы встречаете, — решительно все влияет на ваше настроение. И вдруг ваше внимание привлекает какое-то лицо, лицо ребенка или нищего — скажем, нищего, — и вас бросает в дрожь. Странное чувство пронзает душу, вы топаете ногой и останавливаетесь посреди улицы. Лицо это почему-то задело вас за живое, и вы подзываете нищего, заводите его в первые попавшиеся ворота и суете ему в руку десять крон. «Если проговоришься, хоть слово об этом скажешь, я убью тебя», — шепчете вы, чуть ли не скрежеща зубами и не плача от волнения, — настолько важно для вас, чтобы ваш поступок сохранился в тайне. И подобные вещи могут случаться день изо дня, так что и самому недолго попасть в трудное положение и оказаться в конце концов без единого эре в кармане... Конечно, я это вовсе не о себе говорю, но я знал человека, другого человека, у которого была эта черта; собственно говоря, я знал даже двоих людей, которые так поступали... Нет, отдаешь потому, что не можешь не отдать, и все тут! Но я хочу сделать оговорку для скупых людей. Скупые, грубо жадные люди действительно приносят жертву, когда отдают что-либо, в этом нет сомнения. Потому я считаю, что когда они, переборов себя, отдают одно эре, то заслуживают большего уважения, чем мы с вами, когда отдаем крону ради собственного удовольствия. Кланяйтесь Толстому и передайте ему, что я ни во что не ставлю его отвратительную показушную доброту, — во всяком случае, до тех пор, пока он не отдаст все свое состояние, а впрочем, и тогда тоже... Но я прошу извинить меня, если я кого-нибудь из вас обидел. Еще сигару, господин Грегорд? Ваше здоровье, господин доктор!

Пауза.

— Сколько людей вы рассчитываете обратить в свою веру на протяжении вашей жизни? — спросил доктор.

— Bravo, — крикнул адъютант. — Адъютант Хольтан вас поддерживает, bravo!

— Я? Обратить? — переспросил Нагель. — Да никого, решительно никого. Если бы я жил с того, что обращал бы людей, я очень скоро сдох бы с голоду. Но я никак не могу понять, почему другие люди не думают, как я. Выходит, я кругом не прав. Но не совсем же я не прав, не может быть, чтобы я был совсем неправ.

— До сих пор мне еще ни разу не пришлось слышать, чтобы вы кого-нибудь или что-нибудь признали, — сказал доктор. — Интересно все же было бы узнать, есть ли на

свете хоть один человек, который и в ваших глазах был бы авторитетом.

— Разрешите мне объяснить вам одну вещь, это можно сделать в двух словах. Вы вот что хотели сказать: поглядите только, он всех считает ниже себя, он — олицетворенное высокомерие, он никого не признает. Но вы ошибаетесь. Мой ум мало что способен охватить, меня на многое не хватает, но все же я мог бы вам назвать сотни и сотни этих обыкновенных общепризнанных знаменитостей, тех людей, которые оглушают мир громкой славой. Этими именами мне все уши прожужжали. Но я предпочел бы назвать двух, четырех, шестерых величайших героев духа, полубогов, истинных гигантов, творцов подлинных ценностей, а помимо них остановиться на лицах совершенно неизвестных, на своеобразных благородных гениях, о которых никто не говорит, которые обычно живут недолго, умирают молодыми и неизвестными. Вполне возможно, что таких имен я перечислил бы сравнительно много. Но в одном я, во всяком случае, твердо уверен — я наверняка забыл бы назвать Толстого.

— Послушайте,— сказал доктор, обороняясь и желая положить конец этому спору; он даже резко пожал плечами.— Вы в самом деле думаете, что человек может приобрести такую мировую славу, как Толстой, не будучи умом первой величины? Говорите вы, несомненно, очень забавно, но по существу все это чушь. Да вы несете такой вздор, черт меня побери, что просто уши вянут.

— Bravo, доктор!— завопил адъюнкт Хольтан.— Пусть наш хозяин даст нам хоть немного передохнуть... немного передохнуть...

— Адъюнкт напомнил мне, что я в самом деле не очень-то любезный хозяин,— сказал Нагель с улыбкой.— Но теперь я исправлюсь. Господин Эйен, да у вас даже не налито? Почему вы не пьете?

Дело в том, что студент Эйен все время сидел не шелохнувшись и жадно слушал разговор, боясь упустить хоть слово. Его глаза сузились от любопытства, он весь превратился в слух — так его заинтересовал этот спор. Говорили, что он, как и многие другие студенты, писал во время каникул роман.

Сара пришла сообщить, что ужин подан. Адвокат, который уже успел задремать, примостившись на стуле, вдруг открыл глаза и явно оживился, увидев ее, а когда она исчезла за дверью, вскочил, нагнал ее уже на лестничной площадке и сказал с нескрываемым восхищением:

— Сара, я должен тебе сказать, что ты просто прелесть!

Потом он вернулся в комнату и сел на свое место как ни в чем не бывало, с тем же серьезным лицом, что и прежде. Он был сильно пьян. Когда доктор Стенерсен набросился на него за его социалистические убеждения, он оказался уже не в силах защищаться. Хорош социалист, ничего не скажешь! Живодер он, а не социалист, жалкий посредник между властью имущими и бесправными, юрист, который кормится на чужих раздорах и получает деньги за то, что восстанавливает бесспорные законные права! И такой человек еще называет себя социалистом!

— Да, но дело в принципе, в принципе! — лепетал адвокат.

— В принципе!..

И доктор заговорил с величайшей издевкой о принципах адвоката Хансена. Пока гости спускались в столовую, он все наускаивал на Хансена, высмеивал его как адвоката и напал на социализм в целом. Вот он сам, доктор, предан левым душой и телом, а не только на словах, как некоторые! Да в чем они, собственно, заключаются, эти принципы социализма? Тут сам черт ногу сломит! И доктор сел на своего любимого конька: социализм, если кратко выразить его суть, это месть низших классов. Поглядите только, что представляет собой социализм как движение! Социалисты — он на том стоит — стадо слепых и глухих животных, которые, вывалив языки, несутся за вожаком! Видят ли они дальше своего носа? Нет, все они вообще не умеют думать. Если бы они думали, они давно перешли бы к левым и сделали бы хоть что-нибудь полезное, что-нибудь практическое, вместо того чтобы проболтаться всю жизнь без реального дела и пускать слюни по поводу неосуществимой мечты. Тьфу! Переберите всех вождей социализма, кто они? Оборванцы, тощие мечтатели, которые сидят в своих мансардах на деревянных табуретках и строчат трактаты об усовершенствовании мира! Конечно, они могут быть вполне порядочными людьми, разве может кто сказать что-либо дурное о Карле Марксе? Но даже этот Маркс только и знал, что сидеть да строчить, уничтожая бедность на земле — чисто теоретически, так сказать, росчерком пера. Он мысленно охватил все виды бедности, все степени нищеты, его мозг вместил в себя все страдания человечества. С пылающей душой макает он перо в чер-

нила и исписывает страницу за страницей, заполняет большие листы цифрами, отнимает деньги у богатых и передает их бедным, перераспределяет огромные суммы, переворачивает всю мировую экономику, швыряет миллиарды изумленным беднякам — все это строго научно, все это чисто теоретически! Но в конце концов выясняется, что в наивной своей увлеченности он исходил из совершенно ложного принципа: из равенства людей! Тьфу! Да это абсолютно ложный принцип! И все это вместо того, чтобы заняться какой-то полезной деятельностью и поддержать либералов в их борьбе за реформы и укрепление подлинной демократии...

От рюмки к рюмке доктор возбуждался все сильнее и разглагольствовал без умолку, утверждая правоту своих взглядов. За столом во время ужина он стал еще больше горячиться; было выпито много шампанского, и все пришли в буйное настроение; даже Минутка, который сидел рядом с Нагелем и до сих пор молчал, вступил вдруг в общий разговор, вставляя время от времени какое-нибудь словечко. Адьюнкт сидел, будто аршин проглотил, боясь пошевелиться, и кричал как оглашенный, что заляпал свой жилет яйцом и не может теперь сдвинуться с места. Он был беспомощен, как ребенок. Наконец пришла Сара и занялась жилетом адьюнкта, а адвокат, сидевший рядом, воспользовался этим удобным случаем, схватил девушку в объятия, привлек к себе и стал тискать. Тут за столом поднялось невесть что, все повскакали с мест, и началась уже полная неразбериха.

Тем временем Нагель велел отнести в свой номер корзину шампанского. Вскоре общество поднялось из-за стола. Адьюнкт и адвокат шли обнявшись и пели от полноты чувств, а доктор снова принялся разглагольствовать на высоких нотах о социализме. Но на лестнице он имел несчастье потерять свое пенсне, оно снова упало — наверное, уже в десятый раз — и разбилось. Оба стекла разлетелись вдребезги. Он сунул оправу в карман и оказался на весь вечер полуслепым. Это его ужасно раздосадовало, и он стал еще более раздражительным; он сел рядом с Нагелем и язвительно сказал:

— Если я не ошибаюсь, вы человек религиозный, не так ли?

Вопрос свой доктор задал совершенно серьезно и теперь явно ждал ответа. Немного помолчав, он добавил, что после их первого разговора — это было во время похорон Карлсена — у него сложилось впечатление, что Нагель в самом деле человек религиозный.

— Я защищал религиозную жизнь в человеке,— ответил Нагель,— а не специально христианство, вовсе нет, религиозную жизнь вообще. Вы уверяли, что всех теологов надо повесить. «Почему?» — спросил я. «Потому что они уже сыграли свою роль», — ответили вы. Вот с этим-то я и не мог согласиться. Религиозная жизнь — это факт, который невозможно оспаривать. Турок восклицает: «Велик аллах!» — и умирает за свою веру; норвежец стоит коленопреклоненный перед алтарем и по сей день еще вкушает кровь Христову. У любого народа есть свой коровий колокольчик, которому он поклоняется, и с этой верой люди умирают в блаженстве. Дело ведь не в том, *во что* верить, а в том, *как* верить...

— Я поражен, что слышу такое от вас,— с раздражением сказал доктор.— И я еще раз задаю себе вопрос: уж не правый ли вы, по сути, и только маскируетесь? Один за другим появляются в наши дни научные труды, критикующие теологов и духовные книги, все больше писателей решительно выступают против сборников проповедей и теологических сочинений с публичными разносами, а вы все же не сдаете своих позиций и не желаете признать даже того, что комедия с кровью Христовой потеряла в наш век всякий смысл. Я просто не понимаю хода ваших мыслей.

Нагель немного подумал, а потом ответил:

— Ход моих мыслей вкратце вот каков: кому какая выгода от того — простите, может, я уже задавал вам этот вопрос,— так вот, даже если подойти к этому с чисто практической точки зрения, скажите, кому какая выгода от того, что мы лишаем жизнь всей поэзии, всех грез, всей прекрасной мистики и даже всей лжи? В чем истина, разве вы это знаете? Мы ведь двигаемся вперед только благодаря символам и меняем эти символы по мере того, как двигаемся дальше... Но давайте выпьем, а то мы только говорим да говорим...

Доктор встал и прошелся по комнате. Он сердито посмотрел на загнувшийся у дверей край ковра и тут же встал на колени, чтобы его распрямить.

— Дал бы ты мне, Хансен, хоть на время очки, ну что тебе стоит, ведь ты все равно сидишь и клюешь носом,— в сердцах сказал доктор, окончательно теряя самообладание.

Но Хансен не пожелал расставаться со своими очками, и доктор с досадой от него отвернулся. Он снова сел рядом с Нагелем.

— Да все это вздор, все это, по существу, просто чушь какая-то, если встать на вашу точку зрения,— сказал он.— Быть может, вы отчасти и правы: вот поглядите-ка на Хансена, ха-ха-ха, прошу прощения, что я разрешаю себе смеяться над тобой, Хансен, адвокат и социалист Хансен. Скажи, не испытываешь ли ты всякий раз в глубине души радость, когда два добропорядочных гражданина затевают тяжбу? Разве кто поверит, что ты стараешься их примирить и, значит, не получить ни шиллинга! А в воскресенье ты снова отправишься в рабочий союз и будешь двум ремесленникам и одному мяснику делать доклад о социалистическом государстве. «Да, каждый должен получать вознаграждение по своему труду,— скажешь ты,— все будет организовано по справедливости, никто не окажется обиженным». Но тут встает мясник, мясник, который, убей меня бог, настоящий гений по сравнению со всеми вами, да, так вот он встает и спрашивает: «Лично у меня потребительная способность оптового торговца, но как производитель я всего-навсего простой мясник»,— как тогда? Ну, признайся, разве ты не поблднеешь от бешенства?.. Храпи себе да похрапывай, в этом деле ты силен, ничего не скажешь!

Доктор был уже совсем пьян, язык у него заплетался, глаза осоловели. После небольшой паузы он снова обратился к Нагелю и мрачно продолжал:

— Впрочем, я вовсе не считаю, что одни только теологи должны наложить на себя руки. Всем нам, черт меня возьми, давно пора отправиться в тартарары, надо покончить с человечеством раз и навсегда, а земной шарик пусть себе летит ко всем чертям!

Нагель тем временем чокался с Минуткой. Доктор так и не дождался ответа, вконец разозлился и закричал в голос:

— Вы разве не слышите, что я говорю? Всем нам давно пора в тартарары, говорю я. И вам тоже, слышите! Вам тоже!

Доктор просто рассвирепел.

— Да,— отозвался Нагель.— Об этом я уже не раз думал. Но что до меня, то я не нахожу в себе достаточного мужества.— Пауза.— Да, не буду врать, будто сейчас у меня хватит на это духу, но я заранее заготовил надежное средство и ношу его всегда при себе.

Нагель вынул из кармана жилета маленький полупустой пузырек с этикеткой «яд» и показал присутствующим.

— Синильная кислота, крепчайшая! — сказал он. — Но мне это не под силу, духу не хватит. Господин доктор, вы, конечно, сможете мне сказать, достаточная ли это доза. Половину пузырька мне пришлось уже испытать на одном животном, и знаете, подействовало превосходно: небольшие судороги, смешное подергивание морды, два три вдоха, и все; одним словом, мат в три хода.

Доктор взял пузырек, посмотрел на него, встряхнул несколько раз и сказал:

— Этого достаточно, более чем достаточно... Собственно говоря, я должен был бы отобрать у вас этот пузырек, но раз у вас не хватает духу, то...

— Да, не хватает.

Пауза. И Нагель сунул пузырек обратно в карман жилета. Доктор пьянел все больше и больше, он потягивал из своего стакана, глядел по сторонам мутными остекленевшими глазами и плевал прямо на пол. Вдруг он крикнул адьюнкту:

— Эй, Холтан, как ты там? Ты еще способен выговорить: «ассоциация идей»? Лично я нет. Спокойной ночи.

Адьюнкт открыл глаза, потянулся, встал, подошел к окну и уставился на улицу. Когда снова завязался разговор, он воспользовался удобным случаем, чтобы удрать. Он прокрался вдоль стены, приоткрыл дверь и прошмыгнул так быстро, что никто не успел этого заметить. Адьюнкт Холтан всегда так покидал общество.

Минутка тоже поднялся, чтобы уйти, но когда хозяин попросил его остаться еще хоть ненадолго, снова сел. Адвокат Хансен спал. Трезвыми были еще только трое — студент Эйен, Минутка и Нагель, и они заговорили о литературе. Доктор слушал, полузакрыв глаза, но сам уже не проронил ни слова. Вскоре и он заснул.

Студент оказался весьма начитанным и питал особое пристрастие к Мопассану. Разве можно отрицать, что он проник в самые тайники женской души? А как поэт любви он стоит просто на недостижимой высоте. Что за смелость изображения, что за удивительное знание человеческого сердца! Но Нагель тут же стал ему возражать со смешной запальчивостью: стучал кулаком по столу, кричал, разносил всех писателей в пух и прах — пощадил он только нескольких. Видимо, в гневе своем он был совершенно искренен, потому что тяжело дышал, до того он горячился, и даже пена выступила у него на губах.

— Поэты, поэты! Разве можно отрицать, что они проникли в тайники человеческого сердца! Но кто они,

эти поэты, эти надменные и кичливые гордецы, которым удалось захватить такую власть в современном мире? Это язвы, нарывы на теле общества, набрякшие, воспаленные гнойники, к которым прикасаться можно лишь очень нежно, с осторожностью, чуть ли не с пиететом, потому что они не выносят суровой руки. Да, да, с поэтами нужна обходительность, особенно с самыми глупыми и самыми темными, так сказать, со всякой нечистью, а не то, чего доброго, они обидятся и укатят за границу! Ха-ха-ха, за границу, да! Боже праведный, что за уморительная комедия! А если вдруг появится тот настоящий вдохновенный певец, у которого в душе звучит музыка, бьюсь об заклад, его поставят далеко позади такого грубого романиста-профессионала, как Мопассан. Он писал много о любви и доказал, что умеет сочинять книги, которые ходко идут. Что правда, то правда. А маленькая, но ослепительная звездочка, подлинный поэт в самом полном смысле этого слова — Альфред де Мюссе, у которого любовь не чувственный шаблон, а пронзительно-нежная и пылкая весенняя мелодия, звучащая в душе его героя, Альфред де Мюссе, у которого слова яркими вспышками озаряют каждую строчку,— у такого поэта в два раза меньше почитателей, чем у вашего ничтожного Мопассана с его вульгарной и бездушной поэзией бедер...

Нагель словно с цепи сорвался. Он нашел повод наброситься на Виктора Гюго, да и вообще послать к чертям всех величайших писателей мира. Не разрешат ли ему привести один маленький пример в доказательство полного пустословия стихов поэта с мировой славой. Извольте: «Пусть будет сталь твоя такою же разящей, как «нет» последнее твое». Недурно звучит? Не правда ли? Как по-вашему, господин Грегорд?

Говоря это, Нагель пристально глядел на Минутку. Не сводя с него взгляда, он еще раз повторил эту пустую строку. Минутка не ответил, он только выпучил свои голубые глаза и от растерянности хлебнул большой глоток из своего стакана.

— Вот тут кто-то упомянул Ибсена,— продолжал все так же возбужденно Нагель, хотя никто не называл этого имени,— на мой взгляд, в Норвегии есть только один писатель, и это ни в коем разе не Ибсен. Об Ибсене говорят как о мыслителе. Но разве можно не отличать дешевого резонерства от истинной мысли! Толкуют о славе Ибсена, нам все уши прожужжали о его мужестве, но разве не следует хоть как-то отличать мужество на словах

от мужества на деле, крикливый домашний бунт от бескорыстного и беззаветного революционного порыва? Первый лишь оглушает в театре, второй же озаряет светом жизнь. Норвежского писателя, который без устали воюет штопальной иглой вместо копья, нельзя считать истинно норвежским писателем. Но ничего не поделаешь, приходится тормозиться, иначе не прослывешь мужественным муравьем. До чего же забавно глядеть на эту возню со стороны! Шума, крику на этом ристалище не меньше, чем на полях наполеоновских битв, да и отваги нужно не меньше, вот только опасности и риска столько же, сколько во французской дуэли. Ха-ха-ха!.. Нет, тот, кто намерен восставать, не должен быть этакой литературной достопримечательностью, чисто отвлеченным понятием в духе немецких профессоров, он должен быть дееспособным человеком, который готов первым кинуться в самую гущу жизненной схватки. Революционный восторг никогда не увлекал Ибсена на тонкий лед, а рассуждение насчет трупа в грюме окажется жалкой узковедомственной теорией, если ей противопоставить живое, пламенное дело. Хотя одно, возможно, и стоит другого, раз мы все падем ниц перед таким дамским занятием, как сочинение книжек в расчете на успех у публики. Каким бы ничтожным оно ни было, впрочем, оно, во всяком случае, не менее ценно, чем бесстыжая философская болтовня Льва Толстого. К черту все это!

— Все? Все к черту?

— Да, почти. Впрочем, был и у нас поэт, это — Бьёрнсон в его лучшие минуты. Он единственный у нас, несмотря ни на что, несмотря ни на что...

— А разве большинство обвинений против Толстого не относится и к Бьёрнсону? Разве Бьёрнсон не проповедник, выступающий в защиту определенных нравственных устоев, самый обыкновенный, скучный старик, профессиональный писатель, или как там еще?..

— Нет! — громко крикнул Нагель и стал, сильно жестикулируя от возбуждения, горячо защищать Бьёрнсона: нельзя ставить на одну доску Бьёрнсона и Толстого хотя бы потому, что против этого восстает даже жалкий разум первого попавшегося агронома, не говоря уже о том, что такому суждению противится элементарное человеческое чувство. Во-первых, Бьёрнсон не меньший гений, чем Толстой. Он, Нагель, не очень-то высоко ставит обычных вульгарных гениев, — да, видит бог, совсем невысоко, — но все же надо признать, что их уровня Толстой достиг,

тогда как Бьёрнсон поднялся неизмеримо выше. Впрочем, это, конечно, совершенно не мешает Толстому писать книги куда лучшие, чем большинство книг Бьёрнсона, но что из этого? Ведь хорошие книги пишут датские капитаны, норвежские художники и английские женщины. А во-вторых, Бьёрнсон — человек, ошеломляющая личность, а не отвлеченное понятие. Да, он живой человек, из плоти и крови, он шумит на нашей грешной земле, и ему нужно в сорок раз больше жизненного пространства, чем простому смертному. Он вовсе не стремится предстать перед людьми как некий сфинкс, не пытается окружить себя величием и таинственностью, как Толстой в своей степи или Ибсен в своем кафе. Сердце у него словно лес в бурю, он вездесущ и великолепно развенчивает себя в глазах публики, смешиваясь с толпой в кафе «Гранд». Он создан, так сказать, *en masse*, это — могучий дух, один из немногих, рожденных быть вождем. Стоя на трибуне, он одним движением руки может прекратить поднимающийся свист. В его мозгу непрерывно возникают новые мысли, им тесно, они рвутся наружу; побеждает он триумфально, ошибается грубо, но и в том и в другом сказывается его личность, его дух. Бьёрнсон — наш единственный поэт с подлинным вдохновением, с искрой Божьей. В нем вдруг начинает что-то звучать, какой-то пагудок, — словно едва уловимый шелест колосьев летним днем, когда вдруг налетает ветерок, но ржаное поле гудит себе и гудит, и вскоре уже ничего, ничего не слышишь, кроме этого гула; так завораживают нас все перемены и движения его души — перемены и движения гения. Рядом с Бьёрнсоном творчество, например, Ибсена кажется чисто механической конторской работой. В стихах Ибсена нет ничего, кроме рифм, со скрипом подогнанных друг к другу, а пьесы его, — это какая-то древесная масса, кучи опилок, разделенных на акты. На кой черт это нужно... Впрочем, довольно об этом, ваше здоровье, господа...

Два часа ночи. Минутка зевает. После трудового дня его клонит ко сну, он устал от нескончаемой болтовни Нагеля, и он снова встает, чтобы уйти. Когда он уже со всеми попрощался и доплелся наконец до двери, произошло одно непредвиденное событие, которое его снова задержало, — событие, надо сказать, совершенно ничтожное, но получившее вдруг в дальнейшем огромнейшее значение: доктор проснулся, потянулся спросонья и из-за своей близорукости ненароком опрокинул

несколько стаканов; Нагель, который ближе всех сидел к доктору, был весь облит шампанским. Он вскочил, стал, смеясь, отряхивать мокрую грудь и громко прокричал «ура».

Минутка тут же поспешил на помощь, он кинулся со всех ног к Нагелю, схватил салфетку, вытащил платок и стал вытирать Нагеля. Больше всего пострадал жилет; если бы он только согласился снять его, снять буквально на одно мгновение, и тут же все будет в порядке. Но Нагель не пожелал снимать жилета. От шума проснулся и адвокат и тоже завопил «ура», хотя и не знал, что происходит. Минутка снова стал просить Нагеля снять жилет, но Нагель только покачал головой. Потом он вдруг поглядел на Минутку, и при этом ему явно что-то пришло в голову. Он мигом снял жилет и порывисто передал его Минутке.

— Прошу вас, посушите его и оставьте себе,— сказал он.— У вас ведь нет жилета. Молчите, тут не о чем говорить! Я дарю вам его от всего сердца, дорогой друг.

Но так как Минутка все отказывался, Нагель сунул ему жилет под мышку, распахнул дверь и дружески вытолкнул его из комнаты.

И Минутка ушел.

Все это произошло так стремительно, что никто, кроме Эйена, сидевшего ближе всех к двери, ничего не заметил.

Адвокат в пьяном кураже предложил разбить остальные стаканы. Нагель этому не воспротивился, и вот четверо взрослых людей стали забавляться тем, что швыряли об стену один стакан за другим, пока все не перебили. Затем они снова пили, но уже прямо из бутылок, горланили песни, как пьяные матросы, и плясали, ставши в круг. Этот хмельной разгул не прекращался до четырех утра. Доктор был пьян в стельку. Уже стоя в дверях, студент Эйен обернулся к Нагелю и сказал:

— Но то, что вы говорите о Толстом, с тем же основанием можно сказать и о Бьёрнсоне. Вы непоследовательны в своих оценках...

— Ха-ха-ха!— Доктор хохотал как одержимый.— Он требует последовательности!.. В столь поздний час! Скажите, вы можете произнести слово «энциклопедисты», мой дорогой? А как насчет «ассоциации идей»? Ну, пошли, я помогу вам добраться до дома... Ха-ха-ха... В столь поздний час!..

Дождь прекратился. Но небо по-прежнему было затянуто, и солнце не показывалось. Однако погода стояла безветренная, и все предвещало мягкий день.

На следующее утро, очень рано, Минутка уже снова был в гостинице. Он тихо вошел в номер Нагеля, положил на стол его часы, несколько бумажек, огрызок карандаша и пузырек с ядом и хотел было так же тихо удалиться, но тут проснулся Нагель, и Минутке пришлось объяснить, зачем он пришел.

— Эти вещи я нашел в карманах вашего жилета,— сказал он.

— В карманах жилета? Ах да, черт возьми, верно, верно! А который теперь час?

— Восемь. Но ваши часы стоят, я не хотел их заводить.

— Надеюсь, вы не выпили синильную кислоту?

Минутка улыбнулся и покачал головой.

— Нет,— ответил он.

— И даже не попробовали? Тут было полпузырька, дайте-ка, посмотрю.

Минутка протянул ему пузырек, чтобы он убедился, что осталось столько же кислоты, сколько было.

— Хорошо. Так вы говорите, сейчас восемь? Время вставать... Да, пока я не забыл, Грегорд, не могли бы вы раздобыть мне где-нибудь напрокат скрипку? Я попробую, мне хотелось бы научиться... Ну, все это, конечно, глупости... Дело вот в чем: я хотел бы купить скрипку, чтобы подарить ее одному знакомому; мне она нужна не для себя. Вы должны во что бы то ни стало приискать мне скрипку, хоть из-под земли, но достаньте!

Минутка постарается исполнить эту просьбу, уж он, поверьте, сделает все, что будет в его силах.

— Весьма вам благодарен. Загляните ко мне, когда будет охота. Дорогу вы уже знаете. Всего доброго.

Час спустя Нагель уже был в лесу, прилежавшем к дому пастора. Земля еще не просохла после дождя, который накануне лил весь день, а солнце пробивалось сквозь тучи и мало грело. Он присел на камень и устался на дороге. Он сразу заметил знакомые следы на мягком песке и был теперь почти уверен, что это следы Дагни, что она пошла в город. Он довольно долго ждал понапрасну, решил наконец отправиться ей навстречу и поднялся с камня.

И действительно, он не ошибся,— на опушке леса он ее встретил. В руках у нее была книга — «Гертруда Кольдбьернсен» Скрама.

Они поговорили немного об этой книге, потом она сказала:

— Представляете себе... наша собака погибла.

— Неужели? — переспросил он.

— Несколько дней назад. Мы нашли ее уже окоченевшей. Не могу понять, отчего это произошло.

— А по-моему, у вас была на редкость противная собака: простите, пожалуйста, но бульдоги со вздернутыми носами и мордами, похожими на наглые человеческие лица, меня всегда отталкивали. Когда он глядел на кого-нибудь, уголки его губ опускались, словно он нес бремя мировой скорби. Не буду скрывать, я рад, что он околел.

— Как вам не стыдно...

Но он нервно прервал ее, явно желая по той или иной причине перевести разговор на другую тему. Он вдруг ни с того ни с сего заговорил об одном человеке, с которым ему когда-то довелось повстречаться и который оказался удивительно забавным. Человек этот слегка з-заикался, и он этого не скрывал, напротив, он старался з-заикаться даже нарочно, чтобы подчеркнуть свой недостаток. При этом у него были самые странные понятия о женщинах. Первым делом он обычно рассказывал одну историю про Мексику, которая в его устах звучала особенно комично. Однажды зимой там стояли трескучие морозы, термометры буквально лопались от холода, а люди сутками не решались выходить из дому. Но вот в какой-то день этому человеку все же пришлось отправиться в соседний город, он шел по пустынной местности, только изредка на пути попадались одинокие строения, а холодный ветер обжигал ему лицо. И в эту невероятную стужу из хижины, которую он уже миновал, вдруг выскакивает полуголая женщина и бежит за ним, пытаясь его догнать, и все время кричит: «У вас белый нос, берегитесь, вы идете, а у вас отморожен нос!» У женщины в руках был ковшик, рукава у нее были засучены. Она увидела в окно совершенно чужого человека, у которого побелел нос от мороза, и она бросила свою работу и побежала за ним, чтобы его предупредить. Ха-ха, слышали ли вы что-либо подобное! Она стоит с засученными рукавами на ледяном ветру, и на ее правой щеке появляется небольшое белое пятнышко, которое мало-помалу расплзается на всю щеку! Ха-ха-ха, не правда ли, трудно поверить?.. Но несмотря на этот случай и на многие другие примеры женской самоотверженности, которые знал наш заика, он по этой части проявлял удивительную твердолобость. «Женщины странные и ненасытные существа,— говорил

он мне, не объясняя, однако, почему он считает их такими уж странными и ненасытными.— Просто невероятно, что им иногда взбредет в голову!» — говорил он и рассказывал следующую историю: «У меня был друг, который влюбился в молодую девушку, звали ее как будто Кларой. Чего он только не делал, чтобы покорить сердце этой особы, но все было напрасно — Клара и слышать о нем не желала, хотя он был красивый и вполне добропорядочный молодой человек. У этой самой Клары была сестра, на редкость уродливое, кривобокое и горбатое создание; и вот ей-то мой друг сделал в один прекрасный день предложение. Одному богу известно, почему он так поступил, быть может, из расчета, а быть может, в самом деле влюбился, несмотря на все ее уродство. Так что же делает Клара? Да, вот тут и проявилась женская натура в своем естестве. Клара бьется в истерике, Клара устраивает форменный скандал. «Он на мне хотел жениться! На мне! — вопит она. — Но меня ему не видеть как своих ушей, не желаю, ни за что на свете я не выйду за него!» Ну и что вы думаете, он женился на ее горбатой сестре, в которую, видимо, сильно влюбился? Нет! В этом-то и вся соль истории. Клара не пожелала уступить его горбунье! Ха-ха-ха! Да, раз он поначалу хотел жениться на ней самой, то теперь не получит и кривобоккой уродки, хотя вряд ли кто-нибудь другой отважился бы предложить той руку и сердце. Таким образом мой друг потерпел двойное фиаско». Подобных историй было у этого заики превеликое множество, и рассказывал он их чертовски забавно именно потому, что заикался. Впрочем, он вообще был весьма загадочный человек... Я вам не наскучил?

— Нет, — ответила Дагни.

— Да, так это был, значит, весьма загадочный человек. Он был такой жадный, да при этом еще и так нечист на руку, что мог, например, срезать кожаный ремень с окна вагона в поезде и прихватить его с собой — пригодится, мол, на что-нибудь. Да, он был вполне способен отмочить такую шутку; говорят, его даже как-то поймали на мелком воровстве. Но при этом иногда, под настроение, он швырял деньги не считая. Однажды, например, ему взбрело в голову устроить большую прогулку в колясках. Но знакомых в этом городе у него, увы, не было, поэтому он нанял для себя одного двадцать четыре экипажа. Двадцать три ехали впереди порожняком, а в последнем, двадцать четвертом, сидел он сам, важно

поглядывая на людей, прогуливающих пешком, да что там сидел — восседал, гордый как Бог; он, мол, устроил такой великолепный кортеж!..

Нагель говорил без умолку, переходя от одной истории к другой, но успеха не имел: Дагни едва его слушала. Тогда он вдруг замолчал и собрался с мыслями. Какого черта он порет всю эту чушь, строит из себя эдакого шута горохового! Занимать молодую даму, да еще даму сердца, бессмысленной болтовней об отороженном носе или о двадцати четырех экипажах! И вдруг он вспомнил, что уже однажды опозорился, отпустив плоскую остроту насчет эскимоса и портфеля. При этом воспоминании кровь бросилась ему в лицо, он весь передернулся и замедлил шаг. Что за черт, почему он не может совладать с собой! Какой стыд! Эти минуты, когда он несет несусветный вздор и выставляет себя в дурацком виде, унижают его и сводят на нет все, чего он добился за долгие недели. Бог мой, что она должна думать о нем!

— Так сколько же дней осталось до благотворительного базара? — спросил он.

Она улыбнулась и сказала:

— Почему вы все говорите, говорите?.. Почему вы так нервничаете?

Этот вопрос явился для него таким неожиданным, что он взглянул на нее в полной растерянности. Потом он ответил:

— Фрекен Хьеллан, в нашу последнюю встречу я обещал вам, что если нам еще раз доведется увидеться, я буду говорить о чем угодно, но только не о том, о чем вы мне запретили говорить. Я пытаюсь сдержать свое обещание, до сих пор мне это удавалось.

Голос его был глухим, сердце отчаянно колотилось.

— Да, — сказала она. — Обещания надо держать, обещания надо держать.

Эта фраза прозвучала так, словно была обращена скорее к ней самой, нежели к нему.

— Еще до вашего прихода я решил попытаться сдержать свое слово. Я знал, что вас здесь встречу.

— Откуда вы могли это знать?

— Я заметил ваши следы на дороге.

Она вскинула на него глаза, но промолчала. А немного погодя сказала:

— У вас забинтована рука. Что случилось?

— Ваш пес укусил меня, — ответил он.

Они стояли и глядели друг на друга.

Он стиснул руки и заговорил, хотя это было ему мучительно трудно:

— Каждую ночь я приходил сюда, в лес, каждую ночь я стоял под вашими окнами перед тем, как пойти спать. Простите меня, это ведь не преступление. Вы запретили мне это, но я все же приходил, тут уж ничего не поделаешь; ваш пес укусил меня, он боролся за свою жизнь, я убил его, я дал ему яду, потому что он всегда лаял, когда я приходил пожелать доброй ночи вашим окнам.

— Вот оно что! Так, значит, это вы убили нашу собаку?

— Да,— ответил он.

Пауза. Они по-прежнему стояли неподвижно и глядели друг на друга. Он тяжело дышал.

— Я готов свершить куда более ужасные вещи, чтобы только увидеть вас. Вы и понятия не имеете о том, как я страдаю, как я денно и ночью всецело поглощен вами. Нет, об этом вы не имеете понятия! Я разговариваю с людьми, смеюсь, я даже устраиваю веселые попойки — этой ночью у меня засиделись гости до четырех утра, и дело кончилось тем, что мы перебили все стаканы,— но даже когда я пью вместе с другими или пою с ними песни, я неотвязно думаю о вас, и это приводит меня в отчаяние. Меня ничто больше не интересует, и я просто не знаю, что со мной будет дальше. Пожалейте меня и не уходите еще две минуты, я хочу вам кое-что сказать. Не тревожьтесь, пожалуйста, я не буду ни пугать вас, ни обольщать, я только должен говорить с вами, это сильнее меня.

— Я вижу, что вы не образумились,— сказала она жестко.— Ведь вы мне обещали...

— Да, наверно; точно не знаю, возможно, я и обещал образумиться. Но мне так трудно, у меня это так плохо получается. Ну ладно, ладно, я буду благоразумен, можете положиться на меня. Но как мне это осуществить, вы знаете? Научите меня. Представьте себе, что я однажды чуть было не ворвался к вам в дом. Я готов был взломать вашу дверь и войти прямо к вам, даже если вы были не одна. Но поверьте, я изо всех сил боролся с этим наваждением, я оговаривал вас как мог, всячески пытаюсь уменьшить вашу власть надо мной, развенчивал вас в глазах других людей. Но не подумайте, что я делал это, чтобы отомстить вам, нет, вы должны понять, что я дошел до крайности и пытался лишь немного взбодрить себя, научиться стискивать зубы и хоть

немного подняться в своих собственных глазах. Вот почему я дурно говорил о вас. Но я не знаю, помогло ли мне это. Я даже хотел уехать, хотел, но не смог. Я принялся было складывать вещи, но бросил и никуда не уехал. Как я могу уехать! Вот если бы вы уехали, я повсюду бы следовал за вами. И даже если бы я вас не догнал, я продолжал бы ездить по вашим следам и искал бы вас неустанно в надежде в конце концов где-нибудь вас найти, а когда мне стало бы ясно, что все мои усилия тщетны, я научился бы довольствоваться все меньшим и меньшим и радовался бы тому, что мне, быть может, удастся встретить кого-нибудь, кто прежде бывал у вас, скажем, подругу, которая когда-то держала вас за руку или которой вы улыбались в счастливые дни. Вот как я бы жил. Так могу ли я уехать отсюда? К тому же сейчас лето. Этот лес— мой храм, и все птицы здесь знают меня, они встречают меня каждое утро, склоняют набок головки и смотрят. Я никогда не забуду, как в первый вечер, когда я приехал сюда, город был украшен флагами в вашу честь, это произвело на меня огромное впечатление, переполнило душу странным чувством симпатии, но вместо того, чтобы сойти на берег, я как очарованный ходил взад-вперед по палубе и глядел на флаги. Да, то был удивительный вечер... Но и потом мне не раз бывало так необычайно хорошо: каждый день я хожу по той же дороге, что и вы, а иногда мне даже выпадает счастье увидеть на дороге ваши следы, вот как сегодня, и тогда я жду вас до тех пор, пока вы не возвратитесь домой, я прячусь где-нибудь здесь, в лесу, ложусь ничком за валун и жду вас. После нашего последнего разговора я видел вас два раза, причем один раз прождал шесть часов. И все эти шесть часов я пролежал за валуном, не вставая из страха, что вы вдруг появитесь и я попадусь вам на глаза. Бог его знает, где вы были так долго в тот день...

— Я была у Андерсенов,— вдруг сказала она.

— Да, возможно, и я все-таки дождался вас. Вы были не одна, но я видел вас очень хорошо и тихо послал вам свой привет из-за камня. Кто знает, что за мысль промелькнула у вас, но вы повернули в тот момент голову и поглядели на валун, за которым я лежал...

— Послушайте... Вы вздрогнули, словно я должна сейчас произнести вам смертный приговор...

— Так оно и есть, я это прекрасно понимаю, ваши глаза стали холодны как сталь.

— Да, этому в самом деле надо положить конец, господин Нагель! Если бы вы все обдумали как следует, то сами бы поняли, что ведете себя не очень благородно по отношению к тому, кто уехал. Ведь верно? Поставьте себя на его место... Не говоря уже о том, что и мне это очень тяжело. Чего вы, собственно, от меня добиваетесь? Позвольте мне сказать вам раз и навсегда: я не нарушу данного слова, я люблю его. Теперь, надеюсь, вам все ясно. Будьте сдержанней; я действительно не захочу видеть вас, если вы не проявите ко мне должного уважения. Я говорю вам это совершенно откровенно.

Дагни была взволнована, губы ее дрожали, и она изо всех сил старалась сдержать слезы. Так как Нагель молчал, она добавила:

— Вы можете проводить меня домой, до самого дома, если хотите, но, конечно, при условии, что не сделаете ничего такого, что нам обоим будет неприятно. Расскажите мне что-нибудь, я буду вам благодарна, я люблю слушать.

— Да,— сказал он вдруг громким, ликующим голосом, словно в нем проснулся совсем другой человек,— да, только бы мне быть с вами! Конечно, я сейчас расскажу вам... Когда вы на меня сердитесь, вы меня словно окатываете холодной водой, я леденею.

Они долго говорили о совершенно безразличных вещах. Шли они так медленно, что почти не двигались с места.

— Какой запах, какой запах! — сказал он. — Как буйно растут после дождя трава и цветы! Не знаю, интересуют ли вас деревья? Это может показаться странным, но я чувствую какое-то таинственное сродство с каждым деревом в лесу. Словно я сам когда-то принадлежал лесу; я стою здесь и гляжу вокруг, и во мне шевелятся какие-то смутные воспоминания, они захватывают меня целиком. Постойте минутку! Прислушайтесь! Слышите, как истошно поют птицы, радуясь солнцу? Они совсем ошалели, летят прямо на нас, ничего не видят.

И они пошли дальше.

— Передо мной все еще стоит тот образ, который вы вызвали в моем воображении — лодка с парусом в виде полумесяца из голубого шелка,— сказала она,— это так красиво! Когда небо такое высокое, как сейчас, и такое глубокое, мне тоже начинает казаться, что я сама качаюсь там на волнах и ужу рыбу серебряной удочкой.

— Да, верно, сидеть в такой лодке куда больше подходит вам, чем мне.

Когда они дошли примерно до середины леса, она имела неосторожность спросить:

— Сколько вы еще здесь пробудете?

Она тут же пожалела о своем вопросе, ей хотелось бы взять его назад; но она сразу успокоилась, потому что он улыбнулся и уклонился от прямого ответа. Она была ему благодарна за проявленный им такт; он, наверное, заметил ее смущение.

— Ведь я живу там, где вы,— ответил он.— Я буду жить здесь, пока у меня хватит денег,— и добавил:— Одним словом, не очень долго.

Она поглядела на него, тоже улыбнулась и сказала:

— Не очень долго? А я слыхала, вы богаты.

На его лице снова появилось то таинственное выражение, которое бывало у него и прежде, и он ответил:

— Я богат? Послушайте, в городе ходят слухи, что я богач, что у меня, в частности, есть имение, стоящее немалую сумму,— но это все неправда. Прошу вас, не верьте этому, все это сказки. Нет у меня никакого имения, а просто крошечный клочок земли, и принадлежит он не мне одному, но и моей сестре тоже, да и то он фактически обесценен закладными и долгами. Поверьте, это истинная правда.

Она недоверчиво рассмеялась и сказала:

— Да, я уж знаю, когда речь идет о вас, вы всегда говорите только правду.

— Вы мне не верите? Сомневаетесь в том, что я говорю? Тогда разрешите рассказать вам, хотя для меня это и будет унижительно, но все же разрешите рассказать вам по порядку, как было дело. Вы, наверно, знаете, что в первый же день моего пребывания здесь, в городе, я прошел пять миль пешком, чтобы добраться до ближайшего городка, и послал оттуда самому себе три телеграммы, в которых говорилось о крупной сумме денег и об имении в Финляндии. Получив эти телеграммы, я оставил их распечатанными на столе в моем номере, они валялись там несколько дней, чтобы все в гостинице об этом узнали. Теперь вы мне верите? Разве история о моем состоянии — не грубый розыгрыш?

— Если только вы снова не клеветеете на самого себя.

— Снова? Вы ошибаетесь, фрекен. Бог свидетель, я не лгу. Вот так.

Пауза.

— Но зачем вы это сделали, зачем вы посылаете самому себе телеграммы?

— Да, видите ли, если объяснить вам все по порядку, получится, пожалуй, чересчур длинно... Впрочем, можно и в двух словах: я сделал это, чтобы пустить пыль в глаза, чтобы привлечь к себе внимание в городе. Ха-ха-ха, вот вам все начистоту.

— Вы лжете!

— Клянусь, не лгу!

Пауза.

— Станный вы человек. Одному богу известно, чего вы добиваетесь. Сперва вы идете рядом со мной и... да, не стесняясь, делаете мне самые страстные признания; но стоило мне одной фразой призвать вас к благоразумию, как вы тут же обернулись другим человеком, выставляете себя шарлатаном, лжецом, обманщиком, бог знает кем... К чему все эти ухищрения? Поверьте, ни то ни другое нимало меня не трогает. Я слишком уравновешенный человек. Вся эта гениальность мне недоступна.

Она вдруг почувствовала себя оскорбленной.

— Сейчас я вовсе не собирался проявлять особой гениальности. Ведь для меня все потеряно; стоит ли зря стараться?

— Но зачем же вы мне рассказываете при каждом удобном случае что-то гадкое о себе?— воскликнула она гневно.

Он ответил медленно, с полным самообладанием:

— Чтобы произвести на вас впечатление, фрекен.

Они снова стояли и смотрели друг на друга. Он продолжал:

— Я уже имел как-то удовольствие сказать вам несколько слов о моем методе. Вы спрашиваете, почему я всегда выбалтываю свои секреты как бы во вред себе, хотя легко мог бы сохранить их в тайне. Я вам отвечаю: я делаю это целенаправленно, из расчета. Мне представляется, что моя искренность все же не может не произвести на вас известного впечатления, хоть вы это и отрицаете. Во всяком случае, я надеюсь, что вы почувствуете некоторое уважение ко мне благодаря тому беспощадному равнодушию, с которым я разоблачаю самого себя. Быть может, мой расчет и неверен, вполне это допускаю, уж тут ничего не поделаешь. Но даже если я и ошибаюсь, то ведь вы для меня все равно потеряны, и больше мне терять нечего. Можно дойти до такого состояния, это отчаяние, игра ва-банк. Я сам помогаю вам предъявлять мне обвинения и укрепляю вас таким образом по мере своих сил в вашем решении оттолкнуть меня, совсем оттолкнуть.

Почему я это делаю? Да потому, что меня с души воротит говорить что-либо в свою пользу и таким жалким способом что-то выгадывать, да у меня в жизни на это язык не повернется. Но — можете вы сказать — я пытаюсь хитростью, окольными путями достичь того, чего другие достигают наивной откровенностью. Ах... Впрочем, нет, я не стану себя защищать. Называйте это надувательством, почему бы и нет, это вполне подходящее слово; я сам готов добавить, что это прямой обман. Хорошо, итак, это надувательство, я не защищаю себя, вы правы, существо мое — в сплошном надувательстве. Но ведь мало кто из людей обходится без вранья, в большей или меньшей мере все к нему прибегают; а раз так, то не стоит ли одно другого, ибо надувательство, пусть даже скрытое, все равно остается надувательством... Чувствую, я сел на своего любимого конька, и я охотно поскакал бы на нем немного... Но нет, не буду; господи, до чего же я устал от всего! Я говорю себе: пусть все идет как идет, пусть! Точка!.. Кто бы мог, например, подумать, что в доме у доктора Стенерсена не все благополучно? Впрочем, я и не утверждаю, что это так, я просто спрашиваю, может ли хоть кому-нибудь прийти в голову заподозрить в чем-то такую почтенную семью? Она состоит всего из двоих: мужа и жены, детей у них нет, серьезных забот — тоже нет, и все-таки не затесался ли туда еще третий? Одному богу это известно, но, быть может, там все же есть третий, молодой человек, чересчур пылкий друг дома, поверенный Рейнерт. Что тут скажешь? Может, виноваты обе стороны. Не исключено даже, что доктор в курсе дела и тем не менее не в силах ничего изменить, во всяком случае, сегодня ночью он очень много пил, и ему так опостылело все, все на свете, что он предлагал уничтожить человеческий род с помощью синильной кислоты, а земной шарик пусть себе летит ко всем чертям! Бедняга!.. Но он отнюдь не единственный, который по пояс увяз во лжи, даже если исключить меня — Нагеля, которого ложь засосала по горло. А что, если я назову вам, например, Минутку? Добрая душа, праведник, мученик! О нем можно сказать одно лишь хорошее, но я слежу за ним. Говорю вам, он у меня на подозрении! Вы поражены? Я испугал вас? Я этого не хотел. Но позвольте мне успокоить вас — Минутку никто не совратит с пути истинного, он в самом деле праведник. И почему только я не спускаю с него глаз, почему я наблюдаю за ним, притаившись за углом дома, когда он

возвращается к себе после невинной прогулки в два часа ночи — в два часа ночи?! Почему я подглядываю, как он разносит свои мешки, как здороваётся с людьми на улице? Да не почему, дорогая фрекен, не почему! Просто он меня интересует, я люблю его, и меня сейчас радует, что я могу представить его среди всего этого обмана как чистого человека, как праведника. Только поэтому я и упомянул о нем, и вы наверняка меня поняли. Ха-ха-ха... Ну, а если говорить обо мне... Нет, нет, я не хочу больше говорить о самом себе! О чем угодно, только не о себе!

Эти последние слова вырвались у него так непосредственно и прозвучали так искренне и печально, что она преисполнилась к нему сочувствия. Она поняла в этот миг, что перед ней исстрадавшаяся, истерзанная душа. Но так как он тут же постарался сгладить у нее это впечатление, громко рассмеялся и снова стал клясться, что все на свете — чистое надувательство, ее теплое чувство тут же растаяло.

— Вы бросили какие-то грязные намеки по адресу фру Стенерсен,— сказала она резко,— это низко с вашей стороны, и было бы так же низко, будь они даже менее грубыми. Минутку, этого несчастного калеку, вы тоже не пощадили. Хорош рыцарь, ничего не скажешь! Все это так гадко, так недостойно!

Она пошла дальше, и он последовал за ней. Он не отвечал, он шел опустив голову. Несколько раз его плечи вздрогнули, и, к своему полному изумлению, она увидела, что две большие слезы скатились по его лицу. Он отвернулся, чтобы это скрыть, и стал свистом подманывать какую-то птицу.

Некоторое время они шли молча. Она была тронута и раскаивалась в своих жестоких словах. Быть может, то, что он говорил, и правда. Что она знает? Быть может, этот человек увидел за несколько недель больше, чем она за долгие годы?

Они все еще шли молча. Он совершенно успокоился и равнодушно поигрывал своим носовым платком. До пасторской усадьбы было уже совсем близко.

— Вы сильно поранили руку? Можно, я посмотрю?— спросила она вдруг.

Хотела ли она ободрить его своим вниманием или действительно поддалась в эту минуту его состоянию, но произнесла Дагни эти слова задушевно, пожалуй, даже взволнованно; и она остановилась.

И тогда что-то прорвалось в нем. В этот миг, когда она, наклонившись к его руке, стояла так близко от него, что он вдыхал запах ее волос и шеи, в этот миг, когда они оба не могли вымолвить ни слова, чувство захлестнуло его, и он весь отдался безумному порыву. Он обнял ее сперва одной рукой, потом, когда она попыталась отстраниться, двумя. Он долго и нежно прижимал ее к себе, почти оторвав от земли. Вдруг он почувствовал, что спина ее изогнулась и она затихла. Как-то сразу отяжелев, она прильнула к его груди и подняла на него затуманившиеся глаза. До чего она была хороша! Он шептал ей, что она необычайна, необычайна и что до конца его дней она будет его единственной любовью. Один человек уже умер ради нее, и он тоже готов умереть по одному ее слову, по одному знаку. О, как он ее любит! И он твердил без конца, все крепче прижимая ее к себе: «Я люблю тебя, я люблю тебя».

Она не сопротивлялась ему больше, голова ее слегка склонилась к его левой руке, и он горячо целовал Дагни и шептал нежные слова. Он отчетливо чувствовал, что она сама прижимается к нему, а когда он ее целовал, она еще плотнее закрывала глаза.

— Приходи завтра к дереву. К тому дереву, помнишь, к осине... Приходи ко мне, Дагни, я люблю тебя! Ты придешь? Приди, когда хочешь. В семь часов...

На это она ничего не ответила и только сказала:

— Теперь пустите меня.

И она медленно высвободилась из его объятий.

Несколько мгновений она стояла, растерянно глядя по сторонам, и лицо ее принимало все более и более горькое выражение, потом губы начали судорожно подергиваться, она с трудом дошла до камня у тропинки и села на него. Она плакала.

Нагель склонился над ней и стал что-то тихо говорить. Прошло несколько минут. Вдруг она вскочила с побелевшим от ярости лицом и, прижав к груди стиснутые кулаки, закричала в бешенстве:

— Вы подлый человек! О боже, до чего же вы подлы! Вы сами этого, наверно, не понимаете. Как вы могли, как вы могли это сделать?

И она снова расплакалась.

Он опять попытался ее успокоить, но безуспешно. Полчаса простояли они у этого камня и никак не могли двинуться с места.

— И вы еще требовали, чтобы я пришла к вам на свиданье,— сказала она.— Я не желаю больше

встречаться с вами, видеть вас больше не хочу! Вы подлец!

Он молил о прощении, бросился перед ней на колени, целовал подол ее платья. Но она все твердила, что он подлец, что он вел себя низко. Что он с ней сделал? Пусть он уйдет, уйдет прочь! Она запрещает ему идти с ней рядом. Ни единого шага!

Дагни повернулась и пошла по направлению к дому.

Он все же хотел было пойти за ней, но она, повелительно подняв руку, сказала:

— Не смейте! Слышите, не смейте!..

Он стоял и смотрел ей вслед, пока она не удалилась шагов на двадцать; тогда он, сжав кулаки, бросился ей вдогонку, несмотря на ее запрет, и снова остановил ее.

— Я не сделаю вам ничего плохого,— сказал он.— Но имейте же ко мне хоть каплю сострадания! Видите, я стою перед вами. Я готов умереть только для того, чтобы избавить вас от себя. Скажите хоть одно слово, и я умру. Это же я повторю вам завтра, если только увижу вас. Но вы могли бы мне оказать милость и быть ко мне справедливой. Поймите же наконец, что я всецело подвластен силе, которая исходит от вас, и мне не дано ее побороть. Моя вина разве только в том, что я встретил вас на своем пути. Дай вам бог никогда не переживать моих нынешних страданий!

Нагель повернулся и побрел к городу.

Он шел по дороге, и его плечи, слишком широкие для его приземистой фигуры, беспрестанно вздрагивали. Он не видел ничего вокруг, он не узнавал людей, попадавшихся ему навстречу, и очнулся, только когда, пройдя весь город, остановился у дверей гостиницы.

XV

Последующие два-три дня Нагеля в городе не было, и его комната в гостинице была заперта. Никто толком не знал, где он; он сел на пароход, идущий на север. Возможно, он затеял эту поездку, только чтобы развлечься.

Вернулся он рано утром, когда городок еще спал. Нагель был бледен и, судя по его виду, дурно провел ночь.

Однако он все же не поспешил в гостиницу, а довольно долго прогуливался взад-вперед по набережной, потом пошел по новой для него дороге в дальнюю часть

бухты, где как раз повалил дым из трубы паровой мельницы.

Впрочем, у мельницы он тоже не задержался, и вообще, по всей видимости, он бродил вокруг пристани, просто чтобы убить время. Когда, часа через два, рынок начал оживать, Нагель был уже там. Он стоял на углу у почтовой конторы и внимательно разглядывал каждого, кто проходил мимо. Когда он издали заметил зеленое платье Марты Гудэ, он двинулся ей навстречу и поклонился.

Он просит прощения, может быть, она забыла его? Его зовут Нагель, это он приходил насчет кресла, старого кресла. Уж не продала ли она его, часом?

Нет, она его не продала.

Прекрасно. Он надеется, что к ней никто не приходил за это время и не набил цену? Не посетил ли ее какой-нибудь коллекционер?

Да, к ней...

— О боже, неужели кто-нибудь приходил? Да что вы говорите? Дама? Ох, уж эти вездесущие дамы, во все суют свой нос! Значит, прослышала о вашем уникальном кресле и тут же решила заграбастать! Типичная женская бесцеремонность! Сколько она предлагала за него, сильно ли взвинтила цену? Я ведь вам уже говорил, что ни за что не отступлюсь, черт меня подери!

Марта совсем смешалась от его напора и торопливо сказала:

— Да нет, что вы, я с удовольствием отдам его вам.

— В таком случае, разрешите мне зайти к вам нынче вечером, часиков в восемь, и закончить это дело?

Ну, конечно, он может зайти. Но не лучше ли ей доставить кресло прямо в гостиницу? Вот все и будет покончено...

Нет, нет, ни в коем случае, этого он ни за что не допустит. С таким ценным предметом нужно обращаться бережно и умело. Да и по правде говоря, он не хотел бы, чтобы кто-нибудь посторонний видел его приобретение. Ровно в восемь он будет у нее. Кстати, хорошо, что он вспомнил, он хотел предvarить ее, чтобы она ни в коем случае не вытирала с кресла пыль и, упаси боже, не вздумала его мыть! Главное, ни капли воды.

И Нагель побежал в гостиницу. Едва войдя в номер, он не раздеваясь бросился на кровать, тут же заснул и проспал спокойным крепким сном до самого вечера.

Сразу же после ужина он отправился к пристани. Ровно в восемь он постучал в дверь маленького домика Марты Гудэ и вошел.

Комната была явно только что прибрана, пол не успел еще просохнуть после мытья, а свежепротертые окна блестели. Марта даже надела бусы. По всему было видно, что его ждали.

Нагель поздоровался, сел и не медля приступил к переговорам. Она и теперь упрямылась, пуще прежнего настаивая, чтобы он взял это кресло просто так, даром. Тогда он пришел в ярость, пригрозил, что швырнет ей в лицо эти две сотни крон и удерет с креслом. Подделом ей, она это заслужила! В жизни своей не встречал он такого безрассудства! И вдруг, стукнув кулаком по столу, спросил, уже не рехнулась ли она, часом.

— Знаете что,— сказал он, пристально взглянув на нее,— ваше сопротивление начинает мне казаться подозрительным. Скажите честно, уж не завладели ли вы этим креслом каким-нибудь неблаговидным путем? Не буду скрывать, мне приходится иметь дело с разными людьми, излишняя осторожность никогда не мешает. Если это кресло попало к вам в результате какой-то махинации или по ошибке, то оно мне не нужно... Впрочем, прошу извинить меня, ежели я превратно истолковал ваше упрямство.

И он стал заклинять ее рассказать все как есть.

Вконец растерявшись от павшего на нее подозрения, испуганная и вместе с тем оскорбленная, она тут же принялась оправдываться. Кресло это приобрел ее дед, и оно, наверное, уже не менее ста лет находится у них в семье. Он не должен думать, что она что-то утаивает от него. И слезы выступили у нее на глазах.

Хорошо. В таком случае ему хотелось бы наконец покончить с этим затянувшимся торгом и поставить точку. И Нагель полез за бумажником.

Она сделала шаг, чтобы еще раз остановить его, но он, не обращая на нее никакого внимания, положил на стол две красные купюры и спрятал бумажник.

— Прошу вас,— сказал он.

— Во всяком случае, не давайте мне больше пятидесяти крон,— взмолилась она и в полной растерянности провела дважды рукой по его волосам, как бы прося его уступить ей. Она не сознавала, что делала, но она погладила его по голове и попросила ограничиться хотя бы пятьюдесятью кронами. У этого нелепого существа все еще стояли слезы в глазах.

Он поднял голову и поглядел на нее. Эта беднячка, живущая на благотворительные средства, эта седая сорокалетняя девица со жгучими черными глазами, но с обликом монашки произвела на Нагеля впечатление своей своеобразной, редкой красотой, и он на мгновение заколебался. Он взял ее руку в свои, ласково похлопал по ней и сказал:

— Господи, какая вы удивительная!

Но он тут же выпустил ее руку и поспешно встал.

— Надеюсь, вы ничего не имеете против того, чтобы я сейчас же забрал кресло? — спросил он.

И он придвинул кресло к себе.

Она уже явно перестала его бояться. Увидев, что он испачкал руки о старую пропыленную обивку, она тут же вынула из кармана свой платок и протянула ему.

Деньги все еще лежали на столе.

— А прогос, — сказал он, — разрешите мне вас спросить, не лучше ли будет, если вы сохраните, по возможности, в тайне нашу сделку? Совсем не обязательно, чтобы весь город болтал об этом. Договорились?

— Да, — сказала она задумчиво.

— На вашем месте я бы поскорее спрятал деньги. Впрочем, сперва я завесил бы окошко... Вот возьмите хоть эту юбку!

— Не будет ли тогда слишком темно в комнате? — сказала она с сомнением, но все же взяла юбку и завесила окно; Нагель помог ей.

— Это надо было сделать в самом начале, — сказал он. — Нехорошо, если меня здесь увидят.

Она промолчала. Потом взяла деньги со стола, протянула ему руку и попыталась было поблагодарить его, но не смогла вымолвить ни слова.

Он долго не выпускал ее руки из своей и вдруг сказал:

— Разрешите задать вам один вопрос: вам, видимо, трудно сводить концы с концами, жить вот так, без всякой помощи, без поддержки... Скажите, вы получаете какое-нибудь пособие?

— Да.

— Простите, дорогая фрекен, что я расспрашиваю вас! Но если пронюхают, что у вас появились кое-какие сбережения, то вас не только тут же лишат помощи, но и отберут эти деньги, просто-напросто отберут. Вот почему так важно хранить в тайне эту историю с креслом. Как опытный человек, я хочу дать вам добрый совет: молчите. Ни одной живой душе ни слова о нашем ма-

леньком дельце... Кстати, мне сейчас пришло в голову, что следовало бы дать вам более мелкие купюры, чтобы вам не нужно было их менять.

Все-то он обдумывает, все предусматривает. Нагель снова садится и принимается отсчитывать мелкие бумажки. Собственно говоря, он толком и не считает, а просто вываливает на стол все мелкие деньги, какие у него при себе, берет наугад — сгребает в кучу и придвигает к ней.

— Ну вот, а теперь спрячьте все это,— говорит он.

Она отворачивается, расстегивает свой лиф и прячет деньги на груди.

И хотя она уже успела привести себя в порядок, он, вместо того чтобы встать, продолжает почему-то сидеть и спрашивает как бы невзначай:

— Да, что это я еще хотел сказать... Вы случаем не знакомы с Минуткой?

Он заметил, что она вся вспыхнула.

— Мне довелось несколько раз с ним встретиться,— продолжал Нагель.— Я привязался к нему. Я думаю, что он человек надежный, золотой человек. Я поручил ему раздобыть мне скрипку и не сомневаюсь, что он мне ее достанет, как вы считаете? Впрочем, быть может, вы его и не знаете близко?

— Напротив.

— Ах да, верно, ведь он мне рассказывал, что купил у вас цветы, когда хоронили Карлсена. Значит, вы его знаете? Может быть, даже хорошо? Скажите, какого вы о нем мнения? Как по-вашему, он постарается выполнить мое порученье? Когда имеешь дело со столькими людьми, то волей-неволей приходится наводить справки. Я как-то потерял изрядную сумму только потому, что слепо доверился недобросовестному человеку. Это было в Гамбурге.

И Нагель, непонятно зачем, начинает рассказывать длинную историю про этого человека, из-за которого понес значительные убытки. Марта по-прежнему стоит перед ним, опершись о стол. Она заметно волнуется и наконец, не выдержав, прерывает его:

— Нет, нет, не говорите так о нем!

— О ком я не должен так говорить?

— О Юханнесе, о Минутке.

— Минутку зовут Юханнесом?

— Да, Юханнесом.

— В самом деле?

— Конечно.

Нагель молчит. Сообщение о том, что Минутку зовут Юханнесом, почему-то дает его мыслям новый поворот и даже меняет на некоторое время выражение его лица. Он довольно долго сидит задумавшись, потом спрашивает:

— А почему вы его зовете Юханнесом? Не Грегордом, не Минуткой, а именно Юханнесом?

Она отвечает, смущенно опустив глаза:

— Мы знаем друг друга с детства...

Пауза.

Наконец Нагель говорит как бы шутливо и подчеркнуто равнодушно:

— Знаете, у меня создалось впечатление, что Минутка в вас сильно влюблен. Да, правда, это бросается в глаза. И честно говоря, меня это нимало не удивляет, хотя, должен признаться, на мой взгляд, Минутка в данном случае чересчур смел. Ведь он не какой-нибудь там безусый юнец, да к тому же он в некотором роде калека. Но, господи, разве можно понять женщин? Вдруг им взбредет что-то в голову, и они вешаются невесть кому на шею, отдаются по собственной воле, с радостью и даже с восторгом. Ха-ха-ха! Таковы женщины! В тысяча восемьсот восемьдесят шестом году я стал свидетелем того, как молодая девица моего круга выбрала себе в мужа рассыльного своего отца. Этой истории я никогда не забуду. Он был мальчиком у них в лавке, ну, просто ребенок шестнадцати—семнадцати лет от силы, еще даже не брился. Правда—смазлив, и даже весьма, не спорю. И вот на этого неоперившегося птенца она и кинулась со всей своей испепеляющей страстью и увезла его за границу. Полгода спустя она вернулась, и, представьте, любви как не бывало... Да, печально, что и говорить, но любви и след простыл. Несколько месяцев она так скучала, что чуть не померла. Но она ведь была замужем. Как быть? И вдруг она словно с цепи сорвалась, плюнула на все и вся и буквально пошла по рукам в среде студентов, да и приказчиков тоже, и за короткий срок приобрела скандальную известность под кличкой «Липучка». Весьма прискорбный случай, не правда ли? Но, знаете, она умудрилась еще раз удивить мир. Проведя года два в чадугах этих утех, она в один прекрасный день начинает сочинять новеллы, становится писательницей, и говорят, у нее большой талант. Два года в компании студентов и приказчиков оказались на редкость поучительными, они, так сказать, сформировали ее, и она пристрастилась к перу.

С тех пор она пишет превосходные вещи, между прочим. Ха-ха-ха! Чертова баба, скажу я вам!.. Вы, женщины, все таковы. Вот вы смеетесь, но не возражаете мне, ничуть не возражаете. От семнадцатилетнего мальчишки-рассыльного вы теряете голову. Я уверен, что и Минутка мог бы не жить всю жизнь бобылем, приложи он хоть немного усилий. В нем есть что-то, что производит впечатление даже на мужчин, вот на меня, например. Сердце у него удивительно чистое, и в голосе его я никогда не слышал фальшивых нот. Вы согласны со мной, ведь вы, наверно, знаете его как свои пять пальцев? А что говорят о его дяде, торговце углем? Небось старый пройдоха, так мне кажется. Во всяком случае, симпатий не вызывает. Как я понимаю, вся его торговля держится на Минутке. А если так, то невольно возникает вопрос: а почему бы Минутке не завести свое собственное небольшое дело? Короче говоря, по-моему, Минутка был бы в силах содержать свою семью, будь она у него... Вы качаете головой?

— Нет, я не качаю головой.

— Значит, вы потеряли терпение. И я вас понимаю: вам просто надоели мои разглагольствования о человеке, вам совершенно безразличном. Послушайте, знаете, о чем я сейчас подумал? Вы только, бога ради, не сердитесь на меня, я, поверьте, хочу вам добра — запирайте как следует двери на ночь! Не глядите на меня с таким страхом... Дорогая фрекен, не пугайтесь и не относитесь ко мне с подозрением. Я ведь всего-навсего хочу посоветовать вам не доверять слепо людям, особенно теперь, когда у вас появились деньги. Правда, я не слышал, чтобы в городе было беспокойно, но, как говорится, береженого Бог бережет... К двум часам ночи на улицах уже совсем темно, а на днях именно около двух я слышал чьи-то шаги у себя под окнами. Да, представьте себе. Надеюсь, вы не в обиде на меня за этот совет... Ну, всего вам доброго. Я рад, что сумел в конце концов приобрести это кресло. Будьте здоровы, дорогая Марта.

И Нагель пожал ей руку. С порога он еще раз обернулся и сказал:

— Послушайте, вы должны всем говорить, что я дал вам за это кресло две кроны. Ни шиллинга больше. Иначе вас лишат пособия, не забывайте этого. Я могу на вас положиться, да?

— Да, — ответила она.

Он ушел, унося с собою кресло. Лицо его сияло, он кряхтел от удовольствия и даже громко смеялся, словом,

вел себя как плут, которому удалось обвести кого-то вокруг пальца. «Господи, как она, наверное, сейчас радуется,— в волнении шептал он про себя.— Ха-ха, небось ночью глаз не сомкнет от такого богатства!»

В гостинице он застал Минутку, который его ждал. Минутка пришел с репетиции и держал под мышкой рулон афиш. Да, живые картины будут, видно, на славу. Публике покажут несколько исторических сцен, а для большего эффекта их осветят разноцветными фонарями. И он тоже участвует, правда, в качестве статиста на заднем плане.

А на какой день назначено открытие благотворительного базара?

На четверг, 9 июля, в день рождения королевы. Но уже сегодня вечером Минутка должен расклеить повсюду эти афиши, получено даже разрешение наклеить одну на воротах кладбища... Впрочем, он зашел, чтобы рассказать, как обстоит дело со скрипкой. Ему не удалось ее раздобыть. В городе есть только одна приличная скрипка, но она не продается, она принадлежит органисту и нужна ему самому: в день открытия базара он намерен участвовать в концерте, сыграть несколько вещей.

Ну что ж, раз так, то ничего не поделаешь.

Минутка собирается уходить. Когда он уже стоит с шапкой в руках, Нагель предлагает:

— А не выпить ли нам по стаканчику? Должен вам сказать, у меня сегодня хорошее настроение, мне очень повезло. Знаете, мои долги хлопоты увенчались наконец успехом, я приобрел уникальное кресло, какого нет ни у одного коллекционера в стране, готов биться об заклад. Вот оно, взгляните! Вы в состоянии оценить это чудо из чудес? Работа старого голландского мастера, единственное в своем роде! Я не уступлю его, сколько бы мне ни предложили, клянусь богом! Давайте обмоем мою покупку, если вы не возражаете. Разрешите, я позвоню горничной? Нет? Но ведь афиши вы можете и завтра расклеить... До чего же мне повезло сегодня! Вы, должно быть, не знаете, что я в некотором роде коллекционер и живу здесь в надежде пополнить свои коллекции! Неужели я вам не рассказывал про коровьи колокольчики, которые я собрал? Господи, тогда вы еще ничего обо мне не знаете! Конечно, я агроном, но у меня есть и другие интересы в жизни. У меня собрано двести шестьдесят семь колокольчиков! Начал я их собирать лет десять назад, а теперь, слава богу, у меня уже первоклассная

коллекция. А вот это кресло — знаете, как я его раздобыл? Чистая случайность и везенье. Иду я как-то раз по улице, спускаюсь к пристани, а поравнявшись с маленьким домишком, заглядываю по привычке в окно и столбенею: я вижу кресло и сразу понимаю, какая это ценность. Стучу, вхожу в дом, меня встречает женщина не первой молодости, совсем седая... как же ее зовут? Да это, впрочем, и не важно. Вы, возможно, ее и не знаете. Зовут ее, если не ошибаюсь, фрекен Гудэ. Марта Гудэ или что-то в этом роде... Поначалу она ни за что не соглашалась продать это кресло, но в конце концов я ее уломал. И вот сегодня я наконец принес его. Но самое невероятное в этой истории то, что оно досталось мне, можно сказать, даром. Правда, я кинул на стол две кроны — так, для очистки совести и чтобы она потом не раскаивалась. Но ведь кресло-то стоит сотни. Это, конечно, между нами. Неприятно, когда о тебе идет дурная молва. Впрочем, я себя ни в чем не могу упрекнуть. У фрекен Гудэ нет решительно никакой деловой хватки, а я, как коллекционер и коммерсант, вовсе не обязан блюсти ее интересы. Надо быть круглым дураком, чтобы отказываться от своей выгоды. Ведь верно? Это и есть, так сказать, борьба за существование... Теперь, когда вы в курсе всего, я надеюсь, вы согласитесь выпить со мной стакан вина?

Но Минутка по-прежнему уверял, что ему надо идти.

— Какая досада, — сказал Нагель, — а я радовался возможности поболтать с вами. Здесь в городе вы — единственный человек, который всегда вызывает у меня интерес, единственный, с кем мне хочется общаться. Ха-ха! Хочется, видите ли, общаться. Так вас, значит, зовут Юханнес? Мой дорогой друг, это я знал давно, задолго до вчерашнего вечера, когда мне случайно назвали ваше имя... Да не пугайтесь так, что вы, в самом деле... Это просто несчастье какое-то, я всегда пугаю людей. Нет уж, не отрицайте, вы поглядели на меня с ужасом и, по-моему, хотя этого я не буду утверждать, даже вздрогнули.

Минутка тем временем уже добрался до двери. Видно было, что ему не терпелось поскорее проститься и уйти. Разговор этот явно становился для него все более мучительным.

— Сегодня шестое июля? — спрашивает вдруг Нагель.

— Да, — отвечает Минутка и хватается за ручку двери.

Нагель медленно подходит к нему совсем вплотную и, заложив руки за спину, пристально глядит ему в глаза.

— А где вы были шестого июня?— спрашивает он шепотом.

Минутка не отвечает, не произносит ни слова. Этот пронзительный взгляд и злое шепот повергают его в панический страх, он не в силах понять странного, ничем не объяснимого вопроса о дате месячной давности, он рывком распахивает дверь и выскакивает в коридор. Некоторое время он топчется на месте, не соображая, где лестница, а Нагель стоит в дверном проеме и кричит ему вслед:

— Нет, нет, это бред какой-то, безумие. Прошу вас, забудьте... Я объясню вам в другой раз, в другой раз...

Но Минутка ничего не слышал, он успел сбежать вниз, прежде чем Нагель крикнул ему вслед эти слова, и, не оглядываясь, выскочил на улицу, пересек рыночную площадь, доковылял до колонки, свернул в первый же проулок и исчез.

Час спустя— в десять вечера— Нагель закурил сигару и вышел из гостиницы. Город еще не угомонился. На дороге, ведущей к пасторской усадьбе, было много гуляющих, а с ближних улочек доносились смех и гомон игравших детей. Наслаждаясь теплым вечером, люди сидели на крылечках своих домов, тихо разговаривали или дружески перекрикивались с соседями.

Нагель спустился к пристани. Он видел, как Минутка расклеивает афиши на стенах почты, банка, школы и тюрьмы... Как старательно он это делал, с каким чувством ответственности! С какой охотой он занялся этим делом, не считаясь со временем, хотя ему давно бы пора идти отдыхать. Нагель прошел мимо Минутки, поклонился ему, но останавливаться не стал.

Дойдя уже почти до самой пристани, он услышал позади себя чей-то взволнованный голос. Он обернулся. Это была Марта Гудэ, она догнала его и сказала, задыхаясь:

— Простите, вы дали мне слишком много денег.

— Добрый вечер!— ответил он.— Вы тоже вышли погулять?

— Нет, я была в городе, я ждала вас у гостиницы. Вы дали мне чересчур много денег.

— О! Начинается сказка про белого бычка?

— Да нет же, вы просто обсчитались!— крикнула она с отчаянием.— Там оказалось больше двухсот крон.

— Ну и что? Я в самом деле передал вам несколько лишних крон? Хорошо, вы можете мне их вернуть.

Она начала было расстегивать лиф, но тут же остановилась и растерянно оглянулась, не зная как быть. В конце концов ей снова пришлось извиняться: здесь кругом столько народу, она не может вынуть эти деньги на улице, они так хорошо упрятаны.

— И не надо,— поторопился он ей ответить.— Я могу сам за ними зайти. Вы разрешите мне зайти?

И они вместе направились к ее домику. Встречные провожали их любопытными взглядами.

Когда они вошли в комнату, Нагель снова сел на то же место, где сидел раньше, у окна, все еще завешенного юбкой. Пока Марта доставала деньги, он молчал и заговорил только после того, как она протянула ему несколько мелких купюр, еще сохранивших тепло ее тела, несколько истертых, поблекших десятикronовых бумажек, которые ее честность не позволяла ей продержат у себя даже одну ночь. Нагель попросил ее оставить эти деньги себе.

Но теперь она, видимо, снова почувствовала недоверие к его намерениям. Она робко взглянула на него и сказала:

— Нет... Я вас не понимаю...

Тогда он вскочил и пошел к дверям.

— Зато я вас отлично понимаю,— ответил он.— Поэтому я немедленно ухожу. Теперь вы успокоились?

— Да... Нет, не стойте у дверей!

Она даже протянула обе руки, чтобы удержать его. До чего же это странное существо боялось кого-либо обидеть!

— В таком случае у меня к вам просьба,— сказал Нагель, все еще не садясь.— Вы могли бы мне доставить, если бы захотели, большую радость, и я нашел бы способ отблагодарить вас за это. Я прошу вас прийти на открытие благотворительного базара в четверг вечером. Вы не откажете мне в этом удовольствии? Вас это развлечет, там будет много народу, много света, музыка, живые картины... Придите, прошу вас, вы не пожалеете! Вы смеетесь? Отчего вы смеетесь? Бог мой, какие у вас ослепительные зубы!

— Да я же никогда никуда не хожу,— ответила она.— Как только вы могли подумать, что я решусь туда пойти. Да и зачем? Почему вы хотите, чтобы я туда пошла?

Он объяснил ей откровенно и честно, что это взбрело ему в голову уже давно, недели две назад, потом он

почему-то забыл про эту затею, а сейчас вдруг снова вспомнил. Он хочет только, чтобы она была там, чтобы она присутствовала на празднике. Он хочет ее там увидеть, но если она пожелает, он даже не подойдет к ней, не заговорит. Он не собирается быть ей в тягость, это вовсе не входит в его намерения. Он просто будет рад, что она хоть разок окажется вместе со всеми, что он услышит, как она смеется, увидит ее совсем молодой. Она непременно должна прийти. Он просит ее об этом!

Нагель поглядел на Марту: как подчеркивали седые волосы жгучую черноту ее глаз! Одной рукой она нервно тербила пуговицы на корсаже, и эта рука, такая бессильная, с длинными пальцами и двумя голубыми жилками у запястья, с сероватой кожей, быть может, даже не очень чистая, казалась удивительно трогательной и целомудренной.

— Да,— сказала она,— там, наверно, будет весело...

Но ведь у нее нет платья, даже приличной юбки нет для такого вечера...

Он перебил ее: впереди еще три полных дня, к четвергу можно сшить все что угодно. Времени предостаточно... Ну, решено?

И в конце концов Марта уступила.

— Разве можно хоронить себя заживо?— сказал Нагель.— Это к добру не приводит. Да еще с такими глазами и с такими зубами,— нет, это, право, грешно! А этих нескольких крон, что лежат на столе, как раз должно хватить на платье... Да, да, тут не о чем и говорить!.. Тем более что это ведь его затея, и она согласилась только ему в угоду.

Он простился, как всегда, немногословно и сдержанно, не давая ей никакого повода к беспокойству. Проводив его до дверей, она сама еще раз протянула ему руку и поблагодарила за то, что он пригласил ее на праздник. Уже много-много лет она нигде не бывала и совсем отвыкла от общества. Но она постарается вести себя там хорошо.

Большое дитя, она обещает вести себя хорошо! Да разве об этом речь?..

XVI

И вот настал четверг. Накрапывал дождик, но благотворительный базар все же открыли при большом стечении народа. Играла музыка, и на площади собрался не

только весь город, но и немало людей понаехало с хуторов — не пропускать же такое редкостное развлечение.

Около девяти вечера, когда пришел Нагель, зал был уже битком набит. Он остался стоять у самых дверей и несколько минут слушал чью-то речь. Он был бледен и одет, как всегда, в свой желтый костюм. Но повязку с руки он снял, — видимо, обе ранки уже зажили.

Впереди, у самой сцены, он увидел доктора Стенерсена и его жену, а чуть правее стоял Минутка и остальные участники живых картин, но Дагни среди них не было.

В зале было невыносимо жарко от свечей и так тесно, что Нагелю вскоре захотелось выйти. В дверях он столкнулся с поверенным Рейнертом и поклонился ему, на что Рейнерт ответил едва заметным кивком. Нагель прошел дальше и стал у стены в коридоре.

И вдруг он видит нечто такое, что потом еще долго занимает его мысли и возбуждает крайнее любопытство: по левую руку от него была отворена дверь в небольшую, освещенную лампой комнату, служившую гардеробной, и у вешалки он замечает Дагни Хьеллан, которая что-то делает с его висящим на крючке пальто. Ошибки тут быть не может — ни у кого в городе нет такого желтого весеннего пальто, да к тому же он хорошо помнит, куда он его повесил. Казалось, она ищет что-то или делает вид, что ищет, и при этом все щупает его пальто. Он тотчас отвернулся, боясь застать ее врасплох.

Это странное происшествие разволновало Нагеля. Что она искала, что она делала с его пальто? Он все время думал об этом и никак не мог успокоиться. Кто знает, быть может, она хотела убедиться, что у него нет револьвера в кармане, видно считая, что он в своем безумии способен на все? А вдруг она сунула ему записку?

На какой-то миг он не исключил и этой счастливой возможности. Нет, нет, она просто искала свое пальто, это, конечно, только случайное совпадение. Как могла прийти ему в голову такая несбыточная фантазия!.. Когда же он заметил, что Дагни, вернувшись в зал, пробирается сквозь толпу к сцене, он тут же с сильно колотящимся сердцем кинулся к своему пальто, но в карманах записки не нашел, там не было ничего, кроме перчаток и носового платка.

В зале раздались громкие аплодисменты. Фогт закончил свою речь и открыл благотворительный базар. Люди хлынули в коридор и в смежные комнаты, где было не так жарко, расселись вдоль стен и стали пить прохладительные напитки. Несколько местных барышень, одетых

как официантки, в белых передничках и с салфетками через руку, сновали среди публики с подносами, уставленными стаканами.

Нагель искал Дагни, но ее нигде не было видно. Он поклонился фрекен Андерсен, на которой тоже был белый передник; он спросил вина, и она принесла ему бутылку шампанского.

Он удивленно взглянул на нее.

— Вы же ничего другого не пьете,— с улыбкой сказала она.

Это не лишенное ехидства внимание все же несколько развеселило его. Он попросил ее выпить с ним, и она с готовностью под села к нему, хотя дел у нее было полным-полно. Он поблагодарил ее за любезность, сделал ей комплимент по поводу ее туалета и выразил свое восхищение старинной брошкой, которой был сколот вырез ее платья. Она выглядела весьма привлекательно: удлиненное аристократическое лицо с крупным носом поражало своей почти болезненной изысканностью линий, оно было неподвижно, как маска, его не искажала нервическая мимика. Она говорила с удивительным самообладанием, в ее присутствии возникало чувство уверенности и покоя, это была в полном смысле слова светская дама.

Когда фрекен Андерсен встала, Нагель сказал:

— Сегодня вечером здесь должна быть одна особа, которой я хотел бы оказать хоть немного внимания. Я говорю о фрекен Гудэ, о Марте Гудэ, не знаю, знакомы ли вы с ней. По-моему, она уже пришла. Я не могу вам передать, как бы мне хотелось ее чем-нибудь порадовать. Она так одинока, Минутка мне кое-что рассказал о ней. Как вы считаете, фрекен, не мог бы я пригласить ее сюда, за наш столик, конечно, при условии, что вы не имеете ничего против того, чтобы оказаться в ее обществе?

— Да что вы, что вы!— ответила фрекен Андерсен.— Я сама с удовольствием схожу за ней и приведу ее сюда. Я знаю, где она.

— Но вы, надеюсь, тоже вернетесь?

— Да, благодарю вас.

Пока Нагель сидел и ждал, в буфет вошли поверенный Рейнерт, адъюнкт и Дагни. Нагель встал и поклонился. Несмотря на жару, Дагни тоже была бледна. На ней было кремовое платье с короткими рукавами и тяжелая золотая цепь, пожалуй, даже слишком тяжелая. Эта цепь ей удивительно не шла. На мгновение Дагни остановилась

в дверях; одну руку она держала за спиной и теребила пальцами кончик своей косы.

Нагель подошел к ней. Немногословно, но горячо попросил он простить его за то, что случилось в пятницу; это было в последний, в самый последний раз. Больше он никогда не даст ей повода сердиться, и ей уже не придется прощать его за что бы то ни было. Он говорил тихо и сказал именно те слова, которые нужно было сказать.

Она все выслушала, даже посмотрела на него, а когда он замолчал, ответила:

— Я едва понимаю, о чем вы говорите, я все забыла, я *хочу* забыть.

И она ушла, окинув его совершенно равнодушным взглядом.

Гул голосов, звяканье чашек и стаканов, хлопанье пробок, хохот, крики — все это смешивалось с несущимся из зала грохотом духового оркестра, который играл на редкость дурно...

Наконец появились фрекен Андерсен и Марта, с ними шел и Минутка. Все они сели за столик Нагеля и провели вместе около четверти часа. Время от времени фрекен Андерсен приходилось вставать и приносить кофе тем, кто просил, и в конце концов она уже не вернулась к столику Нагеля — так много у нее было дел.

Между тем начался концерт: исполнил несколько песен вокальный квартет, студент Эйен громко продекламировал стихотворение своего собственного сочинения, две дамы играли в четыре руки на фортепьяно, и органист впервые выступил как скрипач. Дагни по-прежнему сидела в обществе двух своих спутников. Кто-то позвал Минутку, его послали за чашками и стаканами, а заодно велели заказать побольше бутербродов — всего оказалось слишком мало для такой массы народу.

Когда Марта осталась одна с Нагелем, она тоже встала и хотела было уйти. Не может же она сидеть с ним одна, и так поверенный — она это заметила — отпустил на их счет какое-то замечание, вызвавшее смех фрекен Хьеллан. Нет, право же, ей лучше всего уйти.

Но Нагель все же уговорил ее выпить с ним хотя бы еще один глоточек вина. Марта была в черном. Новое платье сидело на ней хорошо, но ей не шло, оно старило ее, убивало своеобразие ее внешности и чрезмерно подчеркивало седину волос. Только глаза ее мерцали, а когда она смеялась, ее лицо, пылавшее лихорадочным румянцем, становилось прелестным и юным.

— Ну как, вам весело? — спросил он. — Вам хорошо здесь?

— Да, спасибо, — ответила она. — Мне здесь очень нравится.

Он занимал ее разговорами, пытаясь приноровиться к ней, рассказал тут же придуманную историю, над которой она много смеялась, — речь шла о том, как он добыл один из самых редких коровьих колокольчиков своей коллекции. Настоящее сокровище, истинно бесценная вещь! На нем было даже выгравировано имя коровы, ее звали Эйстейн, и, судя по имени, это был бык.

Тут она вдруг начала хохотать; она совсем забылась, не помнила уже, где находится, и, раскачиваясь на стуле, как ребенок, хохотала от души над этой жалкой шуткой. Она так и сияла.

— Представьте себе, — сказал Нагель, — мне кажется, Минутка вас ревнует.

— Нет, — возразила она неуверенно.

— А мне показалось. Впрочем, мне и в самом деле очень приятно сидеть с вами вдвоем. Так весело слышать ваш смех!

Она ничего не ответила и опустила глаза.

Они продолжали разговаривать. Нагель повернулся, чтобы не выпускать из поля зрения столик, за которым сидела Дагни.

Прошло несколько минут. К ним снова подошла фрекен Андерсен, перекинулась с ними двумя-тремя словами, отхлебнула глоток из своего стакана и опять убежала.

Вдруг Дагни встала со своего места и подошла к столу Нагеля.

— Как вам здесь весело, — сказала она, и голос ее дрогнул. — Добрый вечер, Марта. Над чем вы так смеетесь?

— Веселимся как можем, — ответил Нагель. — Я болтаю что попало, а фрекен Гудэ так добра ко мне, что даже смеется... Нельзя ли просить вас выпить с нами стаканчик вина?

Дагни села.

Грохот рукоплесканий донесся из зала, и Марта воспользовалась этим, чтобы встать. Она, мол, хочет взглянуть, что там происходит. Она отходила от них все дальше, а у дверей обернулась, крикнула: «Выступает фокусник. Этого я не могу пропустить!» — и исчезла.

Пауза.

— Вы покинули ваших кавалеров, — сказал Нагель и хотел еще что-то добавить, но Дагни прервала его:

— А вас покинула ваша дама.

— Но она вернется. Вы не находите, что фрекен Гудэ сегодня очаровательна? Сегодня вечером она веселится, как малое дитя, правда?

На это Дагни ничего не ответила и спросила:

— Вы уезжали?

— Да.

Пауза.

— Вам в самом деле здесь так весело?

— Мне? Да я толком не знаю, что здесь происходит,— сказал он.— Я пришел сюда не веселиться.

— А для чего же вы тогда пришли?

— Конечно, только для одного: чтобы увидеть вас. Издали. И не надеясь даже заговорить с вами...

— Вот как! Поэтому вы и привели с собой даму?

Последнее замечание Дагни Нагель не понял. Он взглянул на нее и раздумчиво сказал:

— Вы что, имеете в виду фрекен Гудэ? Не знаю, право, что вам и ответить. Мне так много о ней рассказывали. Она всегда сидит дома одна-одинешенька, год за годом одна, в ее жизни нет никакой радости. Я не привел ее сюда, мне просто хотелось развлечь ее здесь немножко, чтобы ей не было скучно. Вот и все. Фрекен Андерсен нашла ее и привела к моему столику. Господи, как печальна ее участь! Недаром она совсем седая...

— Уж не думаете ли вы... не воображаете же вы, в самом деле, что я ревную? Неужели? Но в таком случае вы жестоко ошибаетесь! Я прекрасно помню ваш рассказ о том сумасшедшем, который катался один на двадцати четырех экипажах; человек этот з-заикался, как вы сказали, и был влюблен в девушку по имени Клара. Да, я все это помню достаточно подробно. Итак, эта Клара не хотела иметь ничего общего с этим зайкой, но она не пожелала, чтобы он женился на ее горбатой сестре. Не знаю, право, зачем вы мне рассказали эту историю, вам самому лучше знать, а мне ведь это безразлично. Но ревновать вы меня все равно не заставите. Если вы этого добиваетесь нынче вечером, то зря стараетесь. Этого не добиться ни вам, ни вашему зайке!

— Господи! — вырвалось у него.— Не могу допустить, чтобы вы говорили это серьезно.

Пауза.

— Напрасно, я говорю это совершенно серьезно,— сказала она.

— И вы в самом деле полагаете, что я вел бы себя так, если бы хотел вызвать вашу ревность? Сидеть здесь

с сорокалетней дамой и преспокойно ее отпустить, как только вы появляетесь... Нет, вы, видно, считаете меня дураком.

— Уж и не знаю, кем вас считать, знаю только, что вы ухитрились каким-то образом приблизиться ко мне и заставили пережить самые тягостные часы моей жизни, я перестаю сама себя понимать. Я не знаю, глупы ли вы или безумны, да и не собираюсь в этом разбираться. Мне это безразлично.

— Конечно,— согласился он.

— Да и с какой стати это должно меня занимать?— продолжала она, взбешенная его покорностью.— Бог ты мой, какое мне до вас дело? Вы себя дурно вели по отношению ко мне, а я еще должна за это заниматься вами! Тем не менее вы рассказываете странную историю, полную каких-то намеков, да, я убеждена, что про Клару и ее горбатую сестрицу вы рассказали не без умысла, наверняка не без умысла! Почему вы преследуете меня? Я не говорю про нынешний вечер. Сегодня я сама подошла к вам. Но вообще, почему вы не оставляете меня в покое? И то, что я сейчас задержалась у вашего столика и перемолвилась с вами, вы, конечно, истолкуете по-своему, будто это сильнее меня, будто это для меня так важно...

— Дорогая фрекен, вы ошибаетесь, я нимало не обольщаюсь.

— Не обольщаетесь? Но почему я знаю, что вы говорите правду? Нет, я вовсе в этом не уверена. Я сомневаюсь в вас, не доверяю вам, я готова заподозрить вас в чем угодно. Возможно, я несправедлива к вам, но пусть хоть раз и я причиню вам боль. Я так измучилась от ваших намеков, от вашего преследования...

Нагель молчал и медленно вертел в пальцах свой стакан. Когда же она снова сказала, что ни в чем не верит ему, он ответил:

— Я это заслужил.

— Да,— повторила она.— Я вам ни в чем не верю. Даже ваши плечи вызывали у меня недоверие, я подозревала, что ваши широкие плечи— дело рук портного. Не таясь могу сказать вам, что только что в гардеробной я ощупывала ваше пальто, чтобы выяснить, не подложена ли вата в плечах. И хотя в этом случае я вас зря подозревала— плечи в пальто не подложены, все же я полна к вам недоверия, и с этим я ничего не могу поделать. Я, например, уверена, что вы не погнушались

бы никаким средством, чтобы казаться на несколько дюймов выше, чем есть, а уж ростом вы похвалиться не можете. Не сомневаюсь, вы воспользовались бы этим средством, если бы оно существовало. Господи, да как же не испытывать к вам недоверия? Кто вы, собственно говоря, такой? Зачем вы приехали в наш город? Да и живете вы не под своим именем. Ведь ваша фамилия Симонсен, просто Симонсен, и все. Мне об этом сказали в гостинице. Я слыхала, к вам приезжала дама, видимо, ваша близкая знакомая, и она назвала вас Симонсеном прежде, чем вы успели предупредить ее. Боже мой, до чего это все смехотворно и вместе с тем гадко! В городе говорят, что вы, забавы ради, раздаете маленьким мальчикам сигары и заставляете их курить, что вы учиняете на улице скандал за скандалом, что вы приставали к какой-то служанке на рынке, да, приставали в присутствии других людей. И несмотря на все, это вы считаете себя вправе преследовать меня, ходить за мной по пятам... Вот больше всего меня и мучает то, что вы осмелились...

Она замолчала. Губы ее еще подергивались, выдавая волнение. Она говорила страстно и безусловно искренне, она говорила что думала — и не щадила его. Он ответил не сразу.

— Вы правы. Я причинил вам много страданий... Конечно, когда целый месяц, изо дня в день, пристально наблюдаешь за человеком, следишь за каждым его словом и поступком, то легко подметить что-нибудь дурное и уцепиться за это, тут недолго оказаться и предвзятым, но суть не в этом, я согласен. Городок невелик, я у всех на виду, за мной глядят во сто глаз, обсуждают всякий мой шаг, это неизбежно. Да и я не такой, каким надо бы быть.

— Господи! — воскликнула она. — Ну да, вы в центре внимания, потому что наш городок маленький, это очевидно. В большом городе вы были бы не единственным, кто возбуждает любопытство.

Ее холодная и разумная отповедь в первую минуту вызвала у него искреннее восхищение. Он хотел было даже высказать ей это, но одумался. Она была чересчур возбуждена, слишком враждебно к нему настроена, да, кроме того, она все же недооценивала его. Это его задело за живое. За кого же она его принимает? За самого ординарного человека, случайно заехавшего в маленький городок и привлечшего к себе внимание только тем, что он чужой, да еще носит желтый костюм? И он сказал не без горечи:

— А не говорят ли, что я написал похабный стишок на надгробной плите Мины Меек? Может, кто-нибудь и это подглядел? А между тем это правда, чистая правда. Правда также и то, что в вашей аптеке, да, в аптеке вашего города, я требовал лекарство от дурной болезни, название которой я написал на листке бумаги, но лекарства мне не дали, потому что у меня не было рецепта. А заодно, пока не забыл, я спрошу вас: не рассказывал ли вам Минутка, что я однажды соблазнял его двумястами крон, уговаривая назваться отцом моего ребенка? Это тоже истинная правда, Минутка может это подтвердить... И это еще не все, я могу продолжить...

— Нет, не нужно, и так достаточно,— с вызовом перебила его Дагни и, смерив его жестким холодным взглядом, напомнила ему о подложных телеграммах, о состоянии, которого нет и в помине, о футляре, который он возит с собой, хотя у него нет скрипки и он не умеет играть; она перечислила все дурное, что знала про него, не преминула напомнить и про медаль за спасение, полученную им, как он сам рассказывал, нечестным путем. Она помнила все и не щадила его; каждая мелочь получила вдруг для нее особое значение, и она дала ему понять, что верит теперь во все его низкие поступки и побуждения, тогда как прежде считала, что он только оговаривает себя. Да, он, несомненно, опасный и двуличный человек.— И вот, несмотря на это, вы все же пытаетесь застигнуть меня врасплох, лишитесь покоя, принудить бог весть к чему. В вас нет ни стыда, ни совести, вы безжалостны ко всем и даже к себе, вы только и делаете, что объясняетесь и объясняетесь...

Но тут ее прервал доктор Стенерсен; чем-то крайне озабоченный— он был одним из распорядителей и с душой отдавался своим обязанностям,— он заскочил сюда на секунду и тут же побежал дальше.

— Добрый вечер, господин Нагель,— крикнул он на ходу.— Благодарю вас за тот вечер, это было нечто невозможное!.. А вы, фрекен Хьеллан, готовьтесь, скоро начнутся живые картины.

И доктор исчез.

В зале снова заиграла музыка, и публика уже не сидела так тихо. Дагни приподнялась и заглянула в зал, потом обернулась к Нагелю и сказала:

— Марта возвращается.

Пауза.

— Вы не слышали, что я сказала?

— Слышал,— ответил он с отсутствующим видом. Он сидел, не поднимая глаз, и продолжал вертеть стакан с вином, так ни разу и не пригубив его, а голова его склонялась все ниже и ниже.

— Т-с-с...— сказала она с усмешкой.— Слышите музыку? Не правда ли, когда слышишь такую музыку, хочется сидеть вдалеке, скажем, в соседней комнате, и держать в своей руке руку любимой— не это ли вы мне как-то сказали? Кажется, играют тот же самый вальс Ланнера, и теперь, когда Марта придет...

Но тут, видимо, она вдруг раскаялась в своей язвительности, замолчала, глаза ее помягчели, и она нервно откинулась на спинку стула. А он по-прежнему сидел с низко опущенной головой, она видела, как его грудь прерывисто вздымалась. Она встала, взяла свой стакан и хотела, перед тем как уйти, что-то сказать, несколько дружеских слов на прощанье, чтобы хоть немного сгладить неприятное впечатление, она даже начала говорить:

— Ну, теперь мне пора...

Он метнул на нее взгляд, разом встал и поднял свой стакан. Они молча выпили. Видно было, каким усилием воли он сдерживает дрожь в руках, какой внутренней борьбы ему стоит спокойное выражение лица. И этот человек, которого она только что видела совершенно раздавленным, уничтоженным ее издевкой, говорит вдруг с холодной учтивостью:

— Ах да, фрекен, не будете ли вы так любезны... Я ведь вас, наверно, больше не увижу... Так вот, не будете ли вы столь добры при случае напомнить вашему жениху, что он два года назад обещал Минутке две теплые фуфайки, да, видно, запамятовал. Извините, что я вмешиваюсь в дела, которые меня не касаются, но я поступаю так исключительно ради Минутки. Я надеюсь, вы простите мне эту дерзость. Скажите, что речь идет о двух шерстяных фуфайках, не сомневаюсь, он тут же вспомнит.

Она стояла как оплеванная, с выражением полной растерянности на лице, не находя слов и забыв даже поставить стакан на стол. Ее оцепенение длилось не меньше минуты. Но вот она взяла себя в руки, кинула на него бешеный, полный ярости взгляд, уничтожающий ответ был в ее глазах, затем она повернулась к нему спиной и пошла прочь. Свой стакан она поставила на столик возле двери и исчезла в толпе.

Видно, она совсем забыла, что поверенный и адъюнкт все еще ждут ее.

Нагель сел. Плечи его снова стали вздрагивать, и он несколько раз судорожно стиснул голову. Вид у него был сокрушенный. Но когда к нему подошла Марта, он вскочил, лицо его осветилось благодарной улыбкой, и он пододвинул ей стул.

— Какая вы добрая, какая вы добрая! — воскликнул он. — Садитесь, пожалуйста, я постараюсь, чтобы вам не было скучно, я расскажу вам миллион историй, если вы только пожелаете. Вы увидите, как нам будет весело, если вы только сядете со мной. Дорогая, ну прошу вас! Вы уйдете, как только вам захочется, но тогда вы разрешите мне уйти вместе с вами, ведь верно? Я никогда ничем не огорчу вас, никогда! Не хотите ли вы выпить хоть немного вина? Я расскажу вам что-нибудь очень веселое, и вы опять будете смеяться. Я так рад, что вы вернулись. Господи, какая радость слышать ваш смех, ведь вы всегда так серьезны. Видно, в зале было не очень-то весело? Да? Посидим лучше здесь немножко, там такая невыносимая жара. Прошу вас, садитесь!

Марта постояла в нерешительности, но в конце концов все же села.

И Нагель начинает говорить. Он так и сыплет анекдотами и разными смешными историями, болтает без умолку о чем попало, лихорадочно, даже как-то надсадно, боясь, что она уйдет, как только он умолкнет. Он то краснеет, то бледнеет, весь взмокший от напряжения, и беспомощно хватается за голову, чтобы вновь собраться с мыслями. А Марта принимает его жесты за комические ужимки и хохочет в простодушном неведении. Ей не скучно, ее застылое сердце отогревается, и постепенно она сама тоже вступает в разговор. Как она удивительно сердечна и наивна! Когда он сказал, что жизнь так нестерпимо жалка, не правда ли, она ответила: «Выпьем за жизнь!» И это сказала она, которая из года в год едва перебивалась с хлеба на воду, продавая яйца на рынке!.. Нет, жизнь не так уж плоха, а иногда бывает даже совсем хорошей!

Жизнь иногда бывает даже совсем хорошей, сказала она!

— Да, вы тоже правы, — ответил он. — А теперь пойдете посмотреть живые картины. Давайте постоим здесь, в дверях, тогда мы сможем вернуться за наш столик, если вы захотите. Вам видно? А то я приподниму вас.

Она засмеялась и отрицательно покачала головой.

Как только на сцене появилась Дагни, его веселость разом пропала, а глаза как бы остекленели, он видел

только ее. Он смотрел туда, куда она смотрела, он охватывал ее своим взглядом всю, с ног до головы, следил за выражением ее лица, обратил внимание даже на то, что роза на ее груди поднималась и опускалась, вверх и вниз, вверх и вниз. Она стояла сзади всех, но ее легко было узнать, несмотря на грим и костюм. В центре сцены сидела фрекен Андерсен, изображая королеву. Эта пластическая группа, подсвеченная красными фонарями, вся эта выставка замысловатых костюмов и реквизита представляла собой малопонятную аллегория, создать которую стоило немалых трудов доктору Стенерсену.

— Как красиво! — воскликнула Марта.

— Да... Что именно красиво? — спросил он.

— Живая картина... Разве вы не видите? Куда вы смотрите?

— В самом деле очень красиво.

И чтобы не вызвать у нее подозрений и скрыть, что он глядит только в одну точку. Нагель принялся расспрашивать ее о каждом участнике представления, но едва слышал, что она ему отвечала. Они глядели на сцену до тех пор, пока не погас красный свет и не опустили занавес.

С краткими перерывами все пять живых картин последовали одна за другой. Когда пробило двенадцать, Марта и Нагель все еще стояли в дверях зала и смотрели последнюю картину. Наконец занавес опустился, снова заиграла музыка, и они вернулись к своему столику.

Доброта взяла в ней верх над всеми остальными чувствами, и она уже не заговаривала об уходе.

Несколько барышень ходили между столиками с записными книжками и записывали номера лотерейных билетов, на которые можно было выиграть куклы, качалки, вышивки, чайные столики и даже напольные часы. Стало очень шумно, люди уже не стеснялись и говорили громко. И в зале, и в соседних комнатах гул стоял, как на бирже. Праздник должен был закончиться только в два часа ночи.

Фрекен Андерсен снова подседа к столику Нагеля. О, она так устала, так устала! Большое спасибо, она с удовольствием выпьет, только, пожалуйста, полстаканчика. Не позвать ли сюда и Дагни?

И она побежала за Дагни. Вместе с ними пришел и Минутка.

Дальше происходит вот что.

Неподалеку от них кто-то опрокинул столик, и несколько чашек и стаканов упали на пол. Дагни вскрикнула

и судорожно схватила Марту за руку. Но тут же рассмеялась и принесла свои извинения, лицо ее, однако, было пунцовым — так сильно она разволновалась. Она была возбуждена до предела, смеялась резким, отрывистым смехом, а глаза ее неестественно блестели. Она была уже в пальто, собиралась идти домой и ждала адъюнкта, который, как всегда, должен был ее проводить.

Но адъюнкт все еще сидел с поверенным; в течение всего вечера он так и не встал со своего стула и уже сильно захмелел.

— Господин Нагель тебя охотно проводит,— сказала Фрекен Андерсен.

Дагни расхохоталась. Фрекен Андерсен с изумлением взглянула на нее.

— Нет уж,— сказала Дагни,— с господином Нагелем я больше не отважусь идти домой. Ему в голову приходят такие странные фантазии. Как-то раз, но это, конечно, строго между нами, он просил меня назначить ему свиданье. Честное слово! Под деревом, сказал он, под большой осиною, там-то и там-то. Нет, господин Нагель для меня слишком опасный кавалер. Представьте себе, нынче вечером он самым решительным образом требовал от меня какие-то шерстяные фуфайки, которые мой жених будто бы обещал когда-то Грегорду. А между тем сам Грегорд, оказывается, ничего об этом не знает. Правда, Грегорд? Ха-ха-ха, ну что вы на это скажете?

Она вскочила, все еще продолжая смеяться, подбежала к адъюнкту и что-то ему сказала. Видимо, просила, чтобы он проводил ее.

Минутка сильно разволновался. Он попытался что-то сказать, что-то объяснить, но тут же запнулся, замолчал и испуганно глядел то на одного, то на другого. Даже Марта была поражена и подавлена. Нагель шепнул ей несколько ободряющих слов и принялся снова наполнять стаканы. Фрекен Андерсен быстро нашлась и заговорила о благотворительном базаре: подумать только, такая пропасть народу, а ведь расходы были не так велики...

— Скажите, кто эта дама, что играла на арфе?— спросил Нагель.— Красавица в духе Байрона, с серебряной стрелой в волосах.

— Это приезжая дама, она гостит здесь. Разве она такая красивая?

Да, он находит ее очень красивой. И он стал спрашивать об этой даме, хотя все видели, что мысли его заняты другим. О чем он думал? Почему его лоб вдруг

прорезала горькая складка? Он по-прежнему медленно вертел в руках стакан.

Дагни вернулась к их столику и стала за стулом фрекен Андерсен. Застегивая перчатки, она говорит своим ясным красивым голосом:

— А что вы, собственно, имели в виду, когда назначали мне свидание, господин Нагель? Какие у вас были намерения? Может быть, вы объясните это сейчас?

— Дагни, опомнись! — шепчет фрекен Андерсен и поднимается с места. Минутка тоже встает. Все чувствуют себя ужасно неловко. Нагель поднимает глаза, его лицо не выражает особого волнения, но все замечают, что он ставит свой стакан, стискивает пальцы и тяжело дышит. Что он сейчас сделает? Что означает эта чуть заметная улыбка, которая тут же сбежала с его лица? К всеобщему удивлению он говорит спокойным голосом:

— Вы спрашиваете, почему я просил вас о свидании? Не лучше ли будет, если я избавлю вас от этого объяснения, фрекен Хьеллан? Я и так причинил вам уже столько огорчений. Я глубоко опечален этим и, видит бог, все бы сделал, чтобы этого не было. А почему я в тот раз просил вас о свиданье, вы и сами понимаете, я не скрывал этого от вас, хотя, может, и следовало бы. Будьте великодушны ко мне. Больше мне нечего добавить.

Он замолчал. Она тоже ничего не сказала. Видимо, она ожидала от него другого ответа. Но тут подошел адъютант, как нельзя более кстати, чтобы прервать это тягостное молчание. Он был сильно навеселе и нетвердо держался на ногах.

Дагни взяла его под руку, и они пошли к дверям.

После их ухода все вздохнули свободнее, и вновь завязался оживленный разговор. Марта хохотала безо всякого повода и даже хлопала в ладоши. Иногда, когда ей вдруг начинало казаться, что она чересчур много смеется, она краснела, умолкала и испуганно озиралась по сторонам, не обратили ли на нее внимание. Это очаровательное смущение, которое то и дело сковывало ее, приводило Нагеля в восторг, и он балагурил почему зря, только чтобы веселить ее. Он даже дошел до того, что исполнил «Старика Ноя», зажав между зубами пробку.

К ним присоединилась и фру Стенерсен. Она заявила, что ни в коем случае не уйдет отсюда, пока все не кончится. По программе оставался еще один номер, — выступление двух акробатов, которое она непременно хотела посмотреть. Да, она всегда сидит до самого

конца. Ведь ночи такие длинные, и ей обычно так грустно, когда она возвращается домой и остается одна. Не пойти ли им всем в зал смотреть акробатов?

И все пошли в зал.

Им навстречу по проходу идет высокий бородатый человек и несет скрипку в футляре. Это органист, он исполнил свой номер и теперь направляется домой. Он останавливается, здороваётся и тут же начинает говорить с Нагелем о скрипке. Да, Минутка был у него, спрашивал насчет скрипки, хотел ее купить, но он, к сожалению, никак не может ее продать, она досталась ему по наследству, он относится к ней как к своему другу, она ему очень дорога. Да, на ней даже есть его монограмма. Он может показать, это не простая скрипка... И органист осторожно открывает футляр.

И вот все видят этот изящный темно-коричневый инструмент, заботливо обернутый алым шелковым платком, со струнами, переложенными ватой.

Не правда ли, прекрасная вещь? А вот эти три буковки из маленьких рубинов, вот здесь, на грифе, означают: Густав Адольф Кристенсен. Нет, продать такой инструмент грешно! Как же без нее коротать дни, если находит тоска? Но вот если речь идет о том, чтобы немного поиграть на ней, взять несколько аккордов, это дело другое...

Нет, Нагель не собирается играть на скрипке.

Но органист уже вынул инструмент из футляра, и, в то время как акробаты делали последние упражнения, а публика хлопала, он продолжал говорить об этой редкой скрипке, которая переходит от отца к сыну вот уже в четвертом колене.

— Легкая, как перышко, убедитесь сами, возьмите ее в руки...

Да, Нагель согласен,— она действительно легка, как перышко. Как только скрипка оказалась у него в руках, он стал оглядывать ее со всех сторон и коснулся струн. Потом он произнес с видом знатока: это, несомненно, Миттельвальдер. Однако понять, что это Миттельвальдер, было нетрудно, поскольку на внутренней стороне деки виднелась наклейка с названием фирмы. Так зачем же было принимать этот вид знатока? Когда акробаты ушли со сцены и публика перестала аплодировать, Нагель вдруг встал и молча, не произнеся ни единого слова, протянул руку за смычком. И в следующее мгновение, хотя люди в зале поднимаются, чтобы идти к выходу, он, не обращая внимания на шум и громкий говор вокруг,



Э. Мунк. Видение. 1892 г.



Э. Мунк. Ревность. 1895 г.



Э. Мунк. Поцелуй у окна. 1892 г.



Э. Мунк. Улица Карла Юхана вечером. 1892 г.



Э. Мунк. Вампир. 1893/1894 гг.



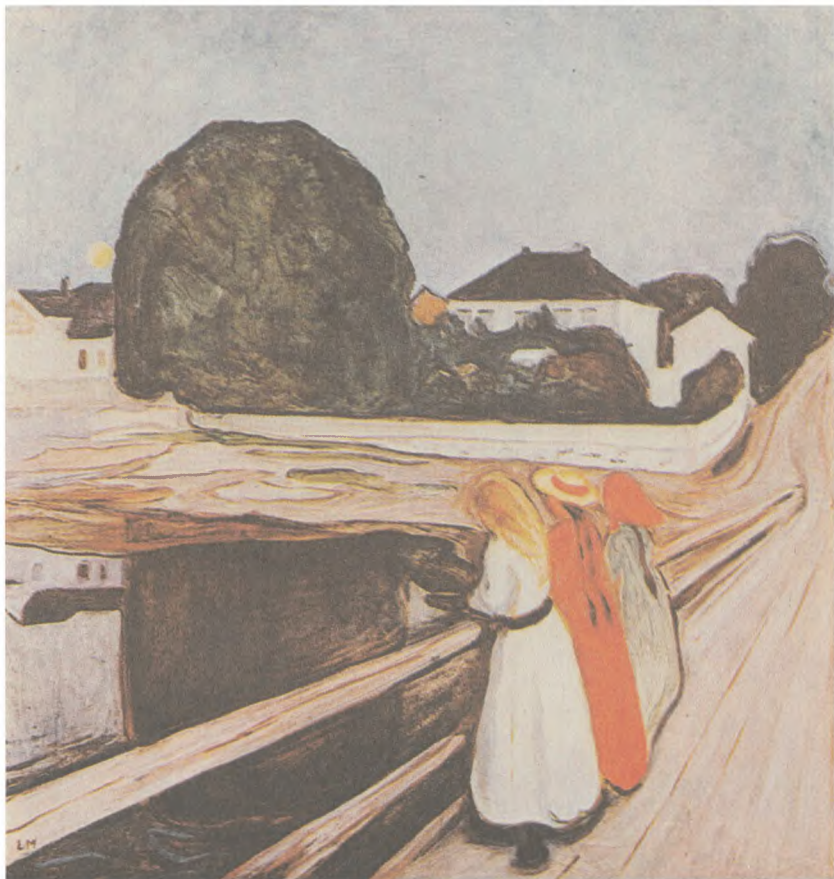
Э. Мунк. Площадь Улофа Рюэ. 1883 г.



Э. Мунк. Танец на берегу. 1900/1902 гг.



Э. Мунк. Разобщенность. 1894 г.



Э. Мунк. Девушки на мосту. 1899 г.



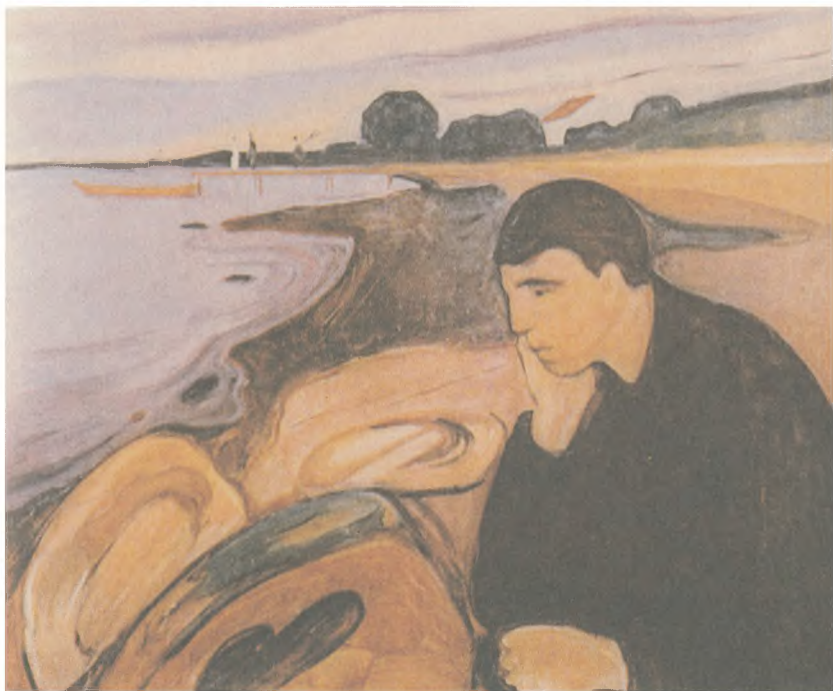
Э. Мунк. Глаза в глаза. 1894 г.



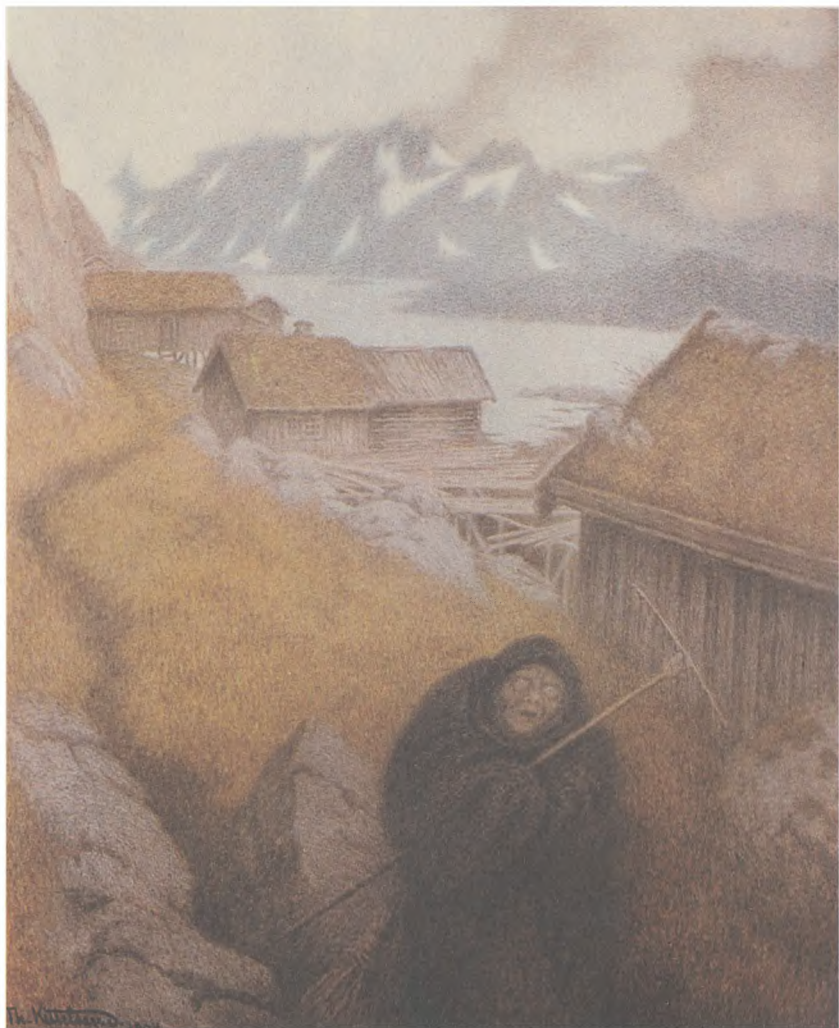
Э. Мунк. Разобщенность. 1896 г.



Э. Мунк. Лес. 1903 г.



Э. Мунк. Вечер (Меланхолия). 1891 г.



Т. Киттельсен. Чума. 1904 г.



Э. Мунк. Паровозный дым. 1900 г.



Э. Мунк. Лунная ночь. 1893 г.

начинает играть, и тогда постепенно воцаряется тишина. Этот приземистый, широкий в плечах человек в кричаще-желтом костюме вызвал у присутствующих величайшее изумление. Да и что он играл? Какой-то романс, баркаролу, какой-то танец, венгерский танец Брамса, какое-то страстное поурри. Резкие волнующие звуки наполнили весь зал. Он склонил голову набок, и во всем его облике было что-то загадочное. Да к тому же он заиграл так неожиданно, без объявления, стоя посреди залы, где было довольно темно, да еще его странная внешность и феноменальная техника — все это ошеломило публику, он казался каким-то сказочным существом. Нагель играл в течение нескольких минут, и за все это время никто не шелохнулся, никто не двинулся с места. Но вот в его игре зазвучали патетические ноты, прорвались дикие, неистовые звуки фанфарной силы, при этом он сам словно замер, и лишь рука его со смычком летала над струнами, а склоненная голова плотно прижимала скрипку к плечу. Выступив так неожиданно даже для устроителей вечера, он как бы взял штурмом всех этих равнодушных горожан и крестьян из окрестных хуторов. Они не могли постигнуть, как такое вообще возможно. Игра Нагеля казалась им еще лучше, чем была на самом деле, просто верхом совершенства, хотя он и играл с необузданной лихостью. Но спустя несколько минут он вдруг взял два-три диссонансных аккорда, скрипка завывала, застонала так душевраздирающе, что все застыли в недоумении. Еще два-три таких вопля, и он разом оборвал игру. Он опустил скрипку, и все кончилось.

Прошло не меньше минуты, прежде чем люди опомнились. Разразилась буря аплодисментов, кричали «браво», вскакивали на стулья и снова кричали «браво». Органист с глубоким поклоном принял из рук Нагеля скрипку, погладил ее и бережно положил в футляр. Затем он схватил Нагеля за руку и долго его благодарил. Публика в зале продолжала неистовствовать. Прибежал доктор Стенерсен и, едва переведя дух, воскликнул:

— Черт возьми, старина, вы же играете!.. Играете! Да еще как!

И он потряс Нагелью руку.

Фрекен Андерсен, сидевшая вблизи Нагеля, смотрела на него с величайшим изумлением.

— А ведь вы говорили, что не умеете играть?

— Да я и не умею,— ответил он.— О такой игре не стоит и говорить, признаюсь вам чистосердечно. Если бы

вы только знали, насколько это было дилетантское исполнение, так, подделка! Но ведь звучало как подлинное, не правда ли? Ха-ха-ха, приятно подурочить людей, нечего церемониться!.. А не вернуться ли теперь к нашему столику? Попросите, пожалуйста, фрекен Гудэ пойти с нами.

И они направились в буфет. Все еще говорили об этом таинственном человеке, который их так глубоко поразил. Даже поверенный Рейнерт подошел к Нагелю и сказал с поклоном:

— Разрешите поблагодарить вас. Несколько дней назад вы пригласили меня к себе на ужин, но я был занят и не смог воспользоваться вашим любезным приглашением. Однако я весьма признателен вам за внимание.

— А почему вы закончили такими ужасающими аккордами?— спросила фрекен Андерсен.

— Откуда я знаю,— ответил Нагель.— Так получилось. Хотел прищемить дьяволу хвост.

К ним опять подошел доктор Стенерсен и снова сделал Нагелю комплимент по поводу его игры. А Нагель снова ответил, что все это сплошное лицедейство, обман, рассчитанный на внешний эффект. Если бы они только знали, как это было плохо! Почти все двойные ноты звучали нечисто. Он слышал, что фальшивит, но лучше не получалось: он так давно не упражнялся.

Все больше народу собиралось вокруг столика Нагеля, сидели до последней минуты, поднялись, только когда стали тушить свет. Оказалось, что уже половина третьего.

Нагель наклонился к Марте и шепнул ей:

— Позвольте, я провожу вас. Я должен вам кое-что сказать.

Он поспешно расплатился, пожелал доброй ночи фрекен Андерсен и вышел вслед за Мартой. У нее не было пальто,— только зонтик, который она старалась нести незаметно, потому что он был весь рваный. Когда они вышли из дверей, Нагель обратил внимание на то, что Минутка проводил их долгим печальным взглядом, а лицо его было необычно бледно.

Они пошли прямо к домику Марты, по дороге Нагель все время оглядывался по сторонам и, убедившись, что никто их не видит, сказал:

— Я был бы вам очень благодарен, если бы вы решились пустить меня на несколько минут к себе.

Она не знала, как поступить.

— Уже так поздно,— сказала она.

— Вы же помните, я обещал никогда и ничем не огорчать вас. Я должен поговорить с вами.

Она отворила дверь.

Когда они вошли, она стала зажигать свечу, а он снова чем-то завесил окно, потом спросил:

— Ну как, вам было весело сегодня?

— О да, благодарю вас! — ответила она.

— Я рад, но не об этом я хотел поговорить с вами. Сядьте сюда, поближе ко мне. И прошу вас, не пугайтесь. Обещайте, что не будете меня бояться. Хорошо? По рукам?

Она протянула ему руку, он пожал ее и, не выпуская, сказал:

— Вы действительно не думаете, что я лгу, что я буду вас обманывать? Нет? Так вот, я хочу вам сказать... А вы в самом деле не думаете, что я буду обманывать вас?

— В самом деле.

— Тогда я объясню вам все по порядку... Но в какой мере вы мне верите? Я хочу сказать, полностью ли вы мне верите, до конца или нет? Чушь! Что за вздор я болтаю... Дело в том, что мне нелегко это произнести... Поверите ли вы мне, если я вам, например, скажу, что вы мне нравитесь? Да вы и сами это, наверно, заметили. Но если я пойду дальше и скажу... Одним словом, я просто-напросто хочу попросить вас стать моей женой. Да, моей женой, теперь это сказано. Не моей невестой, а моей женой... Господи, как вы перепугались! Нет, нет, не отдергивайте вашу руку, я объясню вам все по порядку, и вы меня лучше поймете: не убеждайте себя только, что вы ослышались, я действительно с открытой душой, безо всяких колебаний делаю вам предложение, и, верите, я имею самые серьезные намерения. Допустите на минуту такую возможность и разрешите мне продолжать. Ну, хорошо, сколько вам лет? Собственно говоря, я не это хотел спросить, мне — двадцать девять, легкомыслие мне уже не по возрасту, а вы, наверно, старше лет на пять, на шесть, но это не имеет никакого...

— Я старше на двенадцать лет, — сказала она.

— На двенадцать лет! — воскликнул он в восторге от того, что она следит за его словами и не совсем потеряла голову. — Значит, на двенадцать лет старше, да это же великолепно, восхитительно! Неужели вы полагаете, что какие-то двенадцать лет могут служить препятствием? Нет, вы просто с ума сошли, дорогая! Да будь вы старше на трижды двенадцать лет, какое это имело бы значение, раз я полюбил вас и каждое слово, которое я сейчас

говорю, искреннее. Я долго обдумывал этот шаг, собственно говоря, не очень долго, но все же несколько дней, я не лгу, верьте мне, бога ради, умоляю вас! Все эти дни я думал об этом, я не спал по ночам. У вас такие немыслимые глаза, они заворожили меня с первого раза, как я увидел вас. За такими глазами я способен пойти на край света. Вообще глаза имеют надо мной необъяснимую власть. Как-то раз один старик силой своего взгляда заставил меня полночи бродить по лесу. Он был безумен... Ну, да это целая история. Но ваши глаза действуют на меня неотразимо... Помните, вы однажды взглянули на меня из окна, когда я проходил мимо вашего дома... Вы даже не повернули головы в мою сторону, вы только следили за мной глазами, я никогда этого не забуду. А когда потом я встретил вас и заговорил с вами, я был так растроган вашей улыбкой. Не знаю, видел ли я кого-нибудь, кто смеялся бы так сердечно и искренне, как вы. Но вы сами этого, конечно, не знаете, и в этом неведение и заключается ваша неповторимая прелесть... Я, кажется, болтаю невесть что, я сам это чувствую, но у меня такое ощущение, что я должен безостановочно говорить, иначе вы перестанете мне верить, и это подхлестывает меня. Если бы вы не сидели как на иголках, я хочу сказать, если бы я не чувствовал, что вы готовы каждую секунду встать и уйти, мне было бы намного легче. Я прошу вас, разрешите мне снова взять вас за руку, тогда я буду говорить яснее. Вот так, спасибо. Поймите, у меня нет никакой задней мысли, я хочу добиться от вас только того, о чем прошу. И что, собственно, вас так поражает в моих словах? Вы не можете допустить, что мне пришла в голову такая безумная мысль? Вы не можете себе представить, что я — я — хочу на вас жениться? Нет, я вижу, вам это кажется невозможным. Вы сейчас думаете об этом, ведь верно?

— Да. Господи, прошу вас, хватит об этом!

— Неужели я заслужил, чтобы вы меня подозревали в неискренности...

— Нет! — воскликнула Марта в порыве раскаяния, — но то, о чем вы просите, все равно невозможно.

— Почему невозможно? Вы связаны словом с кем-нибудь другим?

— Нет, нет!

— Правда нет? Потому что если вы связаны с кем-нибудь другим — скажем, только чтобы назвать конкретное имя, например, с Минуткой...

— Нет! — громко крикнула она и при этом даже стиснула его руку.

— Нет? Значит, в этом отношении нет никаких препятствий. Разрешите же мне продолжить. Не думайте, пожалуйста, что я стою в некотором роде выше вас и это может быть препятствием нашему союзу. Я не хочу от вас ничего скрывать. Я во многих отношениях не такой, как надо. Вы сами слышали, что сегодня вечером говорила обо мне фрекен Хьеллан. К тому же до вас, наверно, доходили и городские сплетни обо мне, какой я, мол, скверный человек. Может быть, пересказывая все эти истории, ко мне были не всегда справедливы, но в главном люди правы — у меня много всевозможных недостатков. Таким образом, вы со своей чистой совестью и нежной детской душой стоите неизмеримо выше меня, а не наоборот. Но я клянусь, что всегда буду добр с вами. Верьте мне, я без труда сдержу это обещание, потому что видеть вас счастливой для меня величайшая радость... И еще одна вещь — возможно, вас страшат пересуды в городе? Но, во-первых, город будет поставлен перед фактом — и мы сможем обвенчаться, если вы захотите, даже в здешней церкви. А во-вторых, городу и так есть о чем посудачить. Вряд ли прошло незамеченным, что я несколько раз уже виделся с вами прежде и сегодня вечером был с вами вместе на благотворительном базаре, так что хуже не будет. Да и вообще, господи, какое все это имеет значение! Неужели вам еще не безразлично, что говорят люди... Вы плачете? Дорогая, вам больно, что из-за меня вы сегодня попали на языкоч всем этим сплетникам?

— Нет, я плачу не из-за этого.

— Из-за чего же?

Она не ответила.

Тогда ему снова что-то приходит на ум, и он спрашивает:

— Вы считаете, что я себя дурно веду по отношению к вам? Вы ведь не пили много шампанского? И двух стаканов, наверно, не выпили? Неужели вы думаете, что я специально напоил вас и теперь, пользуясь тем, что вы чуть-чуть навеселе, пытаюсь вынудить вас согласиться. Вы поэтому плачете?

— Нет, нет, совсем не из-за этого.

— Так почему же?

— Сама не знаю.

— Но, надеюсь, вы не думаете, что я пришел к вам, чтобы заманить вас в какую-то ловушку? Бог свидетель, я совершенно чист перед вами, поверьте же мне!

— Я вам верю, но я не могу этого понять. Да и себя тоже, что-то изменилось во мне. Вы не можете этого хотеть... Не можете...

Нет, он этого хочет! И он в который раз начинает все снова втолковывать ей, сидя подле нее и держа в своей руке ее маленькую слабую руку. А дождь тем временем барабанит в оконные стекла. Он говорит очень тихо, приноравливаясь к ее понятиям, а иногда уговаривает ее, совсем как ребенка. О, как прекрасно все образуется! Они уедут, уедут далеко, одному богу известно куда, но они спрячутся так, чтобы никто не смог их найти. Ведь верно, да? Потом они купят маленький домик и клочок земли где-нибудь в лесу, в великолепном лесу или еще где; этот клочок земли будет их собственностью, и они назовут его «Эдемом», и он будет его обрабатывать; как ему этого хочется! Но иногда он, возможно, все же будет грустить; да, дорогая, это вполне может случиться; что-то на него найдет, вдруг вспомнится какое-то горькое переживание, это ведь бывает, но тогда она будет терпелива, не правда ли? А он не даст ей почувствовать своего настроения, никогда, это он обещает; он будет просто тихо сидеть один и стараться побороть это в себе или на время уйдет далеко в лес, а потом вернется. Но никогда в их доме не будет произнесено ни одного резкого слова. И они украсят его самыми красивыми дикими растениями, и мохом, и камнями, которые они найдут, а пол устелют можжевеловым, он сам будет его приносить из лесу. А в Рождество они всегда будут выставлять сноп для птичек. Подумать только, как незаметно пробежит время и как они будут счастливы! Они всегда будут вместе уходить и вместе приходить и никогда не будут разлучаться. Летом они будут совершать далекие прогулки и наблюдать, как от года к году разрастаются деревья и травы. Господи, а сколько добра они смогут сделать странникам, которые будут, наверно, проходить мимо их дома! И скот они будут держать — две крупные, с блестящей шерстью коровы, и они приучат их есть из рук, а когда он будет копать и мотыжить, словом, обрабатывать землю, она будет ухаживать за коровами...

— Да,— отозвалась Марта. Это вырвалось у нее произвольно, и Нагель услышал это «да». Он продолжал ее уговаривать.

А день или два в неделю они не будут работать, они вместе будут уходить на охоту или на рыбалку, вместе, рука об руку, она в коротком платье с поясом, он в блузе

и в башмаках с пряжками. Они будут петь, громко разговаривать и аукаться, а эхо будет гулко разноситься по лесу. Ведь верно, рука об руку?

— Да,— снова сказала она.

Мало-помалу он увлек и ее; он так живо рисовал ей картину их будущей жизни, он так хорошо все обдумал, не упустил ни одной мелочи. Он учел даже то, что необходимо найти такое место, где есть вода. Да, но уж об этом он позаботится, он обо всем позаботится, пусть она только ему доверится. О, у него достанет сил расчистить место для их дома в самом густом лесу, у него крепкие руки, да она сама видит, какие у него кулачищи!.. И он, смеясь, положил ее нежную детскую ручку на свою ладонь.

Она полностью подчинилась ему, он мог бы сделать теперь с ней все что угодно. Когда он погладил ее по щеке, она не шелохнулась и только поглядела на него. Потом он тихонько спросил ее, приблизив губы к самому ее уху, решилась ли она, согласна ли. И она ответила: «Да»,— задумчивое, мечтательное «да», которое она прошептала еле слышно. Но вскоре ее снова одолели сомнения: нет, если все обдумать как следует, то это невозможно. Как он может этого хотеть! Кто она такая?

И он снова принялся убеждать ее, что он этого хочет, хочет всей силой своей души. Она не будет ни в чем терпеть нужды, даже если первое время им будет туговато, он станет работать за двоих, ей нечего опасаться. Он говорил битый час и постепенно преодолевал ее сопротивление. Дважды за этот час ее вдруг охватывал ужас, она закрывала лицо руками и кричала «нет, нет!», но все же снова сдавалась, пристально вглядывалась в его лицо и понимала, что он вовсе не ищет минутной победы. Значит, на то Божья воля, раз он так этого желает! Он оказался сильнее, бороться дальше было бесполезно. И в конце концов она произнесла твердо и решительно: «Да».

Свеча, воткнутая в горлышко бутылки, совсем оплыла, а они все еще сидели, каждый на своем стуле, держали друг друга за руки и разговаривали. Она была просветленно растрогана, глаза ее то и дело застилала слезы, но она улыбалась.

— А что до Минутки, то я уверен, он ревновал вас на благотворительном базаре.

— Да,— ответила она.— Возможно. Но тут уж ничего не поделаешь.

— Это верно, тут уж ничего не поделаешь!.. Послушай, мне бы так хотелось тебя чем-нибудь порадовать

нынче, но чем, скажи? Мне хочется, чтобы у тебя просто дух зашелся бы от восхищения. Скажи, что тебя может обрадовать, требуй от меня все что хочешь. Но ты слишком добра, мой дорогой друг, ты никогда ни о чем не попросишь! Да, да, Марта, запомни, что я тебе сейчас скажу: я буду защищать тебя, я буду стараться угадывать все твои желания и заботиться о тебе до конца дней своих. Запомни это, дорогая! Ты никогда не сможешь попрекнуть меня, что я забыл свое обещание.

Было четыре часа утра.

Они встали; она подошла к нему, и он прижал ее к своей груди, она обвила руками его шею. Так молча стояли они некоторое время; ее робкое чистое сердце монашки бешено колотилось, он чувствовал это и, чтобы успокоить ее, ласково гладил по волосам. Ничто больше не стояло между ними.

Марта заговорила первая:

— Я не сомкну глаз всю ночь, я буду думать. Я увижу тебя завтра? Ты хочешь?

— Конечно, завтра. Конечно, хочу. Когда? Могу я прийти в восемь часов?

— Да... Хочешь, я надену это же платье?

Ее наивный вопрос, ее дрожащие губы, широко распахнутые глаза, так доверчиво устремленные на него,— все это растрогало Нагеля, расплавил его сердце, и он сказал:

— Дорогая детка моя, делай как хочешь. Какая же ты хорошая!.. Нет, ты должна спать сегодня ночью, непременно спать. Подумай обо мне, пожелай мне спокойной ночи и засни. Тебе не будет страшно одной?

— Нет... Ты промокнешь, пока дойдешь до дому.

Она и об этом подумала!

— Будь счастлива и спи спокойно,— сказал он.

Когда он уже был в прихожей, он вспомнил что-то, обернулся к ней и сказал:

— Я забыл предупредить тебя: я совсем не богат. Может быть, ты думаешь, что я богатый человек?

— Мне это безразлично,— ответила она, вскинув голову.

— Нет, я совсем не богат. Но все же мы сумеем купить и домик, и все, что нужно для хозяйства, на это у меня денег хватит. А потом я сам буду добывать средства к существованию, я с радостью взвалю на себя все тяготы, на это мне и даны руки... Ты не разочарована тем, что я не богат?

Она сказала, что нет, и еще раз сжала его руки. С порога он попросил ее покрепче запереть дверь и вышел на улицу.

Дождь лил как из ведра, и темно было, хоть глаз выколи.

Он направился не в гостиницу, а свернул на дорогу, ведущую к усадьбе пастора. С четверть часа он шел в непроглядной тьме, едва различая путь. Наконец он замедлил шаг, свернул на просеку и оказался у большого дерева. Это была та осина. Он остановился.

Ветер раскачивает верхушки деревьев, дождь хлещет пуще прежнего — только это и слышно вокруг. Он шепчет какое-то слово, имя, он говорит: «Дагни, Дагни». Потом замолкает и снова повторяет: «Дагни, Дагни». Спустя некоторое время он произносит это имя громче и в конце концов кричит во весь голос: «Да-а-гни!» Она оскорбила его нынче вечером, обдала его своим презрением. Его грудь жжет каждое сказанное ею слово, и все же он стоит здесь и зовет ее. Он становится на колени перед деревом, вынимает свой перочинный нож и в темноте начинает вырезать на коре ее имя. Так проходит несколько минут, он ощупывает пальцами вырезанную букву и режет следующую, снова ощупывает — и так, пока не вырезает все имя полностью.

Все это время он стоял на коленях с непокрытой головой.

Уже выйдя на дорогу, он вдруг остановился, что-то обдумал и повернул назад. Он ощупью добрался до осины, провел пальцами по коре и нашел вырезанные буквы. Он снова падает на колени, приближает лицо к стволу и целует это имя, каждую букву, словно ему не суждено больше их увидеть, потом вскакивает на ноги и поспешно уходит.

В гостиницу Нагель вернулся в пять часов утра.

XVII

Тот же дождь, тот же мрак, та же ненастная погода были и на другой день. Казалось, не будет конца тем потокам воды, которые гудели в водосточных трубах и хлестали в окна. Проходил час за часом, пробило полдень, а небо не светлело. В маленьком садике позади гостиницы все было размыто и прибито водой, набрякшие отяжелевшие листья лежали в жидкой грязи.

Нагель не выходил весь день, читал, по своему обычаю мерил шагами комнату и беспрестанно смотрел на часы. Казалось, этому дню не будет конца. Сгорая от нетерпения, он ждал, когда наступит вечер.

Как только пробило восемь, он отправился к Марте. У него не было дурного предчувствия, но она встретила его с измученным, заплаканным лицом. Он заговорил с ней, она отвечала односложно, как-то неопределенно и не глядела на него. Несколько раз она просила простить ее и не сердиться.

Он взял ее за руку, она задрожала и рванулась прочь. Но ему все же удалось усадить ее на стул рядом с собой. Так она и просидела весь тот час, который он провел у нее. Что случилось? Он одолевал ее вопросами, требовал объяснения, но она все отмалчивалась.

Нет, она не больна. Просто она думала обо всем этом.

Ах, вот оно что, она сожалеет о данном ею обещании. Уж не опасается ли она, что не сможет его полюбить?

Да... Наверно... Но пусть он простит ее и не сердится! Она думала об этом всю ночь, всю ночь напролет, и чем больше она думала, тем более невозможным ей это представлялось. Она заглянула в самую глубину своего сердца и боится, что не сумеет полюбить его так, как должна бы.

— Ну что ж, тогда...

Пауза...

Но не думает ли она, что сможет полюбить его потом, со временем? Он так радовался тому, что сумеет наконец начать новую жизнь. О, он будет так добр к ней!

Ее это тронуло, она прижала руки к груди, но по-прежнему молчала и не поднимала глаз.

Не думает ли она, что он сумеет заслужить ее любовь позже, когда они будут жить вместе и она убедится, на что он способен ради нее.

Она прошептала: «Нет». И несколько слез упали с ее длинных ресниц.

Пауза. Его бил озноб. Синие вены надулись на его висках.

Ну что ж, дорогая, на нет и суда нет! Пусть она не плачет из-за этого. Слезами тут не поможешь. Пусть она простит, что он докучал ей своими просьбами. Ведь он хотел ей только добра...

Она порывисто схватила его за руку. Он был удивлен ее горячностью.

Нет ли в его натуре, спросил он, чего-либо такого, что ее особенно отталкивает? Тогда он постарается изменить-

ся, исправить свои недостатки, если это только в его силах. Быть может, ей не нравится, что он...

Она прервала его, прошептав:

— Нет, вовсе нет. Но все это просто невозможно. Я ведь даже не знаю, кто вы такой, например. Нет, я не сомневаюсь, что вы желаете мне добра, поймите меня правильно...

— Кто я такой, например,— повторил он и поглядел на нее. В его мозгу мелькнула догадка, он понял: что-то подорвало ее доверие к нему, какая-то враждебная сила встала между ним и ею, и он спросил:

— У вас кто-нибудь был сегодня?

Она ничего не ответила.

— Простите, пожалуйста, да и, в сущности, какое это имеет теперь для меня значение... У меня нет права задавать вам вопросы.

— Как я была счастлива сегодня ночью,— сказала она.— Господи, как я ждала, чтобы скорее наступило утро, как я ждала вас! Но днем меня снова одолели сомнения.

— Скажите мне только одно: вы, значит, не верите, что я был честен по отношению к вам, вы утратили ко мне всякое доверие?

— Нет, не совсем. Не сердитесь на меня, дорогой! Вы ведь не здешний, и я знаю о вас лишь то, что вы сами о себе говорите. Возможно, вы говорите все искренне, но потом, быть может, раскаетесь. Я ведь не знаю, какие вам потом придут мысли.

Пауза.

Он берет ее за подбородок, чуть запрокидывает ей голову и говорит:

— А что еще говорила вам фрекен Хьеллан?

Она была застигнута врасплох, вскинула на него испуганный взгляд, который выдал ее смятение, и воскликнула:

— Я этого не говорила!.. Неужели я это сказала?.. Нет, я этого не говорила!..

— Да, да, вы этого не говорили,— подтвердил он. Он задумался и уставился в одну точку.— Да, вы не сказали, что она была здесь, вы не назвали ее имени, можете быть спокойны... Значит, фрекен Хьеллан здесь действительно была, вошла вот в эту дверь и вышла из нее, справив свое дело. Видно, ее это задело за живое, раз она прибежала сюда в такую непогоду... Да, весьма странно... Дорогая, милая Марта, добрейшая вы душа! Мне хочется встать

перед вами на колени, потому что вы такая добрая! Верьте мне, верьте мне хоть сегодня. А потом вы увидите, я вам докажу, что у меня и в мыслях не было обмануть вас. Не берите сейчас назад свое обещание. Обдумайте все еще раз! Хорошо? Подумайте до завтра, и мы снова встретимся...

— Не знаю... Право, не знаю,— перебила она его.

— Не знаете? Значит, вы намерены сейчас отделаться от меня раз и навсегда. Ну что ж...

— Я лучше приду к вам когда-нибудь потом... Когда вы будете женаты... когда у вас будет свой дом... Я хочу сказать, когда вы... Я стала бы у вас служанкой. Так мне было бы лучше.

Пауза. Да, ее недоверие к нему уже успело пустить глубокие корни, он почувствовал себя бессильным преодолеть его и не мог уже, как прежде, успокоить ее. И с болью в сердце он ощущал, что чем горячее говорит, тем больше она ускользает от него. Но почему она так плачет, что мучает ее? И почему она не выпускает его руки из своей? Он снова заговорил о Минутке, он решил прибегнуть к этому, как к последнему средству. Он хотел во что бы то ни стало встретиться с ней завтра, после того как она еще раз все хорошенько обдумает.

— Простите, что я уж в который раз заговариваю с вами о Минутке,— сказал он.— И пусть это вас не тревожит, у меня есть свои причины затевать этот разговор. Я не могу сказать об этом человеке ничего дурного. Напротив, я, как вы помните, всегда говорил вам о нем все самое лучшее. Но я не исключаю, что именно он стоит у меня на пути. Поэтому я тогда расспрашивал вас о нем и утверждал, что он не хуже любого другого мог бы содержать семью. Да я и сейчас считаю, что он вполне с этим справится, если только ему помогут поначалу. Но вы и слушать об этом не хотели. Минутка вас не интересовал, и вы даже просили не говорить больше о нем. Хорошо! Но все же у меня остались подозрения, и вы меня до конца в этом не разуверили, поэтому я вас снова спрашиваю: нет ли чего-нибудь между вами и Минуткой? Если это так, я немедленно ретируюсь... Вот вы качаете головой. Но в таком случае я решительно не понимаю, почему вы отказываетесь до завтра еще раз обдумать все как следует и дать мне окончательный ответ. Это было бы только справедливо. А вы — вы ведь так добры!

И она сдалась. Она даже встала в порыве волнения и, смеясь и плача одновременно, погладила его по волосам,

как уже однажды делала. Да, она хочет его завтра увидеть, очень хочет, только пусть он придет немного пораньше, часа в четыре или в пять, одним словом, засветло, чтобы не было пересудов. А теперь ему надо уйти, и уйти как можно скорее, так будет лучше. Да, да, пусть он придет завтра, она будет дома и будет его ждать.

Что за дитя эта седая девушка! Достаточно было одного слова, какой-то невнятной фразы, чтобы вновь сильно забилося ее сердце и лицо озарилось нежной улыбкой. Она не выпускала его руки из своей до последней минуты, шла с ним до самой двери рука в руке. С порога она очень громко пожелала ему спокойной ночи, словно поблизости был кто-то, кому она бросала вызов.

Дождь перестал, наконец-то, можно сказать, перестал, кое-где в разрывах темных туч уже проглядывало голубое небо, и лишь изредка то там, то здесь еще падали на мокрую землю тяжелые капли.

Нагель вздохнул свободнее. Да, он сумеет заново завоевать ее доверие, конечно, сумеет! Он пошел не домой, а по набережной вдоль берега и, миновав окраинные домишки, опять оказался на дороге, ведущей к пасторской усадьбе. Кругом не было ни души.

Но не успел он пройти и нескольких шагов, как увидел на обочине человеческую фигуру. Видимо, кто-то сидел на краю дороги, а теперь поднялся и пошел. Он пригляделся и узнал Дагни, ее белокурая коса резко выделялась на темном дождевике.

Дрожь пронизала его с головы до ног, он даже остановился на мгновение, он был крайне удивлен. Разве она не занята нынче вечером на благотворительном базаре? А может быть, она просто вышла пройтись перед началом живых картин. Она шла очень медленно, даже останавливалась несколько раз и глядела на птиц, которые теперь снова начали летать между деревьями. Видела ли она его? Не хотела ли она его испытать? Не поднялась ли она с обочины при его появлении лишь затем, чтобы проверить, осмелится ли он и на этот раз заговорить с ней?

Ей нечего волноваться, никогда больше он не станет докучать ей! И вдруг в нем вскипает злоба, слепая, неукротимая злоба против этой девушки, которая, быть может, снова вызовет его на какой-нибудь отчаянный поступок только для того, чтобы потешиться потом над его слабостью. Конечно, с нее станет рассказать сегодня всем на благотворительном базаре, что он продолжает ходить за ней по пятам. Разве не была она недавно у Марты и не

разрушила своими руками его счастье? Неужели ей недостаточно всего этого? Неужели она намерена и впредь чинить ему зло? Она хотела рассчитаться с ним сполна, — хорошо, но ведь и так она уже отплатила ему с лихвой.

Они оба идут одинаково медленно, один за другим, и все те же пятьдесят шагов отделяют их друг от друга. Так продолжается несколько минут. Вдруг она роняет носовой платок. Он видит, как он скользит вдоль пояса ее дождевика и падает на землю. Знает ли она, что уронила его?

И Нагель убеждает себя, что это просто уловка, что ее гнев еще не улегся, что она хочет заставить его поднять этот платок и принести ей для того, чтобы она, заглянув ему в глаза, насладились бы его поражением у Марты. Злость охватывает его, он поджимает губы, горестная складка перерезает лоб. Ха-ха, черта с два она дождетса, чтобы он подбежал к ней и дал повод рассмеяться ему в лицо! Поглядите, она обронила платочек, вот он лежит прямо посреди дороги, белоснежный, тоненький, кружевной, и нужно только нагнуться и поднять его...

Он шел все так же, не ускоряя шага, а когда поравнялся с платком, наступил на него и, не останавливаясь, двинулся дальше. Еще несколько минут они шли вперед на том же расстоянии друг от друга. Вдруг он увидел, что она посмотрела на часы и, резко повернув, направилась к городу. Теперь она шла ему навстречу. Быть может, она заметила, что потеряла платок. Он тоже повернул и медленно шел перед ней, а поравнявшись с ее платком, снова на него наступил, на этот раз у нее на глазах. Он шел дальше и чувствовал, что она идет сзади, совсем близко от него, но не прибавил шага. Так они шли до самого города.

Дагни, как он и предполагал, направилась к зданию, где был устроен благотворительный базар, а он вернулся в гостиницу.

Поднявшись в номер, он распахнул окно и оперся локтями о подоконник. Он чувствовал себя разбитым, просто раздавленным от пережитого волнения. Его злость прошла, он как-то сник и, уронив голову на руки, затрясся как в ознобе от беззвучных рыданий. Вот, значит, чем все это кончилось! О, как он сожалел о том, что случилось, как он хотел, чтобы этого никогда не было! Она уронила свой платок, возможно, не случайно, а с целью его, Нагеля, унижить. Ну и что с того? Он мог бы его поднять, сберечь и всю жизнь носить на груди. Какой белоснежный был этот платок, а он втоптал его в грязь!

И кто знает, вдруг она и не отняла бы у него платок, если бы он его поднял, а разрешила бы ему оставить его у себя. Кто знает! А даже если бы она захотела отобрать у него платок, он упал бы перед ней на колени и молил бы, простирая к ней руки, явить великую милость и оставить ему платок на память. И пусть бы она в ответ рассмеялась ему в лицо, что с того!

Вдруг он срывается с места, сбегает с лестницы, перепрыгивая через ступеньки, выскакивает на улицу, чуть ли не бегом пересекает город и снова устремляется к дороге, ведущей к пасторской усадьбе. Быть может, ему удастся найти платок! И действительно, Дагни не подняла его, хотя наверняка видела — в этом Нагель был уверен, — как он на него наступил. Платок лежал на том же самом месте. Слава богу! Как все-таки ему везет! С бешено колотящимся сердцем прячет он платок, поспешно возвращается домой и тут же начинает полоскать его в воде, полощет очень долго, потом тщательно разглаживает рукой. Платок уже не был таким ослепительно белым, и один уголок его был разорван, видимо, он зацепил кружево каблуком. Но какое все это имеет значение! Как он счастлив, что подобрал его!

Только когда он снова сел у окна, он сообразил, что бегал через весь город с непокрытой головой. Да, он сумасшедший, он действительно сумасшедший! А что, если она его видела? Может быть, она все это нарочно подстроила и в конце концов он все же так глупо попался в ее ловушку. Нет, необходимо как можно скорее положить этому конец! Он должен заставить свое сердце не колотиться, когда видит ее, он должен научиться встречать ее с поднятой головой и холодными глазами, ничем не выдавая своих чувств. Он добьется этого, чего бы это ему ни стоило! Он уедет отсюда и увезет с собой Марту. Пусть Марта слишком хороша для него, но он скрутит себя в бараний рог, чтобы стать достойным ее, не даст себе ни минуты покоя, пока не заслужит ее любви.

Погода все улучшалась, свежий ветерок, врываясь в окно, доносил до него запахи мокрой травы и сырой земли, и он понемногу приходил в себя. Да, завтра он пойдет к Марте и будет умолять ее согласиться...

Но уже утром следующего дня все его надежды рухнули.

Началось с того, что рано утром явился доктор Стенерсен. Нагель еще лежал в постели. Доктор извинился. Этот проклятый благотворительный базар отнимает у него буквально все время и днем и ночью. Да, и сюда он пришел с поручением, с некоторого рода миссией: он должен упросить Нагеля снова выступить сегодня в концерте. В городе только и разговоров, что о его игре, все сгорают от любопытства, не могут спать — нет, право же...

— Я вижу, вы читаете газету? Ох, уж эта политика! Вы обратили внимание на последние назначения? Да и с выборами в целом все идет не так, как надо. Результаты никак нельзя считать пощечиной шведам... На мой взгляд, вы слишком поздно валяетесь в постели — ведь уже пробило десять. А какая нынче погода! Такая теплынь, что воздух дрожит! В такое утро хочется выйти, пройтись немного.

Да, Нагель как раз собирается встать.

Какой же ему дать ответ устроителям благотворительного базара?

Нет. Нагель не будет играть.

Как же так? Ведь это такое важное для города дело. Вправе ли он не оказать такой небольшой услуги?

Все это, несомненно, так, но играть он просто не в состоянии.

Боже мой, а все рассчитывали на него, особенно дамы. Вчера вечером они форменным образом атаковали доктора, настаивая, чтобы он это организовал. Фрекен Андерсен просто не давала ему покоя, а фрекен Хьеллан отвела его в сторону и велела не отставать от Нагеля до тех пор, пока он не пообещает сыграть.

Но ведь фрекен Хьеллан и представления не имеет об его игре. Она никогда не слышала, как он играет.

Верно, но просила она настойчивее всех. Даже предложила аккомпанировать. Под конец она сказала: передайте ему, что мы все его просим...

— Ну, что вам стоит в конце концов провести десять — двенадцать раз смычком по струнам и доставить всем удовольствие!

Нет, он не может, в самом деле не может.

Ну что за отговорки? Ведь в четверг вечером он мог?

Но Нагель настаивал на своем: пусть доктор войдет в его положение, он умеет играть только эти несколько

жалких тактов, это бессвязное попури, он разучил два-три танца, чтобы при случае удивить общество. Да, кроме того, он так ужасно фальшивит, что ему самому противно слушать свою игру, поверьте, противно...

— Да, но...

— Доктор, я не буду играть!

— Но, может быть, если не сегодня вечером, то хоть завтра? Завтра воскресенье, закрытие базара, ожидается бог весть сколько народу.

— Нет, вы должны меня извинить, но завтра я тоже не буду играть. Вообще стыдно брать в руки скрипку, если не умеешь играть лучше, чем я. Просто диву даешься, доктор, что вы не услышали, как я дурно играю.

Этот удар по самолюбию доктора возымел свое действие.

— Нет, почему, я заметил, что вы кое-где детонировали, сыграли не совсем чисто, но, черт возьми, не все же знатоки!

Все старания доктора оказались тщетными, он получил окончательный отказ и ушел.

Нагель стал одеваться. Значит, Дагни, оказывается, горячо настаивала, чтобы он играл, хотела даже ему аккомпанировать! Это что, новая ловушка? Вчера вечером у нее ничего не вышло, и сегодня она решила сквитаться с ним таким образом?.. Господи, а вдруг он к ней несправедлив, быть может, она его уже не ненавидит и не хочет ему мстить? И он мысленно попросил у нее прощения за свою подозрительность. Он взглянул в окно на рыночную площадь. Как ослепительно сияет солнце, какое чистое небо! Он начал напевать.

Когда он был уже почти одет к выходу, Сара просунула ему в дверь письмо. Письмо это принес не почтальон, а посыльный. Оно было от Марты и состояло всего из нескольких строчек: пусть он не приходит сегодня вечером, потому что она уехала из города. Она Богом молит его простить ее и не разыскивать. Ей было бы невыносимо тяжело его снова увидеть. Прощайте! В самом низу листка, под подписью, была приписка, что она никогда его не забудет. «Я никогда не смогу вас забыть», — написала она. От этого письма, содержавшего лишь несколько фраз, веяло глубокой печалью. Даже буквы были какие-то поникшие, унылые. И все же она с ним просталась.

Он рухнул на стул. Конец, все пропало! И там его оттолкнули. Подумать только, все словно в заговоре

против него! Имел ли он когда-нибудь более чистые и честные намерения, и тем не менее, тем не менее все напрасно! Долго сидел он не двигаясь.

Потом он вдруг вскакивает со стула. Он глядит на часы. Одиннадцать. Быть может, он еще застанет Марту! Без промедления бежит он к ее дому. Дом заперт, он глядит в окна — ее нет.

Он потрясен. Он бредет назад, плохо соображая, что делает, не видя ничего вокруг. Как она могла так поступить? Как она могла так постудить? Почему она не позволила ему проститься с ней, пожелать ей всего самого, самого хорошего, раз уж она решила уехать? Он мог бы стать перед ней на колени и земно поклониться ей за ее доброту, за ее чистое, чистейшее сердце. Но она не захотела этого. Да, тут уж ничего не поделаешь!

Выйдя в коридор, он натолкнулся на Сару и узнал, что письмо принес посыльный из пасторской усадьбы. Значит, и это дело рук Дагни, ей удалось осуществить свой план, она все точно рассчитала и нанесла свой удар так внезапно, что захватила его врасплох. Нет, она, видно, никогда его не простит!

Весь день он провел на ногах — то бродил по улицам, то мерил шагами свою комнату, то шатался по лесу, но он нигде не находил себе места, не знал ни минуты покоя. Он шагал с низко опущенной головой и с широко открытыми, но ничего не видящими глазами.

Следующий день он провел точно так же. Это было воскресенье, и с хуторов понаехала масса народу, чтобы побывать на базаре и посмотреть живые картины, которые показывали в последний раз. Нагель снова получил приглашение выступить в концерте, сыграть хотя бы один номер; на этот раз просить его пришел другой член распорядительного комитета, консул Андерсен, отец Фредерики. Но Нагель снова ответил отказом.

В течение четырех дней Нагель ходил как помешанный, он был в каком-то странном состоянии, он словно отсутствовал, весь во власти одной мысли, одного чувства. Каждый день он наведывался к домику Марты, чтобы посмотреть, не вернулась ли она. Куда она уехала? Но даже если бы ему и удалось ее найти, что изменилось бы? Для него ничто уже не могло измениться!

Однажды вечером он чуть было не столкнулся с Дагни. Она выходила из лавки и оказалась так близко от него, что едва не задела его локтем. Ее губы дрогнули, словно она хотела заговорить с ним, но вдруг она вся

залилась краской и так ничего и не сказала. Он почему-то не сразу узнал ее, от растерянности даже остановился на мгновение и посмотрел на нее, но потом резко отвернулся и пошел прочь. Она шла за ним, он слышал, что она все ускоряет и ускоряет шаг; ему казалось, что она старается его догнать, и он тоже прибавил ходу, чтобы уйти, чтобы спрятаться от нее. Он боялся ее, она наверняка принесет ему еще какое-нибудь несчастье! Наконец он добрался до гостиницы, вбежал в холл и, охваченный настоящей паникой, стремглав кинулся вверх по лестнице к себе в комнату. Слава богу, он спасен!

Это было 14 июля, во вторник...

На следующее утро он принял, казалось, решение действовать. За эти дни он внешне сильно изменился, лицо его стало землисто-бледным и как бы застыло в неподвижности, а глаза остекленели, утратили выражение. И все чаще случалось ему долго бродить по улицам, прежде чем он замечал, что кепку свою он опять оставил в гостинице. В этих случаях он всякий раз говорил себе, что так продолжаться не может, что надо этому положить конец; и, говоря это, он до боли сжимал кулаки.

Встав в среду утром с постели, он первым делом вынул из кармана жилета пузырек с ядом и принялся его изучать; взболтнул его, понюхал и снова спрятал. Пока он одевался, он по старой привычке отдался нескончаемому и бессвязному потоку мыслей, которые постоянно его терзали и не давали отдыха его усталой голове. Его мозг работал с невероятной, с безумной быстротой. Он был так возбужден и в таком отчаянии, что с трудом сдерживал слезы, бесчисленные тревоги одолевали его.

Да, слава богу, у него есть этот пузырек! Жидкость прозрачна, как вода, и пахнет миндалем. Скоро ей найдется применение, очень скоро, раз нет другого выхода. Значит, пришел конец. Ну что ж, можно и так. А он-то мечтал, прекраснодушно мечтал свершить нечто значительное на земле. Нечто такое, от чего нынешние людоеды содрогнулись бы и осенили себя крестным знаменем,—но ничего не вышло, не удалось... Почему же ему не использовать эту жидкость по назначению? Остается лишь одно — выпить ее со спокойным лицом. Да, да, и он это сделает, когда придет срок, когда пробьет его час.

И Дагни победит...

Какая невероятная сила в этой девушке, такой, казалось бы, обыкновенной, с длинной косой и таким спокойным сердцем! Теперь он понимает этого несчастного,

который не захотел жить без нее, того, что писал про сталь и про последнее «нет»; его поступок уже не вызывает у него удивления, Карлсен нашел выход, а что, собственно, ему оставалось делать?.. Как вспыхнут ее темно-синие глаза, когда она узнает, что и он отправился по тому же пути. Но я люблю тебя, люблю тебя за твою злость, люблю не только за хорошее, но и за дурное. Ты измучила меня своей снисходительностью — и как ты только миришься с тем, что у меня не один, а два глаза? Тебе следовало бы отнять у меня второй глаз, а лучше — оба. Как ты только терпишь, что я свободно хожу по улицам и что у меня есть крыша над головой? Ты оторвала от меня Марту, но я все равно люблю тебя, и ты знаешь, что я все равно тебя люблю. И смеешься над этим. А я люблю тебя и за то, что ты смеешься над этим. Можешь ли ты требовать большего? Неужто этого мало? Твои тонкие белые руки, твой голос, твои светлые волосы, твой ум, душу твою я люблю больше всего на свете, не могу перестать любить, и нет мне спасенья. Господи, помоги мне! Как тебе хотелось бы еще больше унижить меня, выставить меня на посмешище, но что с того, Дагни, раз я все равно тебя люблю. Мне это безразлично, по мне — поступай, как тебе заблагорассудится, для меня ты всегда будешь такой же прекрасной и достойной любви, я с радостью признаюсь в этом. Я тебя чем-то разочаровал, ты считаешь меня жалким и плохим, думаешь, что я способен на любую низость. Ты заподозрила меня в том, что я готов пойти на хитрость, лишь бы казаться повыше ростом. Ну и что ж? Раз ты так говоришь, значит, так оно и есть, и я откроюсь тебе: во мне все дрожит и ликует, когда ты это говоришь. Даже когда ты смотришь на меня с презрением или, повернувшись ко мне спиной, не достаиваешь меня ответом, или пытаешься догнать меня на улице, чтобы унижить меня, — даже тогда мое сердце переполнено любовью к тебе. Пойми меня, я сейчас не обманываю ни тебя, ни себя, но даже если ты опять будешь смеяться, мне все равно, мое чувство от этого не изменится. Если мне случилось бы найти когда-нибудь брильянт, я назвал бы его Дагни, потому что одно твое имя обжигает меня радостью. Я дошел до того, что хотел бы все время слышать твое имя, хотел бы, чтобы его называли все люди, и все звери, и все горы, и все звезды, чтобы я был глух ко всему остальному и только твое имя звучало бы в моих ушах, как непрекращающаяся музыка, денно и ночью, всю мою

жизнь. Я хотел бы в твою честь ввести новую клятву, клятву для всех народов земного шара — только чтобы прославить тебя. И если бы я согрешил этим против Господа и Господь предостерег бы меня, я ответил бы: считай мне этот грех, я заплачу за него своей душой, когда придет время, когда пробьет мой час...

Как странно все получается! Я вдруг остановился на своем пути, но ведь я все тот же, исполнен силы, живой. Мне открыты все те же возможности, я могу свершать те же поступки, что и раньше; так почему же я вдруг остановился на своем пути, почему все возможности стали вдруг невозможными? Неужели я сам в этом виноват? Я не знаю, в чем моя вина; я владею всеми своими чувствами, у меня нет дурных привычек, я не подвержен ни одному пороку, и я не кидаюсь слепо навстречу опасности. Я думаю как прежде, чувствую как прежде, владею собой как прежде, да и людей оцениваю как прежде. Я иду к Марте, я знаю, что в ней — мое спасение, она — мой добрый гений, мой ангел-хранитель. Она боится, она исполнена страха, но в конце концов она уже хочет того же, что и я, она дает свое согласие. Хорошо. Я мечтаю о мирной, счастливой жизни. Мы удаляемся в глушь, живем в полном уединении, в хижине на берегу ручья, мы гуляем по лесу, она — в коротком платье, я в башмаках с пряжками — все точь-в-точь так, как того требует ее доброе чувствительное сердце. Почему же нет? Магомет пришел к горе! И Марта со мной, она наполняет мои дни чистотой, а ночи — покоем, и Господь Бог на небе благословляет наш союз. Но вот свет вмешивается в нашу жизнь, свет возмущен, свет считает, что это существо безумие. Свет утверждает, что ни один благоразумный мужчина и ни одна благоразумная женщина не поступили бы так, а значит, поступать так — безумие. И я стою один, один против всех, и топаю ногой, и кричу, что нет, это благоразумно! Что знает свет? Ничего. Люди привыкают к чему-то новому, принимают и признают его только после того, как это новое признал какой-нибудь учитель; все на свете лишь предположение, даже такие понятия, как время, пространство, движение, материя тоже лишь предположение. Люди ничего не знают точно, они лишь предполагают...

На мгновенье Нагель рукой заслонила глаза и несколько раз помотала головой, словно перед ним все ходуном пошло. Он стоял посреди комнаты.

О чем же это я думал?.. Хорошо, она боится меня; но ведь мы все же договорились. И я сердцем чувствую, что

всегда делал бы ей только добро. Я хочу порвать со светом, я отсылаю ему кольцо обратно; я блуждал, как глупец, среди других глупцов, делал глупости, даже играл на скрипке, и толпа кричала мне: «Хорошо рычишь, лев!» Меня тошнит при воспоминании о моем бесконечно пошлом триумфе, когда людоеды мне аплодировали. Я не желаю больше конкурировать с телеграфистом из Кабелвога, я уйду в мирную долину, превращаюсь в мирного обитателя леса, я молюсь своему богу, распеваю веселые песни, становлюсь суеверным. Бреюсь только в часы прилива и засеваю свое поле в зависимости от крика тех или иных птиц. А когда я устаю от работы, жена выходит из хижины и, стоя в дверях, ласково мне улыбается и кивком подзывает меня, и я благословляю ее и благодарю за эту ласковую улыбку... Марта, ты ведь согласилась, правда? Ты так твердо сказала мне «да» под конец, когда я тебе все объяснил, ты и сама уже этого хотела. И все же ничего, ничего не вышло. Тебя просто увезли, застигли врасплох и увезли, не на твою, но на мою погибель.

Дагни, я не люблю тебя, ты стоишь мне всюду поперек дороги, я не люблю твоего имени, оно меня раздражает, я искажаю его, я говорю «Дагни» и высовываю при этом язык. Христом-Богом молю, выслушай меня. Я хочу прийти к тебе, когда пробьет мой час и я умру, я явлюсь тебе на фоне стены с лицом трефового валета, я приму облик скелета и буду преследовать тебя, плясать вокруг тебя на одной ноге, и руки отнимутся у тебя от моего прикосновения. Я сделаю это, я сделаю это! Да сохранит меня Господь от тебя ныне и присно и во веки веков, а это значит, пусть ты достанешься черту, всеми силами души я молю об этом...

Ну и что же, что же в конце концов? Я все-таки люблю тебя, Дагни, и ты прекрасно знаешь, что я люблю тебя несмотря ни на что, что я раскаиваюсь в тех горьких словах, которые сказал. Ну и что же дальше? Что толку? Да и кто знает, не к лучшему ли все сложилось? Если ты скажешь, что к лучшему, значит, так оно и есть, я чувствую, как ты, я странник, которого остановили на пути. Но даже если бы ты и захотела, порвала со всеми остальными и связала бы свою судьбу со мной — чего я, конечно, не заслуживаю, но все же предположим, что это случилось бы, — к чему бы это привело? Ты хотела бы помочь мне осуществить мои замыслы, хотела бы, чтоб я совершил то, что мне положено на земле, — но говорю

тебе, мне стыдно, мое сердце останавливается от стыда при одной мысли об этом. Я делал бы все, как ты хотела, потому что я люблю тебя, но при этом я страдал бы в глубине души... Но какой, черт побери, смысл строить одно за другим эти предположения, когда все они исходят из невозможного. Ты не хочешь порвать со всеми остальными и связать свою судьбу со мной, ты злорадствуешь, смеешься надо мной, издеваешься. Какое мне дело до тебя? Точка.

Пауза. В запальчивости:

Впрочем, имей в виду, я выпью сейчас вот этот стакан воды и пошлю тебя ко всем чертям. На редкость глупо с твоей стороны думать, что я тебя люблю, что я буду еще обременять себя этим теперь, когда мой час вот-вот пробьет. Я ненавижу твой мещанский образ жизни, такой благополучный, такой причесанный и такой пустой. Я ненавижу его, Бог тому свидетель, и я исполнен святого гнева, когда думаю о тебе. В кого бы ты меня превратила? Ха-ха, готов поклясться, что ты сделала бы из меня великого человека! Ха-ха, ведь мне в душе стыдно за твоих великих людей...

Великий человек! Сколько на свете великих людей? Сперва — великие норвежцы, это вообще самые великие люди на свете. Потом — великие люди во Франции, в стране Гюго и других поэтов. А есть еще великие люди и в балагане Барнума. И все это множество великих людей разгуливает по земному шару, который по сравнению с Сириусом не больше обыкновенной вши. Но великий человек — это не маленький человек, великий человек не живет в Париже, а пребывает в Париже. Великий человек стоит на такой недостижимой высоте, что видит поверх своей головы. Лавуазье просил, чтобы отсрочили его казнь, пока он не закончит какого-то химического исследования, а это то же самое, что сказать: «Не наступайте на мои чертежи». Ха-ха-ха, что за комедия! Когда даже Евклид, да, да, даже Евклид со всеми своими аксиомами ни на эре не прибавил ничего к основным жизненным ценностям. О, каким убогим, каким невзыскательным, каким негордым сделали люди мир Божий!

Великих людей создают совершенно случайно, из первых попавшихся профессионалов, из тех, кому случайно удалось усовершенствовать аккумулятор, или из тех, у кого случайно хватило мускульной силы пересечь Швецию на велосипеде. И великих людей заставляют писать книги, чтобы им поклонялись еще больше. Ха-ха, это

просто потеха, за такое стоит заплатить! В скором будущем каждая община заведет себе великого человека, какого-нибудь там юриста, или романиста, или полярного исследователя небывалой величины. И земля станет такой великолепно плоской и ровной, что окинуть ее взором будет проще простого.

Дагни, теперь настал мой черед. Я злорадствую, я смеюсь над тобой, я издеваюсь. Что тебе до меня? Я никогда не буду великим человеком...

Но предположим, что на свете есть невероятное количество великих людей, целый легион гениев такой-то и такой-то величины. Почему бы этого не предположить? Ну и что же? Количество их будет мне импонировать? Напротив, чем больше их будет, тем они покажутся обыденней. Или прикажете мне поступать, как поступает весь свет? Свет всегда остается верен себе, он принимает только то, что уже было принято, он восхищается великими людьми, падает перед ними на колени, бегает за ними, приветствуя их криками «ура!». И мне, что ли, так поступать? Комедия, чистая комедия! Великий человек идет по улице, а прохожий толкает в бок другого прохожего и говорит: «Вот идет такой-то и такой-то великий человек». Великий человек сидит в театре, одна учительница щиплет другую за тощую ляжку и шепчет: «Вот там, в боковой ложе, сидит такой-то и такой-то великий человек!» Ха-ха-ха! А он сам, этот великий человек, он что? Он благосклонно смотрит на это поклонение, да, да, именно так. Он считает, что люди правы, он заслуживает их внимания, принимает его как должное, не уклоняется, даже не краснеет. И с чего бы это он стал краснеть? Разве он не великий человек?

Но молодой студент Эйен не согласился бы с этим. Он сам собирается стать великим человеком. Ведь он пишет во время каникул роман. Он уличил бы меня в непоследовательности: «Господин Нагель, вы же сами себе противоречите. Поясните вашу точку зрения».

И я пояснил бы ему свою точку зрения.

Но юный Эйен не удовлетворился бы моим объяснением и спросил бы: «Значит, по-вашему выходит, что вообще нет великих людей?»

Да, он непременно задал бы мне этот вопрос уже после того, как я разъяснил бы ему свою точку зрения! Ха-ха-ха! Вот как он понял бы мой ответ. И все же я постарался бы ему терпеливо растолковать, что именно я имею в виду; я сел бы на своего любимого конька

и сказал бы: «Итак, мы имеем целый легион великих людей. Вы слышите, что я говорю? Их — целый легион! Но величайших из них — раз, два и обчелся». Вот видите, в этом и заключается разница. Скоро в каждой общине появится свой великий человек. Но величайший человек, быть может, так и не появится даже за тысячелетие. Под словами «великий человек» люди понимают талант, может быть, даже гениальность, а гений, бог ты мой, вполне демократическое понятие, уверяю вас; съедайте по несколько бифштексов в день, и ваш род обеспечен гениями до третьего, пятого или десятого колена. Для народа гений не означает нечто небывалое, короче, перед гением останавливаются, но он не поражает. Представьте себе такую ситуацию: ясным зимним вечером вы стоите у телескопа в обсерватории и наблюдаете созвездие Ориона. Вдруг за вашей спиной раздается: «Добрый вечер, добрый вечер». Вы оборачиваетесь — перед вами сам Фарнлей, он низко кланяется. Итак, к вам пришел великий человек, гений из боковой логи. А вы, конечно, ухмыляетесь себе под нос и поворачиваетесь к окуляру телескопа, чтобы снова наблюдать созвездие Ориона. Со мной однажды произошел такой случай... Вы поняли, что я имею в виду? Я хочу сказать: вместо того чтобы восхищаться обыкновенными великими людьми, при виде которых простые смертные с величайшим почтением толкают друг друга в бок, я предпочитаю отдать должное маленьким, никому не ведомым гениям, юношам, которые умерли очень рано, потому что такие души обречены, это нежные, мерцающие светляки, с которыми надо столкнуться, пока они еще живы, чтобы знать, что они существуют. Вот такие в моем вкусе. Но главное, я убежден, это уметь отличить величайшее от великого, воздвигнуть величайшее на такую высоту, чтобы оно не потонуло в пролетариате гениев. Я хочу, чтобы величайший из гениев занял подобающее ему место; так сделайте же выбор, заставьте меня преклониться, избавьте меня от гениев в масштабе коммуны, а это значит, надо найти величайшего, — его превосходительство Величайший...

На это юный Эйен скажет — да, я знаю его, он наверняка скажет: «Но согласитесь, ваши рассуждения в самом деле носят чисто теоретический характер, все это сплошные парадоксы».

Но я не могу согласиться с тем, что это только теория, никак не могу, видит бог! До чего же иначе я на все смотрю! Моя ли это вина? Я хочу сказать: виноват ли

лично я в этом? Я чужой, я чужестранец в этом мире, так сказать, причуда Бога, назовите меня как хотите...

С еще большим ожесточением.

И я говорю вам: мне глубоко безразлично, как вы меня назовете, я все равно не сдамся, никогда в жизни! Я стискиваю зубы, я ожесточаю свое сердце, потому что я прав; я один буду стоять против всего мира и все-таки не сдамся! Я знаю то, что я знаю, в глубине своего сердца я прав; в какие-то мгновения я вдруг ощущаю бесконечную связь во всем. Я должен еще что-то сказать, но я забыл что; однако я не сдаюсь: я разобью в пух и прах все ваши глупые представления о великих людях. Юный Эйен утверждает, будто мое мнение — это только теория. Хорошо, если мое мнение только теория, то я отказываюсь от него и найду новые доводы, еще более убедительные, чем те, что я приводил; я ведь ничего не боюсь. И я говорю... подождите, я убежден, что смогу сказать что-то еще более веское, потому что сердце мое знает правду; да, да, я говорю, я презираю и ненавижу великого человека из боковой ложи, для меня, если быть чистосердечным, он паяц и глупец, мои губы кривятся в усмешке, когда я вижу его выпяченную грудь и победоносное выражение на его лице. Разве великий человек сам добился своей гениальности? Разве он не родился уже гением? Так чего же кричать ему «ура»?

Но тут юный Эйен спрашивает: «Ведь вы сами хотели поставить его превосходительство Высочайшего гения на подобающее ему место, вы восхищаетесь этим Высочайшим гением, хотя он тоже не сам добился своей гениальности».

И юный Эйен думает, что он снова поймал меня на противоречии, да, ему это так представляется! Но я снова возражаю ему, потому что моими устами говорит святая правда; я и перед величайшим из великих не преклоняюсь, я даже от его превосходительства Высочайшего гения готов отречься, если это необходимо, если это очистит землю. Великим гением восхищаются за его величие, за то, что он достиг возможного предела гениальности,—мы воображаем, будто это его личная заслуга, будто гений не принадлежит всему человечеству и не является в буквальном смысле слова свойством материи. В том, что Высочайший гений случайно завладел частицей гениальности, которая должна была бы выпасть на долю его отца, его сына, его внука и правнука, и что он обобрал, таким образом, свой род на несколько столетий и вверг его в ничтожество,—в этом, конечно, нет его личной заслуги. Он просто обнаружил в себе гения, понял

свое предназначение и осуществил его... Теория? Нет, это не теория. Имейте в виду, что это мое убеждение, которое я выносил в своем сердце. Но если и это вам покажется теорией, то я найду еще не один убедительный довод, да, если надо будет, я смогу противопоставить вашим словам и третье, и четвертое, и пятое уничтожающее возражение, я буду стараться делать это как можно лучше, но я не сдамся.

Но юный Эйен тоже не хочет сдаваться, потому что его подпирает весь мир, и он говорит: «Значит, вы никем не восхищаетесь, ни одним великим человеком, ни одним гением!»

И я отвечаю ему, и ему становится все больше и больше не по себе, потому что он сам намерен стать великим человеком. Я выливаю на него ушат холодной воды и говорю: «Да, я не преклоняюсь перед гением. Но я преклоняюсь перед результатами деятельности гениев на земле, той деятельности, для которой великие люди являются только ничтожным орудием, так сказать, каким-нибудь жалким шилом, предназначенным делать дырки... Теперь ясно? Вы меня поняли?»

И продолжает, простирая руки:

— О, я сейчас снова увидел бесконечную внутреннюю связь всех явлений! Как это ослепительно, как это ослепительно! Великое откровение посетило меня в этот миг, прямо здесь, посреди комнаты! Для меня не было больше тайн, я постиг все до самого дна, свет бездны ослепил меня!

Пауза.

Да, да, да, да, да, да! Я чужой среди людей, и скоро пробьет мой час. Да, да... Собственно говоря, какое мне дело до великих людей! Никакого! Вот только то, что эта шумиха с великими людьми — комедия, шарлатанство, обман. Хорошо! Но разве не все на свете комедия, шарлатанство, обман? Конечно, конечно, все только обман. Камма, и Минутка, и все люди, и любовь, и сама жизнь — обман; все, что я вижу, и слышу, и воспринимаю, — обман, даже синева неба — это озон, яд, вкрадчивый яд... А когда небо совсем ясное и синее, я поднимаю парус на своей лодке, там, наверху, и меня тихонько гонит вперед, по синему, обманчивому озону. И лодка из благоуханного дерева, и парус...

Дагни сама сказала, что это прекрасно. Дагни, ты это сказала, и я благодарю тебя, несмотря ни на что, потому что ты это сказала и сделала меня тогда таким

счастливым, что я весь задрожал от радости. Я помню каждое твое слово, каждое я несу в себе и вспоминаю, когда брожу по дорогам и думаю о разных разностях, я никогда не забываю ни одного... И теперь, как только пробьет мой час, ты победишь. Я не хочу больше тебя преследовать. И не хочу тебе являться ночью на фоне стены; ты должна мне простить, что я пугал тебя, я говорил так из мести. Нет, я приду к тебе, когда ты будешь спать, чтобы обвевать тебя белыми крыльями, а когда ты проснешься, я буду ходить за тобой и нашептывать тебе добрые слова. Быть может, ты улыбнешься мне в ответ, когда их услышишь, да, быть может, ты улыбнешься мне. А если у меня не будет белых крыльев или если мои крылья будут недостаточно белы, я попрошу Божьего ангела сделать это вместо меня, а сам я к тебе не подойду, я забьюсь в уголок и буду оттуда смотреть, как ты, быть может, улыбнешься ему. Да, я это сделаю, если только смогу, и хоть немного исправлю все то зло, которое тебе причинил. Я так радуюсь, когда думаю об этом, и меня томит только одно желание—поскорей бы, поскорей! Быть может, я смогу тебя порадовать и каким-нибудь другим чудесным образом. Я хотел бы петь над твоей головой утром в воскресенье, когда ты идешь в церковь, и об этом я тоже буду просить ангела. Если он не захочет этого для меня сделать и я не смогу его убедить, я брошусь перед ним на колени и буду молить его все более и более смиренно до тех пор, пока он не услышит меня. Я обещаю ему за это что-нибудь хорошее, и я дам ему то, что пообещаю, я буду оказывать ему множество разных услуг, если он будет так добр... Да, да, я сумею это устроить, и мне уже не терпится поскорее начать, я в восторге, когда об этом думаю. Но теперь мне недолго осталось ждать моего часа, я сам ускорю его приход, я с радостью жду его... Подумать только, когда рассеется туман, ха, ха, ха, ха...

В счастливом возбуждении, в состоянии какого-то необычайного подъема сбежал Нагель вниз по лестнице и вошел в столовую. Он все еще пел. Но тут пустяковый случай разом перебил его ликование и на несколько часов снова погрузил его в самое мрачное настроение. Продолжая напевать, он торопливо завтракал, стоя у стола, да, он так и не сел, хотя был не один в столовой. Заметив, что двое других постояльцев глядят на него с явным недовольством, он вдруг стал перед ними извиняться:

если бы он их прежде заметил, то не позволил бы себе здесь шуметь. Дело в том, что в такие дни, когда стоит такая погода, он вообще ничего не видит и не слышит вокруг себя; ну, что за дивное утро! Нет, послушайте только, мухи уже жужжат!

Но он не получил никакого ответа на свои слова, у обоих посетителей были все те же недовольные физиономии, и они с важным видом разговаривали о политике. Настроение у Нагеля тут же упало. Он умолк и тихо вышел из столовой. На улице он зашел в первую попавшуюся лавочку, запасся сигарами и направился, как обычно, в лес. Было половина двенадцатого.

Да, если бы люди не всегда оставались верны себе! Вот хотя бы эти два адвоката или коммивояжеры, у того и другого брюшко и короткие, толстые пальцы; салфетки они заткнули прямо под подбородок. Ему следовало бы вернуться в гостиницу и посмеяться над ними! Кем они могут быть, эти благородные господа? Коммивояжеры, торгующие крупной, дешевой кожей или бог его знает чем, возможно, просто глиняными горшками. Да уж, есть кому оказывать особое уважение! И все же они в одно мгновение развеяли всю его радость. А ведь у них даже импозантной внешности нет! Впрочем, один из них еще выглядит ничего, но у второго — у того, что торгует кожами, — кривой рот, который открывается только с одной стороны, так что он напоминает скорее петлицу. А из ушей у него кучками торчат седые волосы. Тьфу, он страшен как смертный грех! Но разве можно выражать свою радость, напевая себе под нос песенку, если такая цаца сидит за столом!

Да, люди действительно всегда верны себе, тут ничего не скажешь! Господа говорят о политике, господа обсуждают результаты выборов! Слава богу, не все потеряно. Бускеруда еще можно спасти для правых! Ха-ха, как забавно было наблюдать за их самодовольными физиономиями, когда они это говорили. Словно норвежская политика не что иное, как премудрость глупцов, замешенная на крестьянских дрожжах.

Но только, черт побери, не смей петь веселой песенки, не мешай работать депутату стортинга Уле! А то не избежать неприятностей. Тише: Уле думает, Уле изучает... О чем же размышляет Уле? Какие политические предложения он внесет завтра в стортинге? Ха-ха-ха, доверенное лицо в маленьком норвежском мирке, избранный народом, чтобы подавать реплики в комедии, которую

разыгрывают на сцене страны, да при этом еще облаченный в священный национальный костюм, с жевательным табаком за щекой, в бумажном воротничке, размокшем от честного трудового пота. Прочь с дороги, когда идет избранник народа, посторонитесь, черт возьми, чтобы дать ему пройти!

Боже праведный, почему же только круглые, жирные нули увеличивают числа?

Впрочем, точка. К черту нули! Все это надувательство так надоедает, что больше не хочется его касаться. Лучше пойти в лес и растянуться на земле под просторным небом — там более подходящее место для чужестранца и для птиц... Легко отыскать заболоченную прогалину, лечь плашмя прямо на влажный мох и радоваться тому, что тебя всего так и пронзает сырость. Уткнешься головой в тростник и в набрякшие водой листья, и всевозможные букашки, червячки и крошечные мягкие ящерки заползают тебе в одежду, ползут по твоему лицу и разглядывают тебя своими зелеными шелковистыми глазами, а со всех сторон тебя обступает покой и тишина леса, и легкий ветерок обвеивает, и Господь Бог сидит себе на небе и смотрит вниз на тебя, на свою самую причудливую причуду. Го-го-го. Настроение тут же исправляется, тебя охватывает небывалая, нездешняя, дьявольская радость, такая, которую еще никогда не испытывал. Ты способен на любое безумие, на все, что только не взбредет тебе в голову, правда и ложь для тебя перепутались, весь мир ты повернул вверх тормашками, и ты счастлив, словно свершил благое дело. А почему бы и нет? Ты во власти неведомых импульсов, впал в какое-то странное состояние и отдаешься ему, охваченный своего рода горьким ликованием. Ты испытываешь непреодолимое желание превозносить до небес все то, над чем ты прежде насмеялся; радуешься, чувствуя, что готов бороться за вечный мир, у тебя возникает желание возглавить комиссию по разработке усовершенствованной обуви для почтальонов, ты испытываешь необходимость замолвить словечко за Понтуса Викнера и выступить публично в защиту извечного миропорядка и Господа Бога. К черту внутреннюю связь явлений, тебе уже наплевать на нее, к черту ее, тебе на все, на все наплевать. «Что-то стало жарко. Ах, солнце светит ярко...» Чувства берут верх, ведь верно, ты настроиваешь арфу и распевашь псалмы и гимны, да так благолепно, что и выразить невозможно.

С другой стороны, когда ты внутренне отдаешься на волю волн и ветер гуляет у тебя в душе, то со дна ее

вихрем поднимается всякая муть. Но пусть тебя несет, пусть несет, как приятно без сопротивления отдаться этому потоку. Да и зачем сопротивляться? Ха-ха, неужели запоздалому страннику нельзя провести последние мгновения так, как ему охота? Да или нет? Точка. И ты проводишь эти мгновения так, как тебе охота.

А ведь заняться можно было бы самыми разными вещами; можно было бы употребить свои силы на решение задач внутри страны, или популяризировать японское искусство, или содействовать процветанию Галлингданской железной дороги,— не важно, чему посвятить себя, лишь бы только как-то использовать свои силы, помочь чему-то осуществиться. Ты вдруг понимаешь, что такой человек, как И. Хансен, тот самый достопочтенный портной, которому ты в свое время заказал сюртук для Минутки, да, так вот, что этот Хансен имеет неоценимые заслуги как гражданин и как человек; начинаешь с того, что испытываешь уважение, а кончаешь тем, что проникаешься к нему любовью. Почему ты его любишь? Да просто потому, что тебе так хочется, и еще из упрямства, от той ожесточенной радости, которая владеет тобой, и потому, что ты впал в какое-то странное состояние, которому не противишься. Ты шепотом выражаешь ему свое восхищение, искренне желаешь всяческого благополучия, а уходя, суешь ему в руки, бог его знает почему, свою медаль за спасение на водах. Почему бы этого не сделать, раз ты во власти неведомых импульсов? Но этого мало, ты начинаешь еще раскаиваться в том, что когда-то без должного почтения говорил о депутате стортинга Уле... И только тут ты по-настоящему отдаешься сладостному безумию, хо-хо, да еще как отдаешься!

Чего только депутат стортинга Уле не сделал для государства! Мало-помалу у тебя открываются глаза, и ты видишь в верном свете его преданную и честную деятельность, и сердце твое смягчается. Ты исполнен умиления, ты всхлипываешь и даже плачешь от сострадания к нему и даешь себе в душе клятву вознаградить его сторицей. Мысль об этом старике, пришедшем прямо из народа, из народа борющегося и страждущего, наполняет твое сердце такими святыми и необузданными чувствами, что ты готов реветь белугой. Чтобы воздать Уле по заслугам, ты начинаешь чернить всех и вся, ты находишь особое удовольствие в том, что ему во славу отказываешь другим в каких-либо достоинствах, выскиваешь самые выразительные и пышные слова, чтобы

его возвеличить. Начинаешь утверждать, что Уле сделал почти все, что вообще сделано на земле, что это он написал единственное фундаментальное исследование о спектральном анализе, которое необходимо прочесть, что, собственно говоря, он один в 1719 году вспахал все американские прерии, что он изобрел телеграф, а к тому же побывал на Сатурне и пять раз разговаривал с Господом Богом. Конечно, ты прекрасно знаешь, что ничего этого Уле не делал, но из отчаянного сострадания к нему ты все же утверждаешь, что он сделал, сделал, и при этом ревешь пуще прежнего, и божишься, и клянешься, что готов принять самые страшные муки ада, если это не так. Почему ты так поступаешь? Из раскаяния, чтобы воздать Уле сторицей! И ты начинаешь петь, чтобы его еще больше прославить, ты поешь постыдные, богохульственные гимны, ты уверяешь, что Уле сотворил мир, и расставил по местам и солнце, и звезды, и создал таким образом вселенную. А затем следует длинный ряд самых страшных клятв в подтверждение того, что это все истинная правда. Короче говоря, именно раскаяние доводит тебя до редчайшей, опьяняющей разнузданности мысли, до изошренных клятвопреступлений, до подлинного богохульства. И всякий раз, когда ты придумываешь во славу Уле что-то уж совершенно неслыханное, ты подтягиваешь под себя коленки и тихо хихикаешь от удовольствия, что тебе удалось наконец воздать Уле Улево. Да, Уле получит все сполна, Уле это заслужил, потому что ты говорил о нем без должного почтения, а теперь в этом раскаиваешься.

Да... Так как же это было... Надо вспомнить... Не сочинил ли ты однажды гадкого, пошлого стишка насчет тела... Да, да, насчет мертвого тела... Постой, это касалось одной девицы, совсем молоденькой, она умерла и благодарила Бога за то, что он одолжил ей на время тело, которым она так и не воспользовалась. Стоп. Вспомнил. Это относилось к Мине Меек. Да, сейчас я вспомнил это совершенно отчетливо и сгораю от стыда. Чего только не болтаешь всуе, а потом сожалеешь и готов в голос выть от стыда, прямо криком кричать. Впрочем, об этом стишке знает только Минутка, но мне самому мучительно стыдно перед самим собой. Не говоря уже о той глупости, которую я сморозил насчет эскимоса и бювара,—этого я никогда себе не прощу. Тьфу! Господи, готов сквозь землю провалиться!.. Спокойствие! Выше голову! К черту это самоедство! Подумать только,

что если когда-нибудь Всевышний соберет всех праведников на небесах в царствии своем, то ты окажешься среди них. Уф! Пронеси, господи! До чего же все это скучно, невыносимо скучно...

Когда Нагель вошел в лес, он свернул на первую приглянувшуюся ему полянку и упал ничком на вереск, уткнувшись лицом в руки. Что за сумбур в его голове, что за коловращение нелепых мыслей! Несколько мгновений спустя он уже крепко спал. Не прошло и четырех часов, как он встал с постели, и все же он заснул, будто провалился, смертельно усталый, вконец истощенный.

Был уже вечер, когда Нагель проснулся. Он огляделся по сторонам; солнце садилось, вот-вот оно скроется за паровой мельницей, птицы с громким щебетом летали от дерева к дереву. Голова у него была ясная, никаких тревожных мыслей, никакой горечи, он был совершенно спокоен. Он прислонился к стволу и задумался. Сейчас ему это сделать? В конце концов какая разница, часом раньше, часом позже? Нет, сперва надо привести в порядок кое-какие дела, написать письмо сестре, оставить Марте некоторую сумму в конверте, на память о себе; нет, сегодня вечером он не может умереть. И в гостинице он не уплатил по счету. Да и о Минутке ему тоже хотелось бы позаботиться.

Он медленно пошел назад в город. Но завтра вечером это случится, в полночь, без каких бы то ни было эффектов, быстро и просто, быстро и просто!

Когда пробило три часа утра, Нагель все еще стоял у окна своего номера и глядел на рыночную площадь.

ХІХ

На следующую ночь, часов около двенадцати, Нагель вышел наконец из гостиницы. Никаких особенных приготовлений он не сделал, только написал сестре и положил несколько купюр в конверт для Марты. Его чемоданы, футляр от скрипки и старое кресло, которое он купил, стояли на своих прежних местах, на столе валялось несколько книг. По счету в гостинице он тоже не уплатил, совершенно забыв об этом. Перед тем как уйти, он попросил Сару стереть пыль с подоконников, пока его не будет, и Сара обещала это сделать, несмотря на поздний

час. Затем он тщательно вымыл руки и лицо и вышел из номера.

Все это время он был совершенно спокоен, скорее даже апатичен. Господи, есть из-за чего суетиться и поднимать шум! Годом раньше, годом позже, какое это имеет значение, да к тому же с мыслью о таком конце он жил уже долгое время. А теперь у него нет больше сил, он так устал от своих разочарований, от множества рухнувших надежд, от всего этого лицедейства, от изощренного ежедневного обмана окружавших его людей. И он подумал о Минутке, которому тоже оставил конверт с небольшой суммой, хотя чувство недоверия к этому жалкому, кособокому калеке никогда не покидало его. Подумал он и о фру Стенерсен, об этой болезненной, измученной астмой женщине, которая изменяет мужу прямо на глазах, никогда ничем себя не выдавая. Вспомнил он и об алчной малютке Камме, которая преследовала его по пятам и всюду протягивала к нему в лицемерном порыве свои жадные руки, чтобы поглубже засунуть их в его карманы. На востоке и на западе, у себя дома и за границей — повсюду люди одинаковы, он в этом убедился. Все та же пошлость, тот же обман, то же безнадежное бесстыдство, — начиная с нищего, бинтующего здоровую руку, и кончая голубым небом, которое, как известно, не более чем озон. А он сам, разве он лучше? Нет, не лучше! Но он уже подошел к черте.

Он спустился к пристани, чтобы еще раз взглянуть на пароходы, а пройдя последний причал, вдруг снял с пальца железное кольцо и швырнул его в море. Он видел, как оно упало в воду, далеко от берега. Вот в последнюю минуту все-таки делаешь попытку освободиться от всех этих фокусов.

Возле домика Марты Гудэ он остановился и в последний раз заглянул в окно. Там было тихо, как все эти дни. Пусто.

— Прощай, — сказал он.

Сам того не замечая, он направился к дому пастора. Он спохватился только тогда, когда сквозь поредевшие на опушке деревья стал виден двор усадьбы. Он остановился. Куда он идет? Что ему здесь надо? В последний раз взглянуть на два окошка на втором этаже в тщетной надежде увидеть лицо, которое ему ни разу, ни разу не удавалось там увидеть, — нет, этого он все-таки не допустит! Правда, он собирался это сделать, но он этого не сделает! Он постоял еще некоторое время и неотрывно

смотрел на усадьбу пастора, он был в смятении, его неудержимо влекло...

— Прощай,— снова сказал он.

Затем он резко повернул и пошел по узкой тропинке, которая вела в лесную чащу.

Теперь можно идти куда попало и остановиться на первой подходящей полянке. Главное, никакой нарочитости и никаких сантиментов. Как нелеп был Карлсен в его смехотворном отчаянии. И стоит ли эта нехитрая затея так тщательно подготовленной мизансцены?.. Тут он замечает, что на одном башмаке у него развязался шнурок, останавливается, ставит ногу на кочку и завязывает его. Потом он садится на землю.

Он сел машинально, сам не заметив этого. Он огляделся по сторонам: высокие ели, вокруг высокие ели, кое-где кусты можжевельника да вереск, покрывающий землю. Хорошо. Хорошо!

Он вытаскивает из кармана бумажник и прячет в него письма, адресованные Марте и Минутке, в особом отделении хранится, завернутый в бумагу, кружевной платок Дагни. Он достает его, целует много раз, становится на колени, снова целует и затем начинает рвать его на мелкие лоскутки. Это занимает довольно много времени; вот уже час ночи, затем половина второго, а он методично рвет лоскутки, все мельче и мельче. Наконец, когда от платка остались одни нитки, он встает и прячет их под камень, прячет старательно, чтобы никто не смог их обнаружить, и снова садится. Ну, как будто все... Он силится вспомнить, что еще нужно сделать, но ничего не находит. Тогда он вынимает часы и заводит их, как всегда перед сном.

Он снова глядит вокруг. В лесу довольно темно, но, кажется, все спокойно. Он прислушивается, задерживает дыханье и снова прислушивается, но не слышит ни звука — птицы молчат, лес словно вымер; мягкая, тихая ночь. Он сует пальцы в карман жилета и вытаскивает заветный пузырек.

Пузырек заткнут стеклянной пробкой, а на нее надет колпачок из тройного слоя плотной бумаги, обмотанный синей аптекарской ленточкой, он развязывает ленточку и вынимает пробку. Жидкость, прозрачная, как вода, со слабым миндальным запахом. Нагель подносит пузырек к глазам — он наполнен до половины. И тут издали доносится какой-то странный, приглушенный звук — два гулких удара; это башенные часы в городе проббили два.

Он шепчет: час пробил! Он поспешно подносит пузырек к губам и выпивает все до капли.

Некоторое время он еще сидел в той же позе, с закрытыми глазами, сжимая в одной руке пустой пузырек, в другой — пробку. Все произошло так легко и естественно, что он даже не успел отдать себе отчет в случившемся. Только немного спустя голова потихоньку снова заработала, он открыл глаза и растерянно огляделся вокруг. Значит, он больше никогда не увидит всего этого — этих деревьев, этого неба, этой земли. Как странно! Яд уже гуляет в его жилах, проникает во все сосудики, прокладывает себе путь по голубым артериям, скоро начнутся судороги, а потом он застынет в неподвижности.

Он явно ощущал горький вкус во рту, и язык его все больше и больше деревенел. Он стал делать какие-то бессмысленные движения руками, чтобы узнать, насколько смерть уже одолела его, начал считать деревья, досчитал до десяти и бросил. Неужели он умрет, действительно умрет этой ночью? Нет, нет, только не этой ночью! Как все это странно!

Да, он умрет, он так ясно чувствует действие кислоты где-то там, внутри. Но почему именно сейчас, немедленно? Господи, только бы не сейчас! Нет, неужели сейчас? У него уже начинает темнеть в глазах! Как гулко в лесу, хотя нет ветра... Почему над верхушками деревьев проносятся красные облака?.. Нет, только не сейчас, только не сейчас! Нет, слышишь, нет! Что мне делать? Я не хочу! Боже милостивый, что мне делать?

И вдруг целый сонм мыслей бешено закружился у него в голове. Он не готов, он должен уладить тысячу разных дел! Его разгоряченный мозг пылал — столько всего ему надо было еще успеть сделать! Он даже не уплатил по счету в гостинице, он забыл об этом, да, видит бог, такая оплошность, ее необходимо исправить! Нет, этой ночью смерть должна его пощадить! Смилоствисься, смилоствисься хотя бы на час, чуть больше, чем на час! Боже праведный, да он забыл написать еще одно письмо, важное письмо, хотя бы несколько строк одному человеку в Финляндии относительно своей сестры, ведь речь идет о всем ее состоянии!.. В этом взрыве отчаяния его голова работала так напряженно и четко, что он подумал даже о своей подписке на газеты. Да, ведь и от этой подписки он не отказался, значит, газеты будут все время приходить, это никогда не прекратится, вся его комната будет забита газетами до самого потолка. Что ему делать? Ведь он уже полумертв!

Он обеими руками вырывает вереск, кидается плашмя на землю, катается на животе, засовывает себе пальцы в горло, пытаясь вызвать рвоту и освободиться от яда, но все тщетно. Нет, он не хочет умереть, не хочет умереть этой ночью, и завтра тоже не хочет, он вообще не хочет умереть, никогда! Он хочет жить, да, вечно жить и видеть солнце, он не хочет, чтобы эти несколько капель яда оставались в его нутре, он извергнет их, прежде чем они его убьют. Вызвать рвоту, черт возьми, скорее, как можно скорее!

Обезумев от страха, он вскакивает на ноги и начинает метаться по лесу в поисках воды. Он кричит: «Воды! Воды!» И эхо далеко разносит его крики. Несколько минут он просто беснуется, кидается в разные стороны, натывается на стволы, перепрыгивает через кусты можжевельника и громко стонет. Воды он так и не находит. Наконец он спотыкается и падает ничком, взрывает руками землю, поросшую вереском, и чувствует легкую боль в левой щеке. Он хочет приподняться, встать, но падение как-то оглушило его, он снова валится на землю, все более и более слабеет и уже не пытается двигаться.

Значит, так тому и быть,—ничего не поделаешь! Боже праведный, он все же умирает! Быть может, если бы у него еще хватило сил найти воды, он спасся бы. Ох, как печально все это сейчас кончится, а когда-то он был так полон ожиданий! Теперь ему суждено умереть от яда под открытым небом! Но почему он не коченеет? Он еще может пошевелить пальцами, поднять веки; как долго это тянется, как долго!

Он провел рукой по лицу, оно было холодным и мокрым от пота. Он упал лицом вниз, так он и остался лежать, не пытаясь даже повернуться. И каждый сустав у него дрожал; из разодранной щеки текла кровь, но он ничего не делал, чтобы ее остановить. Как долго это тянется, как долго! Он терпеливо лежит и ждет. Он снова слышит бой башенных часов, теперь уже пробило три. Он поражен. Неужели яд уже целый час в нем, а он все еще не умер? Он приподнялся на локте и взглянул на часы: да, три часа. Как это все же долго тянется! А может, оно и к лучшему, что он сейчас умирает! Он вдруг вспомнил о Дагни, которой хотел петь каждое воскресенье утром и вообще делать всяческое добро, и примирился со своей судьбой, даже слезы выступили у него на глазах. Он совсем расчувствовался, молился, тихо плакал и перебирал в голове все добрые дела, которые собирается делать для Дагни. Он будет ее защищать от всего плохого!

Быть может, уже завтра ему удастся прилететь к ней и быть возле нее, Господи, вот хорошо бы, если бы завтра, и сделать так, чтобы она проснулась, сияя от радости! Как дурно с его стороны, что еще минуту назад он не хотел умирать, хотя и знал, что смог бы доставить ей радость; он в этом раскаивается и просит у нее прощения, теперь он просто не понимает, о чем он тогда думал. Но сейчас она уже может на него положиться, он тоскует от желания поскорее прилететь к ней в комнату и стать у ее изголовья. Через несколько часов, а может, даже через час он будет там, да, обязательно будет. А если он сам не сможет этого сделать, ему наверняка удастся уговорить Божьего ангела полететь вместо него, он пообещает ему в награду что-нибудь очень хорошее. Он скажет ему: «Я не белый, мне нельзя, а ты можешь, потому что ты — белый, а за это делай со мной все, что тебе заблагорассудится. Ты так смотришь на меня потому, что я черный? Конечно, я черный, но чему тут удивляться? И я готов еще долго, очень долго оставаться черным, если ты окажешь мне милость, о которой я тебя прошу. Я согласен быть черным лишний миллион лет, и даже буду еще чернее, чем теперь, если ты этого потребуешь, и за каждое воскресенье, когда ты будешь петь для нее, ты можешь прибавлять по миллиону лет, если тебе угодно. Я не лгу, я найду еще многое, что можно тебе предложить, и себя при этом не стану щадить, ты только внемли моей мольбе! Тебе не придется лететь одному, я полечу с тобой, я понесу тебя, я буду махать крыльями за нас обоих, я сделаю это с радостью, и я не запачкаю тебя, хотя я и черный. Я буду все, все за тебя делать, а ты — отдыхать. Кто знает, быть может, я смогу и подарить тебе что-нибудь за это. Что-нибудь, что тебе пригодится. И если я получу какой-нибудь подарок, я тут же отдам его тебе. А вдруг мне посчастливится и я сумею кое-что заработать для тебя, кто знает...»

Да, в конце концов ему удастся уговорить Божьего ангела, в этом он не сомневался...

И снова бьют башенные часы. Он машинально считает удары, мысли его на этом не задерживаются. Главное — запастись терпением. Он молитвенно складывает руки и просит Бога поскорее послать ему смерть. Хорошо бы он умер через несколько минут, тогда он успел бы прилететь к Дагни еще до того, как она проснется. Он был бы всем так благодарен и пел бы всем хвалу, ему явили бы великую милость, теперь это его заветное желание...

Он закрыл глаза и заснул.

Нагель проспал три часа. Он проснулся оттого, что солнце светило ему прямо в лицо и воздух в лесу дрожал от оглушительного птичьего щебета. Он приподнялся на локтях и огляделся. Все, что случилось этой ночью, вдруг всплыло в его памяти. Пузырек валялся неподалеку. Вспомнил он и то, как яро молил он под конец Бога ниспослать ему скорую смерть. А он все-таки жив. Снова какие-то тайные обстоятельства спутали все его карты. Он ничего не понимал, тщетно силился постичь, что же произошло, и ясно ему было только то, что он еще жив.

Он встал, поднял пустой пузырек и сделал несколько шагов. Нет, что бы он ни предпринимал с самыми честными намерениями, он всегда наталкивался на препятствия. Что же случилось с ядом? Это была чистейшая синильная кислота, доктор подтвердил, что доза достаточная, более чем достаточная. Да он и сам проверил действие яда, отравив собаку пастора. Пузырек несомненно тот же самый, наполненный, как и был, наполовину. Он прекрасно помнит, что проверил это перед тем, как выпить его содержимое. Пузырек всегда был при нем, он постоянно носил его в кармане жилета. Что за тайные силы преследуют его на каждом шагу?

И вдруг его осенило, что пузырек все же побывал в чужих руках. Он остановился и даже прищелкнул пальцами. Да, он не ошибается. Минутка продержал его у себя целую ночь — это было после той попойки в гостинице, когда он подарил Минутке свой жилет. Пузырек с ядом, часы и кое-какие бумаги лежали в карманах жилета. Все эти вещи Минутка возвратил ему на другой день рано утром. Старая тварь, урод слабоумный, это, конечно, он ухитрился проявить свою гнусную доброту! Какое предательство, какая подлая выходка!

Нагель стиснул зубы от злости. Что он говорил в ту ночь в своем номере? Разве он не заявил во всеуслышанье, что у него никогда не хватит духу принять яд, а эта гниль, эта мерзкая карикатура на человека, этот юродивый сидел рядом с ним, притворно молчал, а в душе не поверил ни одному его слову. Вот негодяй, вот крот паршивый! Поспешил домой, тут же вылил синильную кислоту, потом небось хорошенько прополоскал пузырек и наполнил до половины водой и, сделав это доброе дело, улегся и заснул сном праведника!

Нагель зашагал по направлению к городу. За эти три часа сна он немного отдохнул, и теперь голова его работала ясно, но горькое чувство не покидало его. Он был

унижен всем, что случилось, и казался самому себе смешон. Подумать только, он явственно слышал запах миндаля, чувствовал, что язык его деревенеет, ощущал в себе смерть, а ведь в пузырьке была чистейшая вода! Он бесновался, скакал как полоумный через камни и кусты,— и все это из-за глотка колодезной воды! Злой, как собака, пунцовый от стыда, он остановился посреди дороги и завыл в приступе бессильной ярости. Но тут же стал озираться по сторонам в испуге, не слышал ли его кто-нибудь, и громко запел, чтобы хоть как-то оправдать свой вопль.

Но, по мере того как он шел, он все более успокаивался, исподволь отдаваясь теплоте этого сияющего утра и тысячеголосому щебету птиц. Навстречу ему ехала телега, возница поздоровался с ним, он ответил. Собака, бежавшая рядом, завиляла хвостом и приветливо заглянула ему в лицо... Почему ему не удалось просто и достойно умереть ночью? Он с грустью думал об этом, он ведь испытал чувство покоя, с легким сердцем принимая наступающий конец, и был исполнен тихой радости до той самой минуты, как закрыл глаза и погрузился в сон. Теперь Дагни уже встала, быть может, уже вышла из дому, а он ничем не смог ее обрадовать. Как жестоко он был одурачен! Минутка прибавил еще одно доброе дело к списку своих благодеяний. Он оказал ему услугу, спас ему жизнь — точно такую же услугу, которую сам Нагель в свое время оказал незнакомому юноше, не желавшему сойти на берег в Гамбурге. Тогда-то он и заслужил медаль «За спасенье на водах», ха-ха, заслужил медаль за спасенье! Да, вот так и спасаешь людей, ничтоже сумняшеся, творишь добрые дела, пренебрегая опасностью, смело идешь и спасаешь человека от смерти!

Стыдясь самого себя, он незаметно прокрался в свой номер и сел на стул. В комнате было чисто и уютно, протертые окна сияли, и на них даже висели новые, тщательно выглаженные занавески. На столе стоял букет полевых цветов. Никогда еще у него здесь в комнате не было цветов, и этот сюрприз удивил его и так обрадовал, что он стал потирать руки от удовольствия. Что за поразительное совпадение — как раз в такой день! Что за трогательное внимание со стороны бедной служанки гостиницы! Какая она все же милая, эта Сара! А утро и в самом деле выдалось просто удивительное. Даже там внизу, на рыночной площади, у всех радостные лица; продавец гипсовых статуэток сидит себе у лотка и с до-

бродушным видом покуривает свою глиняную трубочку, хотя еще не заработал ни одного зре... Быть может, не так уж худо, что его безумные намерения этой ночью не осуществились? Он с ужасом вспомнил о том страхе, который пережил, когда метался по лесу в поисках воды; при одной мысли об этом его вновь забила дрожь, и сейчас, когда он спокойно сидел на стуле в этой приветливой, светлой, залитой солнцем комнате, его вдруг охватило блаженное ощущение, что он спасен от всяческого зла. А на крайний случай у него в запасе всегда остается хорошее, надежное средство, к которому он еще не прибегал. В первый раз любого может постигнуть неудача — не вышло умереть, значит, живи! Но ведь существует, например, такой предмет, как маленький надежный шестизарядный револьвер, который в случае нужды легко купить в любом оружейном магазине. Отложить — не значит отказаться.

В дверь постучала Сара. Она услышала, что он вернулся, и пришла сказать, что завтрак подан. Когда она хотела уйти, Нагель остановил ее и спросил, она ли поставила эти цветы.

Да, она, но не стоит благодарности.

Он все же горячо пожал ей руку.

— Где вы пропадали всю ночь? — спросила она, улыбаясь. — Вы ведь не ночевали дома?

— Послушайте, — сказал он, не отвечая на ее вопрос, — так мило, что вы поставили мне цветы, к тому же вы протерли окна и повесили чистые занавески. Не могу выразить, какую радость вы мне доставили, и я хочу пожелать вам за это всяческих благ. — И вдруг, поддавшись одному из своих безумных порывов, весь во власти минутного настроения, он с жаром заговорил: — Послушайте, когда я приехал сюда, у меня была с собой шуба, бог ее знает, куда она делась, но она была, это точно. Так вот, я вам ее дарю, да, да, примите ее в знак моей благодарности. Решено — шуба ваша!

Сара громко, от души расхохоталась. Зачем ей шуба?

Да, да, она права, но уж пусть она распорядится шубой, как ей будет угодно. Пусть она доставит ему радость и примет от него этот подарок... Ее смех был так заразителен, что и он засмеялся вместе с ней и принялся шутить. Бог ты мой, до чего у нее красивые плечи! Но поверит ли она, что он знает ее прелести больше, нежели она подозревает? Однажды он заглянул в столовую, чуть приоткрыв дверь: взобравшись на стол, она протирала

потолки, ее юбка была высоко подогнута, и он видел ее ноги значительно выше колен, да, да, значительно выше,— удивительно красивые ноги! Ха-ха-ха! Но так или иначе, он намерен сегодня, еще до наступления вечера, подарить ей браслет. Она получит его через несколько часов,— может в этом не сомневаться. А кроме того, пусть помнит, что шуба принадлежит ей...

Какой он чудной! Он что, совсем рехнулся? Сара смеялась, но была несколько напугана его странными выходками. Позавчера он заплатил прачке, которая принесла ему выстиранное белье, куда больше, чем полагалось. А сегодня ему взбрело в голову отдать ей свою шубу. Видно, не зря о нем ходят по городу самые разные слухи.

XX

Да, он рехнулся, он просто сошел с ума. Должно быть, так оно и есть. Чего только Сара ему не предлагала — и кофе, и молоко, и чай, и даже пиво, все, что только могла придумать, но он, едва сев, тут же встал из-за стола, так ни к чему и не притронувшись. Он вдруг сообразил, что как раз в это время Марта обычно приходит на рынок продавать яйца,— быть может, она уже вернулась; каким счастливым предзнаменованием было бы для него вновь встретиться с ней сегодня, именно сегодня. Он снова поднялся в свой номер и сел у окна.

Вся рыночная площадь лежит перед ним как на ладони; но Марты нигде не видно. Он ждет полчаса, час, зорко наблюдая за всем, что происходит в разных ее концах, но тщетно. Наконец его внимание привлекает сцена, которая разыгрывается перед почтой и собирает немало любопытных: в кругу, образованном столпившимися зрителями, прямо посреди немощной улицы, нелепо припрыгивая, пляшет Минутка. Он без сюртука, босиком и поминутно вытирает пот с лица. Отплясав свое, он собирает у зрителей монетки. Да, Минутка опять взялся за старое, он снова начал плясать на рынке.

Нагель терпеливо ждет, пока люди не разойдутся, и тогда посылает за Минуткой. Тот поднимается к нему в номер, как всегда, исполненный почтения, со склоненной головой и опущенными глазами.

— У меня есть для вас письмо...— Нагель достает конверт, сам засовывает его Минутке в карман сюртука и говорит: — Вы поставили меня в весьма затруднитель-

ное положение, мой друг, вы сыграли со мной злую шутку и одурачили меня так ловко, что я просто восхищаюсь вами, хотя, не скрою, и сержусь на вас. Кстати, вы располагаете временем? Помните, я как-то обещал вам кое-что объяснить? Так вот сейчас я намерен это сделать, я считаю, что настал подходящий момент. Но сперва я хочу спросить вас: слышали ли вы, что в городе говорят обо мне, будто я сумасшедший? Разрешите вас успокоить — я не сумасшедший, да вы это и сами видите, не правда ли? Не стану отрицать, что последнее время был несколько возбужден, чему виной некоторые обстоятельства, мало для меня приятные, но так, видно, было угодно судьбе. Теперь я снова спокоен, и все у меня в полном порядке. Прошу вас помнить об этом. Пожалуйста, бесполезно предлагать вам что-нибудь выпить.

Да, пить Минутка не будет.

— Я в этом не сомневался... Короче, я полон к вам недоверия, Грегорд. Вы, конечно, догадываетесь, что я имею в виду? Вы провели меня так хитро, что я больше не намерен делать вид, будто все в порядке. Вы оставили меня в дураках в очень серьезном деле, и все это под видом бескорыстного участия или же сердечной доброты, если вам угодно. Но так или иначе, вы меня обвели вокруг пальца. Скажите, этот пузырек побывал у вас в руках?

Минутка искоса глядит на пузырек и молчит.

— В нем был яд. Этот яд вылили, а пузырек до половины наполнили водой. Нынче ночью я имел случай убедиться, что в нем была чистая вода.

Минутка по-прежнему молчит.

— Вообще говоря, в этом поступке нет ничего дурного. Тот, кто это сделал, поступил так исключительно из добрых побуждений, желая предотвратить несчастье. Это сделали вы.

Пауза.

— Верно?

— Да,— отвечает наконец Минутка.

— Ясно. И с вашей точки зрения вы поступили правильно, но я смотрю на это дело иначе. Зачем вы это сделали?

— Я думал, что, быть может, вы все же...

Пауза.

— Ну, вот видите! Однако вы ошиблись, Грегорд, ваше доброе сердце ввело вас в заблуждение. Разве в ту ночь, когда вы унесли с собой пузырек, я не сказал достаточно ясно, что у меня не хватит духу выпить яд?

— Но я все-таки боялся, что, быть может, вы это сделаете. И вот вы это сделали.

— Я это сделал? Да что вы плетете? Ха-ха, добрая душа, вы сами оказались в дураках! Да, я опорожнил ночью этот пузырек, верно, но имейте в виду: не я пробовал его содержимое.

Минутка с удивлением смотрит на него.

— Ну вот, видите, вы остались с носом! Гуляешь себе ночью по городу, потом спускаешься к пристани и видишь там кошку, которая извивается от боли и в страшных мучениях мечется по причалу. Останавливаешься, естественно, и глядишь, что с кошкой. Оказывается, ей попало что-то в горло, а при ближайшем рассмотрении выясняешь, что у нее в горле застрял рыболовный крючок, она кашляет, извивается, но крючок — ни с места, ни туда ни сюда, а из горла у нее струйкой бежит кровь. Хорошо, в конце концов тебе как-то удается схватить эту кошку, и ты пытаешься освободить ее от крючка, но ей так больно, что ее не удержишь, она рвется из рук, катается на спине, в бешенстве выпускает когти и царапает тебе щеку, — раз, другой, третий, — вот, можете убедиться, что у меня, например, разодрана щека. А кошка уже задыхается, и кровь безостановочно течет у нее из горла. Что же делать? Пока ты размышляешь над этим, башенные часы бьют два. Значит, уже так поздно, что нельзя обратиться к кому-либо за помощью — ведь пробило два часа ночи! И тут-то вдруг вспоминаешь, что у тебя в кармане благословенный пузырек с ядом; ты решаешь прекратить муки этой несчастной твари и вливаешь ей в глотку содержимое пузырька. Кошка думает, что ей влили что-то ужасное, она вся съеживается в комочек и дико озирается по сторонам, потом неожиданным прыжком вырывается у тебя из рук и снова начинает извиваться и метаться по причалу. В чем же дело? Да в том, что в пузырьке была чистая вода, вода не убивает, она только усиливает мучения этой несчастной твари. И кошка продолжает бегать с крючком в горле, кровь по-прежнему льется, она задыхается. Что ж, рано или поздно она все равно истечет кровью или задохнется, она околеет, забившись в угол, обезумев от страха, одна, без всякой помощи...

— Я сделал это с добрым намерением, — говорит Минутка.

— Конечно. Вы все, решительно все, делаете только по самым честным, по самым лучшим побуждениям. Вас

просто невозможно поймать на другом поступке, поэтому ваш тонкий и благородный обман с моим ядом не представляет собой ничего нового. Вот, к примеру, вы только что отплясывали там, внизу, на рыночной площади. Я стоял у окна и глядел на вас; я не стану вас упрекать за то, что вы это делаете, я хочу только спросить вас, почему вы сняли башмаки? Ведь сейчас вы опять в башмаках, так почему же вы сняли их, когда начали плясать?

— Чтобы их не портить.

— Вот этого я и ожидал! Я знал, что вы так ответите, поэтому я и спросил вас. Вы— сама непогрешимость, обутая, правда, в башмаки, вы самая чистая душа в городе! Вы исполнены доброты и бескорыстия,— ни к чему не придерешься, все идет без сучка, без задоринки. Я как-то хотел вас испытать и предлагал вам за вознаграждение признать себя отцом чужого ребенка, и, хотя вы бедны и нуждаетесь, слов нет, в этих деньгах, вы тут же отказались от моего предложения. Ваша душа содрогалась даже при мысли о такой грязной сделке, и я ничего не добился, хотя и предлагал вам двести крон. Если бы я знал тогда то, что знаю теперь, я не стал бы вас оскорблять так грубо: тогда у меня еще не было ясного представления о вас, теперь зато я знаю, что вас надо одновременно и пришпоривать, и твердой рукой держать в узде. Ну да ладно, давайте лучше вернемся к тому, о чем мы говорили... То обстоятельство, что вы сняли башмаки, не привлекая, однако, к этому внимания зрителей, и плясали босиком, не считаясь с болью, которую не могли не испытывать, и не жалуясь,— все это вместе взятое для вас очень характерно. Вы не ноете, не говорите: смотрите, я снимаю башмаки, чтобы их не испортить, я вынужден это делать, потому что очень беден! Нет, вы действуете, если можно так выразиться, с помощью молчания. Вы положили себе за принцип никогда ничего ни у кого не просить, и вы неукоснительно его придерживаетесь, однако, так и не раскрывая рта, вы добиваетесь всего, чего хотите. Вы неуязвимы в глазах других людей, да и в своих собственных тоже. Я отмечаю эту вашу черту и продолжаю: имейте терпение, в конце концов я дойду до объяснения... Вы как-то сказали о фрекен Гудэ одну фразу, о которой я потом часто думал, вы сказали, что, быть может, она не так уж недоступна, если только умело взяться за дело, вы, во всяком случае, смогли кое-чего добиться...

— Нет, помилуйте, однако...

— Как видите, я все отлично помню. Это было в тот вечер, когда мы оба здесь сидели и пили, вернее, пил я, а вы смотрели. Так вот, вы тогда говорили, что с Мартой — да, вы назвали ее просто Мартой и рассказали, что она вас всегда зовет Юханнес, ведь верно, я не выдумываю, она зовет вас Юханнес, видите, я помню, что вы и это рассказывали, — так вот, вы говорили, что с Мартой у вас дело зашло весьма далеко, она, мол, разрешала вам всякие вольности, и вы даже сделали весьма гнусный жест рукой...

Минутка вскакивает, красный как рак, и, прерывая Нагеля, кричит:

— Я никогда этого не говорил! Никогда!

— Вы этого не говорили? Что я слышу? Вы отрицаете, что говорили это? Вам угодно, чтобы я позвал Сару и чтобы она подтвердила, что во время нашего разговора находилась в соседней комнате и сквозь эту тонкую стенку слышала решительно все. Нет, просто уму непостижимо! Вы спугали все мои карты тем, что отказываетесь от своих слов! А я как раз хотел расспросить вас кое о чем. Меня все это весьма интересует, и я часто об этом думаю. Но раз вы утверждаете, что этого не было, то ничего не поделаешь. Между прочим, вы можете сесть и не вздумайте бежать сломя голову, как в прошлый раз, из этого все равно ничего не выйдет — я запер дверь.

Нагель закурил сигару и вдруг, словно опомнившись, изменил тон:

— Боже праведный, неужто я мог так ошибиться! Господин Грегорд, убедительно прошу вас простить меня. Вы правы, вы действительно никогда не говорили ничего подобного. Забудьте о том, что сейчас произошло. Это сказали не вы, а совсем другой человек, я сейчас отчетливо вспомнил, что слышал это недели две тому назад. Как мог я хоть на миг допустить, что вы способны опозорить даму и, в первую очередь, самого себя, да еще таким образом!.. Я просто диву даюсь, как могло мне это прийти в голову! Видно, я и вправду не в своем уме... Но обратите внимание, я честно признаю свои ошибки и тут же прошу простить меня. Значит, я все же в своем уме. Верно? И если я говорю сумбурно и чересчур напористо, то не думайте, что это преднамеренно, я вовсе не хочу заговорить вас и сбить с толку. Да это было бы и невозможно, поскольку вы сами так упорно молчите. А я говорю так возбужденно, не взвешивая слова, просто поддавшись минутному настроению. Извините, я, кажется,

снова отклонился от темы. Быть может, вы теряете терпенье и хотите поскорее услышать то, что я обещал вам сказать?

Минутка молчит. Нагель вскакивает и начинает нервно шагать от окна к двери и обратно. Потом он останавливается, видно, все ему вдруг надоело и опротивело, и он говорит устало.

— Нет, я не могу больше играть с вами в кошки-мышки, я откровенно скажу вам, что думаю. Да, до сих пор я говорил с вами путано, стараясь вас сбить, и делал это с определенной целью — я надеялся кое-что выведать. Я перепробовал для этого самые разные способы, но все оказалось тщетно, и я устал от этой игры. Что ж, я готов вам дать обещанное объяснение, Грегорд! Я совершенно убежден, что в глубине души вы негодяй. Да, в глубине души вы негодяй!

Минутка снова задрожал мелкой дрожью, глаза его, полные страха, растерянно забегали, а Нагель продолжал:

— Вы не говорите ни слова, вы не выходите из роли? Я не в силах вас сдвинуть с места. В вас есть какая-то немая сила совсем особого рода, я восхищаюсь вами и испытываю к вам необычайный интерес. Помните, как я целый вечер говорил с вами, при этом не сводил с вас глаз и уверял, что вы вздрагиваете от моих слов? Я делал это для того, чтобы напасть на след. Я все время следил за вами и разными путями пытался найти, к чему бы придраться, правда, почти всегда безуспешно, не спорю, потому что вы неуязвимы. Но я ни на мгновение не сомневался в том, что вы тихий тайный грешник, притом — большой грешник, вот не знаю только какой. У меня нет никаких доказательств, да, к сожалению, их нет, так что вы можете быть совершенно спокойны, все это останется между нами. Но понимаете ли вы, почему я так убежден в своей правоте, хотя у меня нет доказательств? Видите ли, вам этого не понять. И все же — у вас особая манера опускать голову, когда мы о чем-нибудь говорим. И какое-то особое выражение глаз. И вы как-то неприятно моргаете, когда произносите некоторые слова или когда мы в разговоре касаемся некоторых вопросов. И кроме того, ваш голос! В вашем голосе всегда слышится вздох... О, уж этот голос! Но в конечном счете вся ваша личность в целом вызывает у меня антипатию. Я чую ваше приближение в воздухе, и душа моя тут же начинает дрожать от неприязни к вам.

Вы этого не понимаете? И я не понимаю. Но это так. Клянусь, я и сейчас еще убежден, что иду по верному следу, но я не могу поймать вас, потому что у меня нет доказательств. Я спросил вас, когда вы здесь были в последний раз, где вы находились шестого июня. Знаете, почему я вас об этом спросил? Ведь шестое июня — день смерти Карлсена, а я предполагал, что это вы убили Карлсена.

Минутка повторяет, словно с неба свалившись.

— Что это я убил Карлсена? — И снова молчит.

— Да, так я думал до последнего времени. Именно в этом я вас и подозревал. Вот куда завела меня глубокая уверенность в том, что вы негодяй. Теперь я вас уже не подозреваю в этом преступлении, я признаю, что ошибался, в своем предположении я зашел слишком далеко и прошу меня простить. Хотите верьте, хотите нет, но я глубоко огорчен, что был к вам так несправедлив. Поэтому не раз по вечерам, оставшись один, я мысленно просил у вас прощения. Но хотя я так грубо ошибся, я все же по-прежнему уверен, что вы грязный и низкий человек, и пусть Бог покарает меня, если я не прав. Я ощущаю это всеми фибрами своей души даже сейчас, когда стою и смотрю на вас, Богом клянусь, это так! Почему я в этом уверен? Заметьте, что поначалу у меня были все основания думать о вас только самое лучшее, и все, что вы потом делали или говорили, было тоже всегда только хорошо и справедливо, даже благородно. Однажды я видел вас во сне, и это был удивительный, прекрасный сон: будто вы стоите посреди большого болота и жестоко страдаете оттого, что я над вами издеваюсь, но все же вы благодарите меня, вы бросаетесь передо мной на колени и благодарите за то, что я не терзал вас еще больше, не причинил вам еще более ужасных мук. Вот что мне приснилось про вас, как видите, только хорошее. В городе, пожалуй, нет ни одного человека, который счел бы вас способным на гадкий поступок, о вас идет самая добрая слава, вы пользуетесь всеобщей симпатией, так ловко вы прячете ваше подлинное лицо. И все же пред моим внутренним взором вы предстаете как трусливая, пресмыкающаяся Божья тварь, у вас для всех припасено дежурное доброе слово, есть и дежурный добрый поступок на каждый день. Но разве вы оклеветали меня, причинили мне зло или выдали кому-нибудь мои тайны? Нет, нет, этого вы не сделали, и именно в этом и заключается сущность вашего поведения, ваш метод жить: ко всем вы

доброжелательны, никогда не делаете ничего дурного, вы святой, вы неуязвимы, вы безгрешны перед людьми. Этого более чем достаточно для мира, но недостаточно для меня. Я постоянно подозреваю вас. В первый же день, как я увидел вас, со мной произошло нечто удивительное. Это было дня два спустя после моего приезда; ночью, ровно в два часа, я увидел вас возле домика Марты Гудэ, у набережной; вы стояли посреди улицы, я не успел заметить, откуда вы вышли. Вы ждали, пока я пройду, а когда я поравнялся с вами, вы бросили на меня косою взгляд. В то время мы еще не были знакомы, но что-то заставило меня обратить на вас внимание, и внутренний голос подсказал мне, что вас зовут Юханнес. Говорю как на духу, это истинная правда, именно внутренний голос нашептал мне, что вас зовут Юханнесом и что я должен обратить на вас внимание. Лишь много времени спустя я узнал, что вас и в самом деле так зовут. С той самой ночи я старался не спускать с вас глаз, но вы всегда ускользали от меня. Мне ни разу не удалось поймать вас за руку. В конце концов вы все же вылили яд из моего пузырька, конечно, только из добрых побуждений, из благородного страха, что я, возможно, когда-нибудь решусь его выпить. Как мне вам объяснить, какие чувства все это вызывает во мне? Ваша чистота ярит меня, ваши красивые слова и поступки лишь удаляют меня от моей цели — поймать вас с поличным. Я хочу сорвать с вас маску и довести вас до того, чтобы вы обнаружили свою истинную сущность, кровь стынет в моих жилах от отвращения всякий раз, когда я вижу ваши лживые голубые глаза, я съеживаюсь в вашем присутствии и знаю только одно: вы по натуре предатель. Даже в эту минуту мне кажется, что вы втихомолку потешаетесь надо мной, что, несмотря на ваш сокрушенный вид, на это отчаяние, написанное на вашем лице, вы в глубине души заливаетесь свинским, хрюкающим смехом над моим бессилием обличить вас, поскольку у меня нет никаких улик.

Но и тут Минутка не произносит ни слова. Нагель продолжает:

— Вы, конечно, считаете, что я бандит, негодяй какой-то, — налетаю на вас и бросаю вам прямо в лицо такие обвинения? Хорошо, это мне безразлично, вы вольны думать обо мне все, что вам угодно. В глубине души вы сейчас все равно сознаете, что я вывел вас на чистую воду, и этого мне достаточно. Но почему вы терпите, чтобы я так с вами обращался? Почему вы не

вскакиваете, не плюете мне в лицо и не уходите, хлопнув дверью?

Минутка, казалось, очнулся; он вскидывает глаза и говорит:

— Но вы ведь заперли дверь.

— Глядите-ка, вот вы и проснулись! — ответил Нагель. — Так я и поверю, что вы думаете, будто дверь и в самом деле заперта! Дверь не заперта, глядите, вот я распахиваю ее настежь! Я сказал, что она заперта, чтобы испытать вас, это была ловушка. Но дело ведь вот в чем: вы ни секунды не сомневались в том, что дверь открыта, вы только делали вид, что не знаете этого, чтобы иметь возможность сидеть здесь, как всегда, со смиренным видом: чистая, невинная душа, жертва моей несправедливости! У вас и в мыслях не было бежать отсюда, нет, вы с места не двинулись. Как только я дал вам понять, что я вас в чем-то подозреваю, вы наострили уши, вы хотели узнать, что именно я знаю, насколько я могу быть вам опасен. Видит Бог, я знаю, что это так, а вы можете отрицать, если вам угодно, мне все равно... А почему, собственно, я затеял с вами это объяснение? У вас есть все основания задать мне этот вопрос, потому что, казалось бы, все это меня нисколько не касается. Нет, друг мой, ошибаетесь, меня это касается. Прежде всего, я хочу вас предостеречь. Поверьте, я говорю сейчас то, в чем искренне убежден: так или иначе, но вы ведете постыдную жизнь, до поры до времени вам это удастся скрывать, но в один прекрасный день маска спадет с вас, и каждый сможет втоптать вас в грязь. Это — первое. А второе вот что: я предполагаю, что, хотя вы это и решительно отрицаете, вы находитесь с фрекен Гудэ в более близких отношениях, чем хотите показать. Но какое мне дело до фрекен Гудэ? Опять вы правы. На такой вопрос я могу только промолчать — до фрекен Гудэ мне меньше дела, чем до кого бы то ни было. Но именно наблюдая все это со стороны, я имею право огорчаться, что вы общаетесь с ней и, возможно, заразите ее вашей святой порочностью. Вот почему я затеял с вами это объяснение.

Нагель снова закуривает сигару и говорит:

— Ну вот, тепер я кончил, и дверь не заперта. Вас обидели? Можете смолчать, можете ответить, короче, поступайте, как вам угодно. Но если вы будете отвечать, то пусть за вас говорит ваш внутренний голос. Дорогой друг, позвольте мне также сказать вам, перед тем как вы уйдете: зла я вам не желаю.

Пауза.

Минутка встает, опускает руку в карман своего сюртука и вынимает конверт.

— Теперь я не могу принять это от вас,— говорит он.

Нагель не ожидал такого оборота, он совсем забыл про конверт.

— Вы не хотите принять это от меня? Почему?

— Я не могу принять это от вас.

Минутка кладет конверт на стол и идет к двери. Нагель кидается за ним с конвертом в руке, глаза его полны слез.

— Все-таки возьмите, Грегорд,— говорит он дрогнувшим голосом.

— Нет,— говорит Минутка. И открывает дверь.

Нагель снова притворяет дверь и говорит еще раз:

— Возьмите, возьмите! Давайте я скажу вам, что я сошел с ума, что вы должны забыть все, что я сегодня говорил. Я просто сошел с ума, и нечего обращать внимание на то, что я нес здесь всякий вздор целый час кряду. Вы же сами понимаете, верно, что раз я не в своем уме, то нечего считаться с моими словами? Но только возьмите этот конверт, я не желаю вам зла, хотя я и совершенно невменяем. Бога ради, возьмите этот конверт, там совсем немного, поверьте, там так мало, что и говорить не о чем, но мне очень хотелось дать вам это перед тем, как нам расстаться, я все время думал о том, что надо оставить вам письмо и вложить в него какие-нибудь сущие пустяки, сколько — не имеет никакого значения, важно только, чтобы это было письмо в конверте. Примите это как прощальный привет. Вот, возьмите, прошу вас, я буду вам так искренне благодарен.

С этими словами он сует Минутке конверт и стремглав отбегает к окну, чтобы тот не мог отдать его назад. Но Минутка не уступает, он кладет письмо на стол и качает головой.

Он уходит.

XXI

Да, все складывалось как нельзя хуже. Сидел ли Нагель у себя в комнате или бродил по улицам, он нигде не находил покоя; тысячи разных мыслей вертелись у него в голове, и любая из них заставляла его страдать. Почему все оборачивалось против него? Он не мог этого понять.

Но его явно опутывали какие-то нити. Дело дошло уже до того, что даже Минутку он не смог заставить принять этот злосчастный конверт, хотя так горячо этого хотел.

Все было невыносимо печально, ничего у него не получалось. К тому же его начал мучить какой-то нервный страх неизвестно перед чем, словно его где-то подстерегала тайная опасность; он часто вздрагивал, вдруг охваченный каким-то необъяснимым ужасом только оттого, что шелохнулись занавески на окнах. Что это еще за новые страдания обрушились на него? Его чересчур резкие черты лица, которые и прежде нельзя было назвать красивыми, стали еще менее привлекательными оттого, что он перестал бриться, подбородок и щеки обросли щетиной; ему показалось также, что волосы на висках у него еще больше поседели.

В чем же дело? Разве солнце не сияет, разве он не счастлив оттого, что еще жив и может пойти куда ему вздумается? Разве ему не открыта красота мира? Рыночная площадь и море залиты солнцем, все вокруг — словно в золотом окладе, и даже щебень на мостовой утопает в золотой пыли, а серебряный шар на шпиле колокольни сверкает на фоне чистой лазури как гигантский бриллиант.

И вдруг Нагеля охватывает какая-то экзальтированная радость, он приходит в такой неопишуемый, ликующий восторг, что тут же высовывается из окна и от избытка чувств кидает детям, играющим на ступеньках перед гостиницей, горсть серебряных монет.

— Будьте умниками, милые дети! — говорит он, с трудом выдавливая из себя слова, настолько он взволнован. Ну, чего ему бояться? Да и выглядит он ничуть не хуже, чем всегда; к тому же что ему мешает пойти к парикмахеру, побриться и вообще привести себя в порядок? Ведь это зависит только от него. И он тут же отправляется к парикмахеру.

Дорогой он вспоминает, что ему надо сделать и кое-какие покупки; как бы не забыть про браслет, который он обещал Саре. По-детски беспечен, в полном ладу с миром, идет он, весело напевая, по своим делам. Настроение у него прекрасное, и бояться ему совершенно нечего — все его страхи лишь плод воображения.

Это прекрасное настроение не покидает его, пока он ходит по городу, голова его полна самых светлых мыслей. Правда, у него было недавно тяжелое объяснение с Минуткой, но оно уже как-то наполовину забылось, о нем осталось лишь смутное воспоминание, словно это

произошло не наяву, а во сне. Минутка отказался взять конверт, но ведь у него заготовлен еще один конверт для Марты... Сгорая от желания передать свою льющуюся через край радость другим, он тут же решает найти какой-нибудь способ доставить письмо по назначению. Как же ему это сделать? Он вынимает свой бумажник, чтобы удостовериться, что письмо все еще там. Нельзя ли его тайно переслать Дагни? Нет, Дагни посылать его все же не следует. Он задумался, он ни за что не хотел отказаться от идеи немедленно отправить письмо; собственно говоря, никакого письма не было, ни слова, в конверте лежали только несколько ассигнаций; нельзя ли попросить доктора Стенерсена выполнить это небольшое поручение? И довольный тем, что нашел выход, он направился к доктору Стенерсену.

Было шесть часов вечера.

Он стучит в дверь приемной доктора. Она оказывается запертой. Тогда он проходит через двор, чтобы спросить на кухне, где доктор, но в этот момент его окликает из сада фру Стенерсен.

В саду, за большим каменным столом хозяева дома и несколько гостей пьют кофе. Среди них и Дагни Хьеллан. На ней белая шляпа, украшенная вместо ленты венком из маленьких светлых цветочков.

Нагель хочет тут же уйти, он бормочет в виде объяснения:

— Я, собственно, к доктору, к доктору...

Боже мой, уж не болен ли он, часом?

Нет, нет, он совершенно здоров.

В таком случае они его не отпустят.

И фру Стенерсен потянула его за рукав. Дагни даже встала, она хотела усадить его на свой стул. Он посмотрел на нее, они посмотрели друг на друга. Она даже встала ради него и сказала ему тихим голосом: «Прошу вас, возьмите этот стул!»

Но он нашел свободное место рядом с доктором и сел там.

От такого приема он несколько растерялся. Дагни ласково посмотрела на него и даже хотела уступить ему свой стул. Его сердце сильно забилося: может, он все же передаст ей письмо для Марты?

Однако немного спустя он успокоился. Разговор был очень оживленный и быстро перескакивал с одного предмета на другой; светлая радость вновь овладела им, голос его звенел от волнения. Он жив, он не умер и не

умрет! Вокруг стола, накрытого белоснежной скатертью и уставленного блестящей серебряной посудой, в зеленом тенистом саду сидит небольшое общество, все радостно настроены, все смеются, у всех блестят глаза; разве есть какие-либо основания предаваться унынию?

— О, если бы вы были настолько любезны, чтобы исполнить наши желания, вы взяли бы скрипку и сыграли бы нам что-нибудь,— сказала фру Стенерсен.

Как только ей это пришло в голову!

Когда и все остальные начали его просить об этом, он громко рассмеялся и сказал:

— Да у меня и скрипки-то нет!

Но ведь можно послать за скрипкой к органисту, через минутку ее принесут.

Нет, не надо посылать, это бесполезно, он все равно до нее не дотронется. И кроме того, скрипка органиста испорчена теми рубинами, которые инкрустированы на грифе, звук ее стал от этого стеклянным, нельзя было вставлять рубины в гриф, играть на ней просто невыносимо! К тому же он уже и не владеет смычком, да, собственно, и никогда не владел, ему ведь лучше знать, верно?.. И он начал вдруг рассказывать, что с ним произошло, когда его игра в первый и единственный раз обсуждалась публично, в печати. Этот случай имеет, пожалуй, даже символическое значение. Он получил газету вечером и прочел ее, уже лежа в постели, он был тогда еще очень молод, жил дома, у родителей, и рецензия на его игру была напечатана в местной газете. О, как он был счастлив, читая эту статью! Он несколько раз ее перечитывал и наконец заснул, не потушив даже свечи. Ночью он проснулся, еще смертельно усталый, свеча догорела, и в комнате было темно; он видит, что на полу что-то белеет, а так как у него в комнате стояла плевательница, он подумал: белеет, конечно, плевательница. Стыдно сказать, но он плюнул и услышал, что попал куда надо. Плюнув так метко, он решил еще раз попробовать, и снова плюнул и попал, потом опять улегся и заснул. А наутро увидел, что он плевал на драгоценную газету, что он оплевал эту хвалебную рецензию. Ха-ха-ха, весьма прискорбный случай!

Все посмеялись над его рассказом, за столом становилось все веселее и оживленнее. Однако фру Стенерсен сказала:

— Но вы действительно сегодня что-то бледны и выглядите хуже обычного.

— Ах,—воскликнул Нагель,—это не имеет ровным счетом никакого значения, я чувствую себя прекрасно!

И он громко рассмеялся над предположением, что он нездоров.

Но вдруг он становится пунцово-красным, встает со скамьи и говорит, что с ним действительно все же что-то не в порядке. Он сам не понимает в чем дело, но у него такое чувство, будто с ним должно случиться нечто неожиданное, и он чего-то все время боится. Ха-ха-ха, бывало ли подобное с кем-нибудь из присутствующих? Не правда ли, смешно? И это чувство, конечно, ровно ничего не значит, верно? Ведь с ним такое уже случилось и прежде.

И все стали его просить рассказать об этом.

Да стоит ли? Глупая, пустячная история, просто жалко занимать ею время. Им быстро наскучит его слушать.

Нет, нет, ни в коем случае.

Да и рассказывать надо так долго. Началось это по ту сторону океана, в Сан-Франциско, в тот день, как он курил там опиум.

Опиум? Господи, как это интересно!

— О нет, сударыня, это скорее мучительно, раз меня теперь еще терзает беспричинный страх среди бела дня. Не думайте, пожалуйста, что я вообще курю опиум. Мне лишь дважды довелось его курить, причем второй раз и в самом деле не представляет интереса. Но в первый раз я действительно пережил нечто необычайное, это правда. Я попал в так называемый «дэн». Как я туда попал? Совершенно случайно. Я бродил по улицам, разглядывал людей, потом выбирал себе кого-нибудь и шел за ним на некотором отдалении, чтобы посмотреть, куда он меня приведет. Я без стеснения заходил вслед за моим избранником в какие-то дома и поднимался по лестницам, чтобы увидеть, куда же он идет. В больших городах очень интересно бродить вот так, по ночам, каких только не заводишь удивительнейших знакомств!.. Но сейчас речь не об этом. Итак, я в Сан-Франциско и брожу по улицам. Ночь. Передо мной идет высокая, худая женщина, которую я не выпускаю из виду. Когда она попадает в свет газовых фонарей, мимо которых мы проходили, я успеваю разглядеть, что на ней сильно поношенное платье, но на шее крестик из каких-то зеленых камешков. Куда она идет? Пройдя несколько кварталов, она сворачивает на боковую улочку и идет дальше, а я—за нею по пятам. Наконец мы оказываемся

в китайском квартале. Женщина спускается по ступенькам в подвал, я — за ней. Она идет по длинному коридору, я — за ней; по правую руку от нас каменная стена, а по левую — маленькие помещения, в одном — кофейня, в другом — цирюльник, в третьем — прачечная. Женщина останавливается перед одной из дверей, стучит, в окошечке, вделанном в дверь, мелькает чье-то лицо с раскосыми глазами, и женщину впускают. Я выжидаю некоторое время, стою не шелохнувшись, а затем тоже стучу; дверь снова открывается, и меня тоже впускают.

В комнате, в которой я очутился, сильно накурено и стоит гул от голосов. В сторонке, у стола, худая женщина о чем-то шепчется с китайцем в синей рубаше навыпуск. Я подхожу ближе и слышу, что она хочет получить под свой крестик какую-то сумму, но не продать его, а только оставить в залог. В дальнейшем выясняется, что речь идет о двух долларах, но женщина уже раньше сколько-то задолжала китайцу. Одним словом, он готов заплатить за крестик три доллара. Хорошо. Она вне себя от волнения, всхлипывает, ломает руки и кажется мне очень интересной; впрочем, китаец в синей рубаше тоже вызвал у меня интерес; он отказывался что-либо сделать, пока крест не будет у него в руках. Либо деньги, либо крест в залог!

— Я посижу немного, — говорит женщина. — Не торопите меня! Я знаю, что в конце концов соглашусь, никуда не денешься, но мне не следовало бы так поступать.

И она снова рыдает и ломает руки, а китаец равнодушно глядит на нее.

— Как вам не следовало бы поступать? — спрашиваю я.

Но по моему выговору она понимает, что я иностранец, и не отвечает.

Повторяю, она кажется мне необычайно интересной, и я решаю что-то для нее сделать. Например, дать ей эти деньги, чтобы посмотреть, что из этого выйдет, причем исключительно из любопытства. Кроме нужной ей суммы, я сую ей в руку еще один доллар и жду, как она им распорядится. Это вызывает у меня особый интерес.

Она благодарно поднимает на меня свои огромные глаза, но ничего не говорит, только кивает несколько раз, и глаза ее наполняются слезами, а ведь я выручил ее просто из любопытства. Хорошо. Она идет к столу, протягивает деньги китайцу и требует, чтобы ей немедленно дали комнату. Она отдала ему все деньги.

Она выходит, и я следую за ней. Мы снова идем по какому-то длинному коридору, по обе его стороны двери с номерами. Одну из этих дверей женщина отворяет и, проскользнув в комнату, захлопывает ее за собой. Я жду несколько минут, но женщина не появляется, я тихонько нажимаю на ручку двери; дверь заперта.

Тогда я захожу в соседнюю комнату и решаю ждать. В комнате большой диван, обитый красным, звонок и бра на стене. Я ложусь на диван, время тянется медленно, мне скучно. Чтобы хоть чем-то заняться, я нажимаю кнопку звонка. Мне ничего не надо, но я звоню. Появляется мальчик-китайчонок, глядит на меня и исчезает. Проходит несколько минут. «Что же ты ушел, дай-ка я еще раз на тебя взгляну»,— говорю я сам себе, чтобы хоть как-то убить время. «Почему же ты не идешь?» И я снова звоню.

Китайчонок возвращается, беззвучно, словно бесплотный дух, скользит он в своих войлочных туфлях. Он не произносит ни слова, и я тоже молчу. Он протягивает мне крошечную фарфоровую трубку с длинным тонким чубуком, и я беру эту трубку. Затем он протягивает мне тлеющий уголек, и я закуриваю. Я не просил у него этой трубки, но я курю. Потом у меня начинает звенеть в ушах...

Я ничего не помню, кроме того, что я чувствовал, будто я нахожусь где-то высоко и поднимаюсь все выше и выше над землей, я парю в воздухе, вокруг меня невысказанно светло, а облака, которые бегут мне навстречу, белым-белы. Кто я такой и куда я лечу? Я поднимаюсь невероятно высоко. Я вижу вдалеке, внизу, зеленые луга, синие моря, долины и горы в золотом сиянии. Я слышу музыку сфер, и все вокруг меня дрожит от звучащих мелодий. Но наибольшее наслаждение доставляют мне белые облака, они текут сквозь меня, и мне кажется, что я вот-вот умру от блаженства. И этому нет конца, я потерял чувство времени и забыл, кто я есть. Но вдруг какое-то земное воспоминание пронзает мое сердце, и я тут же начинаю падать.

Я падаю, падаю, свет меркнет, вокруг меня становится все темнее и темнее. Я вижу под собой землю и уже знаю, кто я. Там, внизу, города, ветер и дым. Вдруг я перестаю падать, я оглядываюсь и вижу, что я в океане. Я больше не чувствую себя счастливым, я ударяюсь о подводные камни, мне холодно. Под ногами у меня песчаное дно, но вокруг только вода. Я плыву и вижу

причудливые водоросли с плотными зелеными листьями, морские цветы, которые колышутся на длинных стеблях,— немой мир, там не услышишь ни звука, но все живет и все движется. Еще несколько взмахов — и я доплываю до кораллового рифа, однако кораллов на нем нет, их уже обломали, и я говорю себе: «Здесь был кто-то до тебя». Я не чувствую себя уже таким одиноким, раз здесь уже кто-то был. Я плыву дальше, я хочу добраться до берега, но делаю два взмаха и останавливаюсь... Я останавливаюсь потому, что вижу на дне перед собой человека. Это — женщина, длинная, худая, вся израненная, она лежит на камне. Я притрагиваюсь к ней и узнаю ее, она мертва, но я не понимаю, что она мертва. Я узнаю ее по крестик с зелеными камнями. Это та самая женщина, за которой я шел по длинному коридору до комнат с номерами на дверях. Я хочу плыть дальше, но останавливаюсь, чтобы положить ее по-иному. Она лежит, распростертая, на большом камне, и вид ее производит на меня жуткое впечатление. Ее глаза широко раскрыты, но я все же переносу ее с камня на белый песок, я вижу крестик на ее шее и засовываю его под ворот платья, чтобы его не унесли рыбы. Потом я уплываю...

Утром мне рассказали, что ночью эта женщина покончила с собой. Она бросилась в океан с набережной в китайском квартале. На рассвете нашли ее тело. Очень странно, но она умерла. «Быть может, я снова увижу ее, если что-нибудь предприму для этого», — подумал я... И я еще раз пошел курить опиум в надежде увидеть ее, но этого не случилось.

Как все-таки это странно... А некоторое время спустя со мной приключился еще один такой случай. Я вернулся в Европу, жил дома. Как-то теплой ночью я бродил по городу, спустился к пристани и долго стоял возле насосов, прислушиваясь к разговорам на пароходах. Все было тихо, насосы не работали. Я устал, но домой идти не хотелось, потому что было очень тепло. Тогда я забрался на один из насосов и уселся там. Ночь была такая теплая и тихая, что я не мог сопротивляться дремоте и заснул.

Я просыпаюсь оттого, что меня кто-то окликает. Я смотрю вниз: там, на камнях, стоит женщина, высокая, худая, при вспышке газового фонаря я вижу, что платье ее сильно поношено.

Я здороваюсь с ней.

— Идет дождь, — говорит она.

Хорошо. Я, правда, не почувствовал, что идет дождь, но раз так, то надо где-нибудь укрыться, и я прыгаю

наземь. В этот момент неожиданно раздается глухой стук, огромный рычаг мелькает в воздухе — насос заработал. Если бы я вовремя не слез, меня бы раздавило в лепешку. Я это вдруг отчетливо понимаю.

Я оглядываюсь; и в самом деле начинает моросить дождик. Женщина поворачивается и идет прочь — я гляжу и узнаю ее и крестик у нее на шее. Я узнал ее в первый же миг, как увидел, но притворился, будто не знаю ее. Теперь же я захотел ее догнать и пошел очень быстро. Но я так и не догнал ее. Она не шла по земле, она парила, не делая никаких движений, завернула за угол и ускользнула от меня.

Это было четыре года тому назад.

Нагель замолчал. Доктор едва сдерживался, чтобы не рассмеяться, но все же он спросил как можно более серьезно:

— А с тех пор вы ее больше не встречали?

— Встречал. Сегодня утром. Поэтому меня то и дело охватывает страх. Я стоял в своем номере у окна и глядел на улицу, и вдруг она появилась и пошла прямо к гостинице. Она пересекла рыночную площадь, словно шла от пристани, от моря, остановилась под моим окном и взглянула наверх. Я не был уверен, что она глядит на меня, и перешел к другому окну, но она снова нашла меня глазами. Я поклонился ей, тогда она повернулась и быстро пошла назад через рыночную площадь, к пристани. У щенка Якобсена, который с лаем выскочил из дверей гостиницы, шерсть встала дыбом. Все это произвело на меня впечатление. Я почти забыл ее, ведь столько времени прошло, и сегодня она вдруг снова явилась. Быть может, она хотела меня предостеречь?

Доктор расхохотался.

— Да, несомненно, — сказал он. — Она хотела вас предостеречь, чтобы вы не шли к нам.

— Нет, на этот раз она, конечно, ошиблась. Мне нечего опасаться. Но ведь в прошлый раз меня убило бы рычагом насоса, если б не она. Поэтому мне и стало жутковато. Так вы считаете, что это все пустяки? Да? Ха-ха-ха, хороши бы мы были, если б стали обращать внимание на такие вещи! Просто смешно!

— Нервы и суеверие, — поставил диагноз доктор.

Тут все наперебой стали рассказывать разные истории, а время шло, и день начал клониться к вечеру. Нагель не проронил больше ни слова, его стало знобить. В конце концов он поднялся, чтобы уйти. Он решил

не обременять Дагни просьбой передать Марте письмо, лучше уж от этого отказаться. Возможно, ему удастся завтра утром где-нибудь повстречать доктора и попросить его об этой услуге. От его радостного возбуждения не осталось и следа.

Его крайне удивило, что Дагни тоже встала, как только он собрался уходить.

— Вы нарасказали здесь таких ужасов, что мне тоже стало страшно,— сказала она.— Уж лучше мне вернуться домой дотемна.

И они вместе вышли из сада. Нагель так обрадовался, что его даже перестало знобить; теперь он сможет передать ей конверт для Марты, удобнее случая не представится.

— Да, о чем это вы хотели со мной поговорить?— крикнул ему вдогонку доктор.

— Так, чепуха,— ответил он, смутившись.— Просто хотел повидать вас и... Мы ведь так давно не виделись. Прощайте!

Они шли по улице. Оба были взволнованы, не только он, но и Дагни тоже. Наконец, чтобы прервать молчание, она заговорила о погоде; какой теплый нынче вечер.

Да, тихий и теплый.

Он тоже ничего не мог сказать, он шел и глядел на нее. Те же бархатные глаза, те же светлые волосы. Его чувство, затаенное в глубине сердца, вспыхнуло с новой силой, ее близость опьяняла его, он закрыл глаза ладонью. С каждой их встречей она казалась ему все прекрасней и прекрасней. С каждой встречей! Он разом забыл все, забыл ее насмешки, забыл, что она отняла у него Марту и безо всякой жалости заманивала его в ловушку, бросив, как приманку, свой носовой платок. Он заставил себя отвернуться, чтобы совладать с собой и не поддаться порыву. Нет, на этот раз он должен держать себя в руках. Уже дважды он ставил ее в ужасное положение своей необузданностью. Ведь он мужчина в конце концов! У него перехватывало дыхание, так он боролся с собой.

Они вышли на главную улицу. У гостиницы надо было повернуть направо. Он чувствовал, что Дагни хочет что-то сказать ему. Он молча шел рядом с нею. Может быть, она разрешит проводить ее через лес? Вдруг она обернулась к нему и сказала:

— Благодарю вас за ваш рассказ! Вам все еще страшно? Не надо бояться!

Да, нынче она и добра и мягка. И ему тут же захотелось поговорить с ней насчет письма.

— Я хотел попросить вас об одном одолжении,— сказал он.— Но, наверное, мне не следует к вам обращаться, вряд ли вы пожелаете что-нибудь для меня сделать.

— Но почему же? С величайшим удовольствием,— ответила она.

Она сказала, что сделает это с удовольствием! И Натель сунул руку в карман за письмом к Марте.

— Я хочу попросить вас передать это письмо. Собственно, даже не письмо, а... Тут нет ничего важного, но... Это для фрекен Гудэ, быть может, вы знаете, где сейчас находится фрекен Гудэ? Она ведь уехала.

Дагни остановилась. Она посмотрела на него странным взглядом, и словно какая-то тень промелькнула в ее синих глазах; несколько мгновений она стояла совершенно неподвижно.

— Для фрекен Гудэ?— переспросила она наконец.

— Да. Если бы вы были настолько любезны. Когда вам будет удобно, это не к спеху...

— Да, да,— сказала она, как бы очнувшись,— давайте его сюда, не беспокойтесь, я передам фрекен Гудэ письмо от вас.— И спрятав конверт в карман, она неожиданно кивнула головой и добавила:— Да, да, и спасибо за этот вечер. А теперь мне надо идти.

Она снова посмотрела на него и ушла.

Он стоял, не двигаясь с места. Почему она так резко оборвала разговор? Уходя, она посмотрела на него безо всякой злобы. Даже наоборот. И все-таки она ушла как-то вдруг, внезапно. Вот она сворачивает на дорогу, ведущую к пасторской усадьбе... Вот она скрылась за поворотом...

Когда она исчезла из виду, он медленно пошел в гостиницу. Она была в белоснежной шляпе... И так странно посмотрела на него...

XXII

Каким странным взглядом посмотрела она на него. Он не понял его значения. Но в следующий раз, когда он ее снова встретит, он постарается искупить свою вину, если он в чем-то провинился. Какая тяжесть у него в голове. Однако пугаться нечего, слава богу, хоть этого он может не опасаться.

Он сел на диван и принялся листать какую-то книгу, но ему не читалось. Он встал и в тревоге подошел к окну.

Он не решался признаться себе в этом, но он не хотел глядеть в окно из страха, что увидит там что-то необъяснимое. У него задрожали колени. Что это с ним творится? Он снова сел на диван и уронил книгу на пол. Голова у него разламывалась, он чувствовал себя совершенно больным. У него жар, в этом нет сомнения. Он ведь провел две ночи кряду в лесу, и это не прошло для него безнаказанно — он продрог и простудился. Его начало знобить, еще когда он сидел у доктора в саду.

Ну, да он скоро поправится! Он не имел обыкновения обращать внимание на такие пустячные простуды; завтра он снова будет здоров! Он позвонил и велел подать коньяку, но коньяк не оказал на него никакого действия, он даже не опьянел, он только зря выпил несколько стаканов. Ужаснее всего было то, что в голове у него все стало пугаться, он уже не в силах додумать что-либо до конца.

Как, однако, ухудшилось его состояние за какой-нибудь час! Что это? Почему колышутся занавески, ведь нет никакого ветра? Что бы это означало? Он снова встал и посмотрел в зеркало — вид у него был несчастный и больной, и веки совсем красные... «Вам все еще страшно? Не надо бояться...» Прелестная Дагни... Подумать только — белоснежная шляпа!

Стук в дверь, входит хозяин. Хозяин принес наконец счет, длинный счет на двух листках; он улыбается и вообще необычайно любезен.

Нагель тут же вынимает бумажник и начинает судорожно искать деньги, но при этом спрашивает, дрожа от ужаса, сколько же он должен; хозяин отвечает. Впрочем, это ведь прекрасно можно отложить на завтра или на любой другой день.

Боже мой, сможет ли он вообще уплатить по счету? А вдруг не сможет? И Нагель не находит в бумажнике денег. Что? У него вообще нет больше денег? Он бросает бумажник на стол и начинает шарить у себя в карманах, он совсем растерялся и в отчаянии ищет повсюду; в конце концов он даже лезет в карманы брюк, вытаскивает оттуда какую-то мелочь и говорит:

— Вот немного денег, но этого, пожалуй, не хватит, нет, конечно, не хватит! Посчитайте сами.

— Да,— подтверждает хозяин,— этого не хватит.

На лбу у Нагеля выступает пот, он сует хозяину эти несколько крон, он продолжает шарить по карманам, лезет даже в карманы жилета, может, там завалилась

какая-нибудь мелочь. Однако и там ничего нет. Но ему, наверное, удастся взять хоть немного денег в долг, может, кто-нибудь окажет ему эту услугу и даст ему займы небольшую сумму! Видит бог, кто-нибудь поможет ему, если он попросит.

Хозяин уже не скрывает своего недовольства, ему даже изменяет его обычная вежливость, он берет со стола бумажник Нагеля и сам начинает искать в нем деньги.

— Да, пожалуйста, посмотрите,— говорит Нагель,— сами видите, здесь одни только бумаги. Я не понимаю в чем дело.

Но хозяин открывает внутреннее отделение и тут же роняет бумажник на стол; лицо его расплывается в широкую, изумленную улыбку.

— Вот они где!— восклицает он.— Да здесь тысячи! Выходит, вы изволили шутить, вы хотели проверить, понимаю ли я шутки?

Нагель обрадовался как ребенок и тут же ухватился за предложенное ему объяснение.

— Ну, конечно, я пошутил, мне вдруг пришло в голову разыграть вас таким образом. У меня еще, слава богу, много денег; посмотрите, прошу вас, посмотрите только!

В бумажнике действительно лежала целая пачка банкнот, большая сумма в ассигнациях по тысяче крон; хозяину пришлось даже ходить менять деньги, чтобы получить то, что ему причиталось. Но еще долго после того, как он ушел, Нагель дрожал от волнения и на лбу у него все еще выступали крупные капли пота. Как он расстроен! Какая гулкая пустота у него в голове!

Потом он лег на диван и впал в тревожное забытие; он метался во сне, громко разговаривал, пел, требовал коньяку и пил его в полусне; он весь горел от жара. Сара ежеминутно заходила к нему, и хотя он все время с ней разговаривал, она мало что понимала из его слов. Он лежал с закрытыми глазами.

Нет, он не хочет раздеться. Как ей это только могло прийти в голову? Раздеваться посреди дня? Ведь сейчас день, верно? Он явственно слышит щебет птиц. И доктора пусть не зовет. Нет, доктор даст ему желтую мазь и белую мазь, а потом их перепутают, будут накладывать одну вместо другой, и он тут же умрет. Вот и Карлсен умер от этого, она ведь еще помнит Карлсена? Да, да, он умер именно от этого. Так или иначе, но у Карлсена в горле застрял крючок от удочки, а когда пришел доктор со своими

лекарствами, выяснилось, что Карлсен задохся, выпив пузырек самой обыкновенной колодезной воды. Ха-ха-ха, хотя и смеяться над этим грешно. Сара, не думайте, что я пьян. Что? «Ассоциация идей», слышите? Я могу это произнести... И слово «энциклопедисты» тоже. Погадайте на пуговицах, Сара, и скажите, пьян я или нет... Послушайте, вот начали работать мельницы, городские мельницы! Господи, в какой дыре вы живете, Сара! Мне хотелось оградить вас, чтобы ваши враги вас не преследовали, так это написано. Убирайтесь ко всем чертям, убирайтесь ко всем чертям! И вообще кто вы такая? Все вы обманщики, я выведу вас на чистую воду. Не верите? О, я всех вас вижу насквозь! Я не сомневаюсь, что лейтенант Хансен в самом деле обещал Минутке две шерстяные фуфайки, посмотрим, получит ли он их. И вы думаете, что Минутка осмелится когда-нибудь это подтвердить? Разрешите вывести вас из этого заблуждения: Минутка *никогда* не осмелится этого подтвердить, он увильнет от ответа! Можете не сомневаться. Если я не ошибаюсь, то вы, господин Грегорд, сидите себе вон там в сторонке и снова по-свински ухмыляетесь, заслонившись газетой. Разве нет? Ну да мне-то что... Вы еще здесь, Сара? Хорошо! Если вы посидите со мной еще пять минут, я вам расскажу одну вещь. Договорились? Но прежде представьте себе человека, у которого постепенно выпадают брови. Вы в состоянии это запомнить? Человек, у которого выпадают брови. Затем позвольте спросить вас, приходилось ли вам когда-нибудь лежать на кровати, которая скрипит? Погадайте на пуговицах и скажите, было ли это или нет. Я сильно вас в этом подозреваю. Впрочем, здесь, в городе, у меня все на подозрении, и я ни с кого глаз не спускаю. Да, впрочем... И я хорошо справился со своим делом, я дал вам не меньше двух десятков тем для разговора и внес смуту в вашу жизнь, благодаря мне разыгрывалась одна бурная сцена за другой, и они прерывали ваше уныло пристойное и тупое благополучие. Хо, хо, как гудят мельницы, как гудят! А засим я советую вам, досточтимая девица Сара, дочь Иосифа, есть бульон, пока он горячий, потому что, если он постоит и остынет, он превратится, разрази меня господь, в чистейшую воду... Еще коньяку, Сара, у меня болит голова, виски, затылок, болит так, что просто невыносимо...

— Может, выпьете чего-нибудь горячего? — спросила Сара.

Горячего? Что это ей опять пришло в голову? Ведь тут же весь город узнает, что он пил что-то горячее. Имейте в виду, он вовсе не желает возбуждать недовольство, он намерен вести себя как честный налогоплательщик, гулять по дороге, ведущей в пасторскую усадьбу, только с самыми благими намерениями и не расходиться так вызывающе во мнениях с другими людьми, он клянется в этом... Пусть она не боится. Правда, голова еще свинцовая, да и не только голова, но он нарочно не раздевается, чтобы не разбалчиваться. Как говорится, надо клин клином вышибать.

Ему становилось все хуже, и Сара сидела как на иголках. Ей очень хотелось уйти, но стоило ей только сделать движенье, он это замечал и спрашивал: неужели она его покинет? Она снова садилась и ждала, чтобы он, утомившись от разговора, забылся, наконец, сном. А он все говорил и говорил без умолку, хотя и лежал с закрытыми глазами, и лицо его так и пылало. Он нашел новый способ избавить кусты смородины в саду у фру Стенерсен от тли. Способ этот очень прост: в один прекрасный день он купит в лавке целое ведро жидкого парафина, потом отправится на рыночную площадь, снимет там башмаки, нальет в них парафин, подожжет их, сперва один башмак, затем другой, и пустится в пляс вокруг них в одних носках, и будет петь. Он это непременно сделает в ближайшее утро, как только выздоровеет, он устроит настоящий цирк, эдакую лошадиную оперу, и будет щелкать кнутом.

Потом он стал награждать странными и потешными титулами своих знакомых. Так, например, поверенного Рейнерта он величал Бильге, утверждая при этом, что Бильге—это титул. Господин Рейнерт, высокочтимый Бильге нашего города, говорил он. В конце концов он понес нечто совсем несусветное, почему-то стал вычислять высоту потолков в доме консула Андерсена. Три с половиной локтя. Три с половиной локтя! — выкрикнул он несколько раз подряд. Три с половиной локтя, конечно, приблизительно. Разве я не прав? Но если говорить серьезно, то в горле у него в самом деле застрял рыболовный крючок, он не лжет, это истинная правда, он захлебывается кровью, и ему очень больно.

Только к вечеру он наконец заснул.

Часов около десяти он вдруг проснулся. Он был один в комнате и по-прежнему лежал на диване. Одеядло, которым его накрыла Сара, валялось на полу, но его уже не

знобило. Сара, уходя, закрыла окна, но он их снова распахнул. Ему казалось, что голова его уже совершенно ясна, но он совсем обессилел, ноги у него подкашивались. Беспричинный страх снова овладел им. От малейшего скрипа в комнате или от голоса, доносившегося с улицы, ужас пронзал его до мозга костей. Быть может, если он ляжет в постель и проспит до утра, это пройдет. Он разделся.

Но заснуть не мог. Он лежал и перебирал в памяти все, что пережил за последние сутки, со вчерашнего вечера, когда он отправился в лес и выпил содержимое пузырька, до этого часа, когда он лежит у себя в номере, совсем разбитый и изнуренный жаром. Как нескончаемо долго тянулись эта ночь и этот день! И страх не покидал его, тупое, необъяснимое предчувствие, что его подстерегает беда. За что же это все? Какие странные шорохи раздаются вокруг его кровати. Комната наполнена каким-то жутким свистящим шепотом. Он сложил руки на груди, и ему показалось, что он засыпает. Вдруг взгляд его случайно падает на пальцы, и он видит, что нет кольца. Сердце его тут же начинает бешено колотиться. Он разглядывает палец: на нем едва различимая темная полоска, а кольца нет! Боже праведный, где же кольцо? Ах да, он ведь бросил его в море, он думал, что оно ему больше не понадобится, он ведь должен был умереть, и он сам бросил его в море. А теперь кольца нет, нет кольца!

Он разом вскакивает с кровати. Одевается впопыхах и мечется как одержимый по комнате. Сейчас десять, до полуночи кольцо должно быть найдено, крайний срок — последний, двенадцатый удар! Кольцо, кольцо...

Он стремительно сбегает вниз, выскакивает на улицу и во весь дух мчится к пристани. Из гостиницы его провожают удивленные взгляды, но он не обращает на это никакого внимания. Он снова смертельно устал, ноги у него подкашиваются, но он не замечает этого. Да, наконец-то он нашел причину того тягостного страха, который терзал его весь день,— у него не было больше его железного кольца! И женщина с крестом снова явилась ему...

Вне себя от ужаса, он кидается к первой попавшейся лодке, стоящей у причала, но лодка на цепи, и он не может отомкнуть замка. Он подзывает какого-то человека и просит его помочь, но человек отвечает, что не может этого сделать, потому что это — чужая лодка. Конечно, но Нагель берет всю ответственность на себя,

необходимо найти кольцо. Он охотно купит эту лодку. Но разве он не видит цепи? Тогда придется взять другую лодку.

И Нагель прыгает в другую лодку.

— Куда вы? — спрашивает человек, которого окликнул Нагель.

— Я должен найти кольцо. Может быть, вы меня знаете? Видите след на пальце — значит, я не лгу; я бросил это кольцо в море, оно где-то там, на дне.

Человек ничего не понял.

— Вы что, хотите найти кольцо на дне морском?

— Да, да, вот именно! — подхватил Нагель. — Я вижу, вам все ясно. Я должен во что бы то ни стало найти кольцо, вы тоже это прекрасно понимаете. Садитесь со мной и гребите!

— Вы что, на самом деле хотите найти кольцо, которое бросили в море? — переспросил этот человек.

— Да, конечно же! Садитесь скорей. Я дам вам за это много денег.

— Господь с вами, что вы придумали? Вы хотите найти кольцо и достать его рукой, так, что ли?

— Да, рукой. Впрочем, мне все равно как. Когда надо, я могу плавать как угорь. А может быть, мы придумаем и другой способ.

И незнакомый человек прыгает в лодку. Он садится, чтобы обсудить это дело, но, разговаривая с Нагелем, он все время отворачивается. Ведь это действительно дурацкая затея — попытаться найти такую крошечную вещицу. Вот если бы речь шла о якорь или цепи, то в этом был бы еще какой-то смысл, но кольцо! Да к тому же точно не зная, куда оно упало!

Нагель и сам начинает понимать всю бессмысленность этого предприятия. Но тогда он решительно не знает что делать, тогда он пропал... Глаза его остекленели, его трясет не то от страха, не то от лихорадки. Он порывается прыгнуть за борт, но незнакомец крепко хватает его и усаживает на скамью. Нагель тут же сникает, он устал, смертельно устал, он слишком слаб, чтобы с кем-то бороться. Боже милосердный, как ужасно все складывается! Кольцо потеряно, скоро пробьет двенадцать, а кольца нет! Недаром ему был подан знак...

Вдруг в мыслях его наступает полная ясность, и за эти несколько мгновений незатемненного сознания он успевает бог весть сколько передумать. Он вспоминает также — и как только он упустил это из виду, — что еще позавчера

вечером написал прощальное письмо сестре и бросил его в почтовый ящик. А он еще жив. Но письмо уже в пути, его нельзя остановить, оно уже далеко отсюда и неизбежно дойдет до адресата. Когда сестра его получит, он обязательно должен быть мертв. Да к тому же и кольцо пропало, так что выхода нет...

Он лязгает зубами и беспомощно озирается по сторонам, море — вот оно, совсем рядом, стоит ему только прыгнуть — и конец. Он косится на человека, сидящего на корме, тот по-прежнему отворачивает от него лицо, но при этом зорко следит за ним и готов схватить его при первом же движении. Но почему же он все время отворачивает лицо?

— Дайте-ка я помогу вам выйти из лодки, — говорит этот человек, обхватывает его и вытаскивает на берег.

— Спокойной ночи, — говорит Нагель и шагает прочь.

Но человек идет за ним следом, он явно не доверяет ему и во все глаза следит за каждым его движением. Нагель в ярости оглядывается, повторяет еще раз: «Спокойной ночи», — и тут же кидается к краю причала, чтобы прыгнуть в воду.

А человек снова хватает его.

— Ничего у вас не выйдет, — шепчет он Нагелю прямо в ухо. — Вы слишком хорошо плаваете, вам не удастся утонуть.

Нагель останавливается и задумывается. Да, он и в самом деле очень хорошо плавает, быть может, ему и не удастся утонуть. Он смотрит на этого человека, заглядывает ему прямо в лицо: перед ним страшная рожа — это Минутка.

Снова Минутка! Опять Минутка!

— Провались ты к черту в пекло, мерзкая, гнусная гадина! — кричит Нагель и убегает. Он качается словно пьяный, спотыкается, падает и снова поднимается на ноги, все кружится у него перед глазами, но он продолжает бежать, бежать по направлению к городу. Второй раз Минутка срывает его план. Господи, что же делать? Как все мелькает кругом. Что за странный гул стоит в городе. И Нагель снова падает на землю.

С усилием встает он на колени и в ужасе поводит головой из стороны в сторону. Слышишь, с моря кто-то зовет! Скоро пробьет полночь, а кольца все нет. И за ним ползет какая-то тварь, он слышит, как шуршит под ней земля, это пресмыкающееся с отвислым брюхом оставляет за собой мокрый след, — этаким омерзительный живой иероглиф с лапами, растущими на голове, и огромным

желтым когтем на носу. Прочь, прочь! Снова доносится зов с моря, и Нагель с воплем затыкает уши, только чтобы не слышать его.

Он вскакивает на ноги. Еще не все пропало, есть еще последнее средство, надежный шестизарядный револьвер, лучшая в мире вещь! И Нагель плачет от радости, он бежит со всех ног и плачет, исполненный благодарности за то, что появилась новая надежда. Но вдруг он вспоминает, что сейчас ночь, что все лавки закрыты и он не сможет купить револьвер. И сраженный отчаянием, он падает как подкошенный лицом вниз, лбом оземь, но даже не вскрикивает.

В этот момент из дверей гостиницы выходит хозяин и еще несколько человек, чтобы узнать, что с ним.

Тут Нагель проснулся и в недоумении обвел глазами комнату. Значит, все это ему приснилось. Значит, в конце концов он все-таки заснул. Слава богу, все это только приснилось, он не вставал с кровати.

Несколько мгновений Нагель лежит неподвижно и думает. Он подносит руку к глазам: кольца нет. Он глядит на часы — полночь. Двенадцать часов ночи без нескольких минут. Быть может, беда миновала, быть может, он спасен! Но сердце его отчаянно колотится, и он дрожит с головы до ног. Быть может, быть может, пробьет двенадцать, и ничего не случится. Он еле удерживает часы в дрожащей руке. Он считает минуты... секунды...

Вдруг часы падают на пол, и он в ужасе вскакивает.

— Зовет! — шепчет он и, не мигая, смотрит в окно. Он торопливо натягивает на себя то, что попадает под руку, отворяет дверь и стремглав выбегает на улицу. Он боязливо озирается по сторонам, но никто как будто его не заметил. Со всех ног несется он к пристани, и шелковая спинка его жилета долго белеет в темноте. Вот он уже на набережной, он добегает до конца причала и прыгает в море.

Несколько пузырей появилось на поверхности воды.

XXIII

На другой год, в апреле, поздно ночью Дагни и Марта вместе шли по городу. Они провели вечер в гостях и теперь возвращались домой. Было темно, да и лед кое-где еще не стаял, поэтому они шли очень медленно.

— Я все думаю о том, что сегодня говорили про Нагеля,— сказала Дагни.— Много было для меня неожиданно.

— А я ничего не слыхала,— ответила Марта,— я как раз выходила из комнаты.

— Но одного никто из них не знает,— продолжала Дагни.— Нагель еще прошлым летом уверял меня, что Минутка плохо кончит. Не понимаю, как он уже тогда мог это знать. Он говорил об этом задолго, задолго до того, как ты рассказала мне, что Минутка сделал с тобой.

— Неужели он уже тогда говорил это?

— Да.

Они свернули на дорогу, ведущую к пасторской усадьбе. По обе стороны темнел молчаливый лес. Глухую тишину нарушало только постукиванье их каблучков по мерзлой, твердой земле.

Они долго шли, не говоря ни слова, потом Дагни сказала:

— Здесь он обычно гулял.

— Кто?— спросила Марта.— Как скользко! Возьми меня под руку.

— Нет, лучше ты меня.

И они молча пошли дальше, рука об руку, прижавшись друг к другу.

Нант



РОМАН

Перевод
Е. Суриц

PAN
1894



I

Последние дни мне все думается, думается о незакатном дне северного лета. Все не идет у меня из головы это лето и лесная сторожка, где я жил, и лес за сторожкой, и я решился кое-что записать, чтоб скоротать время и так просто, для собственного удовольствия. Время идет медленно, я никак не могу заставить его идти поскорей, хоть ничто не гнетет меня и я веду самую беззаботную жизнь. Я совершенно всем доволен, правда, мне уже тридцать лет, но не так уж это много. Несколько дней назад я получил по почте два птичьих пера, издалека, от человека, который вовсе не должен бы мне их присылать, но вот поди ж ты — два зеленых пера в гербовой бумаге, запечатанной облаткой. Любопытно было взглянуть на эти перья, до чего же они зеленые... А так ничто меня не мучит, разве что иногда ломит левую ногу из-за старой раны, впрочем давно уже залеченной.

Помню, два года назад время бежало быстро, не то что теперь, не успел я оглянуться, как промчалось лето. Это было два года назад, в 1855 году, а сейчас я для собственного удовольствия решил написать обо всем, что мне тогда выпало на долю, а может быть, и просто приснилось. Теперь уж позабылись многие подробности тех событий, я ведь о них почти и не вспоминал; помню только, что ночи были очень светлые. И многое казалось мне странно: в году, как всегда, двенадцать месяцев, а ночь обратилась в день, и хоть бы одна звезда на небе. И люди там тоже особенные, никогда еще мне такие не встречались; иной раз одна всего ночь — и вчерашний ребенок становится взрослым, разумным и прекрасным созданием. И не то чтобы это колдовство, просто никогда еще мне такое не встречалось. О, никогда, никогда не встречалось.

В большом белом доме у самого моря судьба свела меня с человеком, на короткое время занявшим мои мысли. Теперь этот человек уже не стоит неотступно у меня в голове, так только, изредка вспомню, да нет, совсем позабыл; я вспоминаю, напротив, совсем другое: крик морских птиц, охоту в лесах, мои ночи, каждый горячий час лета. Да и свел-то нас с нею случай, и ведь не будь этого случая, я бы и дня о ней не думал.

Из сторожки я видел сумятицу островков и шхер, кусочек моря, синие вершины, а за сторожкой лежал лес, бескрайний лес. Как я радовался запаху корней и листвы, запаху жирной сосновой смолы; только в лесу все во мне затихало, я чувствовал себя сильным, здоровым, и ничто не омрачало душу. Всякий день я шел в горы с Эзопом, и ничего-то мне больше не надо было — только вот так ходить в горы, хоть еще не сошел снег и местами чернела слякоть. Единственным товарищем моим был Эзоп; теперь у меня Кора, а тогда был Эзоп, мой пес, которого я потом застрелил.

Часто вечером, когда я подходил к своей сторожке, у меня уютно замирало сердце, пробирала радостная дрожь, и я говорил с Эзопом о том, как славно нам живется. «Ну вот, сейчас мы разведем огонь и зажарим на очаге птицу,— говорил я ему,— что ты на это скажешь?» А когда мы отужинаем, Эзоп, бывало, забирался на свое место за очагом, а я зажигал трубку, и ложился на нары, и вслушивался в глухой шорох леса. Ветер дул в сторону нашего жилья, и я отчетливо слышал, как токуют тетерева далеко в горах. А то все было тихо.

И часто я так и засыпал, как был, во всей одежде, и просыпался лишь от утреннего крика морских птиц. Выглянув в окно, я видел большие белые строенья, лавку, где я брал хлеб, пристани Сирилунна, и потом еще лежал на нарах, дивясь, что я тут, на самом севере Норвегии, в Нурланне, в сторожке на краю леса.

Но вот Эзоп потягивался узким длинным телом, звенел ошейником, зевал, вилял хвостом, и я вскакивал после трех-четырёхчасового сна, совершенно выспавшийся и всем, всем довольный.

Так прошло много ночей.

II

Бывает, и дождь-то льет, и буря-то воеет, и в такой вот ненастный день найдет беспричинная радость, и ходишь, ходишь, боишься ее расплескать. Встанешь, бывает, смо-

тришь прямо перед собой, потом вдруг тихонько засмеешься и оглядишься. О чем тогда думаешь? Да хоть о чистом стекле окна, о лучике на стекле, о ручье, что виден в это окно, а может, и о синей прорехе в облаках. И ничего-то больше не нужно.

А в другой раз даже и что-нибудь необычайное не выведет из тихого, угнетенного состояния духа, и в бальной зале можно сидеть уныло, не заражаясь общим весельем. Потому что источник и радостей наших, и печалей в нас же самих.

Вот помню я один день. Я спустился к берегу. Меня захватил дождь, и я спрятался в лодочном сарае. Я напел, но без охоты, без удовольствия, так просто, чтобы убить время. Эзоп был со мной, он сел, прислушался. Я перестаю петь и тоже слушаю, я слышу голоса, ближе, ближе. Случай, чистейший случай! Два господина и девушка влетают ко мне в сарай. Они, хохоча, кричат друг дружке:

— Скорее! Тут и переждем!

Я встал.

Один из мужчин был в белой некрахмаленной манишке, теперь она вдобавок совсем промокла и пузырилась; в этой мокрой манишке торчала брильянтовая булавка. На ногах у него были длинные, остроносые башмаки весьма щегольского вида. Я поклонился, это был господин Мак, торговец, я узнал его, я покупал хлеб у него в лавке. Он еще приглашал меня к себе домой, да я пока не собрался.

— А, знакомые!— сказал он, разглядев меня.— Вот пошли было на мельницу, и пришлось воротиться. Ну и погодка, а? Так когда же вы пожалуете в Сирилунн, господин лейтенант?— Он представил мне низкорослого господина с черной бородкой, доктора, жившего в соседнем приходе.

Девушка подняла вуаль на нос и принялась тихонько беседовать с Эзопом. Я заметил ее кофту, по изнанке и петлям видно было, что она перекрашена. Господин Мак представил и ее, это его дочь, зовут ее Эдвардой.

Эдварда быстро глянула на меня через вуаль и опять стала шептаться с Эзопом и разбирать надпись у него на ошейнике.

— Тебя, оказывается, зовут Эзоп... Доктор, кто такой Эзоп? Я только и помню, что он сочинял басни. Фригиец, кажется? Нет, не знаю.

Ребенок, школьница. Я смотрел на нее. Высокая, но еще не развившаяся, лет пятнадцати—шестнадцати,

длинные, темные руки без перчаток. Наверное, придя домой, она отыскала в лексиконе Эзопа, чтобы блеснуть при случае.

Господин Мак расспрашивал меня об охоте. Чего понадается больше? Я могу свободно располагать любой из его лодок, одно мое слово — и она в моем нераздельном пользовании. Доктор все время молчал. Когда они пошли, я заметил, что доктор прихрамывает и опирается на палку.

Я побрел домой; на душе у меня было по-прежнему пусто, я безразлично напевал. Встреча в лодочном сарае не произвела на меня ровным счетом никакого впечатления; больше всего запомнилась мокрая манишка господина Мака с брильянтовой булавкой, тоже мокрой и почти без блеска.

III

Неподалеку от моей сторожки стоял камень, высокий серый камень. У камня был такой приветливый вид, он словно смотрел на меня, когда я к нему подходил, и узнавал меня. По утрам, отправляясь на охоту, я прино ровился ходить мимо камня, и меня словно бы поджидал дома добрый друг.

А в лесу начиналась охота. Иногда я подстрелю какую-нибудь дичь, иногда и нет...

За островами тяжело и покойно лежало море. Часто я забирался далеко в горы и глядел на него с вышины; в тихие дни суда почти не двигались с места, бывало, три дня кряду я видел все тот же парус, крошечный и белый, словно чайка на воде. Но вот налетал ветер и почти стирал горы вдаль, поднималась буря, она налетала с юго-запада, у меня на глазах разыгрывалось интересное представление. Все стояло в дыму. Земля и небо сливались, море взвихрялось в диком танце, выбрасывая из пучины всадников, коней, разодранные знамена. Я стоял, укрывшись за выступ скалы, и о чем только я тогда не думал! Бог знает, думал я, чему я сегодня свидетель и отчего море так открывается моим глазам? Быть может, мне дано в этот час увидеть мозг мирозданья, как кипит в нем работа! Эзоп нервничал, то и дело поднимал морду и принюхивался, у него тонко дрожали лапы; не дождавшись от меня ни слова, он жался к моим ногам и тоже смотрел на море. И ни голоса, ни вскрика — нигде

ничего, только тяжкий, немолчный гул. Далеко в море лежал подводный камень, лежал себе, тихонько уединясь вдалеке, когда же над ним проносилась волна, он вздымался, словно безумец, нет, словно мокрый полубог, что поднялся из вод, и озирает мир, и фыркает так, что волосы и борода встают дыбом. И тотчас снова нырял в пену.

А сквозь бурю пробивал себе путь крошечный, черный, как сажа, пароходик...

Когда я вечером пришел на пристань, черный пароходик уже стоял в гавани; оказывается, это был почтовый пароход. Посмотреть на редкого гостя собралось немало народу, я заметил, что, как бы ни рознились эти люди, глаза у всех подряд были синие. Молодая девушка, покрытая белым шерстяным платком, стояла неподалеку; волосы у нее были очень темные, на них особенно выделялся белый платок. Она любопытно разглядывала меня, мою кожаную куртку, ружье, когда я с ней заговорил, она смутилась и потупилась. Я сказал:

— Носи всегда белый платок, тебе он к лицу.

И тотчас к ней подошел высокий, крепкий человек в толстой вязаной куртке, он назвал ее Евой. Видно, она его дочь. Высокого, крепкого человека я узнал, это был кузнец, здешний кузнец. За несколько дней до того он приделал новый курок к одному из моих ружей...

А дождь и ветер сделали свое дело и счистили весь снег. Несколько дней было промозгло и неуютно, скрипели гнилые ветки, да вороны собирались стаями и каркали. Но длилось это недолго, солнышко затаилось совсем близко, и однажды утром оно поднялось из-за леса. Солнце встает, и меня пронизывает восторгом; я вскидываю ружье на плечо, замирая от радости.

IV

В ту пору я не знал недостатка в дичи, я стрелял что вздумается: то подстрелю зайца, то глухаря, то куропатку, а когда мне случалось спуститься к берегу и подойти на выстрел к морской птице, я, бывало, и ее подстрелю. Славная была пора, дни делались все длиннее, воздух чище, я запасался едой на два дня и пускался в горы, к самым вершинам, там я сходил с лопарями-оленоводами, и они давали мне сыру, небольшие жирные сыры, отдающие травой. Я ходил туда не раз. На возвратном

пути я всегда подстреливал какую-нибудь птицу и совал в сумку. Я присаживался и брал Эзопа на поводок. В миле подо мной было море; скалы мокры и черны от воды, что журчит под ними, плещет и журчит, и все одна и та же у воды незатейливая музыка. Эта тихая музыка скоротала мне не один час, когда я сидел в горах и смотрел вокруг. Вот журчит себе нехитрая, нескончаемая песенка, думал я, и никто-то ее не слышит, никто-то о ней не вспомнит, а она журчит себе и журчит, и так без конца, без конца! Я слушал эту песенку, и мне уже казалось, что я не один тут в горах. Случались и происшествия: прогремит гром, сорвется и упадет в отвес обломок скалы, оставив дымящуюся осколками дорожку на круче; Эзоп тотчас же поднимал морду, приняхивался, он недоумевал, откуда это тянет гарью. Когда потоки талого снега проточат ложбинки в горах, достаточно выстрела, даже громкого крика, чтобы большая глыба сорвалась и рухнула в море...

Проходил час, а то и больше, время бежало так быстро. Я спускал Эзопа, перебрасывал сумку на другое плечо и шагал к дому. Вечерело. Сойдя в лес, я неизменно нападал на знакомую свою тропку, узенькую ленту, всю в удивительных изгибах. Я прилежно следовал за каждым изгибом — спешить было некуда, никто ведь меня не ждал; вольный как ветер, я шел по своим владеньям, по мирному лесу, и мне не к чему было ускорять шаг. Птицы уже молчали, только тетерев токовал вдалеке, он токовал без умолку.

Я вышел из лесу и увидел перед собой двоих, они прогуливались, я нагнал их; это оказалась йомфру Эдварда, я узнал ее и поклонился; с ней был доктор. Пришлось показывать им ружье, они осмотрели мой компас, мою сумку; я пригласил их к себе в сторожку, и они пообещались как-нибудь зайти.

Ну вот и вечер. Я пришел домой, развел огонь, зажал птицу и поужинал. Завтра снова будет день...

Повсюду тишь и покой. Я лежу и смотрю в окно. Лес в необычном уборе заката. Солнце уже зашло и оставило на горизонте густой, застывший отсвет, словно нанесенный алой краской. Небо везде чисто и открыто, я глядел в эту ясную глубину, и мне словно обнажилось дно мира, и сердце стучало и стремилось к этому голому дну, рвалось к нему. Ну почему, почему, думал я, горизонт одевается по вечерам в золото и багрянец, уж не пир ли у них там, наверху, роскошный пир с катаньем по небесным потокам под музыку звезд? А ведь похоже! И я за-

крываю глаза, и вот уже я с пирующими, и мысли мои мелькают одна за другой и путаются.

Так прошел не один день.

Я бродил и смотрел, как тает снег, как трогается лед. Часто, когда дома у меня хватало еды, я даже не разряжал ружья, я просто гулял, а время все шло и шло. Всюду, куда ни оглянешься, было на что поглядеть, что послушать, с каждым днем все потихоньку менялось, даже ивняк и можжевельник — и те затаились и ждали весну. Сходил я и на мельницу, она пока была под ледяной коркой; но земля вокруг утопталась за множество лет и ясно показывала, что сюда приходят люди с тяжелыми мешками зерна. И я словно бы потолкался тут среди людей в ожиданье помола, а на стенах во множестве были вырезаны буквы и даты.

Вот так-то!

V

Что ж, писать и дальше? Нет, нет. Разве что немного, для собственного удовольствия, да и просто время скоротаю, рассказывая, как два года назад настала весна и как глядело все кругом. Земля и море чуть-чуть запахли, сладко запахло прелью от лежалой листвы, и сороки летали с прутиками в клювах и строили гнезда. Еще несколько дней, и ручьи вспенились, вздулись, и уже над кустами суетились крапивницы, и рыбаки вернулись с зимних промыслов. Две торговые баржи, доверху груженные рыбой, стали на якорь возле сушилен; на островке побольше, где распластывали рыбу для сушки, закипела жизнь. Мне все было видно из моего окна.

Но до сторожки гвалт не доносился, и ничто не нарушало моего одиночества. Случалось, пройдет кто-нибудь мимо; мне встретилась Ева, дочь кузнеца, на носу у нее выступили веснушки, совсем немного.

— Куда ты? — спросил я.

— По дрова, — ответила она тихо. В руке у нее была веревка. На Еве опять был белый платок. Я посмотрел ей вслед, но она не оглянулась.

И снова пошли день за днем, и я никого не видел.

Весна ударила дружнее, лес повеселел; очень меня забавляли дрозды, они сидели на макушках деревьев, пялились на солнце и горланили; иной раз я вставал даже и в два, чтоб вместе со зверьем и птицами порадоваться на восход.

И ко мне подобралась весна, кровь билась в жилах так громко, будто выстукивали шаги. Я сидел у себя дома и думал о том, что надо бы осмотреть вентера и лесы, однако же и пальцем не шевелил; смутная пугливая радость бродила в сердце. Но вот Эзоп вдруг вскочил, замер и коротко тьякнул. К сторожке уже подходили, я поскорей стянул с головы картуз и услышал под дверью голос йомфру Эдварды. Значит, они с доктором, как обещались, решили запросто, без церемоний заглянуть ко мне.

— Да нет, он дома,— услышал я. И она вошла и неловко протянула мне руку.— Мы и вчера тут были, да вас не застали,— пояснила она.

Она села на нары, поверх одеяла, и стала оглядывать мою сторожку; доктор поместился рядом со мной на скамье. Мы принялись болтать, мы говорили о всякой всячине; между прочим, я рассказал им, какой зверь водится в лесу и когда какую дичь запрещается стрелять. Теперь запрещается стрелять глухарей.

Доктор опять больше помалкивал; когда же взгляд его упал на фигурку Пана у меня на пороховнице, он пустился разъяснять миф о Пане.

— А как же вы будете жить,— вдруг сказала Эдварда,— когда всю дичь запретят?

— Рыба,— сказал я.— Выручает рыба. Еда всегда найдется.

— А почему бы вам не обедать у нас,— сказала она.— В прошлом году в этой сторожке жил один англичанин, так он часто приходил к нам обедать.

Эдварда глянула на меня, и я на нее. Тут сердце мое дрогнуло, как от нежного привета. Это все весна, все яркий день, мне запомнилась та минута. И потом у Эдварды были такие восхитительные, дугами выгнутые брови.

Она заговорила о моем жилище. Стены у меня были увешаны разными шкурами и перьями, просто логово дикаря. Эдварде это понравилось.

— Настоящее логово,— сказала она.

Подарить гостям было нечего, я подумал, как бы доставить им удовольствие, и решил зажарить птицу. Можно есть ее руками, как на охоте; это очень весело.

И я зажарил птицу.

Эдварда рассказывала про англичанина. Такой чудной старик, сам с собой разговаривал. Он был католик и всюду таскал с собой в кармане молитвенник с черными и красными буквами.

— В таком случае, полагаю, он был ирландец?— спросил доктор.

— Ирландец?

— Ну да. Если уж он был католик?

Эдварда покраснела, запнулась и отвела глаза:

— Ах, наверное, он был ирландец.

И она стала скучная. Мне сделалось жаль ее, захотелось поправить дело, и я сказал:

— Ну конечно, правда ваша, он был англичанин, ведь ирландцы не ездят в Норвегию.

Мы сговорились как-нибудь поехать на лодке поглядеть, как сушат рыбу...

Я проводил их немного, вернулся и сел поправлять снасти. Сачок висел на гвозде у двери, и несколько петель прорвалось от ржавчины; я заострил крючки, загнул их, проверил невод. Как трудно было собраться и думать о делах! В голове мелькали все ненужные мысли. Нехорошо, что я оставил йомфру Эдварду на нарах, надо бы усадить ее на скамье. Вдруг мне представилось ее смуглое лицо и смуглая шея; передник она повязывала ниже пояса, чтоб талия получалась длинная, по моде; я вспомнил, какое девическое стыдливое выражение у ее большого пальца, он возбуждал во мне нежность, и складочки у суставов такие приветливые. И как горел ее большой рот.

Я встал, отворил дверь и прислушался. Я ничего не услышал, да и слушать-то было нечего. Я снова затворил дверь. Эзоп поднялся с подстилки, он почуял неладное. Мне приходит в голову догнать йомфру Эдварду и попросить у нее немного шелка починить сачок, это не выдумка, нет, я могу расстелить сачок и показать ей проржавевшие петли. Я был уже за дверью, когда вспомнил, что шелк у меня есть, он лежит в коробке для мух, у меня его сколько угодно. И я тихо и уныло побрел обратно.

Из углов сторожки на меня дохнуло чем-то чужим, словно кто поджидал меня в моем доме.

VI

Меня спрашивали, уж не бросил ли я охоту; спрашивал один рыбак, он два дня провел в заливе и за все время не слышал в горах ни выстрела. Да, я не стрелял, я все сидел дома, покуда у меня не вышла еда.

На третий день я отправился на охоту. Лес зазеленел, пахло землей и деревьями. Сквозь взмокший мох пробились зеленые стрелки дикого чеснока. О чем я только не думал... Голова шла кругом, я то и дело присаживался. За целых три дня я видел одного человека, того, вчерашнего рыбака. Я думал: а вдруг я встречу кого-нибудь по дороге домой, на опушке, на том месте, где видел доктора и йомфру Эдварду. Они ведь снова могут там оказаться. Впрочем, кто его знает. И почему, собственно, именно они пришли мне в голову? Мало ли кого я могу встретить. Я застрелил двух куропаток, одну тотчас приготовил; потом я взял Эзопа на поводок.

Я ел, лежал на подсохшей поляне и ел. Все было тихо, лишь вскрикнет вдруг птица да ветер прошелестит листвою. Я лежал и глядел, как медленно, медленно качаются ветки; ветер делал свое дело, разносил пыльцу с куста на куст, не забывал ни одного венчика; лес упоенно замер. Зеленая гусеница, пяденица, шагает по краю ветки, шагает без передышки, словно отдышать ей нельзя. Она почти ничего не видит, хоть у нее есть глаза, то и дело встает торчком и нащупывает, куда бы ступить; будто обрывок зеленой нитки мережит ветку крупными стежками. К вечеру, надо думать, она доберется до места.

Тихо. Я встаю и иду, присаживаюсь и встаю снова. Сейчас около четырех; когда будет шесть, я пойду домой, и, может быть, я кого-нибудь встречу. У меня остается два часа, всего два, и я уже волнуюсь, я счищаю вереск и мох со своего платья. Места мне знакомы, я узнаю все эти деревья и камни, отвыкшие от людей, листва шуршит у меня под ногами. Шелест, шелест, мои знакомые деревья и камни! И меня переполняет странной благодарностью, сердце мое открыто всему, всему, все это мое, я все люблю. Я подбираю засохший сучок, держу его в руке и смотрю на него, сидя на пне и думая о своем; сучок почти совсем сгнил, у него такая трухлявая кора, мне делается его жалко. И поднявшись, пустившись в путь, я не бросаю сучок, не швыряю его подальше, но осторожно кладу и гляжу на него с состраданием; и когда я смотрю на него в последний раз, перед тем как уйти, глаза у меня мокрые.

Но вот уже пять. Солнце ведь показывает неточное время, я целый день шел на запад, и, верно, теперь оно на полчаса обманывает меня. Я это уже прикинул. Но до шести все равно еще час, и я снова встаю и снова иду. И листва шуршит у меня под ногами. Так проходит час.

Вот прямо, в низине, я вижу ручей и мельницу, зимой она стояла под ледяной коркой; и я останавливаюсь; лопасти кружат, гудят, задумчивость мою как рукой снимает, я так и замираю на месте «Я опоздал!» — кричу я. И сердце у меня ноет. Я тотчас поворачиваю и иду к дому, но сам знаю, знаю, что опоздал. Я ускоряю шаг, я бегу; Эзоп чует неладное, тянет за поводок, прядает, скулит и рвется. Вихрем взвивается у нас из-под ног сухая листва. Но когда мы выходим на опушку, там никого, все тихо, и там никого.

— Никого! — говорю я. — Что ж, так я и знал.

Я стоял недолго, я пошел, мысли мои подгоняли меня, я прошел мимо сторожки и дальше, к Сирилунну, с Эзопом, сумкой и ружьем, со всем своим имуществом.

Господин Мак встретил меня весьма любезно и пригласил отужинать.

VII

Мне кажется, я немного умею читать в душах других людей; может, это и не так. А когда я в духе, мне представляется, что я могу заглянуть глубоко в чужую душу, и вовсе не потому, что такой уж я умник. Вот мы сидим в комнате, несколько мужчин, несколько женщин и я, и я прямо-таки вижу все, что происходит в этих людях, знаю все, что они обо мне думают. Ничто от меня не укроется; вот кровь прилила к щекам, и они загорелись; а то прикинется кто-то, будто смотрит совсем в другую сторону, и тайком, искоса поглядывает на меня. И вот я сижу себе, смотрю, и никому-то невдомек, что я вижу насквозь любую душу. Много лет я был убежден, что умею читать в душах людей. Может, это и не так...

Я целый вечер просидел у господина Мака. Я мог, разумеется, тотчас уйти, мне было совсем неинтересно; но ведь я и приходиться-то не собирался, меня просто что-то пригнало сюда. Как же я мог уйти? Мы играли в вист, пили после ужина тодди, я сидел лицом к окну, свесив голову; у меня за спиной двигалась Эдварда, входила и выходила из гостиной. Доктор уехал домой.

Господин Мак показал мне свои новые лампы, первую партию керосиновых ламп на севере, очень красивые лампы, на тяжелых свинцовых подставках, и он их сам зажигал каждый вечер, чтобы их не испортили или вдруг не наделали пожара. Несколько раз он упомянул

в разговоре своего деда, консула: эта булавка досталась моему деду, консулу Маку, от самого Карла-Юхана, из собственных рук,— сказал он и ткнул пальцем в свою брильянтовую булавку. Жена у него умерла, он показал мне портрет в угловой комнате, портрет женщины с важным лицом, в блондах и с учтивой улыбкой. В той же комнате стоял шкаф с книгами, где были даже и старые французские книги, видимо полученные в наследство, переплеты изящные, золоченые, и множество прежних хозяев начертало на них свои имена. Среди книг стояли сочинения энциклопедистов; господин Мак был человек мыслящий.

К висту позвали обоих приказчиков господина Мака; они играли медленно и осторожно, долго прикидывали каждый ход — и все равно ошибались. Одному помогала Эдварда.

Я опрокинул стакан, я огорчился и встал.

— Ох господи, я опрокинул стакан! — сказал я.

Эдварда расхохоталась и ответила:

— Мы видим и сами.

Все, смеясь, принялись уверять меня, что это пустяки. Мне дали полотенце, и мы продолжали игру. Пробыло одиннадцать. Смех Эдварды покоробил меня, я взглянул на нее и нашел, что лицо ее сделалось невыразительно и почти некрасиво. Господин Мак прервал наконец игру, объявив, что приказчикам пора спать, а потом он откинулся на спинку дивана и завел разговор о новой вывеске, которую собирался навесить на лавку со стороны пристани. Он спрашивал моего совета. Какую бы взять краску? Мне было скучно, не думая, я брякнул — черную краску, и господин Мак тотчас же подхватил:

— Черная краска! Вот именно! «Продажа соли и бочонков» большими черными буквами, так благородней всего... Эдварда, не пора ль тебе ложиться?

Эдварда встала, протянула нам обоим руку на прощанье и вышла. Мы еще посидели в гостиной. Мы поговорили о железной дороге, которую провели прошлой весной, о первой телеграфной линии. Бог знает, когда еще телеграф дойдет сюда, на север!

Пауза.

— Понимаете,— сказал господин Мак,— оглянуться не успел, как сорок шесть стукнуло, волосы и борода уж седеют. Я чувствую, что подходит старость. Вот вы смотрите на меня днем и думаете, что я молодой; а вечерами, как останусь один, очень не по себе делается.

И сижу тут да раскладываю пасьянсы. И выходят, если чуть передернуть. Ха-ха.

— Пасьянсы выходят, если чуть передернуть?— спрашиваю я.

— Да.

Я смотрю ему в глаза, и мне кажется, что я читаю в его взгляде...

Он поднялся, подошел к окну и выглянул; он сильно сутулился, и вся шея у него заросла волосами. Я тоже поднялся. Он обернулся и шагнул мне навстречу в своих длинных остроносых башмаках; оба больших пальца он засунул в карманы жилета и слегка помахивал руками, словно крылышками; он улыбался. Потом он еще раз заверил меня, что я могу располагать его лодкой, и протянул мне руку.

— Хотя дайте-ка я вас провожу,— сказал он и задул лампы.— Пройдусь немного, еще ведь не поздно.

Мы вышли.

Он показал на дорогу мимо дома кузнеца и сказал:

— Пойдемте так. Тут ближе.

— Нет,— ответил я.— Мимо пристани ближе.

Мы поспорили немного, каждый стоял на своем. Я был совершенно убежден в своей правоте и не мог понять, отчего он так упорствует. Наконец он предложил, чтоб каждый шел своей дорогой; кто придет первым, подождет возле сторожки.

Мы отправились. Скоро он скрылся за стволами.

Я шел обычным своим шагом и рассчитал, что приду по меньшей мере пятью минутами раньше. Но когда я вышел к сторожке, он уже был там. Он крикнул, завидя меня:

— Ну что? Видали? Я всегда хожу этой дорогой, здесь куда ближе.

Я смотрел на него в совершенном недоуменье, он не запыхался, и не похоже было, чтобы он бежал. Он тотчас откланялся, пригласил меня заходить и той же дорогой отправился обратно.

Я стоял и думал: до чего же удивительно! Кажется, я чувствую расстояние, и обеими дорогами ходил не раз. Да ты, никак, опять мошенничаешь, любезный! А ну как все это передержка?

Я увидел, как его спина снова исчезла за стволами.

В следующее мгновение я шел за ним следом, скорым шагом, осторожно; я видел, как он беспрестанно утирает лицо, и я уже и сам не знал, бежал он только что или нет.

Сейчас он шел очень медленно, и я не отрывал от него глаз. Возле дома кузнеца он остановился. Я притаился неподалеку и увидел, как отворилась дверь и господин Мак вошел в дом.

Был час ночи, я видел это по морю и по траве.

VIII

Кое-как я провел еще несколько дней один на один с лесом и со своим одиночеством. Господи боже, никогда еще не было мне так одиноко, как в тот самый первый день. Весна хозяйничала вовсю, уже попадались ромашка и тысячелистник и прилетели зяблики и коноплянки; я знал всех птиц в лесу. Порой я вынимал два медяка из кармана и звенел ими, чтоб не было так одиноко. Я думал: вот бы пришли Дидерик с Изелиной!

Ночи совсем не стало, солнце только ныряло в море и тут же выкатывалось опять, красное, свежее, будто вдоволь напилось глубокой воды. По ночам со мною творилось небывалое. Никто бы, никто мне не поверил. Не Пан ли сидел на дереве, выслеживал меня? И брюхо его было разверсто, и он весь скорчился, будто пил из собственного брюха? Но все это лишь уловка, он исподлобья косился на меня, подглядывал за мной, и дерево тряслось от его неслышного смеха, потому что он видел, какая сумятица в моих мыслях. По лесу шел шелест. Сопело, принюхивалось зверье, окликали друг друга птицы. И зовами полнился воздух. И майских жуков поналетело в этом году, и на их жужжанье отвечали шорохом крыльев ночные бабочки, и по всему лесу будто шел шепот, шепот. Чего только я не наслушался! Я не спал три ночи, я думал о Дидерике и об Изелине.

Погоди, думал я, вот они придут. Изелина заманит Дидерика в сторонку, к дереву, и скажет:

— Стой тут, Дидерик, смотри, следи за своей Изелиной, а я попрошу того охотника завязать мне башмачок.

И этот охотник я, и она подмигивает мне, чтоб я понял. И когда она подходит, мое сердце чувствует все, все, и оно уже не бьется, оно ударяет как колокол. И она под платьем вся голая от головы до пят, и я дотрагиваюсь до нее рукою.

— Завяжи мне башмачок! — говорит она, и щеки у нее пылают. И немного погодя она шепчет прямо у моего рта, у моих губ: — Отчего ты не завязываешь мне баш-

мачок, любимый мой, нет, ты не завязываешь... ты не завязываешь...

А солнце ныряет в море и тут же выкатывается опять, красное, свежее, будто вдоволь напилось глубокой воды. И повсюду шепот, шепот.

Потом она говорит у самого моего рта:

— Пора. Я должна идти.

И уходя, она машет мне рукою, и лицо у нее еще горит, лицо у нее нежное, страстное лицо. И снова она оглядывается и машет мне рукою.

А Дидерик выходит из-под дерева и говорит:

— Изелина, что ты делала? Я все видел.

Она отвечает:

— Дидерик, что ты видел? Я ничего не делала.

— Изелина, я видел, что ты делала,— говорит он снова,— я видел.

И тогда звонкий, счастливый смех ее несется по лесу, и она идет за Дидериком, ликующая и грешная с головы до пят. Куда же она? К первому мóлодцу, к лесному охотнику.

Настала полночь. Эзоп сорвался с привязи и охотился сам по себе. Я слышал, как он лает в горах, и когда наконец я заманил его обратно, был уже час. Пришла девочка-пастушка, она вязала чулок, тихонько мурлыкала и озиралась. Но где же ее стадо? И за какой надобностью пришла она в лес в такой час? Без всякой, без всякой надобности. Тревожится, а может быть, радуется, полуночница. Я подумал: она услышала, как лает Эзоп, и поняла, что я в лесу.

Когда она подошла, я встал; я стоял и смотрел на нее, она была такая тоненькая, молодая. Эзоп тоже стоял и смотрел на нее.

— Ты откуда?— спросил я ее.

— С мельницы,— отвечала она.

Но что ей было делать на мельнице так поздно?

— А ты не боишься ходить по лесу так поздно,— спросил я,— такая тоненькая, молодая?

Она засмеялась и ответила:

— Вовсе не такая уж я молодая, мне девятнадцать.

Но ей не было девятнадцати, я убежден, что она набавила себе два года, ей не исполнилось и восемнадцати. Но зачем ей было набавлять себе года?

— Сядь,— сказал я.— И скажи мне, как тебя звать?

Она зарделась, села рядом и сказала, что звать ее Генристой.

Я спросил:

— А есть у тебя жених, Генриета? Он тебя уже обнимал?

— Да,— ответила она и засмеялась смущенно.

— И сколько же раз?

Она молчит.

— Сколько раз?— повторяю я.

— Два раза,— тихо сказала она.

Я притянул ее к себе и спросил:

— А как он это делал? Вот так?

— Да,— шепчет она и дрожит.

Уже четыре часа.

IX

У нас с Эдвардой был разговор.

— Скоро будет дождь,— сказал я.

— Который теперь час?— спросила она.

Я глянул на солнце и сказал:

— Около пяти.

Она спросила:

— Вам это видно по солнцу, и так точно?

— Да,— ответил я,— это видно по солнцу.

Пауза.

— Ну, а если солнца нет, как же вы тогда узнаете время?

— Есть много других примет. Прилив или отлив; в свой час ложится трава, и птичьи голоса меняются; когда умолкнут одни птицы, заводят другие. Еще по цветам можно узнать время, они замыкаются к вечеру, и по листьям— они то светло-зеленые, блестящие, то темные; наконец, я просто его чувствую.

— Правда?— сказала она.

Я ждал дождя и не хотел держать Эдварду на дороге, я взялся за картуз. Но она вдруг задала мне еще вопрос, и я остался. Она покраснела и стала расспрашивать, зачем я, собственно, здесь, зачем я занимаюсь охотой, зачем я то, зачем это. Я ведь стреляю, только чтобы прокормиться, не правда ли, и Эзоп у меня не очень-то устает?

Она еще больше покраснела и совсем потерялась. Я понял, что кто-то при ней говорил обо мне; она повторяла чужие слова. И меня это тронуло, я вдруг вспомнил, что у нее ведь нет матери, и она показалась мне такой

беззащитной, особенно из-за этих ее сиротливых, тоненьких рук. И тут на меня что-то нашло.

Ну да, я стреляю не убийства ради, а только чтобы прожить. В день не съешь больше одного тетерева, вот я и убью сегодня одного, а другого завтра. Больше-то зачем? Я живу в лесу, я сын леса. С первого июня запрещают охоту на куропаток и зайцев, стрелять уже почти нечего, ну и что ж, я рыбачу и ем рыбу. Вот скоро возьму лодку у ее отца и выйду в море. Разве мне охотиться только нужно? Мне нужно жить в лесу. Мне тут хорошо; мой стол сама земля, когда я ем, и не надо садиться и вскакивать со стула; я не опрокидываю стаканов. В лесу я волен делать все что хочу, могу лечь навзничь и закрыть глаза, если захочется; и говорю я все что хочу. Часто ведь хочется что-то сказать, сказать вслух, громко, а в лесу слова идут прямо из сердца...

Когда я спросил, понятно ли ей это, она ответила — да.

И я говорил еще, потому что глаза ее не отрывались от моего лица.

— Знали бы вы, чего я только не перевидал! Вот выйдешь зимой и заметишь на снегу следы куропаток. Вдруг они обрываются, значит, птицы взлетели. Но по отпечаткам крыльев мне ясно, куда полетела дичь, и я ее сразу же отыщу. Всякий раз это до того удивительно. Осенью часто смотришь, как падают звезды. Сидишь один-одинешенек и думаешь: неужели это разрушился целый мир? Целый мир кончился прямо у меня на глазах? И я, я сподобился увидеть, как умерла звезда! А когда приходит лето, на каждом листочке своя жизнь; смотришь на иную тварь и видишь, что нет у нее крылышек, некуда ей деться, и до самой-то смерти жить ей на этом самом листочке, где она родилась. Вы только подумайте! Или, бывает, увидишь синюю муху. Да нет, разве словами такое выскажешь, я даже не знаю, понимаете ли вы меня?

— Да, да, я понимаю.

— Ну вот. А иной раз смотрю я на траву, и она прямо так и смотрит на меня, честное слово. Я смотрю на малую былинку, а она дрожит, и ведь неспроста же. И я тогда думаю: вот стоит былинка и дрожит! Или глянешь на сосну, и всегда выщется сучок, от которого глаз не отвести; и о нем еще подумается. А иной раз и человека встретишь в горах, бывает и такое.

Я посмотрел на нее, она вся подалась вперед и слушала. Я не узнал ее. Она до того заслушалась, что совсем

забыла о своем лице, и оно сделалось просто, некрасиво, и отвисла нижняя губа.

— Я понимаю,— сказала она и распрямилась.

Упали первые капли.

— Дождь,— сказал я.

— Ах господи, дождь,— сказала она и тотчас пошла.

Я не стал провожать ее, она пошла одна, я поспешил к сторожке. Прошло несколько минут, дождь припустил сильнее. Вдруг я слышу, что за мной кто-то бежит, я оборачиваюсь и вижу Эдварду. Она раскраснелась от бега и улыбалась.

— Совсем забыла,— выговорила она запыхавшись.— Насчет этой прогулки к сушильням. Доктор будет завтра, а у вас время найдется?

— Завтра? Как же! Непременно.

— Совсем забыла,— сказала она снова и улыбнулась.

Когда она пошла, я заметил, какие у нее тонкие, красивые ноги, их забрызгало грязью. На ней были стоптанные башмаки.

Х

Тот день я особенно запомнил. С него я и отсчитываю лето. Солнце светило уже с ночи и к утру просушило землю, воздух был чистый и тонкий после дождя.

Я пришел на пристань после полудня. Вода гладкая, тихая, к нам доносился говор и смех с островка, где работники и девушки вялили рыбу. Веселый это был день. Да, веселый, веселый день. Мы захватили корзины с вином и едой, вся компания разместилась в двух лодках, и женщины были в светлых платьях. Я так радовался, я напевал.

В лодке я стал думать, откуда же взялось столько народу. Тут были дочки судьи и приходского доктора, две гувернантки, дамы из пасторской усадьбы; я был с ними незнаком, я впервые их видел, но они держались так просто, словно мы знаем друг друга целый век. Разумеется, не обошлось без промахов, я совсем отвык от общества и часто обращался к барышням на «ты»; но мне это сошло. Один раз я даже сказал «милая», или «моя милая», но меня и тут простили и сделали вид, будто ничего я такого не говорил.

Господин Мак явился, как всегда, в своей некрахмаленной манишке с брильянтовой булавкой. Он был, видимо, в отличном расположении духа и кричал другой лодке:

— Вы за бутылками смотрите, повесы! Доктор, вы мне отвечаете за бутылки!

— Согласен! — кричал доктор.

И как бодро и празднично делалось на душе от одних этих выкриков...

Эдварда была в том же платье, что и накануне, — не нашла другого или поленилась переодеться, или уж я не знаю что. И башмаки были те же. Мне даже показалось, что руки у нее немытые; зато она надела новенькую шляпку с пером. Свою перекрашенную кофту она постелила на сиденье.

По просьбе господина Мака я выстрелил, когда мы сходили на берег, выстрелил дважды, из обоих стволов; и мы прокричали «ура». Мы пошли по острову, сушильщики кланялись нам, и господин Мак побеседовал со своими работниками. Мы рвали львиный зев и лютики и втыкали их в петлицы; кое-кто напал на колокольчики.

И уйма морских птиц, — они гоготали, орали в вышине и по берегу.

Мы расположились на лужайке, в соседстве бедненькой поросли белых березок, распаковали корзины, и господин Мак откупорил бутылки. Светлые платья, синие глаза, звон стаканов, море, белые парусники. Мы пели песни.

И лица разгорелись.

Скоро голова у меня кругом идет от радости; на меня действуют всякие мелочи; на шляпке колышется вуаль, выбивается прядка, два глаза сощурились от смеха, и это меня трогает. Какой день, какой день!

— Говорят, у вас премилая сторожка, господин лейтенант?

— Да, лесное гнездо, до чего же оно мне по сердцу. Заходите как-нибудь в гости, фрекен; такую сторожку поискать. А за нею лес, лес.

Подходит вторая и говорит приветливо:

— Вы прежде не бывали у нас на севере?

— Нет, — отвечаю я, — но я уже все тут знаю, сударыни. Ночами я стою лицом к лицу с горами, землей и солнцем. Но лучше я оставлю этот выпренный стиль... Ну и лето у вас! Подберется ночью, когда все спят, а утром — тут как тут. Я подсматривал из окна и все увидел. У меня в сторожке два окна.

Подходит третья. У нее маленькие ручки, и какой у нее голос, она прелестна. До чего они все прелестны! Третья говорит:

— Давайте обменяемся цветами? Это приносит счастье.

— Да,— сказал я и уже протянул руку,— давайте меняться. Спасибо вам. Какая вы красивая, какой у вас милый голос, я его заслушался.

Но она прижимает к груди колокольчики и отвечает резко:

— Что это с вами? Я вовсе не к вам обращалась.

Так она обращалась не ко мне! Мне больно от моей оплошности, мне хочется домой, подальше, к моей сторожке, где мой единственный собеседник — ветер.

— Извините меня,— говорю я,— простите меня.

Остальные дамы переглядываются и отходят в сторону, чтоб не видеть моего униженья.

В эту минуту к нам кто-то подходит — это Эдварда, все ее видят. Она идет прямо ко мне, что-то говорит, бросается ко мне на шею, притягивает к себе мою голову и несколько раз подряд целует меня в губы. Всякий раз она что-то приговаривает, но я не слышу что. Я вообще ничего не понимал, сердце у меня остановилось, я только видел, как горят у нее глаза. Вот она меня выпустила, с трудом перевела дыханье, да так и осталась стоять, темная шей и лицом, высокая, тонкая, и глаза у нее блестели, и она ничего не видела; все смотрели на нее. Снова поразили меня ее темные брови, они изгибались такими высокими дугами.

Ах, господи ты боже мой! Взяла и поцеловала меня на виду у всех!

— Что это вы, йомфру Эдварда? — спросил я. И я слышу, как стучит моя кровь, она стучит словно прямо у меня в горле, голос мой срывается и не слушается.

— Ничего,— отвечает она.— Просто мне захотелось. Просто так.

Я снимаю картуз, механически откидываю волосы со лба, стою и смотрю на нее. «Просто так?» — думаю я.

Тут с дальнего конца острова доносится голос господина Мака, он что-то говорит, и слов не разобрать; и я с радостью думаю о том, что господин Мак ничего не видел, ничего не знает. Как же хорошо, что он как раз оказался на дальнем конце острова! У меня отлегло от сердца, я подхожу ко всей компании, я смеюсь и говорю, прикидываясь совершенно беспечным:

— Прошу всех простить мою непристойную выходку; я и так вне себя. Я воспользовался минутой, когда йомфру Эдварда предложила мне обменяться цветами, и нанес

ей оскорбленье; приношу ей и вам свои извинения. Ну поставьте себя на мое место: я живу один, я не привык обращаться с дамами; и потом, я пил вино, к которому у меня тоже нет привычки. Будьте же снисходительны.

Я смеялся и прикидывался беспечным, я делал вид, что все это пустяк, который надо поскорей забыть, на самом же деле мне было не до шуток. Впрочем, на Эдварду моя речь не произвела никакого впечатления, ровным счетом никакого, она и не думала ничего скрывать, заглаживать свою опрометчивость, напротив, она села рядом со мной и не сводила с меня глаз. И время от времени ко мне обращалась. Потом, когда стали играть в горелки, она сказала во всеуслышанье:

— Мне давайте лейтенанта Глана. Чтоб я за кем-то еще бегала? Ни за что!

— О черт, да замолчите же вы наконец,— шепнул я и топнул ногой.

Недоумение отразилось на ее лице, она сморщила нос, словно от боли, и улыбнулась. И опять она показалась мне такой незащитной, и такая потерянная была в ее взгляде и во всей ее тонкой фигуре, что я не смог этого вынести. Меня охватила нежность, и я взял ее узкую длинную руку в свою.

— Потом!— сказал я.— Не теперь. Мы ведь завтра увидимся, правда?

XI

Ночью я слышал, как Эзоп выходил из своего угла и рычал, я слышал это сквозь сон; но мне как раз снилась охота, рычанье как будто было во сне, и я не проснулся. Когда в два часа утра я вышел из сторожки, на траве были следы человеческих ног; кто-то побывал здесь, подходил сначала к одному окну, потом к другому. Следы терялись у дороги.

Она шагнула мне навстречу, лицо у нее горело, глаза сияли.

— Вы ждали?— сказала она.— Я боялась, как бы вам не пришлось ждать.

Я не ждал, она пришла первая.

— Вы хорошо спали?— спросил я. Я почти не знал, что говорить.

— Нет, какое там, я и не ложились,— ответила она. И рассказала, что всю ночь она не спала, так и просидела на стуле с закрытыми глазами. Она даже выходила из дому.

— Кто-то был ночью возле моей сторожки,— сказал я.— Утром я видел следы на траве.

И она краснеет, она прямо посреди дороги берет меня за руку и не отвечает. Я смотрю на нее и спрашиваю:

— Уж не вы ли?

— Да,— ответила она и прижалась ко мне,— да, это я. Я ведь не разбудила вас, я ступала тихо-тихо. Да, да, это я. Я еще разок побывала с вами рядом. Я вас люблю.

ХИ

Всякий день, всякий день я ее видел. Не стану отпираться, я был рад, да, я совсем потерял голову. Тому минуло уже два года; теперь я думаю об этом, только когда самому захочется, все приключение просто забавляет и рассеивает меня. Что же до двух зеленых перьев, так это я еще объясню, непременно объясню чуть позже.

У нас было много условных местечек: у мельницы, на дороге, даже и у меня в сторожке; она приходила, куда я ни скажу. «Здравствуй!»— кричала она всегда первая, и я отвечал: «Здравствуй».

— Ты нынче веселый, ты поешь,— говорит она, и глаза у нее сияют.

— Да, я веселый,— отвечаю я.— У тебя на плече пятно, это пыль, видно, ты перепачкалась по дороге; как мне хочется поцеловать это пятно, ну позволь мне его поцеловать. Все твое мне так дорого, я с ума по тебе схожу. Я не спал нынче ночью.

И это правда, не одну ночь я провел без сна.

Мы бредем рядышком по дороге.

— Скажи, тебе нравится, как я себя веду?— говорит она.— Может, я чересчур много болтаю? Нет? Но ты сразу говори, если что не так. Иногда мне кажется, что это не может кончиться добром...

— Что не кончится добром?— спрашиваю я.

— Ну, у нас с тобой. Что это добром не кончается. Хочешь верь, хочешь не верь, а вот мне сейчас холодно; у меня вся спина леденеет, только я к тебе подойду. Это от счастья.

— И я тоже холодею, только тебя увижу,— отвечаю я.— Нет, все будет хорошо. А пока давай я тебя похлопаю по спине, ты и согреешься.

Она нехотя уступает, я хлопаю посильнее шутки ради, я хохочу и спрашиваю, согрелась ли она.

— Ах, смилостись, перестань колотить меня по спине,— говорит она.

Словечко-то какое! И как жалко она это сказала: смилостись.

Мы пошли дальше вдоль дороги. Уж не гnevаются ли на меня за мою шутку?—спросил я себя и подумал: поглядим.

Я сказал:

— Вот мне как раз вспомнилось. Однажды я катался на санках с одной молодой дамой, и она сняла с себя белый шелковый платок и повязала мне на шею. Вечером я ей сказал: завтра я верну вам платок, я отдам его постирать. Нет,— отвечает она,— верните его теперь же, я так и сохранию его, в точности так. И я отдал ей платок. Через три года я снова встретил ту молодую даму. А платок?—спросил я. Она принесла платок. Он так и лежал нестираный в бумаге, я сам видел.

Эдварда быстро глянула на меня.

— Да? И что же дальше?

— Нет, дальше ничего не было,— сказал я.— Просто это, по-моему, красивый поступок.

Пауза.

— А где она теперь?

— За границей.

Больше мы об этом не говорили. Но уже прощаясь, она сказала:

— Ну, спокойной ночи. И не думай об этой даме, ладно? Я ни о ком не думаю, только о тебе.

Я поверил ей, я видел, что она говорит правду, и ничего-то мне больше не нужно было, раз она думает только обо мне. Я нагнал ее.

— Спасибо тебе, Эдварда,— сказал я. Сердце мое было переполнено, и я прибавил: — Ты слишком хороша для меня, но спасибо тебе за то, что ты меня не гонишь, Бог наградит тебя, Эдварда. Я сам не знаю, что ты во мне нашла, есть ведь столько других, куда достойней. Но зато я совсем твой, весь, каждой жилкой и со всей своей бессмертной душою. О чем ты? У тебя на глазах слезы.

— Нет, нет, ничего,— ответила она.— Ты говоришь так непонятно... что Бог наградит меня. Ты так говоришь, будто... Как я тебя люблю!

Она бросилась мне на шею тут же посреди дороги и крепко меня поцеловала.

Когда она ушла, я свернул в сторону и бросился в лес, чтоб побыть один на один со своей радостью. Потом я встревожился, побежал обратно к дороге — посмотреть, не видел ли меня кто. Но там никого не было.

ХIII

Летние ночи, и тихая вода, и нерушимая тишь леса. Ни вскрика, ни шагов на дороге, сердце мое словно полно темным вином.

Мотыльки и мошкара неслышно залетают ко мне в окно, соблазняясь огнем в очаге и запахом жареной птицы. Они глухо стучаются о потолок, жужжат у меня над ухом, так что по коже бегут мурашки, и усаживаются на мою белую пороховницу. Я разглядываю их, они трепыхают крылышками и смотрят на меня — мотыльки, древоточцы и шелкопряды. Иные похожи на летающие фиалки.

Я выхожу из сторожки и прислушиваюсь. Ничего, ни звука, все спит. Все светлым-светло от насекомых, мириады шуршащих крыльев. Дальше, на опушке, собрались папоротники, и борец, и боярышник, я так люблю его мелкий цвет. Слава тебе, Господи, за каждый кусточек вереска, который ты дал мне увидеть; они словно крошечные розы на обочине, и я плачу от любви к ним. Где-то близко лесная гвоздика, я не вижу ее, я узнаю ее по запаху.

А ночью вдруг распускаются большие белые цветы, венчики их открыты, они дышат. И мохнатые сумеречницы садятся на них, и они дрожат. Я хожу от цветка к цветку, они словно пьяные, цветы пьяны любовью, и я вижу, как они хмелеют.

Легкий шаг, человечесьё дыханье, веселое «здравствуй».

Я отвечаю, и бросаюсь в дорожную пыль, и обнимаю эти колени и простенькую юбку.

— Здравствуй, Эдварда! — говорю я снова, изнемогая от счастья.

— Как ты меня любишь! — шепчет она.

— Не знаю; как и благодарить тебя! — отвечаю я. — Ты моя, и я весь день не нарадуюсь, и сердце мое не натешится, я все думаю о тебе. Ты самая прекрасная девушка на этой земле, и я тебя целовал. Я, бывает, только подумаю, что я тебя целовал, и даже краснею от радости.

— Но почему ты сегодня так особенно любишь меня? — спрашивает она.

По тысяче, по тысяче причин, и мне достаточно одной только мысли о ней, одной только мысли. Этот ее взгляд из-под бровей, выгнутых высокими дугами, и эта темная, милая кожа!

— Как же мне не любить тебя! — говорю я. — Да я каждое деревце благодарю за то, что ты бодра и здорова. Знаешь, как-то раз на бале одна юная дама все сидела и не танцевала, и никто ее не приглашал. Я был с ней незнаком, но мне понравилось ее лицо, и я пригласил ее на танец. И что же? Она покачала головой. «Фрекен не танцует?» — спросил я. «Представьте, — ответила она, — мой отец был так хорош собой и мать моя была писаная красавица, и отец любил ее без памяти. А я родилась хромая».

Эдварда посмотрела на меня.

— Сядем, — сказала она.

Мы сели посреди вереска.

— Знаешь, что про тебя говорит одна моя подруга? — начала она. — Она говорит, что у тебя взгляд зверя и, когда ты на нее глядишь, она сходит с ума. Ты как будто до нее дотрагиваешься.

Сердце мое дрожит от нестерпимой радости, не за себя, а за Эдварду, и я думаю: мне нужна только одна-единственная, что-то она говорит о моем взгляде?

Я спросил:

— Что ж это за подруга?

— Этого я тебе не скажу, — ответила она. — Но она была с нами тогда, у сушилен.

— А... — сказал я.

И мы заговорили о другом.

— Отец на этих днях собирается в Россию, — сказала она, — и я отпраздную его отъезд. Ты был на Курхольмах? Мы возьмем с собой две корзины с вином, дамы с пасторской усадьбы тоже едут, отец уже распорядился насчет вина. Только ты не будешь больше глядеть на мою подругу? Ведь правда? А то я ее не позову.

И она вдруг умолкла, и кинулась мне на шею, и стала смотреть на меня, не отрываясь смотреть мне в лицо, и я слышал, как она дышит. И темными, черными стали у нее глаза.

Я резко поднялся и в смятенье только и мог выговорить:

— А... твой отец едет в Россию?

— Почему ты вдруг встал? — спросила она.

— Потому что уже поздно, Эдварда, — сказал я. — Белые цветы закрываются, встает солнце, уже утро.

Я проводил ее по лесу, я стоял и смотрел на нее, пока она не скрылась из виду; далеко-далеко она обернулась, и до меня слабо донеслось «спокойной ночи!». И она исчезла. В ту же минуту отворилась дверь у кузнеца, человек в белой манишке вышел, огляделся, надвинул шляпу на лоб и зашагал в сторону Сирилунна.

У меня в ушах еще звенел голос Эдварды — «спокойной ночи!».

XIV

Голова кругом идет от радости. Я разряжаю ружье, и немислимое эхо летит от горы к горе, несется над морем и ударяет в уши бессонного рулевого. Чему я так радуюсь? Мысли, воспоминанью, лесному шуму, человеку? Я думаю о ней, я закрываю глаза, и стою тихо-тихо, и думаю о ней, я считаю минуты.

Вот мне хочется пить, и я напиваюсь из ручья; вот я отсчитываю сто шагов туда и сто обратно; она что-то запаздывает.

Не случилось ли чего? Прошел всего месяц, месяц срок не долгий; нет, ничего не случилось! Бог свидетель, месяц этот пролетел так быстро. А вот ночи иной раз выпадают долгие, и я решаю намочить картуз в ручье и просушить его, чтоб как-нибудь скоротать время.

Время я считал ночами. Бывало и так, что наступала ночь, а Эдварда не приходила, однажды ее не было целых две ночи. Две ночи! Но нет, ничего, ничего не случилось, и мне подумалось, что никогда уж я не буду так счастлив.

И разве я ошибся?

— Ты слышишь, Эдварда, как беспокойно сегодня в лесу? Листы дрожат, шум и возня на кочках. Что-то они там затевают... но я не о том, я не то хотел тебе сказать. В горах поет птица, синичка просто. Она две ночи сидит на одном месте и все поет, все зовет своего дружка. Слышишь, как заладила, как заладила одно и то же!

— Да, да, я слышу. Но отчего ты спрашиваешь?

— Сам не знаю. Она две ночи тут сидит. Это я и хотел тебе сказать, больше ничего... Спасибо, спасибо, что пришла, любимая! Я ждал, ждал, может, ты сегодня

придешь, а может, завтра. Я так обрадовался, когда тебя увидел.

— И я ждала. Я все думаю о тебе. Я собрала и спрятала осколки того стакана, что ты тогда разбил. Помнишь? Отец сегодня уехал, мне нельзя было прийти, надо было так много всего уложить, собрать его в дорогу. Я знала, что ты ходишь по лесу и ждешь, я укладывала его вещи и плакала.

Но прошло ведь две ночи, подумал я, что же она в первую-то ночь делала? И отчего в глазах ее нет уже той радости, что прежде?

Прошел час. Синица в горах умолкла, лес замер. Нет, нет, ничего не случилось; все как прежде, она протянула мне руку на прощанье и смотрела на меня с любовью.

— Завтра?— сказал я.

— Нет, завтра нет,— ответила она.

Я не спросил почему.

— Завтра ведь я устраиваю праздник,— сказала она и засмеялась.— Я просто хотела сделать тебе сюрприз, но у тебя так вытянулось лицо, что, видно, лучше уж сказать сразу. Я хотела послать тебе записку.

Как же у меня отлегло от сердца!

Она кивнула мне и пошла было.

— Еще только одно,— сказал я, не двигаясь с места.— Скажи мне, когда ты собрала и спрятала осколки стакана?

— Когда собрала?

— Ну да. Неделю назад, две недели?

— Может, и две недели назад. И почему ты спрашиваешь? Нет, уж скажу тебе правду, это было вчера.

Вчера, вчера, не далее как вчера она думала обо мне! Значит, все хорошо.

XV

Мы разместились в двух лодках. Мы пели и перекликались. Курхольмы лежали за островами, это довольно далеко, и мы покуда перекликались с лодки на лодку. Доктор оделся во все светлое, как наши дамы; никогда еще не видывал я его таким довольным,—то он все молчал, а тут вдруг разговорился. Мне показалось даже, что он слегка подвыпил и оттого такой веселый. Когда мы сошли на берег, он на минуту потребовал нашего внимания и попросил всех чувствовать себя как дома.

Я подумал: ага, стало быть, Эдварда избрала его хозяином.

Дамам он выказывал высшую степень учтивости. С Эдвардой он был внимателен и приветлив, порой обращался с ней отечески и, как не раз прежде, педантически ее наставлял. Стоило ей упомянуть дату, сказать: «Я родилась в тридцать восьмом году»,— как он спросил: «В тысяча восемьсот тридцать восьмом, не так ли?» И ответь она: «Нет, в тысяча девятьсот тридцать восьмом»,— он бы нимало не смутился, только поправил бы ее снова, да еще объяснил бы: «Этого не может быть». Когда говорил я, он слушал вежливо и внимательно, без всякого пренебреженья.

Молодая девушка подошла ко мне и поздоровалась. Я не узнал ее, никак не мог вспомнить, где же я ее видел; я, смешавшись, пробормотал что-то, и она засмеялась. Оказалось, что это одна из дочерей пробста, мы были вместе у сушилен, я еще приглашал ее к себе в сторожку. Мы немного поболтали.

Проходит час или два. Я томлюсь, я пью все, что мне ни наливают, я накоротке со всеми, болтаю со всеми. Снова я допускаю промах за промахом, я не в своей тарелке, теряюсь, часто не нахожусь, что ответить на любезность; то я говорю невпопад, а то не могу выдать ни слова и мучаюсь. Поодаль, у большого камня, что служит нам столом, сидит доктор и жестикулирует.

— Душа! Да что такое эта ваша душа?— говорит он. Тут вот дочь пробста обвинила его в свободомыслии; ну, а кто сказал, что нельзя мыслить свободно? Скажем, иные представляют себе ад, как некий дом глубоко в подземелье, а дьявола столоначальником или, пуще, прямо-таки его величеством. Ну так вот, ему, доктору, хочется, кстати, рассказать о запрестольном образе в приходской церкви: Христос, несколько евреев и евреек, превращение воды в вино, превосходно. Но у Христа на голове— нимб. А что такое этот нимб? Золотой обруч с бочонка, и держится на трех волосиках!

Две дамы сокрушенно всплеснули руками. Но доктор вышел из положения и добавил шутливо:

— Не правда ли, звучит ужасно! Признаю, признаю. Но если повторять и повторять это про себя семь или восемь раз подряд и потом еще немножко подумать, то уж и не так страшно покажется. Сударыни, окажите мне честь, выпейте со мною!

И он бросился на колени перед этими двумя дамами прямо в траву, а шляпу не положил рядом, нет, но

высоко поднял левой рукой и так и осушил стакан, запрокинув голову. Я даже позавидовал такой ловкости и непременно выпил бы с ним вместе, да просто не успел.

Эдварда следила за ним глазами. Я сел с нею рядом, я сказал:

— А в горелки сегодня играть будем?

Она вздрогнула и поднялась:

— Помни, нам нельзя говорить друг другу «ты», — шепнула она.

Но я и не думал говорить ей «ты». Я снова отошел.

Проходит еще час. Какой долгий день! Я бы давно уж уехал домой, будь у меня третья лодка: Эзоп в сторожке, он привязан, он, верно, думает обо мне. Мысли Эдварды витали где-то далеко от меня, это было ясно, она говорила о том, какое счастье уехать в дальние, незнакомые края, щеки у нее разгорелись, и она даже сделала ошибку:

— Не будет никого более счастливее меня в тот день...

— Более счастливее, — говорит доктор.

— Что? — спрашивает она.

— Более счастливее.

— Не пойму.

— Вы сказали — более счастливее. Только и всего.

— О, правда? Прошу прощенья. Не будет никого счастливее меня в тот день, когда я ступлю на палубу парохода. Иногда меня тянет куда-то, даже сама не знаю куда.

Ее тянет куда-то, она не помнит обо мне. Я смотрел на нее и по лицу ее видел, что ведь она меня забыла. Слов тут не надо, зачем?.. Просто я смотрел на нее — и видел все по ее лицу. И минуты тянулись томительно долго. Я всем докучал, все спрашивал, не пора ли нам домой. Уже поздно, говорил я, и мой Эзоп в сторожке, он привязан. Но домой никому не хотелось.

В третий раз я подошел к дочери пробста, я подумал: не иначе, как это она говорила о моем зверином взгляде. Мы выпили с нею; у нее был какой-то боязливый взор, она ни на чем не останавливала глаз, устремит их на меня и тотчас же отводит.

— Скажите, фрекен, — начал я, — вам не кажется, что люди в здешних краях сами похожи на быстрое лето? Так же переменчивы и так же прелестны?

Я говорил громко, очень громко, я нарочно так говорил. Не понижая голоса, я снова пригласил фрекен зайти ко мне в гости, поглядеть на мою сторожку.

— Осчастливьте, сделайте такую божескую милость,— молил я ее и уже думал, что бы такое подарить ей, если она придет. Ничего, пожалуй, не найдется, кроме пороховницы, решил я.

И фрекен обещала прийти.

Эдварда смотрела в другую сторону и никакого внимания не обращала на мои слова. Она прислушивалась к тому, что говорят другие, и время от времени вставляла слово в общую беседу. Доктор гадал дамам по руке и болтал без умолку, у самого у него руки были маленькие, изнеженные и на пальце кольцо. Я почувствовал себя лишним и сел на камень в сторонке. День уже заметно клонился к вечеру. Вот я сижу один-одинешенек на камне, думал я, и единственная, к кому бы я тотчас подошел, оклики она меня, вовсе меня не замечает. Ну, да все равно, мне ничего не нужно...

Я чувствовал себя так сиротливо... Я слышал у себя за спиной разговор, в ушах у меня зазвенел смех Эдварды; тут я вдруг вскочил и подошел к ним ко всем. Я уже не владел собой.

— Минуточку, всего одну минуточку,— сказал я.— Видите ли, я сидел там на камне, и вдруг мне подумалось, что вам интересно будет взглянуть на мою коллекцию мух.— И я вытащил коробку.— Простите меня, что я едва не забыл про нее. Сделайте милость, посмотрите, все посмотрите, тут и красные мухи и желтые, вы посмотрите, я буду рад, очень рад.— И пока говорил, я держал картуз в руке. Потом я сообразил, что я снял картуз и что это глупо, и тотчас надел его.

На минуту воцарилось общее молчание, и никто не прикасался к коробке. Наконец доктор протянул к ней руку и вежливо сказал:

— Благодарствуйте. Так, так, поглядим, что это за штуки. Для меня всегда было загадкой, как делают этих мух.

— Я сам их делаю,— сказал я, переполненный признательностью. И тотчас же пустился объяснять, как я их делаю.— О, это совсем не трудно, я покупаю перья и крючки... мухи не очень удачные, но ведь это только так, для себя. А бывают и готовые мухи, так те очень красивые.

Эдварда бросила равнодушный взгляд на меня, потом на мою коробку и снова стала болтать с подругами.

— А, тут и материалы,— сказал доктор.— Взгляните, какие красивые перья.

Эдварда посмотрела.

— Лучше всех зеленые,— сказала она.— Дайте-ка их сюда, доктор.

— Возьмите их себе,— крикнул я.— Да, да, пожалуйста, прошу вас. Вот эти два зеленых. Сделайте одолжение, пусть это будет вам на память.

Она повертела перья в руке, потом сказала:

— Они зеленые, а на солнышке золотистые. Ну спасибо, если уж вам так хочется их мне подарить.

— Мне хочется их вам подарить,— сказал я.

Она прикрепила перья к платью.

Немного погодя доктор вернул мне коробку и поблагодарил. Он встал и поинтересовался, не пора ли уже нам подумывать о возвращении.

Я сказал:

— Да, да, ради бога. У меня дома мой пес, понимаете, у меня есть пес, это мой друг, он думает обо мне, ждет меня не дожидается, а когда я вернусь, он встанет передними лапами на окно и будет меня встречать. День был такой чудесный, скоро он кончится, пора домой. И спасибо вам всем.

Я встал у самой воды, чтобы посмотреть, в какую лодку сядет Эдварда, и самому сесть в другую. Вдруг она окликнула меня. Я взглянул на нее в недоумении, лицо у нее пылало. Вот она подошла ко мне, протянула руку и сказала нежно:

— Спасибо за перья... Мы ведь в одну лодку сядем, правда?

— Как вам угодно,— ответил я.

Мы вошли в лодку, она села подле меня на скамеечке, и ее колено касалось моего. Я посмотрел на нее, и она в ответ быстро глянула на меня. Так сладко мне было касанье ее колена, мне показалось даже, что я вознагражден за трудный день, и я готов уже был вернуться в прежнее радостное свое состояние, как вдруг она поворотилась ко мне спиной и стала болтать с доктором, который сидел на руле. Битых четверть часа я для нее словно не существовал. И тут я сделал то, чего до сих пор не могу себе простить и все никак не забуду. У нее с ноги свалился башмачок, и я схватил этот башмачок и швырнул далеко в воду— от радости ли, что она рядом, или желая обратить на себя внимание, напомнить ей, что я тут,— сам не знаю. Все произошло так быстро, я не успел даже подумать, просто на меня что-то нашло. Дамы подняли крик. Я сам оторопел, но что толку? Что сделано, то

сделано. Доктор пришел мне на выручку, он крикнул: «Гребите сильнее!» — и стал править к башмачку; мгновение спустя, когда башмачок как раз зачерпнул воды и начал погружаться, гребец подхватил его; рукав у него весь намок. Многоголосое «ура!» грянуло с обеих лодок в честь спасения башмачка.

Я от стыда не знал, куда деваться, я чувствовал, что весь изменился в лице, пока обтирал башмачок носовым платком. Эдварда молча приняла его из моих рук. И только потом уже она сказала:

— Ну, в жизни такого не видывала.

— Правда, не видывали? — подхватил я. Я улыбался и бодрился, я прикидывался, будто выходка моя вызвана какими-то соображеньями, будто за нею что-то скрывается. Но что же могло тут скрываться? Впервые доктор взглянул на меня с пренебреженьем.

Время шло, лодки скользили к берегу, неприятное чувство у всех сгладилось, мы пели, мы подходили к пристани. Эдварда сказала:

— Послушайте, мы же не допили вино, там еще много осталось. Давайте соберемся опять немного погода, потанцуем, устроим настоящий бал у нас в зале.

Когда мы поднялись на берег, я извинился перед Эдвардой.

— Как мне хочется поскорей в мою сторожку, — сказал я. — Я измучился сегодня.

— Вот как, оказывается, вы измучились сегодня, господин лейтенант?

— Я хочу сказать, — ответил я, — я хочу сказать, что я испортил день себе и другим. Вот, бросил в воду ваш башмачок.

— Да, это была странная мысль.

— Простите меня, — сказал я.

XVI

Все было так плохо, куда уж хуже? И я решил охранять свой покой. Господь мне свидетель, что бы ни стряслось, я буду охранять свой покой. Я, что ли, ей навязывался? Нет, нет и нет. Просто в один прекрасный день случился на дороге, когда она проходила мимо.

Ну и лето тут, на севере! Уж не видать майских жуков, а людей я теперь совсем не могу понять, хоть солнце день и ночь на них светит. И во что только вглядываются эти

синие глаза, и что за мысли бродят за этими странными лбами? А, да не все ли равно. Мне никто не нужен. Я брал удочки и рыбачил. Два дня, четыре дня. А по ночам я лежал, не смыкая глаз, в моей сторожке...

— Я ведь четыре дня не видал вас, Эдварда?

— Да, в самом деле четыре дня. Понимаете, столько хлопот. Вот войдите, взгляните.

Она ввела меня в залу. Столы вынесли. Стулья расставили по стенам. Все передвинуто; люстра, печь и стены причудливо убраны вереском и черной материей, взятой в лавке. Фортепьяно задвинуто в угол.

Это она готовилась к «балу».

— Ну как, вам нравится?— спросила она.

— Прелестно,— ответил я.

Мы вышли из залы.

Я сказал:

— А ведь вы меня совсем позабыли, правда, Эдварда?

— Я вас не понимаю,— ответила она изумленно.— Разве вы не видите, сколько я переделала дел? Когда же мне было заходить к вам?

— Ну конечно,— сказал я,— когда же вам было заходить ко мне.— Голова у меня кружилась от бессонных ночей, я еле держался на ногах, я говорил сбивчиво и неясно, весь день у меня так болело сердце.— Разумеется, вам некогда было зайти ко мне... Так о чем это я? Ах да, одним словом — вы переменялись ко мне, что-то случилось. Не спорьте. Но по вашему лицу я не могу понять, что. Какой у вас странный лоб, Эдварда! Я сейчас только это заметил.

— Но я вовсе вас не забыла!— крикнула она, залилась краской и взяла меня под руку.

— Ну да, да. Может быть, вы и не забыли меня. Но тогда я просто сам не знаю, что говорю. Уж одно из двух.

— Завтра я пошлю вам приглашение. Вы будете танцевать со мною. И потанцуем же мы!

— Вы не проводите меня немножко?— спросил я.

— Сейчас? Нет, я не могу,— ответила она.— Скоро будет доктор, он обещался мне помочь, кое-что еще надо поделать. Значит, вы находите, что зала убрана мило? А вам не кажется, что...

У крыльца останавливается коляска.

— О, доктор сегодня в карете?— спрашиваю я.

— Да, я послала за ним лошадь, я хотела...

— Ну да, побережь его больную ногу. Так простите меня, я отправляюсь... Добрый день, добрый день,

доктор. Рад вас видеть. Как всегда, в отличном здравии? Надеюсь, вы извините, если я вас тотчас оставлю?..

Спустившись с крыльца, я оглянулся, Эдварда стояла у окна и глядела мне вслед, она обеими руками раздвинула занавеси, и лицо у нее было задумчивое. Глупая радость пронизывает меня, я спешу от дома веселыми шагами, я не чую под собою ног, в глазах туман, ружье в моей руке легко, словно тросточка. Если б она была со мной, я бы стал хорошим человеком, думаю я. Я вхожу в лес и додумываю свои думы; если б она была со мной, как бы я служил ей, как угождал; и если б она оказалась нехороша ко мне, неблагодарна, требовала бы невозможного, я бы все, все делал для нее и не нарадовался бы, что она моя... Я остановился, упал на колени, в смиренной надежде припал губами к травинкам на обочине. Потом я встал и пошел дальше.

Под конец я почти успокоился. Ну и что же, что она ко мне переменилась! Это только так, просто такая уж она; она ведь стояла и смотрела мне вслед, стояла у окна и провожала меня глазами, пока я не исчез из виду. Чего же мне еще? Мне стало так хорошо, как никогда. Я с утра ничего не ел, но я уже не чувствовал голода.

Эзоп бежал впереди, вдруг он залаял. Я поднял глаза. Женщина в белом платке стояла возле моей сторожки; это была Ева, дочь кузнеца.

— Здравствуй, Ева! — крикнул я.

Она стояла подле большого серого камня, вся красная, и дула себе на палец.

— Ева! Ты? Что с тобою? — спросил я.

— Эзоп укусил меня, — ответила она и потупилась.

Я посмотрел на ее палец. Она сама себя укусила. Вдруг у меня в голове мелькает догадка, я спрашиваю:

— И долго ты тут дожидалась?

— Нет, недолго, — ответила она.

Больше мы не сказали друг другу ни слова, я взял ее за руку и ввел в сторожку.

XVII

С рыбной ловли я ушел не раньше обычного и явился на «бал» прямо с сумкой и ружьем, только что в лучшей своей куртке. Когда я подошел к Сирилунну, было уже

поздно, я услышал, что в зале танцуют, потом кто-то крикнул:

— А вот и господин лейтенант! С охоты!

Меня обступила молодежь, всем хотелось взглянуть на мою добычу, я пристрелил несколько морских птиц и наловил пикши... Эдварда улыбнулась мне навстречу, она танцевала и вся покраснелась.

— Первый танец со мной! — сказала она.

И мы стали танцевать. Все сошло благополучно, голова у меня закружилась, но я не упал. Мои грубые сапоги стучали об пол, я заметил этот стук и решил не танцевать больше, кроме того, я исцарапал крашеный пол. Но как же я радовался, что не наделал еще бóльших бед!

Оба приказчика господина Мака были тут же и танцевали истово, с серьезными минами. Доктор вовсю выделял кадрильные па. Помимо этих кавалеров, в зале собралось еще четверо совсем зеленых юнцов, сыновья пробста и здешнего доктора. Откуда-то явился и заезжий коммерсант, он обладал приятным голосом и подпевал музыке, а то и подменял дам у фортепьяно.

Как прошли первые часы, я уже не помню, зато помню все, что было под конец. Солнце заливало залу красным светом, и морские птицы уснули. Нам подавали вино и печенья, мы громко болтали и пели, смех Эдварды звонко и беспечно разносился по зале. Но почему она больше не обмолвилась со мной ни единым словом? Я подошел к ней и, хоть небольшой на то мастер, хотел сказать ей любезность; она была в черном платье, его, верно, сшили к конфирмации, оно уже стало немного коротко, но когда она танцевала, это ей даже шло, и я хотел ей об этом сказать.

— Как черное платье... — начал я.

Но она встала, обняла за талию какую-то свою подружку и отошла прочь. Так повторялось несколько раз. Ладно, думал я, ничего не поделаешь! Но зачем тогда стоять у окна и провожать меня печальным взглядом? Зачем?

Одна дама пригласила меня на танец. Эдварда сидела поблизости, и я ответил громко:

— Нет, мне уже пора идти.

Эдварда глянула на меня, вскинула брови и сказала:

— Идти? Ах нет, вы не уйдете!

Я оторопел и до крови закусил губу. Я встал.

— Я не забуду того, что вы мне сейчас сказали, йомфру Эдварда, — сказал я горько и сделал несколько шагов в сторону двери.

Доктор подскочил ко мне, поспешила ко мне и Эдварда.

— Зачем вы так?— сказала она с упреком.— Я просто понадеялась, что вы уйдете последним, самым что ни на есть последним. Да и время-то всего только час... Ах, послушайте,— добавила она с сияющим лицом,— вы ведь дали гребцу пять талеров за то, что он спас мой башмачок. Это слишком много.— Тут она засмеялась от души и повернулась к остальным.

Я даже рот раскрыл от изумления, я был совершенно сбит с толку и обескуражен.

— Вы, верно, изволите шутить,— ответил я.— Вовсе я не давал вашему гребцу никаких пяти талеров.

— Не давали?— Она отворила дверь на кухню и кликнула работника.— Помнишь ты нашу прогулку к Курхольмам, Якоб? Ты еще спас из воды мой башмачок?

— Да,— отвечал Якоб.

— Получил ты пять талеров за то, что спас башмачок?

— Да, мне было дадено...

— Ну, хорошо. Ступай.

Что за причуда, подумал я. Решила меня осрамить? Нет, не удастся, в краску ей меня не вогнать. Я сказал громко и отчетливо:

— Я хочу, чтобы все вы знали, господа, что тут либо ошибка, либо обман. Мне и в голову не приходило давать гребцу пять талеров за ваш башмачок. Верно, я и должен бы так сделать, но как-то не догадался.

— Ну так давайте снова танцевать,— сказала она, наморщив лоб.— Отчего же мы не танцуем?

Погоди, ты мне еще все это объяснишь, решил я сам с собою и с той минуты не выпускал ее из виду. Наконец она вышла в соседнюю с залой комнату, и я пошел за нею.

— Ваше здоровье!— сказал я и поднял свой стакан.

— У меня в стакане пусто,— только и ответила она.

А ведь перед ней стоял стакан, и он был полнехонек.

— Я думал, это ваш стакан?..

— Нет, это не мой,— сказала она, поворотилась к соседу и принялась с ним оживленно беседовать.

— Тогда простите,— сказал я.

Кое-кто из гостей заметил это небольшое происшествие.

Сердце во мне перевернулось от обиды, я сказал:

— Однако же нам надо объясниться...

Она встала, взяла обе мои руки в свои и проговорила с мольбой:

— Только не сегодня, не сейчас. Мне так грустно. Боже, как вы смотрите на меня! Вы же были мне другом...

Я совсем потерялся, сделал поворот направо и вернулся к танцующим.

Вскоре в залу вошла и Эдварда, она стала подле фортепьяно, за которым наигрывал танец заезжий коммерсант, и на лице ее отразилась тайная забота.

— Я никогда не училась играть,— сказала она. Она посмотрела на меня, и глаза у нее потемнели.— Ах, если б я только умела!

Что я мог на это ответить? Но сердце мое снова метнулось к ней, и я спросил:

— Отчего вы вдруг так загрустили, Эдварда? Знали бы вы, как мне это больно.

— Сама не пойму,— ответила она.— Так, все вместе, должно быть. Ушли бы они все поскорее, все до единого. Только не вы, нет, нет. Помните, вы уйдете последним.

И от этих слов я опять оживаю, и глаза мои уже светло глядят в залитую солнцем залу. Дочь пробста подошла ко мне и завела со мной беседу: мне было не до нее, совсем не до нее, и я отвечал ей отрывисто. Я нарочно отводил от нее глаза, ведь это она говорила о моем зверином взгляде. Она обернулась к Эдварде и рассказала, как однажды за границей, в Риге, если я не путаю, ее преследовал какой-то господин.

— Он шел за мной по пятам из улицы в улицу и все улыбался,— сказала она.

— Так, может, он был слепой?— выпалил я, чтоб угодить Эдварде. И вдобавок пожал плечами.

Фрекен тотчас поняла мою грубость и ответила:

— Ну уж конечно, если он мог преследовать такую старую уродину, как я.

Но я не дождался от Эдварды благодарности, она увлекла свою подружку в дальний угол, они принялись шептаться и качать головами. И я был предоставлен самому себе.

Проходит еще час, в шхерах просыпаются морские птицы, их крик летит в наши распахнутые окна. Каждая жилка во мне дрожит, когда я слышу этот первый утренний крик, и мне хочется в шхеры...

Доктор опять пришел в отличное расположение духа и завладел всеобщим вниманием, дамы теснились вокруг

него. «Не он ли мой соперник?» — подумал я, и тут же я подумал о его хромой ноге и обо всей его жалкой фигуре. Он напал на новую выдумку, он все время повторял «чтоб мне ни дна ни крыши», и всякий раз при этом его чудном присловье я громко хохотал. Я вконец измучился, и мне уже представлялось, что, раз этот человек мой соперник, я должен всячески его отличать. Я смаковал каждое его острое словцо, я кричал:

— Послушайте только, что говорит доктор! — и принуждал себя громко хохотать, что бы он ни сказал.

— Я влюблен в сей мир, — говорил доктор. — Я держусь за жизнь руками и ногами. Но раз уж смерти не миновать, я надеюсь в царствии небесном заполучить местечко где-нибудь над самым Лондоном или Парижем, чтоб слушать гул толпы во веки вечные, во веки вечные.

— Великолепно! — крикнул я и закашлялся от смеха, хоть несколько не был пьян.

Эдварда тоже казалась в восхищенье.

Когда начали расходиться, я забился в угловую комнатушку, сел и стал ждать. Я слышал, как один за другим гости, прощаясь, выходили на крыльцо. Доктор тоже простился и вышел. Скоро стихли все голоса. Сердце у меня гулко колотилось, я ждал.

Вот вернулась Эдварда. Завидя меня, она сначала замерла в изумлении, потом сказала с улыбкой:

— Ах, вы тут. Как мило, что вы всех переждали. Но я умираю от усталости.

Она не садилась.

Я сказал, тоже вставая со стула:

— Да, вам, верно, пора ложиться. Надеюсь, вам уже легче, Эдварда. Вы вдруг так загрустили, и меня это мучило.

— Пустое, я выплюсь, и все пройдет.

Мне нечего было прибавить, и я пошел к дверям.

— Да, спасибо, что пришли, — сказала она и протянула мне руку. Она пошла следом за мной в прихожую; это было совсем лишнее.

— Не надо, — сказал я, — не затрудняйтесь, я сам...

Но она все же вышла со мною. Она стояла в дверях и терпеливо ждала, пока я отыскивал картуз, ружье и сумку. В углу стояла трость, я ее заметил, пригляделся и узнал — это была палка доктора. Эдварда видит, на что я смотрю, и заливается краской, по лицу ее ясно, что она тут ни при чем и о палке не подозревала. Проходит не меньше минуты. Наконец ее охватывает лихорадочное нетерпенье, и совершенно вне себя она говорит:

— Ваша палка. Не забудьте свою палку.

И она берет докторскую палку и протягивает ее мне.

Я смотрел на нее, она стояла с палкой в руке, рука у нее дрожала. Чтоб положить этому конец, я взял палку и поставил ее обратно в угол. Я сказал:

— Это палка доктора. Не пойму, как хромой мог позабыть свою палку.

— Хромой, хромой! — крикнула она горько и подошла ко мне почти вплотную. — Вы-то не хромаете! Куда! Но если б вы даже и хромали, вы все равно его не стоите, вам до него далеко!

Я хотел ответить, ничего, ничего не приходило в голову, я молчал. Я низко поклонился ей и попятился к дверям, потом на крыльцо. На крыльце я мгновенье постоял, глядя прямо перед собой, потом пошел.

Так-так. Он забыл палку. Он вернется за нею этой дорогой. Он не хотел, чтобы я оставался последним... Я брел очень медленно, то и дело оглядывался, на опушке я остановился. Я ждал полчаса, наконец появился доктор; завидя меня, он ускорил шаг. Не успел он еще рта раскрыть, я приподнял картуз. Я решил поглядеть, что он станет делать. Он в ответ приподнял шляпу. Я пошел прямо на него и сказал:

— Я вам не кланялся.

Он отступил на шаг и вглядывался в мое лицо.

— Не кланялись?

— Нет,— сказал я.

Пауза.

— Ну ладно, мне это безразлично,— ответил он, бледнея.— Я иду за палкой, я ее забыл.

Сказать мне тут было нечего; но я придумал другое, я вытянул перед ним ружье, словно перед собакой, и крикнул:

— Гоп! — и принялся хлопать и свистать.

Мгновенье он боролся с собой, лицо его приняло престранное выражение, губы сжались, глаза вперились в землю. Вдруг он остро глянул на меня, подобие улыбки осветило его черты, и он сказал:

— Ну зачем вам все это?

Я не отвечал; но его слова заделали меня.

Он вдруг протянул мне руку и глухо проговорил:

— Что-то с вами неладно. Сказали бы мне лучше, может быть, я...

Тут меня захлестнули стыд и тоска, его спокойная речь совершенно вышибла меня из равновесия. Мне

захотелось сделать ему приятное, я обнял его за талию и выпалил:

— Простите меня, слышите! Да нет, что со мной может быть неладно? Право же, не беспокойтесь, помощи мне не требуется. Вам, верно, нужна Эдварда? Вы застанете ее дома... Только поторопитесь, не то она ляжет спать; она так устала, я сам видел. Правда, поторопитесь, послушайте моего совета, и вы ее еще застанете. Что же вы стоите!

И я повернулся и поспешил прочь, я кинулся через лес, домой, в свою сторожку.

Долго я сидел на нарах, в точности как вошел, с сумкой через плечо и с ружьем в руке. Странные мысли бродили у меня в голове. И зачем была эта несдержанность перед доктором! Я с досадой представил себе, как обнимаю его за талию и гляжу на него мокрыми глазами; небось злорадствует, подумал я, должно быть, сидит сейчас с Эдвардой и насмешничает. Он оставил в прихожей свою палку. Да, да, видите ли, если б я даже и хро-мал, я все равно не стóю доктора, мне до него далеко, это подлинные ее слова...

Я встаю посреди комнаты, взвожу курок, приставляю дуло к левой лодыжке и нажимаю на спуск. Пуля проходит ступню и впивается в пол. Эзоп коротко, перепуганно лает.

Скоро в дверь стучат.

Это доктор.

— Извините, что я вторгаюсь,— начал он.— Вы так поспешно ушли, а ведь нам не мешало бы поговорить. Тут как будто пахнет порохом?

Он был совершенно трезв.

— Видели вы Эдварду? Взяли свою палку?— спросил я.

— Я взял свою палку. Нет, Эдварда уже легла... Что это? Господи боже, да у вас кровь?

— Нет, это так, не стоит внимания. Я ставил ружье, а оно выстрелило; сущие пустяки. Черт вас побери, да отчего же это я должен перед вами тут отчитываться!.. Значит, вы взяли палку?

Он неотрывно смотрел на мой простреленный сапог и на струйку крови. Проворным движеньем он положил палку и стал снимать перчатки.

— Сидите-ка тихо, надо снять сапог. То-то мне показалось, что я слышу выстрел.

Как же я жалел потом об этой глупости, и зачем это я, собственно, да и чего добился; только обрек себя несколько недель не вылезать за порог своей сторожки. Как сейчас помню все свои терзания и неудобства, моей прачке пришлось всякий день являться ко мне, чуть ли не жить у меня, покупать мне еду, вести мое хозяйство. Вот ведь поди ж ты!

Однажды доктор завел разговор об Эдварде. Я слушал ее имя, слушал, что она сказала или сделала, и это стало уже так не важно, он словно говорил о чем-то далеком и до меня не касающемся. До чего же скоро все забывается! — думал я в изумлении.

— Ну, а вы-то сами что думаете об Эдварде, раз уж вы о ней спрашиваете? Я, говоря по правде, уже несколько недель, как ее не вспоминал. Погодите-ка, ведь, по моему, между вами что-то было, вы так часто видались; когда ездили на острова, вы были за хозяина, она за хозяйку. Не отпирайтесь, доктор, что-то было, какая-то взаимная склонность. Да нет, бога ради, не отвечайте, вы не обязаны мне отчитываться, я так только спрашиваю, сам не знаю зачем. Поговорим о другом, если хотите. Когда я смогу ходить?

Я сидел и думал о том, что только что сказал. Отчего я в глубине души боюсь, как бы доктор не разоткровенничался? Какое мне дело до Эдварды? Я ее забыл.

Потом еще как-то зашел разговор об Эдварде, и я опять перебил доктора; одному только богу известно, что это я боялся услышать.

— Зачем вы перебиваете меня? — спросил он. — Не можете слышать ее имени?

— Скажите, доктор, — попросил я, — какого вы, собственно, мнения о йомфру Эдварде? Мне это интересно.

Он подозрительно глянул на меня.

— Какого я о ней мнения?

— Может, вы расскажете мне сегодня что-нибудь новенькое, может, вы даже посватались и получили согласие? Вас поздравить? Нет? Ну да, так я вам и поверил, ха-ха-ха!

— Ах, вот вы чего боялись!

— Боялся? Милейший доктор!

Пауза.

— Нет, я не сватался и не получал согласия, — сказал он. — Может, это вас можно поздравить? Нет, к Эдварде

не сватаются, она сама берет, кого захочет. Думаете, она сельская простушка? Да вы и сами видите — здесь, в северной глуши, — и вдруг такое существо. Девчонка, бить ее некому, и взрослая причудница. Холодна? О, не беспокойтесь? Горяча? Суший лед. Так что же она такое? Семнадцатилетняя девчонка, не правда ли? А вот вы попробуйте только повлиять на эту девчонку, так она сразу у вас всякую охоту отобьет. Отец и тот не найдет на нее управы; она с виду его слушается, а сама делает, что ее левая нога захочет. Она говорит, что у вас взгляд зверя...

— Тут вы ошибаетесь, это другая говорит, что у меня взгляд зверя.

— Другая? Кто же?

— Не знаю. Какая-то ее подруга! Нет, это не Эдварда. Погодите-ка, а может быть, это и правда сама Эдварда...

— Когда вы на нее смотрите, это-де так-то и эдак на нее действует... Но, думаете, это хоть на волосок вас к ней приближает? Ни чуточки. Смотрите на нее, смотрите на здоровье. Но как только она почувствует себя в вашей власти, она тотчас решит: ишь ты, как он смотрит на меня и воображает себя победителем! И тут же одним взглядом или холодным словом отшвырнет вас за тридевять земель. Думаете, я ее не знаю? Как по-вашему, сколько ей лет?

— Она ведь родилась в тридцать восьмом году?

— Враки. Я забавы ради это проверил. Ей двадцать лет, хоть она и впрямь легко сойдет за пятнадцатилетнюю. У нее несчастный нрав, и он не дает покоя ее бедной головке. Когда она стоит и смотрит на море и скалы, у нее такой скорбный рот, и видно, как она несчастна; но она слишком горда и упряма и ни за что не расплатится. Она искательница приключений, у нее богатая фантазия, она ждет принца. Кстати, что это за история с пятью талерами, которые вы якобы дали гребцу?

— Шутка. Да нет, это пустяки...

— Нет, не пустяки. Она и со мной такое однажды проделала. Год тому назад. Мы стояли на палубе почтового парохода, он еще не отчалил. Шел дождь, и было холодно. Женщина с ребенком сидит на палубе и вся дрожит. Эдварда ее спрашивает: неужели вам не холодно? Как же, ей холодно.

— Ну, а маленькому не холодно?

Как же, и ему холодно.

— Отчего бы вам не спуститься в каюту? — спрашивает Эдварда.

— У меня билет на палубу,— ответила женщина.

Эдварда смотрит на меня.

— У женщины билет на палубу,— говорит она.

Что ж тут поделаешь, думаю я про себя. Но я понимаю все значение взгляда Эдварды. Я не родился в палатах, я начинал с медных грошей и не швыряю денег без счета. Я отодвигаюсь подальше от женщины с ребенком и думаю: если надо заплатить за нее, пусть платит сама Эдварда — они с отцом побогаче моего. И Эдварда, разумеется, платит сама. В этом ей нельзя отказать, у нее, бесспорно, доброе сердце. Но совершенно ясно, как дважды два, она ждала, чтоб я купил билет в каюту для женщины с ребенком, я это понял по ее взгляду. Теперь слушайте дальше. Женщина встала и принялась благодарить.

— Не меня благодарите, а вон того господина,— отвечает Эдварда и с самым невозмутимым видом указывает в мою сторону. Ну, что вы скажете? Я слышу, как женщина благодарит теперь уже меня, я не знаю, что отвечать, но что тут поделаешь? Вот вам один из случаев, но я мог бы рассказать еще. И те пять талеров гребцу она, разумеется, дала сама. Если б это сделали вы, она бы кинулась к вам на шею; еще бы — рыцарь без страха и упрека, не пожалевший столь значительной суммы за стоптанный башмак,— такую она нарисовала себе картинку, таковы ее понятия. А раз вы не догадались, она все и проделала сама от вашего имени. В этом она вся — безрассудная и расчетливая вместе.

— Неужели же никому с ней не сладить? — спросил я.

— Ее следует воспитывать,— ответил доктор уклончиво.— То-то и беда, что ей дано слишком много воли, она делает что захочет, она избалована, она окружена вниманием. Всегда под рукой есть кто-то, на ком можно проверять свое могущество. Замечали вы, как я с ней обращаюсь? Как со школьницей, с девчонкой. Я распекаю ее, исправляю ее речь, не пропускаю случая поставить ее в тупик. Думаете, она не понимает? Ах, она горда и упряма, ее это еще как задевает; но она до того горда, что ни за что не покажет виду. А потачки ей давать нельзя. До того, как появились вы, я уже год ее воспитывал, наметились кое-какие перемены, она стала плакать, когда ей больно или досадно, стала похожа на человека. И вот появились вы, и все пошло насмарку. Вот так. Один теряет терпенье, и за нее принимается другой; после вас, очень может быть, появится третий, кто знает...

Ого, бедный доктор, кажется, сводит со мной счеты, подумал я, и я сказал:

— Объясните, однако, с какой же стати вы взяли на себя труд мне все это сообщить? Должен ли я помочь вам в воспитании Эдварды?

— А ведь она горяча, как вулкан,— продолжал он, не слушая.— Вы вот говорите— неужели никто с ней не сладит? Отчего же? Она ждет своего принца, его все нет, она ошибается вновь и вновь, она и вас приняла за принца, у вас ведь взгляд зверя, ха-ха! Послушайте, господин лейтенант, вам бы надо захватить сюда мундир, он бы пригодился. Нет, отчего же никто с ней не сладит? Я видел, как она ломает руки в ожидании того, кто бы пришел, взял ее, увез, владел бы ее телом и душою. Да. Но он должен появиться издалека, вынырнуть в один прекрасный день неизвестно откуда и быть непременно не как все люди. Вот я и полагаю, что господин Мак снарядил экспедицию, это его путешествие неспроста. Господин Мак однажды уже отправлялся в подобное путешествие и вернулся в сопровождении некоего господина.

— Вот как, некоего господина?

— Ах, он оказался непригодным,— сказал доктор и горько усмехнулся.— Это был человек моих лет и хромой, вроде меня. Какой уж там принц.

— И куда же он уехал?— спросил я, не сводя глаз с доктора.

— Куда уехал? Отсюда? Этого я не знаю,— смешавшись, ответил он.— Ну, мы, однако ж, заболтались. Через неделю вы уже сможете ступать на больную ногу. До свиданья.

ХІХ

Я слышу женский голос подле моей сторожки, кровь ударяет мне в голову, это голос Эдварды.

— Глан, Глан болен, оказывается?

И моя прачка отвечает под дверью:

— Да он уж почти поправился.

Это ее «Глан, Глан» так и пронизало меня насквозь, она дважды повторила мое имя, боже ты мой, и голос у нее звенел и срывался.

Она, не постучавшись, толкнула дверь, вбежала и принялась смотреть на меня. И вдруг все сделалось как прежде; она надела свою перекрашенную кофточку и пе-

редничек повязала чуть ниже пояса, чтоб стан казался длинней. Я все это тотчас заметил, и ее взгляд, ее смуглое лицо, и брови высокими дугами, и эти ее нежные руки — все так и полоснуло меня по сердцу, и у меня закружилась голова. «И я ее целовал!» — подумал я. Я встал и не сядился.

— Вы встали, вы не садитесь, — заговорила она. — Сядьте же, у вас ведь болит нога, вы ее прострелили. Господи боже, да как же это вы? Я только сейчас узнала. А я-то все думаю: что это с Планом? Он совсем пропал. Я ничего не знала. Вы прострелили ногу, вот уж несколько недель, оказывается, а мне никто и слова не сказал. И как же вы теперь? До чего же вы бледный, вас просто не узнать. А нога? Будете вы хромать? Доктор говорит, вы не будете хромать. Какой же вы милый, что не будете хромать, и слава, слава богу! Я думаю, вы извините меня, что я так запросто ворвалась к вам, я не шла, я бежала...

Она вся подалась ко мне, она стояла так близко, я чувствовал на своем лице ее дыханье, я протянул к ней руки. Но она отпрянула. В глазах ее еще стояли слезы.

— Это вот как получилось, — начал я, и голос меня не слушался. — Я ставил ружье в угол, я неправильно его держал, вот так, дулом вниз; и вдруг я слышу выстрел. Произошел несчастный случай.

— Несчастный случай, — проговорила она задумчиво и кивнула. — Постоите-ка, ведь это левая нога; но почему же именно левая? Ну да, случайность...

— Да, случайность, — оборвал я. — Откуда же я могу знать, почему именно левая? Вы ведь сами видите, я держал ружье вот так, стало быть, в правую ногу я никак не мог попасть. Конечно, веселого мало.

Она смотрела на меня и о чем-то сосредоточенно думала.

— Ну, вы, значит, поправляетесь, — сказала она и огляделась. — Отчего же вы не послали к нам за едой? Как же вы жили?

Мы поговорили еще несколько минут. Я спросил:

— Когда вы вошли, у вас было растроганное лицо, ваши глаза сияли, вы протянули мне руку. А теперь глаза у вас опять погасли. Мне ведь не почудилось?

Пауза.

— Не все же быть одинаковой...

— Но вы хоть сейчас только объясните, — попросил я, — только сейчас — что я сказал или сделал такого, чем вам не угодил? Надо же мне знать, хотя бы на будущее.

Она глядела в окно на далекую черту горизонта, стояла, и задумчиво глядела прямо перед собой, и ответила мне, не обернувшись в мою сторону:

— Ничего, Глан. Так, мало ли какие могут прийти в голову мысли. Ну вот вы и рассердились? Не забудьте, один дает мало, но и это много для него, другой отдает все, и ему это нисколько не трудно; кто же отдал больше? Вы приуныли за время болезни. Да, так к чему это я?

И вдруг она смотрит на меня, смотрит радостно, к лицу у нее приливает краска, она говорит:

— Ну выздоравливайте же поскорее. Всего доброго.

И она протянула мне руку.

Но вот тут-то мне и не захотелось подавать ей руку.

Я встал, заложил руки за спину и низко поклонился; так я поблагодарил ее за любезный визит.

— Простите, что не могу проводить вас,— сказал я.

Когда она ушла, я сел и долго думал о том, что только что произошло. Я написал письмо с просьбой, чтобы мне выслали мундир.

XX

Первый день в лесу.

Я счастлив и еле держусь на ногах, всякая тварь разглядывает меня; на листьях сидят жуки, жужелицы на тропках. Как меня встречают!— думал я. Каждой порой чувствовал я душу леса, я плакал от любви, радовался несказанно, я изнемог от благодарности. Лес ты мой милый, мой дом, здравствуй,— хочется мне сказать от всего сердца... Я останавливаюсь, озираюсь во все стороны, сквозь слезы называю имена птиц, деревьев, камней, трав и букашек, оглядываюсь и по очереди их называю. Я гляжу на горы и про себя говорю: иду, иду!— так, словно кто зовет меня. Там, в вышине, свили гнезда соколы, я давно об этом знаю. Но только я вспомнил о соколиных гнездах, и фантазия моя уносит меня далеко-далеко...

В полдень я сел в лодку и пристал к небольшому островку далеко в море. Тут росли лиловые цветы на долгих стеблях, они доходили мне до колен, я пробирался в невиданных зарослях, по малиннику и чертополоху; зверья тут не было никакого, и нога человека, верно, еще не ступала тут. Море гнало к берегу легкую пену и осеняло меня шорохом, где-то далеко у Эггехольмов расшуме-

лись береговые птицы. И со всех сторон море, море, оно словно сжимало меня в объятьях. Будьте же благословенны жизнь, и земля, и небо, будьте благословенны мои враги. Я готов был в этот час любить самого заклятого своего недруга и развязать ремень обуви его...

До меня доносятся громкие крики грузчиков с баржи господина Мака, и все во мне дрожит от радости при знакомых звуках. Я гребу к пристани, выхожу на берег, минуя рыбацьи бараки и направляюсь домой. Час уже не ранний; я приступаю к трапезе, делюсь своими припасами с Эзопом и снова иду в лес. Легкий ветерок овеивает мне лицо. Здравствуй, милый, говорю я ветерку, который дует мне в лицо, здравствуй; каждая жилка моя на тебя не нарадуется! Эзоп кладет лапу мне на колено.

Меня одолевает усталость, и я засыпаю.

Трам! Там! Колокола? Далеко в море, в нескольких милях от берега стоит гора. Я читаю две молитвы, одну за моего пса, другую за себя, и мы входим в глубь горы. За нами захлопываются ворота, я вздрагиваю и просыпаюсь.

Небо пылает пожаром, солнце бьет прямо в глаза; ночь; горизонт дрожит от света. Мы с Эзопом прячемся в тень. Все тихо. Давай не будем больше спать, говорю я Эзопу, утром пойдем на охоту, видишь, на нас светит красное солнце, вовсе мы с тобой не входили в глубь горы... И что-то странное творится со мной, и кровь вдруг ударяет мне в лицо; я чувствую, будто кто целует меня, и поцелуй горит на моих губах.

Я озираюсь — нигде никого. Изелина, — шепчу я. Трава шуршит, верно, лист упал на землю, а может быть, это шаги. По лесу идет дрожь, это, верно, вздох Изелины. Здесь бродила Изелина, здесь склонялась она на мольбы охотников в желтых сапогах и зеленых накидках. Жила в своей усадьбе в полумиле отсюда, сидела у окошка и слушала, слушала, как звенит по округе охотничий рог; это было в дни прапрадедов... Олень, волк, медведь водились в лесу, и охотников было немало; при них она росла, и каждый ее дожидался. Тому довелось увидеть ее взор, тот услышал ее голос; но однажды ночью не спалось одному молодцу, и он не стерпел, просверлил стену в горнице Изелины и увидел ее бархатный, белый живот. По двенадцатому ее году сюда приехал Дундас. Он был родом шотландец, он торговал рыбой и владел

множеством кораблей. У него был сын. Когда Изелине минуло шестнадцать лет, она увидела молодого Дундаса. Он стал ее первой любовью...

И что-то странное творится со мной. Голова у меня клонится; я закрываю глаза, и снова на моих губах поцелуй Изелины.

— Ты тут, Изелина, вечная возлюбленная?— шепчу я.— А Дидерик, верно, стоит под деревом?

Но все клонится и клонится моя голова, и я падаю в сонные волны.

Трам-там! Кажется, голос! Млечный Путь течет по моим жилам, это голос Изелины:

«Спи, спи! Я расскажу тебе о моей любви, пока ты спишь, и я расскажу тебе о моей первой ночи. Помню, я забыла запереть дверь; мне было шестнадцать, стояла весна, дул теплый ветер; и пришел Дундас, словно орел прилетел, свистя крылами. Я встретила его утром перед охотой, ему было двадцать пять, он приехал из чужих краев, мы прошли с ним вместе по саду, он коснулся меня локтем, и с той минуты я полюбила его.

На лбу у него рдели два красных пятна, и мне захотелось поцеловать эти пятна.

После охоты, вечером, я бродила по саду, я ждала его и боялась, что он придет. Я повторяла тихонько его имя и боялась, как бы он не услышал. И вот он выступает из-за кустов и шепчет:

— Сегодня ночью в час!

И с этими словами исчезает.

Сегодня ночью в час, думаю я, что бы это значило, не пойму. Не хотел же он сказать, что сегодня ночью в час он снова уедет в чужие края? Мне-то что до этого?

И вот я забыла запереть дверь...

Ночью, в час, он входит ко мне.

— Неужто дверь не заперта?— спрашиваю я.

— Сейчас я запру ее,— отвечает он.

И он запирает дверь изнутри.

Его высокие сапоги стучали, я так боялась.

— Не разбуди мою служанку!— сказала я.

Я боялась еще, что скрипнет стул, и я сказала:

— Ой, не садись на стул, он скрипит!

— А можно сесть к тебе на постель?— спросил он.

— Да,— сказала я.

Но я сказала так потому только, что стул скрипел.

Мы сели ко мне на постель. Я отодвигалась, он придвигался. Я смотрела в пол.

— Ты озябла,— сказал он и взял меня за руку. Чуть погода он сказал: — О, как ты озябла! — и обнял меня.

И мне стало жарко. Мы сидим и молчим. Поет петух.

— Слышишь,— сказал он,— пропел петух, скоро ут-ро.

И он коснулся меня, и я стала сама не своя.

— А ты точно слышал, что пропел петух? — пролепетала я.

Тут я снова увидела два красных пятна у него на лбу и хотела встать. Но он не пустил меня, я поцеловала два милые, милые пятна и закрыла глаза...

И настало утро, было совсем светло. Я проснулась и не могла узнать стен у себя в горнице, я встала и не могла узнать своих башмачков; что-то журчало и переливалось во мне. Что это журчит во мне? — думаю я, и сердце мое веселится. Кажется, часы бьют, сколько же пробило? Ничего я не понимала, помнила только, что забыла запереть дверь.

Входит моя служанка.

— Твои цветы не политы,— говорит она.

Я позабыла про цветы.

— Ты измяла платье,— говорит она.

Когда это я измяла платье? — подумала я, и сердце мое взыграло; уж не сегодня ли ночью?

У ворот останавливается коляска.

— И кошка твоя не кормлена,— говорит служанка.

Но я уже не помню про цветы, платье и кошку и спрашиваю:

— Это не Дундас? Скорей проси его ко мне, я жду его, я хотела... хотела...

А про себя я думаю: «Запрет он дверь, как вчера, или нет?»

Он стучится. Я отворяю ему и сама запираю дверь, чтобы его не затруднять.

— Изелина! — шепчет он и на целую минуту припадает к моему рту.

— Я не посылала за тобой,— шепчу я.

— Не посылала? — спрашивает он.

Я снова делаюсь сама не своя, и я отвечаю:

— О, я посылала за тобой, я ждала тебя, душа моя так стосковалась по тебе. Побудь со мною.

И я закрываю глаза от любви. Он не выпускал меня, у меня подкосились ноги, я спрятала лицо у него на груди.

— Кажется, снова кричит кто-то, не петух ли? — сказал он и прислушался.

Но я поскорее оборвала его и ответила:

— Да нет, какой петух? Никто не кричал.

Он поцеловал меня в грудь.

— Это просто курица кудахтала,— сказала я в последнюю минуту.

— Погоди-ка, я запру дверь,— сказал он и хотел встать.

Я удержала его и шепнула:

— Она уже заперта...

И снова настал вечер, и Дундас уехал. Золотая темень переливалась во мне. Я села перед зеркалом, и два влюбленных глаза глянули прямо на меня. Что-то шелохнулось во мне под этим взглядом, и потекло, и переливалось, струилось вокруг сердца. Господи! Никогда еще я не глядела на себя такими глазами, и я целую свой рот в зеркале, изнемогая от любви...

Вот я и рассказала тебе про свою первую ночь, и про утро, и вечер, что настал после утра. Когда-нибудь я еще расскажу тебе про Свена Херлуфсена. И его я любила, он жил в миле отсюда, вон на том островке,— видишь?— и я сама приплывала к нему на лодке тихими летними ночами, потому что любила его. И о Стаммере я тебе расскажу. Он был священник, я его любила. Я всех люблю...»

Сквозь дрему я слышу, как в Сирилунне поет петух.

— Слышишь, Изелина, и для нас пропел петух!— крикнул я, счастливый, и протянул руки. Я просыпаюсь. Эзоп уже вскочил. Ушла!— говорю я, пораженный печалью, и озираюсь. Никого, никого! Я весь горю, я иду домой. Утро, петухи все кричат и кричат в Сирилунне.

У сторожки стоит женщина, это Ева. В руке у нее веревка, она собралась по дрова. Она такая молоденькая, сама как веселое утро, грудь ее тяжело дышит, ее золотит солнце.

— Вы только не подумайте...— начала она и запнулась.

— Что — не подумайте, Ева?

— Что я нарочно пришла сюда. Просто я шла мимо...

И лицо ее заливается краской.

XXI

Больная нога все беспокоила меня, часто ночью зудела и не давала спать, а то ее вдруг пронизывало острой болью и к перемене погоды ломило. Так тянулось долго. Но хромым я не остался.

Шли дни.

Господин Мак вернулся из своего путешествия, и я тотчас же на себе почувствовал, что он вернулся. Он отобрал у меня лодку, он поставил меня в затрудненье; охотничий сезон еще не начался, и стрелять нельзя было. Как же это он, ни словом не предупредив, отнял у меня лодку? Двое работников господина Мака утром вывезли в море какого-то незнакомца.

Я повстречал доктора.

— У меня отобрали лодку,— сказал я.

— К нам приехал гость,— ответил он,— его каждый день вывозят в море, а вечером доставляют на берег. Он изучает морское дно.

Приезжий был финн, господин Мак познакомился с ним по чистой случайности на борту парохода, он приехал со Шпицбергена и привез собранье раковин и морских зверушек, его называют бароном. Ему отвели залу и соседнюю с ней комнатку в доме господина Мака. К нему очень внимательны.

Я давно не ел мяса, может быть, Эдварда накормит меня ужином, подумал я. Я отправляюсь в Сирилунн. Я тотчас же замечаю, что Эдварда в новом платье, она словно бы выросла, платье очень длинное.

— Простите, что я не встаю,— только и сказала она и протянула мне руку.

— Да, к несчастью, дочка нездорова,— подтвердил господин Мак.— Простуда. Вот, не бережется... Вы, надо думать, пришли узнать насчет лодки? Придется мне ссудить вам другую, ялик. Он не новый, но если хорошенько отчерпывать... Дело в том, что у нас гостит один ученый господин, так что сами понимаете... Времени свободного у него нет, он работает весь день и возвращается к вечеру. Вы уж дождитесь его, он скоро будет. Вам ведь интересно свести с ним знакомство? Вот его карточка, с короной. Он барон. Приятнейший человек. Я познакомился с ним по чистой случайности.

Ага, подумал я. Ужинать тебя не оставляют. Слава тебе господи, я не очень-то на это и рассчитывал, пойду себе домой. У меня в сторожке лежит еще немного рыбы. Чем рыба не еда? Ну и спасибо, с меня довольно.

Пришел барон. Маленького роста человек, лет сорока, длинное, узкое лицо, выдающиеся скулы, бедная черная борода. Взгляд за сильными очками острый и пронизывающий.

Пятизубая корона, такая же, как на визитной карточке, была у него и на запонках. Он слегка сутулился,

и худые руки покрыты синими жилами, а ногти словно из желтого металла.

— Весьма польщен, господин лейтенант. Долго ли, господин лейтенант, изволили тут пробывать?

— Несколько месяцев.

Обходительный человек. Господин Мак попросил его рассказать о раковинах и морских зверушках, и он с готовностью согласился, объяснил нам, какие глины залегают в окрестностях Курхольмов, вышел в залу и принес оттуда образец взморника из Белого моря. Он то и дело поднимал к переносью правый указательный палец и поправлял золотые, в толстой оправе очки. Господина Мака в высшей степени заинтересовали разъяснения барона. Прошел час.

Барон заговорил о несчастном случае с моей ногой, о моем неудачном выстреле. Я уже оправился? В самом деле? О, он весьма рад. Откуда это он знает о несчастном случае? — подумал я. Я спросил:

— А кто рассказал господину барону о несчастном случае?

— Кто? В самом деле, кто же? Фрекен Мак как будто? Ведь правда, фрекен Мак?

Эдварда покраснела до корней волос.

Мне было так скверно, много дней подряд такая тоска давила меня, но при последних словах барона у меня вдруг потеплело на душе. Я не смотрел на Эдварду, я думал: спасибо тебе, что говорила обо мне, называла мое имя, произносила его, хоть что тебе в нем? Доброй ночи.

Я откланялся. Эдварда снова не поднялась, она из вежливости сослалась на нездоровье. Равнодушно протянула она мне руку.

А господин Мак был увлечен беседой с бароном. Он говорил про своего деда, консула Мака.

— Не помню, рассказывал ли я уже господину барону, что вот эту самую булавку король Карл-Юхан собственноручно приколол на грудь моего деда.

Я вышел на крыльцо, никто не проводил меня. Проходя, я бросил взгляд на окна залы, там стояла Эдварда, высокая, прямая, она обеими руками отвела гардины и смотрела в окно. Я даже не поклонился, все разом вылетело у меня из головы, смятенье охватило меня и погнало прочь.

Погоди, постой минутку, сказал я сам себе уже на опушке. Отец небесный, да когда же все это кончится! Вдруг меня бросило в жар, и я застонал в бессильной

злобе. Нет, не осталось у меня ни чести, ни гордости, неделю, не более, я пользовался милостью Эдварды, это давно позади, пора бы и опомниться. А мое сердце все не устанет звать ее, и о ней кричат дорожная пыль, воздух, земля у меня под ногами. Отец небесный, да что же это такое...

Я пришел в сторожку, приготовил рыбу и поел.

Все-то дни напролет ты надрываешь душу из-за жалкой школьницы, и пустые наважденья не отпускают тебя ночами. И душный воздух кольцом сжимает твою голову, спертый, прошлогодне пропахший воздух. А небо дрожит такой немислимой синевою, и горы зовут тебя к себе. Эй, Эзоп, живее!

XXII

Прошла неделя. Я попросил лодку у кузнеца и питался рыбой. Эдварда и приезжий барон все вечера, как он возвращался с моря, проводили вместе, я видел их раз возле мельницы. Другой раз они прошли мимо моей сторожки, я отпрянул от окна и тихонько затворил дверь на засов, на всякий случай. Я увидел их вместе, и это не произвело на меня никакого впечатления, ровным счетом никакого, я только пожал плечами. Еще как-то вечером я столкнулся с ними на дороге, мы раскланялись, я выждал, пока поклонится барон, а сам лишь двумя пальцами тронул картуз, чтоб выказать невежливость. Когда мы поравнялись, я замедлил шаг и равнодушно смотрел в их лица.

Еще день минуло.

Сколько уже их минуло, этих дней, долгих дней! Сердце не отпускала тоска, в голове неотступно стояло все одно и то же, даже милый серый камень подле сторожки как-то безнадежно и горько глядел на меня, когда я к нему приближался. Шло к дождю, стоял тяжкий плотный жар, левую ногу мою ломило, утром я видел, как жеребец господина Мака брыкался в оглоблях; мне ясно было значенье всех этих примет. Надо запастись едой, пока стоит погожая пора, подумал я.

Я взял Эзоп на поводок, захватил рыболовные снасти и ружье и отправился к пристани. Тоска мучила меня больше обычного.

— Когда ждут почтового парохода?— спросил я одного рыбака.

— Почтового парохода? Через три недели,— ответил он.

— Мне выслали мундир,— сказал я.

Потом я встретил одного из приказчиков господина Мака. Я пожал ему руку и спросил:

— Скажите мне, Христа ради, неужто вы так-таки больше и не играете в вист?

— Как же! Играем. И часто,— ответил он.

Пауза.

— Мне последнее время все не случалось составить вам компанию,— сказал я.

Я поплыл к своей отмели. Сделалось совсем душно, тяжело, мошкара роилась тучами, я только тем и спасался, что курил. Пикша клевала, я удил на две удочки, улов был славный. На возвратном пути я подстрелил двух чистиков.

Когда я причалил к пристани, там стоял кузнец. Он работал. Меня осеняет внезапная мысль, я говорю кузнецу:

— Пойдемте вместе домой?

— Нет,— отвечает он,— господин Мак задал мне работы до самой полуночи.

Я кивнул и про себя подумал, что это хорошо.

Я взял свою добычу и пошел, я выбрал ту дорогу, что вела к дому кузнеца. Ева была одна.

— Я так по тебе соскучился,— сказал я ей. Меня тронуло ее смущение, она почти не глядела на меня.— Ты такая молодая, у тебя такие добрые глаза, до чего же ты милая,— сказал я.— Ну накажи меня за то, что о другой я думал больше, чем о тебе. Я пришел только одним глазком на тебя взглянуть, мне так хорошо с тобою, девочка ты моя. Слыхала ты, как я звал тебя ночью?

— Нет,— отвечала она в испуге.

— Я звал Эдварду, йомфру Эдварду, но я думал о тебе. Я даже проснулся. Ну да, я сказал— Эдварда, но знаешь что? Не будем больше про нее говорить. Господи, до чего же ты у меня хорошая, Ева! У тебя такой красный рот, сегодня особенно. И ножки твои красивее, чем у Эдварды, вот, сама погляди.

Я приподнял ей юбку, чтоб она посмотрела на свои ноги.

Радость, какой я прежде у нее не видывал, ударяет ей в лицо; она хочет отвернуться, но одумывается и одной рукой обнимает меня за шею.

Идет время. Мы болтаем, сидим на длинной скамье и болтаем о том о сем. Я сказал:

— Поверишь ли, йомфру Эдварда до сих пор не выучилась верно говорить, она говорит как дитя, она говорит «более счастливее», я сам слышал. Как по-твоему, красивый у нее лоб? По-моему, некрасивый. Ужасный лоб. И рук она не моет.

— Но мы ведь решили больше про нее не говорить?

— Верно. Я просто забыл.

Опять идет время. Я задумался, я молчу.

— Отчего у тебя мокрые глаза?— спрашивает Ева.

— Да нет, лоб у нее красивый,— говорю я,— и руки у нее всегда чистые. Она просто случайно один раз их запачкала. Я это только и хотел сказать.

Однако же я продолжаю, торопясь, сжав зубы:

— Я день и ночь думаю о тебе, Ева; и просто мне пришло на ум кое-что тебе рассказать, ты, наверное, еще этого не слыхала, вот послушай. Когда Эдварда первый раз увидела Эзопа, она сказала: «Эзоп—это был такой мудрец, кажется, фригиец». Ну не глупо ли? Она ведь в то же утро вычитала об этом в книжке, я совершенно убежден.

— Да?— говорит Ева.— А что ж тут такого?

— Насколько я припоминаю, она сказала еще, что учителем Эзопа был Ксанф. Ха-ха-ха!

— Да?

— На кой черт оповещать собравшихся о том, что учителем Эзопа был Ксанф? Я просто спрашиваю. Ах, ты нынче не в духе, Ева, не то бы ты умерла со смеху.

— Нет, это, верно, и правда весело,— говорит Ева и старательно, удивленно смеется,— только я ведь не могу этого понять так, как ты.

Я молчу и думаю, молчу и думаю.

— Давай совсем не будем разговаривать, просто так посидим,— говорит Ева тихо. Она погладила меня по волосам, в глазах ее светилась доброта.

— Добрая ты, добрая душа!— шепчу я и прижимаю ее к себе.— Я чувствую, что погибаю от любви к тебе, я люблю тебя все сильнее и сильнее, я возьму тебя с собой, когда уеду. Вот увидишь. Ты поедешь со мной?

— Да,— отвечает она.

Я едва различаю это «да», скорее угадываю по ее дыханию, по ней самой, мы сжимаем друг друга в объятьях, и уже не помня себя она предается мне.

Час спустя я целую Еву на прощанье и ухожу. В дверях я сталкиваюсь с господином Маком.

С самим господином Маком.

Его передергивает, он стоит и смотрит прямо перед собой, стоит на пороге и ошалело смотрит в комнату.

— Н-да!— говорит он и больше не может выдать ни звука.

— Не ожидали меня тут застать?— говорю я и кланяюсь. Ева сидит не шелохнувшись.

Господин Мак приходит в себя, он уже совершенно спокоен, как ни в чем не бывало он отвечает:

— Ошибаетесь, вас-то мне и надо. Я принужден вам напомнить, что, начиная с первого апреля и вплоть до пятнадцатого августа, запрещается стрелять в расстоянии менее четверти мили от мест, где гнездятся гагары. Вы пристрелили сегодня на острове двух птиц. Вас видели, мне передали.

— Я убил двух чистиков,— ответил я опешив. До меня вдруг доходит, что ведь он в своем праве.

— Два ли чистика или две гагары — значения не имеет. Вы стреляли там, где стрелять запрещено.

— Признаю,— сказал я,— я этого не сообразил.

— Но вам бы следовало это сообразить.

— Я и в мае стрелял из обоих стволов на том же приблизительно месте. Это произошло во время прогулки к сушильням. И по личной вашей просьбе.

— То дело другое,— отрубил господин Мак.

— Ну так, черт побери, вы и сами прекрасно знаете, что вам теперь делать!

— Очень даже знаю,— ответил он.

Ева только и ждала, когда я пойду, и вышла следом за мною, она покрылась платком и пошла прочь от дома, я видел, как она свернула к пристани. Господин Мак отправился в Сирилунн.

Я все думал и думал. До чего же ловкий выход нашел господин Мак! И какие колючие у него глаза! Выстрел, два выстрела, два чистика, штраф, уплата. И стало быть, все, все кончено с господином Маком и его семейством. Все, в сущности, сошло как нельзя глаже и так быстро...

Уже начинался дождь, упали первые нежные капли. Сороки летали по-над самой землей, и когда я пришел домой и выпустил Эзопа, он стал есть траву. Поднялся сильный ветер.

XXIII

В миле подо мной море. Обломный дождь, а я в горах, и выступ скалы защищает меня от дождя. Я курю свою носогрейку, набиваю и набиваю без конца, и всякий раз, как я поджигаю табак, в нем оживают и копошатся красные червячки. И в точности как эти красные червячки, роятся мои мысли. Рядом на земле валяется пучок

прутьев из разоренного гнезда. И в точности как это гнездо — моя душа.

Любую мелочь, любой пустяк из того, что случилось в тот день и назавтра, я помню. Хо-хо, и скверно же мне пришлось...

Я в горах, а море и ветер воют, ужасно стонет, шумит над ухом непогода. Барки и шхуны бегут вдаль, зарифив паруса, там люди — видно, им куда-то надо, и я думаю: господи, куда это их несет в такую непогоду?

Море вскипает, взлетает и падает, падает, все оно словно толпа взбешенных чудищ, что с рыком кидаются друг на друга, или нет, словно несчетный хоровод воющих чертей, что скачут, втянув головы в плечи, и добела взбивают море ластами. Где-то там, далеко-далеко, лежит подводный камень, с него поднимается водяной и трясет белой гривой вслед валким суденышкам, которые летят навстречу ветру и морю, хо-хо! — навстречу морю, злому морю...

Я рад, что я один, что никто не видит моих глаз, я приник к скале, это моя опора, и я спокоен, что никто не подкрадется и не станет глядеть на меня со спины. Птица пронесится над горой с пронзительным криком, в то же мгновение чуть поодаль обрывается в море скала. А я сижу не шевелясь, и мне так покойно, сердце вдруг уютно замирает, оттого что я надежно укрыт от дождя, а он все льет и льет. Я застегнул куртку и благодарил Бога за то, что она у меня такая теплая. Время шло. Я прикорнул.

Дело к вечеру, я иду домой, дождь все льет. И вот неожиданность. Передо мной на тропинке стоит Эдварда. Она промокла до нитки, видно, долго стояла на дожде, но она улыбается.

Ну вот! — думаю я, и меня охватывает злость, я изо всех сил сжимаю ружье, и, не обращая никакого внимания на ее улыбку, я иду ей навстречу.

— Добрый день! — кричит она первая.

Я сначала подхожу еще на несколько шагов и только тогда говорю:

— Привет вам, дева красоты!

Ее передергивает от этой игривости. Ах, я сам не соображал, что говорю! Она улыбается робко и смотрит на меня.

— Вы были в горах? — спрашивает она. — Так, значит, вы промокли. Вот у меня платок, возьмите, он мне не нужен... Нет! Вы не хотите меня знать. — И она опускает глаза и качает головой.

— Платок? — отвечаю я и морщусь от злобы и удив-

ленья.— Да вот у меня куртка, не хотите ли? Она мне не нужна, я все равно отдам ее первому встречному, так что берите, не стесняйтесь. Любая рыбачка с радостью ее возьмет.

Я видел, что она ловит каждое мое слово, она вся напряглась, и это вовсе к ней не шло, у нее оттопырилась нижняя губа. Она так и стоит с платком в руке, платок белый, шелковый, она сняла его с шеи. Я стаскиваю с себя куртку.

— Бога ради, скорее наденьте куртку!— кричит она.— Зачем вы, зачем? Неужто вы так на меня сердитесь? О господи, наденьте же куртку, вы промокнете насквозь.

Я натянул куртку.

— Вам куда?— спросил я безразлично.

— Да так, никуда... Не пойму, зачем было снимать куртку...

— Куда вы подевали барона?— спрашиваю я далее.— В такую погоду граф едва ли на море...

— Глан, я хотела вам сказать одну вещь...

Я обрываю ее:

— Смею ли просить вас передать поклон герцогу?

Мы глядим друг на друга. Я готов оборвать ее снова, как только она раскроет рот. Наконец у нее страдальчески передергивается лицо, я отвожу глаза и говорю:

— Откровенно говоря, гоните-ка вы принца, мой вам совет, йомфру Эдварда. Он не для вас. Поверьте, он все эти дни прикидывает, брать ли вас в жены или не брать, что для вас не так уж лестно.

— Нет, не надо об этом говорить, ладно? Глан, я думала о вас, вы готовы снять с себя куртку и промокнуть ради другого человека, я к вам пришла...

Я пожимаю плечами и продолжаю свое:

— Взамен предлагаю вам доктора. Чем не хорош? Мужчина во цвете лет, блестящий ум. Советую вам подумать.

— Выслушайте меня. Всего минуту...

— Эзоп, мой пес, ждет меня в сторожке.— Я снял картуз, поклонился и опять сказал:— Привет вам, дева красоты.

И я пошел.

Тогда она кричит, кричит в голос:

— Нет, не разрывай мне сердце. Я пришла к тебе, я ждала тебя тут и улыбалась, когда тебя увидела. Вчера я чуть рассудка не лишилась, я думала все об одном, мне

было так плохо, я думала только о тебе. Сегодня я сидела у себя, кто-то вошел, я не подняла глаз, но я знала, кто это. «Я вчера прогреб полмили»,—сказал он. «Не устали?»—спросила я. «Ну как же, ужасно устал и натер пузыри на ладонях»,—сказал он; он был этим очень огорчен. А я думала: нашел чем огорчаться! Потом он сказал: «Ночью у меня под окном шептались; это ваша горничная любезничала с приказчиком».—«Да, у них любовь»,—сказала я. «Но ведь в два часа ночи!»—«Ну и что же?»—спросила я, помолчала и прибавила:—Ночи у них не отнять». Тогда он поправляет свои золотые очки и замечает: «Однако не кажется ли вам, что шептаться под окном посреди ночи не совсем прилично?» Я все не смотрела на него, так мы просидели минут десять. «Разрешите, я принесу вам шаль?»—спросил он. «Спасибо, не надо»,—ответила я. «И кому-то достанется эта ручка?»—сказал он. Я не ответила, мысли мои были далеко. Он положил мне на колени шкатулку, я раскрыла ее, там лежала брошка. На брошке была корона, я насчитала в ней десять камешков... Глан, она у меня тут, хочешь посмотреть? Она вся раздавлена, вот подойди, посмотри, она вся раздавлена... «Ну, а зачем мне эта брошка?»—спросила я. «Для украшения»,—ответил он. Но я протянула ему брошку и сказала: «Оставьте меня, я думаю о другом».—«Кто же он?»—«Охотник»,—ответила я.—Он подарил мне лишь два чудесных пера на память. А брошку свою вы заберите себе». Но он не взял брошку. Только тут я на него поглядела, глаза его пронизывали меня насквозь. «Я не возьму брошку, делайте с ней, что вам угодно, хоть растопчите»,—сказал он. Я встала, положила брошку под каблук и раздавила. Это было утром... Четыре часа я бродила по дому, в полдень я вышла. Он ждал на дороге. «Куда вы?»—спросил он. «К Глану»,—ответила я,—я попрошу его не забывать меня...» С часу я ждала тебя тут, я стояла под деревом и увидела, как ты идешь, ты был точно Бог. Я смотрела, как ты идешь, я видела твою походку, твою бороду и твои плечи, как я любила все в тебе... Но тебе не терпится, ты хочешь уйти, поскорее уйти, я не нужна тебе, ты на меня не глядишь...

Я стоял. Когда она умолкла, я снова пошел. Я слишком намучился, и я улыбался, я одеревенел.

— Ах да,—бросил я приостанавливаясь.—Вы ведь хотели мне что-то сказать?

И вот тут-то я надоел ей.

— Сказать? Но я уже все сказала. Вы что, не слышали? Нет, мне нечего, нечего больше вам сказать...

Голос ее странно дрожит, но это не трогает меня.

XXIV

Наутро, когда я выхожу, Эдварда стоит у сторожки.

За ночь я все обдумал и решился. Нет, больше я не дам себя морочить этой своевольной девчонке, темной рыбачке; хватит, и так уж слишком долго ее имя неотступно стояло у меня в голове и мучило меня. Довольно! К тому же мне казалось, что, как раз насмешничая и выказывая ей равнодушие, я поднялся в ее глазах. И ловко же я уязвил ее — она держит речь целых несколько минут, а я себе спокойно бросаю: ах да, вы ведь хотели мне что-то сказать...

Она стояла подле камня. Она была сама не своя и метнулась было мне навстречу, но сдержалась и стояла, ломая руки. Я притронулся к картузу и поклонился молча.

— Сегодня мне нужно от вас только одно, Глан,— заговорила она быстро. И я не двигался, просто мне захотелось послушать, что она такое скажет.— Я слышала, вы были у кузнеца. Вечером. Ева была дома одна.

Я опешил и спросил:

— И кому вы обязаны этими сведениями?

— Я за вами не шпионю! — крикнула она.— Я узнала это вчера вечером, мне рассказал отец. Я пришла домой вчера вечером, я вся промокла, и отец меня спросил: «Ты надерзила барону?» — «Нет», — ответила я. «Где же ты была?» — спросил отец. Я ответила: «У Глана». И тогда он мне рассказал.

Я превозмогаю тоску и говорю:

— Ева и тут бывала.

— Тут? В сторожке?

— Не раз. Я зазывал ее. Мы разговаривали.

— И тут!

Пауза. Спокойно! — думаю я и говорю:

— Раз уж вы взяли на себя труд входить в мои дела, и я в долгу не останусь. Вчера я предлагал вам доктора. Ну как, вы подумали? Принц ведь никуда не годится.

Глаза ее вспыхивают гневом.

— Так знайте же, он еще как годится! — кричит она.— Он лучше вас, куда лучше, он не колотит чашек и стаканов, и я могу быть спокойна за свои башмаки. Да. Он

умеет себя вести, а вы смешны, я за вас краснею, вы несносны, слышите, несносны!

Слова ее больно обидели меня, я наклонил голову и ответил:

— Правда ваша, я отвык от общества. Будьте же добрее; вы не хотите меня понять, я живу в лесу, в этом моя радость. В лесу никому нет вреда от того, что я такой, какой я есть; а когда я схожусь с людьми, мне надо напрягать все силы, чтоб вести себя как должно. Последние два года я так мало бывал на людях...

— Всякую минуту вы можете выкинуть любую гадость,— продолжала она.— Устаешь за вами смотреть.

Как жестоко она это сказала! Мне так больно, я чуть не упал, будто она ударила меня. Но Эдварде этого мало, она продолжает:

— Пускай Ева за вами и смотрит. Вот жаль только, она замужем.

— Ева? Вы говорите, Ева замужем?— спросил я.

— Да, замужем!

— За кем же?

— Сами знаете. Ева жена кузнеца.

— Разве она не дочь его?

— Нет, она его жена. Уж не думаете ли вы, что я лгу?

Ничего я такого не думал, просто очень, очень велико было мое удивление. Я стоял и думал: неужто Ева замужем?

— Так что вас можно поздравить с удачным выбором,— говорит Эдварда.

Ну когда же это кончится! Меня всего трясет, и я говорю:

— Так вот, подумайте-ка насчет доктора. Послушайтесь дружеского совета; ваш принц старый дурак.— И я сгоряча наговорил на него лишнего, преувеличил его возраст, обозвал его плешивым, подслепым; еще я говорил, что корона на запонках нужна ему исключительно на то, чтоб кичиться своей знатностью.— Впрочем, я не искал ближе с ним познакомиться, увольте,— сказал я.— Он ничем не выдается, в чем его суть— не поймешь, он просто ничтожество.

— Нет, нет, он не ничтожество!— кричит она, и голос ее срывается от гнева.— Он совсем не такой, как ты воображаешь, лесной дикарь! Вот погоди, он еще с тобой потолкует, о, я попрошу его! Ты думаешь, я не люблю его, так ты скоро увидишь, что ошибся. Я пойду за него замуж, я день и ночь буду думать о нем. Запомни, что я сказала: я люблю его. Пускай приходит твоя Ева, ох,

господи, пускай ее приходит, до чего же мне это все равно. Мне бы только поскорей уйти отсюда...— Она пошла прочь от сторожки, сделала несколько быстрых шажков, обернулась белая, как полотно, и простонала:— И не смей попадаться мне на глаза.

XXV

Желтеют листья, картофельная ботва цветет высокими кустами; снова разрешили охоту, я стрелял куропаток, глухарей и зайцев, раз подстрелил орла. Пустое, тихое небо, ночи прохладны, звонкие звуки, легкие шумы ходят полями и лесом. Покойно раскинулся Божий мир...

— Что-то господин Мак больше не поминает двух чистиков, которых я подстрелил,— сказал я доктору.

— А это вы благодарите Эдварду,— ответил он,— я знаю, я сам слышал, как она за вас заступалась.

— Что мне ее благодарить,— сказал я.

Бабье лето... Тропки расплосили желтый лес, что ни день, нарождается по новой звезде, месяц плавает тенью, золотой тенью, обмакнутой в серебро...

— Господь с тобой, ты замужем, Ева?

— А ты не знал?

— Нет, я не знал.

Она молчит и стискивает мою руку.

— Господь с тобой, дитя, что же нам теперь делать?

— Что хочешь. Ты ведь еще не едешь. Пока ты тут, я и рада.

— Нет, Ева.

— Да, да, только пока ты тут!

Она очень жалка, она все стискивает мою руку.

— Нет, Ева, ступай! Все кончено.

Проходят ночи, проходят дни. Вот уж три дня прошло с того разговора. Из лесу идет Ева с тяжелой вязанкой. Сколько дров перетаскала за лето бедная девочка!

— Положи вязанку, Ева, дай мне глянуть в твои глаза. Они синие, как и прежде?

Глаза у нее были красные.

— Ну улыбнись же, Ева! Я не могу больше тебе перечить, я твой, я твой...

Вечер. Ева поет, я слушаю ее песню, к горлу подкатывает комок.

— Ты поёшь сегодня, Ева?

— Да, я так рада.

И она поднимается на цыпочки, чтобы меня обнять, ведь она такая маленькая.

— Ева, у тебя руки в ссадинах? Что бы я дал, чтоб на них не было ссадин!

— Это не важно.

И так чудесно сияет ее лицо.

— Ева, ты говорила с господином Маком?

— Один раз.

— О чем же вы говорили?

— Он к нам переменялся, заставляет мужа день и ночь работать на пристани, меня тоже заставляет работать без отдыха. Он задает мне мужскую работу.

— Отчего он так?

Ева смотрит в землю.

— Отчего он так, Ева?

— Оттого, что я люблю тебя.

— Но откуда он мог это узнать?

— Я ему сказала.

Пауза.

— О господи, хоть бы он подобрел к тебе, Ева!

— Да это не важно. Мне теперь все не важно.

И голос ее дрожит, словно тонкая песенка.

А листья все желтеют, дело к холодам, народилось много новых звезд, месяц кажется уже серебряной тенью, обмакнутой в золото. Еще не примораживало, только прохладная тишь стояла в лесу, и повсюду жизнь, жизнь. Всякое дерево призадумалось. Пospели ягоды.

Потом наступило двадцать второе августа, и были три ночи, железные ночи, когда по северному календарю лету надо проститься с землей и уже пора осени надеть на нее свои железа.

XXVI

Первая железная ночь.

В девять часов заходит солнце. На землю ложится мутная мга, видны немногие звезды, два часа спустя мгу прорезает серп месяца.

Я иду в лес с моим ружьем, с моим псом, я развожу огонь, и отблески костра лижут стволы сосен. Не приморозило.

— Первая железная ночь,— говорю я вслух и весь

дрожу от странной радости.— Какие места, какое время, как хорошо, боже ты мой...

Люди, и звери, и птицы, вы слышите меня? Я благословляю одинокую ночь в лесу, в лесу! Благословляю тьму и шепот Бога в листве, и милую, простую музыку тишины у меня в ушах, и зеленые листья, и желтые! И сплошной шум жизни в этой тиши, и обнюхивающего траву пса, его чуткую морду! И припавшего к земле дикого кота, следящего воробушка во тьме, во тьме! Благословляю блаженный покой земного царства, и месяц, и звезды, да, конечно, их тоже!

Я встаю и вслушиваюсь. Нет, никто меня не слышал. Я снова сажусь.

Благодарю за одинокую ночь, за горы! За гул моря и тьмы, он в моем сердце. Благодарю и за то, что я жив, что я дышу, за то, что я живу в эту ночь! Тсс! Что это там, на востоке, на западе, что это там? Это Бог идет по пространствам! Тишь вливается в мои уши. Это кровь кипит в вселенной в жилах, это работа кипит в руках у Творца, я и мир у него в руках. Костер озаряет блестящую паутинку, из гавани слышен всплеск весла, вверх по небу ползет северное сиянье. От всей своей бессмертной души благодарю за то, что мне, мне дано сидеть сейчас у костра!

Все тихо. Глухо падает на землю сосновая шишка. «Вот шишка упала!»— думаю я. Высоко стоит месяц, костер дрожит, догорает, скоро совсем загаснет. И на исходе ночи я иду домой.

Вторая железная ночь. Та же тишь и теплынь. Я все думаю, думаю. Я сам не замечаю, что делаю, я подхожу к дереву, надвигаю на лоб картуз и прислоняюсь спиной к стволу, сложа руки на затылке. Я смотрю на огонь и думаю, пламя слепит мне глаза, а я не чувствую. Я долго стою в этом нелепом положении и смотрю на огонь; но вот ноги устают, подкашиваются, затекают, и мне приходится сесть. Только сейчас я понимаю, как глупо себя веду. И зачем я так долго смотрел на огонь?

Эзоп поднимает голову и слушает, он слышит шаги, из-за стволов выходит Ева.

— Мне сегодня так грустно, меня одолели думы,— говорю я.

И она жалеет меня и молчит.

— Три вещи я люблю,— говорю я ей.— Я люблю желанный сон, что приснился мне однажды, я люблю тебя и этот клочок земли.

— А что ты больше всего любишь?

— Сон.

Снова тихо. Эзоп узнал Еву, он склонил голову набок и смотрит на нее. Я почти шепчу:

— Сегодня я повстречал одну девушку, она шла рука об руку со своим милым. Девушка показывала на меня глазами и едва удерживалась от смеха, пока я проходил мимо них.

— Над чем же она смеялась?

— Не знаю. Верно, надо мной. И почему ты спрашиваешь?

— А ты ее узнал?

— Да, я поклонился.

— А она тебя узнала?

— Нет, она прикинулась, будто меня не узнает... Но зачем ты меня выпытываешь? Это гадко. Все равно я не назову ее имени.

Пауза.

Я снова шепчу:

— Над чем было смеяться? Она ветреница; но над чем было смеяться? Господи, ну что я ей сделал?

Ева отвечает:

— Это гадко — смеяться над тобой.

— Нет, не гадко! — кричу я. — Не смей на нее наговаривать, она никогда ничего не делает гадкого, она совершенно права, что надо мной посмеялась. О, проклятье, да замолчи же ты и оставь меня в покое, слышишь!

И Ева испуганно умолкает. Я смотрю на нее и тотчас жалею о своих грубых словах, я бросаюсь перед ней на колени и ломаю руки.

— Иди домой, Ева. Больше всего я люблю тебя, неужели бы я стал любить какой-то сон, сама посуди. Я просто пошутил, а люблю я тебя. Только теперь иди домой, я приду к тебе завтра; помни, я ведь твой, смотри не забудь об этом. Доброй ночи.

И Ева идет домой.

Третья ночь, самая трудная. И хоть бы чуть приморозило! Но нет, никакого мороза, воздух еще держит дневное тепло, ночь словно парное болото. Я разложил костер...

— Ева, бывает, тебя тащат за волосы, а ты радуешься. Странно устроен человек. Тебя тащат за волосы по горам и долинам, а если кто спросит, что случилось, ты ответишь вне себя от восторга: «Меня тащат за волосы!» И если спросят: «Помочь тебе, освободить?» — ты от-

ветишь: «Нет». А если спросят: «Смотри, выдержишь ли?» — ты ответишь: «Да, выдержу, потому, что люблю руку, которая тащит меня...» Ты знаешь, Ева, что такое надежда?

— Мне кажется, знаю.

— Видишь ли, Ева, надежда очень странная вещь, да, удивительная это вещь — надежда. Выходишь утром на дорогу и надеешься встретить человека, которого любишь. И что же? Встречаешь? Нет. Отчего же? Да оттого, что человек этот в то утро занят и находится совсем в другом месте... В горах я повстречался со старым слепым лопарем. Пятьдесят восемь лет уже он не видит белого света, сейчас ему восьмой десяток. Ему представляется, что со зрением у него дело идет на лад, что он видит все лучше и лучше. И если ничего не случится, он через несколько лет будет различать солнце. Волосы у него еще черные, а глаза белые как снег. Пока мы курили у него в землянке, он рассказал мне обо всем, что перевидал до того, как ослеп. Он силен и здоров, у него ничего не болит, он живуч и не теряет надежды. Когда я уходил, он вышел со мною и стал тыкать пальцем в разные стороны. «Вон там север,— говорил он,— а там юг. Ты пойдешь сначала вон туда, потом немного спустишься и повернешь туда». — «Совершенно верно», — ответил я. И тогда лопарь рассмеялся и сказал: «А ведь я не знал этого лет сорок — пятьдесят назад, глаза мои поправляются, я вижу все лучше и лучше». И он согнулся и заполз в свою землянку, свое земное прибежище. И снова сел у огня, полный надежды, что если ничего не случится, через несколько лет он будет различать солнце... Ева, поразительная это вещь — надежда. Вот я, например, все надеюсь, что забуду человека, которого не встретил нынче утром.

— Как странно ты говоришь.

— Уже третья железная ночь. Обещаю тебе, Ева, завтра я стану совсем другим человеком. А теперь я побуду один, ладно? Завтра ты меня не узнаешь, я буду смеяться и целовать тебя, девочка моя хорошая. Подумай, ведь всего одна ночь, и я стану другим человеком, всего несколько часов, и я стану другим. Доброй ночи, Ева.

— Доброй ночи.

Я ложусь поближе к костру и смотрю на огонь. Еловая шишка падает с ветки, падает один сухой сучок, потом

другой. Ночь как бескрайняя глубина. Я закрываю глаза. Скоро меня одолевает, меня проникает тишина, я уже не могу себя от нее отделить. Я гляжу на полумесяц, он висит в небе белой скорлупкой, он возбуждает во мне нежность, я чувствую, как краснею.

— Месяц,—говорю я тихо и нежно,—месяц!— И сердце мое рвется к нему и замирает. Так проходит несколько минут. Поднимается ветер, странный, нездешний, незнакомое дыханье. Что это? Я озираюсь — нигде никого. Ветер зовет меня, душа моя согласно откликается на зов, меня словно поднимают, я будто отрываюсь от самого себя, меня прижимают к невидимой груди. Слезы выступают мне на глаза, я дрожу. Бог стоит где-то рядышком и смотрит на меня. Так проходит еще несколько минут. Я оборачиваюсь, странное дыханье исчезло, и я вижу словно спину уходящего духа, он неслышно ступает по лесу, прочь, прочь...

Я еще недолго борюсь с тяжким дурманом, я оглушен, обессилен, скоро я засыпаю.

Когда я проснулся, ночь уже миновала. Ах, как же я последнее время был жалок, ходил будто в горячке, того и ждал, что меня свалит какая-нибудь болезнь. Все для меня переверотилось вверх дном, все виделось в дурном свете, меня мучила такая тоска.

Теперь с этим покончено.

XXVII

Осень. Лето прошло; оно исчезло так же внезапно, как и настало; до чего же быстро оно кончилось. Стоят холодные дни, я охочусь, рыбачу и пою песни в лесу. А выпадают дни, когда с моря поднимается густой туман и все затягивает дымной тьмой. В один такой день вот что со мной случилось. Я долго бродил по лесу, забрел в соседний приход и вышел прямо к дому доктора. У него были гости, дамы, которых я уже видел раньше; все — молодежь, танцевали, веселились, словно разрезвившиеся жеребята.

Подъехала коляска, стала у забора; в коляске сидела Эдварда. При виде меня ее передернуло. «Я пойду»,—сказал я тихонько. Но доктор меня удержал. Эдварда сперва тяготилась моим присутствием и, когда я что-нибудь говорил, опускала глаза, потом она несколько освоилась и даже предложила мне два или три незначительных вопроса. Она была странно бледна, хо-

лодный серый туман пал на ее лицо. Она так и не вышла из коляски.

— Я с поручением,— сказала она и засмеялась.— Я сейчас только из церкви, вас никого там не было; сказали, что вы все тут. Я уж сколько часов проездила, все вас искала. У нас завтра соберется небольшое общество по случаю отъезда барона, он едет на той неделе,—и мне велено всех вас звать. И танцы будут. Так завтра вечером.

Все кланяются и благодарят.

Потом она обращается ко мне:

— Смотрите же, будьте непременно. Не вздумайте в последнюю минуту прислать записку с извинениями.

Больше никому она ничего такого не говорила. Вскоре она уехала.

Я был так тронут ее внезапным дружелюбием, я так обрадовался, мне захотелось спрятаться подальше от людских глаз. Скоро я распростился с доктором и его гостями и пошел домой. До чего же она была ко мне хороша, до чего хороша! Как же мне теперь отблагодарить ее? У меня ослабли руки, по ним прошелся сладкий холодок. Ах ты, господи, меня шатает от радости,— думал я,— я даже не могу сжать руку в кулак, у меня слезы на глазах, что же это такое, господи? Лишь поздно вечером я добрался до дому. Я выбрал путь мимо пристани и спросил у одного рыбака, не ждут ли завтра почтового парохода. Но нет, почтовый пароход ждали только на другой неделе. Я поспешил к себе и взялся осматривать лучший свой костюм. Я почистил его, привел в порядок, в нескольких местах он прохудился, я плакал и штопал дыры.

Покончив с костюмом, я прилег на нары. Мой покой длится не более минуты, в голове мелькает внезапная мысль, я вскакиваю и убито стою посреди комнаты.

— Да ведь это новая ее выходка!— шепчу я.— Меня бы и не пригласили, не окажись я случайно рядом, когда приглашали других. К тому же она яснее ясного дала мне понять, что приходить мне не следует, что я должен послать записку с извинениями...

Всю ночь я не спал, а когда настало утро, пошел в лес, в ознобе, в горячке, шатаюсь от бессонницы. Так-так, в Сирилунне нынче гости! Ну и что же? Я и не пойду, и записку посылать не буду. Господин Мак человек мыслящий, вот он и устраивает праздник в честь барона; а я не пойду, слышите вы, не пойду!..

Густой туман навалился на горы и долины, изморось

осела на одежде, затрудняла шаг, лицо у меня окоченело. Порывами налетал ветер и колыхал спящий туман, вверх — вниз, вверх — вниз.

Шло к вечеру, темнело. Туман все застил, по солнцу нельзя было идти. Не один час проплутал я на пути к дому; да и куда мне было спешить? Я преспокойно сбивался с дороги и выходил к незнакомым местам. Наконец я снимаю ружье, прислоняю его к сосне и смотрю на компас. Я тщательно определяю направление и иду. Сейчас часов восемь или девять.

И вот что со мной случилось.

Полчаса спустя сквозь туман я слышу музыку, спустя еще несколько минут я уже понимаю, где нахожусь. Я стою прямо против дома господина Мака. Неужто мой компас привел меня как раз в то место, которого я избегал? Знакомый голос окликает меня, это голос доктора. И меня вводят в дом.

Ах, видно, ружейный ствол повлиял на компас и отклонил стрелку. Такой случай был со мной потом еще однажды, уже в этом году. Я не знаю, что и подумать. Может быть, это просто судьба?

XXVIII

Весь вечер меня не покидало горькое чувство, что не следовало мне сюда приходить. Моего появления почти не заметили, все были слишком заняты друг другом. Эдварда едва поздоровалась со мной. Что я напрасно явился, я тотчас понял, однако же не мог встать и уйти и потому стал пить и напился пьян.

Господин Мак все улыбался и был весьма любезен, он облачился во фрак и выглядел превосходно. Он показывался во всех комнатах, сновал среди полусотни гостей, иногда даже пускался танцевать, шутил и смеялся. Глаза у него блестели таинственно.

Музыка и голоса оглашали весь дом. В пяти комнатах толпились гости, танцы шли еще и в большой зале. Когда я пришел, уже отужинали. Служанки бегали туда-сюда, разносили стаканы вина, блестящие кофейники, сигары, трубки, пирожное и фрукты. Господин Мак не поскупился. В люстры воткнули особенно толстые свечи, отлитые для такого случая; и новые лампы тоже зажгли.

Ева помогала на кухне, я заметил ее в приоткрытую дверь. Подумать только, и Ева тут.

Барона окружили вниманием, хоть держался он тихо, скромно и нисколько не выставлялся. Он тоже надел фрак, полы как лежали в чемодане, так и измялись на сгибах. Он был занят одной только Эдвардой, глаз с нее не сводил, чокался с нею и адресовался к ней «фрекен», так же точно, как к дочери пробста и приходского доктора. Я не мог побороть свою неприязнь и, едва на него взгляну, тотчас отворачивался с унылой и глупой миной. Когда он ко мне обращался, я отвечал отрывисто и, ответив, поджимал губы.

Да, вот еще что мне запомнилось из того вечера. Я болтал с одной светловолосой барышней и что-то такое сказал ей, или рассказал какую-то историю, и она засмеялась. Вряд ли история была особенно забавна; но, верно, я, расхрабрившись от выпитого, как-то ловко ее рассказал; сейчас, во всяком случае, я совершенно не могу вспомнить, в чем там было дело. Словом, не важно. Когда же я оглянулся, за моей спиной оказалась Эдварда. Она бросила на меня благосклонный взгляд.

Потом я заметил, как она увлекла светловолосую барышню в сторону, чтобы выведать, что я говорил. И сказать не могу, до чего меня ободрил взгляд Эдварды, после того как я целый вечер неприкаянно ходил из комнаты в комнату; у меня сразу отлегло от сердца, я со всеми заговаривал и был довольно удачен. Насколько помню, я не совершал никаких огрехов...

Я стоял на крыльце. В прихожей показалась Ева, она что-то несла. Она увидела меня, вышла на крыльцо, быстро погладила меня по руке, улыбнулась и тотчас исчезла. Мы не сказали друг другу ни слова. Когда я пошел было в комнаты, я увидел Эдварду, она стояла в прихожей и смотрела на меня. Стояла и смотрела прямо на меня. Она тоже не сказала ни слова. Я пошел в залу.

— Представьте, лейтенант План развлекается тем, что назначает прислуге свиданья на крыльце,— вдруг громко сказала Эдварда. Она стояла в дверях. Многие ее слышали. Она смеялась, словно отпустила веселую шутку, но лицо у нее было совершенно белое.

Я не стал ничего отвечать, я пробормотал только:

— Это случайность, она просто вышла, и мы столкнулись.

Прошло какое-то время, верно, не меньше часа. Одна дама опрокинула стакан на платье. Только Эдварда это увидела, она тотчас же закричала:

— Что там такое? Не иначе, как Глан опять виноват.

Я не был виноват, я стоял в другом конце залы, когда опрокинули стакан. И я снова принялся пить и держался поближе к двери, чтоб не мешать танцующим.

Дамы по-прежнему толпились вокруг барона, он выражал сожаление, что уже упаковал свои коллекции и не может им показать, например, взморник из Белого моря, глины с Курхольмов или чрезвычайно интересные окаменелости с морского дна. Дамы любопытно поглядывали на его запонки, на пятизубые баронские короны. Тут уж и доктор померк, даже его забавное присловье «чтоб мне ни дна ни крыши» и то не имело успеха. Зато стоило заговорить Эдварде, он был начеку, поправлял ее, подпущал тонкие шпильки, словом, не давал ей спуску, и все это с видом невозмутимого превосходства.

Она сказала:

— ...пока меня не поглотит долина забвенья.

И доктор спросил:

— Что, что?

— Долина забвенья. Так ведь говорят?

— Я слышал о реке забвенья. Вы, полагаю, ее имели в виду?

Потом она сказала о ком-то, что он что-то охраняет, как...

— Цербер,— перебил доктор.

— Ну да, как Цербер,— ответила она.

Но доктор не унимался:

— Скажите мне спасибо, что я вас выручил. Уверен, что вы собирались упомянуть Аргуса.

Барон вскинул брови и изумленно глянул на него сквозь толстые стекла своих очков. Он, верно, еще не слыхивал подобного вздора. Но доктор и внимания на него не обратил. Что ему барон!

Я все стою у двери. Танцы в самом разгаре. Мне посчастливилось вступить в беседу с молоденькой приходской учительницей. Мы говорили о войне, о Крымской кампании, о событиях во Франции, об императорстве Наполеона, о его поддержке туркам; она летом читала газеты и могла порассказать мне новости. Наконец мы садимся на диван и продолжаем разговор.

Мимо идет Эдварда, она останавливается возле нас. Вдруг она говорит:

— Извините, господин лейтенант, что я застигла вашу милость на крыльце. Больше это не повторится.

И опять она смеется и не смотрит на меня.

— Йомфру Эдварда, перестаньте же,— сказал я.

Она назвала меня «ваша милость», это не к добру, и лицо у нее было злое. Я вспомнил доктора и надменно пожал плечами, как это бы сделал он. Она сказала:

— Но отчего вы не на кухне? Ева там. Думаю, и вашей милости следовало бы отправиться туда.

И она посмотрела на меня с ненавистью.

Я мало бывал в гостях и в тех редких случаях, когда бывал, никогда еще не встречал такого тона. Я сказал:

— А вы не боитесь, что вас поймут превратно, йомфру Эдварда?

— А что такое? Всякое бывает. Но что такое?

— Вы порой выражаетесь весьма необдуманно. Сейчас, например, мне почудилось, будто вы просто-напросто гоните меня на кухню, но это, конечно, недоразумение. Я ведь знаю, что вы не позволите себе такой грубости.

Она отходит на несколько шагов. Я вижу по ней, что она думает над тем, что я сказал. Она поворачивается, снова подходит к нам, она говорит задыхаясь:

— Никакого недоразумения, господин лейтенант, вы поняли меня правильно, я гоню вашу милость на кухню.

— Эдварда!— вскрикивает перепуганная учительница.

И я опять повел разговор о войне, о Крымской кампании, но мысли мои бродили далеко от тех мест. Хмель прошел, осталась тяжесть, земля уплывала у меня из-под ног, я снова, как— увы!— столько уже раз прежде, потерял власть над собой. Я встаю с дивана и хочу уйти. Меня удерживает доктор.

— Я только что выслушал панегирик в вашу честь.

— Панегирик? И от кого же?

— От Эдварды. Вон она еще стоит в дальнем углу и бросает на вас пламенные взоры. Никогда не забуду. У нее были влюбленные глаза, и она громко объявила, что от вас без ума.

— Что ж, это приятно,— ответил я смеясь. Ах, у меня в голове уже все перемешалось.

Я подошел к барону, нагнулся к нему, словно хотел ему что-то сказать, и, когда наклонился совсем близко, плюнул ему в ухо. Он оторопел и самым идиотским образом уставился на меня. Потом я видел, как он докладывал о происшедшем Эдварде и как она огорчилась. Она, конечно, вспомнила о своем башмачке, который я швырнул в воду, о чашках и стаканах, которые я имел

несчастье перебить, обо всех прочих моих преступлениях против хорошего тона; ясно, что все это всплыло в ее памяти. Мне сделалось стыдно, все было кончено, со всех сторон я встречал испуганные и недоуменные взгляды, я проскользнул к дверям и покинул Сирилунн, не откланявшись, не поблагодарив.

XXIX

Барон едет. Ну что ж! Я заряжу ружье, поднимусь в горы и громко выстрелю в честь него и Эдварды. Я просверлю глубокую дыру в скале, я заложу туда мину и взорву гору в честь его и Эдварды. И огромная глыба сорвется и рухнет в море, когда мимо пройдет пароход барона. Я знаю такое местечко, ложбину в скале, по ней уже не раз падали камни и проложили прямой путь к морю. Глубоко внизу там лодочный причал.

— Два бура,— говорю я кузнецу.

И кузнец вытачивает мне два бура...

Еву заставили ездить от мельницы к пристани на лошади господина Мака. Она делает мужскую работу, перевозит мешки с зерном и мукой. Я встречаю ее; как ярко она на меня глядит, как хороша. Господи, как нежно сияет ее улыбка. Каждый вечер я ее видел.

— Ты так улыбаешься, Ева, у тебя словно и нет никаких забот, девочка моя любимая.

— Ты говоришь мне — моя любимая! Я простая, темная женщина, но я буду тебе верна. Я буду тебе верна, даже если мне придется умереть за это. Господин Мак с каждым днем все строже и строже, только я об этом и не думаю, он кричит на меня, а я не отвечаю. Вчера он схватил меня за руку и стал весь серый от злости. Одно меня заботит.

— Что же тебя заботит, Ева?

— Господин Мак грозит тебе. Вчера он мне говорит: «Ага, у тебя все лейтенант на уме!» А я ответила: «Да, я его люблю». Тогда он сказал: «Погоди, я его отсюда спроважу!» Так и сказал.

— Ничего, пусть его грозитя... Ева, можно я погляжу на твои ножки? Они все такие же крошечные? Закрой глаза, а я погляжу!

И она закрывает глаза и бросается мне на шею. Она вся дрожит. Я несу ее в лес. Лошадь стоит и ждет.

Я сижу в горах и закладываю мину. Как стекло, ясен осенний воздух. Ровно и четко падают удары молотка, Эзоп удивленно глядит на меня. Сердце у меня то и дело радостно обрывается; ведь никто-то, никто не знает, что я тут, один в горах.

Улетели перелетные птицы; счастливый путь и добро пожаловать назад! Только и остались что синицы да немного славок по кустам и над обрывом: пипп-пипп! Как же все переменялось, серые скалы в кровавых пятнах березовой листвы, редкие колокольчики и головки иванчая высовываются из вереска, и качаются, и тихо шелестят песенку: тс! А над ними над всеми, вытянув шею, высматривая добычу, летит орлан.

Вот уже и вечер, я кладу буры и молоток под камень, теперь можно передохнуть. Все спит, с севера кверху ползет луна, горы бросают огромные тени. Полнолуние, луна словно огненный остров, словно круглая медная загадка, а я плутаю вокруг да около и дивлюсь на нее. Эзоп вскакивает, он чем-то встревожен.

— Чего тебе, Эзоп? Что до меня, я устал от своей заботы, я хочу забыть ее, утопить. Лежи смирно, Эзоп, слушайся, хватит с меня беспокойства. Знаешь, Ева спрашивает: «Ты хоть иногда думаешь обо мне?» Я отвечаю: «Только о тебе, Ева». Она опять спрашивает: «А ты радуешься, когда думаешь обо мне?» Я отвечаю: «Да, да, радуюсь, всегда радуюсь». Потом Ева говорит: «У тебя седеют волосы». И я отвечаю: «Да, седеют понемножку». «Они седеют от грустных мыслей?» И на это я отвечаю: «Может быть». И тогда Ева говорит: «Значит, ты думаешь не только обо мне...» Эзоп, лежи смирно, лучше я тебе еще кое-что расскажу...

Но Эзоп стоит и внюхивается, глядя в долину, он повизгивает и тянет меня зубами за куртку. Когда я наконец встаю, он бросается вниз со всех ног. В небе над лесом стоит зарево, я ускоряю шаг, вот уже я вижу костер, огромное пламя. Я стою и смотрю, делаю еще несколько шагов и все смотрю, смотрю — горит моя сторожка.

Пожар был делом рук господина Мака, я тотчас это понял. Пропали мои звериные шкуры, мои птичьи крылья и чучело орла; все сгорело. Ну что ж? Две ночи

я провел под открытым небом, однако же не пошел проситься на ночлег в Сирилунн. Потом я занял заброшенную рыбацью хибарку у пристани, а щели заткнул сухим мхом. Я спал на охапке красного вереска, я принес его с гор. Снова у меня был кров.

Эдварда прислала ко мне сказать, что узнала о моей беде и предлагает мне от имени своего отца поместиться в Сирилунне. Вот как? Эдварда тронута? Эдварда великодушна? Я ничего не ответил. Слава богу, у меня снова есть крыша над головой, и я могу себе позволить никак не отвечать на приглашение Эдварды. Я встретил ее на дороге вместе с бароном, они шли рука об руку, я поглядел им обоим в лицо и, проходя, поклонился. Она остановилась и спросила:

— Вы не хотите жить у нас, господин лейтенант?

— Я уже отделал свое новое жилье,— ответил я и тоже остановился.

Эдварда смотрела на меня, она с трудом переводила дух.

— А ведь мы бы вас не беспокоили,— сказала она.

Во мне шевельнулась благодарность, но я не смог выговорить ни слова.

Барон, не торопясь, двинулся дальше.

— Может быть, вы не хотите больше меня видеть?— спрашивает она.

— Спасибо вам, йомфру Эдварда, что предложили мне приют, когда сгорела моя сторожка,— сказал я.— Это тем более великодушно, что едва ли на то была воля вашего отца.— И я глубоким поклоном поблагодарил ее за приглашение.

— Господи боже, да вы совсем не хотите меня видеть, Глан?— выговорила она вдруг.

Барон уже звал ее.

— Вас барон зовет,— сказал я, снова снял картуз и низко поклонился.

И я пошел в горы, к своей mine. Ничем, ничем меня уже не вывести из себя. Я встретил Еву.

— Видишь!— крикнул я.— Господину Маку никак меня не спровадить. Он сжег мою сторожку, а у меня уже новый дом...

В руках у нее кисть и ведро с дегтем.

— А это еще что, Ева?

Господин Мак поставил лодку у причала под горой и приказал Еве смолить ее. Он следит за каждым ее шагом, надо его слушаться.

— Почему же там? Почему не на пристани?

— Так велел господин Мак...

— Ева, Ева, любимая, тебя сделали рабой, а ты не сетуешь. Вот видишь, ты опять улыбнулась, и у тебя все лицо загорелось от улыбки, хоть ты и раба.

Возле мины меня ждала неожиданность. Здесь кто-то побывал, я разглядел следы на гальке и опознал отпечатки длинных остроносых башмаков господина Мака. Что он тут вынюхивает? — подумал я и огляделся. Нигде ничего. И хоть бы во мне шевельнулось какое подозренье.

Я принялся стучать по буру, сам не ведая, что творю.

XXXII

Пришел почтовый пароход, он привез мне мундир, он заберет барона и все его ящики с водорослями и раковинами. Теперь его грузят у пристани сельдью и ворванью, к вечеру он уйдет.

Я беру ружье и побольше пороха набиваю в оба ствола. Сделав это, я сам себе подмигиваю. Я иду в горы и закладываю порох; я снова подмигиваю. Ну вот, все готово. Я лег и стал ждать.

Я ждал не один час. Все время я слышал, как пароход ходит ходуном у шпиля. Уже смерклось. Наконец свисток, груз принят, судно отходит. Ждать осталось всего несколько минут. Луна еще не взошла, и я как безумный вглядывался в сумерки.

Лишь только из-за выступа чуть-чуть показался нос, я поджег фитиль и отскочил подальше. Проходит минута. Вдруг раздается взрыв, взвиваются осколки, гора дрожит, и каменная глыба, грохоча, летит в пропасть. Гулко гремят горы. Я хватаюсь за ружье и стреляю из одного ствола; эхо отвечает раскатистым залпом. Через мгновенье я разряжаю второй ствол. Воздух дрожал от моего салюта, эхо множило его и посылало далеко-далеко, словно все горы громким хором кричали вслед уходящему пароходу. Немного спустя воздух стихает, эхо молчит, и опять на земле тишь. Пароход исчезает во мраке.

Я все еще весь дрожу, я беру под мышку ружье и буры и спускаюсь; у меня подгибаются ноги. Я выбрал самый короткий путь, я иду по дымному следу, оставленному обвалом. Эзоп все время трясет мордой и чихает от гари.

Когда я спустился к причалу, я увидел такое, что всего

меня перевернуло; сорвавшейся глыбой раздавило лодку, и Ева, Ева лежала рядом, вся разбитая, разодранная, сплюснутая, и нижняя часть тела ее была изувечена до неузнаваемости. Ева умерла на месте.

XXXIII

Что же тут еще писать? За много дней я ни разу не выстрелил, еды у меня не было, да я и не ел, я сидел в своей берлоге. Еву отвезли в церковь на белой лодке господина Мака, я берегом прошел к могиле.

Ева умерла. Ты помнишь ее девичью головку, причесанную как у монахини? Она подходила тихо-тихо, складывала вязанку и улыбалась. А видел ты, как загоралось от улыбки ее лицо? Тихо, Эзоп, мне вспомнилось одно странное преданье, это было во времена прапрадедов, во времена Изелины, когда священником был Стаммер.

Девушка сидела в каменной башне. Она любила одного господина. Отчего? Спроси у росы, спроси у ночной звезды, спроси у Создателя жизни; а больше никто тебе не ответит. Тот господин был хорош с нею, он любил ее; но время шло, и в один прекрасный день он увидел другую, и чувства его переменились.

Словно юноша, любил он ту девушку. Он говорил ей: «Ты моя ласточка», он говорил: «Ты моя радость»,— и как горячо она обнимала его... Он сказал: «Отдай мне свое сердце!» И она отдала. Он говорил: «Можно, я попрошу тебя кой о чем, любимая?» И не помня себя, она отвечала: «Да». Все отдавала она ему, а он ее не благодарил.

Другую любил он, словно раб, словно безумец и нищий. Отчего? Спроси пыль на дороге, спроси у ветра в листве, спроси непостижимого Создателя жизни; а больше никто не ответит. Она не дала ему ничего, нет, ничего она не дала ему, а он ее благодарил. Она сказала: «Отдай мне свой покой и свой разум!» И он опечалился только, что она не попросила у него и жизни.

А девушку заточили в башню...

— Что ты делаешь, девушка? Чему улыбаешься?

— Я вспоминаю, что было десять лет назад. Я тогда встретила его.

— Ты все его помнишь?

— Я все его помню.

А время идет...

— Что ты делаешь, девушка? И чему улыбаешься?

- Я вышиваю на скатерти его имя.
- Чье имя? Того, кто запер тебя?
- Да, того, кого я встретила двадцать лет назад.
- Ты все его помнишь?
- Я помню его, как и прежде.

А время идет.

- Что ты делаешь, узница?

— Я старюсь, глаза мои больше не видят шитья, я соскребаю со стены известку. Из этой известки я вылеплю кувшин ему в подарок.

- О ком ты?

— О своем любимом, о том, кто запер меня в башне.

- Не тому ли ты улыбаешься, что он тебя запер?

— Я думаю, что он скажет. «Поглядите-ка,— он скажет,— моя девушка послала мне кувшин, за тридцать лет она меня не забыла».

А время идет...

- Как, узница, ты сидишь сложа руки и улыбаешься?

— Я старюсь, я старюсь, глаза мои ослепли, я могу только думать.

- О том, кого ты встретила сорок лет назад?

— О том, кого я встретила, когда была молодая.

Может, с той поры и прошло сорок лет.

— Да разве ты не знаешь, что он умер? Ты бледнееешь, старая, не отвечаешь, губы твои побелели, ты не дышишь...

Вот видишь, какое странное преданье о девушке в башне. Постой-ка, Эзоп, вот еще что я забыл: однажды она услышала в саду голос своего любимого, и она упала на колени и покраснела. Ей тогда было сорок лет...

Я хороню тебя, Ева, я смиренно целую песок на твоей могиле. Густая, алая нежность заливает меня, как я о тебе подумаю, словно благодать сходит на меня, как я вспомню твою улыбку. Ты отдавала все, ты все отдавала, и тебе это было нисколько не трудно, потому что ты была проста, и ты была щедра, и ты любила. А иной даже лишнего взгляда жалко, и вот о такой-то все мои мысли. Отчего? Спроси у двенадцати месяцев, у корабля в море, спроси у непостижимого Создателя наших сердец...

XXXIV

Меня спросили, не бросил ли я охоту.

— Эзоп один в лесу, он гонит зайца.

Я ответил:

— Подстрелите его за меня.

Дни шли; меня навестил господин Мак, глаза у него ввалились, лицо стало серое. Я думал: точно ли я умею читать в душах людей или это мне только так кажется? Сам не знаю.

Господин Мак заговорил про обвал, про катастрофу. Это несчастный случай, печальное стечение обстоятельств, моей вины тут никакой.

Я сказал:

— Если кому-то любой ценой хотелось разлучить меня с Евой, он своего добился. Будь он проклят!

Господин Мак глянул на меня исподлобья. Он что-то про-бормотал о богатых похоронах. Ничего, мол, не пожалели.

Я сидел и восхищался его самообладанием.

Он отказался от возмещения за лодку, разбитую моим взрывом.

— Вот как! — сказал я. — Вы, в самом деле, не желаете брать денег за лодку и за ведро с дегтем, за кисть?

— Милейший господин лейтенант, — ответил он. — Как такое могло прийти вам в голову!

И в глазах его была ненависть.

Три недели не видал я Эдварды. Хотя нет, один раз я ее встретил в лавке, когда пришел купить хлеба, она стояла за прилавком и перебирала материи. В лавке, кроме нее, были только два приказчика.

Я громко поздоровался, и она подняла глаза, но не ответила. Я решил при ней не спрашивать хлеба, я повернулся к приказчикам и спросил пороха и дробы. Пока мне отвешивали то и другое, я смотрел на нее.

Серое, совсем уже короткое ей платьице, петли залохматились; тяжело дышала маленькая грудь.

Как выросла она за лето! Лоб задумчивый, выгнутые, высокие брови — будто две загадки на ее лице, и все движенья у нее стали словно более степенны. Я смотрел ей на руки, особенное выражение длинных тонких пальцев ударило меня по сердцу, я вздрогнул. Она все перебирала материи. Как же я хотел, чтоб Эзоп подбежал к ней, узнал ее, я бы тотчас окликнул его и попросил бы у нее извинения; интересно, что бы она ответила?

— Пожалуйте, — говорит приказчик.

Я заплатил, взял покупку и простился. Она подняла глаза, но и на этот раз не ответила. Ладно! — подумал я, верно, она уже невеста барона. И я ушел без хлеба.

Выйдя из лавки, я бросил взгляд на окно. Никто не смотрел мне вслед.

Потом как-то ночью выпал снег, и в моем жилье стало холодно. Тут был очаг, на котором я готовил еду, но дрова горели плохо и от стен нещадно дуло, хоть я и заделал их как мог. Осень миновала, дни стали совсем короткие. Первый снег, правда, стаял на солнце, и опять земля лежала голая; но ночами пошли холода, и вода промерзала. И вся трава, вся мошкара погибли.

Люди непонятно затихли, примолкли, задумались, и глаза у них теперь не такие синие и ждуют зимы. Уж не слышно больше выкриков с островов, где сушат рыбу, все тихо в гавани, все приготовилось к полярной вечной ночи, когда солнце спит в море. Глухо, глухо всплескивает весло одинокой лодки.

В лодке девушка.

— Где ты была, красавица?

— Нигде.

— Нигде? Послушай, а ведь я тебя знаю, это тебя я встретил летом.

Она пристала к берегу, вышла и привязала лодку.

— Ты напевала, ты вязала чулок, я встретил тебя однажды ночью.

Она слегка краснеет и смеется смущенно.

— Зайди ко мне, красавица, а я погляжу на тебя. Я вспомнил, тебя же зовут Генриетой.

Но она молчит и идет мимо. Ее прихватило зимой, чувства ее уснули.

Солнце уже ушло в море.

И я в первый раз надел мундир и отправился в Сирилунн. Сердце у меня колотилось.

Мне вспомнилось все, с того самого первого дня, когда Эдварда бросилась ко мне на шею и у всех на глазах поцеловала; и уж сколько месяцев она швыряется мной как захочет,— из-за нее у меня поседели волосы. Сам виноват? Да, видно, не туда завела меня моя звезда, совсем не туда. Я подумал: а ведь упади я сейчас перед ней на колени, открой ей тайну своего сердца, как бы она злорадствовала! Верно, она предложила бы мне сесть, велела бы принести вина, поднесла бы его к губам и сказала: «Господин лейтенант, благодарю вас за то время,

что вы провели со мной вместе, я никогда о нем не забуду!» Но только я обрадуюсь и обнадежусь, она, не пригубив, оставит стакан. И даже не станет делать вида, будто пьет, нет, нарочно покажет, что к вину и не приотронулась. В этом она вся.

Ну ничего, скоро уж пробьет последний час!

Я шел по дороге и додумывал свои думы: мундир должен произвести на нее впечатление, галуны совсем новые, красивые. Сабля будет звенеть по полу. Я радостно вздрагиваю и шепчу про себя: «Кто его знает, чем еще все это кончится!» Я поднимаю голову, иду, отбивая такт рукой. Довольно унижаться, где моя гордость! Да и что мне за дело наконец, как она себя поведет, с меня довольно! Прошу прощенья, дева красоты, что я к вам не посватался...

Господин Мак встретил меня во дворе, глаза у него еще больше ввалились, лицо стало совсем серое.

— Едете? Ну что же. Вам напоследок не очень-то сладко пришлось; вот и сторожка у вас сгорела.— И господин Мак улыбнулся.

Мне вдруг подумалось, что передо мной умнейший человек на свете.

— Заходите, господин лейтенант. Эдварда дома. Ну так прощайте. Впрочем, мы еще увидимся на пристани, когда будет отправляться пароход.— Он зашагал прочь, задумавшись, ссутулясь, насвистывая.

Эдварда сидела в гостиной, она читала. Когда я вошел, она на мгновение оторопела при виде моего мундира, она смотрела на меня, склонив голову, как птица, и даже залилась краской. Рот у нее приоткрылся.

— Я пришел проститься,— выдавил я наконец.

Она тотчас встала, и я увидел, что слова мои оказали на нее свое действие.

— Глан, вы едете? Уже?

— Как только придет пароход.— И тут я хватаю ее за руку, за обе руки, на меня находит бессмысленный восторг, я вскрикиваю:— Эдварда!— и не отрываясь смотрю ей в лицо.

И тотчас она делается холодна, холодна и упряма. Все во мне раздражает ее, она выпрямляется, и вот уже я стою перед ней, словно милостыни прошу. Я выпустил ее руки, дал ей отойти. Помню, я еще долго так стоял и твердил, ни о чем не думая: «Эдварда! Эдварда!» И когда она спросила: «Да, что такое?»— ничего ей не мог объяснить.

— Значит, вы едете! — повторила она. — Кто же явится на будущий год?

— Другой, — ответил я. — Сторожку-то отстроят.

Пауза. Она уже снова взялась за книгу.

— Вы уж извините, что отца нет дома, — сказала она. — Но я передам ему, что вы заходили проститься.

На это я ей ничего не стал отвечать. Я опять подошел, взял ее за руку и сказал:

— Прощайте же, Эдварда.

— Прощайте, — ответила она.

Я отворил дверь, будто собрался идти. Она уже склонилась над книгой и читала, она в самом деле читала, она перелистывала страницы. Никаких, никаких чувств не вызвало в ней наше прощанье.

Я кашлянул.

Она оглянулась и сказала недоуменно:

— Как, вы еще не ушли? А я думала, вы ушли.

Конечно, бог его знает, но нет, мне не почудилось, она и правда уж очень изумилась, она потеряла власть над собой и удивилась чересчур, и я подумал, что она, может быть, все время знала, что я стою у нее за спиной.

— Ну, мне пора, — сказал я.

Тут она встала и подошла ко мне.

— Знаете, я бы хотела что-нибудь от вас на память, — сказала она. — Я думала вас кой о чем попросить, да боюсь, что это слишком. Не могли бы вы оставить мне Эзопа?

Я не раздумывал, я ответил «да».

— Так приведите его завтра, ладно? — сказала она.

Я ушел.

Я взглянул на окна. Никого.

Итак, все кончено...

Последняя ночь. Я думал, думал, я считал часы; когда настало утро, я в последний раз приготовил еду. День был холодный.

Почему она попросила, чтоб я сам привел ей пса? Хотела поговорить со мной, что-то мне сказать напоследок? Я уже больше ничего, ничего от нее не жду. И как станет она обращаться с Эзопом? Эзоп, Эзоп, она тебя замучит! Из-за меня она будет сечь тебя плеткой, будет и ласкать, но сечь будет непременно, за дело и без дела, и вконец тебя испортит...

Я подозревал Эзопа, потрепал его по загривку, прижал его голову к своей и взялся за ружье. Эзоп начал радост-

но повизгивать, он решил, что мы идем на охоту. Я снова прижал его голову к своей, приставил дуло ему к затылку и спустил курок.

Я нанял человека снести Эдварде труп Эзопа.

XXXVII

Пароход отходил вечером.

Я отправился на пристань, поклажу мою уже снесли на палубу. Господин Мак пожал мне руку и ободрил меня тем, что погодка великолепная, приятнейшая погодка, он и сам бы не прочь прогуляться морем по такой погодке. Пришел доктор, с ним Эдварда; у меня задрожали колени.

— Вот, решили проводить вас,— сказал доктор.

И я поблагодарил.

Эдварда взглянула мне прямо в лицо и сказала:

— Я должна поблагодарить вашу милость за собаку.— Она сжала рот; губы у нее побелели. Опять она назвала меня «ваша милость».

— Когда отходит пароход?— спросил у кого-то доктор.

— Через полчаса.

Я молчал.

Эдварда беспокойно озиралась.

— Доктор, не пойти ли нам домой?— спросила она.— Я все сделала, что было моим долгом.

— Вы исполнили свой долг,— сказал доктор.

Она жалостно улыбнулась на привычную поправку и ответила:

— Я ведь так почти и сказала?

— Нет,— отрезал он.

Я взглянул на него. Как суров и тверд маленький человечек; он составил план и следует ему до последнего. А ну как все равно проиграет? Но он и тогда не покажет виду, по его лицу никогда ничего не поймешь.

Темнело.

— Так прощайте,— сказал я.— И спасибо за все, за все.

Эдварда смотрела на меня, не говоря ни слова. Потом она отвернулась и уже не отрывала глаз от парохода.

Я сошел в лодку. Эдварда стояла на мостках. Когда я поднялся на палубу, доктор крикнул: «Прощайте!» Я взглянул на берег, Эдварда тотчас повернулась и то-

ропливо пошла прочь, домой, далеко позади оставив доктора. И скрылась из глаз.

Сердце у меня разрывалось от тоски...

Пароход тронулся; я еще видел вывеску господина Мака: «Продажа соли и бочонков». Но скоро ее размыло. Взошел месяц, зажглись звезды, все кругом обстали горы, и я видел бескрайние леса. Вон там мельница, там, там была моя сторожка; высокий серый камень остался один на пепелище. Изелина, Ева...

На горы и долины ложится полярная ночь.

XXXVIII

Я написал все это, чтобы скоротать время. Вспомнил то северное лето, когда я нередко считал часы, а время все равно несло незаметно, и вот развеялся. Теперь-то все иначе, теперь дни стоят на месте.

Мне ведь выпадает столько приятных минут, а время все равно стоит, просто понять не могу, почему оно стоит. Я в отставке, я свободен как птица, сам себе хозяин, все прекрасно, я выдаюсь с людьми, разъезжаю в каретах, а то, бывает, прищурю один глаз и пишу по небу пальцем, я щекочу луну под подбородком, и, по моему, она хохочет, глупая, заливается от радости, когда я ее щекочу. И все вокруг улыбается. Или ко мне съезжаются гости, и вечер проходит под веселое шелканье пробок.

Что до Эдварды, я о ней совершенно не думаю. Да и как тут не забыть, ведь прошло столько времени? И у меня наконец есть гордость. И если меня спросят, не мучит ли меня что, я твердо отвечу: нет, ничего меня не мучит...

Кора лежит и смотрит на меня. Раньше был Эзоп, а теперь вот Кора лежит и смотрит на меня. Тикают часы на камине, за открытыми окнами шумит город. В дверь стучат, и посыльный протягивает мне письмо. Письмо запечатано короной. Я знаю, от кого оно, тотчас понимаю, или просто все это уже снилось мне когда-то бессонной ночью? Но в письме ничего, ни слова, только два зеленых пера.

Меня леденит страх, мне делается холодно. Два зеленых пера!— говорю я сам себе. Ну, да все равно! Но отчего же мне так холодно? Все этот проклятый сквозняк.

И я закрываю окна.

Вот тебе и два пера! — думаю я далее; кажется, я узнаю их, они напоминают мне об одной шутке, о небольшом происшествии, каких так много было со мной на Севере; что ж, любопытно взглянуть. И вдруг мне кажется, будто я вижу лицо, и слышу голос, и голос говорит:

— Пожалуйте, господин лейтенант, я возвращаю вашей милости эти перья!

Я возвращаю вашей милости эти перья...

Кора, да лежи ты смирно, слышишь, не то я тебя прикончу! Тепло, какая несносная жара; с чего это я вздумал закрывать окна! Снова окна настежь, настежь двери, сюда, мои веселые друзья, входите! Эй, посыльный, зови ко мне побольше, побольше гостей...

И день проходит, а время все равно стоит на месте.

Ну вот я и написал все это для собственного удовольствия, и позабавился как мог. Ничто не мучит, не гнетет меня, мне бы только уехать, куда — и сам не знаю, но подальше, может быть, в Африку, в Индию. Потому что я могу жить только совсем один, в лесу.

СМЕРТЬ ПЛАНА

Записки 1861 года

I

Семейство План может сколько заблагорассудится объявлять в газетах о пропавшем лейтенанте Томасе Плане; он не отыщется. Он умер, и я даже знаю, при каких обстоятельствах он умер.

Собственно говоря, меня и не удивляет упорство, с каким его семья продолжает розыски, потому что Томас План был человек в известном смысле необыкновенный, и его вообще любили. Да, тут уж надо отдать ему должное, хоть мне лично План до сих пор противен и я вспоминаю о нем с ненавистью. Он обладал привлекательнейшей внешностью, молодостью и свойством кружить головы. Взглянет он на тебя этим горячим взглядом зверя, и так и чувствуешь его власть над собою, я и то ее чувствовал. Одна дама якобы говорила: «Когда он смотрит на меня, я делаюсь сама не своя; как будто он до меня дотрагивается».

Но у Томаса Плана были свои недостатки, и раз я его ненавижу, то мне и нет никакого расчета их утаивать.

Временами он бывал до того прост, несерьезен, ну прямо как дитя малое, и до такой же степени покладист, может, оттого слабый пол и льнул к нему, кто знает? Он часами с ними болтал, хохотал над разными их глупостями, а им только того и надо. Или он сказал, например, как-то про одного очень полного человека, что тот словно наложил жиру в штаны, и сам же хохотал над своей остротой, а я так устыдился бы, случись мне сказать что-нибудь подобное. Потом, когда мы поселились под одной крышей, он лишний раз яснее ясного показал, до чего он глуп: вошла ко мне утром хозяйка и спросила, что принести на завтрак, а я второпях и ответь: одно ломтик хлеба с яйцом. Томас Глан сидел как раз в моей комнате, он-то жил на чердаке, под самой крышей — и давай хохотать над моей оговоркой, просто в восторг от нее пришел. Так и повторял: «Одно ломтик хлеба с яйцом», — покуда я эдак удивленно на него не глянул и тем заставил умолкнуть.

Возможно, я в дальнейшем припомню и остальные его жалкие черточки, и в таком случае непременно к ним вернусь, поскольку он мой враг и щадить мне его нечего. К чему тут благородничать? Правда, должен сказать, дурачился он, только когда бывал пьян. Но само-то по себе пьянство разве не отвратительный порок?

Когда я с ним познакомился осенью 1859 года, он был в возрасте тридцати двух лет, мы ровесники. Он ходил тогда с окладистой бородой и носил вязанные рубахи, непомерно открытые у ворота, а часто вдобавок не застегивал верхнюю пуговицу. Шея его сначала показалась мне необычайно красивой, но потом, когда он понемножку нажил во мне злейшего врага, я разглядел, что шея у него ничуть не лучше моей, просто я свою напоказ не выставляю. Повстречался я с ним на пароме, нам было по пути, и мы сразу же уговорились вместе взять телегу, если железной дорогой туда не добраться. Я намеренно не называю места, куда мы ехали, чтоб не наводить на след; но семейство Глан может с чистой совестью прекратить поиски своего родственника, потому что там-то он и умер, на том самом месте, куда мы ехали и которого я не назову.

Вообще-то я слышал про Томаса Глана еще до того, как его встретил, это имя было мне знакомо. Я слышал, что он любил некую юную наследницу знатного рода в Северной Норвегии и как-то там ее компрометировал, после чего она с ним порвала. Он же сдуру поклялся, что

назло ей себя уморит. Ну, она ему это и предоставила. Ей-то что? Тогда, собственно, и стало известно имя Томаса Глана, он кутил, пил, учинял скандал за скандалом и вышел в отставку. Хорошенький способ мстить за то, что тебе дали по носу!

Про эти его отношения к юной даме ходили, впрочем, и другие слухи, что вовсе он ее не компрометировал, но ее родители, дескать, указали ему на дверь, а она им не противоречила, потому что к ней как раз посватался, не хочется называть имя, ну, словом, один шведский граф. В это мне как-то меньше верится, думаю, что вернее первое, поскольку я ненавижу Томаса Глана и полагаю его способным на все. Так или иначе, сам он о своей знатной даме никогда не заговаривал, а я его не спрашивал. На что мне?

Тогда на пароме, помнится, мы говорили только о селенье, куда ехали и где прежде ни один из нас не бывал.

— Там как будто есть гостиница,— сказал Глан и сверился по карте.— Если нам повезет, там и поселимся; хозяйка, мне говорили, старая англичанка, вернее, полукровка. Вождь живет в соседнем селенье, у него как будто много жен, иные не старше десяти лет.

Ну, я ничего не знал о том, сколько жен у вождя и есть ли в селенье гостиница, я и промолчал, а Глан улыбнулся, и его улыбка показалась мне тогда прекрасной.

Да, я совсем забыл. И он был не без изъяна при всей своей красоте. Он сам говорил, что на левой ноге у него давняя огнестрельная рана, и как перемена погоды, эта нога всегда ныла.

II

Неделю спустя мы поместились в большой хижине, которую тут именовали гостиницей, у старой полуангличанки. Ох, ну и гостиница! Стены больше глиняные и отчасти деревянные, и дерево все изъедено термитами, ими тут кишмя кишело. Я жил в комнате рядом с залой, с зеленоватым окном на улицу, довольно, положим, мутным и узким, а Глан выбрал какую-то дыру на чердаке, тоже, правда, с окнами, но вообще-то куда темней и хуже. Солнцем накаляло соломенную крышу, и у Глана день и ночь стояла несносная жара, ко всему прочему, лестницы не было и приходилось карабкаться по приставной развалюхе о четырех ступеньках. Я, однако же, тут совершенно ни при чем. Я предоставил Глану выбирать, я сказал:

— Тут две комнаты, внизу и наверху, — выбирайте!

И Глан осмотрел обе и выбрал верхнюю, возможно, чтобы оставить мне лучшую, согласен; но разве я не испытывал за это признательности? Так что мы квиты.

В самую жару мы не охотились, мы отсиживались дома; жара, надо сказать, была несносная. Ночью мы защищались от насекомых сетками; правда, иной раз летучая мышь сослепу кидалась на сетку и рвала ее в клочья; с Гланом такое случалось нередко, ведь из-за жары он не мог затворять чердачное оконце, а меня бог миловал. Днем мы лежали на циновках перед хижиной, курили и наблюдали жизнь по соседству. Туземцы темнокожи и толстогубы, у всех застывшие черные глаза и в ушах кольца; ходят они почти голые, только повязка на бедрах из тряпицы или листьев, а у женщин еще и короткие юбочки. Дети все бегают нагишом день и ночь, животы большущие и лоснятся.

— Женщины чересчур жирны, — сказал Глан.

Не спорю, женщины были чересчур жирны, и, возможно, вовсе даже я, а не Глан первым это заметил, словом, не важно; оставляю ему честь такого открытия. И потом, не все же они без исключения безобразны, при том что лица в самом деле толсты и вздуты; я, кстати говоря, познакомился с одной полутамилкой, длинноволосой и белозубой, так она была премиленькая и лучше всех. Я наткнулся на нее раз вечером, она лежала на краю рисового поля, в высокой траве, лежала на животе и болтала ногами. Мы с ней столковались, мы расстались уже под утро, и она не пошла домой, а решила сказать родителям, будто ночевала в соседнем селенье. Глан тот вечер провел с двумя какими-то девушками, совсем молоденькими, возможно, не старше десяти лет. И с такими-то он мог дурачиться, пить рисовую водку, — вот вам его вкус!

Дня через два мы отправились на охоту. Мы прошли чайными плантациями, рисовыми полями, лугами, миновали селенье и пошли берегом, мы углубились в лес из чудных, непонятных деревьев. Бамбук, манго, тамаринд, тик, соляное дерево, камедное и бог знает что еще, мы во всем в этом оба мало смыслили. Но вода в реке была очень низкая и так всегда и держится до самых дождей. Мы стреляли диких голубей и кур, а ближе к вечеру видели двух пантер; над головами у нас летали попугаи. Глан стрелял чудо как метко, никогда не промахивался; но у него ведь и ружье было лучше моего, и все равно я тоже много раз чудо как метко попадал. Я, однако, не

имею манеры хвастаться, а Глан часто говорил: «Этой я целюсь в голову, а этой попаду в хвост». Так он говорил перед выстрелом, и когда птица падала, оказывалось, что он попал именно в голову или в хвост. Когда мы наткнулись на тех двух пантер, Глану взбрело на ум уложить их из дробовика; но я отговорил его, поскольку уже темно, а патроны у нас почти все вышли. Вообще же я думаю, ему просто покрасоваться хотелось, вот, мол, я какой храбрец, из дробовика пантер стреляю.

— А жаль, что я не выстрелил,— сказал он мне.— Все ваше несносное благоразумие. И зачем? Хотите долго жить?

— Польщен, если вы считаете, что я благоразумней вас,— ответил я.

— Ну, не будем ссориться из пустяков,— сказал он тут.

Это его слова, не мои; захоти он поссориться, за мной бы дело не стало. Меня уже тогда начало бесить его легкомыслие и эта его неотразимость. Накануне, например, я совершенно спокойно шел с Магги, своей знакомой тамилкой, оба мы были в превосходном расположении духа. Глан сидит подле хижины, он кивает нам и улыбается; Магги увидела его тогда в первый раз и давай меня о нем расспрашивать. И такое он впечатление на нее произвел, что мы вскоре и расстались, разошлись в разные стороны.

Когда я рассказал все Глану, он изобразил дело так, что это, мол, все мои выдумки. Но я ему все запомнил. Ведь улыбался-то он не мне, когда мы шли мимо хижины, он улыбался Магги.

— Что это она все жует?— спросил он меня.

— Не знаю,— ответил я.— Верно, на то ей и зубы, чтоб жевать.

Эка новость, я и сам знал, что Магги все жует, я сразу обратил на это внимание. Но она не жевала бетель, зубы у нее были и без того белее белого, нет, она имела обыкновение жевать что ни попадя—сунет в рот и жует, будто это вкусно. Что угодно жевала—деньги, клочки бумаги, птичьи перья. Ну и что тут зазорного? Все равно она оставалась первой местной красавицей. Просто Глан мне завидовал. Ясное дело.

На другой вечер, правда, мы с Магги помирились и про Глана больше не говорили.

III

Прошла неделя, мы каждый день ходили на охоту и настреляли уйму дичи. Раз утром, едва мы вошли в лес, Глан схватил меня за руку и шепнул: «Стойте!» Тут же он вскидывает ружье и стреляет. Оказывается, он убил молодого леопарда. Я бы тоже мог его убить, да Глан захватил эту честь себе и выстрелил раньше. «Ну и хвастаться же будет!» — подумал я. Мы подошли к зверю, пуля уложила его на месте, разорвала левый бок и засела в спине.

Я не выношу, когда меня хватают за руку, потому я сказал:

— Я бы тоже мог так выстрелить.

Глан посмотрел на меня.

Я повторяю:

— Вы что, сомневаетесь, что я бы мог так выстрелить?

Глан опять не отвечает. Он лишний раз выказывает ребячество и опять стреляет в мертвого зверя, уже в голову. Я смотрю на него в совершенном недоумении.

— Вот,— поясняет он.— Мне неловко, что я попал ему в бок.

Видите ли, его тщеславию мало такого простого выстрела, вечно ему надо выставиться. Вот глупость! Но мне-то какое дело, я не собирался его уличать.

Вечером, когда мы вернулись с убитым леопардом, нас окружили туземцы. Глан, правда, сказал только, что мы подстрелили его утром, и больше не распространялся. Тут же была и Магги.

— А кто его убил?— спросила она.

— Сама видишь, тут две раны, мы убили его еще утром.— И он перевернул тушу и показал ей обе раны, на боку и в голове.

— Вот тут прошла моя пуля,— сказал он и показал на дырку в боку; из-за его глупости получалось, будто я попал в голову. Я не удостоил поправлять его, к чему? Потом Глан стал потчевать туземцев рисовой водкой и поил всех, кому не лень.

— Значит, они вместе его убили,— тихонько проговорила Магги, но смотрела она все время на одного Глана.

Я отвел ее в сторонку и сказал:

— Что ты все на него смотришь? А меня не видишь, что ли?

— Вижу,— ответила она.— Послушай, я сегодня приду.

Как раз на другой день Глан и получил то письмо. Это я о письме, которое пришло пароходом, а потом сто восемьдесят миль кружило по суше. Письмо было написано женской рукой, и я смекнул, что, верно, оно от его прежней подруги, высокопоставленной дамы. Прочтя письмо, Глан нервически расхохотался и дал посыльному на чай за то, что тот его доставил. Скоро, однако, он снова примолк, помрачнел и весь день сидел сложа руки и уставясь в одну точку. Вечером он напился пьян в компании со старым туземным карлой и его сынком, он и меня обнимал и все требовал, чтобы я тоже выпил.

— С чего это вы сегодня так любезны? — спросил я.

Тут он громко засмеялся и сказал:

— Забрались мы с вами в эту самую Индию и охотимся, а? Ну, не смехотворно ли? Так выпьемте же за все царства мира и за всех хорошеньких женщин, замужних и незамужних, близких и дальних. Ха-ха! Подумайте! Мужняя жена — и предлагается мужчине, мужняя жена!

— Графиня! — сказал я едко. Я сказал это очень едко и попал в самую точку. Он оскалился, как собака, потому я и говорю с уверенностью, что попал в самую точку. Потом он вдруг нахмурился, у него задергались веки, видно, спохватился, не слишком ли много выболтал, будто кому нужна его несчастная тайна. Но тут как раз к нашей хижине подбежало несколько ребятишек с криками:

— Тигры! Ой, тигры!

У самой околицы, в кустах, как идти к реке, тигр схватил ребенка.

Глану, недаром он раскис и вдобавок напился, этого было достаточно, он тотчас схватил винтовку и бросился к кустарнику, даже головы не прикрыл. Интересно, однако, узнать, отчего он взял все же винтовку, а не дробовик, раз уж он такой храбрый? Ему пришлось переходить реку вброд, что небезопасно, правда, река-то, надо сказать, перед дождями почти совсем пересохла. Скоро я услышал два выстрела и следом за ними третий. Три выстрела по одному зверю! — подумал я; двумя выстрелами можно уложить льва, а здесь ведь тигр всего-навсего! Но и три выстрела были напрасны, ребенок был разодран в клочья и почти съеден, когда подоспел Глан; не будь он так пьян, он бы и не пытался его спасти.

Всю ночь он прокутил в соседней хижине с одной вдовой и двумя ее дочками; уж не знаю, с кем именно из них.

Два дня потом Глан и часа не был трезв, и собутыль-

ников нашлось предостаточно. Он зазывал и меня, он уже не соображал, что говорит, и заявил, будто я к нему ревную.

— Вас ослепляет ревность,— говорит.

Ревность! Это я-то ревную!

— Помилуйте,— говорю,— я ревную! Да с чего бы я стал ревновать!

— Нет, нет, конечно, вы не ревнуете,— ответил он.— Кстати, я сегодня видел Магги, она жевала, как всегда.

Я прикусил язык и отошел.

IV

Мы снова стали ходить на охоту. Глан чувствовал, что виноват передо мной, и попросил у меня прощения.

— А вообще-то мне все надоело до смерти,— сказал он.— Хорошо бы вы как-нибудь промахнулись и всадили мне пулю в затылок.

«Небось снова письмо графини ему покоя не дает»,— подумал я и ответил:

— Что посеешь, то и пожнешь.

С каждым днем он делался все мрачней и тише, пить он перестал, но и не говорил ни слова; щеки у него ввалились.

Однажды я вдруг услышал смех и болтовню у себя под окном, выглянул, а там Глан, опять с самой беззаботной миной, громко разговаривает с Магги. Все свои чары в ход пустил. Видно, она шла прямо из дому, а он ее подстерег. Стоят и любезничают под самым моим окном, и хоть бы что!

Я прямо-таки затрясся, схватил ружье, взвел курок, но тут же опустил ружье. Я вышел, взял Магги за руку, мы молча пошли по поселку; Глан тотчас скрылся в хижине.

— Опять ты с ним говорила, зачем?— спросил я у Магги.

Она не отвечала.

Мне стало тошно, сердце колотилось безумно, я едва переводил дух. Никогда еще не видал я Магги такой красивой, я и белой девушки такой красивой никогда не видал, и я совершенно забыл, что она тамилка, я вообще ни о чем, кроме нее, уже не помнил.

— Скажи,— попросил я,— почему ты с ним говорила?

— Он мне нравится,— ответила она.

— Он тебе нравится больше меня?

— Да.

Ну вот, пожалуйста, он ей нравится больше меня, а чем я хуже? Ведь как я всегда к ней был добр, вечно совал ей деньги и подарки, а он?

— Он над тобой смеется, говорит, что ты жуешь,— сказал я.

Она было не поняла, но я растолковал ей, что вот у нее привычка все совать в рот и жевать, а План из-за этого над ней насмехается. Наконец мне удалось произвести на нее некоторое впечатление.

— Послушай, Магги,— сказал я далее,— ты будешь моей навеки, хочешь? Я все обдумал: ты поедешь со мной, когда я буду уезжать, я возьму тебя в жены, слышишь, и мы поедem ко мне на родину и там будем жить. Ну как?

Это тоже произвело на нее впечатление. Магги развеселилась и всю прогулку болтала без умолку. Плана она упомянула только раз, она спросила:

— А План тоже с нами поедет?

— Нет,— ответил я,— он не поедет с нами. Ты жалеешь?

— Нет-нет,— быстро ответила она.— Я рада.

Больше она о нем не говорила, и я успокоился. И когда я ее позвал к себе, она пошла.

Часа через два, когда я остался один, я вскарабкался к Плану и постучал в тонкую тростниковую дверцу. Он был дома. Я сказал:

— Я пришел предупредить вас, что завтра нам, пожалуйста, не стоит идти на охоту.

— Отчего же?— спросил План.

— Оттого, что я за себя не ручаюсь, я могу вдруг промахнуться и всадить вам пулю в затылок.

План не отвечал, и я спустился к себе. Ему бы в самый раз не идти со мной на охоту после такого предупреждения; и потом, зачем он, спрашивается, торчал с Магги у меня под окном, да еще громко с ней любезничал? И вообще почему бы ему не уехать на родину, если в письме его и правда звали? Так нет же. Он ходил как потерянный, и все сжимал зубы, и вскрикивал: «Ни за что! Ни за что! Лучше пусть меня четвергуют!»

И вот утром—это после такого-то предупреждения!— План стоит подле моей постели и кричит:

— Пора, пора, старина! Погодка отличная! Как раз для охоты! А насчет вчерашнего, так это вы чепуху городили.

Еще не пробило и четырех, но я тотчас вскочил и собрался, вольно же ему было так небрежничать моим предупреждением. Я заряжал ружье у него на глазах, а он

стоял и смотрел. Вдобавок ко всему никакой такой не было отличной погоды, напротив, накрапывало, так что он в буквальном смысле слова надо мной издевался. Но я не стал ничего говорить.

Весь день мы плутали по лесу, каждый со своими мыслями. Мы так ничего и не подстрелили, то и дело упускали дичь, нас ведь не охота занимала, а совсем другое. Начиная с полудня Глан пошел несколько впереди меня, чтобы мне было сподручней или уж не знаю что. Шел перед самым дулом моего ружья, но я и эту издевку снес. Мы воротились без происшествий. Я думал: ничего, может, теперь немного окоротит себя и отстанет от Магги!

— Сегодня был самый длинный день в моей жизни,— сказал Глан вечером, когда мы подошли к хижине.

Больше мы не сказали друг другу ни слова.

В последующие дни он был в самом мрачном духе, возможно, все из-за письма.

— Я больше не могу, нет, я больше не могу!— вскрикивал он по ночам; на весь дом было слышно. В своей угрюмости он дошел до того, что не отвечал даже на самые любезные расспросы нашей хозяйки, и он стал стонать во сне.

«Да, не чиста у него совесть!— думал я.— И чего же это он домой-то не едет! Ясно, тут мешала гордыня, как же это он вернется, когда его прогнали!»

Я виделся с Магги всякий вечер, а Глан с нею больше не заговаривал. Я заметил, что она перестала жевать, она совсем теперь не жевала, и я этому радовался и думал: она уже не жует, одним недостатком меньше, и я ее за это вдвойне люблю! Раз она спросила о Глане. Осторожно так спросила: он не заболел? Не уехал?

— Если он не сдох и не уехал,— ответил я,— то уж непременно валяется дома. Мне это решительно безразлично. Он мне осточертел.

Но когда мы подошли к дому, мы увидели Глана, он лежал на циновке, заложив руки под голову и уставясь в небо.

— Да вон он, кстати, и лежит,— сказал я.

Магги тотчас подбежала к нему, я даже не успел ее удержать, и сказала радостно:

— Я больше не жую, смотри! Ни перьев, ни денег, ни бумажек не жую!

Тот едва глянул на нее и опять уставился в небо, а мы с Магги ушли. Когда я принялся укорять ее за то, что она

нарушила обещание и опять заговорила с Гланом, она ответила, что, дескать, просто хотела его осадить.

— А, это пожалуйста,— сказал я.— Но ты разве из-за него перестала жевать?

Она не отвечала. Это еще что такое — не отвечать?

— Говори же, из-за него или нет?

— Нет, нет,— ответила она,— это я из-за тебя.

Ну, так я и думал. И зачем бы она стала что-то делать ради Глана?

Вечером Магги обещала прийти ко мне, и она пришла.

V

Она пришла в десять часов, я услышал ее голос. Она вела за руку ребенка и громко ему что-то говорила. Зачем она привела ребенка и зачем не входит в дом? Я слежу за ней, и мне начинает казаться, что этот ее громкий разговор с ребенком попросту сигнал, а еще я замечаю, что она не отрывает глаз от чердака, от Гланова оконца. Кивнул он ей, что ли, или рукой помахал, заслышав снизу ее голос? Одно ясно — когда говоришь с ребенком, не к чему задирать голову кверху — такое-то уж я могу понять.

У меня появилось желание выскочить и схватить ее за руку, но она уже отпустила ребенка, тот так и остался стоять, а сама вошла в нашу дверь. Ну вот наконец-то, сейчас я ее отчитаю.

И вот я слышу, как Магги входит в дверь, ошибки быть не может, она уже почти у моей комнаты. Но вместо того чтоб войти ко мне, она поднимается по лесенке наверх, я это слышу, она карабкается на чердак, в каморку Глана, о, я это очень даже слышу. Я распахиваю свою дверь настежь, но Магги уже поднялась. За ней захлопывается тростниковая дверца, и больше я не слышу ничего. Это все было в десять часов.

Я вхожу к себе, беру ружье, сажусь и заряжаю его, хоть дело уже к ночи. В полночь я поднимаюсь наверх и подслушиваю у Глана под дверью, я слышу, что там Магги, что они поладили, и я снова спускаюсь. В час я снова поднимаюсь, но все уже тихо. Я жду под дверью, когда же они проснутся. Три часа, четыре. В пять они проснулись. «Хорошо же»,— подумал я, и больше я ни о чем не думал, только о том, что вот, мол, они проснулись и как это хорошо. Но тут донесся шум из комнаты хозяйки, и, опасаясь быть застигнутым, я поспешил вниз.

Глан и Магги проснулись, мне бы еще послушать, но вот пришлось уйти.

Внизу я подумал: «Тут она прошла, она задела за мою дверь плечом, но она ее не открыла, она поднялась по лесенке, вон она, эта лесенка, четыре приступочки, и она по ним ступала». Постель моя была не смята, и я не стал ложиться, я сел у окна и занялся ружьем. Сердце у меня не билось, оно дрожало.

Через полчаса я снова слышу шаги Магги по ступенькам. Я приникаю к окну и вижу, как она выходит из дому. На ней была ситцевая юбочка, которая даже и до коленки не доходила, а на плечах шерстяной шарф Глана. Больше на ней ничего не было, а юбочка вся измялась. Она шла медленно, она всегда так ходила, и даже не оглянулась на мое окно. Так и ушла.

Скоро вниз сошел Глан, с винтовкой, в полном снаряжении для охоты и мрачный. Мне он не поклонился. Одет он был как-то особенно тщательно и нарядно. «Нарядился, как жених»,— подумал я.

Я тут же схватился и пошел за ним, и мы оба молчали. Первых двух курочек мы нещадно разорвали в клочья, потому что стреляли из винтовок, но все же кое-как зажарили их под деревом и съели, и все это молча. Так подошло к полудню.

Глан крикнул:

— А вы точно зарядили? Вдруг на что нападём!

— Я зарядил! — крикнул я в ответ.

Тут он на мгновение исчез за кустами. О, с каким бы счастьем я пристрелил его сейчас как собаку! Но куда спешить, пусть его походит с такими вот мыслями, ведь он отлично же понимал, что у меня на уме, оттого и спросил, зарядил ли я. И хоть бы сегодня, хоть сегодня не носился со своей гордыней, ведь как нарядился, и новую рубашку надел; и физиономия в высшей степени высокомерная.

В час дня, злой, бледный, он смотрит мне в лицо и говорит: — Нет, это невыносимо! Да проверьте вы наконец, заряжено ли у вас, есть ли там патроны?

— Лучше потрудитесь проверить собственное ружье,— ответил я. Но я ведь прекрасно знал, отчего он все спрашивает про мое ружье.

И он снова отошел в сторону. Я достаточно ясно указал ему его место, и он притих и повесил голову.

Час спустя я подстрелил голубя и снова зарядил ружье. Пока я заряжаю, Глан стоит за деревом и смотрит,

смотрит, действительно ли я зарядил, и вскоре после этого он громко и отчетливо затягивает псалом и даже, представьте, свадебный. «Поет свадебный псалом, нарядился,— думал я,— видно, считает, что сегодня он особенно неотразим». И он пошел прямо передо мной, свесив голову, тихим шагом, и все пел. Он опять шел прямо перед самым моим дулом, видно, думал — ну вот сейчас, сейчас это должно произойти, оттого я и пою свадебный псалом! Но ничего, однако, не произошло, и, когда он кончил, ему пришлось-таки оглянуться.

— Этак мы сегодня немного настроляем,— сказал он и улыбнулся, извиняясь передо мной за то, что пел на охоте. И даже тут улыбка его была прекрасна, словно бы сквозь слезы, а губы у него в самом деле дергались, хоть, конечно, и здесь была рисовка — вот, мол, улыбаюсь в такой решающий час.

Я ему не баба, и он отлично понял, что меня такими штучками не проймешь, он стал нервничать, кружил вокруг меня, то справа зайдет, то слева, а то остановится и поджидает. В пять часов я вдруг услышал выстрел, и над левым моим ухом просвистела пуля. Я поднял глаза, План стоял в нескольких шагах и смотрел на меня не отрываясь, его ружье дымилось. Что ж, он хочет, что ли, пристрелить меня? Я сказал:

— Вы промахнулись, вы плохо стали стрелять.

Но он стрелял отнюдь не плохо, он не промахивался никогда, просто ему хотелось взбесить меня.

— О черт, так отомстите же! — крикнул он в ответ.

— Всему свое время,— сказал я и стиснул зубы.

Так мы стоим и смотрим друг на друга, и вдруг План пожимает плечами и кричит мне: «Трус!»

Ах, вот как, он еще будет меня называть трусом! Я вскинул ружье, прицелился ему прямо в лицо и выстрелил.

Что посеешь, то и пожнешь...

И нечего семейству План продолжать розыски этого человека. Меня давно бесит дурацкое уведомление о таком-то и таком-то вознаграждении за сведения о покойнике. Томас План умер от несчастного случая, от шальной пули на охоте в Индии. Суд занес его имя и дату кончины в протокол, протокол подшили в папку, и в этом протоколе значится, что он умер,— слышите вы! — умер, и умер именно от шальной пули.



КОММЕНТАРИИ

В первый том Собрания сочинений Кнута Гамсуна включены его произведения первой половины 90-х годов.

В творческой биографии Гамсуна период 90-х годов играет особую роль. К мало кому известному автору подражательных, «в духе Бьёрнсона», романов и повестей («Загадочный человек», 1877; «Бьергер», 1879, и др.) после выхода в свет романов «Голод» (1890), «Мистерии» (1892), «Пан» (1894) приходит европейское признание. Писателем «исключительной духовной силы» называет Гамсуна Горький. В истории национальной литературы 90-х годов Гамсун, по словам авторов одного из самых авторитетных норвежских изданий, шеститомной «Истории норвежской литературы» (1974—1975), «среди писателей безусловно самый талантливый, самый знаменитый и самый спорный».

Своеобразие творческой индивидуальности Гамсуна ярко проявляется в его эстетических оценках и программных заявлениях уже на рубеже 80-х — начале 90-х годов, в частности, в знаменитых трех докладах «Норвежская литература», «Психологическая литература» и «Модная литература», прочитанных во время турне по Норвегии в феврале — октябре 1891 года.

Главным недостатком современной норвежской литературы, по мнению Гамсуна, является то, что она не удовлетворяет требованию психологической глубины. «Литература эта, по сути своей материалистическая, интересовалась больше нравами, нежели людьми, а значит — общественными вопросами больше, нежели человеческими душами», — замечает Гамсун в докладе «Норвежская литература». Он признает несомненные заслуги великих — Ибсена, Бьёрнсона, Хьелланна, Ю. Ли, но считает, что они создавали «социальную», а не «психологическую литературу», «характеры» и «типы», а не «психологические индивидуальности». Литература следовала «демократическому принципу в ущерб ее поэтическому и психологическому содержанию». Никто из них, по мнению Гамсуна, не сумел подняться до уровня решения задач, стоящих перед современным психологическим искусством. Между тем современный писатель — и в этом Гамсун абсолютно убежден — в первую очередь обязан быть проникновенным психологом, уделять самое пристальное внимание изображению «бессознательной душевной жизни

человека». В этом требовании — суть литературно-художественной программы писателя в 90-е годы.

Анализируя подсознательное как основной момент в изображении психологии личности, Гамсун обращается к науке и находит подтверждение своим взглядам в трудах немецкого ученого Э. Гартмана (1842—1906), в частности в его «Философии подсознательного» (1869). Однако, при всем уважении к достижениям ученых, Гамсун считает, что художник обладает большими возможностями в исследовании внутреннего мира, ибо ему открывается в человеке то, что современная психологическая наука объяснить еще не в состоянии.

К таким пронизательным художественным талантам Гамсун в первую очередь относит Стриндберга. Он восхищается им не только как писателем, но и как личностью, воплотившей в себе «сложный тип современного человека». Огромное впечатление производит на Гамсуна мастерство психологического анализа у Достоевского. Помимо Стриндберга и Достоевского, среди тех, кто в это время оказывает на него прямое или косвенное влияние, следует также упомянуть и Ницше.

Под воздействием Ницше у Гамсуна формируются представления о некоей духовной элите, «аристократах духа», к которым он причисляет и себя. Свое искусство Гамсун предназначает для столь же утонченных, избранных натур. Поэтому он не приемлет ни «серого натурализма», лишённого психологической глубины и полета фантазии, ни искусства социально-критического, тенденциозного и морализирующего. В творчестве Гамсуна 90-х годов впервые в норвежской литературе второй половины XIX века происходит разрыв с традициями социального романа. Писатель разрабатывает жанр психологического романа, в котором субъективный элемент, проявляющийся в особенностях анализа душевных состояний, играет решающую роль.

Открывая для себя новую область исследования, Гамсун самое пристальное внимание уделяет проблеме художественного стиля, акцентируя лирико-музыкальную сторону повествовательного искусства. Ткань его художественных произведений 90-х годов насыщена повторами, возвращением к одним и тем же мыслям и чувствам, повторением одного и того же мотива. Ритмическая проза Гамсуна отличается музыкальным, суггестивным стилем, призванным воздействовать на читателя, ибо является выражением творческой индивидуальности, субъективности автора.

ГОЛОД

К работе над романом Гамсун приступил после возвращения из Америки в Европу летом 1888 года. В окончательной редакции романа, изданного в 1890 году, точное указание на время происходящих в нем событий отсутствует. Однако в опубликованном в ноябре 1888 года анонимно отрывке в датском журнале «*Mu jornd*» начало первой фразы звучало следующим образом: «Это было два года назад» (в окончательной редакции: «Это было в те дни, когда я бродил голодный по Христиании»). Следовательно, речь в нем идет о событиях 1886 года, одного из самых тяжелых периодов жизни Гамсуна, когда он находился на пороге голодной смерти.

В то же время отнести роман «Голод» к чисто автобиографическим произведениям было бы не совсем верно. В нем, по словам Гамсуна, он «попытался изобразить своеобразную душевную жизнь, мистерии нервов в изголодавшемся теле». Парадоксальность и непредсказуемость поступков героя вызваны не только физиологическим состоянием голода. Он существует как бы в двух мирах, действительном и вымышленном, порожденном его фантазией. Эта двойственность запечатлена и в названии романа: в испорченном, извращенном мире его герой испытывает голод не только физиологический, но и духовный, как неудовлетворенную потребность в естественных, человеческих взаимоотношениях. Следует отметить и то, что определенную грань между автором и его героем создает сочувственно-иронический тон повествования.

Можно привести ряд примеров того, как трудно роман Гамсуна уложить в какую-либо традиционную схему. Современник Гамсуна Й. Йоргенсен в рецензии на роман писал, что «это произведение нельзя назвать ни романом, ни новеллой, ни рассказом». Потому что «ему тесно в рамках понятий, разработанных до настоящего времени эстетической наукой. Это оригинальная, добротнo выполненная работа, эпос в прозе, «Одиссея» голодающего». Гамсун также не хотел называть «Голод» романом. В письме Г. Брандесу он настаивает на том, что «Голод» не роман, но книга, в которой он «исследует живую человеческую душу», глубоко заинтересовавшую его своей «бесконечной подвижностью». «В ней нет никаких писательских выдумок: свадеб, балов, пикников и т. п. Одним словом, это не роман». Сказанное Гамсун повторяет неоднократно. А в письме Э. Фрюденлунду он называет свою книгу «рядом анализов», поскольку в центре авторского внимания — постоянные самонаблюдения героя. На эту особенность романа современные исследователи очень часто обращают свое внимание, считая, что в «Голоде» Гамсун предвосхищает повествовательную технику «потока сознания».

Стр. 51. ...зато уж Ренана...— Жозеф Эрнест Ренан (1823—1892)— французский философ, писатель, историк религии, филолог-востоковед. Благодаря эссе Г. Брандеса о Ренане его сочинение «Жизнь Иисуса» (1863) стало широко известно в Скандинавии.

Стр. 52. ...имя, скользящее и волнующее: Илаяли...— Имя Илаяли навеяно Гамсуну творческой фантазией. Гамсун писал, что «иногда обстоятельства требуют, чтобы имя персонажа характеризовало его уже одним своим фонетическим звучанием». За экзотическим именем героини, возвышающим ее над повседневностью, скрывается вполне земная, сомнительного поведения женщина. Об источнике происхождения этого имени существуют различные версии. По мнению одних (Р. Н. Неттум), «Илаяли» — это либо видоизмененное «Асали» из стихотворения Й. П. Якобсена «К Асали» (1886), либо «Юлэлей» (Eulalie) из стихотворения Э. По «Юлэлей» (1845), другие (М. Наг) считают, что оно навеяно Гамсуну персидской надписью «Акхлак», о которой упоминается в книге «Духовная жизнь современной Америки» (1888).

Стр. 55. Неужто перст Божий коснулся меня?..— Здесь и далее рассказчик, пародируя тон библейского повествования, объясняет обрушившиеся на него несчастья делом рук Божьих. При этом социальные

мотивировки отодвигаются на второй план. Герой «Голода» не обыкновенный человек, а гений и не собирается апеллировать к общественному состраданию.

Стр. 61. *Юхан Арндт Хапполати.*— Хапполати—финская фамилия, упоминающаяся в эссе Гамсуна «В турне» (1891).

Стр. 79. *...монету из конгсбергского серебра.*— Конгсберг—город в 84 км от Осло; в 1623 г. неподалеку от Конгсберга были открыты серебряные залежи.

Стр. 113. *...очерк о Корреджо.*— Антонио Корреджо (наст. фам. Аллегри, ок. 1489—1534)—итальянский живописец, представитель Высокого Возрождения.

Стр. 141. *Апис*—в древнеегипетской мифологии священный бык, почитавшийся как земное воплощение бога Пта, покровителя искусств и ремесел.

Стр. 165. *...назвался Вольдемаром Аттердагом...*— Вольдемар IV Аттердаг (ок. 1320—1375)—король Дании с 1340 по 1375 г.

Стр. 169. *...о землетрясении в Лиссабоне.*— В 1755 г. Лиссабон был разрушен сильным землетрясением.

Стр. 173. *...изобрел учитель танцев Шекспир.*— Ироническое упоминание Шекспира в целом созвучно той оценке, которую Гамсун даст великому английскому драматургу в докладе «Психологическая литература». Стесненный законами драмы Шекспир, по мнению Гамсуна, как и Ибсен, не мог создавать произведения, глубоко проникающие во внутренний мир человека.

МИСТЕРИИ

К работе над романом «Мистерии» Гамсун приступил сразу же после завершения «Голода». «Я пишу роман, подобного которому создано еще не было»,—сообщает он в письме датскому писателю Э. Скраму. Важным побудительным мотивом к созданию романа было желание Гамсуна дать бой своим литературным противникам. «Я обязан написать этот роман хотя бы для четверых доморощенных пророков. Меня переполняет материал, и я чувствую себя сильным, как лев»,—пишет он Скраму. «Мистериями» Гамсун надеется совершить переворот в национальной литературе, хотя после того, как его литературные доклады были встречены в штыки норвежской критикой, обвинившей молодого писателя «в критически-психологическом шарлатанстве» и «в недостойных насмешках» над гордостью национальной литературы, понимает, что его новое произведение будет принято недоброжелательно. «Книгу, разумеется, убьют наповал, так как она слишком необычная во всем, в языке, в построении, в выборе тем»,—пишет он своему другу Х. Неросу. В «Мистериях», как и в «Голоде», Гамсун ставит перед собой задачу—«исследовать иррациональную душевную жизнь современного человека». Поэтому все, что происходит с героем романа, коренится в особенностях его эксцентрической натуры. Его отношение к жизни как к мистерии и загадке роковым образом решает его собственную судьбу. «Личность Нагеля расщеплена и полна противоречий,—пишет Гамсун о своем герое,—разочаровавшийся в любви,

выбитый из колеи пустотой будничного существования, он сходит с ума, теряет интерес к жизни и гибнет, бросившись в море».

Стр. 202. ...*делегат Эйдсволльского собрания*...— Имеется в виду Учредительное собрание в Эйдсволле — решающее событие в истории Норвегии. Оно открылось 10 апреля 1814 года, а 17 мая на нем была принята конституция страны, провозгласившая Норвегию «свободным, независимым и неделимым государством». 17 мая отмечается в Норвегии как День Независимости.

Стр. 205. ...*принесла мне «Крестьяне-студенты» Гарборга... а в другой раз «Непримиримых»*.— Арне Гарборг (1851—1924) — норвежский писатель, с именем которого связан расцвет социально-психологического романа 80-х гг. Роман «Крестьяне-студенты» (1883) и драма «Непримиримые» (1888) — значительные произведения норвежского реализма.

Стр. 210. *Гладстон* Уильям Юарт (1809—1898) — премьер-министр Великобритании в 1868—1874, 1880—1885, 1886, 1892—1894 гг. Ироническое отношение Нагеля к Гладстону обусловлено тем, что как глава либералов (лидер Либеральной партии с 1868 г.) он опирался на широкие массы своих сторонников; Нагель же политическому либерализму противопоставляет нищенски окрашенную проповедь «сверхчеловека».

Стр. 227. *Я квен*...— Квены (норвежские финны) — малочисленная этническая группа на севере Норвегии.

Стр. 231. ...*он как бы плыл по небесному океану, закидывал серебряную удочку*...— Библейская аллюзия. Ср.: «И сказал им Иисус: идите за Мною, и Я сделаю, что вы будете ловцами человеков» (Марк, I, 17). Нагель тоже — «ловец душ человеческих», проповедующий, по выражению Р.-Н. Неттума, «недогматическую веру в мистериальную связь человеческой души и природы».

Стр. 247. ...*были высказаны мнения... о Констане, о Парнелле*...— Бенджамен Констан (Констан де Ребек Бенджамен Анри, 1767—1830) — французский писатель и публицист. Чарлз Стюарт Парнелл (1846—1891) — лидер движения за самоуправление Ирландии в рамках Британской империи в 1877—1890 гг.

Стр. 249. *Фениш* — ирландские революционеры-республиканцы, члены тайных организаций «Ирландские революционные братства» (основаны в 1858 г.). Выступали за независимость Ирландской республики.

Стр. 257. *Ланнер Йозеф* (1801—1843) — австрийский скрипач, дирижер и композитор. Один из создателей нового типа танцевальной музыки — венского вальса.

Стр. 270. *«Башня ветров» в Афинах*.— Имеется в виду восьмигранное сооружение из черного мрамора с огромными водяными часами (I в. до н. э.).

Стр. 279. *Грундтвиг* Николай Фредерик Северин (1783—1872) — датский писатель, общественный и религиозный деятель.

Стр. 296. *Фогт* — в Норвегии до конца XIX в. полицейский и податной чиновник.

Стр. 344. ...*был и у нас поэт, это — Бьёрсон*.— Резко критикуя общепризнанные мировые авторитеты (Гюго, Ибсена, Толстого и др.),

Нагель делает исключение лишь для Бьёрнсона, видя в нем воплощение своей мечты о сильной личности, способной стать выше толпы и подчинить ее своей воле.

Стр. 347. «Гертруда Кольдбьернсен» Скрама...—Эрик Скрам (1847—1923)—датский журналист и писатель, с которым Гамсун вел оживленную переписку. «Гертруда Кольдбьернсен» (1879)—главное произведение Скрама, повествующее о несчастливом супружестве.

Стр. 407. *Лавуазье* Антуан Лоран (1743—1794)—выдающийся французский химик; был казнен во время Французской буржуазной революции (1789—1794).

ПАН

В этом романе, по словам Гамсуна, он «попытался прояснить некоторые особенности чувствительной и сверхчувствительной природы поклонника природы в духе Руссо».

Гамсун долго обдумывал название своего романа. Вначале он хотел озаглавить его по имени главной героини, «Эдварда». Но впоследствии от этого намерения отказался, посчитав, что такое название не соответствует замыслу произведения. Когда книга была готова к печати, он сообщил своему издателю, что роман будет называться «Пан».

Согласно классическому мифу, Пан, сын Гермеса, бог лесов, стад и полей, полон страстной влюбленности и преследует нимф. Фигурка Пана на пороховнице намекает на то, что как охотник Глан находится под его покровительством. Сходство с Паном проявляется у Пана в том, что он обладает почти безграничной властью над женщинами. И все же это сходство не затрагивает одну важную особенность его природы. Глан—современный «нервный человек», превыше всего ставящий мечту и надежду. Неприятие бездушной цивилизации заставляет его искать прибежища в лесу, где в одиночестве он может погрузиться в тайны своего «я». Герой обретает чувство свободы, порывая с обществом.

В названии романа заключен символический смысл. Человек, считает Гамсун,—частичка природы, воплощенной в романе в образе могучего Пана, который живет в каждом из героев и распоряжается его судьбой. Роман Гамсуна «Пан», по словам А. И. Куприна,—«это восторженная молитва красоте мира, бесконечная благодарность сердца за радость существования, но также и гимн перед страшным и прекрасным лицом бога любви» (А. И. Куприн, «О Кнуте Гамсуне»).

Лирическое начало, пронизывающее прозу Гамсуна 90-х годов, в «Пане» достигает своей кульминации.

СМЕРТЬ ГЛАНА

Эпилог к роману «Пан» был написан в 1893 году и тогда же опубликован отдельным изданием. События в нем отнесены к 1861 году, т. е. их отделяет от событий, происходивших в «Пане», временной отрезок в шесть лет.

А. Сергеев



СОДЕРЖАНИЕ

Б. Сучков. Кнут Гамсун	5
ГОЛОД. Роман. Перевод Ю. Балтрушайтиса под редакцией В. Хинкиса	43
МИСТЕРИИ. Роман. Перевод Л. Лунгиной	183
ПАН. Роман. Перевод Е. Суриц	455
Комментарии А. Сергеева	554

*В книге использованы репродукции
с картин норвежских художников*

Э. Мунка и Т. Кеттельсена

КНУТ ГАМСУН

Собрание сочинений

в 6-ти томах

Том 1

Редактор Э. Шахова

Художественный редактор Л. Калитовская

Технический редактор В. Кулагина

Корректоры

Г. Ганапольская, Г. Володина

ИБ № 6364

Сдано в набор 31.10.90. Подписано к печати 12.04.91. Формат 84 × 108^{1/32}.

Бумага тип. № 1. Гарнитура «Таймс». Печать высокая.

Усл. печ. л. 29,4 + 1 вкл. + альб. = 30,29. Усл. кр.-отг. 33,28.

Уч.-изд. л. 32,38 + 1 вкл. + альб. = 33,09. Тираж 200 000 экз.

Изд. № VI-4016. Заказ № 1553. Цена 9 р. 50 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО «Первая Образцовая типография» Государственного комитета СССР по печати. 113054, Москва, Валовая, 28

